

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ИСТОРИЯ
СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ
АМЕРИКИ



Т О М П Е Р В Ы Й



LITERARY
HISTORY
OF
THE UNITED
STATES

REVISED EDITION
IN ONE VOLUME

1955

THE MACMILLAN COMPANY NEW YORK

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ИСТОРИЯ
СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ
АМЕРИКИ

ТОМ I

Печатается с переработанного издания
в одном томе

Под редакцией

*Р. Спиллера, У. Торпа, Т. Н. Джонсона,
Г. С. Кэнби*

МОСКВА, «ПРОГРЕСС»

1977

Автор предисловия Я. ЗАСУРСКИЙ

Перевод с английского Н. Анастасьева (1—7), В. Бернацкой (9—14, 29), А. Зверева (23), Г. Злобина (Обращение к читателю, 15—17, 24), А. Николукина (18—22, 25—28), Т. Шишкиной (8).

Редактор М. Тугушева

Переводы стихов,
за исключением особо указанных случаев,

В. Топорова

© Предисловие, комментарий и перевод на русский язык
с изменениями. „Прогресс“ 1977

Редакция литературоведения и искусствознания

Л $\frac{70202-717}{006(01)-77}$ 130-77

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Литературная история Соединенных Штатов» — единственное в своем роде исследование возникновения и развития американской литературы. Этот фундаментальный коллективный труд 55 американских ученых охватывает эпоху от появления первых английских колонистов на территории теперешних Соединенных Штатов до середины XX века.

Книга была задумана в 1941 году, и дыхание антифашистской борьбы в ряде случаев благотворно повлияло на характер изучения литературного процесса и на подбор авторов, среди которых выделяются такие прогрессивные писатели, литературоведы и критики, как Френсис Отто Матиссен и Карл Сэндберг, Максвелл Гайсмар и такой выдающийся литератор, как Мальколм Каули.

Семь лет продолжалась работа над книгой, которая вышла в 1948 году в трех томах. Первый том освещал период до окончания Гражданской войны, второй — до конца второй мировой войны, третий содержал библиографию. С тех пор книга многократно переиздавалась. Практически все повторные издания не внесли сколько-нибудь существенных изменений в текст книги, который в основной своей части воспроизводится на русском языке по изданию 1955 года.

Вся книга разбита на 10 разделов, включающих 81 главу. На русском языке книга издается в трех томах без библиографического приложения, но с комментарием.

По мысли авторов, их труд должен показать процесс становления американской литературы из периферийного звена английской колониальной литературы в одну из крупнейших самостоятельных литератур мира. При этом много внимания уделяется проблеме воздействия мировой литературы и культуры на формирование национальных особенностей американской литературы — в этом отношении настоящая работа выгодно отличается от многих других американских исследований. Специальное внимание уделяется и месту литературы США в ряду других литератур, преимущественно в плане распространения книг американских авторов и их популярности в других странах.

Справедливо отмечая значимость достижений американской литературы 20—30-х годов XX века и ее вклад в мировую литературу, авторы не всегда в состоянии отказаться от своего рода мессианского понимания современной роли литературы США, которая, по их утверждению, содержащемуся в предпосланном в книге «Обращении к читателю», «начинает доминировать над воображением масс в мире». Правда, авторы не стремятся к однозначному прославлению американской идеологической экспансии, трезво оценивая многие стороны буржуазной действительности и современного литературного процесса в США.

Значительное место в книге уделяется складыванию американского национального характера и выявлению специфики американской литературы в свете национальных традиций.

По замыслу авторов, центральное место в книге должны занимать наиболее выдающиеся художественные достижения отечественной литературы, анализируемые в контексте важнейших проблем гражданской истории, развития общественной мысли, литературных явлений и тенденций. Именно эти акценты, видимо, призвано передать и название труда — «Литературная история Соединенных Штатов».

В настоящем первом томе издания книги на русском языке охватывается период от основания колоний — начальный этап истории американской литературы, включающий ее возникновение в английских колониях на севере Американского континента, — до становления национальной литературы после Войны за независимость и развития прозы, поэзии, публицистики в первой половине XIX века вплоть до начала Гражданской войны. Том завершает глава об Уолте Уитмене.

Из 29 глав, входящих в настоящий том, центральными являются 10 монографических «литературных портретов» американских писателей: Эдвардса, Франклина, Ирвинга, Купера, По, Эмерсона, Торо, Готорна, Мелвилла и Уитмена. Все эти писатели, за исключением, пожалуй, философа и проповедника Джонатана Эдвардса, относятся к числу наиболее выдающихся художников этой эпохи. И можно лишь пожалеть, что нет аналогичных особых глав, посвященных таким замечательным американским писателям и публицистам, как Томас Джефферсон, Томас Пейн и Филип Френо, — им уделены лишь немногочисленные страницы в обзорных главах.

Специальные главы посвящены истории общественной мысли Соединенных Штатов, что позволяет лучше уяснить ход истории и движение литературного процесса в общем контексте исторического развития страны. Подобные главы открывают каждый раздел книги, соответствующий определенному историческому этапу литературного процесса. Весьма интересны главы, рассматривающие особенности культурной жизни США и анализирующие положение художника и писателя в амери-

канском обществе, и прежде всего обстоятельства, которые вызвали процесс коммерциализации литературы и искусства в стране. В результате более осязаемо выявляются трудности развития литературы и искусства в американских условиях, рельефнее прорабатывается столь важная для Соединенных Штатов Америки тема — художник и общество.

Особо следует отметить главы обзорные, охватывающие развитие отдельных жанров в тот или иной период, и главы, посвященные развитию важнейших литературных течений в США. Типология глав сама по себе достаточно интересна. Сочетание же различных типов глав, позволяющее авторам представить в распоряжение читателя весьма обширный и единственный в своем роде материал, дает возможность глубже осмыслить развитие художественной мысли в США, показать движение литературной истории. В целом «Литературная история Соединенных Штатов» за 30 лет, прошедшие с момента ее первого издания, при всех своих недостатках, доказала свою значимость и ценность и, что особенно важно, сыграла существенную роль, противодействуя попыткам пересмотреть историю литературы США с эстетских и откровенно консервативных позиций — попыткам, предпринятым в 50—60-е годы и не увенчавшимся успехом.

Все это позволяет полнее увидеть позитивные стороны коллективного труда американских литературоведов, объединенного к тому же весьма оригинальным для историко-литературной монографии замыслом и в ряде случаев высоким литературным уровнем исполнения.

Сказанное не означает того, что идейно-эстетические и методологические позиции авторов «Литературной истории Соединенных Штатов» одинаковы. Наряду с прогрессивными и демократически настроенными литературоведами в авторском коллективе представлены и историки литературы буржуазно-либерального толка, чьи концепции иногда неприемлемы, а культурно-исторический метод сосуществует с психоаналитическим подходом к литературному творчеству. Именно поэтому при всем богатстве фактического материала и при наличии авторов, которые известны своими прогрессивными взглядами, «Литературная история Соединенных Штатов» нуждается в серьезном и внимательном критическом анализе с точки зрения не только литературоведческих, но и социальных концепций, высказываемых на ее страницах.

Говоря о первом томе данной книги, следует обратить внимание на стремление авторов установить периодизацию литературы в соответствии с важнейшими этапами американской истории. Так, в настоящем томе четыре раздела, его составляющие, отражают важнейшие исторические вехи развития истории американского народа и американской литературы: I раздел, «Колонии», рассматривает развитие литературы до Войны

за независимость; во II разделе, «Республика», речь идет о литературе эпохи Войны за независимость; III раздел, «Демократия», рассматривает первый этап развития американского романтизма, включающий творчество Ирвинга, Купера, По и коренным образом осмысляющий итоги Войны за независимость, а раздел IV, «Литературное свершение», посвящен позднему романтизму и творчеству Уитмена — этапу, который предвосхищает политические и литературные бои Гражданской войны.

Конечно, такое построение разделов не во всем обоснованно. В частности, мало резона включать в один раздел с поздними романтиками Уитмена, который начал свою литературную деятельность в момент, когда Эмерсон, Торо, Готорн и Мелвилл уже создали свои основные произведения, и который активно выступал в литературе и в годы Гражданской войны и после ее окончания, когда поздние романтики практически уже не участвовали по разным причинам в литературной жизни Соединенных Штатов.

Едва ли оправданны названия третьего и четвертого разделов. Творчество Ирвинга, Купера, По и других ранних романтиков трудно объединить под рубрикой «Демократия» — ведь их отношение к буржуазной американской демократии было далеко не восторженным — ее резко критиковал Фенимор Купер, не принимал Эдгар По и скептически воспринимал Вашингтон Ирвинг.

Столь же мало оснований определять творчество поздних романтиков как вершину литературного творчества — при всех художественных достижениях Готорна и Мелвилла они тесно связаны с ранним романтизмом, и отличает этих писателей от Купера и Ирвинга не уровень мастерства, а скорее уровень осмысления исторических судеб американского народа. Однако названия III и IV разделов «Литературной истории Соединенных Штатов» об этом «водоразделе» судить не позволяют.

Каждый раздел включает главу, рассказывающую об основных социальных и политических проблемах, главу о развитии культуры и о положении писателя в обществе на соответствующем этапе, обзорные главы о развитии основных литературных жанров и о региональных литературных явлениях, и, наконец, главы о наиболее значительных мастерах слова, определяющих художественные достижения данного периода. Таким образом, авторы довольно успешно стремятся соединить широту и полноту картины литературной истории с достаточно четким и определенным выявлением наивысших художественных достижений, литературных вершин, определяющих подлинный прогресс художественного мышления и олицетворяемых крупнейшими писателями. Это немаловажное достоинство настоящего труда, выразительно отличающее его от других фундаментальных исследований истории литературы США.

Подобная структура разделов вместе с тем придает особую значимость каждой монографической главе и требует большой тщательности и обоснованности как в отборе имен, так и в их распределении по разделам. Ведь и в отборе и классификации выявилась не только концепция авторов, но и их стремление уложить историю литературы США в рамки довольно жесткой схемы, которая, сколь бы тщательно она ни была разработана, в ряде случаев не соответствует реальной литературной истории. О неточностях в классификации уже говорилось: отсутствие монографических глав о Джефферсоне, Пейне, Френо достаточно многозначительно и подчеркивает прежде всего нежелание авторов акцентировать демократические и революционные традиции литературы эпохи Войны за независимость. Точно так же включение в раздел «Литературное свершение» наряду с Эмерсоном, Торо, Готорном и Мелвиллом Уитмена продиктовано не только уважением к его имени, но и желанием оторвать его творчество от подъема антирабовладельческого движения и в целом приуменьшить значимость аболиционизма. Между тем не только Уитмен, но и Торо теснейшим образом связаны с аболиционизмом и борьбой против рабства негров, как, впрочем, в той или иной степени и другие писатели, рассматриваемые в этом разделе. Литературные свершения Торо и Уитмена нельзя исследовать в отрыве от их позиции в острейших конфликтах политической и социальной жизни, которые будоражили Америку в 40-е, 50-е и 60-е годы прошлого века.

Особенности общего плана книги по-разному отразились в ее главах: редакторы попытались соединить коллективный характер труда с индивидуальным стилем автора. В результате читатель в состоянии оценить значимость, достоинства и просчеты каждого из них, но, с другой стороны, из-за подобного редакторского подхода оказались неустраненными противоречия в оценках тех или иных явлений и некоторые повторы.

Что касается «Обращения к читателю», о нем уже шла речь выше. Еще раз следует подчеркнуть неоправданность стремления преувеличить роль американской литературы в культурной жизни современного мира. Вместе с тем авторы не видят сложности и противоречивости восприятия литературы США в мире, вытекающие прежде всего из идейно-художественной и социально-политической неоднородности литературной продукции Соединенных Штатов Америки. А ведь сегодня литература США — это, с одной стороны, гуманистические идеалы Вашингтона Ирвинга и Джеймса Фенимора Купера, Германа Мелвилла и Уолта Уитмена, Джека Лондона и Теодора Драйзера, Эрнеста Хемингуэя и Уильяма Фолкнера и ряда современных художников-гуманистов, а с другой стороны, потоки массовой бульварной беллетристики, наводняющие книжные рынки Латинской Америки, Европы, Азии, Африки,

Австралии стандартизированной продукцией, вызывающей протест демократической общественности пропагандой антикоммунизма, насилия и аморализма.

Первый раздел настоящего тома «Колонии» охватывает самый продолжительный по времени и наиболее плодотворный с точки зрения художественных завоеваний период. За полтора с лишним века — с 1607 года и до начала Войны за независимость в последней четверти XVIII века — в политическом и социальном сознании английских колонистов происходят глубокие и серьезные изменения, которые медленно, но неуклонно преобразуют и сферу художественного творчества. Оно все более обособляется из имевшей утилитарное значение сферы документальной, мемуарной, хроникальной и религиозной литературы в самостоятельную сферу деятельности, хотя власть предрешающие круги колонистов и не признавали ее таковой. Однако этот раздел относится к числу наиболее интересных прежде всего благодаря обилию фактического материала о культуре и литературных памятниках XVII и XVIII веков, которые помогают полнее представить себе атмосферу эпохи. Наряду со ставшим традиционным для трудов по истории литературы США пространным повествованием о религиозной деятельности колонистов, с которой во многом и были связаны первые литературные памятники на английском языке в североамериканских колониях, более детально и основательно рассматриваются памятники светской культуры: отчеты о путешествиях и другие произведения публицистической и деловой литературы, граничащей с публицистикой. Эти памятники содержат и элементы художественного творчества.

В весьма увлекательно написанной главе «Европейский фон» Говард Мамфорд Джонс, видный историк американской литературы, несколько упрощенно, однако, характеризует взаимоотношения Европы и Америки, выявляя при этом свой америкоцентризм. Трудно согласиться и с его трактовкой Ренессанса, который рассматривается в отрыве от гуманизма. Вполне обоснованно Говард Мамфорд Джонс утверждает, что основатели колоний «едва ли подозревали о таких вещах, как гуманизм, а истребление индейцев или папистов осуществляли с тем же надменным безразличием, с каким в свое время убивали диких ирландцев». Но от этого еще менее убедительно звучат слова автора о том, что североамериканские колонии англичан «были порождением слабым, несовершенным, неоформленным, но характерным порождением ренессансных идей о природе правления и государства». Это утверждение, которое никак не подтверждается реальными фактами и очень далеко от истины, выдвигается здесь отнюдь не случайно — в последующих разделах книги, в главах «Американская мечта», «Великий эксперимент» и «Демократические дали» эта же посылка в несколько преобразованном виде превращает США в реальное воплоще-

ние «Утопии» Томаса Мора, идеализирует и приукрашивает исторический опыт развития страны, умалчивая об истреблении индейцев и «папистов», о позоре рабства и чуждом гуманизму подчинении всех сторон жизни меркантилизму и сутяжничеству, кредо буржуазного успеха и культу доллар.

Более того, в суждениях Говарда Мамфорда Джонса о Европе проскальзывает чуть ли не граничащее с невежеством англосаксонское неуважение ко многим другим европейским народам, которое можно объяснить, пожалуй, лишь столь подробно охарактеризованным в «Литературной истории» американским провинциализмом. Для него Европа XVI века существует не только без Русского государства, но и без Германии, Скандинавии, Польши. Утверждая, что культура североамериканских колоний — это культура Библии, он тут же добавляет, что этим она отличается от стран Средиземноморья, у которых была, по его мнению, стихийная культура. Затем, перейдя к описанию достоинств американской женщины, он снова предьявляет претензии к Южной Европе, на этот раз к Франции, заявляя, что «в Соединенных Штатах женская испорченность идет от Франции — иными словами, от латино-католической культуры». Неуместность этого высказывания особенно очевидна сегодня, когда «сексуальная революция» в США стала повсеместно притчей во языцех.

Вторая глава этого раздела, посвященная колониальной литературной культуре, отличается чрезвычайно подробным анализом развития всех факторов, которые привели в конце концов к появлению первых литературных памятников в Соединенных Штатах Америки. Здесь следовало бы отметить внимание, уделенное истории образования, журналистики, книгопечатания и библиотечного дела. Интересны данные о круге чтения колонистов, который включал ввозимые из Англии книги преимущественно религиозного, нравоучительного и философского характера. Глава «Записки и хроники» анализирует первые литературные произведения, созданные в английских колониях Северной Америки, и содержит много довольно примечательных наблюдений над процессом возникновения и становления американской литературы. В этом плане особый интерес представляет анализ взаимодействия публицистики и различного рода религиозных сочинений с собственно литературным творчеством.

Серьезного внимания заслуживают высказанные в главе суждения о том, что первые американские литераторы своими отчетами о путешествиях в Америке стремились привлечь новых колонистов. Это придавало изначальным англоязычным литературным памятникам Американского континента своего рода рекламный характер. Думается, что в этом наблюдении много верного и оно помогает лучше понять многие особенности последующего развития апологетической буржуазной литературы в США.

Очень важна и проблема отношения к индейцам и к рабству американских негров, причем не только авторов описываемых литературных памятников, но и автора данного раздела книги. В его суждениях, к сожалению, мы не найдем принципиально критического отношения к политике истребления индейцев и к рабству.

Без особых оснований в главе рассматриваются описи и хроники о североамериканских землях, принадлежащие перу датских, испанских, французских и голландских путешественников и писателей. Придавая известную масштабность рассмотрению исторического процесса, они вместе с тем уводят в сторону от литературной истории собственно США.

Интересны главы, посвященные писателям Юга, Новой Англии и особенно центральных колоний. Дело в том, что, несмотря на более позднее развитие англоязычной литературы в центральных колониях, именно там — в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Делавере — появились произведения литературы, чуждые южному аристократизму и пуританской нетерпимости Новой Англии. Особенно интересно рассмотрено литературное наследие квакеров Джона Вулмена, протестовавшего против рабства и социальной несправедливости, Чарльза Томсона, выступившего в защиту индейских племен от преследований белых завоевателей; историка и натуралиста Колдуолледера Колдена, вице-губернатора Нью-Йорка, написавшего историю пяти индейских племен; естествоиспытателей и путешественников Льюиса Эванса, Джона Бэртрама и его сына Уильяма, оказавшего воздействие на развитие творчества английских романтиков Кольриджа и Вордсворта и классика французского романтизма Шатобриана. Интересны и соображения о развитии так называемой реалистической философии выходца из Шотландии Джона Уизерспуна, президента Колледжа Нью-Джерси, приобретшего широкую известность в качестве Принстонского университета. С этой же точки зрения очень познавательна и глава о Джонатане Эдвардсе — теологе и религиозном проповеднике, который в течение нескольких лет жил в деревушке на границе с индейскими племенами, учил грамоте индейских мальчишек и писал религиозные и философские трактаты, прежде чем стал прещественником Уизерспуна на посту президента Колледжа Нью-Джерси. Авторы, конечно, правы, говоря о роли религиозного сознания в развитии американской литературы, хотя, на наш взгляд, фигура Эдвардса не является определяющей в процессе становления американского литературного сознания.

Завершает раздел «Колонии» глава, посвященная творчеству Франклина. Написанная добротнo, она заслуживает весьма положительной оценки.

В целом первый раздел, посвященный колониальному периоду американской словесности, показывая возникновение ос-

новых литературных жанров в творчестве английских колонистов, все же непропорционально мало внимания уделяет социальным проблемам и их отражению в литературных произведениях. Авторы, например, довольно беспристрастно констатируют, что один из ранних религиозных писателей призывал наслать болезни на индейцев, а другой сожалел об их печальной судьбе. Подобный объективистский подход к истории не дает возможности правильно понять многие важные моменты историко-литературного процесса, а это ведет, в конечном счете, к известному искажению перспективы литературного развития Соединенных Штатов.

Второй раздел «Республика», посвященный Войне за независимость и созданию Соединенных Штатов Америки, рассматривает процесс зарождения национальной литературы молодого североамериканского государства. Именно в этот период формируются многие ее важнейшие черты и особенности и прежде всего революционно-демократические традиции, связанные с именами политического деятеля и публициста Томаса Джефферсона, философа и публициста Томаса Пейна и поэта Филипа Френо.

Само название открывающей этот раздел главы девятой «Революция и реакция» передает драматизм борьбы, в которой рождались Соединенные Штаты Америки. Здесь достаточно обстоятельно рассматривается литературное творчество эпохи, но главное место в ней занимает анализ собственно истории политической борьбы. Автор, уделив много внимания демократическим концепциям Джефферсона и Пейна, справедливо подчеркивает выдающуюся роль этих деятелей в борьбе за независимость.

В главе затрагивается также серьезный и сложный вопрос о соотношении литературы и политики. «В борьбе за независимость литература превратилась в оружие; искусство пропагандиста, «катализатора» общественного мнения, стало притягательным для многих писателей», — пишет Джон Миллер. Однако в заключительной части главы он делает довольно неожиданный и не подтвержденный анализом литературы вывод о неизбежности отрицательного влияния политической активности на художественное творчество: «Война партий превращала американца, говоря словами английского путешественника, в «животное, поглощающее газеты», а американского писателя — в пропагандиста и памфлетиста. Это вредило литературе». Более того, последующие успехи американской литературы он связывает с тем, что к 1820 году «чисто полемический период американской литературы миновал; теперь писатели могли обращаться к темам, менее переходящим, чем политические страсти дня. ...Америка наконец стояла на пороге столь долгожданного и столь запоздалого Литературного Ренессанса. Автор тем самым бросает тень на демократические традиции литературы XVIII века и ошибочно

связывает успехи литературы США первой половины XIX века с отходом писателей от активной политической деятельности. На самом деле Ирвинг, Купер, Торо, Мелвилл и Уитмен были активнейшими участниками политической жизни и блестящими полемистами. Прямолинейные выступления против участия писателя в активной политической борьбе в данном случае отражают лишь отход авторов «Литературной истории Соединенных Штатов» не только от традиций прогрессивных литераторов 20—30-х годов XX века, но и от важнейшей демократической и революционной традиции литературы США, родившейся в ходе Войны за независимость.

В главе 10 Роберт Спиллер рассматривает обстоятельства, в которых шло профессиональное развитие литератора в Америке. Собранный здесь материал немаловажен, так как показывает, сколь трудным и тяжелым был путь американских писателей не только к литературному творчеству, но и к общественному признанию их профессии как таковой. Автор приводит многочисленные примеры негативного отношения американских правящих кругов к развитию литературы, художественного творчества, в результате чего вплоть до третьего десятилетия XIX века в Америке, по существу, не было профессиональных писателей, а это, конечно, тормозило развитие американской словесности. Этому способствовало и то, что многие авторитетные политические деятели Америки считали литературное творчество и искусство ненужной для страны роскошью. Так, Джон Адамс утверждал: «Искусство для нас не первая необходимость; нашей стране нужны ремесла — простые и бесхитростные...» Подобный утилитаризм отражал враждебность буржуазной Америки художественному творчеству, в связи с чем большинство американских авторов вынуждено было заниматься литературной поденщиной, не оставлявшей ни времени, ни сил для творчества.

В этой же главе важное место занимает рассмотрение книгоиздательского дела в США. И здесь погоня за барышами диктовала американским издателям губительную для американской литературы практику — перепечатывая большими тиражами книги известных английских писателей, они уклонялись от уплаты гонораров заокеанским авторам; но они не печатали и отечественных авторов, поскольку не хотели им платить и не были, кроме того, уверены в коммерческом успехе этих, как правило, не снискавших еще известности литераторов. И здесь коммерция воздвигала преграды на пути развития американской литературы.

Глава «Война памфлетов», к сожалению, сохраняет не только объективистский подход к литературе, но и выявляет консервативные симпатии автора: в большинстве разделов главы речь идет о представителях консервативной линии в американской публицистике. Именно к ней относится творче-

ство Джеймса Отиса, Джона Дикинсона, так же как Александра Гамильтона и других авторов «Федералиста» — Джеймса Мэдисона и Джона Джея.

Лишь один параграф главы из пяти посвящен Томасу Пейну. Правда, автор в общем очень высоко оценивает его вклад в литературу, его роль в Войне за независимость, но при этом некритически повторяет все те характеристики Пейна, которые принадлежат его злейшим врагам, например называет его «экзотическим радикалом». Объективизм автора ведет к серьезному искажению картины идейно-политической борьбы в публицистике в годы Гражданской войны и к преувеличению роли и значимости публицистов-консерваторов, которые не столько стремились к развитию революционной борьбы против власти английской монархии, сколько к компромиссу с ней, а главное, близки были к монархическим идеям и идеалам. Автор вольно или невольно допускает смешение понятий, которое ведет к затушевыванию сути различных течений политической мысли и борьбы. Так, он говорит, нарушая все исторические границы, о периоде пролетарской борьбы во время Войны за независимость, связывая с этим пролетарским периодом имя Пейна, затем называет книги Пейна азбучкой либерализма, после чего на следующей странице непоследовательно квалифицирует его же «Права человека» как настольную книгу мировой революции и говорит о его «революционном радикализме». Неприятие революционных традиций Пейна, ведущую роль которого в идеологических боях за независимость автор не в состоянии ни замолчать, ни отвергнуть, ни приписать respectable либерализму, приводит автора главы Дж. Пауэлла к откровенно правым позициям и утверждению «консервативного, конструктивного консолидирующего курса в политике» как единственно правильного для складывающейся американской нации.

Глава 12 «Государственные деятели-философы республики», на наш взгляд, относится к числу наименее удачных как по уровню анализа материала, так и по удаленности от проблем литературной истории, а главное — автор главы Адриенн Кох выступает с апологетических позиций по отношению к буржуазной американской демократии. Американский историк представляет вопреки историческим фактам молодое американское государство как нацию, ведомую философами, и, соответственно, видит в создании Соединенных Штатов Америки воплощение высочайших философских принципов. Выбрав для специального рассмотрения четырех государственных деятелей Республики — Джефферсона, Мэдисона, Адамса и Гамильтона, — автор отдает предпочтение консервативным политическим деятелям, литературная продукция которых существенно уступает по своей значимости литературному наследию Джефферсона, Франклина и

Пейна. Адриенн Кох выступает в защиту интересов привилегированного меньшинства, именно за это восхваляя Мэдисона, привлекавшего «всеобщее внимание к необходимости для всех демократий оберегать права меньшинства от реальной или возможной диктатуры большинства». Далекая от прогрессивных идей, автор достаточно грубо идеализирует буржуазную Америку и исповедует философию рекламного американизма. «Благожелательность, моральная ответственность, добрая воля вместо принуждения стали действенной силой в свободном обществе, а не только теоретическими этическими установками», — подобное приукрашивание американской буржуазной Республики ничего общего с проблемами истории литературы не имеет. Недаром автору особенно близки те деятели XVIII века, которые известны своим пренебрежением к народу, например Александр Гамильтон, который, как констатируется в главе, в народ и демократию не верил, зато отстаивал столь близкий сердцу автора принцип капиталистического развития страны. Тем самым автор выступает против передовых идей XVIII века и современности. Разумеется, советскому читателю небезынтересно ознакомиться подробно со взглядами Адамса, Мэдисона или Гамильтона и представить весь драматизм и масштаб идеологической борьбы в эту эпоху, но предвзятое неприятие автором важнейших идей американской революции снижает познавательную ценность статьи.

Более удачны главы 13 и 14, посвященные зарождению поэзии, драмы и художественного творчества, хотя в этих главах недостаточно внимания уделено писателям, воплощавшим революционные традиции. С этой точки зрения особенно досадно, что интересный раздел о творчестве Френо, написанный виднейшим американским литератором Льюисом Лири, не выделен в самостоятельную главу. Безусловно, заслужили особого внимания и специального рассмотрения своим реальным вкладом в развитие художественного мышления в Америке и значением для истории литературы США не только в XVIII века Хью Генри Брэкенридж и Чарльз Брокден Браун. А в результате и в этом разделе происходит известное смещение акцентов, которое ведет к определенной недооценке не только прогрессивных тенденций в американской литературе XVIII века, но и ее реальных художественных завоеваний, что весьма досадно.

Анализируя творчество американских поэтов, прозаиков и драматургов XVIII века, авторы «Литературной истории Соединенных Штатов» смотрят на них сквозь призму отношения американских писателей к английской литературе. Автор главы «Рождение беллетристики и драматургии» Александр Каун даже пишет о литературной войне между США и Англией. Подобная одномерность оценок, своеобразная англосаксонская замкнутость ведут часто к утрате четких критериев оценки художественного творчества собственно американских писате-

лей и их реальной значимости. В данном случае авторы «Литературной истории Соединенных Штатов» оказываются пленниками концепции трех циклов истории литературы США — провинциально-колониального, национального и интернационального, выходящего за географические рамки Америки. Односторонность этой концепции, оторванность от логики собственно американской литературной истории, рассматривающей ее преимущественно в аспекте международном, выявляется уже здесь в достаточно негативном плане.

Особое место в разделе занимает глава «Американская мечта», автор которой Джилберт Чайнард рассматривает конгломерат буржуазно-демократических идеалов и иллюзий, «американскую мечту», как часть культурной традиции Европы. Для него Америка — воплощенная утопия, это тот «Новый Свет», в котором осуществляются идеалы справедливости и гуманности. При этом автор некритически смешивает представления об Америке европейских просветителей и романтиков, реалии американской жизни и идеалы американской буржуазной демократии, в то время как эти три явления отнюдь не идентичны, а их смешение и подмена общим понятием «американской мечты» ведет автора к апологии американского образа жизни вообще. Ошибочность подобной постановки проблемы особенно очевидна сегодня, но и в XVIII и XIX веках иллюзорность и неосуществимость «американской мечты» горько осознавали Френо и Купер, Торо и Мелвилл, разочарование в «американской мечте» трагически звучит и в изданной в 1871 году книге «Демократические дали» Уитмена. Невозможность осуществления тех заверений, которые были даны в «Декларации независимости», вызвали крушение этих буржуазно-демократических иллюзий, которое особенно болезненно ощущается в XX веке. Погоня за «американской мечтой» породила американскую трагедию, ставшую ключевой темой литературы США XX века. К сожалению, глава «Американская мечта» не помогает уяснить эти глубокие процессы духовного кризиса современной Америки, понять истоки того неприятия «американской мечты», которое обнаженно раскрыто в одноименной пьесе драматурга Эдварда Олби и в произведениях многих других современных американских писателей, глубоко задумывающихся над судьбами своего народа.

Представляет интерес сделанный Чайнардом обзор восприятия жизни США в различных европейских странах в XVIII и XIX веках, любопытны ссылки на высказывания английского и французского авторов, которые в начале XIX века — один в 1818, а другой в 1833 г. — связывали будущее развитие цивилизации с Америкой и Россией. К сожалению, он цитирует исключительно те высказывания, в которых выражается восхищение тем, что происходило в Америке, критические же высказывания замалчиваются.

Нельзя не заметить также, что в главе совершенно обойдена критика буржуазной американской демократии, с которой выступали такие выдающиеся мыслители, как русские декабристы и революционные демократы, выдающиеся писатели Запада. Достаточно напомнить хотя бы «Американские заметки» Чарльза Диккенса, изданные им в 1842 году после поездки по Соединенным Штатам Америки. Особенно острой критике подвергали прогрессивные мыслители истребление индейцев, рабство негров и принявшее самые крайние формы господство чистогана и торгашества. Поэтому, представив Соединенные Штаты как светоч надежды для Старого Света, Джеймберт Чайнард погрешил против истины.

Третий раздел книги «Демократия» открывается главой «Великий эксперимент», посвященной социально-политической истории США в первой половине XIX века. Рассматривая историю американского общества и государства, Треймен Мак Дауэлл — автор главы, довольно сочувственно характеризует экспансионистскую доктрину президента Монро и с несколько комической серьезностью повторяет утверждение о высшем назначении Америки, о том, что «в самом деле американцы — избранный народ». Подобные высказывания делают подход автора к стране внеисторическим и ложным. Признавая, что важнейшей проблемой Америки в эти годы стала проблема рабства, автор главы ухитряется обойти существо этой проблемы, поскольку детальное рассмотрение ее разрушило бы его искусственные построения и показало бы несостоятельность разговоров о «великом эксперименте» и о его успехе в США.

Упрощенно представлена в этой главе и философия трансцендентализма — как своего рода религия меньшинства, основанная на утверждении божественного начала в человеке. Уделив много внимания движению трезвенности, автор не счел нужным представить своим читателям широкое и влиятельное антирабовладельческое, аболиционистское движение. В результате серьезный социально-исторический анализ сплошь и рядом подменяется поверхностными рассуждениями. «Хвастовство американцев не раз оскорбляло уши иностранцев, но и нередко подтверждалось ходом истории», — глубокомысленно утверждает автор этой главы, в которой хвастовство часто подменяет историю, но ею не подтверждается.

От вводной главы раздела выгодно отличается глава «Искусство на рынке», автор которой Роберт Спиллер раскрывает сложный процесс борьбы за признание писателя-профессионала в стране, где во главу угла поставлено поклонение доллару.

Безусловно, представляет интерес и глава о Вашингтоне Ирвинге, содержащая много новых интересных фактов и метких наблюдений, хотя снисходительный тон ее автора Стэнли Уильямса по отношению к этому замечательному американ-

скому писателю не представляется оправданным. К числу реальных и значительных достижений книги следует отнести главу того же Стэнли Уильямса о Джеймсе Фениморе Купере, которому здесь справедливо дается высокая оценка — в отличие от многих других работ американских литературоведов.

Насыщены фактами и материалами добротные главы о развитии литературы в первой половине XIX века в Новой Англии и в так называемых «Средних» штатах. Напротив, содержащая обширные сведения о состоянии литературы в Южных штатах накануне Гражданской войны глава 22 вызывает недоумение консервативной «южной» позицией автора, чуть ли не оплакивающего рабовладельческий уклад жизни и тех, кто его воспевал. Разительный контраст с ней представляет лучшая глава данного тома, поистине ее украшение — глава 23 об Эдгаре Аллене По, написанная прогрессивным американским литературоведом Френсисом Отто Маттисеном, уже известная советскому читателю по однотомнику этого автора, выпущенному на русском языке. Исследование Маттисена отмечено сочетанием высокой художественности анализа с глубоким постижением социально-философской проблематики явления.

В заключительный раздел тома «Литературное свершение» входят содержательные и хорошо написанные главы об Эмерсоне, Торо, Готорне. Представляет интерес глава о Германе Мелвилле, хотя и уступающая в глубине и тонкости анализа тому, что писал о Мелвилле Френсис Отто Маттисен. К сожалению, очень слаба заключительная глава раздела об Уолте Уитмене. Ее автор Генри Сейдел Кэнби пытается трактовать творчество замечательного американского писателя с фрейдистских позиций и оказывается не в состоянии по достоинству оценить вклад Уитмена не только в американскую литературу, но и в развитие мировой поэзии.

Открывающая раздел «Литературное свершение» глава «Демократические дали» повторяет заглавие знаменитой книги Уолта Уитмена, изданной в 1871 году, но отличающейся от этой главы прежде всего критическим отношением к буржуазной демократии. Хотя автор главы Дэвид Бауэрс справедливо подчеркивает гуманистические стороны американского трансцендентализма, он неправомерно обходит молчанием высокую моральную позицию, занятую Торо и Уитменом в борьбе против рабства, недооценивая значение антирабовладельческих настроений и движений для развития позднего американского романтизма. Малоубедительными представляются и попытки объединить очень разных по социальным, эстетическим и этическим взглядам «пятерых писателей». И трактовка демократии, и этический идеал различны у Эмерсона, Торо, Готорна, Мелвилла и Уитмена. Что же касается предпочтения, отдаваемого, по мнению Бауэрса, этими писателями интуиции и воображению перед абстрактной логикой или научным методом, то это

неверно по крайней мере в отношении Уитмена — достаточно вспомнить восторженное преклонение поэта перед техническим гением человека. Бауэрс видит, наконец, объединяющий этих писателей момент в их стремлении обрести истину, но к этому же стремились и многие их предшественники, последователи и современники, и едва ли это обстоятельство можно считать пригодным для типологизации «пятерых». Кажется сомнительными и параллели между Уитменом, с одной стороны, и Эмерсоном, Торо, Мелвиллом и Готорном — с другой. Из этих четырех писателей к Уитмену ближе всего Торо и в какой-то мере Эмерсон, но Уитмен принадлежит к другой эпохе, больше того, он открывает новую эпоху в литературной прозе вместе с Марком Твенном, а в поэзии США только он знаменует начало этой новой эпохи — обстоятельство, имеющее гигантское значение для понимания истории литературного процесса в США.

По глубине философского осмысления литературного процесса «Литературная история Соединенных Штатов» порой уступает изданным уже на русском языке трудам американских прогрессивных историков литературы Вернона Луиса Паррингтона, Вана Вик Брукса, Френсиса Отто Маттисена. Вместе с тем в этом труде учтены многие завоевания этих замечательных ученых, авторы его не принимают модернистские эталоны новой критики и объективно противостоят им. Вот почему при всех недостатках и просчетах книги, в которой выявляются классовые позиции ряда авторов, придерживающихся буржуазно-охранительных, а подчас и консервативных взглядов, эта книга содержит чрезвычайно познавательную, широкую картину развития американской литературы на грандиозно выписанном фоне истории американской культуры и общественной жизни, взятой во взаимодействие с другими национальными культурами и литературами, и соединяет достаточно детальное исследование творчества крупнейших художников слова с масштабностью рассмотрения магистрального развития литературного процесса в США.

Недостатки книги, связанные прежде всего с социально-философской и методологической ограниченностью ряда авторов, должны быть подвергнуты критике. Эта критика поучительна и важна для нас тем, что помогает яснее увидеть кризисные явления буржуазного литературоведения, и тем, что способствует разработке подлинно научной марксистско-ленинской истории американской литературы.

Издание на русском языке «Литературной истории Соединенных Штатов» продолжена публикация переводов основных историко-литературных исследований американских литературоведов и критиков XX века.

«Литературная история Соединенных Штатов» — по существу, единственный коллективный труд по истории американской литературы, созданный в США за последние тридцать лет

и широко используемый в качестве важнейшего пособия американскими студентами и исследователями литературы США. В последний раз он был вновь переиздан в 1974 году. Советский читатель таким образом получит возможность познакомиться не только с состоянием историко-литературной науки в США, но и с уровнем и характером изучения и преподавания там истории американской литературы.

При всей ограниченности позиций авторов книги ее материалы демонстрируют враждебность буржуазного уклада искусству и литературе, его антигуманность и вместе с тем помогают лучше понять достижения художественного гения американского народа, связанные прежде всего с его революционными и демократическими традициями.

Я. Засурский

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Литературная история американской нации началась тогда, когда первый поселенец, обладающий впечатлительной натурой, остановился на мгновение и почувствовал, что находится под незнакомым небом, дышит совсем другим воздухом, что перед ним раскинулся Новый Свет и он может полагаться только на собственные силы и Провидение. С того момента давняя тема в литературе, тема высвобождения и поисков неведомого, обновилась для цивилизованного человека и приобрела особое звучание под мощным воздействием условий неизведанного континента. С тех самых первых дней она стала существенным элементом нашей отечественной литературы, другая важная тема которой возникла из тоски по богатейшей культуре Европы, столь многое из которой переселенцы были вынуждены оставить позади.

Не удивительно, что в первые три века истории Нового Света наши собственные писатели чаще выражали эту ностальгию, чем запечатлевали дух американского самосознания, возгоравшегося в новой обстановке. Свою миссию они видели в том, чтобы быть преемниками и проводниками европейской культуры в Америке. Даже распространяя цивилизацию, они лелеяли тоску по былому и часто поэтому не замечали, как влияет на самосознание новый жизненный опыт, с такой быстротой и силой обретаемый на новом континенте.

И все же литературе новой страны предстояло формироваться скорее надеждой на будущее, нежели привязанностью к прошлому. Наблюдатели за океаном с самых ранних пор отмечали энергичность нашей словесности, ее богатство духовными конфликтами, которые в произведениях таких великих писателей, как По и Мелвилл, и у наших современников Уильяма Фолкнера, Эрнеста Хемингуэя и Томаса, Вулфа граничили с невротизмом, а порой и выходили за эти пределы. Наблюдателей поражало мощное самоутверждение нашей литературы, которое у слабых выражается в наивном высокомерии. Они с интересом следили, как постепенно возникало многоголосое расовое соединение, «раса рас» по выражению Уитмена: такого не знали в Европе со времен Римской империи,

и убеждались в справедливости замечания Мишеля Гийома Жана де Кревёра, одного из самых расположенных к нам иммигрантов, что английские собаки через два-три поколения на новой земле становились американскими норвом и привычками. То же самое было с людьми и литературой.

Первые историки американской литературы писали о ней так, как если бы рассказывали о пересаженных английских цветах и деревьях. Более поздняя школа историков подчеркивала ее демократические, психологические и экономические особенности, но в пылу полемики, в жажде утвердить нашу оригинальность они нередко оставляли без внимания непреходящие ценности в некоторых наших сочинениях. На страницах такой критики с новым проникновением в глубины их национальной значимости возникали фигуры эмерсонов, марков твеннов, уитменов; но по, готорны и все другие писатели, которые были по преимуществу художниками и чьи достоинства часто зависели от специфических обстоятельств американской истории, недооценивались.

Теперь настало время установить равновесие между теми, кто протестовал против европейского господства, и теми, кто не протестовал, тем более что мы располагаем для этого достаточными материалами исследований и критики. Цель авторов этой книги — нарисовать новую, более верную картину развития нашей литературной традиции.

2

Вполне допустимо и даже необходимо писать об американской литературе как литературе, которая восходит к европейским и особенно к британским источникам. Именно так смотрел на нашу литературу Лонгфелло, именно с этой точки зрения, полагал Хоуэллс, можно лучше всего постичь ее. Таков был подход большинства ученых, критиков и историков вплоть до двадцатых годов нашего столетия. С академической точки зрения американская литература была просто обнадеживающим ответвлением великой литературы англоязычных народов. Так оно и есть на самом деле, и такой взгляд на ее развитие с самых истоков обоснован. Даже радикал Уолт Уитмен настаивал, что здесь, на новом континенте, мы должны использовать наше европейское происхождение, а не отказываться от него. Мы и не смогли бы от него отказаться, даже если бы захотели. Родоначальники нашей литературы относятся к европейскому, преимущественно англосаксонскому, прошлому. Чосер, Шекспир, народные баллады, великая пуританская литература XVII века в Англии — все это так же глубоко унаследовано нами, как и современной литературой Британии. Английский XVIII век, английский романтизм, английский роман характеров, вся более поздняя и животворящая английская литература имеет фамиль-

ное сходство с нашей, и ее фамильное влияние на американское художественное сознание несравнимо ни с каким другим влиянием за пределами нашей страны. Строить историю американской литературы исключительно в понятиях демократии или наследия фронта, границы так же ложно, как и рассматривать ее лишь как колониальное явление. Наша культура — сплав разных элементов, и это неизбежно проявляется во всем: в газетной передовице, в марше «Тело Джона Брауна», в «Песне о себе».

Совершенно очевидно, что наша литература — это *перенесенная* европейская культура со всем богатством ее истоков в классическом мире, Средневековье и Возрождении. Совершенно очевидно, что корни нашей литературной культуры уходят в британскую словесность, которая сама на протяжении долгого времени многое впитала. Однако так же верно, что наша литература является *преобразованной* культурой. Она создавалась на новом континенте, в условиях, которые определенно и разительно отличаются в подавляющем большинстве случаев от обстановки в Великобритании и Европе вообще. Медленно, но неизбежно она обрела собственный голос, как американская речь — особый акцент. Расхождение это гораздо больше, чем разница между американскими и британскими нормами употребления английского языка, потому что литература — это речь, выражающая ценности, а с самого начала ценности, надежды, жизненный опыт в Америке были совсем иными, причем отличия продолжали бы расти, если б не все более ошутимое ныне влияние Америки на Европу.

Прогресс, например, как общее понятие, может быть, и не имеет особого веса, но, как бы мы ни называли растущую мощь и жизнеспособность — прогрессом, переменами или развитием, — именно эти черты удивительно характерны для американского XIX века, которому посвящена значительная часть этого труда. Никогда еще природа не подвергалась такому быстрому и широкому воздействию со стороны человека за столь короткий срок. Никогда еще покорение природы не давало такого простора личной инициативе, индивидуализму, уверенности в своих силах и требованиям свободы. Никогда еще неудачи в ходе этого преобразования не выливались в такое горькое чувство поражения, в потрясающие распад, бесплодие, тупое однообразие. Все это есть в американской литературе, и причины как наших успехов, так и провалов косвенно, а часто и прямо отражались в наших ранних национальных произведениях. Для нас Джеймс Фенимор Купер важнее, чем сэр Вальтер Скотт, хотя он редко достигает уровня Скотта-романиста. Мелвилл и Уитмен значат для американца и говорят нашему времени больше, чем Теккерей и Вордсворт.

Подвижность американцев на всем протяжении их истории — еще один преобразующий фактор их жизни и,

следовательно, литературы. Они двигались через континент и продолжают двигаться как по привычке, так и по необходимости. Хотя они говорят по-английски и их социально-политическая организация — англосаксонского типа, они ассимилировали миллионы людей совсем другого, неанглийского, культурного происхождения. Традиция в Америке значит не то же самое, что в Европе. Наша национальная традиция создавалась изучением и подражанием, но не реже и тем, что мы унаследовали в раннем возрасте от окружающей среды. Отсюда чрезвычайно важно соотношение так называемого американского образа жизни — что в действительности означает то, как американцы мыслят и чувствуют, — и национального единства. Наше национальное единство не зависит и не может зависеть только от кровного или только унаследованного. Поэтому естественно, что наша литература, которая есть хроника нашего опыта, всегда глубоко, часто неосознанно, ощущала ответственность за создание нации из соединившихся в добровольном союзе народов. Наша литература с самого начала исследовала и познавала, она задавала вопросы Новому Свету, бралась выявить результаты быстрого высвобождения и влияния экспансии на духовную природу, питала склонность к приключению — и на окраинах индейских земель, и на Миссисипи, и во время долгих переходов по просторам континента, — все это так восторженно поэтизировано Уитменом и столь же категорически приземлено у Готорна или По. На нашу литературу глубоко влияли идеалы и практика демократического образа жизни. Она всегда остро осознавала нужды простого человека и в равной степени — устремления личности в условиях демократии, как мы ее понимаем. Наша литература всегда была гуманистична. И в целом это была оптимистическая литература, которая достигала зрелости, критикуя действительное в сопоставлении с идеальным.

Все это преображало американскую словесность, даже американский стиль, сообщало им такие качества, которые нельзя объяснить ни категориями аристотелевой поэтики, ни изучением литературных влияний из-за границы. Современную нашу литературу, которая от комикса до сатирического романа, по сути дела, является для большинства американцев школой взрослых, могут правильно понять только те читатели, которые проследят историю этой американской традиции.

3

Тех читателей этой книги, которые не являются ни критиками, ни специалистами в литературной науке, вероятно, больше интересует сама литература, чем огромные исторические перемены, которые она отражает. К их счастью, американская лите-

ратура уже вышла из процесса становления. У нас уже достаточно длительная национальная история, она имеет периоды зрелости и свершений. Мы не хотим, чтобы у наших читателей осталось впечатление путаницы и скуки от произведений, в которых художественное воображение еще не оформилось и не вполне нашло словесное выражение. Лицо нашей литературы не определяют произведения преходящего или местного значения; подражания и бессознательные откровения, журналистские поделки, несуразности, штампы экспериментализма и коммерческой беллетристики. Все это было и есть на периферии литературы, но у нас достаточно больших писателей, в чьем творчестве отразилось то из нашей истории, что в их время могло воплотиться в формах искусства. В этой книге мы попытаемся рассмотреть многообразный и широкий опыт национальной культуры в ее движении, однако цель литературной истории — увековечить и объяснить творчество ее великих представителей и представительниц, благодаря которым эта культура сумела немало сказать уму и сердцу. Литература — как она создавалась ими и в том понимании термина, что вынесено в название этой книги, — есть любое письменное сочинение, где эстетические, эмоциональные и интеллектуальные ценности нашли совершенное выражение. Литература — это летопись человека, оставшегося в памяти поколений благодаря умению найти точные слова в верной последовательности. Это чувство или мысль, по какой-то внутренней необходимости создавшие себе форму. Литературу можно использовать — и американцы великолепно это делали — на службе истории, науки, религии, политической пропаганды. У нее нет жестких границ, искусство многими сторонами соприкасается с поучением и дискуссией. В такой культуре, как наша, которая была так тесно сопряжена с потребностями быстро развивающейся демократической нации, словесность и речь имеют способность быстро перемещаться в область полезного, где они снабжают информацией, не будя воображение, или рассказывают, не пытаясь затронуть чувства. В этой книге предстанет история литературы в границах искусства, иногда, однако, пересекающая их, чтобы показать, как наши писатели связаны с действительными фактами американской жизни. Это история книг, созданных писателями, достигшими или почти достигшими величия в литературе, которая лучше всего раскрывается, если изучать ее как неизбежный продукт американского опыта.

В эти границы вписывается такое множество выдающихся писателей, что по необходимости предпочтение в нашей работе будет отдано личностям — перед движениями и учреждениями. Нам предстоит рассмотреть просвещенный здравый смысл Франклина, человека, который первым дал понять обновлявшейся Европе, что существует еще более передовая Америка. Мы не оставим без внимания поразительный интеллект Гамильтона и

Джефферсона, отстаивавших великие дела в документах и письмах, которые стали политической классикой своего времени. У нас были заразительно-пламенные выступления Томаса Пейна, являющего полную противоположность Гитлеру в истории человеческой свободы. Еще в юношескую пору нашей нации в совершенстве владел искусством выражения Вашингтон Ирвинг — само воплощение невозмутимости в бурлящей молодой республике. В те же десятилетия не менее высокое искусство повествования обогатил Купер, который дополнил эпические сказания мировой литературы героической легендой о краснокожем индейце и пионере-первопроходце. Есть у нас Готорн с его сумрачной красотой, морализирующий романтик пуританизма, героическим поэтом которого был Мильтон; язвительный юмор Торо-индивидуалиста, пронизательная святость Эмерсона, одухотворявшего движение вперед, проникающий в душу полет воображения Мелвилла; пророчества Уитмена, искавшего и находившего новые ритмы, чтобы воспеть демократию и будущее простого человека. У нас имелись историки, которые одновременно были литераторами, и государственные деятели, подобные Линкольну, которые умели выразить в слове человеческие устремления и надежды. Был и Генри Джеймс, который взирал на обе стороны океана из Атлантиды собственного творчества, и Эмили Дикинсон, видевшая вечность из окон своего домика в Амхерсте, и Марк Твен, который отведаль горький вкус не зафиксированной в хартиях свободы, рассказывавшая смешные истории о расширяющей свои пределы Америке. Есть у нас модернисты XX века. Продравшись сквозь дымку и иллюзии романтичности и идеализма, они создали в поэзии и прозе картины психологической угнетенности и моральной неустойчивости в огромном обществе, которое преображалось с развитием промышленности. Все это, а также менее заметные тенденции духовных перемен расширили границы художественной правды. В последующих главах и пойдет речь об этих писателях, об их окружении и связях, об их произведениях, обо всем, что необходимо знать более полно, чтобы оценить их вклад в культуру Америки и всего мира.

4

Быть может, читателю этих вступительных заметок небесполезно представить американскую литературу как описание и анализ нескольких культурных волн, периодически докатывавшихся через Атлантику до наших берегов и по мере того, как они захлестывали Новый Свет, менявших форму, характер, а иногда и направление.

Первые волны, которые катились с ранними исследователями и поселенцами XVII века, сохраняли в основном свои европейские очертания и лишь незначительно видоизменялись

в зависимости от обстоятельств. По мере того как дикая природа уступала место новым поселениям и организованным общинам, иммиграция XVIII века хлынула потоком и волны культурных влияний становились сильнее и причудливее. В течение почти двух столетий им заграждали путь протяженные стены Аппалачских гор, и все же волны меняли форму и содержание, лишь немного уступая в интенсивности новизне того реального опыта миллионов, которым предстояло вести жизнь, где всего было поровну — возможностей, трудностей и опасности.

После революционной войны и установления независимости, что само по себе явилось фактором громадной силы, эта горная стена была пробита в десятке мест, и волны из приморского бассейна и новые волны из-за моря хлынули в долину Миссисипи и далее, к горам Запада и Тихому океану. Здесь, на просторах огромной пограничной полосы, колониальная культура Востока страны и позднее мощная литература того района, который сейчас является старой Новой Англией, а также литература развитого Востока и Юга была оплодотворена опытом пионеров; благодаря чувству национальной целостности она стала более динамичной, она преобразовывалась под влиянием потребностей и мировосприятия людей, которые уже не были европейцами. Региональные литературы становились литературой национальной. И хотя по-прежнему воспринимались все новые и новые идеи, из-за Атлантики уже начали откатываться к Европе и к остальному миру потоки, типично американские по своему влиянию — обратное движение, которое началось с Купера и Эмерсона в первые десятилетия XIX века.

К XX веку и особенно после первой мировой войны Соединенные Штаты уже не считались Новым Светом. Культура в стране перестала быть привозным товаром — кроме как на основе равного обмена, — а сложное взаимодействие демократии и индустриализма и новая борьба за экономическую демократию превзошли по важности любые влияния из-за рубежа. К середине века американская проза и кинематографическое искусство начали покорять воображение массовой публики всего мира, хотя американские интеллектуалы вряд ли еще сознавали этот поразительный факт.

Доступно изложить сложные процессы этого развития — дело нелегкое, для этого недостаточно лишь хронологически перечислить писателей и их книги. Однако, какое бы место и время ни избрал историк, если он посмотрит в перспективе столетия на историю американской нации, он обнаружит определенную закономерность в ее литературном развитии. Он увидит, как непритязательные и объективные записи исследователей и поселенцев, которые в большинстве случаев являются самыми ранними образцами нашей словесности, уступают место политическим и религиозным документам. Постепенно, по мере

того как крепла уверенность, что первейшие жизненно необходимые потребности удовлетворяются, возникало чувство прекрасного, но искусство на этой стадии оставалось еще либо примитивным, либо подражательным. До тех пор пока поселенец и его потомки не почувствовали себя дома в этом новом мире, они не могли создавать искусство, которое стало бы органическим выражением их опыта. Столетие — не слишком долгий срок для полного цикла этого процесса, будь то Новая Англия, Виргиния, Огайо или Калифорния. Поскольку этот цикл разворачивался во многих регионах и сходные процессы в разных местах происходили неодновременно, поскольку не было даже последовательного темпа в продвижении на Запад, историческое описание должно быть сложным, как бы проста и привычна не была схема литературной эволюции.

И все же воображение часто находит истину там, где ее скрывает переплетение фактов, и наше воображение чутко реагирует на две великие эпохи в литературной истории Америки: эру Эмерсона, Мелвилла и Уитмена и век, в котором мы живем сегодня. Первая эпоха явилась кульминацией длительного развития от колониального прошлого к становлению организованной, обладающей самосознанием нации, но нации, находящейся на пороге разрушительной Гражданской войны и экспансии на Запад, меняющей свой характер. Вторая эпоха, эпоха полного осуществления национальных целей, имеет истоки в ранних начинаниях страны, которой предстояло стать континентом по характеру территории и страной, космополитической по характеру населения, которая превратилась в такую страну и голос которой услышали и мощь которой ощутили во всем мире только в XX столетии. В какой-то мере эти два главных цикла развития взаимопроникают друг друга по содержанию и по времени, и один американский писатель, а именно Уитмен, есть, бесспорно, тот стержень, на котором региональная Америка повернулась к своей континентальной фазе. И все же эти две эпохи позволяют упорядочить факты и проследить процессы, таким образом определяя основной план этой книги. Как бы серьезно не отклонялись от общего направления анализа частности, все они поддаются организации при этом взгляде на американскую литературную историю, который мы считаем правильным.

5

В нижеследующих главах мы расскажем об истории перенесения в Новый Свет европейских идей и форм, в которых будет развиваться художественное воображение. Мы постараемся показать, что американская литература отличается от всех современных литератур Европы: ведь она возникла как из перенесенной культуры, так и из условий существования

Нового Света, радикально отличающихся в плане человеческого опыта от условий Старого Света, и, следовательно, обладает качествами, которые, очевидно, будут характерны для литературы будущего в мировом сообществе, более подвижном и одновременно более интегрированном, чем наше собственное. Мы обсудим движущие силы нашей национальной культуры, как они существовали и развивались. Мы рассмотрим по порядку развитие от колоний к республике, от республики к демократии, от Востока к Западу, от местного и регионального к национальному единству. Мы остановимся подробнее на культуре этих местностей и регионов, проследим подъем и упадок литературных влияний, школ и групп, пророков и мифотворцев, взаимодействие политики, экономики, религии и литературного словотворчества, а также те сильные побуждения к бегству, утонченности и к бунту, интерес к нуждам обычного человека, столь характерные для Соединенных Штатов. Мы соотнесем американскую литературу с периодическими общественными поворотами; когда мы то стремились стать идеальным руководителем в деле прогресса всего человечества, то отворачивались от мира, ставшего меньше благодаря нашим собственным усилиям, и стремились к изоляционизму, в рамках которого тщетно пытались решать наши специфические проблемы. И мы, разумеется, помедлим там, где речь пойдет о гении, ибо мы пишем историю литературы, а литература в отличие от политики меряется не количеством, но тем, как сильное художественное воображение кристаллизуется в слове.

*...Прибытие
и
приспособление*

I.
КОЛОНИИ

1. ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОН

1

Мир, где были основаны первые североамериканские колонии и которому предстояло стать местом рождения американской литературы, был поразительно отдален и в то же время странным образом приближен к миру человека того времени. В XVI веке «Европа» была крохотным островком, затерянным в туманной, сумрачной вселенной. В сущности, «Европа» тогда состояла из Великобритании, Нидерландов, Иберийского полуострова, Франции, Италии и «Австрии» с прилегавшими к ней территориями. Существовали еще Скандинавские страны и Германия, с ними поддерживались торговые отношения, но воспринимались они как отдаленные и дикие пространства земли: путешественники, очутившиеся, допустим, в германских гостиницах, описывали их так, будто речь шла о Сибири XIX века. Далеко на Востоке загадочно мерцала «Московия», где жили люди, еще менее знакомые западному человеку, нежели население Советской России; к югу от нее турки наступали на Венгрию и осадили в 1529 году Вену. Путешествия, совершенные капитаном Джоном Смитом * в Валахию уже в 1602 году, казались невероятными, фантастическими.

Небольшие суда, направляясь в Ливан, жались к северному побережью Средиземного моря, — таким образом капитаны надеялись избежать встречи с пиратами из мусульманского Триполи. К югу от Средиземного моря лежало нечто гигантское и неведомое под названием «Африка», где обитали антропофаги и люди, у которых голова росла ниже плеч. А где-то вдали от нее, в неверном свете блистало великолепие «Азии», с ее беспорядочно перемешанными сведениями о пасторе Джоне *, Чипанго, Камбалу и Спайс Айлендс. Для западного человека, особенно для англичанина, существовала еще одна дикая и негостеприимная земля — Ирландия, а за нею расстилалась мрачная Атлантика и такие легендарные острова, как О'Бразил. И уже за этими туманными архипелагами, где трудно было действительно существующую Исландию отделить от мифической Сибылы, — там, возможно, расстилалось нечто, именуемое Америкой. В своем «Новом введении...» (1519) Джон Растелл * писал, что «на Западе лежат новые земли» и что они, быть может,

«превосходят своей величиной весь христианский мир», но англичане не испытывали особого желания отыскивать их.

Группки образованных людей того времени стремились просветить и самих себя, и своих соотечественников относительно географии земного шара, но усилия, предпринимаемые по этой части Торном, Барло, Иденом, Хэккетом, Ди, Хэклитом и другими, не находили отклика в обыденном сознании. Мы не знаем, каков был уровень неграмотности в королевстве Глориана, но известно, что огромное большинство англичан не умело читать. Что до таинственного искусства чтения морских карт, то оно еще суровее регламентировалось гильдиями, правительственной политикой и меркантильными соображениями купцов и мореплавателей. Весьма возможно, что когда в следующем столетии Джон Донн писал о воображаемых углах круглой земли, а Мильтон не мог решить, какое из двух учений — Птолемея или Коперника — следует принять, весьма возможно, что это лишь отражало общее смятение умов английской публики. Более того, основная часть огромной литературы путешествий оставалась недоступной среднему читателю конца XVI — начала XVII веков.

В области пейзажной живописи тюдоровская Англия печально отставала от континента; в то время как флора и фауна Нового Света начали появляться на холстах итальянских и испанских художников XVI века, в Англии не происходило ничего подобного. Хуже того, литературная техника описания природы, которая открыла бы многочисленной читающей публике Америку, даже ко времени появления «Главных исследований» Хэклита (1598, 1600) с трудом пробивала себе путь через средневековые стереотипы, которыми удовлетворялись писатели от Чосера до Спенсера. Следствием этого было то, что лишь очень немногие представляли себе Америку зрительно. Когда наконец был основан Джеймстаун, мир, конечно, уже расширил свои границы и был лучше изучен, нежели во времена Себастьяна Кэбота*; и все же в глазах рядового грамотного англичанина, принадлежащего к среднему классу, они оставались зыбкими, а сам мир был исполнен невыразимых чудес и леденящих кровь ужасов. То был негостеприимный мир, в котором лишь железная решимость не быть раздавленными Испанией заставляла англичан покидать бастионы своего острова-крепости, вздымающейся в серебряном море. Эта решимость объясняет, почему в течение многих десятилетий Вест-Индия была для государственных деятелей тюдоровской Англии гораздо важнее, нежели материк. Если твои суда базируются в Барбадосе, ты можешь атаковать испанский флот, груженный серебром; ну а Джеймс-ривер и Чарльз-ривер текут слишком далеко на Севере.

Четыре миллиона англичан, населявшие южную часть Великобритании в момент, когда на престол взошла королева Елизавета, считали себя монолитной нацией. Ограничение церковной власти, в результате которого почти 90 тысяч человек полу-

чили возможность нарушить обет безбрачия; ослабление гильдий и общественных установлений, запрещавших подмастерьям жениться до определенного возраста, расцвет городов и, напротив, обнищание сельской местности — эти и иные причины привели к росту населения: от официальных 2,5 миллиона в XV веке примерно к четырем миллионам в 1558 году. Этот рост двояко повлиял на представления об Америке. С одной стороны, повысилось доверие англичан к самим себе, они решили, что наряду с Испанией, Португалией и Францией Англия тоже заслужила место под солнцем Нового Света. Если королева действительно является «Великой Леди величайшего из островов», то этот остров должен быть центром империи подданных Ее Величества, которые, «будучи взысканы особым расположением и милостью Бога, исследуют самые отдаленные уголки и области света и заселяют весь огромный земной шар».

Хэклит продолжал с мильтоновской торжественностью: «Ибо кто из королей сей земли, подобно Ее Величеству, поднял свои знамена над водами Каспийского моря? Кто из них, подобно Ее Величеству, сумел повести переговоры с персидским императором так, чтобы обеспечить своим купцам столь огромные привилегии? Видел ли кто, до начала этого царствования, английского купца у величественных врат Константинополя? Кому раньше приходилось слышать об английских консулах и посланниках в Триполи и Алеппо, Вавилоне и Бальсаре, не говоря уже о Гоа? И бороздили ли до сей поры английские суда воды великой Ла Платы, проходили ли через Магелланов пролив, курсировали ли у берегов Чили, у западной оконечности Новой Испании, там, куда не достиг еще никто из христиан?»

Все же этот прогресс обеспечивался усилиями лишь немногих избранных.

С другой стороны, рост народонаселения, сопровождавшийся появлением новых экономических сил в Европе, привел к тому, что люди, чтобы вырваться из нищеты, стали требовать права на эмиграцию. Движение за огораживание общинных земель началось сразу по окончании войны Алой и Белой роз. Генрих VII, покончив с системой вассальной зависимости, освободил тем самым богатых сеньоров от необходимости содержать в своих владениях большие вооруженные отряды. А поскольку рудники Нового Света наводняли Европу золотом и серебром, монетная система, цены на сельскохозяйственные продукты, рента, заработная плата — все оказалось в хаотическом состоянии. Постепенное возникновение рыночной экономики привело к подъему *новых людей*, пришедших на смену родовой знати, чьи ряды оскучили в ходе гражданской войны и стычек между кланами. Торговля шерстью переживала расцвет, а новые торговые договоры вели к росту городов. Старые общинные земли были, конечно, более пригодны для разведения овец, нежели для огородных по-
лос или пастбищ, по которым бродили малочисленные коровы;

к тому же овцы требовали меньше ухода. Лэтимер * говорил: «Там, где раньше были домовладельцы и арендаторы, остались лишь пастухи да собаки». *Новые люди*, желавшие получить поместье, использовали закон об огораживании, а крестьяне, согнанные со своих старых пастбищ и ферм, не имеющие собственной земли, не могущие платить ренту, выходили на дороги, стекаясь потоками к городам, зараженным пороком. Из них сформировалась армия физически закаленных нищих, против которых направлены были различного рода статуты и изданный Елизаветой Закон о нищих. Иные из этих безземельных бедняков сблазнялись безнадежными перспективами колонизации Ирландии, другие записывались на военную службу в Нидерланды. Но в начале XVII века широко рекламировались райские кущи Нового Света, где собственными руками можно было наладить фермерское хозяйство; избавление от тягот, вызванных перенаселением, стало постепенно привычной темой писем из колоний. Те, кто не умел читать, слушали их как проповеди.

Так привлекательный образ империи, с одной стороны, и давление нищеты — с другой, стали средством преодоления смуты, равнодушия, ограниченности, предрассудков и ужасов тюдоровских времен. Так Англия приобщилась в конце концов к сонму колонизаторских держав, чтобы помериться на этом поприще силами с латинскими народами. Многие из американцев удивляются, почему это произошло с таким запозданием, но потомкам колонистов стоит помнить, что, вороша летописи беспечных авантюров отцов, мы придаем им гораздо большее значение, чем они имели на самом деле. Англичане не задавались целью создать Соединенные Штаты. Наверно, утверждение, будто Джеймстаун или Бостон были основаны наобум, покажется слишком грубым; но, как бы то ни было, их основали без всякого плана — по той хотя бы простой причине, что ни тюдоровское правительство, ни теоретическая мысль той эпохи не имели ясного представления о «плантациях». Удивительно не то, что английские открытия были сделаны случайно и что колонии достигли расцвета при полной некомпетентности колонизаторов; удивительно то, что социальная раздробленность тюдоровских времен вообще могла породить идею колонизации.

2

Социальная раздробленность тюдоровской Англии была, таким образом, очевидной; очевидной была и культурная раздробленность. Три различных идеологии боролись за господство над умами англичан при Тюдорах, а отчасти и за господство в Новом Свете — Средневековье, Ренессанс и Реформация. Несмотря на величие Спенсера и Шекспира, мощный монолит средневекового порядка не пошатнулся с открытием Америки; напротив, даже в марловском «Фаусте» наряду с бессмертными

строками о язычнице Елене есть упоминание о семи смертных грехах, а описание ада столь же ярко, сколь и в знаменитой проповеди Джонатана Эдвардса.

В действительности англичане тюдоровской эпохи воспринимали окружающий мир как мост, соединяющий две бездонные вечности. По отношению к ним земля казалась просто назойливой мошкой; но, поскольку возраст ее не достиг и семи тысяч лет, история человечества не знала глубинных перемен, Троя оставалась городком, подобным Лондону, а отношение грешных поэтов к Христу вполне напоминало отношение средневековых вассалов к своему сюзерену. И пока человечество двигалось по этой узкой полоске истории, главной заботой каждого индивида было сохранить именно это отношение — иными словами, позаботиться о спасении души. Католицизм мог обернуться англиканством, но христианская эсхатология во времена Бена Джонсона оставалась той же, что и во времена св. Августина.

История начиналась тогда, когда Всевышний, осуществляя древнее предназначение, призвал видимую глазу вселенную к существованию и создал — во славу себе — Адама и Еву. Эта пара, однако, по собственной свободной воле ослушалась его, за что бог поразил проклятием родовых мук и смерти их потомков — от Каина и Авеля до сэра Уолтера Рэли *, который, хотя и вообразил, что видел могилу, где лежит Лаура, рассматривал небеса как место, где Иисус, подобно голодающему королевскому адвокату, рассчитывается со своими клиентами. Ведь бог был не только справедлив, но и милосерден; небольшой части человечества он предлагал спасение, сначала творя символические деяния, вроде спасения Ноя, а затем рождением, деяниями, крестными муками и воскресением Христа. История должна прийти к своему закономерному концу в Судный день, когда души спасенных возликуют перед лицом Всевышнего. Если и в современном библейском толковании христианская доктрина выглядит таким же образом, то этим мы обязаны средневековому наследию.

Грешника, пересекающего мост жизни, окружали разного рода сверхъестественные существа, наделенные сверхчеловеческой силой. Могущественный ангел спровоцировал первородный грех. У этого ангела были зловещие спутники, изгнанные вместе с ним из горних сфер. Это был Сатана, или Дьявол, чья главная Цель состояла в том, чтобы не дать спастись как можно большему числу человеческих душ; потому он со своими присными с такой охотой и творил различные безобразия, столь же фантастические, сколь и устрашающие. Хотя власть его и уступала божьей, его агенты обладали способностью творить чудеса. Такими агентами могли быть ведьмы либо колдуны — люди, сбившиеся с пути праведного; а могли быть и те, у которых просто не было шанса избрать путь праведный. Например, американские индейцы, чье происхождение легче всего было объяснить тем, что они — отродье Сатаны. История человечества (согласно

божественному Провидению) была жестокой войной меж Сатаной и Иисусом; поэтому историки колониальных времен, например Брэдфорд * или Уинтроп *, столь тщательно исследовали и записывали важнейшие проявления божественного промысла, раскрывая их космический смысл; и даже такой, плоть от плоти земной человек, как Джон Смит, писал о появлении лорда де Ла Уорра в Виргинии как о доказательстве того, «что и самые незначительные явления Бог заставляет служить ко славе своей».

Если бы Европа сохранилась в своем неизменном средневековом облике, господствующие концепции единой церкви, единого государства, единой системы знания могли бы перекочевать в колонии и сформировать там культуру, сходную с культурой латиноамериканских колоний к югу от Рио-Гранде. Но случилось так, что национализм, сектанство и Новое Знание уже начали подтачивать старое единство, хотя и элементы этого самого средневекового единомыслия цеплялись за жизнь, особенно в Новой Англии. Идея, будто человеческий разум, лишенный божественного откровения, может лишь частично проложить себе путь к пониманию природы вещей, эта идея была новоанглийскому проповеднику не менее близка, чем его отдаленному предшественнику — средневековому схоласту. В поисках утраченной гармонии логика Петера Рамуса * из Парижа встала на место аристотелевой традиции, а с принятием в Соединенных Штатах католической системы обучения старая схоластика оказалась в известном смысле возрожденной. Точно так же американский колонист, хоть он и ненавидел папу, представлял себе царство духа как *civitas Dei*, или царство бога, как его учил св. Августин: от своего современника католика он отличался тем, что в его глазах не Новая Англия была поражена ересью, а Рим. В конечном счете смутная концепция единства христианского мира не была утрачена из-за того, что Атлантика была пересечена. Единственное, что требовалось от Рима, — признать протестантизм.

В условиях феодальной системы у каждого человека есть свой статус. Он определяется тем местом, которое человек занимает в общественной иерархии, а также правами и обязанностями, вытекающими из его социальной роли. Это — «призвание» человека. Статус не ограничивался военной или политической профессией; он распространялся и на экономический порядок, иначе говоря, ту «практическую жизнь», в рамках которой человек мог осуществлять свою основную обязанность — служить во славу господина. «Бизнес», таким образом, тоже был частью великой драмы Времени и Вечности. Купля и продажа, осуществляемые людьми, вовсе не служили средством их личного обогащения, они осуществлялись в рамках великой религиозной цели, назначенной человечеству. Контроль над этим возлагался на церковь, феодальное право, различные профессиональные ассоциации. Церковь, например, долгое время с подозрительностью относилась к извлечению прибыли («ростовщичеству»)

как занятию, противному идее христианского милосердия, и со-ответственно вместе с государством выступала против таких форм индивидуального обогащения, как скупка товаров или монополизация рынков сбыта. Экономическая жизнь должна была вписываться в идеальный миропорядок; и поскольку этот идеал, в частности, основывался на предположении, что все имеет свою справедливую стоимость и идеальную ценность (определенную частично традицией, а частично соответствием между стоимостью продукции и рыночными ценами), закон и традиция требовали, а нередко и поддерживали стабильные цены и оплату труда. Гильдии, далее, были созданы, чтобы охранять права мастеровых в той или иной области производства; и подобно тому, как гильдия (в союзе с городом) могла стремиться к установлению справедливых цен на любой товар, она могла также и регулировать прием подмастерьев в цех. В основе этой системы, коль скоро речь шла об экономике, лежало молчаливое предположение, что город или коммуна представляют собой экономическое единство. В Джеймстауне, Плимуте и других ранних колониях эта концепция — концепция коммунального ведения хозяйства — приобрела широкое распространение и на некоторое время вошла в повседневный обиход.

Средневековая идея коммунального хозяйствования не могла, однако, сохраниться надолго, ибо люди уже вышли из того состояния невинности, которое одно только и способно обеспечить святой коммунизм. Стремление человека к обогащению — это итог его несовершенства, начиная с самого грехопадения. Но бог так распорядился историей, что, заставив Адама добывать хлеб в поте лица своего и санкционировав таким образом и частную собственность, и прибыль, он все же старался во славу свою. Только обладая собственностью, человек может сохранить свой статус в обществе, к которому он причислен богом; только любовь к богатству может заставить людей трудолюбиво увеличивать частное достояние и поэтому в свою очередь позаботиться о благотворительности. В конце концов, только собственность обеспечивает церкви дары верующих. Разумеется, первоначальным идеалом был коммунизм, что и отразилось в деятельности церкви на ранних этапах, а также в существовании таких институтов, как монастыри; но средневековые властители дум сумели набросить священный покров на феномен частной собственности: таким образом, частная собственность получила благословение от средневекового мира, и в Америке это благословение всегда оставалось в силе.

3

Итак, самое очевидное, широкое и долговременное влияние средневековой мысли на американское развитие сказалось в концепции первичности теологических ценностей бытия. Но

английские колонии были основаны после европейского Ренессанса и Реформации, которые иные из сторон средневекового наследия предали забвению, другие видоизменили, обогатив все наследие в целом собственными открытиями. Влияние Ренессанса на американский опыт было многогранным; здесь можно отметить лишь несколько аспектов: интерес к научному знанию, особый род индивидуализма, наконец концепция общества всеобщего благосостояния как автономной структуры.

Данное Джоном Аддингтоном Саймондсом * устойчивое определение Ренессанса как нового открытия мира и человека хоть и подвергается частым упрекам в недостаточности, не теряет своей силы, ибо в нем заключена живая истина. Бесспорно, Роджер Бэкон был не единственным человеком с научным складом ума в средние века. Бесспорно и то, что будь Новый Свет открыт в XII веке, человеческое стремление познать его было бы не слабее, нежели в более поздние времена; вещи все равно должны были бы получить свое наименование, и, несмотря на метафизический взгляд на реальность, открытие нового материка все равно породило бы прагматический подход к проблемам. И все же Новый Свет был дитя Ренессанса; чтобы обнаружить его разнообразные чудеса, не надо было обращаться к схоластам. Даже естественное простодушие взгляда не мешало схватить и запечатлеть явления, описать вещи в их натуральном бытии, а не так, как они выглядели на апокалиптических картинах, — начать, иными словами, закладывать основы естественных наук в Соединенных Штатах. Отчеты путешественников и поселенцев изобилуют меткими наблюдениями, сводками терминов, тщательными описаниями мысов и рек, бурь и айсбергов, живописных полей, животного мира, жизни индейцев, богатых недр, религиозных обрядов и многого другого, что мы впоследствии назвали по-своему. Средневековые путешественники умели описывать, и описывать ярко; но по сравнению с ними исследователи ренессансных времен обладали более научным складом ума. «Имаго Мунди» Пьера д'Эля, превосходный географический памятник XV века, воспламенивший воображение Колумба, начинается с тезиса о девяти сферах, существующих «согласно мнению астрологов», хотя Аристотель «признает только восемь». Качества, присущие четырем элементам, из которых состоит земля, не распространяются на небо; потому последнее не способно к развитию и не подвержено разрушениям. Если мы сравним это обращение к авторитетам и догмам с экспериментальным исследованием климата Атлантики, которое проводил во время своего путешествия к Массачусетсу Уинтроп, мы обнаружим колоссальный прогресс человечества, пусть современники Уинтропа тоже нередко апеллировали к авторитетам, а Пьер д'Эль, с другой стороны, вовсе не был лишен способности непосредственного наблюдения.

Поворачиваясь от объекта наблюдения к самому наблюда-

телю, мы лицом к лицу сталкиваемся с ренессансным человеком. Этот человек многократно и многообразно охарактеризован — но всегда со стороны его уверенности, превосходства, достоинства и сознательного развития замечательных способностей. Это преимущественное внимание, уделяемое чертам превосходства и склонности руководить, дает важный ключ к пониманию истории открытия и заселения британской Северной Америки, ибо — на ранних этапах по крайней мере — эта история в значительной степени определялась «мужами достойными и сильными». Ее великим творцам, Локу, Фробишеру, Гилберту, Рэли, Дрейку *, Смиту, хоть они и выходцы из среднего класса, в большей или меньшей степени было присуще чувство «noblesse oblige»¹. Перспектива государственной, мореплавательской, экономической, писательской, военной карьеры настолько захватывала этих людей и мгновенно поглощала их, что они чуть не забывали, будто золотые кольца Беовульфа * уже обнаружены. А те, куда более скромные, меркантильные интересы, которые и побуждали их предпринять путешествие, просто забывались. Плоть от плоти той культуры, в условиях которой старые, жесткие классовые ограничения уже не выглядели столь бесспорными, эти люди, суровые, сильные, упрямые, полагались только на чистый магнетизм собственной личности; на огромном расстоянии от Англии авторитет короля или королевы, парламента или магистрата утрачивал смысл, и они оставались один на один со своими беспокойными и своевольными спутниками. Что толкало их вперед? Они жаждали бессмертия славы, которое затмевало в их глазах обещание бессмертия души. Записки капитана Джона Смита открываются панегириком, в котором он сравнивается с Моисеем, Цезарем и Гомером:

Свой ратный труд воспой, как Цезарь в оны дни,
Сраженья и Слова навеки сохрани.

Сам Шекспир не мог бы пообещать большего таинственному У. Х. Но эти строки лишь повторяют то, что было сказано уже Хэклитом и Перчесом и повторено Дрэйтоном *:

Твой путь запечатлен,
Настойчивый Хэклит;
Читая эти главы,
Любой возжаждет славы.

Подобного рода индивидуализм носил сугубо мужской характер. Лишь немногие, подобно Рэли, будучи еще в Англии, догадывались о более утонченных сторонах ренессансной

¹ Благородство обязывает (*фр.*).

культуры и посвящали сонеты ясному челу своих возлюбленных или внимали сладкогласию лютни; в большинстве же случаев элегантные манеры и ученость не пересекали океана до начала второй трети XVII века. Исследователи, основатели были людьми, порожденными смутой тюдоровской Англии, гражданскими и религиозными войнами Европы. Они едва ли подозревали о таких вещах, как гуманизм, а истребление индейцев или папистов осуществляли с тем же надменным безразличием, с каким в свое время убивали диких ирландцев. Их карьера находилась под покровительством Фортуны, дамы, пережившей средние века, которая, распорядившись судьбами Вулси *, Кромвеля и леди Джейн Грей *, принялась за устройство жизни Эдварда Марий Уингфилда, капитана Джона Смита, «Потерянной колонии» в Роаноке и иных удивительных явлений ранней американской истории. В такой ситуации платоновские штудии, любовные сонеты Петрарки, тонкости поэтических размеров и стиля художественной прозы утрачивали смысл; сила и искусство управления людьми, безрассудная отвага и безудержный эгоизм, восхищавшие Марло и Шекспира, — вот что было необходимо для успеха. Если эти люди и читали, то библиотеки их были такими, как у Майлза Стендиша: Плутарх, «Справочник по артиллерии Бэрифа», «Комментарии» Цезаря; книги об искусстве войны подходили им куда больше, нежели Овидий.

Но одно дело — продвижение безграмотных людей в пустыню, другое — основание поселений; охотничий лагерь уступает место плантации; на смену мародеру приходит государственный деятель — и вот рождается колония. Наиболее поразительная особенность этих колоний заключается в том, что они представляют собой маленькие государства, автономные республики, нации в миниатюре. Старшие поколения историков возводят «Мэй-флауэрский договор» к традиционным свободам германского Volk¹, но точнее будет сказать, что Джеймстаун, Плимут, Масачусетс Бэй, Провиденс, Хартфорд были созданы в духе *respublica* даже в тех случаях, когда речь идет о колонии, находящейся в частном владении (например, Мэриленд). Республика может быть крохотной, но это республика, отдельное государство со своей собственной, как правило, церковью — в духе лучших традиций Ренессанса. Если, как писал Луи Лерой всего лишь за тридцать лет до основания Джеймстауна, провидение передает эстафету процветания от страны к стране, то основатели колоний вполне осознали свою историческую миссию; идея движения империи на Запад поселилась в умах людей задолго до Беркли.

Эти маленькие государства развивались в соответствии с популярными ренессансными теориями. В течение долгого време-

¹ Народа (нем.).

ни они основывались на иерархии, дисциплине, порядке. Предполагалось существование правящего класса и управляемого им «народа». Управление должно непременно осуществляться меньшинством. Гражданство было не правом, но привилегией; и жители данной коммуны вовсе не становились в силу одного этого факта гражданами государства. Правительство было чем-то, освященным верховной силой, а необходимость следить за порядком была следствием испорченности людей, независимо от того, происходит ли дело во Франции или Виргинии, на побережье Мэна или в Италии. Теория договора, поскольку она действовала на практике, вовсе не совпадала с руссоистской идеей договора между отдельными индивидами, чудесным образом осознававшими свои естественные права; напротив, «договор» заключался между правящим классом и божеством, для которого такие второстепенные вещи, как королевские хартии или свод правил торговой компании, были лишь дополнениями к основному закону. Мы не поймем раннюю историю американских колоний, если будем смотреть на нее глазами Локка *, Сэмюэла Адамса, Франклина или Теодора Рузвельта. Эти колонии обретали зрелость не в предвкушении Славной Революции, Декларации независимости или «германской» теории свободы; они были порождением — слабым, несовершенным, неоформленным, но характерным порождением ренессансных идей о природе правления и государства; и переход от этих идей к либерализму XIX века был в Новом Свете не менее болезненным, чем в Старом.

4

Излишне говорить, что Реформация также была одним из основных факторов, обусловивших развитие американской культуры. Дальнейший ход истории — это как бы растянувшееся во времени подтверждение того факта, что дух американской литературы был по преимуществу протестантским. Попытки вскрыть сложные, пересекающиеся линии влияния протестантизма будут предприняты в последующих главах. Было бы бесполезно толковать здесь о постоянно дискутируемых вопросах, например: какое вероучение — лютеранство или кальвинизм — является более демократичным; существовал ли единый американский пуританизм со своими характерными чертами; является ли протест протестантизма или мятежный дух таких ересей XIX века, как мормонизм или научное христианство, прямым следствием европейской Реформации. Широко известно, что колониальные священнослужители были людьми учеными, следовавшими традициям гуманизма, и что они старались воплотить христианские утопии (строго придерживаясь религиозной догмы) на всем атлантическом побережье. Наконец, было затрачено немало чернил, чтобы доказать, будто протестантство имело

свою эстетику, что пилигримы любили крепкие напитки и были женолюбивы. Но для истории развития мысли эти вопросы не так важны, как понимание того факта, что в Северной Европе протестантство победило гуманизм именно потому, что Кальвин не был Пико делла Мирандола, а Лютер — Эразмом. Американские колонии были порождением североευропейского протестантизма.

Если гуманизм заново открывал литературу, то протестантство заново открыло книгу. Американские колонисты, даже в Виргинии, сумели стать книжниками. Вытесняя древних сынов Израиля, как народ, избранный богом, основатели плантаций в Америке считали миссией, возложенной на них свыше, распространять царство Христа-протестанта и двигать в Новом Свете дело, явленное богом в Ветхом Завете. Толкование Библии приобрело форму попыток легализовать в новой пустыне моисеев кодекс, а в туманных страницах пророков находили значение новых американских времен. Нечто вроде *sortes biblicae*¹ вступало в союз с гражданской властью; в Сейлеме ли, в Женеве ли ортодоксия стала пробным камнем гражданственности. Если обратиться, вслед за Отто Бенешем, к ренессансному искусству в Северной Европе, то сразу становится ясно, какие глубокие изменения внес протестантизм в систему ценностей; эти изменения и породили Америку. Сравните портретную живопись Дюрера, Кранаха и Гольбейна с холстами Рафаэля, Тициана и Тинторетто. Разница заключается не в том, что пуританин отвергает искусство, а католик принимает его, и не в том, что тевтонский мир не доверяет язычеству, а латинская культура встречает его с распростертыми объятиями; разница в том, что одна культура воспитывает характер, а другая формирует личность. Мрачные лица, что глядят на нас с картин художников-северян, — это лица людей дела, людей, чья цельность внушает доверие, кто не отрицает, что в жизни есть место удовольствиям, но для кого удовольствие никогда не бывает неожиданным. Ибо они читали в Книге, что всему свое время. Короче говоря, их культура — это культура Библии в отличие от стихийной культуры стран Средиземноморья.

Для таких людей вера — их внутренний опыт; пытаюсь осознать этот опыт, они постоянно переходят от пафоса к меланхолии — не к чувственной меланхолии, заключенной в картинах Леонардо, но к той, которая стремится за пределы разумного, как в самых знаменитых гравюрах Дюрера. Переведите на язык новоанглийской теологии эту меланхолию — и она станет духовной сутью, постоянной принадлежностью и стремлением обнаружить символический смысл самых незначительных жизненных явлений — тем, что делает дневник человека, подобного Коттону Мэзеру, таким странным и чуждым для нас, Мир, чей глубо-

¹ Здесь власти Библии (*лат.*).

чайший смысл таится внутри, лишен картинного великолепия, архитектурной мощи, театрального цвета и стихотворного сенсуализма. В Америке барочная архитектура встречается лишь в латинских колониях; скупые геометрические линии наших домов XVII века отграничивают жизнь, протекающую внутри них, в отличие от испано-американских соборов, устремленных вовне, к воздуху и небу. Испанцы и португальцы основывали театры, давали концерты, рождали архитекторов, живописцев, поэтов, готовых вступить в соревнование с Камознсом; в Северной Америке читали проповеди, культивировали архитектуру жилых домов и ремесла, тут разгорались политические битвы, здесь возникла самая ученая колониальная литература, дотоле известная миру. Но ученость эта была по преимуществу теологической и самосозерцательной. Жизнь — не искусство, жизнь — осознанный долг; бережливость, трудолюбие, аккуратность — добродетели Бедного Ричарда, экономические интересы не могут скрыть этой устремленности вовнутрь. Наиболее типичным памятником новоанглийской скульптуры остается могильный камень, на котором местный ваятель высекал изображение песочных часов, скелета или головы, осененной крыльями.

В Европе XVI века протестантизм был сражающейся верой. В мире, где господствовал принцип «или — или», не было места для адептов современной терпимости; век, бывший свидетелем Варфоломеевской ночи, относился к самой идее терпимости с понятной подозрительностью. Современному читателю жесткий, ограничительный ригоризм любой религиозной веры кажется странным, отталкивающим. Тем не менее ясно и определенно заявить о своей вере — анабаптистской, квакерской, лютеранской или кальвинистской — было в то время столь же необходимо, как сегодня — о своей принадлежности к коммунизму, фашизму или либералистским убеждениям. Тот, кто не с тобой, тот против тебя, а тот, кто против тебя, — против бога, и от него, следовательно, можно ожидать любого злодейства. Джентльмен елизаветинских времен, в согласии с классовой своей принадлежностью и воспитанием, с совершенным почтением относился, конечно, к испанскому гранду; сохранились документы, из которых явствует, что в Новой Англии XVII века вежливый прием оказывался даже иезуитам. Тем не менее нас так глубоко трогает историческая слава миссис Хатчинсон *, Роджера Уильямса * и других жертв нетерпимости во времена нетерпимости, что мы склонны не замечать самое мрачное наследие Реформации на американской земле — ненависть к католической вере.

Не только тюдоровские экспедиции были направлены против Испании, не только Елизавета способствовала распространению легенд о замысленных против нее католических заговорах; нет, эти предрассудки укоренились и в Джеймстауне, и в Плимуте, они проникли в долину Шенандоа, остановили развитие прекрасно

задуманного балтиморского эксперимента в Мэриленде; более того, за исключением короткого отрезка времени до и после американской революции, они все еще определяли отношение «старых американцев» к их соотечественникам, пришедшим в Новый Свет позднее. Американская литературная история также подразумевает, что в интеллектуальном отношении протестантизм глубже католичества и что Джонатан Эдвардс, к примеру, или Эмерсон внесли больший вклад в культуру, нежели епископ Инглэнд из Чарльстона, или кардинал Гиббонс из Балтиморы. От протестантской Реформации Соединенные Штаты унаследовали идею *Kulturkampf*¹, напоминающую по сути своей, хоть не по нынешней интенсивности, борьбу в Европе XVI—XVII веков. Это одна из наиболее долговечных и наиболее удивительных традиций, дошедших до наших времен из XVI века.

Уже отмечалось, что мир, в недрах которого возникли первые английские колонии, был в высшей степени мужским миром. Однако одним из наиболее существенных наследий Реформации в Соединенных Штатах стало положение женщины. В истории Латинской Америки было немало женщин-поэтов, религиозных мыслителей, законодательниц искусств при колониальных дворах; однако это положение всегда определялось взаимодействием католических и средиземноморских традиций. В протестантском же мире — мире, характеризовавшемся господством меркантилизма и среднего класса, — женщины были по преимуществу женами и дочерьми. В американских легендах Присцилла Олден * сидит за веретеном, а героическая женщина-пионер занята домашним хозяйством. В мире, где не было женских монастырей, где не было дворов вице-королей, подобных тем, что существовали в Лиме или Мехико, на смену святой Деве пришла мать; и поразительная, уникальная чистота жития женщины в Соединенных Штатах является не менее очевидным результатом протестантской Реформации, нежели «Журнал» Вулмена * или эмерсоновская речь в Дивинити-Скул. Американская культура не породила *belle dame sans merci*² (до времен Голливуда); весьма характерным для нравов того времени является то, что первый кризис в правительстве первого из американских президентов, пришедших с границы — Эндрю Джексона, — был связан с рыцарской защитой Пегги Итон *. В Соединенных Штатах представление о женской испорченности связано с Францией — иными словами, с латино-католической культурой. Классическая американская литература лишена сексуальности, зато исполнена духа домашности; наиболее глубокое описание страсти содержится в «Алой букве», а это, как известно, книга, входящая в программу государственных школ; и когда протестантское воображение Лонгфелло исчерпало источники фольклора, Минне-

¹ Культурная борьба (нем.).

² Безжалостная прекрасная дама (фр.).

гага оказалась такой же добродетельной супругой Гайаваты, как и миссис Лафэм * для Сайласа, владельца фабрики красок.

Бесспорно, семейные добродетели — это добродетели среднего класса; в Новом Свете средний класс был в основе своей протестантским, и в поисках источника его нравственных правил мы вынуждены вновь обратиться к Реформации, которая во имя семейной морали выступила против свободы нравов и отменила безбрачие для священнослужителей. С точки зрения влияния женского вкуса на культуру место женщины в протестантской общине остается одной из наиболее существенных традиций, унаследованных нами от Европы XVI века.

К концу XVII века английские колонии, поглотившие остальные этнические группы, осевшие на побережье от Мэна до Флориды, начали самостоятельную культурную жизнь. Однако к северу и западу французы-католики продолжали упрямо и бесстрашно гнуть свою линию, а между Флоридой и Алабамой на юге и рекой Плата на севере сохранял влияние его святейшее католическое величество король Испании. Любая карта, относящаяся к 1700-м годам, покажет, что англичанам принадлежала только узкая полоска побережья. Позже они распространятся по всему континенту, пока же долгая отсрочка позволяет им приспособиться к новым условиям, пустить корни, наладить связь между разнородным наследием Старого Света и новой обстановкой. Они заложили основы колониального образования, колониальной книги, колониального печатного дела, колониальной художественной литературы. Из всего этого со временем и образовалась национальная культура, к обзору которой мы сейчас переходим. Это история того, как многообразное европейское наследие путем непрерывных экспериментов постепенно превратилось в столь уникальный феномен, что современные исследователи по обе стороны океана лишь с трудом прослеживают его европейские корни.

2. КОЛОНИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Протестантские общины, возникшие в Виргинии, Новой Англии и других местах Америки, были очень похожи на провинциальные городки и деревни Англии. Народ здесь по большей части упорно трудился, простые люди не были особенно знакомы с беллетристикой, и поэтому было бы поистине чудом, если бы вдруг в лесах Америки расцвела изящная словесность. И правда, у большинства поселенцев было мало или не было вовсе вкуса к чтению. Это были обыкновенные люди, стоявшие перед необходимостью покорить пустыню.

Хотя некоторые наиболее правоверные пуритане и квакеры активно высказывали предубежденность против многих форм художественной литературы, представляя ее себе как занятие праздное и легкомысленное, они тем не менее высоко ценили некоторые области знания. Пуритане делали упор на Библию и изучение теологии; квакеры основывались на практических знаниях, призванных облегчить существование человека. Знаменителен факт, что американские колонисты заботливо хранили знание, даже если они его и не разделяли, и, несмотря на огромные трудности, создали в области культуры предпосылки для развития литературы в XVIII веке.

Условия жизни на границе редко бывают пригодными для появления литературной продукции, а граница XVII — начала XVIII веков создавала условия особенно неблагоприятные. В некоторых колониях, тем более на Юге, типографских средств не было на протяжении едва ли не всего XVIII века. Малое количество городов тоже было серьезным препятствием для литературной деятельности на Юге. Вдохновение могло черпаться и в молодых лесах, но стабильная литературная деятельность все же более характерна для городской, а не сельской среды. До тех пор пока у колонистов атлантического побережья не появились устойчивые городские поселения, жители которых располагали хоть небольшим досугом, до тех пор пока не возникли атрибуты городской жизни — школы, библиотеки, книжная торговля, лекционные залы, печатные машины и дискуссионные клубы, — литература пребывала в стадии ожидания.

Но с самого начала американские колонисты проявляли большую заботу о том, чтобы дети их не выросли варварами в пустыне. Эта проблема равно волновала жителей Новой Англии и Виргинии, хотя средства предотвращения такой опасности разнились в зависимости от условий. В Новой Англии поселенцы сразу же организовали школы, а отцы-пуритане в 1636 году основали Гарвардский колледж, чтобы обеспечить подготовку образованного духовенства и создать рассадник знания для своих сыновей. В Виргинии плантаторы побогаче нанимали домашних учителей, а не столь преуспевающие организовывали общественные школы, общими усилиями оплачивая обучение; те, кто обладал средствами, посылали своих сыновей, а иногда и дочерей в Англию, чтобы они получили там более фундаментальное образование. В 1693 году виргинцы основали колледж Уильяма и Мэри, следуя тем же соображениям, какими руководствовались устроители Гарварда.

К 1760 году некоторые города, особенно Бостон и Филадельфия, имели превосходные средние школы, и во всех колониях заботящиеся об общественном благе горожане трудились, дабы расширить возможности образования. Правверные кальвинисты считали, что образование необходимо для борьбы с дьяволом, а общительные деисты были так же искренно убеждены, что оно нужно для совершенствования человеческой природы. Доктрина всеобщей доступности образования, которую Томас Джефферсон защищал на исходе столетия, начала осуществляться, и зародились уже движения, которые в Америке XIX века превратят идеал образования в нечто подобное религиозной страсти. До 1760 года колонисты могли пользоваться услугами шести колледжей, которые в области высшего образования делали их независимыми от Старого Света. Кроме Гарварда и колледжа Уильяма и Мэри, это были: Йель (1701), колледж Нью-Джерси (1746; позже — Принстон), Королевский (1754; позже — Колумбийский) и Чэрити-Скул в Филадельфии (1740; позже Академия и Филадельфийский колледж, а затем Пенсильванский университет). Литература на родном языке, правда, занимала в этот период очень небольшое место в официальной системе образования, но классическая риторика, а также проза и поэзия Древних Греции и Рима оказали глубокое влияние на процесс развития литературного сознания.

2

Хоть ранним поселенцам, как на Севере, так и на Юге, приходилось сталкиваться со многими трудностями, они не вовсе пренебрегали благами печатного слова. Книги, которые они привезли с собой, отличались глубиной и разнообразием, и трудно переоценить значение маленьких домашних библиотек как средства передачи литературной традиции. Описи XVII века

убеждают в широте распространения книг по всей территории колоний. Еще до конца XVII века в Бостоне было полдюжины или более книготорговцев. Одного из первых звали Иезекия Эшер, который после своей смерти, в 1676 году, оставил внушительное состояние, нажитое на книжном деле. Коробейники в корзине часто носили книги и брошюры. Коттон Мэзер предлагал ввести институт разъездных коммивояжеров, которые, по его словам, «развозили бы по стране благочестивые и полезные книги», но он же, позднее, сетовал, что коробейники, предлагая покупателям баллады и глупые вирши, способствуют падению нравов. В табачных колониях, где местные книготорговцы были практически неизвестны публике, читательские нужды кавалеров удовлетворяли английские посредники. Письма из Виргинии и Мэриленда к лондонским и бристольским коммерсантам нередко содержали просьбы о присылке определенных книг, хотя подчас плантаторы полагались на вкус своих агентов или требовали, чтобы те высылали им последние новинки.

Содержание книг, ввозимых в Америку в XVII—XVIII веках, свидетельствует о серьезных жизненных намерениях колонистов. В самом широком смысле их выбор был вполне утилитарен, и просто развлекательная литература редко попадала на полки их библиотек. Не то чтобы пикарескные истории, собрания анекдотов, баллады или иные вещи легких литературных жанров были им вовсе не известны, но они не хотели тратить большие деньги на пустое чтение. Приверженность к «полезным» книгам была равно характерна для виргинских плантаторов и для пуритан Новой Англии.

Хоть литературные вкусы новоанглийских и южных колонистов во многом не совпадали, куда более удивительна — и, может быть, существенна — та близость, которую они в этом смысле обнаруживали. Книги, имевшие наибольшее хождение до 1760 года, могут быть в целом охарактеризованы как религиозные и нравоучительные. Многие из них служили чтением и для кальвинистов на Севере, и для приверженцев англиканской церкви на Юге.

Хотя священнослужители и некоторые обычные люди получали и читали сугубо теологические трактаты, большинство предпочитало книги попроще, своего рода домашние пособия по благочестию. Книги, которые с удовольствием читались в Англии Тюдоров и Стюартов, сохранили популярность и среди многих поколений колонистов. На «Практическом благочестии» Льюиса Бейли * и проповедях преподобного Уильяма Перкинса * воспитывались как торговые люди и ремесленники Бостона и Филадельфии, так и джентльмены, жившие на берегу залива Чизапик.

В иных домах библиотека состояла из зачитанной Библии; многие покупали «Деяния и памятники» Фокса *. Оценивая культурное развитие Америки, не стоит слишком высокомерно

третировать пристрастие читателей XVII — начала XVIII веков к нравоучительной литературе. Многие из книг подобного рода сочинялись в расчете на массовое сознание, доступно и просто. Читатели-колонисты усваивали из них не только уроки этики и морали, но и манеру изложения.

Исторические труды, как классические, так и современные, занимали второе место в круге чтения колонистов. Из штудий греческих и римских историков они извлекали уроки государственного управления и знание античного мира. Тацит, например, был излюбленным автором, и Джефферсон, читавший его еще в юности, говорил, что тот был мудрейшим из писателей, «История мира» Рэли *, «История Реформации в Англии» епископа Гилберта Бернета *, труды многих других английских авторов также служили колонистам и отдохновением, и полезным уроком.

Книги по практическому поведению, руководства по домашней экономике, политические трактаты, стенограммы судебных процессов и справочники, рассчитанные как на профессиональных адвокатов, так и на любителей, книги по медицине, различные наставления по фермерскому делу, навигации, топографии и иным практическим занятиям входили в число «полезных» книг, которые колонисты покупали и тщательно хранили.

Из мастеров художественной литературы наибольшим, может быть, влиянием в XVIII веке пользовались Джозеф Аддисон * и Ричард Стиль *. Множество американцев, прочитавших «Болтуна» и «Зрителя», не могли не внимать их нравоучительному и гражданскому пафосу. Франклин был не единственным писателем колониальных времен, кто сознательно подражал эссеям «Зрителя».

К концу XVII века в кругу чтения колонистов все большее место занимают поэзия и драма, интерес к художественной литературе начинает возрастать. Некоторые мужчины и женщины с развитым литературным вкусом обращаются к «Королеве фей» Спенсера и к милбтоновскому «Потерянному раю»; еще большую читательскую аудиторию завоевывает поэзия Джорджа Герберта *, Френсиса Квэрлза * и Авраама Каули *. К середине XVIII века в библиотеках людей образованных нередко можно было найти драмы Шекспира. Примерно тогда же книготорговцы обнаружили, что оды и баллады — чтение не столь уж воспитательное — тоже пользуются спросом, как и прочая развлекающая литература, хотя серьезные люди все еще считали ее слишком фривольной и даже, может быть, порочной.

В XVII веке большинство библиотек составлялись таким образом, чтобы служить ближайшим практическим целям их хозяев, но уже к концу столетия стали появляться первые собрания книг, которые можно было бы назвать профессиональными. В самом начале XVIII века Коттон Мэзер в Массачусетсе и Уильям Бирд в Виргинии собрали солидные библиотеки; к концу

жизни у каждого из них было около четырех тысяч названий книг самого разного содержания. К 1751 году у Джеймса Логэна из Филадельфии было собрание, состоявшее из трех тысяч томов, которые он завещал городу для общего пользования. Мы обязаны сохранностью немалого количества книг и рукописей того времени библиофильским интересам преподобного Томаса Принса из Бостона. К колониальному периоду относятся и другие внушительные частные собрания, которые служили распространению знаний. Перечни одолженных книг свидетельствуют о том, что влияние частных библиотек не ограничивалось домами хозяев. С основанием первых колледжей стали появляться публичные библиотеки. Джон Гарвард завещал свои книги Кембриджскому колледжу, и этот дар положил основу библиотеке, которая с годами приобрела большое значение. К середине XVIII столетия богатая библиотека появилась в Йеле, были собрания научных трудов, пользовавшихся спросом, и в других колледжах.

В конце XVIII века преподобный Томас Брэй, стоявший у истоков «Общества распространения евангелия в зарубежных странах», положил начало систематической пропаганде морали и знаний через книги. Он разработал план пересылки приходских книжных коллекций англиканским церквям и их прихожанам в колонии. Считается, что благодаря его настойчивости в Америку было отправлено 34 тысячи томов, которые получили широкое распространение, особенно в районах, где преобладали жители Англиканской веры. В 1700 году местные власти Чарльстона в Южной Каролине приняли решение сделать приходскую библиотеку доктора Брэя общественной.

Публичные и наполовину публичные библиотеки начали возникать в XVII веке, и к 1760 году число их заметно возросло. Негоциант Роберт Кейн на собственные средства открыл в Бостоне публичную библиотеку, которой предстояло удовлетворять нужды читателей нескольких поколений. В 1700 году преподобный Джон Шарп, губернаторский капеллан, завещал свои книги для основания публичной библиотеки в Нью-Йорке; хотя к этому щедрому дару впоследствии было сделано некоторое приращение, библиотека не пользовалась известностью до тех пор, пока в 1754 году группа местных жителей не объявила подписку, позволившую купить еще 700 томов; так в это предприятие была влита свежая кровь, и в конце концов оно выросло в Нью-Йоркское Библиотечное Общество. Бенджамин Франклин играл большую роль в основании Филадельфийской библиотечной компании, которая начала функционировать в 1742 году, торговец Авраам Редвуд вложил средства для основания библиотеки в Нью-Порте, Род-Айленд; а год спустя «семнадцать юных джентльменов» положили начало Чарльстонскому Библиотечному Обществу в Южной Каролине.

Все эти учреждения, существующие и доныне, играли в ту пору видную роль. Б. Франклин, гордившийся Филадельфийской библиотечной компанией, писал в «Автобиографии», что библиотеки превращали обычных торговцев и фермеров в людей, не уступающих своей образованностью джентльменам, и они же, эти библиотеки, немало укрепляли силы и решимость американцев отстаивать свои права.

3

Развитие оригинальной литературы в колониях было непосредственно связано с соответствующими возможностями книгопечатания. В этом смысле пионером выступил Массачусетс, где в 1613 году (в Кембридже) появился первый печатный станок. Наборщика звали Стивен Дэй, и нанят он был вдовой Гловер. На этом станке была напечатана «Книга псалмов колонии Массачусетс», как и самый ранний свод законов этой колонии, и многие ученые и религиозные книги.

Дэя сменил Сэмюел Грин, чьи преемники распространили искусство книгопечатания в некоторых других колониях. Еще до конца столетия у кембриджского печатного станка появился соперник в Бостоне, городе, который скоро превратился в крупный центр печатного дела в Новой Англии. Именно там Джеймс Франклин открыл мастерскую, где его сводный брат Бен изучал ремесло наборщика. Вслед за Бостоном печатные станки появляются в Филадельфии, и к середине столетия этот город сравнялся со своим конкурентом, если не превзошел его. Уильяму Брэдфорду, первому печатнику Филадельфии, обязан своей типографией и Нью-Йорк (1693 г.).

На Юге печатное дело развивалось медленно, ибо королевские губернаторы весьма подозрительно относились к печатным станкам и поначалу пытались даже запретить их (не будь Массачусетс практически свободен от вмешательства королевской власти в течение почти всего XVIII века, вряд ли бы и тут печатное дело развивалось так свободно). В 1682 году Уильям Натхед попытался открыть типографию в Джеймстауне, Виргиния; однако вскоре им заинтересовались власти, и губернатор запретил ему заниматься этой деятельностью. В 1685 году Натхед перенес свои усилия в Мэриленд. В Виргинии же типографии не появлялись до 1730 года, когда Уильям Паркс, переселившийся из Мэриленда в Уильямсбург, не открыл здесь печатную мастерскую. В 1731 году три наборщика, работавшие до того отдельно, решили открыть типографию в Чарльстоне; но первым действительно удачливым печатником в этих краях стал в 1733 году Льюис Тимоти, партнер Б. Франклина.

К 1763 году печатное дело окончательно утвердилось во всех тринадцати колониях. Хотя цензурные правила там были разные,

да к тому же менялись с течением времени, печатники все же к середине XVIII столетия обрели известную независимость и обещали стать значительной силой в формировании общественного мнения. С самого начала XVIII века едва ли не каждый печатник стремился стать владельцем газеты, ибо издание газеты наряду с печатанием официальных документов считалось делом весьма прибыльным.

Некий автор писал в ноябрьском номере «Джентльмен мэгэзин» за 1796 год, что «газеты Массачусетса, Род-Айленда, Пенсильвании и Мэриленда не имеют себе равных во всем, что касается интеллекта, юмора и полезных наставлений». Он добавлял, что «каждый крупный город на (американском) континенте имеет свою еженедельную газету, а в иных выходит даже одна или несколько ежедневных газет». Журналистика, столь восхищавшая этого автора, достигла своего расцвета вовсе не внезапно, и начало ему положила не Революция — развитие шло и раньше, в течение долгих лет. Следует признать, что начиная с середины XVIII века газета стала таким средством выражения, которое имело далеко идущее влияние как на литературную, так и на политическую жизнь страны.

Первая газета, принадлежавшая Бенджамину Харрису и называвшаяся «Общественные события», начала выходить 25 сентября 1690 года в Бостоне и просуществовала всего четыре дня, ибо губернатор и городской совет «запретили» ее дальнейшее издание, потому что Харрис осмелился начать свое предприятие, не заручившись соответствующим разрешением. Следующая попытка в этом роде была предпринята в том же Бостоне осторожным шотландцем по имени Джон Кэмпбелл, который в 1704 году основал «Ньюз-Леттер», просуществовавшую до Революции.

К 1735 году в одном только Бостоне было пять газет, и другие города на атлантическом побережье отставали ненамного. К 1750 году в колониях выходило достаточное число газет еженедельно, а порой и раз в два-три дня.

Многие из этих ранних изданий уделяли отчасти внимание и литературе. Джеймс Франклин, к примеру, в своем «Вестнике Новой Англии» наряду с текущими новостями публиковал стихи и юморески. Согласно заявленной программе это издание преследовало развлекательные и назидательные цели. Свои первые литературные опыты Бенджамин Франклин анонимно публиковал именно в газете брата. Многие другие американцы своей недолгой литературной карьерой обязаны газетной полосе. Среди изданий, уделявших литературе наибольшее внимание, следует назвать бостонскую «Ивнинг пост», «Виргиния газетт» и «Сауз Каролина газетт». В них публиковались обширные отрывки из сочинений современных авторов — как английских, так и местных.

Бенджамин Франклин и Эндрю Брэдфорд основали в 1741 году в Филадельфии два конкурирующих еженедельника, которые,

однако, вскоре пришлось закрыть из-за отсутствия средств. Журналам в американскую литературную жизнь предстояло прийти позднее. Еще до франклиновского опыта, в 1728 году, некий Сэмюел Каймер, филадельфийский печатник, одержимый разного рода фантазиями, попытался придать литературный характер своей еженедельной газете «Всеобщее наставление по наукам и искусствам: Пенсильванская газета». Помимо попытки перепечатать современную энциклопедию, он также начал публиковать «Религиозное воспитание» Дэниела Дефо. Однако глубоко поучительный и литературный характер издания Филадельфия в ту пору переварить еще не могла, и Франклин, купивший его за бесценок год спустя, оживил «Пенсильванскую газету», несколько приглушив «литературность»; при новом издателе газета приобрела популярность.

Из нескольких относящихся к этому времени попыток наладить издание газет на иностранных языках успехом увенчались только две. Кристофер Сауэр и Хейнрих Миллер издавали соответственно в Джермантауне и Филадельфии немецкие газеты, проникнутые религиозным духом.

Для свободы печатного слова в колониях большое значение имела борьба, которую в 1734—1735 годах Джон Питер Зенгер, издатель нью-йоркского «Уикли джорнэл», вел против преследований со стороны губернатора и его партии. Арест Зенгера и суд над ним по обвинению в клевете, а затем оправдание коллегией присяжных получили широкий отклик не только в Нью-Йорке, но и в других колониях и укрепили решимость защищать свободу слова и печати.

4

Традиция публичных дискуссий оказывала сильное влияние на умы колонистов. Еще задолго до того, как газеты стали средством распространения идей, жители колоний приобрели немалый опыт в устной полемике. В законодательных органах политические дебаты вовсе не были исключительной монополией богачей или выходцев «из хороших семей». Те немногие выступления или документы, что сохранились в архивах публичных слушаний, написаны языком ярким и четким. Городские собрания в колониях Новой Англии и политические митинги на Юге прежде всего известны своим влиянием на развитие демократических институтов, однако не следует упускать из виду их связь с литературным развитием.

Церковная кафедра, особенно в XVII веке, была местом ученых высказываний о религии, этике, социологии, науке, политике — практически любой стороне человеческой деятельности. Проповеди пуритан поражают широтой своих тем, толкуемых прямо или иносказательно. Сплошь и рядом проповедникам удавалось облекать свои мысли в волнующую форму; и хотя лите-

ратурные заслуги духовенства были историками впоследствии преувеличены, служители церкви, во всяком случае, сформировали модель логического мышления и преподали своей аудитории урок правильного выражения мыслей. Пуританское духовенство Новой Англии было влиятельнее, чем духовенство других каст, но и немногие англиканские священники в центральных и южных колониях тоже способствовали интеллектуальному росту своих земляков.

Возникавшие время от времени клубы и дискуссионные собрания способствовали усилению интереса к литературе и науке. Наибольшую известность приобрело Франклиновское общество в Филадельфии (позднее — Американское философское общество), но едва ли не каждый крупный город располагал в середине XVIII века чем-то вроде дискуссионного клуба.

На протяжении всего XVII века повсеместно была распространена религиозная оппозиция театральным представлениям. Помимо предрассудков чисто морального свойства, развитию театра противостояла надолго укоренившаяся убежденность людей среднего класса, будто бы сценические постановки отдают фривольностью и являются бесцельной тратой драгоценного времени. Первый американский профессиональный спектакль был сыгран в 1703 году в Чарльстоне. Через год после премьеры в Лондоне «Нью-Ингленд уикли джорнэл» опубликовал в нескольких номерах пьесу Джорджа Лилло «Джордж Барнуэлл» (1731), рекомендуя ее своим читателям как сочинение, направленное на укрепление достоинства и благонравия (хотя бостонская цензура еще в течение долгих лет запрещала в этом городе любую театральную деятельность). Профессиональные труппы появляются в Нью-Йорке после 1732 года, а Филадельфия и Уильямсбург были в середине XVIII века свидетелями многих спектаклей, разыгранных (по собственным сценариям) студентами местных колледжей. Но в целом театр в американских колониях появился поздно и не сыграл сколько-нибудь существенной роли в рассматриваемый период.

В течение первых полутора веков колонизации и развития поселенцы направляли главную свою энергию в русло практической и утилитарной деятельности, что было вполне естественно на этом диком и неосвоенном континенте. Все же, хотя вклад колонистов в литературу был и невелик, эти занятые люди выкраивали время для умственных занятий и придавали большое значение школам, книгам, библиотекам и иным учреждениям, выходящим за пределы сугубо материальных сторон действительности. Основы более поздних значительных явлений интеллектуальной и литературной жизни были заложены в период до 1760 года.

3. ЗАПИСКИ И ХРОНИКИ

Первые письменные сочинения, возникшие в Новом Свете, могут быть названы литературой лишь в очень широком смысле этого слова. До того как англичане заселили свою полосу побережья, люди других национальностей осваивали материк от Ньюфаундленда до Мехико и от Атлантического океана до Тихого.

Путевые записки, многие из которых создавались наспех и с сугубо утилитарными целями, являются первыми произведениями нашей литературы. Это письма домой, дневники, которые велись в разгар опасных предприятий, хроники, составленные, пока память об этих предприятиях была еще свежа. Написаны они были на языках путешественников — испанском, французском, голландском, скандинавских, — иногда на английском, иногда на латыни (а порой переводились на латынь). Некоторые из них тогда же были и напечатаны, другие, в отрывках, вошли в сборники, описывающие путешествия, а третьи остались в рукописях на века. Взятые вместе, они образуют собрание документов, отражающих одно из грандиозных деяний человека, — открытие и заселение западного полушария. Ими открывается космополитическая страница американской литературы, которая спустя два века свелась к англосаксонской культурной традиции. Рассказ об этих отчетах и хрониках был бы исключительно пространен и многообразен; здесь могут быть выделены лишь основные направления и важнейшие документы. Но если миновать их, наша литература будет выглядеть более провинциальной в своих истоках, нежели она была на самом деле. Английский колониальный период был лишь эпизодом — хотя и центральным — в истории нашей культуры.

2

Предположим, что некто Лейф Эрикссон отплыл от берегов Гренландии на запад около 1000 года нашей эры; предположим далее, что некто Торфин Карлсефне десятью годами позже повторил его путь. Какие следы оставили эти путешествия?

В Королевской библиотеке Копенгагена хранятся три манускрипта — «*Flateyjarbók*», «*Hauksbók*» и рукопись, известная под названием a[rna] M[agnean] 557; все они содержат историю Эрика Рыжего. Написанные в XIII или XIV веке они относятся к событиям, происшедшим за 400 лет до того. Это старейшие из уцелевших источников, содержащие отрывки из описаний «Винландии» — страны, которая может оказаться в любой точке между Лабрадором и Лонг-Айлендом. Содержание этих «саг» не было обнародовано до того, как «Екклезиастическая история» Адама из Бремена* не увидела свет в 1595 году — более чем через сто лет после появления записок Христофора Колумба. Эти рукописи впоследствии часто переиздавались, воспроизводились в оригинальном виде, множились их критические разборы, и авторитеты то неуверенно сходились, то откровенно расходились во мнениях, разгадывая их смысл. Быть может — да это уже говорилось, — история Америки вовсе не изменилась бы, даже если бы никакой житель Севера не отплывал из Гренландии вместе с викингами на Запад. В качестве отчетов эти манускрипты не могут рассматриваться, так как они написаны много позднее событий, о которых там идет речь; как хроники они не вызывают доверия. Это просто образцы той скандинавской литературы, которые в течение времени вдохновляли американских писателей — от Лонгфелло до наших современников.

3

Что касается «романов о путешествиях» по Новому Свету, то тут лидерство сразу захватила Испания. «Из этого явствует, что героические деяния испанцев тех времен вызывают такое восхищение, что автор этой книги (не будучи испанцем) лишь воздаст им должное». Такие слова Ричард Иден предпосылает «Временам Нового Света» (1555), первому сборнику «романов-путешествий» на английском языке. Великодушие автора по отношению к Испании может отчасти быть объяснено тем фактом, что Англией тогда правила ее католическое величество королева Мария, заключившая временный союз с испанским королем Филиппом. Более 60 лет прошло с тех пор, как Колумб опубликовал свои «Эпистолы» (1493). Появилось уже не менее 17 «инкунабул» этой книги, в которой автор описывает свои открытия, но ни одной — на английском языке.

Итак, пусть литературная история Соединенных Штатов начнется в Техасе. В период между 1528—1531 годами испанец Альва Нуньес Кабеса де Васо пересек нынешнюю территорию Техаса, Нью-Мехико и Аризоны и написал книгу о своих странствиях. Его «*Relación*»¹, впервые напечатанные в 1542 году, были

¹ Здесь «Отчеты» (*исп.*).

переведены на множество языков и впоследствии выдержали не одно издание. Проникнутая религиозным духом того времени, эта книга вовсе не была, однако, заметками суеверного наблюдателя, хотя и жил автор в ту пору, когда разного рода невероятности часто проникали в литературу о путешествиях. Неточностей у де Васо положительно мало, к тому же он впервые описал двух животных, без которых американская литература была бы беднее: его опоссуму предстояло стать героем книг Джоэла Чэндлера Харриса, и чем была бы литература Среднего Запада, убери из нее бизона?

Героем следующей «сухопутной истории» является Эрнандо де Сото, который в 1539—1542 годах провел свою испанскую экспедицию из Флориды в Северную Каролину, к западу от Миссисипи. В тех местах он и умер, и драматические похороны в водах Матери Рек положили конец его карьере. Летописец его подвигов известен лишь как «джентльмен из Эльвы», безымянный португалец, спутник де Сото, чьи «*Relación verdadeira*»¹ появились в 1557 году. С его книгой, дав ей название «Высокая оценка Виргинии», английского читателя познакомил в 1609 году Ричард Хэклит (более подробно о нем см. ниже). Он вполне справедливо писал: «Эта книга... скромная на вид, но глубокая по содержанию, бросает яркий свет» на обширные и богатые места, которым предстояло стать территорией Соединенных Штатов.

В 1540 году Франсиско Васко Коронадо отправился из Мексики на наш Юго-Запад. В поисках «семи городов Сиболь» * он продвинулся в глубь на Север, достигнув границ нынешнего Канзаса. Его летописцем был Педро Костанеда, который двадцать лет спустя по возвращении экспедиции в Мексику описал ее в своем обширном и волнующем «Отчете о путешествии в Сиболу». Более трех с половиной столетий этот труд так и существовал в рукописном виде (время от времени переписываемый теми, кто не имел постоянного доступа к оригиналу), пока наконец в 1896 году не появились одновременно испанское издание и его английский перевод. Отчасти потому, что эта территория была очень мало населена (до сих пор там случается открывать новое), отчасти из-за постоянно меняющихся названий, а отчасти потому, что в те годы Юго-Запад еще не был широко колонизован европейцами, рассказ о путешествии Коронадо — Костанеды лишь недавно занял свое законное место в истории литературы США. Эта экспедиция была одним из последних достойных и буйных набегов во славу бога и золота; Кортес и Писарро достигли успеха в Мексике и Перу, ну а Коронадо потерпел поражение, ибо золота не нашел. Образ же «конкистадора» надолго остался в национальных преданиях.

¹ «Отчеты о путешествии» (*порт.*).

Менее известен, чем Коронадо, Антонио де Эспехо, странствовавший по Юго-Западу в 1582—1583 годах. Подробности этих странствий запечатлены в книге, изданной на английском языке в Лондоне (1587), «Нью-Мексика, или путешествия Антонио Эспехо, перевод с испанского подлинника, напечатанного в Мадриде в 1586 году, а затем, в том же году, в Париже»; авторство книги приписывают самому путешественнику. Современный читатель найдет подробное описание ее в «Путешествиях» Хэклита, так как ранние испанские и французские издания отыскать весьма трудно, а английское — в единственном экземпляре — хранится в Хантингтоновской библиотеке; во всяком случае, переводы и периодические переиздания свидетельствуют в какой-то мере о значении этой книги.

4

Первым французом, кто удовлетворительно описал те места, что называются сейчас Соединенными Штатами, был Самюэль де Шамплен, солдат, путешественник и «отец Новой Франции». Он умел принимать твердые решения и быстро их исполнять, выказывая ясность ума, которая, естественно, отразилась и в стиле его заметок. Виденное он описывал ярко и подробно. В своих «Путешествиях» (1613) он поведал о том, как ему первому удалось составить карту Новой Англии, а также о знаменитой битве с ирокезами, которая имела далеко идущие последствия, ибо в результате ее французы вступили в союз с противниками этого могучего племени.

Дар слова, присущий Шамплону, может быть хорошо проиллюстрирован его заметками о таких предметах, как цинга и ее последствия, а также описаниями (часто сопровождавшимися картами), например, Сент-Луиса (Плимут, Массачусетс). Несмотря на то что работы Шамплена выдержали много изданий, их полный и удовлетворительный английский перевод начал осуществляться лишь в 1922 году; многие исследователи с текстом книги в руках повторили маршрут Шамплена, имея возможность проверить и подтвердить точность его наблюдений. Читателю шампленовских «Путешествий», может быть, придет на память «Комментарии» Цезаря. Обоим вождям пришлось столкнуться с разобщенным и полудивилизованным противником. Подобно тому как Цезарь столкнулся с другом галлов, Шамплен объединился с алгонкинами против ирокезов. Оба сумели объективно отнестись к своим врагам и описать их, подчеркивая наряду с менее привлекательными качествами и многие достоинства. Данное Шампленом описание атаки на ирокезский форт в миниатюре напоминает осаду Цезарем Алезии. Оба автора увлечены техническими подробностями сражений и с удовольствием описывают их. Порой читателю даже кажется, что Шамплен

испытывал более глубокую симпатию к американским индейцам и понимал их лучше, нежели Цезарь — галлов. Весьма вероятно, если сопоставить обоих авторов, что Шамплен был более глубоко и искренне озабочен славой Франции, нежели Цезарь — славой Рима. И в целом исследователь может заключить, что из этих двоих Шамплен как писатель гораздо сильнее, чем Цезарь. Его отчет 1615 года о странствиях в северной части нынешнего штата Нью-Йорк был включен в издание 1627 года «*Voyages et decouvertes*»¹. Исследовательская деятельность Шамплена завершилась в 1616 году, и окончательные итоги своих путешествий он подвел в последней и самой объемной книге «Путешествия по Новой Франции» (1632).

Записки первопроходцев иногда — настоящая литература. Годовые отчеты торговых корпораций, правительственных учреждений, миссионерских обществ могут быть литературой в том случае, если они хорошо написаны и если широко читаются в течение ряда лет по причинам, о которых автор вовсе и не думал. Таковы, например, серии документов, известных под названием «Отчеты иезуитов». По замыслу, они предназначались для высших лиц ордена, и сообщалось в них о деятельности миссионеров в Новой Франции по сбору финансовых средств и обращению аборигенов в истинную веру «к вящей славе божьей». Иезуиты в ту пору были везде, но выражение «Отчеты иезуитов» относилось к документам, которые составлялись в районе Великих Озер в XVII веке, точнее между 1632 и 1677 годами, когда они были опубликованы в Париже Себастьяном Крамуази. В большей их части рассказывается о том, что происходило на землях нынешних штатов Нью-Йорк, Мичиган, Иллинойс, Висконсин и Миннесота. В «Отчетах» речь идет о фольклоре, нравах, экономическом положении и повседневной жизни ныне практически исчезнувших индейских племен. Писали их люди, сочетавшие физическую выносливость атлета и натренированный интеллект ученого, ибо иезуиты должны были владеть и владели искусством риторики, они имели гуманитарную подготовку и знали то, что сегодня назвали бы психологией. Хотя стимулом их писаний был религиозный дух, исследовательская пылливость миссионеров заставляла их заносить в дневники буквально все, их окружавшее, так что для многих читательских поколений «Отчеты» стали источником самой разнообразной информации. Пережив время широкой популярности, «Отчеты иезуитов» затем на два столетия практически исчезли из поля зрения, с тем чтобы возродиться к жизни во второй половине XIX века, чему, возможно, способствовало переиздание их канадским правительством (1858), а также популярность книги Френсиса Паркмена * «Иезуиты в Северной Америке» (1867) и публикация всей серии «Отчетов» в переводе на

¹ «Путешествия и открытия» (фр.).

английский язык Р. Г. Твейтса в 73 томах. Само выражение «Отчеты иезуитов» не должно заслонять от нас того факта, что все эти тома были написаны отдельными авторами, многие из которых попали в руки индейцев и стали мучениками за веру. Во всяком случае, надо запомнить имена Поля ле Жена, Бартеlemi Вимона, Жерома Лаламона, Поля Рагено, Клода Аллуэза, Клода Даблона, Жана де Бребефа и Жака Маркетта. Это были образованные люди, одержимые жадной приключений, духом католицизма и наделенные незаурядным литературным дарованием.

Побочным продуктом их трудов была «Война орденов», описание соперничества между иезуитами и францисканцами. Чиновники, исследователи, торговцы Новой Франции скорее предпочитали францисканцев, которые были куда терпимее иезуитов, в частности они признавали бренди предметом товарообмена с индейцами. Наиболее заметной фигурой среди францисканцев был брат Габриэль Сагар, историк племени гуронов, чья первая книга, снабженная словарем гуронского наречия, появилась в 1632 году. В его «Истории Канады» (1636), суммирующей прежние разыскания, впервые встречается упоминание о некоем Этьене Брюле, который появился в этих краях и, возможно, дошел до Макинака и Солта за год до того, как пилигримы высадились в Плимуте. «Premier de la foy dans la Nouvelle France» (1691)¹ брата Кретьена де Клерка представляют собой обработку отчетов Ла Саля, относящихся к его путешествиям вниз по Миссисипи, и особенно записок отца Зенобиса Мембре. Но наиболее широкую популярность среди этих мемуаристов приобрел отец Луи Эннепен, чье «Описание Луизианы» (1683), особенно там, где речь идет о верхней части долины Миссисипи, вызывает большее доверие, нежели его же «Новые маршруты» (1696), рассказ о путешествии, которого он, по-видимому, никогда не совершал, и просто воспользовался книгой Ле Клерка, где воспроизводятся отчеты Мембре. Хотя в записках Эннепена ощущается характерный для того времени литературный эгоцентризм, его географические наблюдения, его заметки о людях и нравах сделаны отлично. Быть может, в английских переводах XVII века было отчасти утрачено то, что вызывало такое доверие к оригиналу. Разве название «Эта трубка мира есть наиболее таинственный феномен в мире дикарей» точно передает смысл оригинального титула: «Il faut avouer, que le Calumet est quelque chose de fort mysterieux parmi les sauvages du Grand Continent de l'Amérique Septentrionale»². Книга Эннепена выдержала 35 изданий на пяти языках.

¹ «Premier...» (*фр.*) — «Первоначальные установления веры в Новой Франции»²

² «Il faut avouer...» (*фр.*) — «Среди дикарей великого североамериканского континента необходимо иметь трубку мира и какую-то таинственную силу».

Среди этих французов был и обаятельный барон Луи-Арман Лаонтан *. В то время как иезуиты и мемуаристы описывали день за днем жизнь американских индейцев, барон на ту же тему философствовал. 52 издания его «Новых путешествий» (1703), которые появились на пяти языках, могут дать чисто количественное представление о его работе. Но оценка сути этой книги дана критиком нашего времени, подчеркнувшим значение лаонтановского «благородного дикаря» Адарио. Этот воображаемый индеец описывает человека в его «природном состоянии» и как бы подводит логический итог тому, что было сделано в предшествующие десятилетия иезуитами и мемуаристами. Французские критики были первыми, кто подметил, что Монтескье и Руссо черпали свое вдохновение в этих французских хрониках о жизни индейцев в Новой Франции и что Французская революция началась, может быть, на землях гуронов.

5

В XVII веке, когда Центральная Европа, охваченная Тридцатилетней войной, выбыла из колониальной игры, морские нации сделали большие ставки по ту сторону океана. Две из них проиграли. Обе эти нации были протестантскими, у обеих, казалось, хватало для экспансии и средств, и энергии. Обе облюбовали земли, лежащие между Новой Англией и Виргинией. Но если голландцы, проиграв в Северной Америке, преуспели в другом полушарии, то шведы, выбрав в качестве объекта наступления Россию, потерпели неудачу и на Востоке. В речных же долинах восточного побережья Северной Америки обе эти страны были вытеснены Англией.

Некий Джованни да Веррацано, флорентинец на службе французской короны, возможно, наблюдал нью-йоркскую бухту еще в 1524 году, но с той поры и вплоть до 1609 года белый человек фактически не появлялся в этих водах. Эммануэль ван Метерен составил первое описание путешествия Генри Гудзона, капитана «Полумесяца», корабля, шедшего под флагом «Голландской Вест-Индской компании». Метерен писал в 1610 году: «Достигнув 40 градуса 45 минуты западной долготы, они обнаружили между двумя мысами удобный проход и 12 сентября вошли в такую чудесную реку, какую можно себе только вообразить». Так река Гудзон появилась в американской литературе, но сам Метерен никогда не был в Америке — рассказ о путешествии Гудзона был лишь частью его истории Нидерландов.

Более подробное описание дал Роберт Джэйтт, английский матрос из команды «Полумесяца», которое Перчес включил в свои «Странствия» (1625). А еще интереснее была книга Иоганна де Лаэта, опубликованная в том же году. Один из директоров Вест-Индской компании, он был образованным дельцом

и, кроме того, совладельцем большого издательства «Эльзе-вир». Здесь под псевдонимом Авраам он и опубликовал свой «Новый Свет», первый труд, посвященный исключительно голландским колониям, причем Новый Амстердам был только одной из них.

Это все, что можно сказать о «Северной реке», или реке «Гудзон». Что касается реки «Южной», или «Делавер», ее летописцем стал Дэвид Питерзон де Фрис, чья «Korte historiael¹», опубликованная в 1655 году, рассказывает о его странствиях по «четырем сторонам земного шара», которая основывается, по-видимому, на журналах или отчетах того времени. Поначалу он отправился в бывшее поселение голландцев «Сванендел» (неподалеку от нынешнего Льюиса, штат Делавер), промышлял там небольшой торговлей, а затем перебрался в более перспективный Новый Амстердам, пребывание в котором между 1633 и 1643 годами впоследствии и описал. Как один из видных граждан, патронов колонии, он высказывал естественное пристрастие к местным порядкам и нередко критиковал администрацию Вест-Индской компании. Наблюдения Фриса характеризуют его как человека энергичного и одаренного, слог его одновременно ярок и причудлив. Его книга была иллюстрирована отлично выполненными гравюрами на меди (включая портрет автора), которые, как и сама проза, иногда выдают наивный плагиат.

Книга Андриена ван дер Донка «Beschryvinge van Nicuw Nederlandt»² (1655) представляет собой в некотором роде более надежный источник. Ее автором был голландский адвокат, которому в юности прочили финансовую карьеру; в частности, ему предстояло собирать арендную плату под руководством великого Килиена ван Ренселлара. Однако у него возникли разногласия с этой важной персоной, ибо порой ему случалось вставать на сторону арендатора, который не мог в срок выполнить своих обязательств. Это послужило импульсом к написанию «Vertoogh van Nieu-Neder-Land»³ (1650), одной из первых в длинном ряду «книг-протестов», изображающих бедственное положение арендаторов в долине Гудзона; подобного рода книги продолжали выходить вплоть до самого начала «антирентовой» войны в середине XIX века. Хотя в начале своей работы над книгой автор пользовался поддержкой губернатора Петера Стайвесанта, позднее он вступил в конфликт и с этим вельможей и в ходе сочинения «Beschryvinge» был лишен доступа к официальным источникам. Его работа представляла собой скорее описание фактов, нежели связный сюжет, но описание это было весьма точным.

¹ «Краткая история» (голл.).

² «Описание Новых Нидерландов» (голл.).

³ «Обзор Новых Нидерландов» (голл.).

Недолго просуществовавшая колония Новая Швеция с литературной точки зрения развивалась в рамках привычных жанров — было опубликовано несколько книг, написан по крайней мере один основательный отчет, который увидел свет лишь два века спустя, но на который, однако, опирались позднейшие авторы. Инженер Петер Мартинсон Линдстрем, в 1653—1654 годах посетивший шведские поселения по берегам реки Делавер, по возвращении на родину посвятил себя составлению «Географии Америки» (опубликована в 1925 году). Первая подробная хроника — «Kort beskrifning om provincien Nya Sverige»¹ — была написана в 1702 году Томасом Кампаниусом Холмом. Автор никогда не бывал в Америке и в работе своей опирался на записи, оставленные его дедом, пастором Кампанисом Холмом. Последний в течение шести лет проповедовал в колонии слово божье и перевел на язык индейцев племени ленапе «Катехизис» Лютера (1696). Быть может, лучшим среди авторов шведских хроник был Израэль Акрелиус, занимавший в 1749—1756 годах церковную кафедру в Кристине (Уилмингтон, Делавер). Его «Beskrifning... om Nya Sverige» (1759), будучи скорее духовным сочинением, содержит в то же время меткие описания тех краев и людей, их населявших. Стоит упомянуть о любопытной серии «диссертаций» об Америке, изданных в университете города Упсала в XVII веке; одна из них, написанная в 1731 году Тобиасом Эриком Бьёрком, может считаться первой подобного рода «диссертацией» о Пенсильвании, автором которой был коренной пенсильванец.

6

Бесценный вклад в литературу о британском завоевании Америки внес Ричард Хэклит. Этот ученый, коллекционер, редактор в своей небольшой книжке «Различные приключения» (1582 г.) познакомил соотечественников с открытиями, сделанными в Америке Кэботами, Веррацано и Рибо. Хотя его обычно называли географом и историком, Хэклит был прежде всего собирателем прозы тех лет, причем занимался он этим именно тогда, когда спасти ее от забвения было особенно необходимо. В 1589 году появились «Главные исследования, путешествия и открытия английской нации», том *in folio*, который при последующих изданиях втрое увеличился в объеме. Для Америки это было сочинением первостепенной важности, ибо автор обработал все известные тогда описания и отчеты исследователей и сделал таким образом эти первоисточники достоянием потомства. Стилистически книга неровная: слишком много авторов собрано под одной обложкой, но ценность самого материала заставляет пренебречь его литературными качествами. После

¹ «Краткое описание провинции Новая Швеция» (*ив.*).

смерти Хэклита еще оставалась масса необработанного материала. По удачному стечению обстоятельств он оказался в руках человека тех же профессиональных интересов — Сэмюэла Перчеса; он и продолжил работу, опубликовав «Посмертные записки Хэклита, или Странствия Перчеса» (1625). К тому материалу, что достался ему в наследство от предшественника, Перчес добавил немало из того, что ему самому удалось разыскать. В целом его редакторская работа много уступает работе Хэклита, и все же потомство благодарно ему.

Первая английская книга о первой английской колонии в тех местах, где расположились ныне Соединенные Штаты, называлась «Краткое и правдивое описание вновь открытой земли — Виргинии» (1588), автором ее был Томас Хэриот, оксфордский профессор математики. Именно его выбрал Рэли для участия и последующего описания экспедиции 1585 года. В результате появилась небольшая книга, которая навсегда останется «первой» в литературной истории английских колоний, легших в основу нынешних Соединенных Штатов. Книга наглядно подтверждает тот факт, что ясный и твердый ум может создать достоверное и удобочитаемое произведение. В сжатой форме автор описывает богатства североамериканских земель, нравы и привычки индейских аборигенов, возможности колонизации. Книга сразу же была переведена на латынь, французский, немецкий языки, не раз переиздавалась. Но ее выдающееся место в истории литературы объясняется также и тем, что в качестве спутника столь опытного наблюдателя Рэли послал художника Джона Уайта, сделавшего сотни акварельных набросков с натуры. В то же самое время Теодор де Брай, издатель из Франкфурта-на-Майне, задумал публикацию серии географических текстов, иллюстрированных гравюрами (в полную страницу величиной) с рисунков, которые возвращавшиеся в Европу путешественники привозили с собой. Эти серии де Брай превратил в периодические издания наподобие нынешних «Иллюстрейтед Ландон ньюз» или «Лайфа». В первую серию (1590) вошли записи Хэриота, иллюстрированные рисунками Джона Уайта, — до 1625 года эта книга выдержала по меньшей мере 19 изданий. По тому, как много подражаний в литературе и живописи вызвали впоследствии и текст Хэриота, и рисунки Уайта и де Брая, можно судить о широкой популярности этого издания. Ни в одной из других английских колоний в Америке не появлялось ничего подобного. Таким же образом де Брай издал «Замечательную историю Флориды» Рене Гулэн де Лодонье — трагическое повествование о колонии гугенотов во Флориде, замысленной адмиралом Колиньи и основанной Жаном Рибо, — колонии, погибшей во время резни, устроенной испанцами. Лодонье тоже выступил в соавторстве с художником Жаном Ле Мойном, чьи рисунки оказались во Франции и были использованы де Браем в качестве иллюстрации к «Флориде» (1592).

Здесь надо указать на различие между «искателями риска» и «основателями». Первые «рисковали» своими деньгами (вкладывали их), но не жизнью, женами или работой. Вторые «основывали» дома и засевали землю. Слово «плантация» не обязательно предполагало щедрый урожай табака, сахарного тростника или риса, оно употреблялось и для обозначения такого скудного почвой места, как «Провиденс плантейшн». Поэтому и рекламная литература, имеющая целью поднять с насиженных мест пока отсутствующих «искателей риска», должна была предшествовать такой книге, как «Рекламы для неискушенных основателей Новой Англии» (Лондон, 1631), об авторе которой и пойдет сейчас речь.

Старому доминиону, Виргинии, оказался нужен не осторожный Хэриот, но веселый романтик и доблестный солдат капитан Джон Смит. Плохо ли хорошо, но тот факт, что он был «губернатором Виргинии», заставил потускнеть его титул «Адмирала Новой Англии» и главное стремление последних лет жизни — основать колонии к северу от залива Чизапик. Загадка его писаний может быть хорошо проиллюстрирована историей книги Джозефа Сейбина «Словарь книг, посвященных Америке». Это замечательное сочинение стало печататься в 1868 году и прекратилось в 1892 году, когда автор дошел до имени «СМИТ, Джон». В состоянии незавершенности книга оставалась в течение 26 лет, пока целый синклит ученых, библиофилов, при поддержке различного рода благотворительных организаций, не сдвинул дело с мертвой точки и не привел работы Д. Смита в порядок. Равным образом критики и библиографы потратили 300 лет на то, чтобы выяснить, что же в конце концов Джон Смит написал, опубликовал, а главное — о чем все это было написано. В те яacobитские дни авторы не всегда следовали канонам исследовательского дела, принятым в XX веке. Если путешественник, описывая увиденное, отходил от фактов, ему надо было быть готовым к тому, что какой-нибудь другой участник экспедиции проверит и опровергнет его. Кортес поведал историю завоевания Мексики, что побудило его спутника Бернала Диаса уточнить его рассказ в собственной книге. Но что касается Джона Смита, то его современники были удивительным образом склонны не поправлять его рассказы, а просто не замечать их. Возьмите историю с Покахонтас * — а мимо нее не пройдешь. Смит описал ее в 1608 году, строго придерживаясь фактов. Переказанная, однако, в 1624 году, она чудесно обогатилась красочными подробностями. Быть может, вариант 1608 года — история, а вариант 1624 года — литература. Марк Твен охарактеризовал подобного рода запоздалые прозрения одним словом — «рукоделия». Быть может, у Джона Смита и вправду было приключение с очаровательной индейкой, но в первом рассказе об этом нет ни слова, и спутники Смита — Эдвард Уингфилд, Ралф Хэмор и Кристофер Ньюпорт — тоже о нем не упоминают. Или вот

еще — история первой английской церкви в Америке. Другие тоже писали об этом, но только Смит своим живым слогом изобразил 25 лет спустя (в 1631 году) эту первую наспех сколоченную епископальную церковь. Мы никогда не узнаем, было ли описание верным, но ни один художник, скульптор или даже автор диарамы не отважится воспроизвести это памятное сооружение без грубо вытесанных деревянных скамеек и парусиновой крыши, освященных авторитетом Джона Смита. Из трех его книг — «Истинный рассказ о событиях в Виргинии» (1608), «Общая история Виргинии» (1624) и «Судебные процессы в Новой Англии» (1620) — вырисовывается вообразаемый портрет автора. Описание того, чему автор был свидетелем, что с ним случилось, рассказ о его чудесных избавлениях, неудачах, триумфах, о собственном неочтенном величии раскрывают перед нами образ эгоиста, всегда вызывавшего восхищение и не всегда — доверие.

7

На протяжении XVII века пионерский дух Нового Света претерпевал изменения, и вместе с этим менялось содержание репортажей и хроник. После 1607 года количество поселений на атлантическом побережье начинает возрастать. Письма и дневники XVII—XVIII веков свидетельствуют о трудностях, встреченных и преодоленных, о планах жизни, которые были в конце концов осуществлены. Представляя интерес для своего времени, рассказы об этих долговременных поселениях — в большинстве своем английских — стали непосредственной частью нашей литературы. Они стоят у истоков нашей культурной традиции в ее специфическом и с той поры доминирующем англосаксонском обличе.

Хотя впервые Плимутская бухта была описана Шамплемом, именно капитану Смиуту суждено было нанести слово «Плимут» на ту точку карты, которую он занимает до сих пор. Не прошло и шести лет, как в эти края явилась группа английских сепаратистов, которые и сами дали образцы местной литературы, и вдохновили на ее создание потомков. Первая книга о колонии «Пилигримов», по-видимому, основана на отчетах, отправленных Уильямом Брэдфордом и Эдвардом Уинслоу * с возвращающимся в Англию «Мэйфлауэр». Однако, поскольку рукопись была напечатана в типографии некоего Джорджа Мортона, одного из членов первой конгрегации в Скруби, ему и было приписано авторство «Отчета, или журнала об основании и развитии первой английской плантации в Плимуте, Новая Англия» (1622); название было, впрочем, столь длинным, что тотчас же его сократили до «Отчета Мортона». Его значение определяется тем, что в отличие от «Журнала» самого Брэдфорда «Отчет» совпадал по времени с событиями, в нем отраженными; таким образом, это было единственное современное описание путешествия на «Мэй-

флауэр», точно так же, как и единственное описание первых месяцев жизни плимутской колонии.

Гораздо большую известность приобрели два журнала: Уильяма Брэдфорда, пожизненного губернатора Плимута, и Джона Уинтропа-старшего, занимавшего такое же положение в Массачусетсе. Оба журнала существовали долгое время лишь в рукописях — журнал Брэдфорда до 1756 года, Уинтропа — до 1790 года. Несомненны простота и откровенность литературного стиля Брэдфорда, безусловно и то, что он отлично изобразил жизнь пуритан. Характер Уинтропа был посложнее, и он не всегда выказывал то христианское милосердие, что отличало его современника из Плимута.

Эти основатели Новой Англии, написавшие историю поселений точно так же, как и другие, о ком речь пойдет ниже, были не просто образованными людьми — они были людьми хорошо образованными. Даже оставаясь в ограничительных рамках своих религиозных воззрений, они обладали способностью ясно видеть, размышлять. На новых землях, где они предполагали осесть навсегда, они выступали и как «основатели», и как «искатели риска». И неизбежно в конце концов они должны были взять в руки перо и описать пережитое и сделанное. Неверно, однако, было бы выделять кого-либо среди этих людей и рассуждать о них и их писаниях. Это были индивидуальности и индивидуалисты — потому прежде всего они и пришли в Америку. Объединял их пиетет по отношению к своей собственной секте, и соответственно мыслили они в терминах собственных представлений о верховной силе. Но следует помнить, что если они и проявляли время от времени нетерпимость к инакомыслию, то и сами были жертвами нетерпимости; если они были враждебно настроены по отношению к иным иммигрантам, допустим к квакерам и католикам, чьи взгляды отличались от их собственных, то не потому ли, что пуританам Америка виделась большой страной, где места хватит каждому, и диссидентам лучше поискать счастья на ее широких просторах? Несогласным следует отправиться в иные необжитые дали, а тюрьмы и порка, которыми их подвергали пуритане, как раз и должны были устранить любые сомнения на этот счет. Верно, они делали культ из упорного труда; но объяснялось это не только тем, что они и впрямь должны были работать, чтобы устроиться на довольно-таки скудной земле и в условиях холодного климата, но и тем, что они действительно любили тяжелый труд.

Язык, на котором они говорили, был языком их времени, языком появившейся тогда Библии в издании времен короля Якова, и язык этот во многом повлиял на становление литературного стиля. Библию в этом издании и теперь можно читать, как и другие книги пуритан.

Хотя литература Новой Англии, относящаяся к этому периоду, будет более подробно рассмотрена в последующих главах,

все же и здесь следует вкратце остановиться на тех отчетах и хрониках, в которых запечатлен процесс освоения новых земель. Сучком в глазу серьезных жителей Плимута был Томас Мортон, «джентльмен», упорно державшийся за свой магазинчик, в котором торговал спиртным и оружием (и даже хуже) где-то между Бостоном и Плимутом. Плимутские жители дважды изгоняли его из этих мест, тогда он принялся за свой «Новоанглийский Ханаан» (1637), впоследствии изданный в Амстердаме. В этой книге представлен «отчет» о происходившем с точки зрения, решительно расходившейся со взглядами терпеливого губернатора Брэдфорда, которому приходилось заниматься делами автора. Да и какое тут могло быть согласие, когда последний отзывался о Майлзе Стендише не иначе как о «капитане Креветке».

Совсем другим Мортонем, хоть и носившим ту же фамилию, был Натаниел, один из первых «отцов-пилигримов» и малоизвестных политиков Плимута. Используя неопубликованные работы Брэдфорда и Уинслоу, он написал «Новоанглийский мемориал» (1669), где рассказал, опираясь на собственный опыт, о тяжелой жизни в этих краях. Более интересны «Перспективы Новой Англии» (1634), автор которых, Уильям Вуд, с непринужденным изяществом воспроизводит природу родных мест, перемежая прозаические куски вполне добротными стихотворными строками.

Иной характер носила «История Новой Англии» (1654) Эдварда Джонсона, в которой описываются события между 1628—1652 годами и которую автор сопровождал, в надежде привлечь внимание, глубокомысленным подзаголовком — «Чудотворные знамения Сионского спасителя в Новой Англии». Эта книга представляет собой безыскусный рассказ о повседневной жизни, до которой редко снисходили другие авторы. Но не в этом состояла главная задача сочинителя. Он стремился доказать, что сама верховная сила предопределила успехи колонии Массачусетс; что она лично заинтересована в таких вопросах, как цена скота и меткость Майлза Стендиша, когда он стрелял в индейцев. Книга выдержана в ревивалистском стиле и обильно усажена стихотворными пассажами сомнительной ценности. Более интересен труд Джона Джослина, совмещавшего в себе зоолога и ботаника и написавшего книгу «Открытие раритетов в Новой Англии». На нее обратило внимание Королевское общество, что заставило автора написать «Рассказ о двух путешествиях в Новую Англию» (1674), в котором наряду с научными сведениями содержатся советы поселенцам и скрытые нападки на пуритан.

К концу XVII века колонии уже настолько прочно укоренились, что у них появилась история, достойная описания. Среди историков, порожденных Новой Англией, — Уильям Хаббард, Томас Принс и Томас Хатчинсон — писали и о современности, и

об отдаленных временах. Хаббард был священником, и его «Описание конфликтов с индейцами в Новой Англии» представляет собой красочный рассказ о тех войнах, которые впоследствии стали связываться с именем индейского короля Филипа *. Хаббард сам прошел через эти стычки, и хотя порой кажется, что он готов присоединиться к генералу Шеридану, сказавшему, что хороший индеец — это мертвый индеец, он все-таки имел верное представление о своем времени. Большие амбиции высказал автор в другой своей работе — «Общая история Новой Англии со времен открытия до MDCLXXX», в которой он опирался на более ранние сочинения Мортон и Уинтропа. Книга была опубликована только в 1815 году, но на нее широко ссылались историки следующих поколений, особенно Коттон Мэзер и Томас Принс. В отличие от Хаббарда — историка, который оставался священником, — Принс был священником, посвятившим себя истории. Наверное, он был напористым малым. Поначалу он выступил в печати как автор проповедей, что побудило его написать введение к жизнеописанию Коттона Мэзера; затем он всерьез занялся мэзеряной и наконец пришел к честолюбивому замыслу создания «Хронологической истории Новой Англии», первый том которой вышел в 1736 году. В этой примечательной работе Принсу, кажется, удалось преодолеть ограниченность предмета своих ранних сочинений и выработать стиль, в равной степени живой и достаточно объективный. Все же его историческое сочинение тонуло в массе подробностей, к которым он с похвальным усердием стремился.

Томас Хатчинсон обладал иным, гораздо более обширным опытом, нежели эти священники. То был образованный джентльмен, коммерсант, юрист, светский человек, губернатор Массачусетса. Первый том его «Истории колонии Массачусетс Бэй» появился в 1764 году, и, хотя по нынешним временам это довольно скучное чтение, прием, оказанный книге в те годы, побудил его продолжить работу с тем, чтобы довести описание до 1750 года. Консервативная позиция, занятая им во время беспорядков вокруг «Почтового Акта», привела к тому, что в его бостонский дом ворвалась толпа и разбросала бумаги. Очистив их на следующий день от грязи (впрочем, пятна и до сих пор видны на рукописи), Хатчинсон, не остановленный дурным поведением своих сограждан, завершил работу над вторым томом, где весьма изящно описывал события, которым сам был свидетелем. Оказавшись во время Революции на стороне проигравших, он не сумел преодолеть предрассудки (они сказались в третьем томе) и понять, что его мир меняется.

Вскоре после того, как голландцы отдали Нью-Йорк англичанам *, появились две небольшие книги, которые в силу их исключительной редкости не завоевали той известности, которой заслуживают. Дэниел Дэнтон, уроженец Лонг-Айленда, опубликовал в 1670 году «Краткое описание Нью-Йорка, ранее

называемого Новыми Нидерландами». Поскольку это первое описание Нью-Йорка на английском языке, вышедшее отдельной книгой, следует обратить внимание на утверждение автора, что «он писал лишь или главным образом о том, что видел собственными глазами», заметим также, что он всячески отвергал как нелепые притязания индейцев и голландцев на владение недвижимостью в этих местах, но при этом недвусмысленно утверждал, что обездоленных Старого Света здесь ждет рай. В следующем году появился крохотный томик, принадлежащий перу первого американского священника, получившего кафедру в Нью-Йорке, — Чарльза Уолли. Его «Журнал двух лет, прожитых в Нью-Йорке» примечателен лишь анекдотической историей о том, как автору удалось примирить двух драчливых проповедников — лютеранина и кальвиниста, — которые оставались тут со времен голландской колонизации. Эти двое, пишет Уолли, «вели себя по отношению друг к другу так воинственно и неблагочестиво, как если бы Лютер и Кальвин завещали свой фанатический и воинственный дух им и их потомкам».

Среди многих публикаций Уильяма Пенна * лишь немногие относятся к великой колонии. Его «Некоторые замечания о провинции Пенсильвания» (1681) были написаны еще до того, как он поднял паруса, и все же в них есть такая фраза: «Колонии — это семена наций». В «Системе правления» (1682) утверждается: «Любое правительство свободно по отношению к тем, кем оно управляет, в том случае, если правят законы, а люди им подчиняются». Это почти на столетие предвосхищает мысль, заимствованную Джоном Адамсом * у Жана Бодена: «В последнем итоге это должно быть правительство законов, а не людей». Прибыв в Филадельфию, Пени послал доклад «Свободному обществу ремесленников» («Письмо от Уильяма Пенна», 1683), документ по преимуществу описательный, но содержащий бесценный вступительный абзац, в котором автор тактично опровергает то, что сообщали о нем в Лондоне его недруги, и свидетельствует, что он жив к не стал иезуитом. Вернувшись в Лондон, он опубликовал «Новые заметки» (1685), которые заключаются такими словами, обращенными к будущим эмигрантам: «Будьте сдержанны в ожиданиях, знайте, что урожаю предшествует труд, а прибыли — затраты», — никакой предприниматель не мог бы дать лучшего совета.

Поскольку сказанное Пенном о Пенсильвании составляет самую незначительную часть его литературного наследия, исследователю надо обратиться к книге Томаса Бадда «Добрый порядок, установленный в Пенсильвании и Нью-Джерси» (1685) — превосходному образцу печатной продукции XVII века, где автор пытается суммировать содержание книги уже на титульном листе. Немногие образцы колониальной рекламной литературы столь сжато объясняют, что буржуазное накопление есть христианский долг, приносящий семь процентов прибыли.

«Принимая во внимание тяжелые условия, в которых живут тысячи семей на моей родине, чему причиной упадок торговли и безработица, зная, что у многих скопились большие суммы денег, лежащие без употребления, и что эти люди с готовностью употребили бы их на то, чтобы поддержать в беде обездоленных, дабы освободить их от гнета рабства и нищеты, под коим они стонут — если, конечно, эта помощь самим дающим не нанесет ущерба, — принимая во внимание все это, я и написал мой небольшой трактат в надежде на то, что богатые помогут бедным и тем самым одновременно сами извлекут большую прибыль».

Практический тон, свойственный наставлениям Бадда, господствовал во всех отчетах и хрониках, точно так же, как и в других видах литературы южных колоний, о которой речь пойдет в следующей главе. Даже государственные служащие, как, например, Джон Хэммонд и Джордж Олсоп, восхваляя жизнь пионеров с ее земными радостями, толковали о ней и более серьезно, описывая истории Роберта Беверли и Уильяма Стита. Характерными в этом смысле были сочинения Джона Ледерера и Томаса Эша.

Путешественникам новых времен будут все шире и шире открываться «горизонты» Блю Ридж, Долины Шенандоа и покрытых дымкой гор, расположенных в глубине Виргинии и Северной Каролины. О первом же летописце этих краев известно мало, осталась лишь книга «Открытия Джона Ледерера, сделанные во время трех путешествий из Виргинии на запад Каролины» (1672). Англоязычному миру Ледерер представил геологию, растительный мир и коренное население этих мест. Выходец из немецкой семьи, он писал на латыни, с которой его книга и была переведена на английский неким членом виргинского «Совета», увидевшим в ее авторе «скромного, настоящего человека и недурного ученого». Можно предполагать, что Ледерер был первым, кто поднялся на аппалачский перевал и заглянул в те дали, которым предстояло стать Средним Западом.

В поисках красочных описаний читатель обратится к Томасу Эшу, который, укрывшись за инициалами «Т. Э.», дал в «Каролине» (1682) своего рода синтез основ развития хозяйства этого края. Он обращает внимание на два продукта, выделяемых из кукурузы: мамалыгу и алкогольный напиток, для получения которого кукуруза «вымачивается; доведенная до стадии брожения и разбавленная «алембиком», она дает крепкий напиток, напоминающий бренди». Эш, как и губернатор Джон Арчдейл, были добросовестными авторами, в пределах, разумеется, научного знания тех времен. Высказывая мысль, будто «всемогущему Богу угодно насыпать необычные болезни» на индейцев, так как, для того чтобы расчистить место для белых людей, «необходимо проредить варварские индейские расы», Арчдейл явно выдает тот факт, что ему приходилось жить в северных общинах с их

библейским духом. Все же он ощущает, говоря так, некоторое смущение и успокаивает себя тем, что английским колонистам «придется отвечать за меньшее количество индейской крови, нежели испанцам».

Итак, открытие и заселение континента описывалось теми, кто сам принимал участие в нем. Обаяние примитива присуще не только стилю, но и самому формату этих старых книг. Но более всего привлекает то, что в них отразились чувства человека, который был свидетелем и участником происходящего, а не позднейшего толкователя, как бы учен он ни был. Если «цель любого писания состоит в том, чтобы развлечь», то и сейчас сыщутся люди, которых развлекают эти поползновения на изящную словесность со стороны дородных кортесов, не желавших хранить молчание в горах Дариена.

4. ПИСАТЕЛИ ЮГА

1

Самые ранние литературные памятники постоянных английских поселений возникли в южных колониях и представляли собой в основном фактические описания, связанные так или иначе с самой землей тех мест. Менее погруженные в себя, нежели пуритане Новой Англии, писатели аграрного Юга обращались к внешнему миру. Хотя нередко сочинители стихов просто следовали привычным поэтическим темам, иные все же стремились, порой в сатирических красках, описать собственную среду, жизнь колоний. Писатели Юга, в прозе ли, в поэзии, редко, однако, терзались душевными противоречиями, наподобие Коттона Мэзера; большинству из них демонстрация внутренних переживаний показалась бы неприличной. Даже в тех случаях, когда они, подобно Уильяму Бирду из Уэстовера, вели дневники, они куда с большей сдержанностью писали о своих мыслях и поступках; предметом их размышлений была чаще не метафизика, а политика и общественные отношения.

В «Добрых вестях из Виргинии» (1613) преподобный Александер Уайтекер живописал лондонским читателям рай земной. В Виргинии человек может жить в свое удовольствие, так как почва плодородна, а леса изобилуют дикими индюками, быстрыми, как борзая, голубями, утками, гусями, куропатками и иной живностью, в реках же водится отличная рыба: «Огромная сельдь, форели, окуни, камбала, другая вкусная рыба... косяки стерляди, которую мы ловили во множестве». Автор уверяет, что сам добывал немалый улов «на крючок». Поэтому он советует своим читателям: «Поскольку Господь наполнил землю, воздух и воды этих мест существами, способными поддерживать соки жизни, да не смутятся ваши мужественные сердца, да не отвратит их от этих изобильных мест страх перед голодом и нуждой». Если книга Уайтекера пробудила воображение англичан, вселила в них надежду и заставила задуматься над достоинствами Нового Света, то цель автора оказалась достигнута. В общем, в той или иной форме, это была общая цель литературы колониального Юга.

Единственное литературное произведение в строгом смысле слова выпадало из этого сложившегося канона, ибо перебрасывало мостик от Нового Света к культурному величию

прошлого и являло собой будущую модель отношения к культурному наследию, которое образованные слои населения южных колоний всячески сохраняли и пестовали в течение жизни многих поколений. Это были «Метаморфозы» Овидия, переведенные на английский Джорджем Сэндисом, сыном архиепископа Йоркского и братом сэра Эдвина Сэндиса, почетного секретаря Виргинского общества в Лондоне. Сэндис появился в Виргинии в 1621 году и оставался там в течение семи лет, принимая активное участие в административной и оборонной деятельности.

Наиболее образованные члены правящих слоев колониального общества унаследовали горячий интерес Сэндиса к классике. Эта традиция, наследие Ренессанса, более проявлявшееся в кругу чтения и ораторском искусстве южан, нежели в их литературной продукции, способствовала некоторой трансформации сугубо материалистического сознания, свойственного границе. Поколения спустя джентльмены из колоний с равным интересом читали сэндисов перевод Овидия и некоторые другие его сочинения, например «Переложение Давидовых Псалмов» (1636).

Контраст между классическими пристрастиями Сэндиса и литературными занятиями Уайтекера может служить своего рода введением в изучение колониальной литературы Юга. Тот же самый контраст характеризует и личность Уильяма Бирдамладшего, лидера общины в Уэствере, самого типичного писателя колониального Юга. Человек со средствами, образованный, он собрал, быть может, лучшую частную библиотеку тех времен, а оригинальные писания отражали его жизнь на плантациях и его путешествия в глубь собственной души. Книги, дошедшие до нас с Юга тех ранних времен, трактуют о явлениях скорее этого мира, нежели потустороннего. «Заметки о Виргинии» (1784) Томаса Джефферсона выросли из традиции научной, описательной и рекламной литературы, превосходившей все то, что создавалось в колониях Севера.

2

Дабы защитить Виргинию и Мэриленд от злословия молвы, Джон Хэммонд опубликовал в 1656 году в Лондоне небольшой трактат под названием «Лия и Рахиль, или две плодоносные сестры Виргиния и Мэриленд: их нынешнее состояние, беспристрастно зафиксированное и изложенное». Хэммонд уведомляет читателя, что прожил в Виргинии 19 лет и еще два в Мэриленде, пока смута кромвелевских времен не заставила его возвратиться в Англию. В очерке, написанном по возвращении, элегически изображаются богатства земель, окаймляющих залив Чизапик, где мужчины и женщины могут жить в покое и довольстве. По контрасту Англия представляется юдолью скорби: «Потому я могу лишь восхищаться и по-настоящему

сочувствовать унылой тупости людей, прикованных к Англии; вместо того чтобы стронуться с места, они влачат здесь жалкое, рабское, убогое существование... Не желая покинуть Англию, они переполняют Ньюгейт, Брайдуэлл и другие тюрьмы и не обходят сам Тайберн». Подобно Кревкеру, повторившему его слова почти столетие спустя, Хэммонд ярко живописует возможности новой жизни в Америке, стране, где все благосклонно к человеку, — стране «не только плодородной, но и ласковой и обещающей большие возможности... приятной... своим климатом... приятной своей архитектурой... приятной видом своих очагов, стад крупного скота, свиней, домашней птицы, приятной тем, что все здесь растет и входит в силу, не нуждаясь для того ни в едином пенни, в то время как в Англии это было бы невозможно».

Правда, и в Эдем проникли змеи, особенно это характерно для Мэриленда, и Хэммонд со всей силой обрушивается на носителей беспорядка, например — одного из руководителей бунтующих группировок Уилла Клэйборна, «который всем известен как отъявленный негодяй». Более ранний трактат, «Хэммонд против Хименса, или ответ на наглый памфлет одной дерзостной и достойной осмеяния личности по имени Роджер Хименс» (1665), был резким, однако далеким от литературы, обличением морского капитана, выступившего в поддержку бунтовщиков против правительства и способствовавшего изгнанию самого Хэммонда из Мэриленда.

Весьма ярким и оригинальным произведением середины XVII века была книга Джорджа Олсопа «Особенности провинции Мэриленд», опубликованная в 1666 году в Лондоне. Автор, проведший в Мэриленде четыре года в качестве наемного работника, всячески защищал образ жизни в этой колонии, даже образ жизни подневольного человека, который находил куда более приятным и обнадеживающим, нежели тяжкую работу и беспросветную нищету английской жизни.

Описания Олсопа, выполненные ярким, идиоматическим языком, напоминают о литературе елизаветинских времен с ее острым интересом к окружающему миру. Его стиль чем-то напоминает памфлеты Томаса Деккера *. С неиссякаемым юмором, порой грубоватым, но колоритным, он повествует о стране и ее нравах, об индейцах племени сасквехана, о взаимных выгодах торговли между Англией и Мэрилендом. Книга завершается письмами друзьям и родственникам, в которых рассказывается о путешествии в Новый Свет и приключениях, выпавших на долю автора в тех краях. Порой в тексте книги случаются стихотворения, причем автор демонстрирует способность к версификации и другие достоинства, нечасто встречавшиеся в произведениях первых колониальных писателей.

Некоторые литературные параллели убеждают в том, что Олсоп был человеком образованным. Он читал прозу Джона

Донна; опасно заболев, оказавшись перед угрозой смерти, он вспомнил слова из проповеди этого ученого священника и сделал следующее философское наблюдение: «В этом мире мы только посланцы Господа, и время, нам отпущенное, дано лишь для того, чтобы принести ему ответ. Когда Бог, мой великий господин, призовет меня в свою обитель — а знамения, явленные мне, говорят, что случится это в непродолжительном времени, — я надеюсь, что смогу достойно отчитаться перед ним».

В духе некоторых образцов якобитской поэзии музе Олсопа не нужны слишком важные темы. Если кто-нибудь пришлет ему алую шапку, воображение его сразу откроет ему возможные способы поэтической игры с этим бархатным головным убором. Быть может, когда-нибудь он украшал голову Оливера Кромвеля, которая, с удовольствием отмечает автор, недавно была показана с крыши Вестминстерского дворца.

Скажи, затем ли бархат твой кровав,
Что, крышу Вестминстера увенчав,
Ты вознеслась с отрубленной главой,
Дабы остаться в памяти людской?
Затем ли ты с остылого чела
Ниспала, что судьбой пренебрегла
Быть бархатной короной? И ответь,
Сумела ль ты падение презреть?

Да и в других вещах, прозаических и стихотворных, он отзывается о пуританах и им подобных с тем же презрением. Например, готовность, с какой капитаны судов Новой Англии всегда покупают мэрилендскую свинину, он объясняет острой необходимостью кальвинистов как-то умягчить свою плоть, «ибо, жестко связанные путами христианского рвения, они оказываются вынуждены использовать жир этих неханаанских существ для смазывания этих самых пут».

Небольшая книжка Олсопа в отличие от большинства произведений колониального периода почти не выглядит как популяризаторское сочинение. Она производит впечатление искренности, описания автора правдивы, как, например, в тех местах, где он защищает систему наемного труда. Те, у кого нет денег на дорогу в Мэриленд, «могут, заплатив за это четыремя годами своей никчемной свободы, приехать сюда и жить припеваючи. А что такое четыре года наемной службы в сравнении с тем, что человек, заставляя предков гордиться своею силою, обеспечивает себе будущее до конца дней своих — и все это ценою лишь небольших ограничений, да и то на короткое время?»

Большинство описаний начала XVIII века было лишено живости олсоповского слога. В качестве примера подобного рода описаний можно привести книгу «Нынешнее положение

Виргинии и колледж» (1727 г.), составленную группой виргинцев, в которую входили Генри Хартвелл, Джеймс Блэйр и Эдвард Чилтон; оный и представил этот доклад на рассмотрение Торгового правления в Лондоне 20 октября 1697 года. Ту часть книги, где речь идет о колледже Уильяма и Мэри, написал сам основатель этого учреждения, преподобный Джеймс Блэйр, горячий нравом шотландец, который в качестве «уполномоченного» английской церкви был личным представителем архиепископа Лондонского в Виргинии. Он неустанно трудился, чтобы превратить колледж Уильяма и Мэри в рассадник англиканской веры, и был автором ряда популярных проповедей, которые вышли пятью томами в Лондоне (1722) под названием «Нагорная божественная проповедь нашего спасителя». Еще до смерти автора вышло (в 1743 году) второе издание; книга приобрела такую известность, что была переведена на датский язык и опубликована в Дании в 1761 году.

К концу XVII века обитатели первых английских колоний начали испытывать своего рода чувство корней, дотоле неизвестное жителям новых колоний. Начал зарождаться национализм, преданность новым землям как отечеству. Некий виргинец опубликовал в Лондоне «Очерк об управлении английскими плантациями на американском континенте», гордо поставив на титульном листе — вместо собственного имени — «Американец». Некоторые факты позволяют предполагать, что автором был Роберт Беверли или, возможно, его тесть, Уильям Бирд-старший. Бесспорно, во всяком случае, что это был член плантаторского клана Беверли-Бирд. Трактат представляет собой серьезно и ясно изложенные соображения о необходимости более глубокого понимания и умелого управления колониями со стороны английских властей; в то же время это одна из самых ранних наметок проекта объединения английских колоний.

Роберт Беверли выказывал оригинальность мышления и явную гордость своим виргинским происхождением, что порой раздражало современников, особенно его честолюбивого шурина, Уильяма Бирда-младшего, который увешал стены своего особняка в Уэствере портретами английской знати. В 1705 году некий английский книготорговец предложил публике сочинение под названием «Нынешнее положение и история Виргинии... написанная уроженцем этих мест». На красиво оформленном фронтисписе Беверли удостоверил авторство собственными инициалами. Постоянно сохраняя чувство юмора, оборачивающегося порой едким сарказмом, он не щадит своих современников. Он был настроен резко критически по отношению к королевским губернаторам, особенно Френсису Николсону, и высмеивал недостаток инициативы у своих сотоварищей-плантаторов, совершенно связавших себя выращиванием

табака и потребностями английского рынка. Он, также довольно язвительно, высказывал предположение, что его соотечественники-виргинцы жили бы лучше, если бы вслед за Джоном Ролфом * женились на индейках. Хотя его исторические описания выдают в большей степени зависимость от капитана Джона Смита и других авторов хроник, те части книги Беверли, в которых идет речь об индейцах, а также наблюдения над современной жизнью представляют собой существенный вклад в историю.

В 1722 году, незадолго до смерти, Беверли завершил и опубликовал второе издание «Истории», в котором уже не было резкостей оригинала. Перепечатанное впоследствии в XIX веке, оно уступает первому в яркости, но превосходит его терпимостью. «История» была переведена на французский язык и к 1718 году выдержала на континенте четыре издания. Беверли писал свою книгу частично с расчетом на приток будущих иммигрантов и потому должен был быть доволен ее популярностью за границей. «История» представляет собой ранний пример того, как покровительственный тон английских писателей по отношению к колониям пробуждал в ответ «местный» патриотизм.

3

Среди писателей южных колоний наибольшей известностью пользуется сегодня Уильям Бирд-младший, автор «Истории границы» и многолетнего дневника, который был обнаружен и опубликован лишь недавно. Сын одного из богатейших виргинских плантаторов, Бирд получил образование в Англии; будучи студентом права в Миддл Темпл, он водил знакомство с литературными знаменитостями и видными общественными деятелями. Близкий друг Уичерли и Конгрива, он подумывал о карьере профессионального литератора, писал утонченные, а порой сатирические стихи, некоторые из лучших печатались в литературных сборниках, но, поскольку на рубеже XVII—XVIII веков научные занятия считались делом и привлекательным, и престижным, Бирд решил все же стремиться к совершенству именно в этой области. Польщенный приглашением вступить в Королевское общество, он представил туда работу, в которой давалось описание негра-альбиноса, был принят и до конца жизни гордился званием члена-корреспондента этого общества. Хотя, по смерти отца, Бирд был вызван в Виргинию, он и после этого подолгу жил в Англии как представитель колонии и до самой смерти, в 1744 году, поддерживал связь с титулованными и учеными друзьями на старой родине.

Его дневник говорит о глубоком пристрастии к изучению классики, в нем подробно говорится о ежедневном чтении гре-

ческих, римских, еврейских авторов, упоминается и о попытках литературного перевода. Сохранилось вольное переложение рассказа об эфесской матроне из «Сатирикона». Он продолжал писать стихи, некоторые из них дошли и до наших времен, а также занимался науками, в частности математикой. Считая себя врачом-любителем, он при случае пользовал своих домашних и соседей и написал «Рассуждение о чуме и некоторых средствах ее предотвращения» (1721). Эта сорокастраничная брошюра была единственной законченной работой Бирда, увидевшей свет при жизни автора.

Дневник Бирда, который он, владея стенографией, вел в течение, вероятно, большей части сознательной жизни, представляет собой значительный и содержащий ценные сведения документ, выдающий порой и чувство юмора автора. Известны три его части, две из которых опубликованы. Что касается третьей, то Виргинское историческое общество, в чем распоряжении он находится, отказалось дать разрешение на публикацию. В этой скрытой от публики части дневника автор с предельной откровенностью описывает свои любовные приключения в Лондоне, где он напропалую, не делая различия, ухаживает за проститутками, горничными и дамами высшего света. Тем не менее большая часть его дневника представляет собой описание повседневной и вполне пристойной жизни человека, погруженного в изучение классических наук, успешно ведущего хозяйство и выполняющего свой долг перед обществом.

Наиболее значительной литературной работой Бирда является его «История пограничной полосы 1728 года», где описано разделение Виргинии и Северной Каролины, акция, в которой автор возглавлял виргинцев. Явно стремясь к репутации литератора, он в то же время предпочитал рассматривать свои писания как своего рода хобби, вовсе не пытаясь непременно печатать все написанное. Дневник, что он вел во время установления границы, стал черновиком его известного сочинения, озаглавленного «Тайная история пограничной полосы». Этот вариант, где участники фигурировали под вымышленными именами, автор впоследствии отредактировал, расширил и отшлифовал; но он так и не смог заставить себя опубликовать завершённую рукопись. Напечатана она была лишь в 1841 году, хотя задолго до этого рукописные копии имели широкое хождение среди друзей Бирда, вызывая их сочувственный интерес, подобно двум другим его, не столь обширным работам, — «Путешествие в Эдем, год 1733» и «В сторону шахт, год 1732».

Обе рукописи отличаются большой живостью. С энтузиазмом юности и в то же время с солидностью, присущей человеку зрелому и бывалому, Бирд повествует о приключениях, выпавших на его долю, привлекая внимание читателя тонкой наблюдательностью и выводами из наблюдений. Он насыщает свой рассказ юмором, что видно, в частности, из следующего от-

рывка, где говорится о лени жителей внутренних районов Северной Каролины:

«Они заставляют своих жен вставать на заре, а сами лежат и храпят, пока солнце не пройдет по небосклону треть своего пути и не рассеет все неприятные влажные испарения. Затем, с полчаса позевая в постели, они зажигают трубки, и, укутанные защитным облаком дыма, выползают наружу; и пусть даже на улице будет совсем тепло, они тут же возвращаются под сень очага, дрожа от холода. В мягкую погоду они стоят, спершись на изгородь, окаймляющую кукурузное поле, мрачно раздумывая, не стоит ли немного разогреться с мотыгой в руках, но обычно находят предлог отложить это занятие до другого случая. Так они праздно слоняются, скрестив руки на груди, всю свою жизнь, подобно соломоновым бездельникам, а к концу года оказывается, что им практически нечего есть. По правде говоря, именно глубокое отвращение ко всякой работе гонит людей в Северную Каролину, где изобильная природа и горячее солнце позволяют им бездельничать всю жизнь».

4

Защиту Северной Каролины, ее людей и дела рук их взял на себя Джон Лоусон, шотландский авантюрист, высадившийся в Чарльстоне в 1700 году и ставший главным управляющим колонии. Первое издание его книги было опубликовано в 1709 году в Лондоне под названием «Новое путешествие в Каролину», однако обычно она фигурирует как «История Каролины» — по титулу второго издания (1714). Книга Лоусона, живое и легко читающееся повествование, основанное на личных наблюдениях, приобрела значительную популярность. В 1718 году она вышла третьим изданием, была также переведена на немецкий и опубликована в Гамбурге в 1712 и 1722 годах. Подобно «Истории» Беверли, она служила целям пропаганды — звала иммигрантов в южные колонии. «Очень печально, — писал Лоусон в предисловии, — что большинство путешественников, отправляющихся на огромный американский континент, являются людьми, как правило, малообразованными, неспособными дать убедительное описание того, с чем они столкнулись в этих отдаленных уголках земного шара; между тем Америка изобилует интересными предметами, достойными пристального наблюдения. В этом смысле французы, я полагаю, оставили нас позади». Дабы выровнять баланс, Лоусон и написал дневник путешествия; он предупреждает, однако, что целью его было не развлечь читателя, но дать ему правдивые и точные сведения об увиденном, ибо «это и есть настоящий долг всякого автора, который следует предпочесть гладкому стилю, уснащенному гиперболами и лживыми россказнями».

Наиболее любопытная часть повествования — описание индейцев и их нравов; автор находит у аборигенов, особенно у женщин, много привлекательных качеств при всем отсутствии запретов и ограничений, которые отталкивали пуритан, но вовсе не Джона Лоусона. О своем спутнике, чья случайная подруга, уходя из спальни любовника, прихватила с собой его обувь и нижнее белье, Лоусон с юмором пишет: «Очень скоро нашему ухажеру пришлось раскаяться в своей аванюре — босоногий, он шел покаянно, подобно бедному пилигриму, державшему путь в Лоретто» *.

Жизненная и литературная карьера Лоусона оборвалась внезапно в 1711 году по вине тех же самых индейцев. В сопровождении барона де Граффенрида из Швейцарии, горячего поклонника идеи колонизации, он совершил еще одно путешествие в глубь страны, где был пленен и умерщвлен дикарями. Де Граффенриду удалось спастись, он и поведал миру эту историю, утверждая, что причиной трагедии была неосторожность самого Лоусона.

Среди главных литературных памятников более поздних колониальных времен выделяются описательные истории или рассказы об увиденном. Преподобный Хью Джонс, профессор математики в колледже Уильяма и Мэри, автор первой американской грамматики английского языка, опубликовал в 1724 году «Нынешнее положение Виргинии», краткое изложение фактической стороны дела; на титульном листе значилось уведомление, что книга предназначена «тем, кто посвятил себя распространению евангелия и знаний, а также тем, кто занят в Виргинии торговлей и плантаторским хозяйством». Написана книга Джонса просто и ясно, безо всякой претензии на красоты стиля.

Наиболее объемистым историческим трудом, появившимся в южных колониях тех времен, была книга Уильяма Стита «История открытия и заселения Виргинии: вступление к общей истории колонии» (Уильямсбург, 1747). На 331 странице мелким шрифтом здесь охватывается история Виргинии до 1624 года. Хотя детальные описания событий ранней истории Виргинии могли показаться утомительными деловитому хозяину Монтичелло¹, сама книга отражала новый принцип исторического исследования с его сугубым вниманием к фактической достоверности, что ранее было не свойственно колониальной литературе. Авторское предисловие легко читается и представляет собой важную веху в развитии американской науки, так что в основной своей части работа эта вовсе не заслуживает строгой цензуры Джефферсона. Подобно многим другим историкам, своим недавним предшественникам, Стит признает, что очень обязан наблюдениям капитана Джона Смита, но жалуется на

¹ Т. Джефферсон. — *Прим. перев.*

путанность его работ и упрекает последователей Смита в небрежном обращении с документальными свидетельствами. «Я с полной убежденностью заявляю, — продолжает он, — что, будь в нашей исторической науке какие-либо замечательные достижения, я бы с удовольствием освободил себя от необходимости рыться в пожелтевших старых хрониках, изучать, сопоставлять, сводить воедино разрозненные и отрывочные записи и документы различных людей и различных партий».

Дядя Стита, сэр Джон Рэндолф, изучал архивы, связанные с деятельностью виргинской администрации, и собрал множество отчетов и документов, которые, однако, до самой его смерти оставались неиспользованными. Впоследствии Уильям Бирд, которому удалось разыскать рукописный архив Виргинского общества, обнаружил эти документы и уговорил Ститу продолжить исследования. «Я никогда бы не смог простить себе, — пишет Стит, — если бы не выразил признательности этому благородному джентльмену и ученому, который не только великодушно передал мне эти бумаги, но также открыл широкий доступ в свою библиотеку (представляющую лучшее и наиболее полное книжное собрание в этой части Америки), да и сам оказывал мне большую помощь в работе, помогая отыскивать необходимое».

«История Виргинии» Стита, которую он хотел довести до более поздних времен, являет пример возникшего тогда американского отношения к событиям. Например, он оценивает вмешательство короля Якова в дела Виргинского общества как злонамеренную акцию тирана. Этот взгляд, еще упрочившийся и получивший более реальные основания во время правления короля Георга, стал традиционным и дожил до нашего времени.

Что-то общее с историческими трудами и описательными очерками было у отличной сатиры, изображающей условия жизни в Джорджии, — написана она была группой воинственных противников основателя колонии генерала Джеймса Оглторпа. Их трактат «Верное историческое описание колонии в Джорджии» был опубликован в Чарльстоне, Северная Каролина. Его авторы — на титуле значились их имена: Патрик Тейлфер, Хью Андерсон, Дэвид Дуглес «и другие» — после столкновения с представителем Оглторпа нашли там убежище. Предваренная издательски почтительным посвящением Оглторпу, книга холодно и безжалостно высмеивала тщеславие и слабость филантропа. Сам Джонатан Свифт не постеснялся бы поставить свое имя под посвящением, написанным с истинным сатирическим мастерством. Указав на великодушие администрации некоторых колоний и на выгоды, которые им приносит торговля, авторы далее пишут, что «забота Вашего превосходительства о нашем вечном благополучии никогда не позволила бы Вам предложить нам столь преходящие блага... Вы щедро

предоставили нам возможность унаследовать от чистоты первобытных времен еще более первобытную нищету. Тяжкий труд, которым можно поддержать лишь самое скудное существование, должен успешно защитить нас от разного рода тщеславных побуждений... Благодаря Вашим заботам мы одарены бесценным достоинством смирения».

В ряде претензий, предъявляемых авторами Оглторпу, были его антирабовладельческие указы и препятствия, чинимые им импорту рома. Хотя популяризаторские брошюры и не жалели метафор, расписывая чистоту воздуха и воды в колониях, считалось, что немного рома вовсе не повредит здоровью, ибо «опыт жителей Америки доказывает необходимость добавления к воде некоторого количества алкоголя». Особенное негодование авторов вызывал Джон Уэсли *, самое пребывание которого в колониях «поощряло людей посещать такие молитвенные собрания, сходки и проповеди», которые «насаждали дух праздности и лицемерия среди беднейших», чья религиозность позволяла им жить на казенный счет.

Хотя брошюра имела явно групповой характер, ее авторы обнаружили образованность и некоторое знакомство с современной литературой, а также известную сдержанность, необычную для полемических сочинений XVIII века. О том, что стрелы, пущенные ими, достигли цели, свидетельствует защитительная проповедь преподобного Уильяма Беста, произнесенная перед членами попечительского совета колонии Джорджия и названная «Заслуга и вознаграждение добрых намерений».

5

В колониальный период лишь немногих южан муза поэзии вдохновляла изливать свои сердца в стихах, посвященных собственной жизни. Обращаясь к поэзии, этому наиболее условному из литературных жанров, они сразу становились неловкими и несамостоятельными. Очень редко удавалось им уйти от интонаций, стиля и тем, диктуемых законодателями поэтической моды в Англии. На берегах Джеймс-Ривер у Драйдена * и Попа * были такие же робкие (и столь же неизвестные им) ученики, как и на берегах Темзы. В южных колониях даже зарождающаяся демократия прославлялась в церемонных поэтических метрах.

Стихотворные строки, которыми Джордж Олсоп украсил свое прозаическое описание Мэриленда в XVII веке, свидетельствуют о том, что и наемные работники часто бывали довольно образованными людьми. Весьма возможно, что автором одной из лучших поэм тех времен тоже был наемный работник. Восстание, поднятое в 1676 году Натаниелом Бэконом * против сэра Уильяма Беркли, послужило основой и прозаического и поэтического

сочинений, которые сохранились в рукописях, обычно именуемых «Записки Барвела» (опубликованы в 1814 году). Незвестный автор, бесспорно не являвшийся последователем Бэкона, поместил стихи в конец той части, где описывается смерть бунтовщика. Вот последние строки элегии:

Паллада и Арес дружили с ним;
Пером и шпагой он равно блистал,
Второй Катон, и даже враг признал,
Невольно восхищаясь им, что он
Имел причину преступить закон.
Но и небеспричинная вина
Не может быть — до смерти — прощена
И неуместна тризна по нему,
Пока в сражений гибельном дыму
Мир не родится — Погубитель Зла.
Тогда лишь грянет гордому хвала.
Да почиет он в мире; наш рассказ
Окончился в его последний час;
Лишь богу он поведаст о том,
Был Цезарю он другом иль врагом.

Эта похвала явно была рассчитана на ответ, и он действительно последовал со стороны другого неизвестного автора, который начал свои стихи следующим образом:

Был Цезарю он другом иль врагом?
Какой простак спросил себя о том?
Как можно другом Цезаря назвать
Возглавившего дьявольскую рать!

Так, в разгар междоусобной войны и набегов индейцев участники боевых действий находили время для выражения своих чувств в стихах, передающих глубину чувства, а порой — нечуждых легкости и изящества выражения. Очевидно, что пустынные земли Виргинии отнюдь не лишены были литературных талантов, хотя сохранились лишь немногие образцы их творчества.

В более реалистических традициях колониальной литературы Юга была написана резкая сатира «Табачный агент» (Лондон, 1708 г.), где предметом осмеяния стала тогдашняя жизнь в Мэриленде. К несчастью для американской литературы, ее автор, выступивший под именем Эбенезера Кука, заявил о своем английском происхождении.

Определен в скитальцы злой Судьбой,
Безденежьем, людской недобротой.

Он вынужден был предпринять тягостное путешествие в эти грубые и развращенные края. Двадцать одна страница in quarto

заполнена четверостишиями, в которых поэт повествует о превратностях своей жизни в Мэриленде, где он пытался заняться табачным делом, но стал жертвой обмана со стороны местных жителей. В последних строках он проклинает эту страну:

Пади, мой правый гнев, на этот регион
Неправедных мужей и лицемерных жен.

Новый стимул развитию в изящной словесности Мэриленда и Виргинии был дан появлением в этих краях Уильяма Паркса, печатника, который к весне 1726 года имел свой станок в Аннаполисе, а в 1730 году — открыл типографию в Уильямсбурге. В 1736 году он основал «Виргиния газетт», которая предоставляла свои страницы честолюбивым поэтам и эссеистам, печатавшим там стихи на разные темы и размышления по поводу.

Наиболее значительной поэтической работой, набранной на печатном станке Паркса в Аннаполисе, была «Мышеловка, или битва валлийцев и мышей» (1728), — выполненный Ричардом Льюисом перевод латинской поэмы Эдварда Холдворта «*Muscipula*»¹, в которой дано сатирическое описание Уэльса. Льюис, работавший школьным учителем в Аннаполисе, выказал настоящее мастерство версификации, а также и знания, которые сделали бы честь августейшему Лондону. Его поэтическое посвящение губернатору Бенедикту Калверту завершается такими строками:

Простите музу дерзкую мою
За эту глупость, за галиматью,
За колкость, похвальбу, словесный сор,
За неучтиво неуклюжий вздор.
Простите, ибо вы прервать властны
Единым словом медный звон струны,
Простите ей все прошлые грехи,
Казните лишь за новые стихи.

Губернатор Калверт поощрил переводчика, возглавив группу ста пятидесяти жителей Мэриленда, которые подписались на один или более экземпляров поэмы. Позднее Льюис написал и несколько оригинальных стихотворений, но перевод остался наиболее заметной его работой. Прозаическое предисловие к нему написано отточенным, изысканным слогом и представляет серьезный образец литературной критики, достойной пера ученого елизаветинских времен.

Два года спустя после публикации «Мышеловки» в Аннаполисе вышла поэма «Табачный агент», или «Зеркало колониста» — опус, написанный Е. С. Джентом (Эбenezер Кук?),

¹ Мышеловка (лат.).

очевидное подражание более ранней сатире «Табачный агент», завоевавшей значительную популярность; но копии явно не хватало энергии и соленого юмора оригинала. Еще годом позже Паркс выпустил однотомник под обнадеживающим названием «Муза Мэриленда», куда наряду со стихотворным описанием восстания Бэкона включил третье издание «Табачного агента».

Весьма кстати Уильям Паркс начал свою издательскую деятельность в Уильямсбурге с публикации «Типографии, или оды книгопечатному делу» (1730) Дж. Маркланда. Обильно используя классические аллюзии, Марклэнд восхваляет короля Георга и губернатора Гуча, а затем воздаст должное и Парксу, издателю:

Чьим тщанием Виргинии законы
(Недавно лишь — пустые словеса,
Какими можно пренебречь)
Отныне святы, словно небеса,
И соблюдение оных непреклонно, —
О том ведем мы речь.

На зов его откликнется художник
И созовет бессчетные полки
Досель дремавших литер;
Повелевая ими, как Юпитер,
Из односложных слов и многосложных
Возьмет он те, что впору велики.

Не обладающая особой оригинальностью, ода Маркланда тем не менее выдает зрелое мастерство автора в области жанра, распространенного во времена Попа.

Губернатор Гуч, которому Марклэнд посвятил свою оду, и сам не без успеха занимался сочинительством. Популяризируя новый закон, регулирующий продажу табака, он написал вдохновенное прозаическое сочинение, которое было напечатано в типографии Паркса и называлось «Диалоги между Томасом Благоухающим, Уильямом Ороноко, плантаторами и Судьей-Патриотом, который может постоять за себя» (1732). Легкость слова и юмор, свойственные этому сочинению, выделяют его в ряду пропагандистских работ подобного рода.

В 1736 году уильямсбургская типография отпечатала «Стихи по разным поводам», написанные «Джентльменом из Виргинии». Анонимным автором был Уильям Доусон, выпускник Квинсколледжа из Оксфорда, профессор истории нравов в колледже Уильяма и Мэри, позднее ставший его президентом. Уведомление, сделанное автором в предисловии, что «нижеследующие строки являются собой результат случайных забав юности», вполне подтверждается содержанием стихотворений. Ни одно из них не несет, пусть самого слабого, отблеска реальности Нового

Света. И хоть сами стихи написаны не без известного мастерства, вряд ли их можно считать принадлежностью американской литературы, так как написаны они были, скорее всего, до переселения автора в Виргинию.

Несколько больше оснований претендовать на скромный уголок в анналах американской изящной словесности имеет Джеймс Стерлинг, английский пастор прихода святого Павла в графстве Кент, Мэриленд. Ирландец по национальности, завоевавший уже некоторую известность в Дублине как драматург и поэт, Стерлинг считается автором анонимной поэмы «Послание достопочтенному Артуру Доббсу, эсквайру, в Европу от американского священника» (Лондон, 1752). Поэма эта в сто шестьдесят строк длиною представляет собой многословный патриотический гимн зачинателю исследований Северо-западного морского пути. Другие поэмы, приписываемые Стерлингу, печатались в «Американском журнале» в период между октябрём 1757 и октябрём 1758 годов, они включают «Поэму о появлении литературы и искусства книгопечатания» и «Королевскую комету», восхваляющую короля прусского как поборника протестантизма. Музе Стерлинга была скорее свойственна легкость стихосложения, нежели глубина чувства.

6

К середине XVIII столетия литературная деятельность в южных колониях приобрела уже значительный размах благодаря главным образом местным типографиям и газетам, дававшим выход продукции. Большинство сочинений не имели отношения к художественной литературе, но они отражали потребности и интересы людей. Споры вокруг прививки оспы, к примеру, породили (в 1739 году) полемику между Джеймсом Килпатриком и доктором Томасом Дейлом, которая нашла отражение в памфлетах Льюиса Тимоти, отпечатанных им на собственном станке в Чарльстоне, Южная Каролина. Подобным же образом медики из Мэриленда и Виргинии обнародовали результаты своих наблюдений за течением разных болезней — их труды представляют значительный интерес для истории американской медицины, если не для литературной истории. Религиозные диспуты также часто выходили на страницы печати. Проповеди, произнесенные Джорджем Уайтфилдом * во время его путешествия по Южной Каролине, вызвали гнев Александра Гардена, ректора церкви св. Филипа в Чарльстоне; последовала переписка, которую Петер Тимоти с усердием воспроизвел в публикации 1740 года. Тремя годами ранее Льюис Тимоти популяризировал сборник гимнов и псалмов Джона Уэсли, — почти за год до того, как появилось их лондонское издание. Иные из наиболее интересных образцов сочинительства обнаруживаются в частной

переписке старых времен, причем порой авторы демонстрируют немалое литературное мастерство. Хотя чаще всего речь идет о деле, то или иное письмо Уильяма Фицхью или Роберта Картера из Коротомана, Виргиния, или Элизы Льюкас Пинкни из Южной Каролины читаются как небольшие эссе, не потерявшие значения до сих пор.

Рост интереса к художественной литературе во второй половине столетия несколько замедлился, так как внимание публики отвлекалось нарастающими противоречиями между колониями в их отношении к метрополии. Начиная с 1750 года стремительно возрастает объем политической литературы, уже к 1760 году литературная деятельность почти целиком находит выражение в публичных выступлениях, стихотворных сатирах и диспутах, которым предстояло сыграть такую большую роль в интеллектуальной жизни южных колоний периода Революции. Участники подобных диспутов могли уверенно опираться на основательные и детальные обзоры таких авторов, как Бирд, Беверли и Стит, — в них верно отразилась реальная действительность Нового Света.

5. ПИСАТЕЛИ НОВОЙ АНГЛИИ

1

Преследуя другие, чем у южных соседей цели колонизации, ранние поселенцы Новой Англии в своих сочинениях стремились не просто описывать окружающее, но, скорее, давать практические руководства, научить, наставить на путь истинный. Поразительно, что люди, усердно занятые строительством прочного порядка на новых землях, находили время писать так много и так хорошо. Но они успевали, так как были убеждены, что серьезная литература необходима для построения здорового общества. Книги были важным инструментом обучения. Если они к тому же доставляли удовольствие, прекрасно; но писать просто для развлечения казалось бы северным колонистам опасной, расточительной тратой времени. Они не оставили ни романов, ни драм, ни вообще чего-то такого, что подпадало бы под определение «художественная литература», и вовсе не из-за эстетической тупости, а вследствие уверенности, что таланту можно найти лучшее применение. Большинство их трудов предназначалось для распространения божественных истин либо представляло собой свод практических наставлений политического, социального или экономического свойства, так как авторы их считали подобного рода сочинения необходимыми для построения сильного и добродетельного государства.

Для того чтобы верно оценить колониальную литературу Новой Англии, современному читателю надо иметь хотя бы общее представление о том умонастроении, которое условно называется «пуританизмом». В целом ранние сочинения Новой Англии выражали это умонастроение, и, хотя отношение к нему после 1700 года начало быстро меняться, иные из старых идей и соответствующих им литературных канонов сохранились. Даже и те немногие писатели Новой Англии, что не были пуританами, испытывали влияние господствующих интеллектуальных представлений общества.

Автор-пуританин, постоянно стремясь к тому, чтобы сочинение его было полезным, понимал, что оно может стать таковым лишь при условии, если будет написано доступно и увлекательно. Литературные приемы должны были соответствовать практическим потребностям и не противоречить установлениям

господним. Искусство было средством, не конечной целью; но понимание того, что некоторая степень артистизма необходима для эффективности книги, заставляло писателя Новой Англии внимательно следить за манерой изложения, а это привело к выработке определенной, хотя и ограниченной, теории стиля.

Эта теория основывалась на его религиозных верованиях. Он был убежденным протестантом и рассматривал Реформацию как великую победу истинного христианства над созданными человеком догматами римской католической церкви. Он был убежден, что в центре вселенной стоит не человек, но бог, и что вся человеческая деятельность должна быть поставлена на службу богу. Бог был абсолютным владыкой всего сущего. Человек был его созданием, созданием первородно-греховным, которое может быть очищено от заложенного в нем зла лишь милостивым божьим произволением. Ни его собственные поступки, ни вмешательство церкви ему не помогут, но он способен упорно творить волю божью и тем самым доказать, что достоин быть спасенным. Воля божья совершенным образом выражена в Библии, заветы которой могут развиваться (но никоим случаем не подвергаться сомнению) терпеливым познанием деяний бога, создавшего мир и правящего им. Утверждение, будто божественная воля познается непосредственно, считалось высокомерием и «восторженной» ересью. Бог говорил не в сердце человека, он обращался к нему через Библию и взывал к нему всем стройным порядком мироздания. Те, кого он одарил своей милостью, могли и должны были употребить силы своего разума на то, чтобы познать смысл Библии и божественного промысла; логика, метафизика, наука — любые инструменты человеческого мозга — могли быть употреблены в дело лишь постольку, поскольку бог великодушно даровал им из своих падших детей умение мыслить. Будущие праведники должны верить, что сошедшая на них благодать приведет их к познанию истины. В этой надежде избранные должны всячески стремиться к тому, чтобы с помощью логики и философии познать суть воли божьей и средства ее распространения на земле. Таким образом, они неизбежно должны были почитать знание: чтобы действительно стать достойным, человек должен учиться; ему потребны и знание, и вера. Как говорил Джон Коттон *, первый бостонский святой: «Знание, лишнее рвение (то есть религиозной веры), — это не знание», но «и рвение, лишнее знания, — это всего лишь огонь пожирающий». Классики, языческие философы, гуманистические учения Ренессанса — все это для пуританина лишь сырье, перерабатываемое его разумом, стремящимся донести до людей божьи предначертания.

Такой образ мышления в основе своей был характерен для большинства протестантов в XVI—XVII веках. Потому и те элементы его, которые повлияли на формирование литератур-

ных канонів, отразились равным образом в писаниях пуритан и сторонников англиканской церкви, в творчестве религиозных художников как Старого Света, так и Нового. Но последних отличала склонность к модификации содержания и стиля, ибо пуританизм, в той его форме, которая была наиболее распространена в Новой Англии в раннеколониальный период, придавал особенное значение определенным требованиям протестантизма и соответственно вырабатывал особенный подход к литературе.

Сходясь на том, что Библия есть слово божье, в которое следует верить, даже если оно не может быть подтверждено реальным опытом человека, пуритане и сторонники англиканской церкви равно были убеждены, что разум существует для того, чтобы находить аргументы в пользу непогрешимости Священного писания. Но англикане склонны были подпирать Библию другими авторитетами; формулируя основные принципы христианского учения, Библия в то же время не должна рассматриваться как исчерпывающее руководство во всех мелочах повседневной жизни. Здесь роль наставника берут на себя разум, церковь, диктующая правила, основанные на человеческом опыте и суждениях благочестивых людей. Библию не следует понимать абсолютно буквально, должно оставаться место и для свободного деяния человека, в том случае, разумеется, если оно не противоречит какому-либо библейскому догмату. Но наиболее радикально настроенные протестанты — пуритане — были много ортодоксальнее. Если Библия есть слово божье, а бог бесконечен, то какие, собственно, основания предполагать, что не бесконечен и его авторитет? Что может заставить усомниться в его абсолютности и непрерываемости, независимо от того, каковы условия жизни и человеческие устремления, которые в конце концов тоже направляются богом? Пуританин отнесся к Библии буквально, рассматривая ее как свод наставлений по практическому поведению. В ней он находил точные указания относительно иерархии и управления истинной церкви и был убежден, что ни в религиозных обрядах, ни в ее общей структуре не существует чего-то такого, что не было бы специально оговорено Библией. Неизбежно поэтому он отвергал многие обряды католической и англиканской церквей, ибо не мог найти соответствующих указаний в священном тексте. Поэтому он выглядел мятежником в глазах консерваторов — и не потому, что подрывал какие-то основы теологической ортодоксии, но потому, что его представление об истинной церкви расходилось с представлениями отцов английской церкви.

Обрядовые и принципиальные расхождения между пуританами Новой Англии и приверженцами католической и англиканской церковью обусловили и различия в области литературной. Буквальное прочтение Библии не позволяло пуританину найти оправдание такому религиозному искусству, которое так или иначе не имело соответствия в тексте; а протестантское

рвение заставляло его отвергать все, что традиционно ассоциировалось с римской церковью. Органная музыка, витражи, ладан, роскошные ризы, богатые алтари, религиозная живопись — все это принадлежало католическим и отчасти англиканским обрядам. Они ассоциировались с «папизмом», и этого было достаточно, чтобы предать их анафере со стороны пуритан. Католики считали, что все, что действует на чувства человека, уместно для религиозного обряда. Пуританин не мог с этим согласиться. Он не доверял апелляции к чувству во время богослужения, так как при этом обычно затрагивались предметы и действия, специально не оговоренные Священным писанием, так как они отдавали Римом, так как пуританин считал, что «падший человек» легко может стать рабом собственных чувств и более склонен подчиняться тирании страстей, нежели требованиям разума и веры.

Все это означало, что писатель-пуританин не мог в отличие от своих современников-католиков и приверженцев англиканской церкви использовать тот жизненный материал и те приемы письма, которые были обращены к чувствам и призваны «расцветить» произведение: подобное обращение и «расцветивание» казались ему опасными. Он апеллировал к разуму людей, стремился пробудить в них сознание правды, а вовсе не просто приобщить их к вере, одурманивая их умы отравой, столь легко возбуждающей в потомках падшего Адама телесное томление. Обычно пуританин отвергал образность, предназначенную лишь для того, чтобы ею восхищались, он использовал лишь те средства, которые могут облегчить понимание истины, причем предпочитал, чтобы они черпались непосредственно из Библии. Он куда охотнее говорил о простом стекле, пропускающем свет, нежели о витражах, которые казались ему ненужным украшением, символизирующим человеческую склонность затемнять свет истины. Все, что задевало чувства настолько сильно, чтобы помешать сосредоточенной работе ума, казалось ему опасным. Хорошая литература призвана учить; она должна создаваться так, чтобы сделать максимально ясным то, что человеку следует знать.

Отсюда стремление ранних писателей Новой Англии к простым и логически выверенным структурам. Логика и риторика Петера Рамуса, крупнейшего французского логика антиаристотелевского толка в XVI веке, были приняты на вооружение пуританскими учеными мужами отчасти и потому, что в его сочинениях они находили удобную модель хорошей поучительной прозы. Но куда большее непосредственное значение имело пуританское представление о характере воспринимающей аудитории. Она состояла из людей, которые не были ни профессиональными критиками, ни опытными писателями, — как правило, это были ревностные пуритане, стремящиеся к знанию. Они были люди, и им свойственно было заблуждаться; текст сколь

угодно ясный, но скучный не проникал в их сознание. Поэтому пуританский проповедник и пуританский писатель, как бы ни выступали они в поддержку «ясного стиля» и как бы ни отвергали украшательство ради украшательства, оживляли все свои сочинения образностью и использовали различные литературные приемы, которые казались им приемлемыми и необходимыми, чтобы поучения были восприняты. Любая фигура речи, которая могла вызвать греховные мысли, запрещалась, но яркий стиль и возбуждающая воображение образность допускались, если ассоциации были невинными либо имели аналогии в Библии.

Последнее условие существенно. В глазах пуританина Библия обладала высшей литературной ценностью. Она была созданием всемогущего бога, владевшего и языком в совершенстве, ведь все, что он делал, было совершенно. В творчестве пуритан нередко были аллегории и различные тропы, даже откровенно сексуальные ассоциации, что не удивительно, если вспомнить, что авторы знали: привлечь внимание человека можно лишь задев его «чувства», к тому же они были уверены, что любой литературный прием, использованный в Библии, санкционирован свыше. Писатели Новой Англии избегали восторженного стиля католических и англиканских мистиков, полагая его излишне чувственным и слишком явно рассчитанным на «энтузиазм», они закрывали глаза на многое в великой религиозной литературе Англии XVII века, так как не хотели возбуждать страсти читателей или преграждать им путь к пониманию истины слишком изысканной риторикой. Более того, символика и образность, связанные с мессой и с церковными ритуалами, казались пуританину подозрительными, и, как правило, он холодно относился к мастерству стиля, развернутым сравнениям, сложным метафорам (зачастую чувствительным или даже, в намеке, — чувственным), возвышенной музыкальной прозе и риторическим украшениям, которые были характерны для лучших образцов английской литературы позднего Ренессанса. Таким образом, писатель-пуританин сознательно отказывался от многих источников литературного эффекта. К счастью, Библия предоставляла ему другие. Он не задумываясь использовал ее образность, ее ритмы, литературные приемы в своих собственных благочестивых целях.

Частично его успех у публики зависел от того, насколько уверенно овладел он библейским стилем; впрочем, бесполезными были и иные средства, с помощью которых ему удавалось завладеть вниманием читателя, не потакая его низменным инстинктам. Он говорил и писал в основном для рыбаков, фермеров, лесовиков, лавочников и ремесленников. Сколь бы мало они ни разбирались в классической литературе и в стилевых красотах английской прозы и поэзии, о морях, земельных участках, деревенской жизни и разных иных делах пионеров, тру-

долгобиво закладывавших в пустыне процветающие колонии, они знали почти все. Им приятно было, если автор проводил свою идею, прибегая к сравнениям и метафорам, отражающим их личный опыт; а опыт их был связан в основном с самыми простыми вещами. Когда Томас Шепард писал в своем «Искреннем новообращенном» (издание 1655 года), что «Иисуса Христа не ухватишь мокрыми пальцами», он имел в виду, что «душу не спасешь одним лишь чтением книг», но его метафора, дающая образ ученика, слюнявящего палец перед тем, как перевернуть страницу, придавала в глазах читателя ходовому выражению яркость и экспрессивность. Такими метафорами и сравнениями изобилует вся пуританская литература. Цель их очевидна: придать вкус жизни утверждениям, которые иначе могут показаться скучными и абстрактными.

Некоторые писатели Новой Англии уходили от распространенных условностей пуританского стиля. До известной степени они испытывали влияние иных, непуританских, приемов письма; многие из них кончили английские университеты, были воспитаны в старых литературных традициях, и те из них, чьи работы заслуживают сегодня упоминания, никогда до конца не подчинялись влиянию ортодоксальных правил. Но в целом отклонения от пуританской ортодоксии были, как правило, незначительны и если вообще литературную деятельность какой-либо группы можно свести к определенной формуле, то прежде всего основными стилистическими достоинствами эта формула признавала ясность, упорядоченность, логичность. Она признавала также некоторые уступки читательской склонности к образности, но лишь постольку, поскольку не пробуждались низменные инстинкты человека и ум его не отвращался от истины.

2

Деятельность Натаниела Уорда, выходяца из Англии, проповедовавшего слово божье в Ипсвиче, Массачусетс, в первые годы основания колонии, представляет типичный пример и литературной теории пуритан, и допустимых отклонений от канона. Его книга «Простой сапожник из Аггавама в Америке», являющая собой яростное оправдание пуританской ортодоксии, была впервые опубликована в Лондоне в 1647 году и выдержала в течение ближайших месяцев еще четыре издания; изобилующая неологизмами, звучными выражениями, неожиданными сочетаниями и иными формами словесной экспрессии, она, разумеется, отходила от той «ясности», которая предписывалась строгой пуританской теорией. Но Уорд знал, что делал. Он следующим образом защищал себя от обвинений в «легкомыслии»: «Обращаясь к людям, наделенным простым умом, со сложными речами, рискуешь сломать им шею; облакая лето в зимнюю деругу, заставишь читателя потеть».

Иными словами, он пытался привести стиль в соответствие с материалом и с аудиторией. Он честно признает, что порой ему случается излишне украшать свою прозу:

«От всего сердца уважаю тех, кто способен встать над обыденностью и выразить ее не в обычных словах; еще глубже уважаю тех, кто упорно и настойчиво трудится, стремясь обогатить родной язык... Аффектированное слово — ничто для настоящего слушателя; и все же нахожу, что правильно поступает тот, кто... острой приправой возбуждает дремлющий аппетит».

Уорд писал ради того, чтобы учить, и соответственно прибегал к тем приемам, которые казались ему наиболее эффективными. Быть может, он и нарушал строжайшие пуританские каноны, слишком широко используя «приправы», но, безусловно, следовал им, описывая чаще всего предметы домашнего очага и избегая всего того, что могло бы пробудить греховные желания.

Что касается Коттона Мэзера, который в большинстве своих работ, где встречается немало аллюзий, цитат и каламбуров, отходил от строжайшего из «строгих» пуританских стилей, то он вполне осознавал, что избирает форму, далеко не всеми одобряемую в Новой Англии. Впрочем, он делал это намеренно. Он не часто задумывался о стиле, знал, к чему стремился, и полагал, что добрая цель оправдывает отклонение от стилистической бедности. Но даже Мэзер, выказавший в своей духовной истории Новой Англии, «Христианское величие Америки» (1702), очевидную склонность к прозе, инкрустированной риторическими фигурами и учеными ссылками, во многих других своих книгах прибегал к стилю простому и ясному — вполне в духе пуританского канона. Он легко подражал как новой прозе писателей эпохи Реставрации и начала XVIII века в Англии, так и риторикам 1630—1640 годов. Его «Политические притчи» (около 1692 года) выполнены в безупречно ясном стиле; его «Христианский философ» (1721), где христианское учение обосновывается явлениями природного мира, хоть и встречаются там цветистые пассажи, цитаты и разного рода аллюзии, в целом выдержан в простом и доступном стиле; его «Бонифаций, или опыты о добрых деяниях»*, столь любимые Бенджамином Франклином, был адресован простому люду и соответственно прост в изложении. Коротко говоря, в своей широкой литературной деятельности — а наследие его состоит из 450 книг и брошюр — Мэзер всегда прибегал к тому стилю, который в каждом конкретном случае лучшим образом соответствовал цели сочинения, никогда, впрочем, не переступая границы образности, которая опасна для грешных душ. «Величие», надеялся он, может быть прочитано зарубежными эрудитами, и потому в данном случае уместна была проза «богато орнаментированная» и с разного рода схоластическими фигурами.

Для книг не столь амбициозных он выбирал стиль попроще, так как знал свою аудиторию и, подобно всем добрым пуританам, полагал, что первейшая задача писателя сделать истину доступной.

Основные течения литературной практики в ранний период колониальной истории наиболее ярко могут быть продемонстрированы на примерах хроник и исторических сочинений, о чем речь пойдет ниже, а также проповедей и других религиозных сочинений, принадлежащих перу современников и предшественников Коттона Мэзера. Его отец Инкрис, например, был автором многих работ, весьма характерных с точки зрения их пуританской приверженности к прозрачности и упорядоченности стиля, теми же чертами отличаются и сочинения многих других авторов из Новой Англии, написанные до 1700 года. Стремление к последовательности и ясности, недоверие к чувству часто приводят к тому, что их работы кажутся нам скучными и бедными, тусклыми и лишенными воображения. Но недостатки влекли за собой сильные стороны: эти сочинения — пример достоинства и нередко скромного, но умелого реализма.

Подобного рода реализм обнаруживается повсюду. Сэмюел Сьюолл, простой, неученый пуританин, включает в свои «*Phaenomena quaedam Arosalurtica*»¹ трактат на темы «Откровений Иоанна Богослова», абзац о Новой Англии, и мы слышим «грозное ворчание и тяжелые удары гордого и неистового океана», волны которого разбиваются о берега Плум Айленд, видим лососей и осетров в водах Мерримака, «вольных и безобидных голубей», облепивших «Белый дуб». А знаменитый дневник Сьюолла изобилует яркими реалистическими описаниями. Можно ли одной фразой передать поведение рассерженного человека более точно, чем это сделал автор дневника, когда он говорит о священнике, который «неистово играл ногами»? Даже на страницах книги такого просвещенного ученого, как преподобный Джон Нортон *, выражение Августина «добродетельная жизнь необходима нам самим, но доброе имя — в глазах других» подкрепляется следующим соображением: «Благотворное воздействие лучшего напитка на наш желудок зависит отчасти от качества сосуда». В другом месте Нортон замечает: «Студентам следует помнить, что курица несет яйца, если высиживает их день и ночь». Роджер Уильямс, хоть его широкие демократические взгляды и совершенная терпимость в вопросах религии казались многим соотечественникам опасной ересью, писал в истинно пуританском духе. Он говорит о «дне последнего прощания», о дне, «когда оставляют судно, когда лопаются пузыри, когда задувают свечу». Он напоминает о том, что мы лишь странники на земле, что мы «путешественники в гостинице», «плывущие на корабле», «мечтающие о долгих лет-

¹ «Некие явления откровения» (лат.).

них днях». Мы «живем в чужих домах» и «спим в чужих постелях», мы уходим, как «дым из трубы», когда наступает пора «бросить последний якорь». Мы «жалкие кузнечики, прыгающие с былинки на былинку в этой юдоли слез».

Литературные достоинства, проистекающие из склонности пуритан к упорядоченности и последовательности текста, необходимых для выражения истины, проявляются в одном из отрывков предвыборной проповеди Сэмюэла Уилларда «О типе хорошего правителя» (Бостон, 1694).

«Не народ существует для правителей, правители — для народа. Избирая среди людей немногих и ставя их над ними, Бог оказывает избранным честь — но делается это во имя народа, и счастье его должно быть ближайшей целью общественной политики; а с этим счастьем связано и счастье правителей. Ни один мудрый человек, наделенный властью, не может ощущать себя счастливым при виде страданий своих подданных — для него они, как дети для отца (или так, во всяком случае, должно быть). Сказано о благе правления: «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» («Первое послание к Тимофею», 2,2), так что Богом положено правителям сделать свой народ счастливым или несчастным. Когда люди могут пользоваться своими свободами и правами безо всяких препятствий и ограничений; когда они живут, не испытывая страха перед своими более могущественными соседями; когда они ограждены от насилия и могут уверенно противопоставить закон тем, кто хочет нанести им ущерб; когда у них есть возможность служить Богу свободно, как им хочется; когда их не толкают на путь, противный евангельским заветам, — вот тогда можно сказать, что народ счастлив».

Или более сложный пример из «Прощения о помиловании» Томаса Хукера (Лондон, 1659), где толкуется тезис, имеющий и теологическое и литературное значение:

«Лишь духовные помыслы и деяния приближают нас к Богу и позволяют вступить в контакт с верховной силой, которая есть дух. Ибо все внешнее служит телу, тело — душе, душа — Богу, и потому встречается она с ним только в процессе осознания, точно так же, как глаз воспринимает свет лишь в процессе рассматривания; это недоступно никакому другому существу, точно так же, как не может быть достигнуто никаким физическим действием. Наши чувства, с их греховностью и беспорядочностью, становясь средством распространения зла, заключенного во внешних предметах, вновь возвращаются к своему носителю и превращаются в этом случае в сосуд. Красота предмета порождает жадность взора, вкус еды порождает неумеренный аппетит, грубый и неприличный язык возбуждает слух; но ум и сознание обращены непосредственно к Богу, они внимают его завету и начинают действовать в согласии с ним, а когда,

как прежде, отвращаются от завета и возвращаются к своим собственным глупости и тщеславию, они лишь заигрывают со Всевышним, открыто оскорбляют его и противоречат ему».

В этом случае эффект достигается и самой структурой фразы, и реалистической силой таких выражений, как «превращается в сосуд» и «заигрывает со Всевышним».

Еще один пример — Сэмюел Уиллард «Всеобщее благословение» (1684):

«Многое способствует вечной жизни души, но у тебя нет ничего; ты хочешь любви божьей, которая выше жизни; ты хочешь милости, которая действительно есть внутренний принцип жизни души; ты хочешь обещания, которое укрепит твою душу».

Сила этой фразы в ее соразмерности и аромате безыскусной речи. В «Прошении о помиловании» Хукер пишет о «размышлении»:

«Вторая Цель размышления состоит в том, чтобы «твердо укрепить сердце». Для этого не надо взбивать пену на воде; для этого надо терпеливо увлажнять корни, ослабляющие бурьян и сорняки, так, чтобы их легче было вырвать. Мало просто наложить лекарство на пораженное место, надо терпеливо втирать его, и это восстановит ткань, облегчит боль. Точно так же и с душой: прошение накладывает лекарство спасительного и ищущего слова, размышление втирает его вглубь так, чтобы смягчить и смирить окаменевшее сердце. Прошение подобно водостоку или каналу, по которому поток истины устремляется к душе; но размышление останавливает его и направляет в сторону сердца, так чтобы наши пороки можно было безболезненно вырвать с корнями».

Модель ясна: ее воздействие основано на том, что образность прозы близка мужчинам и женщинам, выпалывающим сорняки и лечащим друг друга.

3

Верность своему литературному кредо пуритане выказывали не только в прозе, но и в поэзии. Ранние поселенцы Новой Англии писали много стихов, в которых, как и в прозе, использовали приемы, наиболее близкие, по их мнению, уровню аудитории и наиболее приближенные к пуританскому канону назидательности всякого хорошего произведения. Конечно, недоверие к чувственным эмоциям наносит поэзии больший ущерб, чем прозе, и стихи пуританских авторов вполне подтверждают это. Слишком часто их поэмы являют собой лишь рифмованную прозу, заключающую в себе некое полезное наставление. Слишком часто они становились лишь плоскими иллюстрациями банальных религиозных истин, изукрашенных искусственной поэтичностью, которые в XVII веке ценились больше, чем мы их

ценим в ХХ. Приемы были так невинны, как этого требовало время, главной заботой было не пробудить неподобающих и опасных эмоций; и все же иные поэтические произведения были далеко не элементарны, отличались «остроумием», несвойственным чаще всего пуританской прозе. Житель Новой Англии предоставлял поэту немного больше свободы, нежели проповеднику или автору теологических трактатов, хотя и его держал в жесткой узде. В результате чувство поэта, пусть и истинное, редко могло быть воспринято читателем.

Тем не менее тот факт, что стихов писалось много, уже сам по себе опровергает старое заблуждение, согласно которому пуритане были «враждебны» поэзии. Это не так. В поэтическом творчестве они находили способ необходимого выражения собственных чувств, но их теории действительно ограничивали возможности этого выражения. К тому же утилитарное отношение ко всей литературе часто заставляло рассматривать стихи как роскошь, поскольку слишком многое требовалось сказать в трезвой прозе. Большинство поэтических произведений, написанных в Новой Англии до 1760 года, так и не были напечатаны; в лучшем случае они распространялись в рукописях или становились достоянием семейных дневников и альбомов.

Были, правда, исключения; кое-что из поэтических произведений XVII—XVIII веков печаталось. В альманахах, этой необходимой принадлежности быта фермеров и рыбаков колониальных времен, публиковалось немало поэтических произведений, выходили даже и отдельные сборники. Наибольшую известность среди них приобрело «Полное издание псалмов, переведенных в точном соответствии с английским метром» («Книга псалмов Массачусетского залива»), опубликованное в Кембридже, штат Массачусетс, в 1640 году. Известностью этой оно обязано не своим поэтическим достоинствам, которые трудно обнаружить в грубоватых четверостишиях и неловких строках, а тому, что это вообще была первая книга, изданная в английских колониях Северной Америки. Ее авторы, Ричард Мэзер, Джон Элиот и Томас Уэлд, каждый из которых был ученым-богословом и опытным автором прозаических текстов, знали, что сочиняют они не поэзию, и прямо говорили об этом. Они стремились к тому лишь, чтобы сделать буквальный перевод псалмов и вместе с тем приспособить их метрически к мелодиям, привычным пуританской пастве. Точность и предназначение были для них важнее литературного блеска. Книга должна была служить пасторам и пастве, это и оправдывало ее появление в глазах всевышнего. Если она и была груба и неловка, значения это все равно не имело, ибо, по словам авторов, «алтарь божий не нуждается в полировке».

Другие поэты Новой Англии выказывали больше амбиции и достигали большего успеха. Самую широкую популярность в свое время приобрел «Судный день» (1662) Майкла

Уигглсворта *, «бестселлер» колониальных времен. Стройный балладный размер этого произведения кажется нам удивительно несоответствующим самому предмету — описанию Судного дня, но в поэме есть проблески истинного поэтического чувства. Их можно обнаружить и в других поэтических опытах Уигглсворта. Однако он был прежде всего благочестивым пуританином и главную задачу свою видел в распространении истинного христианства. Поэтому он избирал размер, наиболее знакомый читателям, и просто зарифмовывал каноны пуританской доктрины, надеясь, что ритм и рифма помогут глубже и легче запомнить их, чем если бы написаны они были прозой. Тот факт, что «Судный день» выдержал до 1760 года по крайней мере десять изданий, свидетельствует как будто о том, что цели своей автор достиг.

Стихи Анны Брэдстрит * никогда не имели того успеха, что сочинения Уигглсворта, но и они приняты были с интересом, во всяком случае книга ее до 1760 года вышла тремя изданиями. Дочь Томаса Дадли, управляющего герцога Линкольна, а позднее губернатора колонии Массачусетс, вышла замуж за Саймона Брэдстрита и приехала с ним в Массачусетс в 1730 году, когда ей было только семнадцать. По всем признакам она была широко начитана и, хотя оставалась истинной пуританкой, не всегда могла с совершенной покорностью принять некоторые из наиболее суровых догматов новоанглийского кальвинизма. Характерны в этом смысле финальные строки ее небольшого стихотворения на смерть внука:

Бессильно древо пред стальной пилой,
И лот морской, и плод земной падут,
Траву с лугов повыкосят косой
И спелую пшеницу уберут.
Но зароженье для искорененья,
Но краткое, хоть яркое, цветенье
Так и пребудет выше разуменья.

Бесхитрость выражения и скромная, но точная образность производят сильный эмоциональный эффект, но внезапно Анна Брэдстрит как бы осознает, что подошла к опасной черте, за которой начинается бунт против установлений всевышнего. Тут она останавливается. Тогда же и стих теряет силу, даже формальную, так как диктуется теперь не искренним чувством, а верностью ортодоксальной доктрине. В других сочинениях она удовлетворяется простой стихотворной пропагандой знания, прилежно подражая религиозному французскому поэту Дю Барта, чьи стихи, в английском переводе Джошуа Сильвестра, она любила перечитывать. Многие из ее стихотворений скучны; многие представляют собой просто рифмованные наставления, в которых она демонстрирует способность к верси-

фикации, но редко поднимается над обыкновенной прозой. Порой, однако, ей случалось хорошо и просто писать о вещах, близких ее сердцу, и тогда чувство, хоть и выражалось оно всегда вполне благопристойно, оживляло ее строки. Ее «Созерцания», например, хоть и излишне формализованные, по нынешним представлениям, являют собой смелую попытку поэтического описания природной красоты Массачусетса, а стихи во славу королевы Елизаветы выдают недюжинную живость ума и проникательность:

Так есть от женщин польза или нету?
Спросите-ка о том Елизавету!
Как с королевством справилась она,
Бедняжечка безмужняя, одна?
Отмщенье тем, кто лжет, что мы из плоти,
Теперь — пощечина, при ней — на эшафоте.

Многие второстепенные английские поэты тех дней, более известные, чем Анна Брэдстрит, не поднимались над уровнем лучших ее стихов, пусть они и написаны в соответствии с утилитарным пуританским взглядом на искусство и свидетельствуют о ее недоверии к миру чувств.

Множество других поэтов Новой Англии колониальных времен печатались лишь время от времени или выступали лишь как авторы эпиграфов к книгам, или, наконец, фигурировали в «Величии» Коттона Мэзера; большинство же оставили свои стихи в рукописях. Мэзер, например, утверждает, что преподобный Джон Уилсон, один из первых бостонских богословов, оставил после себя столько стихов, что их хватило бы на целый том «in folio»; но то, что могло бы представить интерес для его современников, уместилось бы в совсем небольшую книжку. Это был старательный анаграммист, увлекавшийся популярным тогда занятием: он выстраивал буквы в именах людей таким образом, чтобы составила фраза, из которой можно было бы извлечь тему для цикла стихотворений. Такие упражнения кажутся нам сейчас простой забавой, но не следует забывать, что во времена Уилсона в анаграммах видели иногда мистический смысл, а писание стихов на темы, подсказанные ими, считалось занятием почтенным. В этом, как и в других случаях, современному читателю мешает правильно оценить пуританскую поэзию то обстоятельство, что стандарты, которым она стремилась соответствовать, давно устарели. Великие английские поэты, которые печатали свои стихи и вызывали бурю восторгов, в то время как нованглийские колонисты сочиняли рифмованные строки, лишь ненадолго отрываясь от упорных трудов «в пустыне», заставляли эти стандарты служить целям большой поэзии. Что касается жителя Новой Англии, то он обычно достаточно профессионально следовал канонам, но стихи его

редко поднимались над уровнем умелого ремесленничества. Отчасти приобщиться к великой традиции ему мешали специфические теории пуританизма. Он стремился не слишком глубоко проникать в сферу чувств и с антипатией относился к англиканским или католическим верованиям многих поэтов, которые могли бы стать его учителями. Его ограничивало также отсутствие литературно подготовленной аудитории, и слишком часто на пути его к поэтическим ценностям стояла убежденность, что первейшая задача писателя — заставить слово служить ближайшим практическим целям. Это не значит, что пуританин был эмоционально холоден или поэтически нечувствителен — примеры Уигглсворта и Брэдстрит убеждают в обратном. Это не значит также, что он не мог создавать памятные строки — такие можно обнаружить и в поэме Уриана Оукса «Элегия на смерть преподобного Томаса Шепарда» (1677), и в «Чудесах провидения» Эдварда Джонсона *, поэме, в целом весьма посредственной. Любой читатель, способный оценить техническое мастерство выражения или имеющий вкус к дидактической поэзии, получит удовольствие, читая Бенджамина Томпсона * или Ричарда Стира, которые, при всей бедности воображения, достаточно умело и тонко пародировали предрассудки Новой Англии или использовали приемы Драйдена и поэтов его школы, поучая колонистов, вооружая их в доступной форме знанием.

4

Крупнейшим поэтом Новой Англии до XIX века был Эдвард Тейлор *, пуританский пастор, проповедовавший в Уэстфилде, Массачусетс, в конце XVII — начале XVIII веков. И сами его произведения, и недвусмысленное отношение к собственной литературной работе могут служить яркой иллюстрацией пуританской поэтической теории в действии, точно так же, как успехи его и неудачи отражают общую поэтическую ситуацию в Новой Англии тех времен. Очень немногие из его стихов были опубликованы при жизни автора, но оставленные им рукописи могли бы составить внушительную книгу, которую, впрочем, он завещал не публиковать. Почему он это сделал, мы с уверенностью сказать не можем, но не исключено, что Тейлор, осознавая неортодоксальность своего творчества, опасался, как бы наиболее проникательные из его собратьев не обнаружили в нем сомнений в его собственной приверженности к благочестию, либо по поводу суровости человека вообще. В целом его поэзия более чувственна, исполнена более ярких образов и смелой экспрессии в передаче глубинных, стойких, потаенных эмоций, нежели то было свойственно большинству поэтов-пуритан. В его стихах упоминаются пышные алтари и драгоценные камни, гастрономические пряности и духи; в них явно слышны отзвуки поэти-

ческого творчества таких писателей, как Джон Донн и Ричард Крэшоу*; порой целые стихотворения трактовали тему, не одобряющую господствующей пуританской моралью, — склонность человека к цветам, драгоценностям, благоволиям; в иных шла речь о плотских радостях. Конечно, преследовал в своих стихотворениях Тейлор цели благочестия; он был глубоко религиозен, но преданность свою выражал — и, должно быть, вполне осознавал это — в образах, тесно связанных с посюсторонним миром. Видимо, он не только был наделен большим даром воображения, нежели его современники, но и более нетерпимо относился к ограничениям, накладываемым на поэтов пуританским страхом перед страстями грешного человека. В наших глазах его поэзия от этого только выигрывает. Там, где у Брэдстрит или Уигглсворта можно обнаружить лишь намеки на поэтическую силу, Тейлор дает ее доказательства; там, где другие поэты-пуритане поднимаются только до точности слова и смелой версификации, лишь изредка озаряемой светом поэтического воображения, Тейлор в своих лучших поэмах достигает такой яркой эмоциональности, что они обретают художественную долговечность, несмотря на то, что утверждают пуританскую доктрину.

Достоинствами своими поэзия Тейлора обязана не только расширению ее художественных возможностей, ограниченных пуританскими условностями; сила его как поэта объяснялась также мастерским владением образностью, столь близкой и дорогой пуританам, — образностью, так сказать, домашней, извлекаемой из зауряднейшей повседневной практики простых людей. Добавим к этому и отличное владение простой разговорной речью, которая звучала в его строках особенно эффектно благодаря контрасту между «заземленностью» слова (или поэтической фигуры) и возвышенностью темы. Душа — это «райская птица», заключенная в «клетку», и там она «щебечет» во славу всевышнего. Бог «перемальывает зерно и дарует Хлеб Жизни... из чистейшего урожая небес — любимейшего Сына». В результате получается «сладчайший небесный пирог». А человеку предназначено быть божьим «веретеном»:

Твои слова суть нить моей души,
Моя любовь Твое веретено,
Ты, Господи, прядешь меня в тиши,
И раздается новый, незнакомый
Мой тихий голос, Господом прядомый.

Далее в поэме говорится о шитье и крашении платья, пока наконец человек не «облачается в святые одежды во славу божью».

Образ точен, вполне соответствует типичному «метафизическому стандарту» и в то же время ярко реалистичен. В данном

случае не должно было быть никаких нареканий, хотя, очевидно, правоверному пуританину могло показаться, что подобная образность слишком отдаёт традицией англиканской поэзии, автор же чересчур явно стремится воздействовать на чувства читателя, отвлекая его от той истины, ради которой поэма написана. Однако многие пуритане могли испытывать серьезные сомнения относительно строк:

Возлюбленная! Мне не хватит слов,
Чтоб описать сиянье Красоты.
Коснись меня хоть взглядом! Я готов
Растаять от Любви, чуть взглянешь Ты.
Растаю от Любви, чуть взглянешь Ты,
О Господи, в сиянье Доброты!

Или

Ах, роза! Ты услада обонянью
И зренью! Наслажусь ли я тобой?
И не пойду ль потом на покаянье,
Стыдясь, любя и облик помня твой?

В самом деле, как не возникнуть опасениям, что подобные строки будут убийственно воздействовать на плотские чувства грешника? Угроза могла таиться и в таких выражениях:

Но Сердце стало Строгим Судией,
И злато-огненный алтарь
В святой жестокосердости своей
Презрело, знатный встарь.

Правда, кадильница, золотой алтарь, сладкий фимиам встречаются и в Библии, но не слишком ли откровенно воспеваются в этих строках те ритуалы, против которых пуритане восставали? В поэзии Тейлора можно найти и иные примеры в этом же роде: любовью напитаны небеса, любовь правит всем, кровь объединяется любовью. Чрезвычайная интенсивность чувства, вероятно, пугала его критиков, которые считали, что чувства вводят разум в заблуждение и что автору нет надобности утверждать «опасную» идею о возможности слияния с «Богом в этой мрачной юдоли». По счастью, теперь подобные соображения не могут помешать воздать должное силе воображения и драматической напряженности тейлоровской поэзии. Постоянное использование домашней, повседневной речи и образности позволяло ему объединять в своих стихах религиозный пафос и земную реальность и высекать из этого контраста искры истинной поэзии. Вновь и вновь он выражает драматизм, изначально заложенный в человеческих поисках прекрасного, которое лежит за пределами этого мира, но может быть воплощено лишь в картинах радостей земных.

Тейлор умер в 1729 году. К тому времени в Новой Англии произошли уже большие перемены. Прежний религиозный пыл поумерился, бог как центр вселенной постепенно начал уступать место человеку; все большее число колонистов, особенно в процветающих прибрежных городах, уходило в торговлю, стараясь устроить свою жизнь с истинно английским комфортом, охладевая к завоеванию новых земель во славу Христа. На словах они отдавали дань старой теологии и принадлежность к церкви оставалась признаком положения в обществе; но страсть к учительству и полная поглощенность проблемами греховной личности остыла, что не замедлило отразиться в литературе. Все большую и большую популярность начали приобретать изящество и цивилизованность английских эссеистов; суровая речь и риторика первых поселенцев заменялись постепенно легкостью и беглостью сладкоречия; конкретный реализм нередко уступал место умело поданным обобщениям, завуалированным в абстракции. В поэзии страсть Тейлора и его склонность к драматическим контрастам сменялись гладкостью и изысканностью куплетов и стансов, явно напоминающих Драйдена, Уаттса * и Попа. Между 1700 и 1760 годами в Новой Англии появилось много хороших прозаических произведений и не меньше изящно написанных стихов; но слишком часто в сравнении с предшествующими эти произведения кажутся искусственными, так как за ними не стоит сильное чувство. В моде был «здравый смысл»; «благоразумие» и «пристойность» оказались теперь куда важнее, нежели во времена пуританских проповедников и авторов трактатов. Сравните буквально любую строку из Тейлора или любую, сколь угодно неуклюжую строфу из «Судного дня» с таким, например, отрывком из «Поэтического размышления» Роджера Уолкотта (Коннектикут, 1725):

Достоинство и Добродетель купно
 Обозначают то, что нам доступно.
 Они, как дети малые, чисты.
 Они, как дождь, — источник чистоты.
 Мужам — порукой — Образ Жизни Правый,
 А Женам — драгоценною оправой.

Близко к истине, скажет любой пуританин; но мало кто из первых пуритан выразил бы это столь же мягко, почти не испытывая ощущения беззащитности грешного человека перед лицом всевышнего или чувства благодати, которую он ниспосылает избранным. Перемены в мироощущении — сравнительно с писателями более ранних времен, — перемены, которые обнаруживаются не только у Уолкотта, но и у многих авторов XVIII века, свидетельствуют о том, как новый рационализм, деизм и пере-

менившиеся литературные представления в Англии воздействовали на пуританизм, сложившийся в ранние годы колонизации. Кое-что было достигнуто и в области литературной техники. Новые теории нашли яркое выражение в лучших эссе Бенджамина Франклина, мастерски исполненных «здравомыслящим» человеком для «здравомыслящих» людей, которых этот мир интересует больше, чем тот свет; следует сказать также о научных и философских трудах Джонатана Эдвардса. Великолепие стиля, с которым преподобный Джон Уайз защищал основы истинной церкви Новой Англии («Поддержка церковного раздела», 1710 г., и «Оправдание главенства Новоанглийской церкви», 1717), убеждает, как много он обязан английским стилистам школы Драйдена и Свифта.

Укрепляющаяся независимость светской власти, ослабление прежних религиозных уз все больше открывали путь к далям, куда не заглядывали пуритане ранних времен. К примеру, Мэзер Байлз, племянник Коттона Мэзера, был священником, но популярностью не в меньшей степени, чем проповедям, был обязан своим каламбурам. Он занимался и стихоплетством; поклонник Попа и современных ему английских поэтов, он написал несколько стихотворений, которые его предшественникам показались бы слишком тривиальными — или слишком фривольными — для служителя церкви. Конечно, у ранних пуритан было чувство юмора — вспомним хотя бы дневник Сэмюэла Сьюолла и «Сапожника» Натаниела Уорда; но, как правило, проповедник XVII века считал бы публичную демонстрацию своего ума или остроумия пустой тратой бумаги и чернил. Не было в ранние годы Массачусетса и негоциантов, подобных Джозефу Грину, развлекавшему себя и своих не слишком благочестивых приятелей стихотворениями, воспевающими радости попок, или эпитафиями о почившей кошке Мэзера Байлза, или даже рифмованными насмешками над настоятелем церкви на Холлистрит. Представления о назначении литературы в Новой Англии стремительно менялись. Хорошим произведением считалось не потому только, что соответствовало своему назначению, то есть служило господа, распространяя божественную истину самым доходчивым путем; появилось место и для чисто развлекательного творчества. Возрос также интерес к дискуссиям на сугубо литературные темы, проблеме стиля. В 1725 году Джон Балкли написал к уолкоттовскому «Поэтическому размышлению» предисловие, в котором он, при всем своем благочестии, уделил куда большее внимание чисто литературным достоинствам произведения, чем то позволило бы себе большинство его предшественников. В знаменитом эссе Коттона Мэзера о стиле, включенном в его «*Manuductio ad Ministerium*»¹ (1726), эту на-

¹ Руководство к управлению (лат.).

стольную книгу студентов, изучающих богословие, эстетике уделено куда больше места, нежели в предисловии к «Книге псалмов Массачусетского зала» или в неопубликованном очерке Майкла Уигглсворта «Во славу красноречия».

Вряд ли века сохранят от поэзии и прозы Новой Англии до 1760 года больше, чем несколько страниц. Тем не менее запоминающиеся места встречаются не только в хрониках и исторических описаниях, но и среди множества проповедей, трактатов, очерков, поэм, религиозных стихотворений, написанных в колониальные времена; к тому же сотни других отрывков, хоть и лишенные печати гения, также могут вызвать интерес и воодушевление современного читателя, на чье понимание они вправе рассчитывать. Разумеется, для этого прежде всего надо знать условия колониальной жизни, те обстоятельства, при которых возникла колониальная литература, и ту аудиторию, которой она адресовалась. Необходимо, далее, взять во внимание литературные каноны, которым следовали наши предки и которые при всей своей ограниченности обладали определенной ценностью. Упорядоченность, логичность, ясность и поныне являются литературными достоинствами, пусть способы, которыми они теперь достигаются, и отличны от тех, что были приняты во времена пуритан. Будничные ассоциации, обыденная речь, использование простых, реалистических образов, которые переводят абстрактные идеи и чувствования на язык повседневности, и до сих пор характерны для лучших образцов американской литературы. Эмерсон восхищался «языком природы». Он слышал его отзвуки в речевой манере «погонщика из Вермонта» и утверждал, что «в XVII веке такую манеру можно было обнаружить в любой книге». В качестве примера он цитировал Томаса Шепарда, у которого сказано: «И они считали недостойным закрывать глаза руками и снова каяться». Совершенно очевидно он заботился о доходчивости, столь характерной для пуританской прозы; очевидно и то, что подобная особенность свойственна также его лучшим работам. Эмерсон и другие находили в пуританской теории литературного стиля нечто, могущее служить целям идеалиста во все времена. Глаза ранних поселенцев Новой Англии были обращены к богу, но они были трудолюбивым народом, им надо было покорить пустыню, в них жила возвышенная решимость довести до конца свою миссию на земле.

Джонатан Эдвардс писал о естественных науках и философии более эффективно и более живо — по крайней мере в восприятии современного читателя, — нежели большинство из его предшественников в XVII веке. Люди, подобные ему, были исключением, но и они извлекли немало полезного из новых методов английской прозы, распространенной в конце XVII — начале XVIII веков, — методов, используя которые многие другие писатели Новой Англии, выступавшие до 1760 года, придавали

своему стилю особенный аромат. Литературная практика пуритан выростала из попытки выражения возвышенных чувств, владевших ими, и в то же время из неукротимого стремления извлечь из них пользу — и для своего личного опыта, и для повседневной жизни соотечественников. Быть может, они так до конца и не осуществили собственную цель — как в литературе, так и в жизни, — но лишь самые непроницательные из наших современников не признают отвагу, с какой они пускались на поиск, и откажут в уважении ко всему, что они делали и писали.

С. ДЖОНАТАН ЭДВАРДС

1

Дом приходского священника в Ист-Виндзоре, Коннектикут, где 5 октября 1703 года родился Эдвардс, был просторным и беспорядочно спланированным фермерским строением, легко вмещавшим одиннадцать детей Тимоти и Эстер (Стоддарт) Эдвардсов. К ручью, протекавшему позади дома, полого спускался луг, где юный Джонатан построил себе хижину, в которой вместе со своими сверстниками предавался размышлениям и молитвам. Совсем неподалеку от этого места он, когда ему было 12 или 13 лет, заметил летающих пауков — описание их считается первым очерком в естественной истории, посвященных этому явлению. Тимоти приучал своего единственного сына к делам, требовавшим предельной аккуратности, и живой ум и воображение ребенка были дисциплинированы. Сына обучал отец, известный более как учитель, нежели священник; особенных успехов он достиг, готовя молодых людей к поступлению в Гарвард и Йель. Умение давать «удивительно богатые и тонкие описания», обнаруженное Уильямом Джеймсом * у автора «Трактата о религиозных чувствах» (1746), было выработано юношескими наблюдениями над природными явлениями, над насекомыми и радугами, которые он созерцал с холмов Коннектикута. Одаренный юноша поступил осенью 1716 года в Йель.

Образ мышления Эдвардса раньше всего выявился в его «Заметках о естественных науках» и в «Сознании». Они были своего рода откликом на прослушанные им в колледже курсы по «естественной философии», как тогда называли физику. То были годы, когда изучение новой науки, открывавшейся со страниц книг Ньютона и Локка, отрывало ему и самого себя. Спокойный молодой человек, который в знак уважения со стороны своих сверстников был выбран старостой колледжа и инспектором столовой, уже в то время был гражданином царства разума. В «Заметках» ставились вопросы: что есть действительность? Каковы границы человеческого знания? В чем заключается истинная свобода? И главное — может ли человек любить что-либо сильнее, чем самого себя?

Здесь Эдвардс впервые предпринял попытку свести воедино принципы морали, искусства и быта. Заметка «О совершенстве» заключается такими словами: «Отчего Достоинство, которое есть Совершенство Ума, выражается в Любви к Бытию? И лишь через опыт и проявление этой Любви обретает достоинство и красоту Духа? А греховность и разложение Духа возникают лишь благодаря недостаточности или предательству этой Любви?»

Сколь бы искусственными ни выглядели эти построения как доктрина, ранняя попытка Эдвардса выразить философский идеал на девяти небольших страничках заключает в себе зерно, из которого впоследствии проросло все остальное. Это была первая попытка найти гармонию между чувством и разумом, милосердием и справедливостью, судьбой и свободой воли. Рассмотрение мира в категориях любви составило уникальный вклад Эдвардса в философскую систему Кальвина.

Изучение теологии, которому он посвятил два года по получении степени бакалавра в 1720 году, точно так же, как и научные изыскания, выражались теперь в абстрактных размышлениях. Можно находить или не находить следы влияния английского идеалиста Джорджа Беркли в идеалистических построениях «Сознания» или более известного эссе «О бытии», но одно бесспорно: направление ума Эдвардса выявилось еще в самые юные годы. В воздухе витали слухи о новых, захватывающих теориях мироздания, как-то: мир чувств есть прямое выражение божественной идеи; сознание и дух важнее, нежели их материальные проявления. Несомненно, он обдумывал эти концепции, так как в них утверждалось то, к чему он и сам двигался.

Последним и безусловно определяющим событием его студенческой жизни, столь увлекательно описанным двадцатью годами позже в «Рассказе о себе», было «чудесное озарение», случившееся в семнадцатилетнем возрасте: «Мне нередко приходилось просто сидеть и подолгу глядеть на луну, а днем я рассматривал облака и небо, пытаюсь уловить в них величие славы божьей: так, напевая негромко, я размышлял о творце и спасителе». Все, что он наблюдал как проявление чувственного мира, теперь становилось тенью божественной истины. Конкретный образ превращался в символ. Отныне природа была лишь аналогией, как и воспринимали ее от века мистики. Среди американских литераторов будущего столетия идею эту на свой лад выразил Брайент, и — разумеется, последовательнее, чем кто-либо другой — Эмерсон.

Его испытательный срок проповедничества в Нью-Йорке, во вновь образованной конгрегации на Уильям-стрит, продолжался только восемь месяцев 1723 года. Пospешность, с какой Эдвардс принял приглашение пастората в Болтоне, Коннектикут, заставляет предположить, что мир причалов и кирпичных домов

оказался чужд юноше из Новой Англии, впервые покинувшему дом, леса и луга родных мест. «Новое ощущение сущего», черпаемое из окружающей вселенной и впервые посетившее его еще в колледже, так навсегда с ним и осталось.

Неотложные общественные дела заставили его почти сразу же отказаться от всех своих болтонских обязательств. В 1724 году его *Alma mater*, которая в этот момент переживала наиболее бурные дни своей ранней истории, предложила Эдвардсу должность старшего наставника, которую он занимал в течение двух лет, являясь фактически президентом колледжа. Затем последовало приглашение на место помощника пастора в Нортхэмптонскую церковь, где главенствовал его дед. Престарелый «отец» Стоддард, который вел церковную политику настолько твердо, что с ним не мог соперничать ни один бостонский священнослужитель, должен был вскоре уйти в отставку. Эдвард обосновался в Нортхэмптоне в феврале 1727 года и в том же году женился на Саре Пирпонт из Нью-Хэйвена, женщине чуткой и сильной духом. В те годы он целиком был поглощен заботами о семье, писанием проповедей, которые произносил раз в две недели, и сочинением очередной книги. Да, величавый мистер Эдвард завоевывал постепенно литературную репутацию, хотя земляки помнят его задумчиво разгуливающим по деревне или отправляющимся на верховую прогулку по окрестным пастбищам — поводья опущены, карманы пальто набиты узкими полосками бумаги, на которых он делал заметки, чтобы не забыть обуревавших его мыслей. Именно Сара Эдвардс поощряла эту простую, но исполненную высоких помыслов жизнь, и она же мужественно делила со своим супругом тяготы, выпавшие на его долю в поздние годы их жизни в Нортхэмптоне. Подобно ему, без сожалений и раскаяния она приняла положение жены скромного настоятеля, когда в 1751 году они переехали в маленький, пограничный с индейцами Стокбридж.

2

Причины нортхэмптонского конфликта, который привел к тому, что Эдвардс в 47-летнем возрасте вынужден был оставить наиболее влиятельный в долине Коннектикута приход, крылись в идеалистических взглядах, выраженных еще в его юношеском эссе «О сознании». Эдвардс был поглощен «писаниями» с того самого дня, как в тринадцатилетнем возрасте был принят в Йельский колледж. Они со всей очевидностью были порождены его негибкой честностью, и вот теперь он сам хотел отставки, так как все прежние сомнения были разрешены. Благо человечества было неотделимо от тех способов, какими оно могло быть обретоно. «Прощальная проповедь», произнесенная в июле 1750 года, бросает свет на драму, пережитую им в середине жизни. «Вам нужен, — заключал он, говоря о преемнике, — та-

кой человек, который всегда будет стоять на стороне святости и правды». И это суждение грустно подтверждает ограниченность его организаторских способностей, но не его принципов.

Желание Эдвардса видеть в своей пастве лишь тех, кто признает «обновление сердца» и возрождение духа, было для большинства неприемлемо. Тень его деда Стоддарда, умершего двадцать лет назад, все еще витала над общиной, так как Стоддард учил прихожан, что в определенных обстоятельствах печать евхаристии может быть «свидетельством обращения». Напротив, Эдвардс в конце концов пришел к убеждению, что спасутся лишь немногие избранные богом, остальные же обречены на неотвратимую и вечную погибель. Его трагическое осознание зла в мироздании, его убежденность в неизбежности человеческого одиночества получили теперь логическое обоснование. Революция, которую он стремился совершить, бросая вызов идее Стоддарда, и мысли, к которым он пришел, должны быть сформулированы в трактатах, которые предстояло написать в Стокбридже, этом пограничном поселении, в течение оставшихся ему восьми лет жизни. Тогда он казался отверженным консервативным, потерянным для современности, с которой он не смог найти общего языка. Должна ли религия быть чем-то большим, нежели регулярное посещение церкви и богобоязненное добродетельное существование, основанное на добром воспитании и гуманной заботе о благе ближнего? Эдвардс считал, что должна. И он был готов выразить свои идеи в серии оригинальных метафизических рассуждений, которые, по существу, дали определенное направление развитию духовной культуры Америки.

3

Эдвардс не формулировал свои принципы до тех пор, пока его карьера не потерпела в 1750 году столь очевидный урон. Из пяти работ, выражающих систему его взглядов, лишь «Религиозные чувства» были написаны еще в Нортхэмптоне. Остальные появились позднее. «Тщательное и подробное исследование... свободы воли» было опубликовано в 1754 году; «В защиту великой христианской доктрины первородного греха» — в 1758, в год смерти; а «Две диссертации» — «О природе истинного достоинства» и «О целях создания Богом вселенной», — венчающие возведенное им философское здание, были изданы уже посмертно, в 1765 году. Ортодоксальные догматы кальвинизма, на которых Эдвардс воспитывался в Ист-Виндзоре и в Йеле, не были цепями, сковывающими его собственное оригинальное мышление. Захватывая в орбиту своих исследований весь человеческий опыт, он не чувствовал себя стесненным никакими канонами. Кальвинизм служил для него лишь отличным материалом для создания нового идеализма.

В строгом смысле слова Эдвардс, как и Эмерсон, не создал философской системы, но уже в ранних «Заметках» выражено его толкование жизненной борьбы человека, а в более поздних трактатах доктрина получила дальнейшее развитие. Идею, что знание должно опираться на веру, что мысли человека формируются на чувственных представлениях, он заимствовал у Локка, хотя далеко отошел от последнего, утверждая ограниченность ценности познания. Для Эдвардса это был интуитивный процесс: человек не может обрести морального совершенства путем волевого, сознательного акта — он должен пассивно воспринять его посредством чувств. У Ньютона Эдвардс научился наблюдать, насколько безграничны законы природы, отражающие в своей гармонической структуре образ великого Геометра. И начал он с опровержения идеи человеческой ограниченности и поражения. Его оружием был язык кальвинистской теологии.

Кальвинизм никогда не был синонимом пуританизма. Архиепископ Уитгифт, который короновал Якова Первого, был кальвинистом; но иными были люди, которых он посылал на поиски новых земель, к заливу Массачусетс. Бостона и Сейлема кальвинизм не коснулся, как не коснулся он династии Мэзеров и ее последователей. Эдвардс же, более чем кто-либо другой, перевел кальвинизм на язык практической философии, а его последователи перенесли этот феномен, возникший в долине Коннектикута, в Нью-Джерси и Виргинию. Как первый американский кальвинист, Эдвардс в отличие от Томаса Шепарда, Томаса Хукера и других пуританских лидеров XVII века не подчеркивал значения договора, заключенного между богом и человеком, — договора, которым равно связаны обе стороны — верховный владыка и его паства. В кальвинистской системе Эдвардса бог наделялся большей независимостью и требовал большего поклонения. Греховность, согласно этим взглядам, составляла неотъемлемую принадлежность рода человеческого. «Безмерность и духовность божественной природы» не могла быть, по словам Кальвина, познана усилием разума или заключена человеком в рамки сколь-нибудь законного договора.

Испытывая огромные страдания, Эдвардс утверждал наличие зла, а также то, что спасение ждет не каждого, но только «избранных». Спасенные, подчеркивал он, возрождаются духовно: это мужчины и женщины, извне наделенные какой-то сверхприродной благодатью, которую бессильно обеспечить им простое стремление к ней. Духовное возрождение пассивно принимается посредством особого нового чувства. Никто не может быть уверен в том, что будет избран, но следует сохранять надежду, держа постоянно свои сердца открытыми и готовыми смиренно воспринять божью благодать. Увидеть бога в радуге или в бутоне лютика — это заверение, но это и вызов. Так пантеизм Эдвардса и его мистицизм обретали гармонию в кальвинистской догме.

В согласии с пуританским учением Эдвардс проводил строгое разделение между двумя видами божественных деяний, что и нашло отражение в «Трактате о благодати», написанном в годы жизни в Стокбридже, но опубликованном лишь в 1865 году. С одной стороны, это «общая благодать», идущая от бога и являющая себя в вещах второстепенных, она обнаруживается в его провидении — в его указующей воле, — находит выражение в повседневной жизни и в его заветах — в Библии. С другой стороны — и это самое главное, — существует «сверхъестественная благодать», возрождающая сила, эманация, направленная непосредственно — минуя обычные каналы — к человеку. Эта высшая благодать дарована избранным, это неотразимая сила, независимая от предшествующих обстоятельств, ничем не подготовленная. Она нисходит неожиданно, она есть бесспорная справедливость космических законов. Подобного рода мистический союз не может быть объяснен в категориях разума. Но этот «Божественный и сверхприродный свет, которым божий дух внезапно озаряет душу», как Эдвардс определил это явление в заглавии одной из своих ранних (1734) опубликованных проповедей, тесно связан с обычной благодатью. Без меньшего и большего не может осуществиться. Поскольку указующая воля бога открыта всем, кто читает Библию, проповедник обязан время от времени угрожать геенной огненной, дабы человек помнил, что «обращение» есть предмет жгучей необходимости. Угрожающие проповеди, хоть в действительности произносил их Эдвардс редко, особенно связаны с отстаиваемым им кальвинизмом; они также традиционно принадлежали к пуританской идеологии. Проповедь Эдвардса, посвященная величию бога и низости человека, «Грешники в руках яростного бога» (1741), возбуждала и устрашала грядущие поколения читателей не менее, чем тех, кто впервые слушал ее в Энфилде, Коннектикут; извлеченная из общего контекста предложенной Эдвардсом формулы спасения, она может создать о нем неверное представление как о человеке, презиравшем людей, в то время как на самом деле он любил их как своих братьев, которые иногда склонны забывать предостережения милосердного Отца.

До сих пор взгляды Эдвардса излагались языком, свойственным пуританской теологии. Но если взять их как компоненты практической философии, то обнаружится, что в них заключена универсальная истина. Эдвардс был кальвинистом прежде всего в том отношении, что он последовательно утверждал постоянное наличие греха. Он считал, что его существование неизбежно и неотвратимо. Рожденный свободным, наделенный правом выбора, человек все же постоянно испытывает одно, наложенное на него изначально ограничение: как человеческое существо он не может преступить установленные ему пределы. Ему не должно стремиться стать подобным богу. Яблоко

с древа познания ему не доступно. Эдвардс усматривал двойной смысл в грехопадении Адама, но в обоих значениях оно при всей трагичности не лишено духовной силы. Действие и его результат неразделимы. Ложное действие Адама должно иметь соответствующий результат, который люди называют справедливостью. Но люди знают, что им, как *человеческим* существам, слепота и невежество присущи обязательно, так что ради торжества справедливости нельзя сомневаться в абсолютном всеилии бога во всем, что касается спасения и проклятия. «Доктрина очень часто предстает в виде приятном, ярком, привлекательном», — отмечал Эдвардс в своем «Рассказе о себе». «Абсолютное всеилие — вот, что я люблю приписывать богу».

А второе значение еще глубже. Будь Адаму дана возможность навсегда остаться в Эдеме, где он мог бы беспрепятственно срывать зрелые плоды и где никакие физические соблазны не искушали бы его невинность, останься он там — и какое мыслимое удовлетворение мог бы он и его потомки найти в жизни праздных и вечных бездельников, новых студльбругов? Здесь как раз и необходима концепция милосердия и искупления, так как без борьбы за справедливость человек утратит смысл жизни. «Если принимать каждого по заслугам, — испытывает Гамлет Полония, — то кто избежит кнута?» Трудно более определенно сформулировать законы бытия. Именно эту тему положил в основу своего эпоса Мильтон, ибо в ней усматривал главное содержание жизни. А Эдвардс как кальвинистский метафизик придал ей оригинальное звучание. Его попытки обнажить корни религиозного опыта были даже еще значительнее, чем попытки Уильяма Джеймса, ибо последний не разделял его убежденности в том, что корни эти вообще могут быть найдены. В хронологической своей последовательности эти попытки Эдвардса начинаются с уже упомянутого «Трактата о благодати» и со «Свободы воли». Итог им подводится в эссе о целях бога, создавшего мир. Задуманная «История искусительного действия» — огромный труд, в котором философская система Эдвардса, охватывающая все три сферы: небо, землю, ад, должна была быть представлена в завершенном виде, — осталась незаконченной.

4

Чтобы понять «Свободу воли», необходимо сперва выделить проблему, с которой Эдвардсу пришлось столкнуться. Тот факт, что трактат представляет собой полемику с некоторыми «ересями» тех дней, не столь уж существен для современного читателя, если не считать, что, воюя с ними, Эдвардс расширял пространство, на котором собирался возвести свой божий град. Любой ребенок в XVIII веке знал, что начинать изучение человечества надо с человека; и Эдвардс начинал и кончал человеком. Его исследование психологии человеческих желаний яв-

ляет собой смелую попытку обращения к тяготам бытия, причем он не принимает вселенского оптимизма, полагающего самодостаточным безошибочный порядок. «Свобода воли» — эссе о человеческой свободе, в котором воля и чувства рассматриваются в их нераздельности. «Тот, кто обладает свободой действия согласно своей воле, суть Агент или деятель, которым обладает воля, а не обладающий ею». Поэтому мораль имеет импульсивную, эмоциональную, а не рациональную природу. Эдвардс не отрицает человеческой свободы, но считает, что определяется она «прежней средой и склонностями человека» — такими сложившимися уже комплексами, как наследственность и условия воспитания. Тут обосновывается закон мотивации: мотивом действия человека является любовь к самому себе и ограниченность этих действий. Тени Мандевилля * и Гоббса!* Будь даже Эдвардс их последователем, вряд ли он мог бы оспорить их взгляды более убедительно. Тот факт, что Эдвардс никогда не читал Гоббса, хотя, зная его из вторых рук, называл его «дурным человеком», придает особенную силу его философской убежденности. «Пусть он (Гоббс) думает все, что ему угодно, нам нет нужды опровергать то, что и так ясно, хотя бы потому, что мысли эти принадлежат дурному человеку». Воля, таким образом, слепа, она «владеет» человеком, и доктрина необходимости уравнивается с греческим фатумом. И трансцендентализм, и прагматизм своими корнями уходят в пуританское прошлое, и это эссе с его настойчивым утверждением пассивности является одним из таких корней.

Чтобы верно понять схему отношений человека к вселенскому порядку, как она разворачивается в эссе Эдвардса, необходимо заметить, что в этом случае автор устанавливает причинную зависимость между разумом и чувством. Следует попытаться разрешить каким-то образом конфликт между милосердием и справедливостью, и Эдвардс обращается к этой проблеме в эссе «О первородном грехе». Хотя закончено оно было незадолго до смерти автора, Эдвардс уже в течение долгого времени размышлял над этой проблемой. В чем причина зла? Где его корни? Логически против позиции Эдвардса можно возразить следующее: если считать творцом моральной природы человека, то любой приверженец идеи «первородного греха» должен признать, что и он предопределен богом. На это Эдвардс отвечал, что признает грех первородным лишь в том смысле, что он свойствен «роду человеческому», что бог создал систему, допускающую его, и что поэтому грех с необходимостью должен был возникнуть. Но грех, продолжал Эдвардс, есть результат человеческих, а не божьих действий; поэтому наказание справедливо. Система, освященная богом, носителем всеобщего добра, действительно целесообразна. Лишь через страдание можно стать верным Закону. Эта мысль принадлежит апостолу Павлу и вполне вписывается в общую систему

христианского мышления. Если это и трагедия, то трагедия безошибочной предопределенности. Пусть, говорит Эдвардс, довольные жизнью люди будут настаивать на доброте божества. Логика и опыт человеческой жизни не дают никаких оснований для подобного утверждения. Грех есть вселенское страдание, свойственное всему человечеству, — и бремя его нужно нести с момента рождения до смерти. Это единственная болезнь, разносчиком которой не являются крысы, вши и другие паразиты. Таким образом, человек являет собой уникальное существо. В глазах Эдвардса история происхождения зла, запечатленная в наших собственных родимых пятнах, была одновременно прекрасной и зловещей. Но последнее не должно вести к отрицанию наличия зла. Прекрасное же выражается в том, что человек начинает размышлять о таинстве непостижимого божьего порядка. Мужественно согласиться с реальностью греха — значит с новой силой испытать страх пред величием бога и признать зависимость человека.

«Свобода воли» — нелегкое чтение, но заключительные строки оправдывают все усилия. «Из вышеизложенного, — говорится в них, — следует в особенности, что мировое единство, с его *грязью* и *виной*, исходящими из *первородной* испорченности, целиком зависит от *божественного установления*... И все связи, все источники, развитие любых свойств, характеристик, отношений — все они из *прошлого*, все имеют *единую* природу и все покоятся на одном основании». Здесь обнажается второе из звеньев, связующих трансценденталистов с унаследованным ими прошлым: истина едина, вечна и неизменна.

«Трактат о религиозных чувствах» долгое время рассматривался как глубокое исследование психологии религии. Он явился итогом размышлений Эдвардса над проблемами человеческого предназначения и пристальных наблюдений над ходом молитвенных собраний ревивалистов, участвовавших в 1730—1740 годы. Теплый прием, оказанный им Джорджу Уайтфилду *, одному из наиболее ярких проповедников столетия, одобрительное отношение к «возрожденцам» вызывали подозрение среди других, более уважаемых священнослужителей колонии. Хотя поддержка, оказанная Эдвардсом евангелизму, теологически узаконила его на целое столетие вперед, истинное значение «Религиозных чувств» было осознано много лет спустя после появления трактата. Эдвардс считал, что опыт имеет эмоциональную, а не рациональную природу; он прослеживал, удостоверяя их собственным свидетельством, пути «святого духа», утверждая, что именно эмоции составляют прочное основание добродетельной жизни. Он постигал философский смысл, который ускользал от других, не столь проницательных проповедников. «Основа любой истинной религии заключается в святой любви; и это божественное чувство, и повседневное выражение его, и то, что составляет его фундамент

и его плоды, — все это и есть религия». Таким представлялся Эдвардсу образ бытия. То, что впоследствии, в «Свободе воли», было приведено в систему, основывалось на чувствах человека. Тайна союза человека и бога крылась в глубинах сердца, и смелое исследование, предпринятое Эдвардсом, утвердило за ним репутацию знатока психологии мистицизма. Как и обычно, ему важно здесь было не уравнивать в правах простую интуицию с голосом бога, не допустить объединения бога и природы в единой субстанции трансцендентального воображения. В этом отношении работа его остается уникальной, она к тому же стоит у истоков культурной традиции, дошедшей через Эмерсона до наших дней.

«Природа истинной добродетели» (1765) — эссе, представляющее собой естественное продолжение «Религиозных чувств», — значительный труд, в котором мистика подчинена догмату. В этом эссе автор прослеживает, как мотивы, вызвавшие то или иное действие, наполняют его моральным смыслом. Истинное достоинство складывается из любви к бытию в целом и, следовательно, к богу как сумме бытия. Поскольку ни один человек, заключает Эдвардс, не может испытывать этой любви, если только он не наделен чудесным и внезапным образом этой способностью, то он и не может активно стремиться к достижению подлинной добродетели. Если эта доктрина и подразумевает, что человек должен радоваться собственному проклятию во славу бога, то в ней заключен и более высокий нравственный идеал. Сколь могущественна может быть любовь! Сколь совершенно человеческое смирение, когда он способен любить других больше, чем себя! Добродетельным человеком руководят праведные чувства — праведные в силу их красоты, а не потому, что он может извлечь из них пользу или прибыль. В другом, близком по теме сочинении «О целях, ради которых Бог сотворил мир» автор делает окончательные выводы. Бог как Верховный Художник или Гений сотворил мир из чистой радости созидания. «Нет сомнений, что, созидая мир, Бог стремился к добру, которое должно было стать следствием созидания, всего многообразия создаваемого... Он стремился к бесконечной гармонии человека с самим собою... стремился удовлетворить свои бесконечные благодать и щедрость». Эдвардс утверждает, что бог хотел тут выразить себя всецело, так как красота, добро и существование есть выражение одного и того же Принципа. Единение дается человеку не волевым усилием, но в процессе пассивного приятия. Эссе адресовалось тем, кто способен услышать, по слову Мильтона, «невывразимую брачную песнь».

Эдвардс исследовал чистое добро на тех путях, на которых не преуспел ни один поэт. Мильтон и Гёте прекрасно живописали зло. Убеденный в том, что грех изначален — что человек, будучи членом людского сообщества, «поглощен» доброй волей точно так же, как и дурной, — Эдвардс приходит к выводу,

что добрый человек подвластен Сатане. Истинный символ добра должен *включать в себя* зло — переживая его, преодолевая, рассеивая. Как может, задает вопрос Эдвардс, столь величественная система функционировать, если не будет проклятия грешнику и избранничества святых? Он внес в кальвинизм мистические и пантеистические тона; так и возникли философски обоснованные символы чувственного опыта.

Каждый из крупных трактатов Эдвардса был написан в полемике со второстепенными публицистами. Его интересовал предмет, а не доводы оппонентов. Признание несовершенства мира, взятого в его глобальных масштабах, трагическое видение также свойственно Эдвардсу, хоть и не занимает такого места в его системе мышления, как у романистов и поэтов, изображающих человеческую жизнь. «Дорогие дети, — говорил он, обращаясь к собравшимся на его прощальную проповедь, — дорогие дети, я оставляю вас в мире зла, в мире, полном капканов и искушений. Один Бог знает, что будет с вами». Трактаты Эдвардса остаются документами, к которым люди будут обращаться в поисках ответа на то, что не может их не волновать. Большинство из его работ были написаны у пограничных столбов, в заброшенной деревушке, озабоченной своими повседневными делами, написаны человеком, который, давая уроки грамоты индейским мальчишкам, в то же время формировал судьбу Америки.

Как автор прозаических сочинений, будь то его проповеди или трактаты, он ясно сознавал свою цель. В трактатах он стремился к последовательности силлогизмов, в проповедях избегал цветистой риторики. Его литературный слух был развит постоянным вниманием к окружающему миру, и он выработал истинное мастерство «обыденного» стиля, который в моменты, когда он, забыв о силлогизмах, воссоздавал картины, напоминавшие ему с детства, был согрет теплом его собственного сердца.

5

Приглашение занять пост президента колледжа в Нью-Джерси пришло после десяти лет напряженной работы и всевозрастающей известности. Его внезапная смерть в 1758 году лишила молодое учреждение славного имени. «Эдвардс из Новой Англии», как Босуэлл * аттестовал его, был лучше известен за границей, нежели у себя дома, где он никогда не был близок с религиозными мыслителями своего времени. По контрасту неизбежно напрашивается сравнение с Франклином, уже достигшим некоторой известности, хотя и не ставшим еще мировой фигурой, что ждало его в ближайшем будущем. Эти двое, родившиеся в одном десятилетии, в одних и тех же краях, признаны интеллектуальными вождями своего века. Доставила ли бы Эдвардсу, который никогда не встречался с Франклином,

удовольствие подобная встреча? Можно предположить, что ни один из них не понял бы другого. Оба были склонны к размышлению, оба отличались прямоотой и оба были поглощены благом человечества. Но Франклин, проявляя патриаршую мудрость, в которой было отказано Эдвардсу, действовал как посредник. Принимая людей и мир такими, каковы они есть, он умел, не жертвуя принципом, направлять ход событий. Эдвардс был суровым ригористом, чье сострадание распространялось на все человечество скорее, чем на отдельного человека. Он был жителем Августинова божьего града, где в символе скрыт смысл, где разум и чувство дисциплинируются содержанием самого принципа.

Мистические доктрины Эдвардса в XIX веке подвергались различным модификациям, но новым поколениям, по признанию Холмса, казались истинно страшными трагическая напряженность его работ, одержимость идеей всемогущего греха, его пламенные образы и тяга к символизму. Да, многих все это отталкивало, но не всех. Прежде всего думаешь о Готорне, который, будучи скептиком, тем не менее перевел основные идеи Эдвардса на язык собственной прозы. Разве маленькая Перл, это дитя-эльф, не обрела человеческого облика лишь после того, как ее мать искупила свой грех? Разве не звучал гнев в обвинениях Мола и угрожающих инвективах судьбы Пинчена? А друг Готорна, Мелвилл, мрачно размышляя о летней ночи на холмах Стокбриджа, тоже писал о человеческом бессилии, падении и неистовой тяге к борьбе. С помощью трансцендентализма — учения, которое не вступало в конфликт с пуританизмом Эдвардса, напротив, впитывало его в себя, — Эмерсон пытался постичь сокрытый смысл таинств природы. «Мы не предпрещаем того, о чем будем думать. Мы просто отворяем наши чувства, распахивая их вовне, убирая все препятствия с их пути, и напрягаем ум, чтобы увидеть». Эмерсон тоже хорошо сознавал, как он о том и пишет в своем эссе «Об интеллекте», ограниченность воли, соотношения между предметом и словом, объектом и духом. Дерзкий язык Уитмена ломал прежние каноны, но и этот писатель в таких, например, вещах, как «Пою божественный квадрат», бился в тисках добра и зла, плоти и духа. Не обязан ли — в большей степени, чем он признавал это, — своим идеализмом пессимист Генри Адамс, человек, всячески развивавший способность самоанализа, пытавшийся склеить вместе «единицы» и вывести из символов Девы и динамомшины общие правила искусства, — не обязан ли и он своим идеализмом наследию Новой Англии? Голос, доносящийся до нас сквозь толщу многих лет Америки, — это голос Готорна, Мелвилла, Эмерсона, Уитмена, Адамса. Но дирижерская палочка была в руках Джонатана Эдвардса.

7. ПИСАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОЛОНИЙ

1

Между пустыней Сиона, где обитали пуритане, и плантациями Юга лежали земли, которые, за неимением иных общих характеристик, кроме промежуточного географического положения, получили определение центральных колоний. Но уже тот факт, что эти земли — Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Делавер — не были, подобно Новой Англии, связаны единой религиозной и, подобно южным колониям, единой общественной системами, — уже в этом факте заключена существенная *общая* особенность. Благодаря своему языковому и культурному многообразию, относительно демократичным социальным и политическим институтам, веротерпимости и материальному процветанию эти колонии образовали типично американский регион.

Редко где на земле бок о бок жило такое количество этнических групп. На берегах Гудзона селились голландцы — основатели этих краев; Нью-Йорк стал прибежищем купцов — евреев, гугенотов, сторонников англиканской церкви и голландских кальвинистов; английские квакеры и пуритане — переселенцы из Новой Англии — устроились на Лонг-Айленде и в Нью-Джерси; Филадельфия и прилегающие графства принадлежали торговцам и фермерам — квакерам из Англии и Уэльса; в этих же краях возделывали плодородные земли трудолюбивые немецкие сектанты; шотландцы и ирландцы — суровые поклонники пресвитерианской церкви — заняли пограничные земли; потомки шведских и финских торговцев — прибрежную полосу залива Делавер. Жили тут и негры — слуги и рабы — и индейские племена: ирокезы, делаверы и сасквехана. Это национальное множество, ищущее и беспокойное, находилось в постоянном движении; к середине XVIII века ему уже не хватало места в этих краях, где все воды стекались в Гудзон и Делавер, и люди начали перебираться поближе к влажным долинам Сасквеханы, где оказались вовлеченными в англо-французский государственный конфликт. От этих людей и пошла, как впоследствии напишет Кривкер, «раса, которую теперь называют американской».

Большинство произведений, созданных в центральных колониях, описывали топографию и историю внутренних и внешних земель; лишь немногие авторы преследовали собственно литера-

турные цели. В старых городах, однако же, где благодаря экономическому процветанию возникло стабильное общество, начала формироваться живая письменная культура. Несмотря на относительно позднее — в сравнении с другими колониями — начало, эти края быстро приближались к культурной зрелости и уже за четверть века до революции Нью-Йорк и Филадельфия достигли того уровня культурного расцвета, который обеспечил им в первые годы Республики признанное интеллектуальное первенство.

2

В большей части центральных колоний господствовала религиозная свобода, результатом чего стало чисто американское явление — множество сект и церквей. Наиболее внятно в этом хоре звучал голос квакеров, религиозного меньшинства, чьи идеи, поднимаясь как на дрожжах, оказали совершенно несоответствующее численности их носителей влияние на американскую жизнь. Это был голос настойчивого нравственного идеализма, черпавшего свою силу в религии чистого внутреннего опыта и практически выражавшего себя в мгновенном отклике чуткой совести на человеческое страдание.

Ведущей фигурой среди ранних американских квакеров был Уильям Пенн, может быть наиболее крупный из государственных деятелей колониальных времен, утверждавший в Нью-Джерси, Пенсильвании и Делавере дух религиозной терпимости, политической демократии и пацифизма. Он много писал на теологические, моральные и политические темы, но как литератору, наибольшую известность ему принесли моральные и религиозные афоризмы, наиболее полное собрание которых озаглавлено «Некоторые плоды одиночества» (1693). Оригинально сочетавший в себе правоверного квакера и светского человека, Пенн выражал в своих максимах мораль, одновременно религиозную и житейскую, предваряя в этом отношении некоторые из высказываний Бедного Ричарда. В «Плодах отцовской любви» (сочинении, адресованном детям накануне отъезда в Пенсильванию в 1699 году) он описывал внутренний свет, коренной принцип квакеризма, как «свет Христа в вашем сознании, посредством которого вы можете ясно увидеть, вдохновлены ли ваши поступки, да и ваши слова и мысли, вдохновлены они богом или нет... И повинувшись этому божественному свету в его святых догматах, вы окажетесь за пределами темных и неправедных путей и дел этого мира и вступите на праведный путь Христа и окажетесь среди его истинных, самоотверженных последователей».

Типичным литературным жанром у квакеров был дневник или духовная биография. В колониях жило много необразованных мужчин и женщин, наделенных незаурядной силой чувства, которые путешествовали по приходам как «друзья общества» и

оставляли там свои записи не в качестве доказательства собственных душевных прозрений, но как наставления для других в их духовных одиссеях. Толкующие более о внутренних состояниях, нежели о внешних событиях, эти дневники следовали более или менее единому образцу: рассказ о божественных прозрениях детства сменялся острыми угрызениями совести по поводу отроческих вольностей, которые в свою очередь через душевные конфликты юношеских лет разрешались «убежденностью» в истинности квакеризма и превращения, в результате коего собственная воля полностью подчинялась божественному руководству. Как бы повторяя один другого, авторы дневников отмечали одни и те же поворотные пункты зрелой жизни: приобщение к проповедничеству, решение носить «простую одежду», ограничение деловых связей, пробуждение социального сознания.

Стиль дневников так же тяготел к стандарту, как и содержание. В основе его было требование совершенной простоты. «Тот, кто погружен во свет и озарен светом, — утверждал Джордж Фокс, основатель «Общества друзей», — говорит простым языком и простыми словами». К тому же сводилось и наставление Уильяма Пенна: «Думай не о словах, а о сути, и главное — стремись быть простым и понятным: высшее красноречие — в простоте, и краткая речь — лучшая речь». Настойчивый призыв к ясности был частичным проявлением общеквакерского бунта против «мира» середины XVII века, когда английская проза изобиловала искусственными метафорами, книжными терминами, ссылками на ученые труды и иными вычурными литературными приемами. Стремясь к идеалу неприкрашенной простоты, квакеры последовательно очищали свои писания от любой изощренности, единственной целью которой было ублажение порочного ума. В своем стремлении к простоте устной речи они, по существу, предвосхищали основное направление стилового развития английской и американской прозы. Достигнув, однако, простоты слова, квакеры не сумели приспособить к этому требованию синтаксис и потому возрождали в своих писаниях архаические структуры, которые впоследствии будут отличать ясный стиль Вулмена от прозы его современника Франклина. Точно так же, как «простая одежда» Друга в XVIII веке была точной копией одежд Карла Второго, только без украшений, так и синтаксическая форма квакерских дневников оставалась сложной и запутанной, в манере Брауна * и Бертона *, в то время как их словарь отличался простотой и ясностью речи Свифта и Дефо.

Единообразие квакерского стиля затемняло, но не вовсе лишало авторов индивидуальности. Так грубоватое благочестие квакера из Филадельфии, отправившегося в морское путешествие, запечатлелось в «Дневнике, историческом описании жизни, путешествий и христианских испытаний верного слуги Иисуса Христа. Томаса Чокли» (1749); при всей суровой простоте язык

Чокли сохранил соленый привкус в описаниях морских и духовных странствий автора, всю жизнь занимавшегося торговлей и плававшего в треугольнике Америка — Вест-Индия — Англия. «Начиная с «Дневника жизни, путешествий и евангельских трудов... Дэниела Стентона» (1772), квакерский стиль обнаруживает тенденцию к унификации; такие выражения — поначалу ярко живописавшие духовный опыт, — как «докапываться до глубины», «превзойти Наставление», «дойти до корня», начали от частого употребления бледнеть, утрачивать поэтическое содержание. С другой стороны, в руках, скажем, преподобного Джона Черчмена из Ноттингема, Пенсильвания, квакерский стиль мог становиться тонким и чувствительным инструментом.

Так, в своем дневнике (1779) он описывает, каким образом он приобщался к религиозному «делу» — путешествиям «во имя любви к евангелию»:

«Однажды, прогуливаясь в одиночестве, я ощутил такую внутреннюю слабость и беспомощность, что остановился как вкопанный, и по благоговению, снизошедшему на меня, понял, что головы моей коснулась рука Бога, я ощутил его подле себя; земля пребывала в молчании, и все живое застыло, и яркий луч света прорезал пространство, осветив Великобританию, Ирландию и Голландию, и ум мой ощутил мягкое прикосновение властных струн любви, которая сильнее смерти, и я сказал: „Господи, иди вперед, даруй мне силу, и я последую за тобой, куда бы ты ни повел меня“».

Самым просветленным духом, наиболее гибким социальным мышлением и необычайно чистым стилем среди всех квакеров XVIII века обладал Джон Вулмен, портной из Маунт Холл, Нью-Джерси. Он рано осознал, как это засвидетельствовано в его «Дневнике» (1774), что «истинная религия заключается во внутренней жизни, где сердце питается любовью и милостью Бога-творца и научается творить истинную справедливость и добро не только по отношению к людям, но и по отношению ко всякому зверью». Проповедь гуманности была характерна для XVIII века, но у общественных интересов Вулмена истоки были глубже, нежели преходящие настроения времени. В его душе постоянно обновлялось острое ощущение бесконечного великодушия всевышнего, и эти моменты мистического озарения и служили источником его посвященной людям жизни, приведя его в конце концов к пониманию, что он настолько «тесно связан» со страдающим человечеством, что не может воспринимать себя обособленной и отдельной личностью. Это ощущение заставляло его во время странствий по южным колониям с мягкой настойчивостью уговаривать плантаторов отказаться от рабовладения, которое больно задевало его чувствительную душу и казалось «мрачным облаком, повисшим над землей». Это ощущение заставляло отправляться безоружным в сторону границы, в стан враждебно настроенных индейцев, так, чтобы он мог «прочув-

ствовать и понять их жизнь, тот дух, которым они живут». Это ощущение заставляло его сочувствовать бедным, очерстевшим душой матросам, бороздящим воды Атлантики, и искать путей уничтожения в обществе сорняков войны.

В «Некоторых размышлениях о положении негров» (1754, 1762) он открыто высказывался за расовое равенство и подчеркивал, что система рабовладения оказывает развращающее влияние на самих плантаторов. Его «Призыв в пользу бедных» (опубликован посмертно в 1793 году) и «Беседы об истинной гармонии человечества» (впервые опубликованы в 1837 году) ясно говорят о том, что столь же остро он воспринимал и другие формы социальной несправедливости, видел барьер, разделявший богатого торговца и рабочего, даже в момент материального расцвета колоний. «Трудиться ради окончательного освобождения от духа насилия есть Великая Задача всей семьи Иисуса Христа в этом мире».

Идеал абсолютной простоты, которому была подчинена вся жизнь Вулмена, заставлял его очищать свои писания от всяческих излишеств. Человек, настаивавший на том, что путешествовать в Англию нужно на палубе, ибо он «заметил разнообразные украшения и резную работу» на внешней стороне двери удобной каюты и «некие столярные ухищрения» в самой каюте, подходил с теми же строгими критериями и к собственной прозе, убирая из нее все, чем может наслаждаться «привередливый» ум. Отказываясь от малосущественных или просто орнаментальных прилагательных, наречий и структурообразующих элементов, он таким образом пытался обнажить процесс мышления. Его прозе недоставало теплоты, изящества, красок, но она обладала той чистотой, которая позволяла заключенному в ней глубинному смыслу выражать себя незамутненно, неприкрашенно, в изначальной своей целостности, так, будто это был предмет, лежащий на дне ручья. В итоге, несмотря на безразличие Вулмена к искусству или благодаря его презрению к чистому украшательству, выработанный им (и в то же время унаследованный от предшественников) ясный стиль стал средством выражения, столь блистательно использованным впоследствии сторонниками действенного искусства. В своей кристальной чистоте, как об этом впоследствии говорил Уильям Эллери Чаннинг*, этот стиль как бы продолжал «святую простоту» его жизни.

В сфере чисто религиозной литературы многочисленные секты и церкви центральных колоний не породили ничего сравнимого с откровенностью и художественным очарованием квакерских дневников. Но в области философских рассуждений, которые были совершенно чужды умонастроениям квакерства, ученые-богословы — англикане и пресвитерианцы — продемонстрировали немалую интеллектуальную проницательность и живость ума. Американская философия в целом всегда тяготела к двум противоположным полюсам — абсолютному идеализму и наив-

ному реализму, поэтому естественно, что в этих столь пестро населенных краях в условиях политического либерализма развивались, почти одновременно, обе эти диаметрально противоположные системы — одна, зародившаяся в Ирландии и распространяемая здесь англиканскими священниками, другая, корнями своими уходящая в Шотландию и приспособляемая к местным условиям пресвитерианскими богословами.

Сэмюел Джонсон, выпускник Йеля, проповедовавший в англиканской церкви, был заодно с нефилософичным Вулменом и с Джонатаном Эдвардсом, когда писал: «Я должен признать, что высшее совершенство и счастье любое разумное существо обретает в постоянном общении с Богом, черпая у него и вдохновение, и надежду». Отталкиваясь от кальвинистского духа Йеля, Джонсон двигался в сторону рационализма в религии; он сочинил «рапсодию» «Рафаэль, или гений английской Америки», в которой ратовал за использование разума в поисках истины. Однако, обнаружив, что в упорядоченной вселенной Ньютона и Локка нет места идее бога как основополагающей силе, он отошел от прежних взглядов. На помощь пришел идеализм епископа Беркли с его обоснованием божественного присутствия и аргументами, защищающими от скептицизма и материализма. Джонсоновские «Элементы философии» (1752) — первое написанное и опубликованное в Америке философское сочинение — были посвящены ирландскому епископу, вслед за которым автор утверждал, что дух является единственной субстанцией, что действительность существует только в представлении воспринимающего субъекта и что природа есть последовательное сцепление идей, которые бог поместил в наше сознание. По книге Джонсона учились в Нью-Йоркском Королевском колледже, где он был президентом, и в Филадельфийском колледже, ректором которого был английский священник Уильям Смит.

Идеализм пережил время недолгого расцвета и в Колледже Нью-Джерси, но популярности его был положен резкий предел, когда президентское кресло занял преподобный Джон Уизерспун, принесший с собой из Шотландии философию здравого смысла. Как теолог Уизерспун занимал ведущие позиции повсюду, где был распространен кальвинизм. Во многом, подобно Джонсону, он стремился оградить христианскую веру от подрывного влияния рационализма и естественных наук. Но, отрицая идеализм как «дикую и нелепую попытку нарушить принципы здравого смысла», он упорно утверждал, что объекты существуют совершенно независимо от восприятия. Подобно тому как внешние ощущения, рассуждал он далее, безошибочно свидетельствуют о существовании материального мира, «внутренние чувства» говорят нам о существовании бога и прочности христианских принципов. Наивный реализм имел тем большие успехи в борьбе с деистами и «материалистами», что пользовался их же эмпирическими методами. «Надежнее, — писал Уизерспун, —

проследить факты по восходящей, нежели объяснять их по нисходящей». Эмпирические методы и безусловное приятие фактов материального бытия, на которых основывается реалистическая философия, завезенная в Америку Уизерспуном, нашли тут благоприятную почву. Имея своим источником Принстон, она буквально в течение столетия проникла в глубины американской мысли и в конце концов стала «американской философией».

3

Хотя обширные земли, занятые центральными колониями, являли собой фундамент всех североамериканских колоний, до последней трети XVII века они, по существу, оставались terra incognita для англоязычных народов. Лесистые отроги Аллеганских гор и долины реки Огайо вряд ли что говорили англичанину, жившему в колониях или на родной земле, пока в середине XVIII века первые торговцы и поселенцы из центральных колоний не пришли в этих местах в роковое столкновение с аванпостами французской империи. По мере того как новые земли расчищались для поселений, колонисты наполняли периодику отчетами о ее географии, флоре, фауне, ее аборигенах и важнейших событиях, происходивших в тех краях. Эти имеющие практическое назначение отчеты и хроники давно уже вошли в традицию американской литературы, но они отличались от красноречивых отчетов морских бродяг и купцов елизаветинских времен тем духом научного поиска, который стал проникать в английское мышление со второй половины XVII века.

Самые ранние описания новых земель представляли трезвые, основанные на фактах доклады, предназначавшиеся для того, чтобы привлечь сюда поселенцев, но отличающиеся точностью наблюдений и сдержанностью языка. Так, Дэниел Дентон в своем «Кратком описании Нью-Йорка» (1670) заявил: «Я... писал лишь о том (или в основном о том), что видел собственными глазами... Я стремился не к тому, чтобы широко расписать виденное, напротив, пусть эти края сами скажут за себя и превзойдут написанное мною».

Он уверенно сравнивал Новый Свет со Старым, отдавая предпочтение первому во всем, что касается экономических возможностей и природных красот: «Оказавшись здесь в мае, вы увидите, что леса и поля чудесно расцветают розами и множеством всяких других прекрасных цветов, которые радуют не только глаз, но и обоняние, и, узрев, как тесно тут Природа входит в согласие с Искусством, вы поймете, что она не только равна, но и превосходит английские Сады».

Уильям Пенн, чье «Письмо Свободному обществу ремесленников» (1683) было первым подробным отчетом из Пенсильвании, входил в состав Королевского научного общества, и

склонности автора в равной степени сказались как в подобных описаниях природных ресурсов колонии, так и в непосредственном наблюдении культуры индейского племени ленни-ленапе. Пятнадцатью годами позже его отчет был расширен и обогащен новыми сведениями, собранными валлийским квакером Гэйбриелом Томасом в «Историческом и географическом описаний... Пенсильвании и западных районов колонии Нью-Джерси», в котором трезвый и сдержанный стиль Пенна засветился искорками кельтского юмора. С кипучим энтузиазмом он описывает возможности американской жизни, противопоставляя чудесное изобилие долины реки Делавер мрачным картинам труда английских бедняков — «полуголодных, с застывшими лицами, скитающихся постоянно в поисках работы и не находящих ее, в то время как здесь они и минуты не пробыли бы без дела». Порой — очень редко, впрочем, — склонность Томаса к гиперболе и энтузиазм, вызываемый жизнью в новых краях, заставляют его выходить за пределы фактов, и тогда в его строках начинает звучать нота, которую десятилетия спустя назовут типично американским юмором: «Среди многих других видов лягушек здесь водится лягушка-бык, которая ревет так, что этот рев трудно отличить от рева животного, давшего ей имя».

Эти ранние отчеты и хроники легли в основу двух типов литературных жанров — естественной истории и политической истории, — также характеризующихся непосредственно практическими целями и духом тщательного наблюдения и описания. Эта литература отличалась от большинства книг, появлявшихся в других районах, в том отношении, что создавалась она не священнослужителями, а юристами, врачами, учителями и купцами — людьми практических занятий, людьми космополитического мировоззрения, не скованными ни религиозными догмами, ни узкопровинциальным патриотизмом. Историки, выходявшие из их среды, обнаруживали широкий взгляд на вещи, авторы же натурфилософских описаний всегда ощущали свою принадлежность к интернациональному содружеству ученых. Те и другие писали в основном для английской, а не колониальной аудитории.

Вице-губернатор Нью-Йорка Кэдуоллер Колден был историком и ученым-натуралистом. Типичный «виртуоз» XVIII века, он свободно ориентировался в истории, медицине, ботанике, математике, физике и метафизике; он переписывался с Линнеем и Гроновиусом, а также с видными членами английского Королевского общества. Его «История пяти индейских племен» (1727) была основана по преимуществу на иезуитских источниках, хотя есть тут и следы личного общения с индейцами племени мохок. Столетием позже Френсис Паркмен, опираясь на те же материалы, создал величественную историческую драму. Колдену не хватало широты исторической перспективы, которая была в распоряжении Паркмена, он не обладал драматическим

талантом и композиционным мастерством, которое позволило последнему организовать разрозненные эпизоды вокруг ведущей темы. Описание Колдена представляет собой цепь не связанных меж собой событий: набеги, советы вокруг костров, мирные договоры. Главная особенность стиля определяется говором самих индейцев, чьи речи, точно воспроизведенные в книге, были обильно уснащены красочными и неожиданными метафорами. Как ни скромны были его достижения, в работах Колдена было и свое величие, к тому же он видел, что в его бесформенных описаниях заключен важный урок для современников; его цель, о чем он заявлял прямо, заключалась в том, чтобы показать, как пять племен играли исключительную роль для Британской Америки в качестве буфера между ее владениями, с одной стороны, и французами и Западом — с другой. «Иногда мне кажется, — писал Колден, — что история, написанная с изяществом утонченного романа, подобна французской кухне, доставляющей небу наслаждения больше, чем желудку, и не столь питательной, нежели более простая и грубая пища». Тридцать лет спустя Уильям Смит-младший, способный нью-йоркский адвокат, повторил ту же мысль буквально слово в слово, хотя в политике он исповедовал взгляды, противоположные колденовским. Принадлежащая Смиту «История колонии Нью-Йорк» (1757), в которой автор стремился просветить англичан на предмет жизни в колонии, представляла собой обширную хронику колониальной жизни под английским владычеством с прологом, посвященным голландским временам, и заключением, где был представлен исчерпывающий обзор торговли, религии и политических взглядов, как они развивались в Нью-Йорке середины века. В большей своей части книга была написана ясным языком английского юриста, но порой повествование оживлялось блестящими сценками — колкими пародиями на королевских губернаторов. Цель автора, как он сам писал в предисловии, «состояла в том, чтобы проинформировать читателя скорее, нежели развлечь его».

«Нижеследующее описание... представляет собой всего лишь последовательную цепочку простых фактов; они не сопровождаются никакими размышлениями, ибо говорят сами за себя, и большинство читателей, безусловно, предпочтет сделать свои собственные выводы... своенравное воображение их не связано здесь авторскими поводами, и лишь осторожные предположения сопровождают правдоподобные истории; но, отказавшись от удобочитаемых фантазий в пользу скучной правдивости, я забился о том, чтобы доверившиеся мне получили истинную информацию». Захваченный духом научного поиска, умерившего его воображение, Смит написал исследование, которое по тем временам уступало только «Истории колонии Массачусетс» Томаса Хатчинсона.

В Пенсильвании историки были сосредоточены на индейской проблеме, и их научной объективности мешали чувства,

вызываемые этой непреходящей реальностью. Другой Уильям Смит, ректор Филадельфийского колледжа, поставил свои литературные дарования на службу аристократической элите, и два его исторических сочинения представляют собой яростные атаки на местное самоуправление, контролировавшееся квакерами. В «Кратком очерке Пенсильвании» (1755) и в «Беглом взгляде на положение в Пенсильвании» (1756) он обвинил миротворцев-квакеров в чрезмерном республиканизме и осудил их программу финансовой поддержки больниц и библиотек: в то время на границе постоянно существовала опасность индейских вторжений. Он использовал все приемы умелой пропаганды, включая холодную статистику, леденящие кровь рассказы и утверждения, что квакерская оппозиция преследует «раскольнические цели, фактически служа французским интересам». Чарльз Томсон, учитель школы Друзей в Филадельфии, предпринял в своем «Исследовании причин отчуждения индейских племен делавер и шонез-шовенез» (1759) попытку оправдать квакерскую политику, основанную на уважении к индейцам и дружбе с ними. Исходя из трезвого и тщательного изучения фактов, хотя и отдавая явную дань тенденции, он восстанавливает историю отношений с индейцами в Пенсильвании, историю, изобилующую в его изложении подлогами и мошенничеством со стороны белых, — высшим выражением этой политики был печально знаменитый «Бродячий торг» 1737 года, в результате которого индейцы лишились большей части своей территории. Более ста лет такой бесчестной политики прошло до тех пор, когда соотечественница Томсона, Элен Хант Джексон, выступила со столь же сильным и хорошо документированным призывом к справедливости по отношению к обездоленным индейцам.

Льюис Эванс, пенсильванский картограф, занимался, подобно Колдену, и историей, и естественными науками, хотя порой полемический темперамент автора накладывал отпечаток на исторические и политические пассажи его «Географических, исторических, политических, философских и производственных очерков» (1755—1756). Эти очерки, задуманные первоначально как аналитический комментарий к составленной им самим первой карте центральных колоний и долины реки Огайо, заключали в себе одно из самых ранних описаний американских земель к западу от Аллеган. «С этих холмов, — писал он, вглядываясь с отрогов Аллеган в западную даль, — открывается вид на лесной океан, с несколько изломанной там и тут поверхностью, однако эти изломы точно так же неотличимы друг от друга, как океанские волны». Эванс надеялся, что очерки его привлекут внимание в Англии, и действительно, сам Сэмюел Джонсон видел в них признак появления литературы на американской почве. Эти трактаты, торжественно заявлял Джонсон, написаны «с таким изяществом, какое только допускает их предмет, хотя и не без элементов американского диалекта и тех отклонений от нормы,

которым всегда подвергается широко распространенный язык». Знаменитый лексикограф был явно шокирован такими американскими терминами, как «ветка», «отросток», «бег ручья», «отрог», «распутье», его педантизм настолько ослеплял его, что он оказался бессильным увидеть в этом словоупотреблении доказательство жизнеспособности английского языка на американской почве.

Во время первого путешествия на Аппалачское плоскогорье Эванса сопровождал Джон Бэртрам, неустанный исследователь флоры и фауны американских лесов. Естественная история в XVIII веке представляла собой цепь захватывающих открытий и классификации тысяч новых форм жизни, и перед острым взглядом этого простого квакера из Филадельфии, ставшего впоследствии деистом и переписывавшегося со многими ведущими учеными Европы, открывался целый неизведанный континент. Лаконизм описаний Бэртрама объясняется его верностью квакерским традициям ясной речи, которая к тому же еще больше дисциплинировалась научной объективностью и точностью автора. Путешествуя летом 1743 года по зеленеющей долине Сасквеханы, он позволил себе отметить лишь, «что в краях этих белые дубы перемежаются порослью черники... Поднявшись чуть выше, мы обнаружили пересеченную местность, а на самой вершине холма, с западной его стороны, выросла дубовая роща, откуда открывается приятный вид на реку Сасквехану».

Даже очутившись среди экзотической природы Флориды, немногословный квакер-натуралист, со своим обычным недоверием к эмоциям, позволил себе проявить только скромное любопытство ученого. В своем письме к Франклину он отмечал, что в его дневнике отражены лишь «наблюдения над различными почвами, реками и естественными продуктами природы», добавляя весьма красноречиво, что «в нем не нашлось места различным искусственным сооружениям типа замков, театров, пирамид, дворцов, мостов, катакомб, обелисков и картин». Столетие спустя более искушенные писатели, типа Готорна или Генри Джеймса, выскажут сожаление по поводу отсутствия в Америке этих «искусственных сооружений». А через несколько лет после появления очерков Бэртрама его собственный сын написал об американской природе так, что романтический характер ее, как выяснилось, вовсе не нуждается в апелляции к отдаленному и богатому прошлому.

Уильям Бэртрам, исследовавший в 1773—1778 годах флору и фауну Флориды, Джорджии и обеих Каролин, добавил к научной любознательности отца чувство формы и цвета, разнообразный и гибкий язык, а также склонность к принципам пантеистической философии, — все это вместе взятое производило сильное впечатление на английских поэтов-романтиков. Том его «Путешествий» (1791), который обычно рассматривается историками литературы в основном в рамках истории английского романтизма, обладает и вполне самостоятельной ценностью,

являясь значительным и оригинальным достижением раннего американского романтизма.

Бэртрам-младший одновременно был художником-акварелистом и поэтом. На таинственную и прекрасную тропическую природу он смотрел свежим и острым взглядом, который отличал всех наблюдателей периода ранней американской истории; но он обладал бесценным достоинством: его взгляд был взглядом художника, а палитра его речи сверкала разнообразными красками. Его стиль — непревзойденный в литературе центральных колоний по своей завершенности и отточенности — отличался свободой, легкостью переходов; густо насыщенный латинскими ботаническими терминами, он равно годился для подробных описаний и для беглого пересказа. Описывал ли он яростную схватку аллигаторов, цветущий куст, названный им «Франклина Алатамаха», тропический ливень или тот «поющий и удивительный хрустальный фонтан», его образ спустя некоторое время украсит чудесный ландшафт, описанный Кольридом в поэме «Кубла Хан», Уильям Бэртрам всегда выказывал себя художником, сознательно преследующим определенную цель. Об уровне его мастерства можно судить по следующему описанию рыбы, которую он наблюдал в реках Джорджии:

«Величиной с человеческую руку, вытянутая в узкий овал, она как бы сдавлена с обеих сторон; хвост ее прекрасно очерчен; кончик носа и спинка оливково-зеленого цвета с коричневыми вкраплениями; бока цвета морской волны с лазурными переливами, мягко сочетающимися в верхней части с оливковым цветом; чуть ниже начинается полоса серебристого или, может, жемчужного цвета, изящно украшенная зеленоватыми, коричневыми и золотистыми мазками; от ярко-красного, цвета киновари, живота расходятся лучи, сверкающие жилки, упирающиеся в жемчужные пятна на боках; острый угол жаберного отверстия длинной лопатой уходит назад, заканчиваясь круглым или овальным разноцветным пятном — глазом, выделяющимся на фоне длинных павлиньих перьев, окаймленным красной пленкой, — так, будто на боку рыбы полыхает рубин».

Порой Бэртрам впадал в цветистую риторiku, украшенную псевдоклассическими эпитетами и фигурами, и тогда обнаруживалось, что при всем романтизме он до конца не освободился от литературных условностей XVIII века. Его отношение к индейцам частично определялось квакерским происхождением, но в еще большей степени, пожалуй, литературным стереотипом благородного дикаря; при этом его соображения о культуре индейцев племен крик, семинолов и чироки с антропологической точки зрения звучали вполне убедительно. Его романтический пантеизм, столь привлекавший Вордсворта, вырос из сочетания традиционно-квакерских представлений об имманентности верховной силы и идей научного деизма, воспринятых от отца; быть может, он и сам не вполне осознавал, сколь явно выдает взаи-

модействие этих влияний такой, скажем, пассаж: «Давайте положимся на провидение, давайте изучать и обдумывать деяния и силу Творца, проникать в мудрость и целесообразность природы и не ослаблять внимания к направляющей ее божественной силе». В творчестве Уильяма Бэртрама традиция научных наблюдений и описаний достигла в центральных колониях своей вершины. В «Путешествиях» сырой материал, который его предшественники отработывали в течение целого столетия, наконец обрел форму, приданную ему рукой ученого, наделенного также даром чуткого художника.

В течение ближайших тридцати лет ни один из американских натуралистов не поднялся на высоты, освоенные отцом и сыном Бэртрам, которые прокладывали пути великой американской традиции описания природы. Джон Джеймс Одюбон *, также выходец из Филадельфии, исследовал и зарисовывал птиц в близлежащих краях, а затем двинулся дальше, покрыв расстояние от Аллегана до Миссисипи и от Камберлендского ущелья до побережья Луизианы. В своих «Птицах Америки» он хотел описать все известные на Американском континенте виды. Огромный фолиант отличных цветных иллюстраций сопровождался пяти-томной «Орнитологической биографией» (1831—1839), в которой различные виды птиц и их повадки описаны на фоне романтических пейзажей и сопровождаются живыми путевыми записками автора с границы. «Мой труд, — говорил он, — будет не бакенном, но ярчайшим маяком!» Так оно и случилось. Свет его оказался столь ярким, что в незаслуженной тени остались оригинальные работы двух его скромных предшественников-квакеров — отца и сына Бэртрам.

4

Самостоятельная литературная жизнь центральных колоний концентрировалась в основном вокруг колледжей, основанных в середине XVIII столетия. В двух отношениях образовательные концепции центральных колоний отличались от тех, что были положены в основу более ранних американских колледжей: образование рассматривалось как подготовка к государственной службе, а английский язык наряду с греческим и латынью занял свое место в программах колледжей. И в «Независимом размышлении» (1752—1753) Уильяма Ливингстона, и в «Общем рассуждении о колледже Мирания» (1753) Уильяма Смита отчетливо слышны отзвуки идей архиепископа Тиллотсона, утверждавшего, что классическое, или умозрительное, образование, лишенное практической цели, являет собой «лишь более благовидный и остроумный вид безделья, более прощительный и внушающий доверие род невежества». Диспуты и литературные полемики, проводившиеся в аудиториях колледжей, представляли студентам постоянную возможность совершенствования

в риторике и ораторском искусстве на английском языке. Идеальный выпускник колледжа центральных колоний был, таким образом, не провинциальным джентльменом с изысканными манерами и не ученым-священнослужителем, но полезным, сознательным гражданином, изящно и уверенно владеющим родным языком.

Уильям Ливингстон, первоклассный юрист и лидер либерального крыла нью-йоркских политиков, и сам служил примером подобного рода и немало сделал для утверждения идеала. В 1747 году он опубликовал стихотворение «Философское уединение», представляющее собой отдаленное подражание «Выбору» — исключительно популярной английской поэме, написанной за полвека до этого преподобным Джоном Помфретом. В правильных и четких героических двустушиях, обнаруживающих легкое влияние мильтоновского стиха, Ливингстон описывал простые радости деревенской жизни, достигая кульминации в кротком прославлении божества, чье существование, согласно типичным представлениям XVIII века, выводилось из красоты и гармонии сущего. И тон, и метр стихотворения возвращают нас к классической английской поэзии. Оно интересно в основном как свидетельство тех влияний, которые формировали образ мышления и вкусы Ливингстона. Перечисляя авторов, чьи произведения он хотел бы видеть в своей библиотеке, Ливингстон называл писателей классической древности, французов Фенелона и Монтескье; среди английских поэтов — Мильтона, Драйдена, Попа и Айзека Уоттса; из прозаиков — Рэли, Свифта и Аддисона; из тех, кто в XVIII веке формировал представления о мироздании, — Бэкона, Бойля, Ньютона и Локка.

Острое ощущение социальной ответственности заставило Ливингстона поставить свое литературное дарование на службу либеральным идеалам, которым он был глубоко предан. Он был ведущим автором «Независимого мыслителя» (1752—1753) и «Случайного отражения» (1753) — двух серий очерков, продолжавших традицию «Независимого вига» Тренчарда и Гордона. Отрицая наличие какой-либо литературной красоты («В делах чисто литературных, — писал он, — я редко нахожу удовлетворение»), он тем не менее обнаружил индивидуальность настоящего литератора. Его стиль был сдержан и точно выверен, порой язвительен, изобиловал тщательно продуманными антитезами и кульминациями, возвышаясь порой до красноречия. По своей выразительности и энергии он превосходил слог любого из авторов периодических изданий того времени как в колониях, так и в метрополии.

Что касается общественного идеала, которому служило его перо, Ливингстон не оставлял места для сомнений. «Это идеал истины и свободы, — писал он, — а противостоит он предрассудкам, слепому фанатизму, церковным интригам, тирании, серви-

лизму, дурному управлению и бесчестию в общественных делах. Он стремится проповедовать законы природы и совершенство нашей конституции, бесценность свободы; он указывает на трагические результаты фанатизма, на позор и ужас рабской зависимости, на необходимость освобождения религии от тлетворной атмосферы и предрассудков, которые привносит в нее духовство».

Сам будучи пресвитерианином и потомком голландских кальвинистов, Ливингстон тем не менее отрицательно относился к религиозной разобщенности и ко всякому вмешательству церкви в светские дела. В теологии он придерживался либеральных взглядов, полагая, что религия, «должна быть простой, ясной и максимально доступной самым невежественным». В политике он был вигом, защищал авторитет местного самоуправления в противовес претензиям королевских губернаторов.

Когда стало известно, что предполагаемый колледж в Нью-Йорке будет построен на средства короны как учебное заведение англиканского толка, Ливингстон начал кампанию в печати, требуя передать это дело в руки местных властей и предоставить ему автономию. Вновь и вновь возобновляя атаки в периодически появлявшихся выпусках «Независимого мыслителя», он подчеркивал необходимость интеллектуальной свободы, не упуская возможности задеть Гарвард и Йель, где, утверждал он, не сформировавшиеся еще умы будущих правителей страны подвергались влиянию негибких пуританских доктрин, грозящих подавить все общество. В призывах Ливингстона к академическим и религиозным свободам можно усмотреть зерна более далеко идущего протеста против власти, зерна, которые спустя некоторое время проросли революцией.

Либеральные взгляды и литературное мастерство сделали Ливингстона чем-то вроде героя в глазах студентов колледжа Нью-Джерси, которые ежедневно в пять часов пополудни собирались под руководством своего президента Уизерспуна в Нассау-Холл, чтобы послушать проповеди и речи своих товарищей. Нередко вслух читались очерки Ливингстона, а одно из двух литературных объединений колледжа было названо псевдонимом последнего — «Американский виг». Среди его участников явно выделялись трое молодых людей, которым вскоре предстояло сыграть выдающуюся роль в основании национальной литературы. А пока, будучи студентами предпоследнего курса, Филип Френо, Хью Генри Брэкенридж и Джеймс Мэдисон в основном направляли свою литературную энергию на сочинение резких и острых сатир в адрес противников — членов Клиософического общества.

На открытие очередного учебного года (1771) Брэкенридж и Френо сочинили длинную поэму в белых стихах — «Растущая слава Америки». Их воображение возбуждалось теми же величественными видениями, что вдохновляли Колдена и Эванса.

Они провидели новые города, поднимающиеся на берегах реки Огайо, и «нации», живущие на берегах Миссисипи, слышали звуки стихов, доносящихся из Саквеханы, с отрогов Аллеган и Тускарорских холмов, мечтали о новых цивилизациях, утверждающихся на Аппалачах и в обеих Каролинах, и

в краях, где длится
Безлюдье вплоть до Огненной Границы.

Гиперболы их были рождены местным патриотизмом, они прославляли Нью-Йорк как «дочь Коммерции», сзывающую изда-лека

бесчисленные корабли, они
Как лес тенистый, высятся вдаль.

А Филадельфию они воспевали как

владычицу земли,
Наук, искусств и славы цитадель.

Ректор Филадельфийского колледжа Уильям Смит почитался чем-то вроде Великого Могола Литературы¹. Подобно д-ру Сэмюэлу Джонсону, своему английскому современнику, он сохранил о себе память главным образом не как оригинальный художник, но как личность, оказывавшая заметное влияние на молодых писателей. Небольшой кружок поэтов, объединившихся вокруг него в 50—60-е годы, стал первой в Америке, робкой еще, поэтической «школой», участники которой рассматривали поэзию не как служанку этики и религии, но как самостоятельное занятие. Издававшийся ректором Смитом «Эмерикэн Мэгзин энд Мансли Кроникл» (1757—1758) стал трибуной их литературной деятельности и за какие-нибудь короткие двенадцать месяцев своего существования утвердил за собой репутацию наиболее яркого и оригинального периодического издания в Америке колониальных времен. Художественная активность кружка была впоследствии подтверждена тем фактом, что в недрах его зародилась первая в Америке светская музыка — ее создателем был Френсис Хопкинсон; отсюда же вышел первый американский драматург, чьи пьесы ставились на профессиональной сцене, Томас Годфри, и первый американский живописец, добившийся международного признания, Бенджамин Уэст.

Еще до того, как здесь был основан колледж, Филадельфия могла похвастать высоким уровнем классического образования. Между 1718 и 1730 годами Дэвид Френч, служащий суда в Нью-касле (Делавер), перевел на английский несколько откровенно,

¹ Так называли английского прозаика и критика XVIII века д-ра Сэмюэла Джонсона.

язычески чувственных од Анакреона. Квакер Джеймс Логан, который прибыл в Филадельфию в качестве секретаря Уильяма Пенна и остался здесь, завоевав впоследствии репутацию наиболее видного ученого и общественного деятеля, опубликовал в 1735 году перевод «Моральных дистихов» Дионисия Катона, а в 1744 — «О старости» Цицерона. Издатель обеих книг Бенджамин Франклин приветствовал появление «Дистихов» как «первый перевод классики, осуществленный и изданный в английских колониях», а в факте перевода Цицерона усмотрел «счастливое предзнаменование того, что Филадельфия скоро станет столицей американских муз». Классикам в Филадельфийском колледже уделялось достаточное внимание, но к 50-м годам поток устремился по другому руслу.

Университетские поэты Филадельфии оказались на перекрестке тех же дорог и в том же состоянии борьбы вкусов, что и английская поэзия того переходного периода, когда классический идеал уже начал приходить в упадок, вытесняемый расцветающим романтизмом. Поучительно сравнить филадельфийцев с их английскими современниками Коллинзом *, Греем * и братьями Уортон *. Они выказывали равную приверженность одическим формам Пиндара и Горация и юношеской поэзии Мильтона; равную склонность к стандартным эпитетам и персоналифицированным абстракциям классиков, оживляя их, впрочем, иногда проблесками искреннего чувства, что предвещало приход романтических настроений; ту же ученую изысканность, обураваемую безудержной чувствительностью. Если поэзия филадельфийцев была заимствованной, то такими же были и лучшие английские стихи того времени. Прежде чем напрочь отбросить провинциальных поэтов Америки и обратиться в поисках источника их вдохновения за рубеж, надо учесть то обстоятельство, что они в конце концов считали себя английскими поэтами, что у них не было родной поэтической традиции, на которую они могли бы опереться, что они жили и писали в академической среде и что, подобно многим американским поэтам более поздних времен, они чувствовали, или, во всяком случае, говорили, что чувствуют, отвращение к суете меркантильного общества, куда их забросила судьба. Времена ученых меценатов прошли, жаловался Натаниел Ивэнс, молодой англиканский священник:

Увы! Мы в климате таком,
Где музе нашей тяжко,
Где только золото в чести, —
Его, зажатое в горсти,
Должна воспеть бедняжка.

Искусственные цветы отмирающей пасторальной традиции особенно пленяли филадельфийских поэтов. Томас Годфри и

Френсис Хопкинсон были заодно с Натаниелом Ивэнсом в его решимости возродить в Америке эколог,

пробудить тростник
И пастушка, чей чуть печальный крик
отару угоняет с пастбищ зимних.

Реки и ручьи под названиями Шайлкил и Делавер появляются у них во многих стихах, но местность, где они протекают, неизменно представляла собой условное буколическое изображение, заимствованное у Феокрита, Виргилия и Попа; условность эта усиливалась еще постоянным употреблением таких «поэтических» эпитетов, как «пахучие долины», «веселые лазурные аллеи», «пернатое племя» и «легкоструйный ручей».

Бесспорно, ректор Смит был частично ответствен за это направление академического классицизма в творчестве поэтов его кружка, но он в то же время вдохновлял и первые их романтические пробы. Его собственным главным литературным вкладом в «Эмерикэн Мэгэзин» стала серия очерков, подписанных псевдонимом (который сам по себе вполне отвечал преромантическому стереотипу) «Отшельник»; прямая дидактическая цель сочеталась в них с атмосферой романтической меланхолии и благоговейного страха перед величием природы. Восхваляя труды своего любимца Томаса Годфри, сына простого стекольщика, он употреблял такие выражения, которые выдают его приверженность к возникавшим романтическим концепциям поэтического творчества. Он писал о «поэтической теплоте» молодого автора, о его «возвышенном и отважном гении» и выделял следующие строки Годфри как характерные для него:

Бегут стихи в прелестном беспорядке,
Они прекрасны, хоть не слишком гладки.

«Ночной этюд» (1758) Годфри, написанный размером греевой «Элегии», пронизан атмосферой «кладбищенской» поэзии тех времен, а его «Фантазии» (1762) и «Птичья беседа» (1765) отражают широко распространенное тогда возрождение интереса к Чосеру. «Описание церкви» (около 1762 года) Френсиса Хопкинсона было американским откликом на готическую моду в Англии. Все трое ведущих поэтов филадельфийского кружка разделяли свойственное их поколению восхищение Мильтоном и заплатили ему дань подражательства. Наиболее легко они себя чувствовали, черпая вдохновение в стихах елизаветинских и времен Карла I лириков. Стихотворение Томаса Годфри «К Селии» обязано своим успехом тому, что автор наполнил его атмосферой веселой беспечности Уоллера * и Херрика:

Когда Селия вновь и вновь
Доказует свою любовь,

Не твердите, что лжет она,
Что в душе своей неверна.

Для чего мне об этом знать?
К ней спешу опять и опять.
Лучше счастье мое умножь,
Чем питать мою муку, Ложь.

И Ивэнс, и Годфри умерли молодыми, а ректор Смит, которого подозревали в лоялистских симпатиях, к семидесятым годам отошел в тень; но Френсис Хопкинсон дожил до первых лет Республики и стал, таким образом, связующим звеном между литературной жизнью метрополии колониальных времен и жизнью политической и культурной столицы новой нации. Этот «милый, маленький, забавный, простодушный» человек, как отзывался о нем Джон Адамс, был наиболее разносторонней личностью среди своих друзей: он был музыкантом и композитором, художником-любителем, поэтом, сатириком, автором изящных эссе в стиле Аддисона, увлекался также науками, был юристом и судьей, членом континентального конгресса. В годы Революции он писал в сатирическом стиле, впервые обнаружив склонность к нему десятью годами ранее в едком юморе бурлескных фрагментов «Дертиллы»¹. Патриотическому движению он посвятил несколько веселых баллад типа «Битвы бочонков» (1778) и серию политических аллегорий в стихах и прозе, среди которых особенно выделяются «Забавная история» (1774) и «Встречи Оболума Велизария» (1778).

Сочетая в себе чисто литературный дар и готовность поставить свой талант на службу общественным нуждам, Хопкинсон донес до республиканских времен традицию, расцветшую в университетских городах центральных колоний. В 1787 году он приветствовал принятие федеральной конституции балладой, озаглавленной «Новая крыша: песня в честь создателей федерации», в которой, используя возвышенный стиль своей ранней прозы, защищал конституцию от нападок клеветников. В то же время в энергичных и простых выражениях он писал:

Берите, ребята, идя на правех,
Колун и киянку, кувалду и нож.
У них будут сабли, у нас будут грабли, —
Покажем, что наши бойцы не ослабли,
И сосны Америки каждой иглой
Помогут нам выиграть праведный бой.

В 1788 году он посвятил Джорджу Вашингтону цикл песен, к которым написал и слова, и музыку. В этих стансах, с их отголос-

¹ «Dirt» — «грязь» (англ.).

ками шекспировских сонетов и романтической образностью, лирическая нота, которая то и дело пробивалась в стихах филаделфийских поэтов, зазвучала наконец внятно и полнозвучно:

В дороге путник одинок,
Бредет он горною тропой,
Пред ним одетый льдом поток
И ветвь под шапкой снеговой.
Закончится ль до ночи поиск бесплодный?
Колочий боярышник, ветер холодный.
Буря дико вокруг ревет,
Гнется дерево на ветру,
Тьмою заститя небосвод,
Воют волки в ночном бору.
А все продолжается поиск бесплодный.
Колочий боярышник, ветер холодный.
По-за мраком пропал приют.
Путник сам запропал в ночи.
Только звери вокруг снуют,
Только сыч наверху кричит.
Но сердцем уверовал в поиск бесплодный.
Колочий боярышник, ветер холодный.

Различные нации, что населяли центральные колонии, устами своих представителей уже заявляли о некоторых чертах, которым предстояло стать определяющими в американском национальном характере. Склонность к идеализму, упорная вера в высший закон и в то, что за поверхностью вещей открывается некая глубинная реальность, парадоксальным образом сочетались с пронизательностью, реализмом, вниманием к суровым фактам жизни и практическим ценностям. Литература, в основании которой лежал опыт архетипов национального характера, литература, достигшая зрелых высот в творчестве Бенджамина Франклина, выражала как свободу и новизну Американского континента, так и свежесть чувств, умерявшихся духом научных изысканий. А вокруг вновь возникающих колледжей в этих краях бурлила литературная жизнь, которой предстояло достичь расцвета в ранние годы молодой Американской республики.

8. БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН

1

Хотя Бенджамин Франклин родился в Бостоне, существовавшие там давние и суровые традиции оказали на него незначительное влияние. Его отец был ремесленником, приехавшим из Англии в 1683 году, и сын принадлежал к поколению, для которого теократические идеи основателей Новой Англии представлялись чем-то весьма далеким и даже вздорным. Правда, Франклину нравился «Путь паломника», потому что в нем «повествование сочеталось с диалогом», читал он и другие произведения Беньяна, но любознательному юноше скоро наскучили «книги о религиозных спорах», которые имелись у его отца, и он предпочел «Жизнеописания» Плутарха и «Воспоминания о Сократе» Ксенофонта. Однако склонность к полемике, рано проявившаяся у Франклина и позаимствованная у Сократа, к которому он прибегал в пору юношеских споров, сохранилась у него ненадолго. Ему было пятнадцать лет, когда, ознакомившись с выступлениями квакеров против деистов, он на всю жизнь сделался деистом. А в девятнадцать лет, узнав о доводах в пользу «религии природы», Франклин в брошюре «Рассуждение о свободе и необходимости, удовольствии и страдании» (1725) выступил с утверждением, что все существующее закономерно. Но метафизика, как и теология, не привлекла надолго его внимания. Франклин сжег почти все экземпляры своего «Рассуждения» и отказался от мысли напечатать небольшой трактат на религиозную тему, который написал в возрасте двадцати четырех лет. «Величайшая неопределенность метафизической аргументации, которую я обнаружил, внушила мне отвращение, и я перестал читать и изучать вещи подобного рода, чтобы заняться другими, более меня удовлетворяющими», — писал Франклин.

И все же в произведениях Франклина то здесь, то там чувствуется влияние теологии новоанглийского и более старого толка. Очевидно, из эпитафий, напечатанных Коттоном Мэзером в «Великих деяниях», Франклин позаимствовал для собственной эпитафии, созданной в двадцать два года, часто повторяющийся у него образ: посмертное воскресение он срав-

нивал с новым изданием книги. Безусловно, он был кое-чем обязан и «Опытам о том, как делать добро» того же Коттона Мэзера. В работе Франклина «Догматы вероисповедания и деяния религии», написанной в 1728 году как духовное наставление самому себе, можно усмотреть в равной степени пример пуританского стремления к самопознанию и кодекс морали философа. Пытаясь достигнуть морального совершенства, он вел дневники своих ежедневных успехов и неудач весьма в духе предписаний Лойолы в его «Духовных упражнениях», о которых Франклин мог и не знать. В одном из своих сочинений об электричестве, где он говорит о «преклонении перед той мудростью, которая наделила все вещи мерой и весом», он как будто цитирует Августина. Жизненный опыт убедил Франклина, что «бог располагает делами человека». Но божественное предназначение, утверждал Франклин, есть мировой порядок, который следует изучать, а не тайна, постигаемая с мучительным рвением. Как ни сильны были волнения его юношеских лет, он скоро овладел ими и жил разумно и спокойно в своей необъятной вселенной.

2

Жизнь Франклина является великим примером во все времена. Его сочинения также преисполнены величия, так как это фрагменты великой автобиографии. Трудно провести грань между планами Франклина и той природной интуицией, которая была его побудительной силой. В детстве он мечтал стать моряком, питал отвращение к торговле своего отца сальными свечами и в двенадцать лет был определен учеником в типографию старшего брата, Джеймса, в Бостоне. Быстро постигая премудрости печатного дела, он в то же самое время учился писательскому искусству. Он начал с баллад, теперь уже утерянных, на случаи из окружающей его жизни, потом перешел к прозе, с усердием подражая «Зрителю» Аддисона. Франклин был «исключительно честолюбив», стараясь преуспеть в прозе, потому что, как он сам говорил позже, «проза была главным средством на пути моего продвижения к успеху».

Корреспонденция Франклина за подписью «Сайленс Дугуд», то есть «Молчальница», напечатанные в газете Джеймса Франклина «Нью Инглэнд курант» в 1722 году, отмечены не только влиянием Аддисона, но и его собственной, не по годам уверенной в себе (для семнадцатилетнего ученика) личностью. Бенджамин Франклин вышел за рамки ученичества прежде, чем закончился срок его пребывания в учениках, и в 1723 году, покинув своего брата-хозяина, он отправился в Филадельфию, совершив тем самым поступок, который для ремесленника того времени был столь же позорен, как дезертирство солдата.

В Филадельфии, а затем в Лондоне в 1724—1726 годах Франклин работал по найму в типографии уже как квалифицированный работник. На обратном пути, так живо запечатленным им в «Дневнике» — наиболее раннем из его автобиографических сочинений, — он выработал план поведения на будущее, точно так, как если бы это был «хорошо продуманный замысел» стихотворного произведения. Франклин принял решение быть скромным, трудолюбивым, предельно правдивым и ни о ком не отзываться дурно. Факт подобного решения указывает на то, что он считал себя человеком, не обладавшим названными качествами, по крайней мере в достаточной степени. Так было положено начало его самодисциплине. Эта самодисциплина и напряженная духовная жизнь в последующие несколько лет не помешав быстрому и легкому успеху Франклина в делах, в то же время способствовали расширению его кругозора. В 1729 году он приобрел «Пенсильванскую газету» и с 1733 года начал публиковать «Альманах Бедного Ричарда», ставший вскоре известным во всех британских колониях. В 1736 году Франклин был избран в Ассамблею Пенсильвании, а в 1737 году назначен главным почтмейстером Филадельфии.

Франклин, один из наиболее «общественных» гениальных людей, совершенствуя собственную личность, был не менее озабочен попыткой усовершенствовать общество. «Хунта», сообщество молодых ремесленников, которых он объединил в 1727 году, основала в 1731 году на собранные по подписке средства библиотеку, ставшую впоследствии Публичной библиотекой Филадельфии, а в 1736 году «Хунта» создала городскую пожарную команду. После этих нововведений «Хунты» Франклин и другие члены, а позднее и все растущий круг воодушевленных общественными идеями граждан, особенно после избрания Франклина в 1751 году в Ассамблею Пенсильвании, продолжили свою деятельность: была реформирована городская стража, вымощены улицы, поставлены фонари, внесено предложение о создании Академии, которая стала впоследствии Пенсильванским университетом, открыта городская больница, организована вооруженная охрана провинции квакеров; оказывалась также всяческая помощь развитию активной предпринимательской инициативы, что надолго сделало Филадельфию главным городом страны.

Филадельфиец и пенсильванец, Франклин всегда оставался американцем. Его «Всеобщий журнал и хроника событий всех британских колоний в Америке» издавался всего лишь в течение шести месяцев в 1741 году. Но Американское философское общество, созданное по его инициативе в 1743 году в надежде на объединение усилий всех американских ученых, является и по сей день наиболее важным по значению и старейшим американским научным обществом. В 1753 году Франклин стал

заместителем главного королевского почтмейстера в Северной Америке. В 1754 году его план объединения североамериканских колоний был обнародован на собрании представителей колоний в, Олбэни, которое было создано английским правительством, не желавшим объединения английских колоний под властью французов в Канаде. План Франклина был отвергнут, и он вынужден был вернуться к своим делам в Пенсильвании, где возглавил борьбу населения против британских собственников провинции, Пеннов. Участие Франклина в этой борьбе явилось своеобразной репетицией той роли, которую ему предстояло впоследствии сыграть в борьбе североамериканских колоний против английского парламента.

В те короткие промежутки времени, которые Франклину удавалось урывать от занятий своим делом и политикой, он проводил опыты по электричеству, особенно в 1743—1745 годах, что принесло ему славу первооткрывателя в этой области науки и позволило в издававшихся один за другим томах «Опытов и наблюдений над электричеством» (1751—1774) сформулировать начала электростатики. Очевидно, в июне 1752 года он запустил свой знаменитый электрический змей, а в октябре того же года в «Бедном Ричарде» объявил об изобретении громоотвода. Эти достижения снискали Франклину благодарность и похвалы Людовика XV, золотую медаль Копли, присужденную Королевским обществом Лондона, которое избрало Франклина своим членом, а также почетные степени Гарвардского и Йельского университетов и колледжа Уильяма и Мэри. Когда в 1757 году Франклин был послан в Лондон вручить королю обращение Пенсильванской Ассамблеи, касающееся семейства Пеннов, он отбыл уже не только как доверенное лицо Пенсильвании, но и как «первый философ и подлинно первый великий писатель, которому мы все обязаны». Так сказал Дэвид Юм.

В «Автобиографии» Франклина (впервые опубликованной в Париже в 1791 году) рассказывается история его жизни почти до 1757 года, широко известная во всем мире. А по многочисленным письмам, и другим личным и официальным документам, датированным позже, легко восстановить полностью, если и не совсем точно, летопись его последующей жизни.

В 1762 году Франклин возвратился на короткое время в Америку и уже в 1764 году вновь отправился в Англию с петицией к королю от Пенсильванской Ассамблеи с просьбой сделать Пенсильванию королевской провинцией. Затем он опять вернулся на родину и в 1775—1776 годах принимал участие в работе Второго Континентального Конгресса, пославшего его во Францию как своего специального уполномоченного — а позднее посла — восставших колоний, которые провозгласили себя независимыми Соединенными Штатами Америки.

Несмотря на то что известность Франклина как замечательного ученого, остроумного писателя и мудрого философа, друга человечества, возрастала повсеместно, способ ведения им дел оставался прежним, что и в Филадельфии. Путем умелого и постоянного убеждения он старался объединить единомышленников, чтобы из хаоса предубеждений и личных интересов создать справедливый политический порядок. Англичане считали его слишком американцем, американцы же, напротив, смотрели на него больше как на англичанина. Так же как в Америке он сумел подняться над местными интересами до защиты общих интересов всех колоний, так и в Англии он постиг интересы всей Британской империи, год за годом трудясь ради более полного понимания ее целей. Когда его представление об Англии как о «величайшем политическом строе, когда-либо созданном человеческой мудростью», рухнуло под натиском враждебных действий по обе стороны Атлантики, он весь свой авторитет, как и личное обаяние, употребил для достижения союза между Америкой и Францией, и не только для сопротивления Англии, но и для того, чтобы поддержать борьбу за права человека любой нации. Дела Франклина значили не меньше, чем его личность. Когда наконец в 1758 году Франклин покинул Европу и опять отправился в Америку, он был самым знаменитым человеком своего времени. И поскольку жизнь Франклина возбуждала всеобщее любопытство, так же была встречена тогдашним читателем и его «Автобиография», опубликованная через год после его смерти и переведенная почти во всех странах мира, где только имелся печатный станок.

Биография Франклина написана им так же хорошо и полно, как прожил он свою жизнь.

3

Не только в «Автобиографии», завершающем труде Франклина, но также и в большей части его творений запечатлена прожитая им жизнь. В молодости — была ли это миссис Молчальница, подписывавшая статьи в газете «Нью Инглэнд курант», или Хлопотун из «Записок Хлопотуна», опубликованных в журнале «Эмерикэн уикли меркюри», или, наконец, Ричард Сондерс из «Бедного Ричарда» — под псевдонимом скрывался Франклин. Когда же с течением времени он сбросил личину и стал выступать от собственного имени, то делал это в более или менее автобиографическом плане, равно и в описаниях своих научных экспериментов, и в отчетах о своей дипломатической деятельности, и в изложении различных идей, которые он выдвинул во многих областях человеческого знания. Хотя Франклин всегда заботился о стиле своих произведений, набрасывая

черновики и внося исправления, он рассматривал литературный труд лишь как средство, а не конечную цель. Несмотря на все свое дарование, он не создал новых литературных приемов и довольствовался имеющимися, по возможности привнося в них что-то свое. Когда в 1732 году он опубликовал первый выпуск календаря «Альманах Бедного Ричарда» на 1733 год, он был просто издателем, который рисковал деньгами и трудом, как и многие издатели того времени в Америке и Европе. Его брат Джеймс, перебравшийся тогда уже в Ньюпорт, издавал альманах «Бедный Робин». В Англии существовал альманах «Аполлон Английский», выпускавшийся несколько раньше неким Ричардом Сондерсом. Бенджамин Франклин, взяв себе как составителю имя Ричарда Сондерса и изменив «Бедного Робина» на «Бедного Ричарда», поступил в соответствии с установившейся традицией. Его мнимое пророчество о том, что издатель соперничающего альманаха Тэйтэн Лидс умрет в Филадельфии 17 октября того же года, повторяло шутку, сыгранную Джонатаном Свифтом с Джоном Партриджем в Лондоне за двадцать пять лет до этого. Сведения о времени восхода и заката солнца, высоте прилива, лунных месяцах и затмениях, опубликованные в «Бедном Ричарде», основывались на математических расчетах и, как следовало ожидать, соответствовали тому, что говорилось в других альманахах. Новым же у Франклина была комическая фигура предсказателя Бедного Ричарда и те мудрые сентенции, которые как бы ненароком были рассыпаны в тексте.

Бедный Ричард, постоянно выступая перед читателем с 1733 по 1758 год, не так уж много, по сути дела, рассказывал о себе. Он якобы жил в сельской местности, имел кое-какой доход от своего альманаха, но должен был делить его с типографом, которому помогала в работе жена его Бриджит, и, кроме того, ему докучали люди, стремившиеся узнать от него свою судьбу. Однако та выразительная краткость, с которой он характеризовал год за годом Бедного Ричарда, заключала в себе искусство, способное сделать Франклина первоклассным романистом, захоти он писать романы. Поэтому Бедный Ричард, хотя и обрисованный только в общих чертах, сегодня, как и прежде, остается для нас первым популярным, вечно живым и неповторимым героем американской художественной литературы.

Некоторые, встречающиеся в тексте альманаха сентенции были вполне в духе Бедного Ричарда, но большая их часть оказалась совсем иной, потому что они исходили не от Ричарда, а от самого Франклина и являлись результатом его занятий и размышлений на протяжении всего двадцатипятилетнего периода, когда создавалось произведение. Франклин черпал из таких источников, как Рабле, Бэкон, Ларошфуко, Драйден, Свифт, Поп, Прайор, Гэй, а также из антологий стихов и собраний поговорок. Кроме английских, там были латинские, испанские,

французские, немецкие, валлийские. Иногда Франклин излагал что-нибудь из своих новых поучительных умозаключений, как это было, например, в издании 1739 года, «Грех не потому приносит зло, что он запрещается, но он запрещается именно потому, что приносит зло... Также и исполняемый долг не потому благотворен, что предписан, а предписан именно потому, что благотворен».

Максима Ларошфуко «Хитрость и предательство являются результатом отсутствия способностей» повлияла либо непосредственно, либо через промежуточный вариант на то, что было написано Франклином в 1751 году: «Хитрость проистекает от недостатка способностей». В 1754 году Франклин вновь вернулся к этой теме, заявляя уже более определенно: «Хитреца перехитрит еще больший хитрец». В 1749 году он высказал свои мысли о мщении с точностью, не известной его предшественникам: «Нанося оскорбление, вы опускаетесь ниже вашего врага. Мечь делает вас равным ему. Прощение же ставит вас выше». В одном из самых типичных его высказываний, сделанном в 1752 году, источник которого еще не найден, Франклин резюмировал свой принцип терпимости в отношении заблуждающегося человечества: «Сильный и мудрый может пожалеть и простить, трус и глупец не знает сострадания». Слишком много источников высказываний Франклина не установлено, поэтому невозможно сказать определенно, скольких он лишь коснулся, а сколькими обогатил образную речь, уходящую корнями в прошлое, которое он связал с живым современным языком. Ясно, однако, что большинство высказываний после обработки благодаря гениальной способности Франклина быть предельно понятным и удивительному чувству гармонии стали выразительнее. В качестве примера можно привести известную англо-шотландскую поговорку, которая начиная с 1572 года употреблялась несколькими писателями во многих вариантах: «Кот в перчатках не сможет поймать мышшь», «Кот в манжетах — плохой охотник за мышами», «Кот в перчатках никогда не был хорошим охотником за мышами». В 1754 году Франклин дал свой вариант, который с тех пор и вошел в употребление: «Кот в перчатках мышей не ловит». Шотландская поговорка «Тот, кто любит хорошо поесть, не заботится о наследниках» была в 1733 году напечатана Франклином в форме «Тот, кто слишком заботится о себе, ничего не оставляет после себя». Давнее выражение, бытующее в том или ином варианте еще со времен Шекспира или даже Чосера и в 1670 году зафиксированное как «Трое приходят к соглашению, если двое отсутствуют», было переосмысленно Франклином как «Трое хранят тайну, если двое из них мертвы». Еще у Плавта было сказано, что никому нельзя злоупотреблять гостеприимством более трех дней. Лили в «Эвфузе» и Сервантес в «Дон Кихоте» сравнивали гостей со скоропортящейся рыбой. То же самое писал и Херрик в «Гесперидах».

Франклину могло встретиться это выражение в книге «Английские пословицы» (1670) Джона Рея, где оно было напечатано в варианте: «Свежая рыба и гости через три дня уже не доставляют удовольствия», или в книге «Шотландские пословицы» (1721) Джеймса Келли в варианте: «Свежая рыба и надоедливые друзья скоро приедаются». В трактовке Франклина 1736 года пословица приводится в своей общеупотребительной идиоматической форме: «Рыба и гости в три дня протухают», в которой слово «протухают» чувствительные издатели заменяли другими, более изящными словами.

Тот факт, что из всех сентенций Бедного Ричарда получили особенно широкую известность те, что призывают к бережливости, частично объясняется прихотью издателей. В июле 1757 года, когда Франклин пересекал Атлантику на пути в Лондон как представитель Пенсильвании, он написал несколько более длинное, чем обычно, предисловие к выходящему на следующий год изданию альманаха, которому суждено было стать последним, подготовленным им для печати. Это предисловие, известное под названием «Путь к изобилию», с тех пор переиздавалось гораздо чаще других произведений Франклина, за исключением «Автобиографии», в то время как менее соответствующие данной теме высказывания покоились в первых изданиях альманаха, а если вновь публиковались, то весьма редко; в результате взывающая к бережливости часть наставлений Бедного Ричарда по ошибке была воспринята как кредо Франклина. Безусловно, не следует забывать, что в предисловии «Пути к изобилию» созданный воображением писателя оратор отец Авраам, уже старый человек, на деревенской ярмарке призывает не платить за товар больше, чем он того стоит, подкрепляя свои слова цитатами из «Бедного Ричарда». Конечно, он приводит лишь поучения экономического характера и не имеет надобности цитировать Бедного Ричарда по более серьезным, интересующим его самого вопросам. Франклин, для которого бережливость явилась результатом самовоспитания, а не природным качеством, слишком много внимания уделял бережливости и потому создал о себе неверное представление, противоречащее всей его деятельности.

4

Хотя Франклин довольно рано пришел к выводу, что всякое произведение должно быть «понятым, кратким и хорошо написанным» и хотя его собственные сочинения всегда и неизменно обладали этими достоинствами, он испробовал самые разные способы выражения, на что не всегда обращалось внимание: от иронических вольностей в письме, где он дает советы молодому человеку насчет женитьбы (датированном 25 июня 1745 года и названном им «Поучения прежней любовницы»), и доморощен-

ной характерности первых строк теперь уже забытого «Отчета Пенсильванской больницы» (1754), до возвышенной и гармонической прозы некоторых поздних политических документов, не говоря уже о красочном остроумии, непринужденной искренности и задушевности его личной переписки. Несмотря на то что Франклин говорил как по-английски, так и по-французски довольно медленно и сбивчиво, он всегда оказывался на высоте, когда облакал в письменную форму то, что должен был сказать. Франклина цитируют постоянно, и это никогда не надоедает. Без сомнения, годы работы над совершенствованием афоризмов для «Бедного Ричарда» развили в нем счастливую способность писать, но это было его собственное, а не заимствованное у других писателей достоинство. «Если вы не хотите сразу же после смерти забвения, то либо создавайте стоящие произведения, либо совершайте поступки, достойные описания», — говорил Франклин в выпуске «Бедного Ричарда» за 1738 год. Он тоже старался следовать этому принципу, хотя бремя занятости часто лишало его произведения яркости, которой отличалась его жизнь. В конце 1741 года Франклин изобрел новый тип каминов о котором говорится в «Описании вновь сконструированных очагов» (1744). Это был технический проспект, написанный для одного из друзей Франклина, члена «Хунты», которому Франклин предоставил право изготовления этих каминов. Более того, технический проспект явился первым печатным научным трудом члена недавно созданного Американского философского общества. Франклин, будучи секретарем Общества, считал, что оно уделяет прикладной науке меньше внимания, чем следовало бы, и в 1747 году обратился к изучению специальных проблем электричества. Это и принесло ему славу. Оригинальность исследования Франклина вполне соответствовала той убедительности и изяществу, с какими он оповестил о своих открытиях ученый мир и рядового читателя. Однако никому из членов Общества, даже самому Франклину, никогда не приходило на ум, что подобные произведения не имеют отношения к литературе в прямом смысле слова.

Не думал Франклин также, что независимо от того, насколько успешно продвигалось его изучение электричества, он предпринял его тогда, когда не только в Пенсильвании, но и по всей Америке происходили бурные события. Несмотря на то что Франклин в 1748 году отошел от дел, его разносторонние интересы скорее возросли, чем сузились. В августе 1750 года он заметил, что голубей в его домашней голубятне стало больше, как только он расширил голубятню. Исходя из этого, он пришел к выводу, который получил последующее истолкование в «Наблюдениях относительно численности человечества, населенности разных стран и т. д.» (опубликовано в 1775 году) о том, что численность населения зависит от средств существования и начнет возрастать с их увеличением. Эта мысль заставила его

уверовать в то, что по численности населения Америка в скором времени превысит Британские острова и эти грядущие перемены потребуют пересмотра системы управления Британской империей ее заокеанскими владениями. Подобная убежденность направляла Франклина во все периоды его политической и дипломатической деятельности вплоть до Американской революции и нашла отражение в брошюре по вопросу отношений с Канадой «Значение Великобритании, рассмотренное в зависимости от ее колоний» (1760), а также в «Допросе доктора Франклина» (1766) перед палатой общин, «Причинах недовольства американцев в период, предшествовавший 1768 году» (1768) и многих других его менее значительных произведений. Несмотря на то что Франклин должен был соразмерять свои поступки с ходом событий, он был удивительно последователен в соблюдении главных своих принципов.

Эту последовательность и основательность политической линии Франклина порой упускают из виду, поражаясь и восхищаясь разнообразием его научных, поучительных и юмористических высказываний. И действительно, Франклин всегда казался чародеем и остроумцем, даже становясь все более значительной политической фигурой. В 1769 году он издал «исправленное, систематизированное и улучшенное» сочинение «Опыты и наблюдения над электричеством... С добавлением писем и записок по поводу философии», а в 1773 году в Париже по-французски был опубликован его еще более обширный труд — «Сочинения господина Франклина». Здесь в форме научных мыслей были высказаны многие его «догадки и предположения», как называл их сам Франклин. «Я очень предрасположен к построению гипотез. Это потворствует моей природной медлительности», — заявлял он. Но читателям труды Франклина представлялись доказательством неустанной работы его ума, с легкостью и успехом постигающего тайны природы. Читателям оставалось лишь изумляться, поскольку они не могли знать, какая из его догадок подтвердится в будущем (и таких было большинство), а что окажется заблуждением и ошибкой.

Может показаться странным, что политический деятель Франклин был к тому же ученым. Еще более удивляешься тому, что он был вдобавок и замечательным юмористом. Юмор, перерастающий в сатиру, явился одним из средств, которые Франклин использовал в своей общественной и политической деятельности. Он был мастер мистификации. Уже в 1730 году в своем шуточном рассказе «Судилище на Маунт Холли» он высмеял веру в существование ведьм. В работе «Ссылка уголовных преступников в колонии» (1751) он серьезно предложил, чтобы в ответ на действия англичан американцы тоже экспортировали бы в Англию... гадюк. Во время пребывания в Лондоне в письме «Издателю газеты» (1765) он осмеял все тамошние рассказы об Америке, например о том, как в американских пресных водах

киты преследовали треску, заметив с деланной серьезностью, «что огромный, но рискованный прыжок кита до Ниагарского водопада расценен всеми, кто наблюдал его, как одно из величайших зрелищ, которые когда-либо устраивала природа». В 1773 году в «Эдикте короля Пруссии» Франклин, используя жанр пародии, изобразил притязания Британии на управление Америкой. В «Эдикте» Пруссия требовала предоставить ей возможность править Британией. В 1782 году в Париже он напечатал «Приложение» к «Бостонской независимой хронике», якобы пытаясь доказать, что британское командование в Америке регулярно выплачивает вознаграждение индейцам за скальпы американских поселенцев. Читатели, поначалу озадаченные, уже вскоре могли понять, что скрывается за такой мистификацией, и рассматривали написанное теперь уже в ином свете, помня то серьезное содержание, которое Франклин облек в остроумную форму.

Багатели, ставшие развлечением для Франклина и его окружения в Пасси, под Парижем, когда он был послом во Франции, явились дальнейшим выражением, в более легком жанре, его склонности к мистификации. Когда мадам Брийон с улыбкой отказала ему в его полусерьезной просьбе быть ему более, чем дочерью, он написал и отпечатал на своем небольшом печатном станке притчу «Однодневка; символ человеческой жизни» (1778) — о скоротечности времени и необходимости философского смирения. Когда мадам Гельвеций ответила ему отказом на предложение стать его женой, Франклин в «Богоматери Отейля» (1778) беспечно поведал ей о том, как во сне он очутился в Елисейских полях, где нашел ее покойного мужа, женатого на покойной жене Франклина. «Я здесь. Давайте отомстим за себя», — резюмировал он. Если во Франции от дипломата требовалась галантность, то Франклин мог считаться образцом в этом приятном искусстве. А поскольку во ФранкLINE хотели видеть мудреца, Солона Нового Света, принесшего в Старый Свет вести о будущем Золотом веке, он и стал мудрецом и Солоном. И это не было маской, к которой он прибегнул, как это было в случае с Бедным Ричардом, а проявлением подлинной сути его натуры в сочетании с тонким драматическим искусством. Потому что долгая жизнь научила Франклина, каким образом можно с наибольшим успехом выявить свои возможности.

Самые значительные из более поздних произведений Франклина, за исключением «Автобиографии», относятся к области дипломатии. Здесь никто не превзошел его. Даже обычные депеши, если их так можно называть, были написаны им с поистине государственным пониманием дипломатической обстановки, философским проникновением в мысли и побуждения заинтересованных лиц и счастливым даром юмориста к живому и доходчивому слову. Два наиболее интересных раздела своей истории

дипломатии Франклин слишком торопился написать, поэтому они так кратки. Это документы о введении и аннулировании Закона о гербовом сборе и переговорах о заключении союза с Францией. Но с наибольшей полнотой он высказывается в трех других важных документах: трактате «Дело о письмах Хатчинсона» (1774), «Отчете о переговорах в Лондоне о перемирии между Великобританией и Американскими колониями» (1775) и «Дневнике мирных переговоров с Великобританией» (1782). В первых двух вопросах Франклин остается главным и почти единственным авторитетом. Здесь он выступает в роли классического летописца, вдохнувшего жизнь в сухие факты тогдашней действительности и отзвучавшие уже споры.

Создавая эти пространные документы, Франклин руководствовался определенными мотивами. Рассказывая о деле Хатчинсона, он оправдывает его поведение, хотя из-за этого сам он был смещен с занимаемого поста в британской королевской администрации. Его сообщение о переговорах с британским кабинетом министров зимой 1774—1775 годов, написанное во время его возвращения домой, когда события были еще совсем свежи в его памяти, свидетельствовало о том, что он сделал все для предотвращения военных действий. Его подробный отчет о мирных переговорах в Париже на их раннем этапе предназначался не только Континентальному конгрессу, но и его сотрудникам, которых не было в Париже, когда почва для переговоров только подготавливалась. Но Франклин всегда писал в автобиографическом плане, потому что он уже приступил к «Автобиографии» и знал, что эти недавние события должны занять соответствующее место в его будущих сочинениях.

5

Франклин начал писать свою «Автобиографию», которую называл не иначе, как «Мемуары», в августе 1771 года в доме Джонатана Шипли в Чилболтене, неподалеку от Тайфорда (Гемпшир). У Шипли, проамерикански настроенного английского епископа, была большая семья, все молодые и старые члены которой глубоко почитали Франклина как современного Сократа. По их просьбе он часто рассказывал им о своем детстве в далеком Бостоне, так не похожем на их детство. Старшие члены этой семьи настойчиво убеждали Франклина поведать миру историю своей жизни. Вероятно, эта настойчивость и пробудила в нем ответный отклик, а предстоящий «ничем не нарушаемый недельный досуг» давал для этого возможность.

«В благоуханном уединении Тайфорда, где моим единственным занятием было беззаботное сочинительство в саду», как позднее заметил Франклин, он за тринадцать дней своего пре-

бывания там, а возможно, и в более короткий срок, создал первую часть «Автобиографии».

Поскольку ни один жанр литературы не был Франклину так близок, как эпистолярный, в котором он рассказывал о себе, и поскольку он много писем написал своему сыну Уильяму, ставшему королевским губернатором Нью-Джерси, он и облек свои мемуары в форму письма к сыну. Первый день работы, как это нам теперь представляется, Франклин начал с семейных рассказов о предках, родителях и своем детстве, затем, очевидно, он решил писать «более методически» и составил план, которого придерживался, хотя и не слишком методически, во всех четырех частях «Автобиографии» вплоть до событий 1757 года. Первая часть «Автобиографии», полная радужного оптимизма и безоблачных воспоминаний, принадлежит к числу лучших в мировой литературе описаний отрочества.

В течение тринадцати лет, последовавших за этим августом 1771 года, у Франклина не было ни времени, ни желания продолжить свой рассказ. Его друзья в Тайфорде с нетерпением ожидали, что весной 1775 года по возвращении в Америку он приступит к своим воспоминаниям. Однако вместо этого он предпочел в письмах к сыну описывать безуспешные переговоры, происходившие в Англии минувшей зимой. Разразившаяся Революция нарушила все планы, которые могли быть у Франклина относительно «Мемуаров». И лишь в 1784 году, будучи в Европе, он вновь обратился к воспоминаниям о своей юности и продолжил повествование. Однако он оставил рукопись первой части «Автобиографии» в Америке и не мог точно вспомнить то место, где она обрывалась. Отчуждение между ним и сыном, который был на стороне британского правительства, привело к тому, что Франклин в письмах уже не мог обращаться к нему и не был, как прежде, расположен отводить много места в «Автобиографии» «незначительным семейным событиям, малоинтересным другим». Поэтому то, что Франклин написал в 1784 году, «предназначалось для публики», которая устами некоторых близких друзей и собеседников выразила желание узнать поучительную историю его восхождения к мировой славе.

Даже в благоприятной обстановке в Пасси, создавшейся после успешного заключения союза, Франклин написал только короткую вторую часть своих «Мемуаров». Вполне вероятно, что столь насыщенный образ жизни, какой он вел в Пасси, мог служить, препятствием в работе над воспоминаниями о далеком прошлом. Для этого он должен был обладать большим тщеславием или жаждой литературной славы.

Во время последнего возвращения домой в Америку летом 1785 года Франклин размышлял над разного рода научными проблемами, интересовавшими его больше, чем история собственной жизни. И на родине, где у него уже не было такого досуга, как он надеялся, несмотря на многочисленные настоя-

тельные просьбы, он отложил свои «Мемуары» до августа — октября 1788 года, когда им была написана третья часть. Но теперь он стал слишком стар и немощен, чтобы строить планы или надеяться на будущее. В ноябре 1789 года Франклин отослал исправленную и до некоторой степени переработанную рукопись первой и второй части «Мемуаров» своим друзьям во Францию и Англию, спрашивая, стоит ли публиковать это произведение вообще. Затем он написал несколько страниц четвертой части, возможно, это происходило уже в последние недели его жизни. Неразборчивые заключительные строки рукописи свидетельствуют о том, что он писал их, очевидно, в постели.

Франклин слишком часто откладывал работу над «Мемуарами», и, вероятно, поэтому столь нужную и желанную книгу ожидала странная судьба. Впервые она была опубликована в 1791 году по-французски, в неавторизованном переводе, без каких бы то ни было пояснений, а затем вскоре — неизвестным лондонским журналистом в переводе с французского. Этот перевод часто переиздавался даже после того, как внук Франклина напечатал авторизованный текст «Автобиографии» в соответствии с одной из сверенных Франклином копий 1789 года. Лишь в 1868 году во Франции был обнаружен подлинник рукописи, и «Автобиография» с включенной на сей раз четвертой частью была опубликована в том виде, как ее создал Франклин. Неудачное предисловие не повредило шедевр сколь-нибудь серьезно. Суть произведения сохранилась в каждом его варианте, так как соответствовала духу времени независимо от того, на каком языке произведение увидело свет.

Безусловно, автобиография Франклина не была одной из самых первых в этом жанре. Августин сообщил нам историю своих борений между духом и плотью, Бенвенуто Челлини познакомил с бурной жизнью художника и любовника. Руссо, современник Франклина, поделился тем, что извлек из своих восторгов и тревог. Франклин рассказывает нам свою безыскусную историю языком столь простым, что лишь немногие читатели обратили внимание на его удивительное искусство, прочие же не считали ее произведением литературным. Для них это была сама жизнь. Книга стала образцом, которому следовали наиболее реалистически мыслящие представители автобиографического жанра. Франклин до сих пор известен миру главным образом благодаря своей «Автобиографии», несмотря на то, что она носит фрагментарный характер, а также благодаря «Пути к изобилию», в свою очередь являющимся только собранием памятных его высказываний. Поэтому, вероятно, Франклина всегда будут знать прежде всего как автора этих двух произведений. Последующие поколения едва ли могут надеяться получить более полное представление о Франклине, чем то, что он оставил в «Автобиографии». Точно так же последующие поколения не

найдут и удовлетворительного ответа на вопрос, почему же Франклин, сделавший в жизни так много, не счел нужным сделать меньше, чтобы получить возможность больше писать и публиковаться.

Непринужденно и свободно вынося свое суждение об Окружающей действительности, Франклин оставил нам живой и полнокровный образ колониальной Америки того периода, когда она еще только начинала сознавать свои силы на пути к достижению независимости. Первый среди тех, кого страна назвала отцами-основателями, Франклин, после того, как воссияла слава Вашингтона, может считаться нашим старейшим патриархом. И в Америке, более чем где-либо еще, он стал популярен именно благодаря своим достоинствам патриарха: благоразумию, искренности, юмору. Однако его посмертная слава в течение последующих десятилетий подкреплялась открытием других его достоинств, таких, как самобытность, смелость, пытливость ума. Пророческие предсказания Франклина сбывались одно за другим. А это все больше свидетельствует о том, что он проникся революционным духом своего времени и был далек от самодовольства. Революционер и провидец, Франклин помог узреть очертания будущего. Созданный им мир обладает такой же убедительной силой для нас, живущих в XX веке, как и для тех, кто жил в XVIII. Ни один из американских писателей раннего периода не получил такой известности, как он, не переиздавался так много; ничьи произведения не перечитывались так часто, не доставляли такой радости. Франклин воплотил в себе основные черты американского характера, который затем развился, во многом повторяя путь, пройденный их носителем. Случается, что великие люди указывают своим потомкам неверный путь. Франклин же до сих пор остается светочем американской жизни, литературы, науки. Величайший национальный символ, Франклин никогда не перестанет быть близким и любимым человеком.

... *Поиски*
и
подражание

II.
РЕСПУБЛИКА

9. РЕВОЛЮЦИЯ И РЕАКЦИЯ

1

К 1763 году английские колонии на Североамериканском континенте достигли той степени политической и экономической зрелости, которая никак не увязывалась с ограничениями и запретами британской колониальной политики. Более того, завоевание Французской Канады объединенными силами Великобритании и ее союзников колоний породило в американцах чрезмерную самоуверенность и экспансионистские настроения: свидетельство этому — призыв Бенджамина Франклина к распространению влияния Британской империи и свобод, даруемых ею, по его мнению, народам всего света. Это здоровое ощущение собственной мощи и свободы постоянно путало самые хитроумные планы Британской короны, которая начиная с 1763 года искала повода урезать права американцев то с помощью прямого налогообложения их английским парламентом, то требуя жесткого соблюдения Навигационных Актов *. Видя, что империя остается глуха к их идеалам, американцы направили вновь обретенное сознание своего единства и могущества на борьбу с метрополией за независимость.

Чтобы оградить свои права от английских администраторов, стремящихся централизовать всю власть над империей в Лондоне, американцы обращаются за помощью (что они делали неоднократно и в прошлом) к Локку, Харрингтону и другим философам, выступавшим в защиту естественных прав человека. Первой линией их обороны против британской тирании было именно естественное право, на котором покоился, по их разумению, фундамент английской конституции. «Какой народ, — задавал вопрос Джон Дикинсон из Пенсильвании, — можно назвать свободным? Не тот, правительство которого руководит им разумно и справедливо, а тот, чье правительство проверяется и контролируется народом в соответствии с конституцией так, что управлять иным образом просто не может». Согласно этой философии, король и парламент не смели нарушить законы Бога и Природы. И уж конечно не могли облагать население налогом, обходя вопрос о представительстве *. Под Природой и Богом американцы понимали разум, всячески пытаясь приспособить к Британской империи краеугольные принципы

Просвещения — веру в силу разума и способность человека к совершенствованию. Вплоть до 1776 года они не помышляли о борьбе с Империей и стремились обеспечить благосостояние нации и ее уверенность в будущем, следуя во всем законам природы. Однако под законами природы англичане и американцы подразумевали нечто различное. «Если бы кое-кто из моих соотечественников, оставшихся в Англии, хоть раз окунулся в воды Делавера, — заметил некий англичанин, — то в его сознании, смею думать, произошли бы удивительные перемены». Американцы упорно настаивали на своей интерпретации понятия «естественного права»*, что, по мнению англичан, означало подчинение законов Империи не богу и не природе, а «судьям-бостонцам» с Сэмом Адамсом и Джеймсом Отисом во главе.

В силу своей универсальности «естественное право» стало связующим звеном между американцами, давая и жителям Новой Англии и Каролины одни и те же козыри в руки для сопротивления английскому давлению. Являясь философией, отстаивающей права личности, «естественное право» порождало множество демократических идей. Именно к «естественному праву» прибегал преподобный Джон Уайз в определении наиболее целесообразной формы церковного управления в Новой Англии, им пользовался и Роберт Беверли, пытаясь сформулировать отношения плантаторов Виргинии с метрополией. Любой мыслящий американец умел противопоставить «естественное право» централизованной власти еще за сто лет до Войны за независимость.

Во взаимоотношениях с империей американская интерпретация «естественного права» вела к децентрализации и увеличению привилегий колоний. Опасаясь влияния правительства в Вестминстере, американцы возвели местные ассамблеи в ранг парламентов, подчиняющихся лишь власти короля. Англичане со своей стороны считали, что все эти идеи ведут не к независимости, а к провинциализму и изоляции, словом, к расколу империи. После того как надежды на компромиссное решение рухнули и Америка объявила о своей независимости, она тем самым взяла на себя ответственность за решение проблемы, с которой так и не сумели справиться английские власти: как совместить рост привилегий колоний с централизованным правительством.

2

Столкновение идеологий вызвало словесную распря, которая бушевала в течение десяти лет, пока американцы и англичане не решили для скорейшего разрешения конфликта перейти к действиям. Все десятилетие, предшествующее событиям у Лексингтона, колонисты пытались убедить английские власти уважать их права, подкрепляя силу аргументов реальными действиями, в том числе наложением эмбарго на английские товары. В борьбе

за независимость литература превратилась в оружие: искусство пропагандиста, «катализатора» общественного мнения стало объектом изучения для многих американских писателей. По мере того, как конфликт обострялся забывались «джентльменские» приемы ведения спора, разработанные Джеймсом Отисом и Джоном Дикинсоном: основными объектами нападок американских фельетонистов и обозревателей стали английская жестокость, безнравственность правительства Джона Норта, порочность нравов английского народа. Поток подобного рода литературы существенно помог подготовить общественное мнение к принятию Декларации независимости и поддержать на должном уровне мораль в эту годину испытаний. Эдмунд Берк говорил, что американцам за каждым углом мерещится тирания; точнее было бы сказать, что они узнавали о ней из своих газет.

Пока конечной целью революционного движения оставалось завоевание американцами прав и привилегий, которыми располагали англичане, колонисты сохраняли единство, на торизм особенного внимания не обращали. Но в 1776 году, когда Томас Пейн заговорил о независимости Америки и о республиканском образе правления, стало очевидно, что гражданской войны, в которой американцы будут сражаться против американцев же, не избежать. Значительная часть колонистов — около трети населения — оставалась верна Великобритании, не столько из любви к королю и парламенту или из почтительности по отношению к метрополии, сколько из страха перед демократическим переворотом, который мог бы явиться результатом достижения независимости. Декларация независимости тоже не утешила консерваторов. Слова Джефферсона — «все люди созданы равными» — открыли шлюзы революционному движению в стране: стало очевидно, что лидеры патриотов собирались не только порвать с зависимостью от Англии, но и воплотить в жизнь свои принципы, покоящиеся на убеждении, что в основе деятельности правительства должна быть забота о народном благоденствии.

Не все консерваторы избрали трудный и тернистый путь торизма и изгнания; многие из них присоединились к патриотам, что впоследствии привело к яростным столкновениям между радикалами и консерваторами внутри самой революционной партии. Споры шли о том, кто станет во главе новой Америки и насколько далеко можно идти в демократических преобразованиях общества. Часть патриотической партии сопротивлялась духу перемен, пытаясь направить революционное движение в русло борьбы с Англией; другая — хотела покончить с прежним аристократическим порядком и передать страну «новым людям» — главным образом из мелкого фермерства — и смело заявляла о праве большинства управлять страной.

Однако полной победы не одержали ни радикалы, ни консерваторы — время работало на умеренных реформаторов. Несмотря на дружные протесты реакционеров, были открыто

провозглашены отделение церкви от государства и свобода религиозных убеждений, отменены право первородства * и майорат, в северных штатах ограничено и постепенно уничтожено рабство негров и в преамбулах конституций новорожденных штатов утверждалось, что вся политическая власть принадлежит народу. Однако в большинстве штатов под «народом» подразумевали те же самые круги, что и прежде, — тех, кто имел право голоса и занимал важные общественные посты. У Запада несправедливо урезали голоса, дабы он не перехватил власть у консервативного Востока.

Эти реформы были важнейшим революционным завоеванием Просвещения в Соединенных Штатах. XVIII век был эпохой просвещенных деспотов; в течение краткого отрезка европейской истории философы были правителями. Это было время, когда идеи, долгое время вынашиваемые в умах философов, начали приносить плоды гуманности. Таким образом, Соединенные Штаты возникли в эпоху реформ, проводимых сверху, — плодов деятельности патриархально настроенных правителей. Американские патриоты революционного поколения доказали, что республиканцы просвещены не менее деспотов, что народ сам способен действовать так, как стремятся действовать за него короли и философы.

Перемены, внесенные Революцией, не уничтожили аристократию в Соединенных Штатах. Отменяя право первородства и майорат, Джефферсон верил, что он подсекает корни аристократии, однако со временем он понял, что всего лишь обрубал некоторые ветви. Аристократы уступили демократам только внешнюю линию обороны, цитадель же осталась нетронутой. Более того, Революция породила собственную аристократию: нувориши, которые разбогатели на каперстве, барышничестве и спекуляциях, уже перебравшиеся в особняки сбежавших тори, не замедлили усвоить их обычаи и мысли. Эти дельцы стали ядром партии федералистов и наиболее яркими противниками принципов 1776 года.

Принятие решения о колонизации Запада было, возможно, важнейшей акцией Революции в деле демократизации страны. Многие из английских государственных деятелей совершенно справедливо предсказывали, что, как только американцы смогут беспрепятственно проникнуть за Аллеганы *, власть централизованного правительства будет значительно ослаблена. Но движение на Запад было настолько мощным, что никакие правительственные указы не сумели бы его надолго затормозить; федералисты пытались противиться укреплению Запада и проиграли, точно так же как и английское правительство до них. Партия Джефферсона, напротив, выступила на стороне Запада и тем самым на стороне будущего американской демократии.

Если многим демократам Американская революция представлялась «незавершенной», то она обманула надежды и тех, кто

помышлял о сильном национальном правительстве. В самые тяжелые минуты войны этих патриотов поддерживала надежда, что из революционных битв Соединенные Штаты выйдут объединенным и могущественным государством. Но статьи конфедерации * не сделали республику централизованной и сильной: страна явно шла к анархии. Встревоженные патриоты уже видели в Соединенных Штатах легкую добычу для враждебных европейских государств; основная же масса американцев продолжала оставаться в неведении, не обращая внимания на предупреждение, что слабость нации всегда провоцирует нападение.

А в это время американский народ, подстегиваемый послевоенной депрессией, пытался воплотить в жизнь идеалы, за которые он сражался. Народ требовал закона по облегчению участи должников, справедливого представительства для Запада, доступа широких масс к государственным должностям, избирательного права для всех взрослых мужчин, обуздания власти богачей — словом, демократии Джексона за пятьдесят лет до прихода последнего к власти. Во многих штатах страны мелкое фермерство добилось контроля над правительством и приступило к перестройке законодательства в своих интересах; в тех же случаях, когда консервативные, привилегированные слои оказывали сопротивление, как, например, в Массачусетсе, народные массы поднимали вооруженное восстание.

Эти события склонили общественное мнение в пользу сильного правительства. Народ, который в 1776 году восторженно нарекали источником мудрости и добродетели, ныне рассматривали как «могучую бестию», которую необходимо обуздать. Нужно было примирить порядок со свободой и создать сильное централизованное правительство, способное оказать сопротивление и иноземным противникам, и американским популистам; поэтому на Конституционном съезде 1787 года в Филадельфии был разработан проект «более совершенного союза». Именно в нем заключался ответ американских государственных деятелей на вопрос, роковой для Британской империи: как совместить местные привилегии с сильным централизованным правительством. Это был также ответ американцев на извечную проблему: человек ли для государства или, напротив, государство для человека. Несмотря на сильное предубеждение против растущей «распущенности нравов» создатели Конституции открыто заявили, что американцы не орудие в руках государства, а граждане, наделенные неотъемлемыми, стоящими выше государственной власти правами.

3

В результате Американской революции и провозглашения Федеральной конституции возникла нация; но вопрос о том, какой она станет, оставался открытым. Будут ли Соединенные

Штаты индустриальной страной крупных городов с новой аристократией богачей, ожидающих подачек и протекций от федерального правительства, или страной мелкого фермерства, ведомого аристократией талантливых людей, где поощрение индивидуальной свободы станет главной заботой правительства? Именно в этом заключалась суть борьбы между Джефферсоном и Гамильтоном, между республиканцами и федералистами, долгое время занимавшей умы американцев, пока осложненная разногласиями по вопросу о рабстве она не привела к первым схваткам Гражданской войны.

Спор между Джефферсоном и Гамильтоном о будущем американской цивилизации разгорелся еще сильнее с началом Французской революции. Недовольные демократы в Соединенных Штатах приветствовали действия французских революционеров и требовали новой американской революции — на принципах «Свободы, Равенства и Братства», — направленной против местной аристократии и всяческих привилегий. Консерваторы объединялись для защиты существующего порядка, намеренные противиться всему, что открывало лазейку для революции.

В этой борьбе «Права человека» Томаса Пейна стали «Библией» радикалов, в то время как консерваторы черпали свои аргументы из контрреволюционных сочинений Джона Адамса и Александра Гамильтона. Духовенство Новой Англии — «черный легион», во время войны преподавший своей пастве уроки восстания и теологии одновременно, — теперь метало громы и молнии против безбожников и распутников французов, расписывая ужасы, ожидающие американцев, если они пойдут по стопам Французской революции. «Неужели сыновья наши станут учениками Вольтера и драгунами Марата, — патетически восклицал преподавший Тимоти Дуайт из Коннектикута, — а дочери наши — наложницами вольнодумцев?» Но американские демократы стойко поддерживали дело революции и у себя на родине, и во Франции: противодействие Французской революции было в их глазах «войной королей и аристократов против всеобщего равенства людей»; федералистов же они считали реакционерами, пытающимися лишить американский народ дарованной ему от рождения свободы.

4

Показательно, что еще до принятия Конституции в Америке возникало подчеркнуто националистическое литературное направление — так называемые «Хартфордские мудрецы» *. Мысль о том, что Соединенным Штатам надлежит стать «новыми Афинами» для искусства и науки, часто высказывалась во время Революции; считалось, что, пока американцы были колонистами они отражали предрассудки и островную замкнутость британцев — теперь же, став свободными людьми, они стремились заключить в свои объятия весь мир, черпая вдохновение у всех

культур и народов. По мнению некоторых патриотов, разрыв с метрополией наступил вовремя: уже следующее поколение, говорили они, «научилось бы есть и пить, клясться и браниться, как англичане». По счастью, у американцев своевременно открылись глаза, и они увидели, что Франция, например, «самая просвещенная нация на земле», а ее народ наиболее цивилизован и учтив. Французы отшлифовали и облагородили Европу; следующей акцией этой одаренной нации было уничтожение остатков колониализма в Америке. Для Томаса Пейна союз Соединенных Штатов с Францией был вроде глотка свежего воздуха в затхлости провинциальной Америки, сулящий золотой век для американской литературы.

«Мы стали иначе видеть! — восклицал Пейн. — Мы стали иначе слышать; мы стали иначе думать — не так, как раньше... Каждый уголок нашего сознания теперь очищен от паутины, яда и пыли и готов к приятию идей всеобщего счастья».

В подобном умонастроении и с непреклонной решимостью скорее погибнуть в «литературных окопах», чем снова согнуться под грузом духовного рабства, американцы хлынули в печать, чтобы выработать декларацию интеллектуальной независимости. На этом пути они неминуемо должны были обратиться к национальным реалиям и темам, подготавливая этим американский Ренессанс XIX века. Если Америка и не вступила еще в пору литературной зрелости — явное свидетельство тому: сочинения писателей тех лет, — то, во всяком случае, ее охватил пылкий и многообещающий порыв юности.

Однако полемика все больше затягивала американцев: Филип Френо, самый талантливый поэт своего поколения, отдав политике незаурядный литературный дар, выступил на стороне Джефферсона в его споре с Гамильтоном. Война партий превращала американца, повторяя слова английского путешественника в «животное, поглощающее газеты», а американского писателя — в пропагандиста и памфлетиста. Это вредило литературе, но, завоевывая все большее число читателей, газеты тем самым создали огромный, постоянно растущий рынок сбыта для книжной продукции.

К 1820 году победа демократических идеалов и прекращение угрозы иностранной агрессии дали возможность американцам заняться заселением и благоустройством страны. Чисто полемический период американской литературы миновал; теперь писатели могли обращаться к темам менее подходящим, чем политические страсти дня. Америка, которую уже начали признавать, предоставляла богатый — по пестроте, размаху и разнообразию — материал своим литераторам. Американцы, теперь уже не так озабоченные поисками пропитания в диких лесах, преисполнились желанием в полной мере развивать литературные возможности нации; Америка стояла на пороге столь долгожданного и столь запоздалого литературного Ренессанса.

10. СТАНОВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТОРА

1

Первейшей задачей было просвещение, и школы, и колледжи колониального периода положили ему хорошую основу. Первые колледжи существовали и в годы Революции, но даже в следующем столетии они сохранили немного измененные классические курсы обучения, практику ограниченного, по социальному признаку, приема учащихся и упор на дисциплины, необходимые для юриста, священнослужителя и общественного деятеля. К восьми колониальным колледжам скоро добавился Виргинский и много других. Большинство выпускников шло в право и политику, меньше в церковь. Постепенно отходили от обыкновения направлять способного юношу в Оксфорд или Кембридж, в Лондон или Эдинбург для получения основных знаний, необходимых джентльмену.

С другой стороны, обычай ехать за границу для углубленных занятий медициной, изящными искусствами, естественными науками и в значительной степени правом еще более утвердился в первые полвека после получения независимости, а что касается науки, то он сохранился до наших дней. Президент Британской королевской Академии Бенджамин Уэст, американец по рождению, развешивал свои огромные исторические полотна на стенах Виндзорского дворца и Гринвичской больницы и обучал в своей лондонской студии почти всех наших ранних художников, по крайней мере до тех пор, пока один из них, Чарльз Уиллсон Пил, не нарушил традицию и не помог основать в 1805 году Пенсильванскую академию изящных искусств. Подобным же образом считались в порядке вещей поездки в Эдинбург и Лондон для продолжения образования наших ранних медиков, пока они в свою очередь не сумели организовать медицинские училища на родине. В последующие годы Джордж Тикнор, Лонгфелло и другие молодые гуманитарии, преподававшие в университетах, отправлялись в Англию и Германию для углубленного изучения языков и литературы. Бывшие колонисты были типичными подростками в отношении к культуре предков. Они стремились держаться независимо и одновременно усердно учились у старших и всячески подражали им.

Это отношение дало хорошие результаты, но на других уровнях просвещения. Воинствующий национализм лексикографа Ноя Уэбстера и географа Джедидии Морзе способствовал распространению менее формального и традиционного начального и среднего школьного образования, устранял ограниченность колониальных грамматических школ, учебных заведений для барышень и частного наставничества у людей с положением. Окружные же и «благотворительные» школы, которые после Революции стали демократическими основами нашей современной системы народного просвещения, развивались медленно. Хотя уже в 1647 году в Массачусетсе существовал закон об общественных школах, большинство конституций штатов не содержало никаких положений о школьном обучении, и даже федеральная конституция ничего не предусматривала. На протяжении всего XVIII столетия обучение молодежи происходило дома.

В этих условиях в 1783 году Уэбстер и выпустил свой знаменитый «Синий словарь» как вызов традиционализму и самоуспокоенности. Исходя из принципа, что обучение должно быть связано с жизненным опытом, он заявлял о создании американского языка и путем соответствующего обучения молодежи ставил задачу сделать страну «так же независимой в литературе, как и в политике, и так же славной искусствами, как и оружием». Эта работа была продолжена его хрестоматией, грамматикой и словарем, «Американской географией» Морзе, «рассчитанной на то, чтобы воспитать у американской молодежи в самом раннем возрасте сознание наивысшей важности их родины», а также предложенным в 1817 году Джефферсоном всеобъемлющим планом массового просвещения, начиная со школ в графствах и кончая университетами, где должны преподаваться «все полезные науки в полнейшем объеме».

Прошло, однако, столетие, и даже больше, прежде чем человек, воспитанный в условиях демократии, занял свое место в советах колледжей. Несмотря на либеральные и рационалистические взгляды таких реформаторов, как Франклин, Джефферсон и даже Сэмюел Джонсон, первый президент Кингз колледж, Колумбия, в ранний период национальной независимости господствовали классические и теологические идеалы, рожденные ревностной приверженностью традициям Оксфорда и Кембриджа. У наших первых литераторов было колониальное воспитание и колониальное наследие. Это был ограниченный круг избранных, чаще всего преподаватели латинского и греческого языков, риторики, богословия, математики, отчасти других наук в их ранних формах натурфилософии. В колледжах, «этих храмах скуки и гнездовищах сов», по выражению Джозефа Денни, поддерживалась строгая дисциплина, а преподавание тщательно оберегалось от воздействия повседневной жизни. Иногда наиболее буйные студенты исключались на время, как было с Денни, а то и вовсе отчислялись, как случилось с Джеймсом Ф. Купером,

который, как рассказывают, заложил пороху в замочную скважину и, взорвав его, открыл дверь в комнату приятеля.

Лучший выход энергии молодежи давали литературные кружки и дискуссионные клубы, как, например, Общество «Линония» и Общество братьев в Йельском университете, Американское общество вигов в Принстоне, где активную роль играли Френо и Брэнкенридж, общества Филоматиков и Зелософиков в Пенсильвании. Каждая такая группа имела обычно своего двойника, и их соперничество было центром жизни на младших курсах. Они давали пищу для обсуждений в учебной аудитории текущих вопросов политики и литературы, причем эти обсуждения заканчивались иногда ссорами и кровопролитием. Однако важнее отметить, что в сохранившихся с того времени библиотеках преобладала импортируемая литература и популярные книги, которые дополняли узкоакадемические собрания, составленные администрацией. Современный американский колледж вырос скорее не из формальных классных занятий, а из тех обществ, где в спорах и дискуссиях зрели творческие интересы и полемические качества наших будущих политических и литературных вождей.

2

Выйдя из колледжа, молодой американец находил еще меньше стимулов для чисто литературных занятий. В классах его научили читать, анализировать и декламировать, но в кружках он привык вести дебаты по текущим проблемам и обсуждать новейшие английские и американские книги. Голова у него была забита латинским и греческим языками, богословием, логикой, риторикой, математикой, но сердце тайно билось в лад с изящными ритмами аддисоновской прозы и выразительными двустопными фразами Попа, а в ушах звенели фразы Патрика Генри и Сэмюэла Адамса. Все это сбивало с толку, мешало писать, к чему обыкновенно стремятся по выходе из колледжа. Самым простым было решение заняться правом и войти в политический или деловой мир, приберегая для занятий литературой досуг и забавляясь изредка беллетристикой. В новом обществе было столько насущных проблем и неотложной работы!

Прежде всего не было издателей в современном смысле слова, и редкий печатник шел на риск выпустить книгу американского автора, когда можно было, не считаясь с авторским правом, издавать англичан. Сам Франклин напечатал в 1774 году «Памелу», и его примеру без угрызений совести последовали другие. Количество печатников в прибрежных городах неуклонно росло, но они брались только за плакаты, банкноты, брошюры, газеты, иногда журналы. Примерно до 1825 года американский автор должен был сам издавать свои книги, беря на себя все расходы или их львиную часть. Большинство печатни-

ков, следуя примеру печально известного в годы войны Хью Гейна, слишком легко меняли свои убеждения и брались за любую выгодную работу. Такие люди, как Исайя Томас и Мэтью Кэри, которые обладали определенным профессиональным достоинством, этикой и инициативой и которых допустимо назвать издателями в современном смысле слова, были исключением. Да и эти двое были в первую очередь печатниками, а затем уж издателями.

Читающая публика, которая быстро ширилась в тот период, тоже отчасти повинна в том, что не особо жаловала отечественные произведения, ибо английские авторы и их престиж более чем удовлетворяли растущий спрос на популярные виды литературы. Колониальные библиотеки собирались из классических произведений и трудов по истории, философии, богословию, которые так ценились их владельцами еще со студенческих времен; в предреволюционные годы возникли акционерные библиотеки, например Филадельфийская библиотечная компания, Нью-Йоркское библиотечное общество, и другие литературные клубы и библиотечные общества, имевшиеся повсюду от Провиденса до Чарльстона, и впоследствии эта практика распространилась на Новый Орлеан (1805) и Бостон (1807). Хотя эти общества закупали немало книг у отечественных печатников, еще большим спросом со стороны подписчиков пользовались книги с маркой лондонских издательств, а также учебники и популярная литература.

Моду на романы, возникшую среди английской публики к концу XVIII века, и популярность романтических поэтов и знаменитых эссеистов начала XIX, быстро переняли в Америке. Отечественные печатники переиздавали много английских романов и до 1790 года, а длинные перечни «новых книг, только что доставленных пароходом «Электра» из Лондона» (главным образом книги о путешествиях и беллетристика), объявления о продаже частных библиотек и реклама «книг, модных товаров и тому подобного к Рождеству» занимали в газетах столько же места, как и сообщения о завезенных партиях перчаток, хлопчатобумажных изделий, вина, чая, соли и мыла. Купер в 1821 году не смог найти издателя, который прилично заплатил бы ему за «Шпиона», ставшего его первым успехом, однако, когда в декабре того же года роман все-таки появился, в одном только Нью-Йорке четыре книготорговца с готовностью брались рекламировать его как имеющийся в наличии.

Романист Чарльз Брокден Браун был первым и единственным до Купера и Ирвинга американцем, который попытался заниматься литературой, полагаясь только на книжный рынок, и потерпел неудачу. Он попробовал вести дела как с книготорговцем, так и с местными печатниками и издателями, предлагая свои американско-готические романы. Список художественных произведений, имевшихся в передвижной библиотеке-лавке некоего

Уильяма Каритата (1804), показывает причины неудачи и с тем, и с другими и объясняет, почему Браун, как и многие его коллеги, обратился к редакторской деятельности как источнику заработка. На полках у этого модного книготорговца стояло около двух тысяч французских и английских романов, переизданных в Америке или привезенных из-за океана. Анализ этого списка дает возможность уяснить, почему Браун взялся за жанр популярной истории ужасов с моральной подкладкой, а затем быстро отказался от него, не выдержав соперничества с заграничными авторами.

3

Наши печатники быстрее авторов научились извлекать выгоду из этой ситуации. К тому времени, когда в 1814 году появился «Уэверли», война была уже в разгаре, и главной жертвой оказался Вальтер Скотт. Лондонский издатель дешевой беллетристики Джон Миллер играл роль агента своего более удачливого американского коллеги Мэтью Кэри из Филадельфии. Он должен был раздобывать листы, а еще лучше гранки любой английской книги, сулящей успех, и пересылать их Кэри почтовым пароходом (плавание занимало около месяца) до того, как переплетенные тома появлялись в лондонских магазинах и уж, конечно, задолго до того, как они попадали в Америку. Кэри, естественно, платил Миллеру за эти услуги, но отнюдь не английскому автору или издателю. «Мы благополучнейшим образом получили «Квентина Дорварда» и теперь располагаем полным его текстом», — писал он Миллеру 17 июня 1823 года. Он выигрывал в этой гонке, если первым поставлял достаточное количество экземпляров в местные магазины и отцу Уимсу, который в своем живописном фургоне развозил повсюду книжки, умело находя путь к сердцам своих клиентов.

Когда поступали листы будущей книги, их делили между тремя-четырьмя наборщиками, и те работали посменно день и ночь, так что иногда переиздание появлялось буквально через двадцать четыре часа. Даже преимущество в день-два обеспечивало финансовый успех. Показательно, что примерно в 1815 году, когда практика такого рода достигла пика, почти не существовало популярных книг, написанных американскими авторами. Одна группа писателей отказалась от борьбы и обратилась к переменчивому журнальному рынку, предлагая туда свои сочинения — своего рода литературный побочный продукт их основных занятий, обеспечивающих надежный заработок, а другая — пока еще не преодолела все умножавшихся препятствий к успеху. Показательно также, что почти все выдающиеся американские издатели раннего периода: семейство Уили, Эпплтон, братья Харпер, семейство Кэри и другие, менее заметные фигуры, — яростно сопротивлялись введению любых законов о международном авторском праве.

Проблема оставалась нерешенной примерно до 1825 года, когда Ирвинг и Купер разобрались наконец в сути дела. Они первыми поняли, что Ной Уэбстер переусердствовал в своем патриотическом рвении: Закон об авторском праве 1790 года охранял только произведения американских авторов, тогда как в Англии охраны авторского права можно было добиться в рамках общего законодательства или по джентльменскому соглашению на основе первой публикации и независимо от национальности автора. На протяжении целого литературного поколения это различие в правовом положении писателя оставалось незамеченным, и по обе стороны океана процветало литературно-издательское пиратство. Страдали и английские, и американские авторы, однако британский престиж делал положение американца безнадежным. «Какой издатель захочет платить отечественному автору за мысли, которые он может ввезти даром?» — риторически вопрошал Купер в письме Кэри.

Как ни велика эта жертва, на которую вынуждены были идти отечественные таланты, она по необходимости готовила почву будущим писателям. Недостаточная охрана авторского права была несправедливостью, однако это позволило формировать и просвещать читающую публику в духе великой европейской литературной традиции и убедило американских авторов в том, что они не смогут соперничать с этой традицией сочинениями подражательными. Результаты такого положения не ощущались еще целое поколение: лишь тогда в Америке научились осваивать дух, а не форму старых культур, и отечественные писатели стали осознавать ценности американского опыта, а не только его факты.

4

Книжный рынок в этот переходный период практически не существовал для американского автора, но и возможности приложить свои творческие силы в журналистике или театре были ненамного шире. Четыре главных журнала в послереволюционный период XVIII века: «Коламбиэн», «Эмерикэн мьюзиэм», издаваемый Кэри, «Массачусетс мэгэзин» и «Нью-Йорк мэгэзин» — все увлекались поделками, создаваемыми с помощью ножниц и клея, хотя иногда и печатали оригинальные эссе, стихи и рассказы, тщательно скрывая имя авторов. «Порт фолио», который редактировал Денни, занимал центральное место среди американских литературных журналов первой четверти XIX века и просуществовал дольше любого другого издания того времени. В этом журнале печатались Джон Квинси Адамс и Ричард Раш, когда они от дипломатии перешли к поэзии и эссеистике, и такие авторы, как Чарльз Брокден Браун и сам Денни, которые видели смысл своей деятельности в сочинительстве. Задолго до появления «Книги эскизов» честолюбивые молодые люди, члены группы «Никербокеры» — Ирвинг, Полдинг и их друзья, —

печатали свои юмористические, в духе Аддисона очерки из серии «Салмаганди» не в журналах и не в виде книги, а отдельными выпусками — так же, как во время Революции публиковали политические трактаты Дикинсон и Пейн, а Хэллек и Дрейк в 1819 году свою стихотворную сатиру «Записки ворчуна». Скучные возможности, предоставляемые газетами и журналами, быть может, повлияли в силу иронического парадокса на развитие американского трактата, эссе, короткого рассказа, лирического стихотворения как раз тогда, когда публика предпочитала романы.

Театр тоже плохо способствовал появлению отечественных, талантов. Вероятно, в той или иной форме пьесы игрались — пусть примитивно или тайно — на протяжении всего колониального периода. Вопрос о том, что делать с театром, был среди первых на повестке дня у наших предков. Еще в 1610 году власти Виргинии почли за благо воспретить приезд актеров из Англии, потому что театр ассоциировался со злом. В 1665 году трем молодым людям из Виргинии было предъявлено обвинение в том, что они «играли пьесу „Сирые и Нищие“». Враждебность Новой Англии к театру вошла в поговорку, и тем не менее в 1712 году Сэмюел Сьюолл был встревожен «намерением некоторых поставить в зале Совета Пьесу в следующий Понедельник». В Чарльстоне, штат Южная Каролина, в 1735 году, то есть задолго до того, как был основан местный театр, для привлеченный использовался зал суда. Между тем в Нью-Йорке примерно в 1700 году, когда Ричард Хантер получил лицензию на театральные представления, появился вкус к профессиональным постановкам. В 1732 году в Нью-Йорке уже существовал своего рода «дом для спектаклей». Время от времени во многих главных городах атлантического побережья: в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Аннаполисе, Уильямсбурге, Чарльстоне — появлялись бродячие труппы. Иногда небольшие группы профессиональных актеров, преимущественно англичане, выступали сообща с местными любителями. Из-за отсутствия подходящих помещений представления давались в кофейнях, магазинах, амбарах. Бывало, что актеры снимали или сами возводили где-нибудь на окраине городка временную постройку, чтобы не вызывать гнев местных властей.

Более или менее связная история американского театра начинается примерно в середине XVIII века. В 1749 году «Компания комедиантов» поставила в Филадельфии трагедию «Катон». Первая заметная шекспировская постановка в Нью-Йорке состоялась 5 марта следующего года, когда с соизволения Его превосходительства губернатора колонии «Комедианты» показали «Ричарда III», «первоначально сочиненного Шекспиром и переделанного Колли Киббером, эсквайром». Другим заметным событием была постановка «Венецианского купца» в Уильямсбурге, штат Виргиния, показанного 15 сентября 1752 года «Американской компанией». Спектакль был вехой еще и потому, что

это была первая постановка, которую осуществила в Америке и в которой сыграла семья Хэллемов. Среди них был и Льюис Хэллем-младший, который впоследствии будет господствовать «на сцене Нового Света» «почти четверть столетия». Именно это первое представление ярко, хотя и не вполне достоверно, описал в своем романе «Виргинские комедианты» (1854) Джон Истен Кук. Примерно с этого времени и начинается быстрое расширение профессиональной, любительской и «неофициальной» театральной деятельности. Когда власти смотрели на представления косо, пьесы в объявлениях фигурировали как «чтения» или «лекции». Домашние спектакли, которые трудно было запретить, только возбуждали аппетит любителей театра. В некоторых колледжах студенты тоже устраивали представления, несмотря на неодобрение администрации. Один преподаватель Йельского колледжа раздраженно жаловался президенту колледжа в 1777 году: студенты «забросили более основательные занятия и увлекаются Пьесами и Драматическими сценами преимущественно комического характера, так что превратили Колледж... в Друри-Лейн».

Профессиональный театр медленно набирал силу и завоевывал авторитет. Строительство более или менее постоянных театральных помещений стало выгодным предприятием. Первое из них — Саутуорк тизтр на Саут-стрит в Филадельфии — было возведено в 1766 году. Это строение из дерева и кирпича, выкрашенное в «ярко-красный цвет», прослужило театром на протяжении пятидесяти пяти лет, а затем было превращено в винокуренный завод, что не преминули отметить противники театрального искусства. Джон-стрит тизтр, открывшийся в 1767 году в Нью-Йорке, был такого же типа. В Аннаполисе театр был построен в 1771 году, а чарльстонский новый «Изящный» театр, превышавший размерами Саутуорк и Джон-стрит тизтр, открылся 22 сентября 1773 года.

По мере строительства театральных помещений театральное дело приобретало черты общественного института. Представления обычно давали в понедельник, среду и пятницу, причем репертуар менялся каждый раз. Спектакли начинались, как правило, в шесть или семь вечера и состояли из собственно пьесы и дивертисмента — фарса, балета или небольшой комической оперы. Публика была, разумеется, смешанная, но отбросы общества не допускались. На развлечениях такого рода бывали даже дамы из лучших южных семей, как с удивлением отмечал бостонец Джосая Квинси после посещения Чарльстона в 1773 году. Против театра высказывались все реже и не так громко, по мере того как росло социальное положение его патронов. Кто посмеет сказать, что театр — это непотребное и незаконное место, если сам генерал Вашингтон присутствовал на драматических представлениях, а по имеющимся источникам, таких случаев было множество? Бойкие управляющие не упускали возможности

разрекламировать прибытие Вашингтона, которого иногда сопровождала свита, включающая пышно разодетых дам. В такие дни успех был полный. И все же самое большее, что можно сказать об американском театре этого периода, — это то, что он являл собой недурное подражание театру английскому. Вряд ли можно винить американских писателей за то, в чем даже Байрон и Китс потерпели неудачу. Театр дал также незаурядного актера Джона Говарда Пейна, чья слава зиждится на его исполнении роли молодого Норвала в «Дугласе», англичанина Джона Хоума, и на бессмертной песенке «Мой дом, мой дом родной» из его собственной пьесы «Клари, или Девушка из Милана», однако ни он, ни его друг Вашингтон Ирвинг при всем старании не стали настоящими драматургами.

5

В целях общения и защиты своих интересов писатели того периода объединялись в общества взаимного поощрения. Самой знаменитой из таких групп были «Хартфордские мудрецы», куда первоначально входили четыре литератора разных политических взглядов: Джоэл Барло, Джон Трамбулл, Лемюел Хопкинс и Дэвид Хамфриз, но в которую затем вошли Тимоти Дуайт, Илайю Хаббард Смит и многие другие. Их объединял восторженный патриотизм, религиозный консерватизм или просто склонность к стихотворству. Когда в 1793 году доктор Смит переехал в Нью-Йорк, он стал главной фигурой «Дружеского клуба», куда входили Уильям Данлэп, Чарльз Броклен Браун, доктор Митчелл и Ной Уэбстер. Общество литераторов в Филадельфии, группировавшееся вокруг журнала «Порт фолио» Денни и получившее название «Вторники», и «Никербокеры» Питера Ирвинга, тяготевшие к его «Морнинг кроникл» в Нью-Йорке, не были ни обеденными, ни литературными клубами в строгом смысле слова. Они играли ту же роль, что и позднее возглавлявшийся Купером клуб «Хлеб с сыром», члены которого собирались в «берлоге» позади книжной лавки Чарльза Уили в городской гостинице и который существует и сейчас под названием «Сенчури эссошиейшн» и помещается во внушительном особняке неподалеку от нынешней Пятой авеню.

Такая обстановка во многом объясняет ложную литературную зарю девяностых годов и наступившее затем «мрачное средневековье». Творческая энергия наших лучших умов была направлена на политику и практические дела, мы долго после получения независимости интеллектуально зависели от Англии и не имели достаточных средств для создания собственной литературы. Борьба По, Купера, Ирвинга, Хэллека, Брайента увенчалась скромным успехом лишь значительное время спустя, после 1825 года. Первые полвека нашей государственности были потрачены на подготовку будущих писателей и читателей

11. ВОЙНА ПАМФЛЕТОВ

1

Если изысканным, специфически «литературным» формам надо было дожидаться лучших времен, то памфлет как нельзя лучше подходил к революционной эпохе. Писатель 1776 года мог бы сказать о своей книге словами Джорджа Гаскойна, охарактеризовавшего в 1576 году «Новый путь в Катайю» следующим образом: «Это всего лишь памфлет — не более того: его легко стерпеть, потому что недостатков (если они есть) тут явно меньше, чем в увесистом фолианте».

Памфлет царил в Америке триста лет. За это время ремесло памфлетиста стало особым родом литературной деятельности со своей техникой и формами, а сам памфлет — основным оружием в пропаганде и споре. Поощрение колониальной политики в XVI веке, распространение несогласных с церковными догмами религиозных сект, политические революции XVII века, потрясение основ империи, народные войны XVII века и, наконец, Американская и Французская революции — всем этим событиям прекрасно соответствовала емкая, воинствующая и популярная форма памфлета.

Литературные разногласия времен Американской революции запечатлены в брошюрах небольшого формата, с дешевой, но хорошо выполненной печатью, доступных по цене. Их можно было быстро прочитать и, что еще важнее, быстро написать. С 1763 по 1783 год двести американских типографий выпустили около девяти тысяч печатных изданий — книг, газет и плакатов; из них по меньшей мере две тысячи были политическими памфлетами. Именно они, эти две тысячи брошюр с претенциозными и устрашающими названиями, являлись основным ядром литературы Американской революции; их назначение — попасть как можно скорее в руки читателя и склонить его на сторону того или иного лагеря — делало памфлеты необычайно злободневными; лишь изредка касались они «вечных», близких человеку любой страны и эпохи тем.

В этом огромном потоке однодневок почти отсутствовала оригинальность. Автор и его книга сливались со множеством других авторов и книг и, взятые вместе, они давали представление о мыслях и чувствах двух миллионов американцев в очень

бурный, сложный и пугающе величественный период их истории. Даже такие выдающиеся памфлеты, как «Письма фермера» Дикинсона или «Здравый смысл» Пейна, нельзя рассматривать обособленно: они занимают свое, строго определенное место в процессе борьбы и в развитии мысли. Влияние памфлета не прекращалось с его публикацией. Часто изданию предшествовали публичные чтения; так «Права британских колоний» Отиса были вначале представлены на суд Массачусетской Ассамблеи, а трактат губернатора Стивена Хопкинса о происхождении и природе законов зачитан перед законодательными органами Род Айленда. Иногда публичные чтения проходили после выхода в свет памфлета — то в лагере ополченцев, в соседстве с боевым барабаном, то на собрании «Сыновей свободы»*. Некоторые лоялистские трактаты после прослушивания тотчас подвергались сожжению. Нередко книги печатались по частям в газетах — либо до издания, либо после. Более того, сама природа жанра вызывала к жизни все новые и новые памфлеты — как возражения, опровержения, словом, всевозможные отклики на предыдущие произведения. Пять брошюр Сэмюэла Сибири из цикла «Уэстчестерский фермер» можно понять, лишь рассматривая их в связи с талантливыми памфлетами-опровержениями, написанными молодым Александром Гамильтоном. Одна книга еще не определяла литературную и политическую судьбу автора. Чтобы добиться преимущественного положения среди остальных писателей, нужно было написать несколько памфлетов и предложить в них убедительную систему доказательств и последовательную программу действий.

Это удавалось не всем. Но такие памфлетисты, как Отис, Дикинсон, Пейн, Франклин, Джефферсон, Гамильтон, Сибири, Гэллоуэй, писали так ярко и так часто, что любое, самое незначительное их выступление в печати становилось литературным событием. Каждому из них было что сказать; каждый либо интуитивно, либо благодаря основательным познаниям видел за разрозненными эпизодами политической борьбы универсальные закономерности и давал американцам ощущение истинности и исторической необходимости их действий.

Памфлетисты Революции отточили свое мастерство в местной политической борьбе колоний до 1765 года. Американский политический памфлет сложился еще до выработки единой национальной точки зрения. Дело Парсона в Виргинии вызвало к жизни памфлеты Патрика Генри; Дэниел Дюлзни сражался с налоговой системой в Мэриленде; продолжительная борьба с господством клана Пеннов в Пенсильвании послужила поводом к появлению памфлетов знаменитого Франклина и менее знаменитых Джозефа Гэллоуэя и Джона Дикинсона; в Бостоне Джеймс Отис, Джосая Квинси и семья Адамсов стали лидерами радикальной фракции в политической борьбе штата Массачусетс. В маленьких боевых книжках этих писателей присут-

ствовала полемичность тона, знакомая американцам еще со времен религиозных споров «Великого пробуждения», однако до 1765 года кругозор авторов был провинциально ограниченным. У них отсутствовало представление об общей для всех американцев цели. После же 1765 года местные разногласия потонули в борьбе с метрополией. Когда английское правительство приступило к разработке проектов по реорганизации империи, американские писатели оставили провинциальные дразги и включились в общую политическую борьбу. Закон о гербовом сборе *, а также ряд парламентских законов не только вызвали объединение нескольких колоний в одну большую провинцию; они заставили американских памфлетистов подняться над местными проблемами и стать философами. Философы-памфлетисты способствовали постепенному переходу американцев с фундаменталистских позиций колониального политического мышления к светскому мировоззрению революционной эпохи.

2

Литературная деятельность Джеймса Отиса охватывала ранние этапы движения (1761—1769). Уроженец Массачусетса и воспитанник Гарварда, тридцатипятилетний Отис был в 1761 году удачливым адвокатом. Его сестра, Мерси Отис Уоррен — драматург, поэтесса и историк — написала «Историю зарождения, развития и завершения Американской революции» (1805), способствующую росту патриотических чувств поколения. Сам Отис опубликовал учебник по латинской просодии и подготовил следующий — по греческой; он, однако, не отличался академическими склонностями. По природе он был борцом и не чурался земных удовольствий. Красноречивое выступление в зале суда против новых парламентских акций сделало его ведущим оратором местных радикалов; уже будучи лидером фракции, он написал пять памфлетов, принесших ему литературную славу. Это были полемические сочинения, несдержанные по тону, смелые, подчас неотшлифованные, но вместе с тем ярко и сжато (хоть и не всегда логично) излагающие суть американской конституционной теории. Первый из них — «Защита деятельности палаты представителей в провинции Массачусетс» (1762), — написанный в гневном тоне по поводу мелочной игры в местной политике, выдвигает связь налогообложения с обязательным представительством как основной принцип конституционного правительства. Второй — «Удостоверение и доказанные права английских колоний» (1764) — ознаменовал переход Отиса к имперским проблемам. Этот памфлет, сочиненный «в промежутках между приемами ходатайств от множества клиентов», после того как «один парламентский закон заставил людей за шесть месяцев передумать больше, чем за всю предшествующую

жизнь», был заветом, содержащим основы политического кредо. Высшая власть, утверждал Отис, «изначально и окончательно принадлежит народу». Народ может вручить ее тем, кого сочтет достойным, но только на время, как один человек передает другому на хранение свою собственность. Такое правительство выступает в роли доверенного. «Главное назначение правительства, действующего для блага народа, — забота о безопасности граждан, их права владеть собственностью, свободой, наслаждаться покоем, счастьем». Этот умеренный по духу памфлет был задуман как оправдание оппозиции парламенту. Отис надеялся убедить американцев «вести себя достойно и испробовать законные пути для улучшения положения». Однако уже на следующий год в язвительном и резком ответе английскому писателю Соаму Дженинсу — памфлете «Размышления об участии колонистов» (1765), — подчеркивая зависимость колоний от Великобритании, он тем не менее предупреждал: «Революции свершались в прошлом. Они могут повториться». Яростный накал продолжает нарастать в его последующих произведениях, временами переходя в «форменную истерику», и даже изменение ситуации не вносит что-либо новое в позицию Отиса. С 1769 года он замолкает и живет в неустроенном, омрачившемся мире; умер он в 1783 году, пораженный молнией. И все же его деятельность принесла в конечном счете пользу: его мужественные памфлеты были образцом литературной борьбы, а также, говоря словами Мозеса Койта Тайлера, «умеренного, легального сопротивления и выдвинули законный повод для борьбы с существующим законодательством и революционного изменения государственного аппарата».

Своей популярностью Джеймс Отис в большой степени обязан нескончаемым панегирикам Джона Адамса, в пересказе которого сохранилась речь Отиса «О наложении ареста на товары». Адамс всю жизнь осыпал похвалами своего предшественника, хотя написанные им самим четыре эссе по поводу Закона о гербовом сборе значительно превосходят все созданное Отисом. В них Адамс определяет новые действия парламента как эпизод из непрекращающейся, свойственной западной цивилизации борьбы между авторитарной властью и правами личности. Эти эссе, первоначально появившиеся в газетах, впоследствии были объединены в памфлет под общим названием «Исследование канонического и феодального права» (1768) — первое из выдающихся произведений Адамса, которые было бы точнее причислять к философским, а не политическим сочинениям. Ему же обязан своей известностью и преподобный Джонатан Мейхью, которого Адамс именовал не иначе как «непревзойденным гением». Автор дюжины опубликованных глубокомысленных проповедей, Мейхью вносил дух просвещения в «новоанглийские ереси», сочетая в себе функции религиозного лидера и политического вольнодумца. В сорок шесть лет, незадолго до смерти, он

издал проповедь «Распавшееся единство» (1766) — отклик на отмену Закона о гербовом сборе, где оправдывал гражданское неповиновение властям вплоть до восстания. «Важнейший и первостепенный закон природы» — самосохранение, утверждал он, а право регулировать степень политической активности (и духовной также) теперь, как и всегда, личная, а не общественная привилегия.

За период разногласий вокруг Закона о гербовом сборе появилось устрашающее множество брошюр, написанных молодыми людьми. Одной из них — более опытного автора — зачитывались жители всех провинций. Этот яркий убедительный трактат, направленный против намерения парламента осуществлять судебную власть в колониях и озаглавленный «Соображения о справедливости налогообложения в британских колониях» (1765), был написан Дэниелом Дюлэни, выдающимся политическим деятелем Мэриленда; обаятельность его в сочетании с фундаментальной образованностью принесли ему в окрестностях славу великого адвоката (новейшая в Америке профессия). Трактат много раз переиздавался и в течение долгого времени оказывал влияние на конституционные идеи американцев. Слова: «Никакого налогообложения без представительства» — бывшие лозунгом Отиса — стали для Дюлэни основой политики свободного правительства.

3

Полемика вокруг Закона о гербовом сборе выдвинула среди авторов брошюр Джона Дикинсона, ставшего непревзойденным мастером жанра. В 1765 году Дикинсону было 33 года; так же как Дюлэни и многие другие политические деятели центральных колоний, он был выходцем из среды богатого фермерства залива Чезапик. Он прослушал три курса в Мидл Темпл * и впоследствии приобрел репутацию блестящего юриста, а также процветающего торговца и земельного собственника. Вдумчивый, хрупкий, застенчивый и скромный, он принадлежал к самому изысканному обществу Филадельфии; в его сочинениях всегда присутствовали юмор и спокойная уверенность тона. «Дело свободы слишком достойно, чтобы терпеть суету и крики около себя, — заметил он. — Тот, кто предался ему, должен обладать спокойным и пламенным духом, позволяющим совершать поступки благородные, справедливые, скромные, храбрые, гуманные и великодушные». Литературная деятельность Дикинсона, продолжавшаяся более сорока лет, охватывала множество тем. Широта философских взглядов и гибкость ума позволили ему пережить последовательно революционные и контрреволюционные кризисы, распри по национальным проблемам и проблемам демократии. Дикинсону были чужды крайности. Он во всем был умерен. Он был вдумчивым судейским, ловким

политиком, способным руководителем и медленно, но неуклонно двигался к намеченной цели. Богатая эрудиция, тонкое знание политики, блестящий стиль, аналитические способности, твердые моральные принципы — эти качества Дикинсона-писателя принесли его книгам быстрое признание и неколебимый престиж. Тайлер назвал появление «Писем фермера» «самым замечательным литературным событием Революции».

Ранние памфлеты Дикинсона на темы пенсильванской политики — восемь за пять месяцев — не только продемонстрировали литературное мастерство, с которым он вел пропаганду, но и доказали недолговечность произведений на узкую тему. Перейдя же к более крупным проблемам — взаимоотношениям колоний с метрополией, — Дикинсон отдался исследованию вечной темы: сосуществованию свободы и порядка. Яркие статьи и памфлеты по поводу Закона о гербовом сборе заставили говорить о Дикинсоне как о главе сопротивления, так как он писал для значительно большей аудитории, нежели Отис. Дикинсон охарактеризовал различные классы общества, их взаимоотношения, анализируя экономическое положение каждого и индивидуальное значение свободы для каждого из них. Он предупреждал, что колонисты инстинктивно сохраняют верноподданничество, но гнет метрополии будет постоянно подтачивать его. «Мы никогда не добьемся независимости, если нам не поможет сама *Великобритания*, — заявил он, а она может помочь нам, только заставив нас быть экономными, изобретательными, едиными и недовольными».

Когда были приняты «Законы Таунсенда»*, Дикинсон написал свои «Письма пенсильванского фермера» (1767—1768), которые опубликовала двадцать одна из двадцати пяти американских газет. Они также вышли восемью изданиями. Ричард Генри Ли напечатал книгу в Уильямсбурге; Отис — в Бостоне; будучи в Англии, Франклин написал предисловие к одному из двух изданий; во Франции известный либерал перевел, отредактировал и дважды издал памфлет. Дикинсон совершил триумфальное турне по Англии, был награжден почетной степенью Принстонского университета, его чествовали в тюремной камере Джона Уилкса; на всю жизнь он так и остался для современников «пенсильванским фермером». Дикинсон предложил американский вариант английской конституции с учетом принципов свободы. «Какой народ можно назвать свободным? — вопрошал он. — Не тот, правительство которого руководит им разумно и справедливо, а тот, чье правительство в соответствии с конституцией проверяется и контролируется народом так, что управлять иначе просто не может». Он развивал теорию имперской федерации, в которой колонии и метрополии будут уравнены в правах. В подобной империи американцы смогли бы «быть в основе своей свободными людьми, сохраняя одновременно верноподданнические чувства».

Возглавляя с 1774 по 1776 г. правую партию в Континентальном Конгрессе, Дикинсон написал большое число государственных документов. В качестве губернатора двух штатов — Делавера и Пенсильвании (1781—1785) — Дикинсон составлял декларации и резолюции о природе политической власти, о борьбе с пороком и распущенностью, о социальном неравенстве и свободном правительстве, выражающем дух американской нации. Он участвовал в Континентальном Конгрессе, написал «Письма Фабия» (1788), настаивая в них на ратификации, а в 1797 году, когда американские политики изменили свое отношение к революционным войнам Франции, создал наиболее глубокий и красноречивый памфлет — следующую серию «Писем Фабия» (1797), в котором поддерживал французов, одновременно призывая своих соотечественников:

«Давайте отстаивать и сохранять нашу *истинную сущность, искренность*, мысли и прямоту действий; давайте убедим мир в том, что никто, даже воспользовавшись на время нашей *наивной доверчивостью*, не сможет свернуть нацию с прямого пути — честности, простосердечия и великодушия».

Продолжительность творческого пути и высокие литературные достоинства его трудов сделали Дикинсона одним из самых замечательных и удачливых памфлетистов поколения; он был и самым благонамеренным из своих единомышленников. В «хаотическом сплетении политики и нравов, когда сила и слабость, безопасность и поражение, добродетель и порок, причудливо связанные, должны были действовать в этом противоестественном, союзе», он стремился к порядку и законности, к интеллектуальной цельности. «Я играю маленькую и незначительную роль в человеческой драме, — ответил он своим критикам. — Поэтому меня мало трогает, хвалите вы меня или порицаете».

4

1774 год поделил революционную литературу на группировки. Первый Конгресс придал различным точкам зрения собственно американское выражение. Количество памфлетов возросло. Резолюции Конгресса, однако, не подчеркивая пункты, по которым американские писатели достигли полного единодушия, отмечали разногласия между ними. Возникли три партии: умеренных, подобно Дикинсону; правых экстремистов-лоялистов и независимая левая партия. Среди лоялистов были самые талантливые писатели. Они верили в свое дело и по своей ориентации были не меньшими американцами, чем умеренные и независимые, выражая — с другими акцентами — интеллектуальные и эмоциональные тенденции, характерные для революционеров. Существовала лоялистская философия, мало отличающаяся от прочих консервативных философских течений времен социальных потрясений. Джонатан Бучер, священник из Виргинии, в

своих смелых проповедях развивал принципы «естественной аристократии» и «правительства, предопределенного божественной волей». Роберт Прауд, педантичный знаток классической древности и школьный учитель, доказывал с почти средневековым пафосом, что люди рождаются для повиновения. Но не все тори смотрели назад. Находились и реалистически мыслящие люди, предлагавшие программу реформ; подобную программу мы встречаем в таких одухотворенных произведениях, как «Дружеское послание всем здравомыслящим американцам» (1774), написанное ректором Королевского Колледжа Майлсом Купером, и в пяти замечательных памфлетах Сэмюэла Сибири «Уэстчестерский фермер» (1774—1775). Самым оригинальным лоялистским писателем был Джозеф Гэллоуэй из Пенсильвании, чей план создания союза между Англией и колониями рассматривался на первом Континентальном Конгрессе, был отклонен и впоследствии обнародован в ряде памфлетов; после отъезда Гэллоуэя в Англию он издавался трижды — последний раз в 1788 году. Гэллоуэй был способен на большее, чем уйма «тоненьких книжек». Величественный проект создания Федеральной империи, задуманный им, принадлежит к значительнейшим интеллектуальным достижениям американской мысли того времени.

Между тем после 1774 года экстремисты из левой партии постепенно упрочивали свое влияние, а с началом военных действий в апреле 1775 года трактаты «независимых» читало уже большинство населения. Война породила более яркие литературные формы: в ней окрепли поэтические таланты Филипа Френо, Френсиса Хопкинсона и Джона Трамбулла. Эти сатирики вместе с лидерами радикалов, вроде Джона и Сэмюэла Адамсов, постоянно призывали к независимости, но в конце 1775 года Америка еще пребывала в нерешительности. И тогда в январе 1776 года в Филадельфии появилась небольшая книжка доселе неизвестного автора, приобретшего с ее выходом мировую славу как лучшего революционного памфлетиста. Этим памфлетом был «Здравый смысл», а его автором Томас Пейн, в прошлом английский ремесленник.

У Пейна не было родины, а у его учения — возраста. Из всех писателей Революции он был наименее «американским» — по среде, духу и целям. Он не принимал участия в пятнадцатилетней дискуссии о конституции, которая умиротворяла умы колонистов, способствовала зарождению таких выдающихся программ, как «простейший федерализм» Гэллоуэя и сложная система конституционных ограничений Дикинсона. Все эти годы Пейн находился в Англии. Его интересовала не Америка, а революция. Он отличался по всем статьям от своих знаменитых американских предшественников: его образование было поверхностным, общественное положение — невидным, систематическое знание философии и умение аргументировать практически сводились к нулю. Однако то, что Пейн не принимал участия в

былых метафизических спорах о конституции, способствовало независимости его взглядов. Он чувствовал, ощущал и реагировал. И не усложнял свои чувства интеллектуальными изысканиями. Яркий радикал, Пейн был прототипом самой Революции. Его стиль был тороплив, страстен и откровенно прост; его сочинения указывали четкую программу действий для ремесленников, механиков и фермеров. Направив сопротивление в русло борьбы, Пейн дал американскому народу новую философию. Когда-то корсетный мастер из Тетфорда в Норфолке, перепробовавший профессии матроса, учителя, табачника; беспечный акцизный чиновник, бакалейщик, судейский служащий, Пейн до своего приезда в Америку, в возрасте тридцати семи лет, вел удивительно неорганизованную и безалаберную жизнь. Наделенный живым любознательным умом, но не привыкший к систематическому труду, он знал понемногу обо всем. Он начал работать в филадельфийской газете как раз в тот момент, когда накопленные нацией за период сопротивления силы сконцентрировались в Конгрессе и Пенсильвания вступала в фазу своего пролетарского развития. Ему были одинаково близки интересы низших сословий и гуманистическое рвение таких выдающихся просветителей, как Бенджамин Франклин и доктор Бенджамин Раш — его покровителей. Газетные статьи Пейна об отмене рабства, о женском равноправии, о дуэлянтах, титулах, независимости для Индии резко выделялись как будущий материал для революционных трактатов, среди памфлетов, написанных по следам провинциальных политических смут и злоупотреблений в судопроизводстве, выходявших из-под пера Генри, Отиса, Дикинсона, Дюлэни и Гэллоуэя. Битва при Лексингтоне открыла Пейну глаза на величие революции: она сделала то, что оказалось не под силу конституционным спорам и резолюциям Конгресса. Полагая, что недолгое пребывание «в стране, где все ведут свое происхождение от авантюристов», не помешает ему высказать свои резкие суждения, он вознамерился повернуть американцев в сторону борьбы за независимость. Пейн доказывал, что спорный вопрос о тонкостях конституционной законности перерос в проблему, требующую разрешения «в соответствии с потребностью человека в истине, честности и справедливости», в соответствии с его (название памфлета предложил д-р Раш) «здравым смыслом».

Памфлет потряс Америку. За несколько месяцев в стране было напечатано более ста тысяч экземпляров; в Англии он переиздавался четырежды. В конечном счете в обращении было около пятисот тысяч брошюр. Памфлет никого не оставлял равнодушным. Вашингтон считал, что памфлет «произвел переворот в сознании многих». По мнению одного из жителей Северной Каролины, он обратил большинство американцев в сторонников независимости. Вряд ли когда-нибудь книга завоевывала столь скорое и единодушное признание. Пейн отмел все политические

теории относительно лояльности короне и федерации; он открыто издевался над верноподданническими чувствами по отношению к Георгу III. Напротив, он говорил о неизбежности отделения от метрополии: целый континент не мог подчиняться острову. «Период споров окончен, — писал он. — Все разрешится в последней инстанции — в бою». Он яростно нападал на «коронованного мерзавца» и высмеивал монархический образ правления. «Для Бога и общества один честный человек нужнее, чем все коронованные разбойники, когда-либо жившие на земле». Он рисовал картину, как три миллиона американцев, когда приходит английский корабль, спешат на побережье, чтобы выяснить, «какую порцию свободы им отпустят в этот раз». Он утверждал, что колонии вступили в ту стадию развития, когда подобное школьничество и смешно, и опасно. И наконец, он призывал Америку построить самое свободное в мире общество: «Вы, любящие человечество!.. Насилие попирает своей пятой каждый клочок земли старого мира. По всему миру преследуют свободу. Азия и Африка давно изгнали ее из своих краев. В Европе она странница — Англия выживает ее. О, примите изгнанницу и приготовьте заблаговременно убежище для человечества».

Подобно Джефферсону и Руссо, Пейн был мастером возвышенного стиля. В этом и заключалась сила его призыва. Его аргументация была предельно проста, изложение сути обсуждения — элементарно. Его статьи вряд ли соответствовали нормам хорошего вкуса: он не брезговал называть психически больного Георга III «Ваше сумасшедвеличество» и с тяжеловесной страстностью вмешивался в политические тонкости. Но простота и лихорадочная пылкость его произведений привлекали многих читателей, которых оставляла равнодушными трезвомыслящая аргументация прочих писателей. «Моя родина — весь мир. Творить добро — моя религия», — восклицал он и убежденностью вдохновенного агитатора обращал в свою веру.

Два постоянных, неколебимых принципа составляли основу его кредо: вера в возможность «разумного правления» и убежденность во всеобщем братстве людей. Эти идеи не были оригинальными и трактовались некоторыми более выдающимися предшественниками Пейна значительно глубже. Однако ему удалось изложить их на языке народа; его книги были и являются азбукой либерализма.

«Здравый смысл» сделал Пейна трибуном «независимых». «Американский кризис» (тринадцать статей, написанных для «Пенсильвания джорнэл» в течение последующих семи лет с разными интервалами) сделал его оракулом революции. Знаменитое начало первой статьи Пейна, напечатанной в «Кризисе», стало ее боевым кличем:

«Бывают времена, которые являются испытанием для человеческой души. «Воины на час» и патриоты на словах отвернутся от своей родины в минуту испытаний; тот же, кто выстоит

теперь, заслужит любовь и признательность всех мужчин и женщин страны. Тиранию, подобно аду, нелегко сокрушить, и все же мы утешаемся надеждой, что чем труднее победа, тем ярче слава». Он нападал на недалёковидность тех, кто желал мира, потому что в этом случае войну пришлось бы вести их детям, и хвалил силу духа тех патриотов, которые выстояли среди поражений первого года войны:

«Мне нравятся люди, которые с улыбкой переносят трудности, которых закаляют неудачи, а размышления делают мужественнее. Лишь слабые духом легко сдаются; тот же, чье сердце твердо и находится в согласии с совестью, пойдет ради убеждений на смерть».

В более поздних статьях «Кризиса» говорилось о насущных проблемах военных лет — финансовом хаосе, сопротивлении лоялистов, военном шпионаже, национальном единстве, справедливом мире и создании правительства, отвечающего интересам народа. Пейна затягивали частности политической жизни: множество мелких обязанностей и работа над статьями, помимо «Кризиса», способствовали этому. Он не порывал со своими основными «философскими» установками, но в этих статьях не сумел подняться до той оригинальности, живости изложения, того обобщающего определения национальной задачи, которые в «Здравом смысле» заставили «тринадцать часов пробить одновременно».

Однако его философия свободы продолжала оставаться столь же четкой. «Собственная позиция представляется мне прямой и ясной, как солнечный луч», — писал он; видя, какой долгий и трудный путь к победе предстоит американскому народу, Пейн выдвинул концепцию революции как освобождения от власти древних кумиров с их обветшавшей символикой, причем для всех простых людей мира, а не только американцев; Революция стала главным верованием его жизни. Однако после заключения мира и особенно правительственных реформ 1787—1789 годов революционные настроения в Америке пошли на убыль. Здесь революция закончилась. Но она начиналась в Европе, куда Пейн — этот самозванный революционный пророк — отправился в 1787 году. Как и Архимед, он считал, что, если ему дадут точку опоры, он сможет перевернуть мир. Эту «опору» ему дала Французская революция. Потерпев неудачу в руководстве революционными действиями, Пейн вложил всю силу своих убеждений и безграничную энергию в литературный труд. «Права человека» стали настольной книгой мировой революции и «евангелием» демократов двух континентов. В «Веке разума», сопоставляя политическую и теологическую доктрины — связь между которыми никогда еще так не поглощала его мысли, — Пейн заговорил о собственном деизме столь резко и неприкрыто, что приобрел множество врагов среди простых людей, бывших прежде его поклонниками и последователями. «Аграрная спра-

ведливость» являлась исследованием проблемы бедности. В состоянии ли современное человечество, порождающее бедность, уничтожить ее путем общественной борьбы? На этот вопрос Пейн отвечал положительно и выдвигал свою систему государственного налогообложения и пенсий. От демократизма семидесятых годов он шел к национализму девяностых.

Французская революция закончилась, так же как в свое время — Американская; Франция вступила в период перестройки и захватнических войн, и Пейн оказался не у дел. В 1802 году он вернулся в Америку, показавшуюся ему чужой, и провел там несколько бедственных лет, больной, нуждающийся и всеми отвергнутый. В 1809 году Пейн умер. Расцветая в годы общественных бурь, он увядал с наступлением мира, умея разбудить чувства, он мог оскорбить осторожность — и все же он был непревзойденным мастером в умении разрушать, казалось бы, незблемые авторитеты; он верил, что самый надежный проводник в политике — разум, а не уважение к власти или «откровения» пророков. Он обогатил политическую лексику патетикой мужества, решимости и веры, не потерявшей свое значение и в последующие годы. Трудно определить, какой нации принадлежит Пейн, но несомненно, что, оставив памятные свидетельства о поворотном периоде американской истории, он занял важное место в складывающейся литературе новой республики.

5

Был только один Отис, один Дикинсон, один Гэллоуэй и один Пейн — и все же век «тоненьких книжек» подарил Америке много других известных литературных имен. Существовал, например, благородный Энтони Бенезет, чей вклад в гуманистическую литературу состоял из пяти полных здравомыслия трактатов — об аболиционизме, работорговле, трезвости, квакерстве и отношениях с индейцами. Или тщеславный самоучка-горец, Итэн Аллен, писавший о политической дискуссии в Вермонте и о своих злоключениях в плену и давший варварское понимание деизма в памфлете «Разум как единственный оракул человечества» (1784). Большая часть экземпляров этого сочинения сгорела во время пожара, другие были сожжены преднамеренно; те же, что остались, вызвали кратковременную вспышку негодования у ортодоксальных церковников, зато впоследствии неоднократно обращали на себя серьезное внимание историков. Еще был Бенджамин Раш, ученый, философ, реформатор, государственный деятель и педагог, чьи выдающиеся сочинения по химии, медицине и психиатрии все же не смогли затмить его эссе и трактаты на социальные и политические темы. И еще многие и многие. Однако в течение нескольких лет после заключения мира (1783) появилось немного памфлетов,

отмеченных выдающимися художественными достоинствами либо единодушным признанием читателей. Политические споры, хотя еще не вполне завершённые, перестали быть главным содержанием политической жизни. Теперь темами «тоненьких книжек» стали религиозные разногласия, социальные реформы, финансовые проблемы, экономические трудности, а духовные потребности нации удовлетворялись более толстыми книгами. Военные журналы и патриотические сочинения во времена Революции питали взращенный войной национализм. Это были сочинения, не вызывавшие споры и выпадавшие из политической и пропагандистской литературы.

Проект новой Конституции 1787 года вызвал, однако, новый поток памфлетов, уступающий по количеству лишь периоду дискуссий о независимости. Споры вокруг проекта длились более двадцати месяцев; основные принципы политической организации были подвергнуты в этих памфлетах столь же основательному и тщательному анализу, как и в революционных сочинениях предыдущего десятилетия; сборник статей «Федералист» настолько прославлен в истории, что остальные интересные в литературном отношении памфлеты, особенно направленные против Конституции, преданы забвению. А ведь способные известные и просвещенные писатели ломали копыя «за» и «против» Конституции на страницах книг, которые были проще и доступнее классического произведения Мэдисона*, Гамильтона и Джея, не рассчитанных на рядового читателя. «Наблюдения... колумбийского патриота» Элбриджа Джерри (1788) называли новый проект заговором «вчерашних политиков и военных». Нью-йоркский лидер противников Конституции Джордж Клинтон в «Письмах Катона» клеймил предложенный проект как программу тирании и коррупции — Александр Гамильтон возражал ему как «Цезарь». Альберт Галлатин, Лютер Мартин, Джеймс Монро, Патрик Генри, Джордж Мейсон и Сэмюел Чейз — все они в своих «тоненьких книжках» и газетных статьях выступали против проекта Конституции, но наиболее действенным антифедералистским выступлением и самым убедительным памфлетом этого времени были «Письма федерального фермера» Ричарда Генри Ли, которые за три месяца выдержали четыре издания и стали настольной книгой партии, оппозиционной к новому типу правительства. Памфлет вызвал яростные споры, в которых наиболее аргументированным оказалось возражение Тимоти Пикеринга. Писал Ли кратко, решительно и со спокойным достоинством. Его аргументы были тщательны и основательны. Он не был ограничен или самодоволен, но, напротив, искренен и конструктивен. «Мы готовим Конституцию, как мы надеемся, на века, для тех миллионов, которые еще не родились», — писал он, предупреждая, что все изъяны предложенного проекта обернутся впоследствии катастрофой. Ли выступал от имени тех, кого он называл «честной и прочной частью

общества», в то время как Генри и Галлатин представляли менее обеспеченные круги. «Письма» сыграли решающую роль в появлении десяти поправок к Конституции (так называемый «Билль о правах»), которые Ли, будучи сенатором от Виргинии, удалось провести в Конгрессе на следующий год (1789). Памфлет заслуживает также внимания как значительное литературное достижение этого упорного, спокойного, несколько аскетического в привычках человека, который в течение всей своей долгой общественной деятельности ни разу не подал повода к упрекам в корыстной заинтересованности или пристрастности. Со времени своего смелого выступления против рабства в Виргинском конвенте в 1759 году Ли был в первых рядах сопротивляющихся. В составлении полных достоинства петиций и государственных бумаг он не уступал Дикинсону. Именно он написал и внес в Конгресс в 1776 году резолюцию о независимости, участвовал в разработке Северо-западного декрета, долгое время был делегатом Конгресса и некоторое время — его президентом. В большей степени, чем остальные виргинские деятели, Ли обладал теми добродетелями, которые вскормленное на классической древности революционное поколение называло «римскими».

По другую сторону баррикады были писатели, не менее одаренные и подчас добивавшиеся большего эффекта. «Письма Фабия» Дикинсона, напечатанные Уилмингтонской газетой, способствовали тому, что Делавер стал первым штатом, утвердившим проект Конституции.

Ной Уэбстер, Джон Джей, Эдмунд Рэндолф, Александр Гамильтон, Джеймс Айрделл, Хью Генри Брэнкенридж, Хью Уильямсон и Тенч Коукс — все они были на стороне Конституции, выступая под разными умопомрачительными псевдонимами. Неисправимый шотландец Джеймс Уилсон, дилетант и безнадежный романтик, затянул конвент в лабиринт философских споров. Он осложнил конституционную полемику изложением собственных принципов в «Обращении к гражданам» (1787), где конституционное правление объявлялось «совершеннейшей формой государственного устройства». Ученик Джона Дикинсона в вопросе законодательства, участвовавший совместно с ним в оппозиции Закону о гербовом сборе и в остальных акциях, автор «Размышлений о природе и особенностях законодательных органов Британского парламента» (1774) и других памфлетов, Уилсон представлял точку зрения филадельфийских учителей, адвокатов и торговцев. Он писал обстоятельно, здраво, иногда несколько напыщенно, но добился большого успеха. Его лекции по вопросам права в Пенсильванском университете положили начало изучению юриспруденции в Америке. Однако его репутация блестящего мыслителя, писателя и умелого государственного деятеля оказалась подмоченной в результате

безудержных спекуляций земельными участками. Возможно, его вклад в американскую литературу и политическую жизнь не был оценен по достоинству именно из-за того, что его жизнь завершилась столь низменными перипетиями.

6

Из всего потока «тоненьких книжек» 1787—1788 годов ни одна не производит на изучающего американскую литературу более сильного впечатления, чем «Федералист», написанный Мэдисоном, Гамильтоном и Джеем. В этой серии статей лучше, чем где-либо, изложены принципы нового государственного устройства: после утверждения Конституции «Федералист» почитался наряду с конституционными законами. Впервые статьи появились в нью-йоркских газетах, а с марта по май 1788 года было выпущено двухтомное издание «Федералиста». Впоследствии он переиздавался во многих городах Америки; в девяностые годы появилось два французских издания; «Федералиста» хвалили в Германии, а в XIX веке его вспомнили и переиздали в период революционных схваток в Южной Америке и Центральной Европе. «Федералист» занимает уникальное место в американской журналистике: он как бы вобрал в себя наиболее оригинальные идеи, которые революционный памфлет внес в дискуссию о государственном строе. Как «Здравый смысл» Пейна знаменовал взлет революционного радикализма, так «Федералист» говорил о наступлении консервативного, конструктивного, консолидирующего курса в политике, определявшего облик послевоенной нации. Колонисты отыскивали идеи о «разделении властей» и ограничении центральной власти в политических концепциях Монтескье, Харрингтона, Сиднея и Локка. Они по-своему сформулировали эти идеи в первых памфлетах об имперском образе правления в год Закона о гербовом сборе. Дюлэни, Уилсон, Дикинсон и особенно Гэллоуэй предлагали федеральное устройство империи, а Гэллоуэй пошел дальше и разработал точную систему взаимодействия административных и законодательных органов в подобной федерации. Делегаты учредительного Конвента — преимущественно молодые люди — были действительно в каком-то смысле «вчерашними политиками», (выражение Джерри), так как за ними стояли мысли и опыт предшествующего двадцатилетия. Статьи «Федералиста», написанные этим причудливым трио, в состав которого входили консервативный юрист из Нью-Йорка, убежденный монархист и националист и педантичный конституционный теоретик, были результатом не дискуссий за закрытыми дверями Зала Независимости жарким летом 1787 года, а всего американского — литературного и жизненного — опыта изучения федеральных форм союза, начиная с ушедших в прошлое дней

Конфедерации Новой Англии. Эта книга была своего рода кодексом американской консервативной мысли. Она говорила не только о конце эпохи, но и о рождении нации.

Конституционные разногласия были последней главой в истории американского памфлета. Сам жанр полностью не исчез: в течение многих лет каждая предвыборная кампания, каждая политическая дискуссия сопровождалась потоком брошюр. Но к 1790 г. американские писатели стали представлять на суд растущей читательской аудитории книги пообъемистей. Памфлет, незаменимое подспорье в кризисной ситуации, в период реконструкции и становления нации отошел в тень. Литературная деятельность Тенча Коукса, нашего первого национального экономиста, перекинула мост между двумя эпохами. Основное место в его творчестве (1787—1820) занимали памфлеты; их объем колебался от тридцати восьми до ста тридцати пяти страниц, хотя его «Взгляд на Соединенные Штаты» (1795) превысил четыреста страниц и пользовался такой популярностью, что в течение года трижды переиздавался. Коуксу и его современникам приходилось быть больше, чем просто памфлетистами, так как мысли и оценки, рожденные памфлетной литературой революции, перестали существовать. Техника популяризации сложных мыслей была доведена до такой степени совершенства, что философ, политический деятель, реформатор могли почти незамедлительно найти отклик у народа. Памфлет заменили, во-первых, газеты и журналы, во-вторых — книга. Век брошюр окончился одновременно с завершением Американской революции.

12. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ-ФИЛОСОФЫ РЕСПУБЛИКИ

1

Не менее актуальными по своему влиянию на современников, хотя значительно более весомыми и прошедшими испытание временем, были разного рода литературные труды тех государственных деятелей-философов, которые теоретически и практически подготовили рождение первой Республики. «Отцы-основатели» были удивительно разносторонними людьми, обладающими редкостной способностью к политическому анализу и умением воплощать свои теории на практике. Этот феномен часто объясняется наследием гуманизма, усвоенным американским Просвещением. Несомненно, люди, определившие облик Республики, столкнулись с проблемой, сформулированной уже гуманистами Возрождения — как отвлеченное теоретизирование о природе человека сочетать с конкретными задачами создания нового политического и социального строя. Но новые гуманисты в большей степени, чем Мор или Эразм, ощущали необходимость скорейшей реализации на практике своих теорий. И все же захватывает дух при мысли, как отстаивающий свои права, довольно необразованный в массе народ, ни на минуту не прекращающий к тому же борьбу за существование с самой природой, пытался проводить в жизнь высокие гуманистические идеалы. Поэтому деятельность «отцов» заслуживает самого искреннего уважения и восхищения, безразлично, оцениваем ли мы их поступки и мысли в той конкретной исторической обстановке, или учитываем их интеллектуальное влияние на последующие поколения.

Четверо из первых государственных деятелей Республики — Джефферсон, Мэдисон, Джон Адамс и Гамильтон — были дальновиднее прочих. Они ориентировали себя на большее, чем только практическая деятельность, и, казалось, были искренне захвачены уникальностью предстоящего опыта — создать новую цивилизацию на таком громадном пространстве. В конечном счете они справились с задачей и предложили особую модель республиканского строя; это удалось потому, что они стремились уяснить не только скрытые истоки власти, но и нравственные цели, которые должны освещать деятельность достойного правительства. Конечно, в каком-то смысле все они были, как

однажды презрительно заметил Гамильтон, «философами» и «эмпириками». Он сам относился к тем, кого критиковал, ибо подобно им, оценивал все окружающее как порождение социальных привычек и политических традиций; исходя из «заданного», он спроецировал лучший, по его мнению, проект переустройства общества.

Величайший из них — Джефферсон — целиком ушел в теорию и практику создания такого правительства. В дальнейшем он стал явно критически относиться даже к собственным методам выработки политических суждений и был интеллектуально готов к тому, чтобы пересмотреть логические, философские, научные и эмоциональные предпосылки своей концепции общества. Он стал величать себя «идеологом», идентифицируясь со своими друзьями, французскими философами, заложившими в наполеоновское время направление под названием «Идеология». Гамильтон, Мэдисон, Адамс, как и Джефферсон, внесли — каждый с присущими ему особенностями — свой, и поныне не потерявший значения, вклад в общее развитие мысли. Сведенные воедино, принципы четырех философов почти полностью исчерпывают американскую идеологию — цели, национальный характер, экономические и социальные особенности, словом, весь «американизм».

Отважный план создания новой формы правления породил особенную атмосферу интеллектуального риска: на какое-то время мечта Платона о «философе-правителе» * реализовалась в американской действительности. «Пока философы, — смело писал Платон, — не примут бразды правления или же те, кто сейчас стоит у власти, не станут философами, чтобы управление страной и философия слились воедино, несчастьям не будет конца». В «Государстве» философы, освобождаясь от оков невежества и предрассудков, выбираются из пещеры (этот бессмертный образ не несет каких-либо ассоциаций с конкретной исторической ситуацией) и видят наконец-то свет. Они лице-зреют истину. Они любят ее светом, греются в ее лучах. Но им не дает покоя мысль о множестве несчастных внизу; как и следует искателю истины у Платона, они понимают, что не могут не поделиться отблесками света с обделенными людьми, оставшимися в пещере.

Четверо американских государственных деятелей-философов вполне разделяли мысль Платона. В соответствии с платоновским образом они на ощупь искали необходимые принципы социального строя, принимая на себя ответственность за судьбы своих менее дальновидных соплеменников; и все же они не принимали полностью идею Платона о привнесенном философами свете. Сами они жаждали — если смогут — выполнить свое предназначение, но оправдать невежество других, даже ссылаясь на высокий античный авторитет, — никогда! Даже Джефферсону, самому искушенному в вопросах философии, Платон казался

слишком метафизичным, чтобы соответствовать «здравому смыслу» новой нации. На необходимость сочетания философии с руководством, мысли с действием, мечты с конкретными реалиями указывали и Джефферсон, и Мэдисон, и Адамс, и даже Гамильтон. Со времен Франклина и по сей день это противоречивое единство, свойственное человеческой природе и особенно проявившееся в условиях нового континента, диктовало двойную судьбу американской нации, способствуя дуалистической направленности ее литературы. В этот великий период американской политической литературы обе силы еще не вступили в роковой конфликт, что придавало особую притягательность и пророческую глубину этому жанру.

2

Основная проблема, с которой столкнулись государственные деятели-философы, заключалась в том, как изложить столь могучие идеи в стилистических традициях английской литературы XVIII века, которой в то время подражали наши писатели, поэты и эссеисты. Беллетристические способы изложения не удовлетворяли насущную потребность в четком и действенном стиле. Эти государственные мужи составляли документы, доклады, писали трактаты и письма, уделяя внимание не только содержанию, но и стилю, и все же живое общение с нацией они ставили выше формальных изысков. Джон Адамс, новичок в литературе, сформулировал это предельно ясно: «суть» должна главенствовать над «изыществом». Он говорил: «Самый простой стиль, которому свойственна математическая точность слов и мыслей, всего лучше приспособлен для выражения истины в политических вопросах, чтобы открыть на нее глаза другим». То, что сам Адамс, как-то похваставшийся, что ему не нужно тратить времени на сокращение рукописей и вычеркивание повторов, не всегда выдерживал установленные им самим критерии ясности и доступности, никак не снижало величия идеала. Забавно, что самые явные отступления Адамса от этих норм породили его лучшую прозу — нервные, одухотворенные отрывки, такие красноречивые в своем переменивом блеске. Что касается Джефферсона и Мэдисона, то они так и не отказались полностью от изысканных литературных традиций прошлого — общая черта виргинских политических деятелей, за исключением Джорджа Вашингтона, стремившегося, правда, не всегда успешно, к «простому стилю». И все же даже «виргинцы», не поколебавшись, поставили бы смысл и доступность выше стиля и формы. Всегда рассудительный и умеренный, Мэдисон больше других сочувствовал идеалу пользы. Критикуя политический памфлет, он заметил, что тот стал бы «много лучше, если бы стиль его упростился, а мысли усложнились»; он хвалил стиль

в том случае, когда находил в нем «безыскусную простоту, всегда покоряющую людей, наделенных вкусом». Гамильтон же не задумываясь использовал риторический узор или четко организованный ритм, если требовалось убедить или заставить замолчать оппозицию, продемонстрировав ей прекрасный выстрел, в то время как она только заряжала ружье. И хотя Гамильтон соглашался с тем, что «наши выступления должны быть спокойными, убедительными, серьезными, демонстрирующими твердую решимость в большей степени, чем чувства, с упором на мысль, а не на способ изложения», все же он часто впадал в велеречивый тон, мелодраматические нотки которого раздражают своей неискренностью.

Неортодоксальность этой политической литературы объяснялась тем, что государственных деятелей тогда занимали в основном разногласия и проблемы, порожденные серьезной перестройкой в стране. Заинтересованность в деле была настолько велика, что появилась потребность в живом обмене мыслями, в дискуссиях, когда точки зрения участников высказывались открыто, бесхитростно и беспорядочно. Поэтому жаль, что большинство известных цитат из политической «классики» того времени взяты из государственных и общественных документов, хранящихся в национальных архивах, а не из того моря писем, без которого нельзя представить эпоху «государственных деятелей». По существу, именно их переписка должна была стать для нас основным источником сведений о политической мысли и социальной структуре ранней Республики. Высокие достоинства эпистолярного наследия являются своего рода предметом гордости нации, лишенной в течение долгого времени необходимых средств связи. Вряд ли будет преувеличением сказать, что ни Джефферсон, ни Адамс, ни Мэдисон не существуют вне своей переписки. Чтобы оценить по достоинству Гамильтона и Мэдисона, необходимо изучать не только знаменитые статьи «Федералиста» (1787—1788), но и черновые наброски их выступлений в Конституционном Конвенте и в других местах.

Все государственные деятели прошли выучку в Конгрессе или же основательно изучали законодательство. Никто лучше них не знал, насколько важно умение логически организовать материал, искусство давать точные определения. Внушительное впечатление производят более пространные сочинения Джефферсона и его единомышленников, в которых они терпеливо расследуют разного рода обвинения, не упуская ни на секунду из виду находящиеся в центре внимания вопросы политики. Их произведения отмечены высоким пафосом, рожденным сознанием величайшего значения для человечества «младенческой нации», плоть от плоти которой они были сами. Каким ужасным бедствием было бы, казалось, говорили они, если «корабль, несущий, по нашему мнению, счастье нашей стране и

надежды всем людям земли» (слова Мэдисона), потерпел бы крушение! Не удивительно, что морализующая серьезность тона преобладала в этой литературе, не блещущей в целом ни оригинальностью метафор, ни элегантностью стиля.

Эти ограничения в пользу утилитарности диктовались и моральными соображениями в соответствии с простыми и умеренными потребностями республиканского общества. Джефферсон, этот тонкий ценитель прекрасного, отлично сознавал, что Америка в отличие от Европы еще не созрела для высших, изящных форм искусства. Путешествуя по Италии и Франции, он добросовестно перечисляет в своем дневнике технические усовершенствования в сельском хозяйстве и посвящает многие страницы производству вин и сыра. Этот подход, характерный для Джефферсона во все время его европейского путешествия, составляет контраст с рассуждениями о необходимости построить во втором Монтичелло * виллу — точную копию Ротонды архитектора Палладио * — восторженным отношением к литературе и морали античного мира или высоким достоинствам «современной» музыки, живописи и «красоты». Джон Адамс, всегда склонный давать объяснения своим действиям, кратко сформулировал литературные и художественные потребности Америки так:

«Искусство для нас не первая необходимость; нашей стране нужны ремесла — простые и бесхитростные, хотя и не слишком примитивные, но те, которые подходят для столь молодой нации... Мой долг — изучать науку управления государством, предпочитая ее всем прочим... Я должен изучать политику и военное дело, чтобы у моих сыновей была возможность изучать математику и философию, географию, естественную историю и судостроение, навигацию, коммерческое дело и сельское хозяйство. И вот тогда их дети получат право заниматься живописью, поэзией, музыкой, архитектурой, скульптурой, производством декоративных тканей и фарфора».

Джефферсон ясно заявил, что в «республиканской нации, где гражданами управляют при помощи разума и убеждения, а не насилия, искусство убеждать становится первостепенным»; он рекомендовал чаще обращаться к речам Ливия, Саллюстия и Тацита — «выдающимся образцам логики, вкуса и той афористической краткости, когда ни одно слово не является лишним и внимание слушателя не отвлекается ни на секунду». Многообразие было, по его мнению, «пороком современных ораторов», и сам он по возможности старался не выступать. Тем не менее это был Джефферсон, создавший тот особый, неторопливый и «праздничный» стиль, благодаря которому его узнал Джон Адамс, Континентальный Конгресс и вся Америка, — стиль ритмичный и в то же время глубокомысленный, который плавно льется в нашей знаменитой «Декларации», в ранних официальных документах и резолюциях и, наконец, во множестве удиви-

тельных писем Джефферсона, с которыми не может сравниться никакая политическая переписка последующего времени.

Мы уже упоминали о Мэдисоне как о стороннике сжатых, логически четко выстроенных композиций. Он понимал, что единственно верным средством уберечься от «бесплодных и бесконечных дискуссий» является выверенная точность политических терминов. У Гамильтона был определенный страх, что республиканское правительство не сумеет овладеть ситуацией, но уже в статьях «Федералиста», поддерживающих новую конституцию, он разделял всеобщее ликование по поводу политического новшества.

«Своим образом жизни, своим примером, — писал он, — люди нашей страны помогут ответить на важнейший вопрос, способно ли человечество, по здравом размышлении, создать справедливое правительство или же оно навсегда обречено подчиняться случайным и насильственно введенным конституциям».

Адамс неуспешно, как сторожевой пес, бдящий над своим детищем — Новой Англией, — в дальнейшем обращал внимание на сильные стороны самоуправления штатов. О необходимых достоинствах справедливого правления Адамс писал всю жизнь, начиная с раннего, пользовавшегося большой популярностью трактата «Размышления о правительстве» (1776), вплоть до последней статьи о пересмотре конституции штата Массачусетс пятьдесят лет спустя. Помимо своего теоретического вклада, Мэдисон зарекомендовал себя на практике как выдающийся журналист своим уникальным репортажем об Учредительном Конвенте. Проявив бескорыстную честность, терпение и понимание, он установил высокие требования к политическому репортажу. Таким образом, каждый государственный деятель Американской Республики обладал сознанием высшей политической миссии; их сочинения объединяла одна цель — создание правительства, не противоречащего идее свободы; сходство их произведений проистекает не из формальных стилистических признаков, но из общности убеждений, из самоотверженной преданности конечным политическим целям.

Сам спор об английских и американских идиомах еще раз доказывает, что американская политическая литература уже в первые годы Республики имела свои особенности. Насмешки английских критиков над отступлениями в американской литературе от «чистоты» стиля и лексики английского языка были приняты американцами исключительно хладнокровно. Джефферсон, например, нисколько не утратил самообладания, когда необычное использование им глагола «преуменьшать» в «Заметках о Виргинии» (1784) вызвало взрыв негодования «Эдинбург ревью». Новообразования, объяснял он, питают языки: они тучнеют от многообразия и перемен. Разве можно ожидать, что американский народ с его необозримыми земными просторами, такими непривычными для англичан, покорно смирит

с «прокрустовым ложем» английского разговорного языка и литературных канонов? Нет, «неология» должна вытеснять лингвистический пуризм, который может привести лишь к косности.

«Неужели не абсурдна мысль говорить на языке наших предков — саксонцев или на языке Петра Пахаря, или Чосера, или Спенсера? Неужели язык должен костенеть и тормозить развитие мысли... Мы вечные должники Шекспира, обогатившего наш язык свободным и волшебным словотворчеством. (Наверняка) необычные слова будут возникать время от времени, и тогда уж дело читателя решать, принять их или отвергнуть исходя из смысла и звучания».

Безразлично, насколько часто на обсуждениях в Конгрессе или в собственных сочинениях государственные деятели использовали приемы красноречия античных ораторов или прибегали к уравновешенному синтаксису английских эссеистов Аддисона и Стиля, а также политических теоретиков XVII и XVIII веков, — эти архитекторы Республики никогда не теряли из виду собственно американскую ситуацию с ее богатыми потенциальными возможностями, не упускали ни малейшего шанса заговорить голосом нарождающейся нации. Государственные деятели, принимавшие участие в величайшем историческом эксперименте создания демократии, начали писать на языке, соответствующем американской мысли и речи.

3

Идеология американской демократии началась со свода политических принципов, получивших название «республиканских». Хотя Джон Адамс быстро понял многозначность термина и предупредил об этом, все же понятие «республика» стало отправной точкой американской политической теории; на другом полюсе находилась «монархия» — вечный враг «республики». Сам Адамс верил в республиканскую доктрину и так же, как и остальные политические лидеры того времени, видел в античных республиках историческую альтернативу монархии или средневекового иерархического общества. Почти все американцы сходились на том, что необходимо — так или иначе — уточнить этот термин. Как почти все философы конца XVIII века, они понимали, что республиканское правительство «изначально» черпает свою силу у народа; к нему же оно обращается за советом в случаях, выпадающих из сферы компетенции законодательных органов, и осуществляет власть через народных представителей, выбранных большинством избирателей. Теоретически по крайней мере все граждане, обладающие правом голоса, должны были представлять «волю народа»; как только они наделяли своих представителей властью, республика начинала служить законам, а не людям.

Для того чтобы выявить наибольшую приверженность к этому республиканскому идеалу, следует мысленно провести линию политической активности, левый конец которой будет обозначать «высшую степень веры», а правый — «минимальную». Джефферсон окажется на «левой» стороне, а Гамильтон — на «правой». Соответственно Джон Адамс займет центральное положение: слева от Гамильтона и справа от Джефферсона; левее его окажется Мэдисон, стоящий ближе к Джефферсону в основных политических воззрениях, хотя следует помнить, что в экономических взглядах Мэдисон значительно ближе Гамильтону, чем Джефферсон и даже Адамс.

Даже если бы Джефферсон не написал ничего, кроме первоначального варианта «Декларации независимости», он все равно бы находился на стороне левых, радикальных сил в американской политике. Один успех «Декларации» должен был принести ее автору славу лучшего писателя патриотических сил. Некоторые современники Джефферсона, ошибаясь в оценках или завидуя его способности определять основную линию национальной политики в словах, идущих к самому сердцу американского народа, подвергали сомнению его «оригинальность». Это приводило в ярость Мэдисона, понимавшего нелепость таких обвинений.

«Основное назначение документа, — возражал он, — заключалось не в открытии, а в провозглашении уже известных истин, с тем чтобы сделать их основой законодательства Революции. Заслуга же его — в четком изложении Прав человека, в сжатом перечислении причин, потребовавших столь необычного эксперимента, в стиле и интонации, соответствовавших великому событию и духу американского народа».

Но даже если считать, что одной «Декларации» недостаточно, то Джефферсон подтвердил свое лидерство среди «левых» «Заметками о Виргинии» (1784) — книгой, которая стала одной из первых и немногих «экспатрианток»: французские и английские издатели самовольно опубликовали «Заметки» до появления их на родине. В этой серии эссе, написанных в непринужденно раскованной манере, мысль Джефферсона со знанием дела касается спорных вопросов философии, естествознания, политики и морали; это свободная беседа прирожденного просветителя-гуманиста. Гордясь остроумием ума своего друга, Мэдисон как-то заметил, что Джефферсон «особенно выделялся широтой и щедростью своего гения, необъятностью и разнообразием его возможностей, специфической способностью глядеть на каждое рассматриваемое явление с философских позиций». Затем в связи с «Заметками» Мэдисон спешит добавить: «Не в меньшей степени его отличала рано проявившаяся и никогда не покидавшая преданность делу свободы, неуклонное предпочтение той формы государственного устройства, которая больше прочих гарантирует равноправие людей».

Конечно, Мэдисон приносил эту дань уважения Джефферсону, будучи уже в течение многих лет его другом, последователем и коллегой; но необходимо заметить, что значение вклада Джефферсона в историю американской мысли скорее возрастает, чем уменьшается независимо от подъема или спада интереса к его творчеству. Из всех американских президентов этот государственный деятель Просвещения более всего соответствовал платоновскому идеалу «философа-правителя». Никто из наделенных президентской властью, равно как ни один из либеральных философских умов того времени — даже такие многогранные натуры, как Франклин, Бенджамин Раш и Томас Купер, — не смог сравниться с Джефферсоном в счастливом сочетании образованности, независимости и компетентности в таких различных областях, как общественная мораль, управление страной, образование, естественные науки, сельское хозяйство и искусство. То, что Вашингтон начинал делать для лепки американского характера своим личным примером, силой своей нравственной безупречности, как человека и руководителя, Джефферсон воплотил в рациональном идеале социального устройства. Направлением своего развития и выработкой национальной идеологии Америка обязана Джефферсону больше, чем кому-нибудь другому из государственных деятелей.

О Джефферсоне не скажешь, что он был воплощением расхожего штампа — рыцаря-просветителя XVIII века, проповедовавшего естественную «доброту» человека и неизбежный, рационально обоснованный прогресс общества. Джефферсон, который всю жизнь читал труды по истории — он был прекрасно знаком с выдающимися античными и современными историками, — отдавал себе отчет, что зло присуще и людям, и обществу. Он остро понимал возможные последствия длительного пребывания у власти недостойных людей и предупреждал, что общество не сможет считать себя застрахованным от случайностей, если образованные и бдительные граждане сами не будут активно управлять страной. Убежденный в неограниченных возможностях человека, он превзошел в этой вере других философов — государственных деятелей, хотя и Мэдисон, и Адамс до какой-то степени разделяли его убеждения и были исполнены добрых намерений, уступая Джефферсону в благородстве порыва. Джефферсона от них отличала и философия гражданского воспитания, что можно видеть по его сознательной «идеологической» программе, предусматривавшей воспитание разумно мыслящих, терпимых граждан, чье участие в местном управлении могло бы послужить источником мудрых суждений и действий в рамках всего Союза. Это была программа, соответствующая практическим нуждам и политическим обязательствам и одновременно ориентирующая на высочайшее развитие литературы, науки и искусства.

Если Джефферсон выступал за всеобщее участие населения в политическом контроле и твердо верил в возможность сделать американский народ образованным, то Гамильтон мечтал о сильном правительстве, и его мало беспокоило, будет или не будет оно подавлять права местного самоуправления или отдельной личности. Необходимо помнить, что все политические деятели — и Джефферсон, и Мэдисон, и Адамс, и Гамильтон, — которых мы расположили на воображаемой линии, действовали, сообразуясь с требованиями действительности. Каждый государственный деятель боялся различных непредвиденных случайностей; каждый выражал свои чаяния в типичной или, наоборот, только ему свойственной форме, каждый выбирал для себя символы притяжения или непритяжения явлений в соответствии со своей индивидуальностью и уровнем интеллектуальной жизни. Можно с уверенностью сказать, что именно различия в представлениях, мыслях и мечтах «основателей» сделали возможной самую Республику.

Гамильтон, например, ясно видел беспредельные экономические возможности Америки в случае объединения усилий правительства и владельцев крупных состояний и принятия закона о расширении коммерческой и финансовой деятельности. В народ Гамильтон, по правде говоря, не верил. Он считал, что народ может присутствовать на обсуждениях и повторять дословно доводы спорящих, но прирожденные политики всегда сумеют обмануть его лестью и махинациями. Если же высвободить его эгоистические и иррациональные силы, то «могучая бестия» скорее затормозит производительную энергию нации, нежели ускорит ее развитие.

Спустя некоторое время после незабываемого гамильтоновского выпада в «Федералисте» (1787—1788) — этого яркого обличения конституционного республиканского правительства, не всегда логически последовательного, но неизменно впечатляющего убедительным обоснованием необходимости национального единства, — Гамильтон начал высказывать мрачные сомнения по поводу долговечности республиканского эксперимента в самоуправлении. «Нужно еще убедиться на опыте, насколько он совместим с устойчивостью и порядком в правлении, столь необходимыми для общественного процветания и личной безопасности и счастья», — писал он в 1792 году, уже оценив силу принципиальных возражений Джефферсона. Он жаждал поделиться опасениями, что республиканизм «может не оправдать себя». Он все дальше уходил от того, что раньше называл «величественным зданием республиканизма... смоделированного и оформленного федерализмом»; его переход на позиции тори был окончательным. Продемонстрировав подобную близорукость, Гамильтон проявил себя не так, как следовало бы философу и государственному деятелю. И если бы не растущее влияние некоторых принципов управления и администрирова-

ния, выдвинутых им, особенности его темперамента и лишь слегка замаскированные эгоистические устремления вряд ли позволили бы говорить о нем как о государственном деятеле-философе. И однако, как глубока его мысль о необходимости расширения национальных прерогатив для достижения внутреннего единообразия «центрального» правительства и эффективности его работы. Есть истина и в утверждении Гамильтона, что эта акция явится первой из необходимых мер защиты от иностранных государств. Еще один реалистический принцип капиталистического развития страны, рано осознанный Гамильтоном, заключался в прямой обязанности правительства поощрять развитие производительных ресурсов нации, при этом комбинировав различные интересы с наибольшей эффективностью. Вышеназванный из этих принципов фигурирует в великолепной работе Гамильтона «Первый доклад об общественном кредите» (1790), где он решительно заключает: «Если голос человеколюбия призывает нас на сторону некоторых [классов кредиторов], то голос политики, равно как и справедливости, побуждает действовать ради всеобщего блага». Второй принцип является ключевым аргументом в его классическом труде о протекционизме «Доклад о мануфактурах» (1791).

Придавая особое значение «интересу», Гамильтон высказал большую определенность убеждений, которые кажутся удивительно современными по тону. Его оправдание сильного, действенного правительства, прочитанное сегодня, сливается с извечной защитой американцами всемогущего политического управления. И все же при всей глубине анализа Гамильтону не удавалось примирить два противоречивых требования процветающего республиканизма: национальной мощи, достигаемой при помощи беспрепятственной деятельности энергичного центрального административного органа, и зрелой ответственности граждан свободного общества.

Консерватизм и легализм Джона Адамса и Мэдисона объясняют одновременно и успех Американской республики, и забвение их имен, когда расточаются похвалы ранней американской традиции. Адамс был вспыльчивым человеком, подверженным внезапным пароксизмам ярости, способным возмутить его душу и ожесточить поведение вплоть до крайних проявлений упрямства. Мэдисон был от природы благоразумным, отнюдь не властным и не увлекающим воображения человеком. Он не превеличивал своих собственных способностей, восхищаясь гением Джефферсона, в то время как Адамс в отличие от Гамильтона полагал своим долгом стоять на страже национальных интересов и подчинять свою политическую судьбу высшим целям Американской республики. Так Адамс уберется от крайностей честолюбия Гамильтона. «Середина» в политике не является «золотой», во всяком случае в памяти потомства, поэтому Адамс — неортодоксальный федералист, и Мэдисон — консерва-

тивный республиканец заплатили немалую политическую цену за приверженность к аристотелевскому идеалу. Однако без Адамса вряд ли пользовались бы популярностью представление о достойном законном правительстве и болингброковский идеал «короля-патриота», ангела-хранителя судеб и далеко идущих интересов страны; Мэдисон же способствовал тому, что фракционная (включая «классовую») борьба стала объектом внимания правительства; к тому же он был судьей искусным и обличительным в вопросах использования верховной власти в федерации и отдельных штатах.

Можно сказать, судьба республиканских основ была тесно связана с «левой партией» Джефферсона, члены которой принципиально считали, что главные цели свободного общества — сохранение индивидуальной свободы и моральное совершенствование объединенного общества. Но республиканские основы зависели также и от влияния «правого крыла» Гамильтона, убежденного в необходимости создания действенного и могущественного правительства, чья сила проистекала бы от соединения под правительственной эгидой основных производственных и финансовых ресурсов страны. Стабильность Республики и правильность ее курса во многом зависели и от деятельности Мэдисона, сознававшего, что основной целью правительства должна быть защита множества разнообразных экономических интересов, существующих в стране, и убежденного в том, что подобную защиту может обеспечить только конституционная федеральная республика, которая будет препятствовать диктатуре одной или нескольких партий. Серьезным предупреждением прозвучало основательное суждение старшего Адамса, что республика не сможет уничтожить разницу в имущественном и общественном положениях и стоящую за ними аристократию. Адамс пытался спасти Республику от «неизбежной» деградации справедливого общества, о которой говорили еще античные мыслители, когда, развивая свою мысль, указывал, что основной функцией мудрого правительства должно стать соблюдение, по договору с народом, интересов отдельных, но поставленных в равные условия общественных групп. Это поможет не допустить зарождения тирании, хаоса или развязывания «анархических инстинктов разбушевавшейся черни».

Не допустить сосредоточения всей власти в руках одной из группировок — так формулировал Джон Адамс основную задачу республиканского правительства в своей обширной программе. Веря, что «порок и глупость так тесно сплелись с человеческими поступками, что их нельзя отделить, не повредив самой человеческой природы», Адамс полагался лишь на мудрость отдельных политических деятелей, которые создавали бы справедливые законы и были бы достаточно дисциплинированы, чтобы неуклонно соблюдать их. Адамс считал, что система контроля и равновесия сил воспрепятствует рвущемуся к

власти честолюбивому меньшинству использовать правительство в своих целях и обеспечит справедливое представительство каждого социального круга нации, предоставив право голоса имущим и «обладающим чувством ответственности» гражданам. Этими средствами, по его мнению, можно победить слабости человеческой природы. Результатом действия всех этих предохранительных механизмов и должна была явиться Республика, преданная интересам народа и руководящая им через его же собственных представителей. Высказывая подобные мысли, Адамс полагал, что его «республиканизм» столь же тверд, как у других, в том числе и у вождя республиканской партии, его друга и периодического идейного противника Томаса Джефферсона, который, по мнению Адамса, отличался от него лишь тем, что ратовал «за свободу и за прямые волосы. Мне же казалось, что кудри так же подходят республиканцу, как и отсутствие оных».

Мэдисон же исходил скорее из социологии, нежели из психологии. Он начинал с анализа различий в интересах отдельных групп, называя их «фракциями». «Фракции», по Мэдисону, представляли собой нечто вроде отдельных коллективов со своими специфическими интересами, порожденными извечным конфликтом любого общества, где есть богатые, стремящиеся сохранить свое достояние, и бедные, борющиеся за улучшение своего положения.

«Каждое цивилизованное общество подразделяется на отдельные группы или фракции, — писал он в решающем, 1787 году. — Так они являются кредиторами или должниками; богатыми или бедными; земледельцами, купцами или промышленниками; членами различных религиозных сект; приверженцами разных политических партий; а может, жителями разных районов страны или владельцами разного вида собственности и т. д.»

Преимущество современного республиканизма перед другим политическим строем Мэдисон выводил из его способности противостоять отдельным группировкам, пытающимся контролировать деятельность правительства, а также узурпировать права отдельных меньшинств. Будучи виргинцем, Мэдисон боялся еще и того, что большинство (Север) может тормозить развитие меньшинства (Юг), и писал об этом Джефферсону:

«Когда правительство действительно обладает всей полнотой власти, то всегда есть опасность угнетения. При нашем государственном устройстве реальная власть находится в руках большинства нации, поэтому ущемление прав частных лиц следует ожидать не как результат действий правительства, направленных против своих избирателей, а как результат тех действий, когда оно выступает как инструмент в руках большинства избирателей».

Так Мэдисон привлекал всеобщее внимание к необходимости для всех демократий оберегать «права меньшинства от реальной или возможной диктатуры большинства».

Мэдисон и Адамс сделали больше для сохранения права собственности, чем Джефферсон, и все же ни тот, ни другой не отказались от демократических теорий «естественного права», народного суверенитета, конституционного правительства, антимонархизма и антиаристократизма. Оба консерватора в противоположность Гамильтону никогда не оправдывали плутократии. Идеалом республики и для Мэдисона, и для Адамса была страна в основе аграрная, в которой, однако, учитывались торговые и производственные интересы. Мэдисон, возможно, даже в большей степени, чем Адамс, осознавал первостепенную важность кредита, широкого использования при правительственном финансировании природных ресурсов страны и расширения средств связи — все это Джон Квинси Адамс, сын Джона Адамса, впоследствии включил в свою программу «Внутреннего благоустройства». Теоретически, таким образом, именно Гамильтон, человек сомнительного происхождения, видевший в деньгах источник национального могущества, более других заботился о сохранении в стране крупного капитала; в то время как изящный и образованный «землевладелец» Джефферсон думал о благосостоянии добившегося независимости «народа», в том числе фермеров и наемных рабочих, Адамс и Мэдисон, сохраняя, совсем в духе Массачусетса и Виргинии, аристократизм привычек, не будучи ослеплены крупными состояниями своих семей, активно выступали за общество, внимательное к благоденствию и могуществу среднего сословия.

4

Этические теории этих государственных деятелей оказали заметное воздействие на их политические и экономические взгляды. Как по привычкам человека можно судить о его характере, так по правительству — о характере общества. Если бы не эта четверка философов-государственных деятелей, американский характер вряд ли бы обладал действительной, а не кажущейся глубиной. Джефферсон, Мэдисон и Джон Адамс хорошо понимали, как важно, что за люди будут у власти в Республике; Гамильтон же лишь говорил о том, каков должен быть... идеал руководителя. Джефферсон, Мэдисон и Адамс свидетельствовали, что только «самые честные и благородные люди» (слова Мэдисона) могут выступать как представители народа, потому, что только они будут руководствоваться «правильными мотивами». Эти люди ставили дело нации выше собственных интересов, поэтому в анналах Американской республики они остались как искатели истины и мудрости, подлинные, в римском смысле, граждане, а не просто администраторы.

Джефферсон, понимая, что для полнейшей реализации возможностей человека правительство необходимо, обычно все же говорил о нем как о чем-то второстепенном или вспомогательном; почему впоследствии, исказив его мысль, делали вывод, будто правительство является непререкаемым злом. Реальный выбор в политике, по Джефферсону, заключался между репрессивным правительством и республиканским; смысл республиканизма он видел в «сознательном участии граждан во всех процессах, в каких только возможно; в тех же случаях, когда граждане не обладают достаточной компетенцией, они передают свои полномочия представителям, которых назначают и снимают по своему усмотрению». Поэтому республика — «единственная форма государственного строя, которая, тайно или явно, не ущемляет интересов человечества». Однако, чтобы получить свободу, достижимую при республике, граждане должны заплатить за нее неусыпным «вечным бодрствованием»; именно поэтому граждане, знакомые с принципами управления, «просвещенные граждане», могут оказать свободе незаменимую поддержку.

Так, исподволь и очень умело в Америке подготавливался моральный климат, в котором должен был пройти испытание республиканизм. Благожелательность, моральная ответственность, добрая воля вместо принуждения стали действенной силой в свободном обществе, а не только абстрактными этическими установками. «Естественный» морализм противопоставлялся пресловутому «естественному» праву сильного, которое Джефферсон трактовал как неизбежное порождение авторитарного общества, во главе которого стояли «короли, знать и духовенство» или же, говоря языком более позднего времени, вожди, демагоги и политические лидеры. Предпочтение Джефферсоном аграрного пути, являющееся, по мнению многих, сутью его демократизма, связано, по существу, с его почти сентиментальным пристрастием к простоте классического республиканизма в сочетании с мнимой чистотой «примитивного» христианства. Когда же Джефферсон понял, что развитие нации действительно требует ее самообеспеченности, а также роста промышленности и торговли и что участь свободного общества зависит от того, насколько оно способно противостоять превращениям судьбы, он решительно заявил, что «все, выступающие сейчас против развития отечественного производства, хотят либо вернуть нас в рабство... либо облачить в шкуры, чтобы мы жили, как дикие звери, в пещерах и логовищах. Я к таким не принадлежу: сама жизнь научила меня, что промышленность нужно развивать не только для нашего удобства, но и для сохранения независимости». Несмотря на это, Джефферсон инстинктивно верил в свободное и справедливое общение с другими нациями и гражданами, то есть он был нацелен на мирный путь развития нации, в чем его полностью поддерживал Джеймс Мэдисон,

Опытному взгляду Гамильтона умягчение социальной морали с точки зрения экономики и политики представлялось малообнадеживающим. «Семена войны глубоко посеяны в груди человека», — писал Гамильтон; соперничество, предшествующее войне, проистекало, по его мнению, частично от «состояния обществ», а частично от извечной склонности человека «ставить свои интересы выше общественных». Главное, по Гамильтону, было идти в ногу с реальными обстоятельствами, безразлично, означало ли это создание сильной армии и флота для защиты от нападения иностранных держав или мощной системы национального кредита. Он подчеркивал свое отличие от идеалистически настроенных соратников, которых называл «политическими эмпириками», прямо заявив об этом в своем важнейшем законченном труде «Защита кредитной системы» (около 1795 года), где «истинным» политиком считал того, кто «принимает человека и составленное из отдельных индивидуумов общество такими, как они есть на самом деле, со всем хорошим и со всем дурным, — облеченными властью, движимыми страстями и случайными импульсами, что приводит к смешению наслаждения со страданием, а благоденствие делает источником несчастья». Истинный политик, боясь нарушить это неперемное соотношение противоречивых начал человеческой природы, не станет насильственно навязывать человеку «счастье», которое ему не нужно, а постарается при помощи различных социальных мер «сделать его счастливым в соответствии с его естественными потребностями, что увеличит источники человеческой радости и будет способствовать развитию национальных ресурсов и мощи страны». Таким образом, великая цель государственного деятеля — поиски той скрепы, которая, соединив все противоречивые элементы общества, превратила бы страну в «гранитный утес» национального могущества.

Гамильтон полагал, что, если правительство в состоянии отбросить ложную скромность, ему следует без всяких опасений брать власть в свои руки. Для него было категорическим императивом противостояние экономической стабильности, национальной экспансии, государственных кредитов и ассигнований сбивающим с толку призывам к «всеобщей гуманности», то есть: «священное» право собственности должно защищаться законами и конституцией страны, и даже неимущие слои общества должны защищать это право, чтобы не пошатнулись «устои общественного порядка».

Самостийный «Джон Янки», Джон Адамс — не выносящий раболепства ни перед «Джоном Булем», ни перед другой иностранной державой — лучше чувствовал себя в обществе Джефферсона и Мэдисона, чем с Гамильтоном — «вождем» своей партии. Если бы не Адамс, американской истории не пришлось бы гордиться такими демократическими прецедентами, как открытие зала для митингов, спортивного поля в Новой Англии и

система независимости местных школ, церквей и культурных центров. Политические «добродетели» Массачусетса, что отмечал даже Джефферсон, демонстрировали как нельзя лучше, что знание есть власть. В ратании Адамса о Новой Англии есть зародыш национальной гордости, полезной и даже необходимой для становления новой нации. К этому Адамс лично добавил благородный призыв к республиканскому правительству: как бы оно ни было поглощено наблюдением за справедливым законопроизводством и утверждением равноправия, оно должно обратить внимание на искусства и науки и поощрять их. Почти гуманист, хотя и не освободившийся до конца от пуританского комплекса вины и греха, Адамс, так же как и Джефферсон, был предан античным классикам. Последующая пространная корреспонденция двух стареющих государственных мужей, бывших уже на положении отошедших от дел мудрецов и блистательно исполнявших эту новую роль, — свидетельство неустанного самообразования и остро иронического взгляда на жизнь органично слившихся в этой, уникальной для американских государственных деятелей переписке.

5

Таковыми были философы-правители Американского Просвещения. И как бы часто ни ошибались они — в описаниях, прогнозах, акцентах, а подчас и в действиях, — все же они обладали той редкой мудростью в политических и общественных делах, которая никогда не теряет власти над разумом. Временами эта мудрость как бы вновь обретала свою первоначальную живительную силу, способствуя важным изменениям в национальной или международной политике. Мы знаем, что в перипетиях истории старые истины подвергаются порой значительным искажениям. Как заметил однажды Линкольн: считавшийся истиной принцип «все люди равны», теперь, когда мы «разжирили и перестали бояться, что нас снова обратят в рабство», превратился для нас в «очевидную ложь». Та же судьба могла постичь и далеко идущие прогнозы и бесспорные принципы философов-государственных деятелей Республики. С началом эры Джексона — бедственного, как предрекал Мэдисон, президентства — высшие цели осуществляемой демократии часто игнорировались или по наивности истолковывались превратно. С тех пор как письма и государственные бумаги Республики снова попали на глаза общественности, стало очевидно, что демократическая идеология может быть по-прежнему полезной своими красноречивыми первоисточниками. С этого практического изложения идей начинается наша национальная литература, вырисовываются поиски собственно «литературных» способов выражения мысли.

13. ПОЭТЫ И ЭССЕИСТЫ

1

Таким образом, творчество памфлетистов и философов-государственных деятелей часто поднималось до настоящей литературы, хотя и не могло полностью удовлетворить потребности нации в этом первом из искусств. Чтобы быть полной и окончательной, утверждал поэт и политический деятель Френо и многие другие молодые люди, независимость должна принести Америке собственных Мильтонов, Аддисонов и Свифтов, собственных Попов, Голдсмитов и Вордсвортов. Времена, когда закалялись человеческие души, требовали железной цели, соответствовавшей единственной задаче — создать основу сильной республики; однако с наступлением мира появились желание и потребность в многостороннем выражении национального «гения».

Здесь заключался парадокс: с одной стороны, патриотические настроения требовали создания национальной литературы, а с другой — в свете более неотложных дел литература выглядела праздным и недостойным занятием. Трудности проистекали в основном из того, что английские неоклассики схоластически усложнили поэтическое искусство, против чего пока безуспешно боролись романтики. Нормы и формы эпической поэмы, пасторали, романа, эссе, комедии и трагедии, сложившиеся в высокомерной литературной атмосфере Лондона XVIII века, было нелегко видоизменить и приспособить к передаче идей и опыта молодой Республики; и все же, если Республика хотела иметь собственную литературу, эти литературные нормы необходимо было сломать. Поэтому подражание устаревшим канонам или мимолетным литературным модам конкурировало с неумным духом национализма первых пятидесяти лет независимости, требовавшего немедленного создания собственно американской литературной традиции.

Повсеместно молодые люди искали слова, чтобы с их помощью рассказать о себе и о деловой суматохе вокруг. Наиболее активно окунулась в поиски группа юношей из Коннектикута, известная как «Хартфордские мудрецы». Но и практические соображения часто просачивались в литературу. Мечтой Джона Трамбулла было стать писателем, «американским Свифтом», чье сатирическое жало напоминало бы современникам об их смеш-

ных недостатках. Он легко писал сатирические куплеты. Ему нравилась манера Прайора и Черчилля, острая ядовитость Попа. Позиция сатирика позволяла ему поучать, и в то же время не казаться ханжой, а, прикрываясь маской благодушия, уязвить самоуспокоенность и претенциозность:

Не будь подлунный полн глупцов,
Где б отыскивали мудрецов?

Такая манера более импонировала Трамбуллу, нежели серьезный стиль подражаний Мильтону или Грею, хотя его записные книжки показывают, что ему нелегко было осознать ограниченность собственных возможностей. Наградой ему послужило всеобщее восхищение; Трамбулла публично сравнивали с Попом, называли равным Сэмюэлу Батлеру и Джонатану Свифту. Но молодой человек оставался также и самим собой, Трамбуллом, со своей собственной репутацией и особым путем. Даже благожелательная сатира ранит, и люди, которых она задевала, сердились. Их раздраженное противодействие затрудняло, делая подчас невозможным, суд над действительностью и препятствовало росту политической известности молодого способного автора.

Первый урок преподнесли Трамбуллу, когда он оказался втянутым в дискуссию вокруг его брызжущих остроумием и одновременно поучительных эссе «Надоеда» (1769—1770), которые позднее были озаглавлены менее едко — «Корреспондент» (1770—1773). Более основательно его проучили с появлением «Похождений тупости» (1773), вызвавших общественный скандал. Сегодня эта поэма выглядит невинной забавой, приятным вечерним чтением. Трамбулл с незлым юмором живописует надежды и незадачливые похождения глуповатого семинариста Тома Тупицы, фата Дика Кретина и молодой смазливой щеголихи Гарриет Жеманницы. Манеры, одежда, образование, религиозная нетерпимость, круг чтения героев исследуются здесь так тонко и ядовито, что мы посмеиваемся, вспоминая подобные грешки у своих современников. Мы узнаем в Томе, Дике и Гарриет давно знакомых по английской литературе персонажей, искусно оживленных остроумием Трамбулла, заставившего их сластолюбиво выглядеть вполне по-американски. Современники читали поэму более пристрастно, видя в ней своих знакомых и популярные местные учреждения нещадно высмеянными; в ответ они яростно напали на автора в печати, угрожая ему расправой. Он мужественно отвечал, отрицая какие-либо персональные намеки в своих произведениях, но утверждая традиционное право сатирика высмеивать глупость и бесчестность там, где он их находит.

Такая скандальная публичная перебранка не могла продолжаться долго — ей должны были положить конец. Многого

добиться не удалось, однако репутация молодого человека оказалась под угрозой. Трамбуллу пришлось смягчить свои нападки: в своей следующей, наиболее известной сатирической поэме революционных лет «Мак Фингал» (1776) он настолько осторожен, что высмеивает одновременно и тори, и патриотов; эту поэму можно было смело издавать в Лондоне, не вызвав никакого шума. Возможно, Гонориус, произносящий напыщенную речь на городском митинге в самом начале поэмы, списан с Джона Адамса, с которым автор когда-то вместе штудировал законы; конечно, о подобном сатирическом намерении Трамбулл не мог заявить открыто. В бурлескной поэме «Мак Фингал» автор издается над патетической декларацией первых лет Революции; в ней сквозит ирония по отношению к аргументам тори, однако она выдержана не в том ключе, чтобы заставить действовать колеблющихся. Даже в 1782 г., когда Трамбулл переработал поэму, она достигает вершин патриотического пафоса только однажды, там, где Мак Фингала, тори по убеждениям, вымазав дегтем, обваливают в перьях, а его бывший союзник, констебль, бесчестным путем достигает «высочайшего положения» в лагере сторонников свободы. Стихи поэмы правильны, юмористичны, а подчас и афористичны:

Закон не любят, хоть и чтут:
Закон, по сути, есть хомут.

Умеренность «Мак Фингала» объясняет его огромную популярность после завершения Революции: книга выдержала около тридцати изданий, ее часто цитировали в политических кампаниях и школах в последующие пятьдесят лет. Так как здесь нет крайних выражений, поэма стала кладезем беззлобных острот, в который вновь приходившие политические деятели различных ориентацией часто запускали руку за нужным комментарием на злобу дня. Джон Трамбулл, казалось, был не очень взволнован событиями Американской революции: он беспристрастно оценивал их, но не как совершенно незаинтересованный свидетель, а скорее как человек, не позволяющий себе ни бурных восторгов при успехах патриотов, ни грозных увещеваний, когда победа была далека. «Мак Фингал» — наименее актуальная из всех революционных сатир и самая интересная. Мы можем простить автору заимствования у Свифта и Батлера, можем снисходительно стерпеть беззастенчивое пародирование Вергилия и Мильтона; можем забыть даже о скромном месте, которое занимает поэма в истории англоязычной сатирической поэзии, и все же испытывать удовольствие, читая о наших предках и тем самым, косвенно, о нас самих.

Хотя к 1782 году Трамбулл отошел от литературы для более уважаемой профессии — юриспруденции, — он продолжал пользоваться большой популярностью у читателей Новой Анг-

лии. Будучи преподавателем Йельского университета вплоть до 1773 года, он поощрял друзей и студентов на изучение английских писателей — Аддисона, Попа и Мильтона — и подражание им. «Я больше узнал об английском стиле от Джона Трамбулла, — сказал один из студентов, — чем от кого-либо еще». Дэвид Хамфриз, возможно, передает мнение большинства йельских студентов, когда шутливо говорит, что оказал «плохую услугу» Трамбуллу, заставив его «заняться бумагомаранием». Трамбулл был умный и вдумчивый наставник, любимый воспитанниками. Когда он предвкусывал великое литературное будущее Америки в своем «Размышлении о пользе и преимуществах изящных искусств» (1770), он высекал огонь, освещавший путь его молодым друзьям:

На нашем поле зреют вкус и стиль,
У нас рождаются Аддисон и Стиль
И свой — так будет — явится Шекспир,
Чтобы воспеть и потрясти сей мир.

Протеже Трамбулла остались неизвестными не из-за отсутствия прилежания. Литература представлялась им высшим типом деятельности, когда прославленные писатели указывают путь своим менее удачливым коллегам. Подобным проводником был Дэвид Хамфриз, чье собрание увесистых томов учило современников прилежанию, патриотизму и смиренному признанию мудрости избранных. Им был и Тимоти Дуайт, один из американских титанов, рожденных благородным честолюбием. Известный президент Йельского университета, преподаватель, чьи тщательно обоснованные теологические доктрины расходились по стране прямо со страниц конспектов его лекций, он превратился в оракула, голос которого однако, не вдохновил никого, равного ему по величии. Люди же, вроде его шурина Уильяма Данлэпа из Нью-Йорка, читавшего Уильяма Годвина и писавшего пьесы, считали его ограниченным придирой. Они называли Дуайта «Папой протестантов из Новой Англии», страшась, однако, его самолюбивого и пылкого неодобрения.

В девятнадцать лет Дуайт сочинил эпическую поэму возвышенного морального пафоса, в которой торжественность стиха Мильтона и Фенелона сочеталась с более современными представлениями о достоинствах истинно великой поэзии. Ритм ее был заимствован из переведенного Попом Гомера. Тема — из Библии: долгожданный приход Джосайи в землю обетованную. Когда спустя четырнадцать лет «Завоевание Ханаана» (1785) увидело свет, читателям не стоило большого труда убедить себя, что в поэме есть аналогия с Революцией, что Джосайя это Вашингтон и что другие герои Революции, слегка подгримированные, переходят из книги в книгу на протяжении всех одиннадцати скучных частей. «Кто хочет узнать, — говорил английский поэт Уильям Купер, — как израильтяне пришли в землю

обетованную, должен по-прежнему черпать вдохновение в Библии». Еще один англичанин, Томас Дэй, чей «Сэндфорд и Мертон» числился в «бестселлерах» по обеим сторонам Атлантики, сомневался, чтобы хоть один читатель «превозмог» поэму Дуайта, «не зевнув сотню раз». Стихии столь бушевали в поэме, а герои предпринимали столь мученические усилия, что Трамбулл советовал продавать поэму вместе с громоотводом. Самый лучший и благожелательный из всех критиков Дуайта отметил, что в поэме здоровяки американцы XVIII века под древнееврейскими именами говорят, как мильтоновские ангелы, а сражаются, как древние греки.

После 1785 года Тимоти Дуайт ушел из литературы почти так же окончательно, как и Джон Трамбулл. Единственной пробой пера, предпринятой им с тех пор, явилась очаровательная буколическая и дидактическая поэма «Гринфилд Хилл» (1794) о природе и людях маленькой деревушки в штате Коннектикут. Пейзаж, правда, покажется менее знакомым жителю Новой Англии, чем знатоку английской поэзии. Однако стихи столь явно напоминают Битти, Дайера, Грея, Голдсмита, Томпсона и Попа, что читатель, остановившийся посередине чтения и взявший в одну руку, скажем, «Покинутую деревню», а в другую — «Гринфилд Хилл», сравнив их, решительно откажет Дуайту в оригинальном даре. По существу, он не был художником: он был моралистом, талантливым и сильным педагогом, наставником заблудших. Когда речь шла о каком-нибудь практическом деле, он исполнял его умело, используя все доступные средства. И все же Америка того времени, правда, не без вмешательства самого Дуайта, почитала его одним из своих выдающихся писателей. Так что и Америка разделяла ответственность за это с д-ром Дуайтом.

Как моралист, Дуайт был убедителен, когда без обиняков наставлял в проповедях граждан в соответствии со своими убеждениями. Его сильным местом был протест, что явственно ощущается в «Триумфе безбожия» (1788), где Дуайт сражается, по его словам, с вольтеровскими настроениями в Америке. Эта едкая и грубая поэма вышла анонимно — Дуайт никогда, даже перед лицом публичных обвинений, так и не признался в своем авторстве. Перед пастой он любил поговорить о «долге американцев», о «подлинности и достоверности Нового Завета», о «природе и опасности философии безбожия»; он популяризировал, объяснял, защищал свои теологические взгляды в проповедях, произнесенных перед несколькими поколениями студентов Йельского университета. Посторонние считали его деспотом, любящим, чтобы его слушали, и не позволявшим слушателям самим вставить словечко. Из соображений здоровья он ежедневно трудился в саду, а долгие университетские вакации посвящал исследованию укромных уголков северо-восточной Америки. Он оставил память о своих путешествиях — о местах, где он побывал, обо всем увиденном, о том, что нуждалось в усовершенствовании.

ваниях, — в заметках, изданных под названием «Путешествия по Новой Англии и Нью-Йорку» (1821—1822), которые дают представление не только об изумительной прелести сельской местности, но и об истинном характере автора.

Йельский университет породил авторов других направлений. Джоэл Барло из Новой Англии, младший современник Грамбулла и Дуайта, испытывал влияние обоих, пока в поисках заработка не уехал в Европу. Впечатлительный по натуре, он открыл в новых метрах новые источники вдохновения. Он вошел в либеральные политические кружки Хорна Тука, Уильяма Годвина, Джозефа Пристли и проникся там хмельными идеями равенства. Он говорил с Лафайетом о судьбах Франции, с Уильямом Хейли — о будущем поэзии, а с Мери Уолстонкрафт — о перспективах женского движения. Будущее интриговало его, он утопал в оптимистических речах. Его друзья вспоминали, что он «настолько увлекся поэзией, что ни на что другое не годился».

Барло вместе с прочими интернациональными мотыльками, привлеченными светом надежд, которые дарила Французская революция, напал на Эдмунда Берка, пока этот важный государственный деятель не окрестил его презрительно «пророком Иоилем». «Заговор королей» (1792) выпустил на волю изрядный запас традиционной срифмованной инвективы, направленной молодым человеком против планов хитрых врагов демократии. Его же «Совет привилегированным сословиям» (1792) защищает в прозе, и не так пылко, высшие права человека, ставя их над правами собственности, и в духе революционных традиций пророчествует о приходе лучших дней. Фокс аплодировал памфлету в Палате общин, но правительство Питта постановило книгу сжечь, автора же арестовать. Так, Барло, как и его друг Пейн, стал знаменитым человеком: людей привлекала его простая логика — он заставлял их думать. А что могло быть опаснее? Национальное Собрание Франции присвоило ему звание почетного гражданина Республики. Но друзья в Новой Англии были шокированы: они размышляли, как бы «отвлечь его от строительства воздушных замков», считая, что ум Барло должен искать прочной опоры на земле. Трезвый Ной Уэбстер не мог понять, какая муха укусила его школьного друга. А Джон Адамс считал, что даже Том Пейн «не столь безнадёжен».

Задолго до этого, еще в Йельском университете, Барло тоже сочинил эпическую поэму. Он назвал ее «Видение Колумба» (1787); поэма состояла из семи частей, написанных возвышенным стихом, где говорилось о прошлом и особенно о будущем прекрасного, нового американского мира. Принадлежащая перу молодого человека и лишь слегка тронутая педантизмом, свойственным Дуайту, поэма тем не менее неудачна, несмотря на захватывающую дух яркость описаний и незамысловатый патриотизм, а может быть, и благодаря им. Барло обрушивает на нас

страницу за страницей; этой скорости не выдерживает ни его воображение, ни стихотворный опыт. И все же ни недостатки поэтической техники, ни отсутствие четкой идеи не заслоняют от нас подлинного энтузиазма автора «Видения». В поэме можно видеть зародыш более поздних и более раскованных представлений Барло о свободе человека; но они в достаточной степени скрыты условностями, что позволяло консервативно настроенным друзьям приветствовать появление поэмы шумной хвалой. А что более искушенные английские критики считали поэму вслед за сочинениями Дуайта претенциозной, не имело значения: уже то, что критики заметили «Видение», было свидетельством успеха.

Но в год выхода «Видения» Барло покинул Новую Англию и стал отступником; перемена в его политической ориентации все сильнее печалила старых друзей. Он изливал душу в длинных письмах к молодой жене, что делал на протяжении всех тридцати лет, когда они расставались. Эти письма, заботливо убереженные Рут Барло, воссоздающие сегодня безмятежное счастье супружеской любви, неожиданно превратились в одно из величайших литературных свершений ее мужа. В них есть юмор, легкость, искренность и множество совершенно непрактичных идеалистических мечтаний. Тоска по Новой Англии, по маисовой каше (хотя он терпеть не мог ее американского названия) помогли появлению на свет ирои-комической поэмы «Маисовый пудинг» (1796), подлинно американского варианта древней гастролитературной темы; ею так всегда восхищались составители антологий, что она подчас кажется единственным наследием, оставшимся от Джоэла Барло.

Министр-резидент в Алжире, посол во Франции, советник и друг Джефферсона и Мэдисона — Барло стал самым большим космополитом из всех деятельных представителей своего поколения. Он помогал Фултону строить первый пароход и приходил в восторг от перспектив, которые открывала эпоха каналов. С возрастом его энтузиазм становился более умерен, но он так и не утратил его до конца дней. Не забыл он и своей эпической поэмы, которая не очень удалась в первоначальном варианте. И вот теперь, после двадцатилетней работы, поэма снова лежала перед ним, полностью переписанная, расширенная, готовая ко второму изданию под названием «Колумбиада» (1807). Книга удостоилась такого восторженного приема, как ни одна американская книга прежде! Нужно отдать должное американским печатникам и переплетчикам — книга была оформлена поистине великолепно. Ее цену в глазах коллекционеров увеличивают также гравюры Роберта Фултона. Композиция новой поэмы более четкая, чем в «Видении»; стихи ее правильнее и кажутся более зрелыми; и все же «Колумбиада» известна теперь как один из грандиозных провалов американской литературы: эту книгу в оловянном переплете никто не читает.

Трагедия Джоэла Барло не в том, что его не знают, а в том, что его знают не за то, за что следовало бы. В каждом учебнике отводится параграф, чтобы рассказать о фиаско «Видения Колумба» и «Колумбиады». И мало кто вспоминает о яркой прозе — оружии этого американского Лохинвара, которое он пускал в ход, сражаясь за идеи, не потерявшие значения и по сей день в современном западном мире. Как и Тимоти Дуайт, Барло был значительнее своих сочинений. И подобно многим другим современникам, он ждет своего биографа, который тщательно исследует его искренний и самозабвенный вклад в развитие демократической мысли.

Эту троицу — Грамбулла, Дуайта и Барло — традиционно выделяют как наиболее значительных представителей в объединении, называемом то «Хартфордскими мудрецами», то «Йельскими поэтами», то «Коннектикутским хором». Помимо них, туда входили: Хамфриз, именуемый иногда «четвертым» за его значительный вклад в истинно патриотическую поэзию, Ричард Олсон, Ной Уэбстер, Лемюел Хопкинс, Мейсон Когсуэлл и Теодор Дуайт — вот, пожалуй, и все наиболее известные члены кружка, причем порядок имен, данный в соответствии с размерами дарования, является произвольным. К ним еще можно причислить и более молодого Илайю Хаббарда Смита, всегда бывшего несколько случайным членом группы и самоотверженно отошедшего от нее в 1793 году, когда он занялся составлением нашей первой американской антологии. Цели «Мудрецов» были политические и нравственно-воспитательные: в том или другом соавторстве они выпустили несколько полезных для общества сатир, высмеивавших глупость тех, кто был несогласен с их разумными убеждениями мудрецов Новой Англии. Это — «Анархиада» (1786—1787), «Эхо» (1791—1805), «Политическая оранжерея» (1799). «Варвары» отыскивали наиболее уязвимые места, взывая к возмездию; это продолжалось до тех пор, пока ядовитый обмен сарказмами не породил нечто, пусть не столь совершенное в литературном отношении, но хотя бы приемлемое для чтения. Это была грубая и беспорядочная битва поэтов, засучивших рукава, отзвуки которой слышались и пятьдесят лет спустя, когда Фенимор Купер направил острие своей сатиры против наследия «Мудрецов», не подозревая, что другой писатель из Центральных Штатов, Филип Френо, уже успешно справился с этой задачей.

2

«Достаточно даже простаку ознакомиться с сочинениями аристократического кружка в Хартфорде, предающегося умозрительному теоретизированию и пытающегося вернуть монархию и привилегии знати, — писал Френо, — чтобы понять, что у нашего старого врага «на острове», сопротивляющегося незави-

симости и процветанию Америки, есть свои лазутчики на нашем континенте». «Мудрецы», — продолжал он, — открыто исповедуют те же принципы, что и «старые, разбитые в 1775 году тори». Его заключение, конечно, не совсем справедливо, но компания из Коннектикута обрела в этом повидавшем виды ветеране революции противника, который мог вести с ними борьбу на равных. Френо разделял, так же как «отступник» Барло, демократические взгляды Джефферсона и даже Томаса Пейна. Поэтому его считали врагом, называли простым орудием партии, а также, по контрасту с сочинителями поэм из Новой Англии, «обыкновенным газетным писакоей»: люди, гораздо менее талантливые, чем он, высмеивали Френо как подражателя, плагиатора. Литература до такой степени превратилась в служанку политики, что «в шуме взаимных нападок враждующих партий из тысячи голосов вряд ли даже один принадлежал читателю, серьезно озабоченному судьбой литературы в родной стране».

Было, как многозначительно выразился Мэдисон, не время для поэзии. Да вряд ли этого можно было ожидать. Мужчины в кожаных фартуках поднимались рано, чтобы обеспечить процветание американской торговли; руки, огрубевшие за плугом, поднимались вверх в залах для голосования и на митингах; вырастала новая поросль дельцов, и на всякие пустяки времени не оставалось. Литература была уделом женщин, духовенства в часы досуга и молодых людей, еще не оперившихся и не нашедших более подходящего и выгодного занятия. И все же у Америки, среди всех этих молодых людей, был один поэт, таланту которого, скованного утилитарными требованиями времени, приходилось подчас невольно опускаться до виршеплетства. Досужим сожалением о том, что могло бы быть, нет места в истории литературы, но все же то дарование, которое обнаружил молодой Френо в по-китсовски проникновенной «Власти воображения» (написанной в 1770 г.) или в философическом «Доме ночи» (написанном, видимо, в 1775 г.), предвещало редкий успех, который мог поставить его в один ряд с нашими выдающимися поэтами. Даже не осуществившись полностью, он остается самым оригинальным, хотя и не всегда оригинальным поэтическим дарованием своего поколения. Он пел об американском народе и его достижениях, о надеждах, которые он возлагал на новую нацию, и о горечи разочарования, которое он испытывал, когда она не оправдывала его надежд, а это случалось нередко. Он не обладал сочным стихотворным даром Уолта Уитмена; часто бывал раздражен и неспособен понимать, и, однако, до Уитмена страна еще не рождала более национального поэта.

Студентом Принстонского университета, Френо уже пророчествовал о будущем своего прекрасного западного мира. Вместе с сокурсником Хью Брэккенриджем он написал в начале творческого пути «Поэму о растущей славе Америки» (1772),

в которой, подобно Трамбуллу, мечтал о большем, нежели простой материальный прогресс:

Гомер и Мильтон, чувствую, грядут
В величии волшебного стиха...
И новый Поп, как Феникс возродясь,
Взлетит воспеть родимые просторы,
Молчанье роц, журчание ручьев,
Неукротимый грохот водопада...
Все оживет, и, магии полно,
Все станет гимном.

Все это не походило на обычное сочинение оптимистически настроенного школьника. Поэма выражала кредо молодого поэта, полностью отдавшего своему призванию. Френо станет поэтом и пропоет свою светлую, новую песнь! Где слава былых времен? — спрашивает он в «Пирамидах Египта».

— все, все прошло
И, как сугробы снега майским утром,
Скорей, чем прошлым, выдумкой слывет.

Темой его поэзии станет Америка — бескрайняя и неизведанная, сулящая возможности, каких не знает современный мир; она — и еще надежды на свершение идеалов, которые всегда воспевались великими поэтами. Тщательно ознакомившись с искусством своих предшественников, Френо скоро разработал свой собственный гибкий лирический стиль без стереотипов современной поэзии, напоминающий манеру раннего Мильтона и раннего Китса. В восемнадцать лет во «Власти воображения» он взывал к музе так:

Чудной, чуткой, неустанной,
Все неистой желанной,
И крылатой, и поющей,
И ключом во мраке бьющей,
Я Фантазией пленен.
О, войди в мой дивный сон!

Для подобной поэзии у занятой Америки не хватало времени, а именно о такой поэзии мечтал Френо. Тем не менее, когда разразилась революция, он, послушный долгу, оставил, хотя не без колебаний и возвращений, поэзию и отправил свой талант добровольцем на громогласную войну слов, сопровождающую военные и политические действия. Живой по натуре, восприимчивый и вспыльчивый, Френо не был ни умерен в своих сатирах, как Джон Трамбулл, ни заразительно добродушен, как Френсис Хопкинсон. Он ядовито напал на любого врага,

независимо от того, был ли тот малодушным американцем или последышем вероломных иноземцев. Он писал торжественные песни, славящие победы патриотов, воодушевлял бойцов, когда поражение казалось неминуемым, и ниспровергал «дутых чудовищ», «проклятых злодеев», «врагов свободы и человечества», которые, «не обращая внимания ни на возраст, ни на пол, повсюду сеют похоть и смерть». Френо стал подлинным «поэтом Американской революции», писавшим о том, что он хорошо знал, как народный ополченец и как уязвленный в своей гордости поэт, побывавший в плену. По горячим следам он воссоздал свой печальный опыт в «Британской плавучей тюрьме» (1781), самой горестной из всех американских поэм. Он призывал соотечественников «отомстить ненавистному врагу», который «захлебывается от желания залить мир кровью». С ним надо покончить раз и навсегда. «Разбить его и стереть с лица земли». Только тогда Америка сможет обратиться к другим занятиям, в том числе и к стихам, которые мечтал писать Френо.

Укрепившаяся в годы войны ненависть к Англии окрасила всю последующую жизнь и литературное творчество Френо. Разве Америка совершила преступление? Она просто остановила занесенную руку убийцы с ножом. Гордыня, скупость, похоть, алчность и прочие злодейства, держащие человечество в оковах, были порождены страной, у поэтов которой он черпал в юности поэтическое вдохновение. Когда революция устало завершала свой путь, Френо, теперь уже редактор «Фрименз джорнэл» в Филадельфии, считал необходимым сражаться не только с заокеанскими деспотами, но и с новым игом компромиссных отношений с Англией и подражания ей, появившихся в его родной стране. Погрязая все глубже в пустячные споры, он терял одну иллюзию за другой.

Как благородны были люди на словах и как малодушны в сердце своем! С каким сомнением американские писатели взирали на свое будущее! Он выслушивал Дэвида Хамфриза, который унижался ради литературных почестей, а впоследствии и Вашингтона Ирвинга, добивавшегося признания за границей. Когда же Америка будет действительно независимой от Англии?

Иль пойдем в ученье к Мастеру худому,
Что одно мученье шлет на наши дома?

Одной из характерных черт Френо была полная искренность во всем, что он говорил. Он не прибегал к иносказаниям, чтобы поднять недовольных на защиту особых привилегий. Он научился говорить ясно, доступным языком, о простых вещах, понятных обыкновенным людям, таких, как свобода и право человека на счастье. Когда, отдав десять лет жизни патриотической сатире, он оставил борьбу в 1785 году и стал капитаном корабля, курсировавшего между Нью-Йорком и Чарльстоном, его уже не

интересовали, как в бытность студентом, грандиозные планы и эпические замыслы. Он стал писать о более простых вещах, обычно не считающихся традиционно поэтическими; темы его стихотворений были грубы и без особых претензий, о чем можно судить по названиям: «Достоинства табака», «Пьяный солдат», «Лоцман из Гаттераса», «Жуликоватый сапожник», и, наконец, самое прославленное — «Кувшин рома». Он писал о «красноносом парне, разливающим джин», о «знахаре, исцеляющем раны негра», о речах странствующего проповедника, близкого по духу всем американцам, «делающего то, что им надо, и думающего, как они». Стихи его были не длинные, не очень глубоки и нравились людям, привыкшим бегло просматривать газеты.

Именно это нужно было Америке в тот момент — простые песни простой американской жизни на повседневном языке, оживленные юмором, не обходящем даже собственные недостатки. В них не было трепетных порывов, столь любимых сентиментальными людьми, и заумных словесных ловушек для интеллектуалов. На них лежала печать «сделано на родине»; это были песни, созданные народом и для народа, жаль, что самые совершенные произведения, написанные Френо в эти беспокойные годы, не получили признания и остались практически неизвестными. В Англии сэръ Вальтер Скотт присвоил строку из элегических стансов «Памяти храбрых американцев», погибших у Юто Спрингс, а Томас Кэмпбелл взял другую из умозрительного стихотворения «Индеец, копающий землю». Но «Вкус дикого меда» (1786) — лучшее из них всех — редко печаталось при жизни поэта. Тон тихого изумления, и свежесть, и чистота интонации, передающей «хрупкую красоту» американских просторов, позволяют считать Френо лучшим среди американских поэтов того времени. Написанное в год выхода килмарнокского издания великого шотландского поэта, это стихотворение напоминает по манере Бернса, а также Вордсворта, хотя появилось за двенадцать лет до «Лирических баллад». Америка никогда не забудет «Вкус дикого меда», потому что в нем наконец-то соединились два начала: национальный колорит и выразительность, а также истинная поэзия.

Но поэтические настроения редко теперь посещали Френо. Когда принципы, которые Америка защищала в революции, оказались под угрозой, и демократия перестала пользоваться популярностью у его соотечественников, он выступил еще раз как яростный пропагандист, смело, даже неистово ринувшийся в бой за права простых людей — бедных солдат, которых обирали, как могли, или фермеров, разоренных жадностью предпринимателей. Упрямый и острый на язык, он стал первым в Америке рыцарем-журналистом в качестве редактора «Нэшнл газетт» (1791—1793) и утратил в значительной мере свою репутацию поэта. Простые люди по-прежнему понимали его, потому что он излагал суть национальных разногласий на понятном им языке,

но высокопоставленные особы наносили жестокие ответные удары, рубцы от которых оставались навсегда. Александр Гамильтон открыто назвал его в печати лжецом. Вашингтон заклеил его мошенником. «Мудрецы» из Новой Англии, когда не в силах были противиться убедительности его аргументов, атаковали его как поэта. И все же он спас, по словам Джефферсона, нашу Конституцию, когда она «стала быстро сдавать позиции монархии». Мало кто сделал больше и так мало получил взамен. После поражения Джона Адамса на выборах 1800 года, когда положение простого народа, казалось, надолго упрочилось, Френо снова отправился в море, а затем обосновался на «нескольких песчаных акрах» своей фермы в Нью-Джерси, чтобы наконец спокойно изложить свои устоявшиеся убеждения. Семидесятилетним стариком он продолжал издавать свои книги, которые плохо расходились, и печатал стихи в малоизвестных журналах, уже безнадежно отстав от Америки. Брайент знал его только как «сочинителя плохих стихов... отмеченных грубой силой сарказма».

Сегодня грубая сила стихов Френо может быть лучше понята и оценена. Его упрямое нежелание идти на компромиссы вызывает даже восхищение; оно распространяется, в частности, и на «такого романтического дельца», как Джоэл Барло, которому не удалось приспособить свое поэтическое дарование к простому, демократическому характеру американской жизни. Находясь на посту редактора «Тайм-пис» и «Литерэри компэньон» (1797—1798), Френо широко печатал на страницах журналов поэтические произведения своих соотечественников. А что ему предлагали? Сентиментальные и приторные подражания английским стихам, в которых щеголи и синие чулки обменивались традиционными комплиментами — вялыми и претенциозными. Где же была американская мощь, мужественный слог, которым новая страна, самоутверждаясь, могла бы заявить о себе миру? Ничто не могло сравниться в популярности с блеклыми строками, которые молодой Джозеф Браун Лэдд, называющий себя «Ароутом», адресовал своей прекраснейшей «Аманде»; или Роберт Трит Пейн, он же «Менандр», — «американской Сапфо», Саре Уэнтворт Мортон из Бостона, которую каждый чувствительный читатель знал как «Филению», чья «певуче-красноречивая» арфа издавала в ответ столь деликатные, печальные и сладостные звуки. В воздухе витал меланхолический стиль, навеянный «Страданиями молодого Вертера» Гёте, плавная восторженная речь облагороженного Оссиана в сочетании с безнадёжной чепухой, державшейся, по словам одного критика, на «показных красотах и всяческой мишуре, необходимой для удовлетворения потребностей публики». На фоне этих бледных шелков скромные домотканые и прочные стихи Френо кажутся сделанными из отечественного волокна, в соответствии с фасоном, удовлетворяющим местным требованиям.

Подобно стихам, проза Френо все больше становилась органичной, отечественной. Во время революции он чувствовал удовлетворение от того, что был типичным эссеистом XVIII века, ученым-отшельником, отстраненно и спокойно вззирающим на мир. В интонации «Пилигрима» (1781—1782), призывающего к простоте и бранящего животную верноподданность англичан, уже звучит глубокая уверенность Френо в том, что нация обрела свой символ веры, но слова, настроение и художественные средства были стары. «Томо-Чики, индеец в Филадельфии» (1795—1797) — лишенный идеализации портрет американского аборигена, подмечающего странные слабости у белых соседей, — шаг вперед, хотя и по тропе, зримо проложенной Голдсмитом и Монтескье; «Хезикайя Сейлем» (1797) — рассказ о лишенном духовного сана дьяконе-янки, который остроумно и находчиво высмеивает отечественные недостатки, — более национальное явление; но самое американское из них всех — «Роберт Слендер». Впервые он появился у Френо в образе чулочника, любящего добродушно подшутить над влюбленными молодыми людьми, над отчаянием поэтов, живущих в мансардах, над характером американских дельцов; он рос и мужал вместе с Френо, пока, снова воскреснув в 1800 году и высказавшись на этот раз по поводу политических сдвигов, приведших Джефферсона к власти, не стал наконец выразителем духа нации, породившим много своих двойников в литературе и политике. Это был простой деревенский парень, знавший обо всем лишь из газет. Его простоватые замечания, наивные опасения и оптимистическая уверенность в том, что все в конечном счете будет хорошо, выдержаны в лучшей традиции американского политического бурлеска.

Самое простое объяснение непопулярности Френо заключается в его упорном нежелании отказаться от своей концепции развития национальной литературы в полном отрыве от литературы «проклятых врагов», угрожающих американским свободам. У него было мало последователей и совсем не было подражателей: он был не очень respectable фигурой. Радикал, он даже на правильном пути заходил слишком далеко. Он адресовал свои стихи не тем, кому следовало, и «порядочные люди» пренебрегали им. На его взыскательную критику творчества современников не обращали внимания или же считали ее придирами неудачника, продавшего свой талант политике. Патриотизм его произведений остался, таким образом, скрыт, о нем редко говорили на протяжении последующих пятидесяти лет, и то, как правило, не понимая его неистового характера. Френо считали упрямым стариком, из тех, которые продолжали носить короткие узкие штаны и треуголку, когда они давно уже вышли из моды. Так было и в поэзии: он чурался малейшего налета сентиментальности, модной тогда у американцев. Его яркая и дидактическая речь, в основе которой покоились рациональные представления о человеческой справедливости, казалась в

1820 году устарелой и излишне резкой в сравнении с гладкими и более современными фразами Фитц-Грина Хэллека и Родмена Дрейка. Его проза, несмотря на всю ее упрямую независимость, слишком близко соотносилась с частными событиями и поэтому была, как говорится, на особый вкус. Забытый в свое время и слишком редко вспоминаемый ныне, Френо свидетельствовал:

Наипоследнее из дел —
Писанье — вот был мой удел.

«Наипоследнее из дел» привлекало лишь немногих опытных писателей. Отечественная литература представляла ученические произведения молодых людей, которые впоследствии из чувства самосохранения неизбежно меняли профессию. Мы видим, как в своих тетрадях студенты усердно подражали настроениям и темам, в которых преуспели другие писатели. В Америке зачитывались Скоттом, Байроном, Муром, даже Греем и некоторыми более старыми поэтами. Так как нужно было писать молодым людям, мечтающим о том, чтобы их тоже прочли? Более практичные соплеменники называли их «ничтожными рифмоплетами», по существу, они и были ими, так как с легкостью, свойственной молодым поэтам, поддавались любому влиянию. Они пели одиночество, разбитую арфу и увядающего без признания (любимое слово!) гения. Все это было не более, чем юношеские опыты, рядом с которыми простые «газетные стихи» Френо кажутся удивительно зрелыми.

3

Американцы гордились своими газетами. Разве могла похвастаться таким количеством читателей другая страна мира? Это и была литература Америки — на другую не хватало времени. Почти каждая газета и недолговечные американские журналы имели поэтическую рубрику и свой круг эссеистов, щеголявших в нарядах, перекроенных из обносок Аддисона, Свифта, Голдсмита и Джонсона. Молодые черпали вдохновение в популярном и непритязательном «Суфлере» (1790) Ноя Уэбстера; Брокден Браун в своем «Человеке дома» (1798) сделал предварительные наброски места действия и сюжета, позднее вошедшие в его романы. Расширяли литературную панораму «Письма британского шпиона» Уильяма Уэрта. Все эти произведения указывали на отдельные недостатки, некоторые же были намеренно сатиричны. Томас Грин Фессенден называл себя «Язва Кристофер», в Нью-Йорке был «Тоби Щекотун», в Бостоне — «Тим Оселок», в Филадельфии — «Тоби Острый коготок». Их памфлеты обладали той смелостью, которая отличала их выдающихся английских предшественников. На смену им пришли Ирвинги и

Джеймс Керк Полдинг, которые в «Салмаганди» (1807—1808) деляли то же самое, но с большим успехом.

Сатиру еще кое-как терпели за ее полезность, но с беллетристикой дело обстояло совсем иначе. Уильям Уэрт как-то справился у Сент-Джорджа Такера, не вредит ли его репутации юриста то, что он известен как писатель, и был не очень удивлен, когда старый литератор ответил, что, мол, весьма возможно. В лучшем случае то, что здравомыслящие люди называли «бумагомаранием», оправдывалось как «развлечение в часы досуга». Этим занимались тайком и обязательно анонимно: никому не хотелось прослыть бездельником. Немногие хабрецы пытались жить на литературные заработки, и неудачно; например, Френо и Брокден Браун, превратившийся после кратковременной блестящей карьеры романиста в литературного поденщика, пишущего для альманахов.

Окрыленный своими журналистскими успехами в Новой Англии, Джозеф Денни тоже решил сделать сочинительство профессией. Еще он собирался повысить уровень отечественной литературы, чтобы она соответствовала критериям, предъявляемым к английской. Что касается самого Денни — молодого выпускника Гарварда, — то он не отставал от англичан. Его проза была настолько правдивой, что Тимоти Дуайт смог назвать его «Аддисоном Соединенных Штатов», «отцом американской беллетристики». Готорн вспоминал, что Денни «считали лучшим американским писателем», а Ирвинг в начале своей литературной карьеры «переболел» его влиянием. Впервые он начал выступать в журнале «Порт Фолио» (1801—1808) в Филадельфии под маской «Оливера — любителя старины», педантичного и самоуверенного защитника традиций, а несколько ранее он получил известность как «мирской проповедник», обуздывая безрассудность американцев. Как и Френо, он презирал сентиментальных и сумасбродных людей: «В обществе царят ребяческие вкусы, в моде — инфантильные словоизлияния». Но в отличие от Френо он отказывался признавать произведения невысокого сорта только на том основании, что они густо замешаны на отечественных дрожжах.

Критик в большей степени, чем созидатель, Денни написал мало произведений, интересных сегодня. Его эссе выглядят педантичными, странными, подчас начетническими. Его юмор покровительствен. Нарочитая фамильярность, с которой он иногда снисходит до поучений, принадлежит, если судить по тону, человеку, значительно более информированному и стоящему выше, чем его читатели. Все же он по-настоящему любил литературу и, когда ему не мешали предрассудки, демонстрировал верное и здоровое чутье. Он печатал длинные отрывки из своих любимых английских авторов. Ему удалось получить у Томаса Кэмпбелла еще нигде не печатавшиеся стихи. Он угадал талант Ли Ханта и помог ему выдвинуться. Он первым из американцев открыл

Вордсворта. Он провел восхитительные часы с Томасом Муром, писавшим для «Порт Фолио» и впоследствии вспоминавшим встречи с Денни как «немногие приятные эпизоды» его поездки по Америке. Денни окружил себя молодежью и вел с ней утонченные литературные беседы. «Мистеру Денни, — говорил Мур, — удалось через свой просвещенный кружок привить многим любовь к хорошей литературе и честной политике, что так не свойственно его соотечественникам...»

Америке нужен был такой человек, как Денни, — после него возникло «Норт эмерикэн ревью»* (1815) и начался расцвет литературы в Новой Англии. Он помог сплотить литературные силы и выработать для многих поколений концепцию литературы, неразрывно связанной с политикой и моралью; была получена авторитетная санкция на отмену литературного эмбарго по отношению к Англии; требования к литературному произведению вновь значительно повысились. Атмосфера, созданная им, благоприятствовала Ирвингу и поначалу Куперу, способствовала забвению Френо и восторгу перед свежим, чистым, неподдельно американским голосом Брайента; со временем эта атмосфера способствовала признанию Лонгфелло и помогла Эмерсону порвать путы традиции и расчистить дорогу для Уитмена.

Не все верили, что «зависимость — это состояние деградации, отягощенное позором» и что «брать из чужих рук то, что можно произвести самим, только усиливает степень нашей вины в лени и косности». Несмотря на все призывы Френо и прочих, литературная независимость, о которой мечтал Трамбулл еще полвека назад, не была достигнута вплоть до 1820 года. Когда Кэмпбелл издал в Англии «Гертруду из Вайоминга», Родмен Дрейк уже в двадцатые годы снова сетовал, как прежде:

Стихи — не дело местных уроженцев;
Какой-нибудь заезжий менестрель
Удачней воспоеет красу родных земель.

14. РОЖДЕНИЕ БЕЛЛЕТРИСТИКИ И ДРАМАТУРГИИ

1

Параллельно с развитием поэзии и очерка в этот период идет развитие драматургии и прозы. Здесь тоже заметна тенденция создать независимую отечественную литературу, которой было бы по силам соперничать с прославленной европейской традицией.

Спрос на роман, столь явный в Англии второй половины XVIII века, в Америке вплоть до 1790 года удовлетворяли сочинения иностранных авторов. Затем местные литераторы внезапно начали писать собственные произведения по трем английским образцам: сентиментальные (или семейные), сатирические и готические. Первым завоевало популярность сентиментальное направление. Обычная его тема — обольщение — не только позволяла слегка пощекотать нервы читателя, но и преподать необходимые моральные уроки, благодаря которым и могла существовать подобная литература. Так, во «Власти чувства» (1789) Уильяма Хилла Брауна, обычно считающегося первым американским романом, предполагалось «рассказать несколько правдоподобных случаев, показав фатальные последствия обольщения... дать представление о сущности человеческой жизни». С этого предварительного пояснения начинается повествование, в котором есть обольщение, с трудом предотвращенный инцест, похищение, насилие и самоубийство. Основной сюжетной линией является судьба одного молодого человека, который, узнав, что его возлюбленная в действительности приходится ему сводной сестрой (в результате адюльтера), стреляется за столом, на котором лежит томик гётевского «Вертера». Побочная сюжетная линия связана с похождениями беспринципного Лотарио, одерживающего победу над добродетелью свояченицы. Его жертва умирает, приняв яд. Браун пытался излагать события столь благопристойно, что многое остается неясным, на многое в эпизодах лишь намекается; и все же моралисты нашли в подтексте нечто такое, что, по их мнению, могло, если не развратить сердце, то разжечь дурные страсти. Однако, как написано на титульном листе, в основу истории были положены «подлинные события». Побочная сюжетная линия настолько явно воспроизводила на шумевшее скандальное событие из жизни современного Бостона, что Брауна уговорили изъять книгу из продажи.

Коннектикут и Нью-Йорк пошли по стопам Бостона и получили свои сенсационные книги. «Шарлотта Темпл» Сюзанны Роусон (Лондон, 1791) — один из самых популярных романов, повествующий о трагических переживаниях молодой англичанки, которую любовник обещанием жениться заманил в Нью-Йорк, а затем бросил, оставив ее умирать в родовых муках. Старомодно риторичная, книга тем не менее написана искренне и с чувством, которое подкупает даже сегодня; и действительно, она покупается до сих пор. Подобно «Власти чувства», в основу этого произведения положена реальная драма некоей Шарлотты Стэнли, чей прах (согласно легенде) покоится на кладбище в Тринити, под могильной плитой, на которой теперь высечено «Шарлотта Темпл». Чем привлекла «Шарлотта Темпл» миллионы читателей, любовной ли историей, или своей нравственной символикой, трудно сказать, только до 1860 г. книга выдержала около 160 изданий (многие из которых неправдоподобно искажали первоначальный текст).

С выходом романа Ханны Фостер «Кокетка» (1797) Коннектикут также получил сенсационное литературное предостережение. Книга подробно передает историю Элизабет Уитмен, дочери одного из попечителей Йельского колледжа, неосмотрительно поверившей «джентльмену», которого одни неуверенно называли Аароном Бэрром, другие — Пирпонтотом Эдвардсом, сыном Джонатана Эдвардса. Она умерла родами в гостинице города Данверса, Массачусетс. В романе героиня (Элиза Уортон) является жертвой как своего тщеславия, так и безответственности блестящего офицера. События постепенно раскрываются через переписку героев, но мораль неизбежна — и трагический конец Элизы является еще одним уроком молодым женщинам.

Все три произведения выдержаны в традиции романов Ричардсона*, повествующих о женщинах, попавших в беду. Два из них, написанные в эпистолярной форме, уделяют большое внимание исследованию «человеческого сердца». Местами они перенасыщены дидактикой, однако, учитывая, что все эти уроки могли быть преподаны и «голой» прозой, без какого бы то ни было налета художественности, можно заключить, что авторы предпочитали быть в большей степени романистами, нежели моралистами. Литературное качество этих романов невысоко. Окружение героев почти не описано, диалог рыхлый и вялый. История «Шарлотты Темпл» наиболее трогательна, «Кокетка» более других выдерживает форму романа, «Власть чувства» — самая нетерпимая к пороку.

2

Сатирический роман был не так распространен, как сентиментальный, потому что ироничность раздражала кальвинистские умы, а юмор непристойных, озорных эпизодов вызывал нарека-

ния. Появление сатиры — один из первых признаков интеллектуальной зрелости общества и овладения писательским ремеслом. «Современное рыцарство» Хью Генри Брэкенриджа может считаться одним из самых значительных наших достижений в этой области за последнее десятилетие XVIII века. Это пространное сочинение, равное по объему четырем-пяти романам средней длины, было напечатано отдельными выпусками с 1792 по 1815 год. По форме книга ближе всего к плутовскому роману*; содержанием ее является сатира на плохое правительство.

Будучи «плутовским романом», «Современное рыцарство» содержит значительное количество основных элементов и приемов английской беллетристики XVIII века. Наиважнейший из них — сюжет в рамках дорожных приключений хозяина и слуги (очевидная пародия на Дон Кихота и Санчо Пансу). Главный герой «Современного рыцарства» — пятидесятилетний сквайр, капитан Фарраго, о котором говорится, что он «философ-перипатетик», предпринявший путешествие по Пенсильвании. Его слуга, ирландец Тиг О'Реган, неловкий, бессовестный, неугомонный олух, то и дело попадающий в нелепые переделки, из которых каждый раз бесславно выпутывается лишь с помощью хозяина, тщетно пытающегося наставить его на истинный путь. Некоторые его приключения весьма недостойного свойства; так, однажды Тиг забирается в постель горничной, отвергающей его домогания. Когда она начинает звать на помощь, Тигу, не потерявшему, как замечает с иронией автор, хладнокровия, удается бросить тень подозрения на пресвитерианского священника. Вынуждаемый сознаться, чтобы не пострадал невинный человек, Тиг поначалу упирается, затем соглашается признать свою вину, если священник даст ему «приличную деньгу»: «Неблагодарная работа — делать это даром».

Но «Современное рыцарство» — не просто серия плутовских сценок, пересказанных на потеху публики. Тиг — ходячее воплощение некоторых пороков, свойственных Республике на раннем этапе ее существования, и его неблагоприятные поступки заставляют капитана Фарраго (то есть Брэкенриджа) задуматься о правительственных злоупотреблениях. Намерения автора были серьезны: он хотел продемонстрировать состояние американской «демократии» в ее повседневных действиях. Проработав много лет судьей в Пенсильвании, он хорошо знал недостатки демократической политики; тем не менее в своем романе он по большей части занимает позицию стороннего наблюдателя.

«Современное рыцарство» часто называют сатирой на демократию, но Брэкенридж не был в оппозиции к правительству демократов. Он, напротив, заявлял, что, по его мнению, это правительство, «безусловно, самое свободное». В «Современном рыцарстве» он целится не в самую демократию, а в отдельные проявления некомпетентности и злоупотреблений. Объект сатиры

писателя — Тиг. Несмотря на то что он груб и безграмотен, ему повсюду предлагают почетные должности, которым он, если не считать его природенной добродушной пытливости, вовсе не соответствует. Если бы не вмешательство капитана Фарраго, он мог бы стать священником, членом Общества Любителей Философии, составителем договоров с индейцами. Когда он однажды исчезает, капитан не на шутку встревожен, не произносит ли он в это время речь в Конгрессе, а может, читает лекцию в университете; на этот раз, правда, Тиг подвизается в актерах, что подходит ему не больше, чем все прочее. На протяжении книги Брэкенридж критикует законодательство, судопроизводство, церковь, высшее образование, прессу, дуэлянтство, научные исследования, политическое мошенничество и экономическую политику правительства Джефферсона. Его обычный метод состоит в том, чтобы показать Тига в нелепой ситуации, из которой его кое-как спасает капитан, и сразу же перейти к соответствующим философским размышлениям о правительстве и обществе.

Некомпетентность представляла одну из угроз для демократии; другой являлась коррумпированность высокопоставленных чиновников. Необразованные и самонадеянные массы было легко эксплуатировать. «Демагог, обманывающий народ, — главный враг Конституции... По натуре он аристократ, жаждущий власти, а не справедливости. Ему по душе деспотическое правление».

Подобным образом Брэкенридж нападал на политику Гамильтона и на предоставление чрезмерной власти судьям. Демократия должна плыть между Сциллой и Харибдой — «разгулом неприкрытого демократизма» и стремлением аристократии к господству. «Главная идея этой книги, — заключал он, — в том, что люди, ищущие должности, которым они не соответствуют, являются общественным злом». Именно этот урок хотел преподать Брэкенридж в тот момент, когда обсуждались различные теории естественных прав человека. Для него свобода не представляла собой абстракцию или неотъемлемое право человека; она была для него тем, что сознательно ищут и за что борются. Именно потому, что он любил демократию, он стал одним из ее суровейших критиков.

Брэкенридж принимал во внимание вопросы художественной формы — у него была даже своя теория литературного мастерства; учитывал он и спрос публики. Он придавал большое значение ясности изложения и с одобрением цитировал совет Свифта в отношении стиля: употреблять точные слова и там, где нужно. Он презирал бессмысленное украшательство и верил, что основной признак хорошей литературы — «когда при чтении обращаешь внимание только на смысл». Однако его собственные произведения пестрели ссылками на греческих и римских авторов, которые в большей степени, чем современные (не считая «Дон Кихота»), оказали влияние на его творчество.

В то же самое время он считал себя американским писателем. Временами его угнетало сознание собственного одиночества на пустынном Западе, и он «вздыхал по лондонским мансардам», но, в общем, мирился с окружением и никогда не был (как его современник Джозеф Денни) законченным англофилом. Хотя он редко говорил о собственно американских писателях, все же он однажды заметил, что на английском языке в Америке пишут лучше, чем в Англии; и действительно, его проза выдерживает сравнение со многими замечательными произведениями английских писателей XVIII века. Он говорил, что «Современное рыцарство» предназначалось для «Тома, Дика и Гарри из лесов», но уровень романа был таков, что его в первую очередь могли оценить интеллектуалы. Брэккенридж был одним из наиболее зрелых умов своего времени. В то время как женщины-писательницы преподносили молодежи уроки суровой и бесхитростной морали, он учил своих соотечественников, как быть хорошими гражданами. У него была более трудная задача. В этом Брэккенриджу помогала не только свойственная ему мудрая наблюдательность, но и глубокое знание литературы от Платона до Свифта.

3

Чарльз Брокден Браун — представитель американского «готического романа» — был одним из наших первых писателей, сделавших литературу основной профессией, и первым достойным претендентом на звание «настоящего романиста Америки»; ему лишь немногого недоставало до подлинного «величия». Силы для этого у него, бесспорно, были; подвело его неумение сконцентрировать их и поддерживать на одном уровне. Самые разные писатели хвалили его произведения, так же как отечественные и иностранные критики. Им был очарован Шелли: по мнению одного из биографов английского поэта, «ничто так не соответствовало его внутреннему миру, как сочинения Брауна». Китс считал «Виланда» «очень сильной книгой». С одобрением отзывались о романе и многие другие иностранные писатели, в том числе Томас Гуд, Годвин и Хэзлитт. Среди американцев его талант ценили По, Купер, Нил, Дана, Готорн и другие. Сцена, в которой описывается маниакальное безумие Виланда, глубоко потрясла Уитъера, который писал: «Во всей английской литературе нет более волнующего эпизода... Властители древнегреческой трагедии едва ли создали нечто более величественное, чем возвышенный ужас этой сцены, написанной американским романистом».

Общее в дани уважения Брауну — признание его оригинальности: писателя, подобного ему, не было среди предвестников романтизма, которым он был близок той или иной стороной своего таланта. Трудно определить причину притягательности

сочинений Брауна, но все они цепко приковывают внимание читателя не только захватывающим повествованием, но и важными философскими или моральными проблемами, затронутыми в нем, — безразлично, религиозная ли это одержимость (как в «Виланде»), криминалистика (как в «Эдгаре Хантли»), философский анархизм (как в «Ормонде»), филантропические реформы (как в «Артуре Мервине») или брак (как в «Кларе Хорвард» и «Джейн Тальбот»). На первый взгляд, произведения Брауна выглядели сенсационными, однако он не пользовался средствами, способными резко поднять читательский интерес в напряженные моменты действия и отвлечь от высокой задачи познания человечества, — а уж он-то хорошо знал приемы «готических романов».

К себе Браун тоже относился серьезно. Он был очень честолюбив, что шло во вред здоровью. Еще в отроческие годы, проведенные за книгами, и в годы бурной юности Браун строил (частично под влиянием Илайю Х. Смита и Уильяма Данлэпа) грандиозные планы. Он напишет трилогию-эпопею. Он уяснит основные причины человеческих бедствий и найдет спасение от них. Он будет служить делу совершенствования человеческой природы. Он предложит классификацию всех наук. Он будет издавать солидные журналы; об их уровне можно судить по проспекту одного из них: «извлекать квинтэссенцию европейской мудрости; обогреть и оценивать все произведения отечественных и иностранных писателей». В действительности Брауна прельщало столько идей, что от подобного рассеивания энергии страдала работа. В воздухе носились либеральные теории, и он нетерпеливо изучал их за письменным столом. В Брауне пробуждали интерес идеи, которые он не мог полностью и окончательно одобрить; все же он приобрел репутацию радикала, так как в своих произведениях обсуждал самые «передовые» идеи: более либеральный закон о разводах, политические права для женщин, деизм, гуманное обращение с заключенными, улучшение положения земледельцев. Впервые он познакомился с большинством из этих идей в «Политической справедливости» Годвина (1793), но еще в меньшей степени, чем последний, был способен претворить в жизнь радикальные теории. Его меньше интересовал механизм осуществления, нежели мотивы. Браун никогда не разрабатывал последовательной программы реформ, он не обладал необходимыми для этого качествами истинного борца и настойчивой потребностью в действии. Он оставался либеральным мечтателем-утопистом, с довольно смутными представлениями о том, что человечество должно следовать законам разума, отвергать злое начало кальвинизма и уповать на свойственное человеку стремление ко благу.

В основу своего лучшего романа «Виланд» (1798) Браун, видимо, положил действительный случай убийства в невменяемом состоянии, происшедший в Томанноке за несколько лет

до написания романа; но настроение, окраска и мотивировка событий подчеркнута субъективны. Действие романа происходит в окрестностях Филадельфии, где мирно жил Теодор Виланд с женой и сестрой, пока в его жизнь не вмешались силы, расстроившие и без того хрупкую психику хозяина. Он становится жертвой религиозной меланхолии и слышит таинственный «голос». Поначалу этот голос принадлежит бродячему экспериментатору-чрево вещателю Кэрвину, который пользуется своим умением восемь раз в различных ситуациях — от банальной до трагической. Наконец, Виланд, чей религиозный психоз зашел уже далеко, слышит божественный «голос» (на этот раз он принадлежит не Кэрвину), который повелевает ему зарезать жену и детей. Он исполняет приказ. Кэрвин мешает распространить это сомнительное «божественное» расположение и на сестру Клару: он кричит Теодору: «Остановись!» Этот крик вернул безумца в реальность, однако сознание содеянного превращает его в «изваяние скорби» — только смерть освобождает Теодора от невыразимых угрызений совести.

Роман, несмотря на серьезные композиционные просчеты, хорошо сделан и важен в плане историческом. Он написан, несомненно, в ричардсоновской традиции; особенно это ощущается в образе преследуемой неудачами героини (Клары), противостоящей невиданным трудностям. Ее обступают «готические» ужасы: она уединенно живет в доме, идеально подходящем для ночных кошмаров даже с точки зрения архитектуры. Однако эти кошмары сохраняют привкус реальности благодаря серьезности, с которой Браун говорит — впервые в американской литературе — о безумии. В довершение всего там есть фаустианский мотив — характерная черта чрево вещателя — страсть к познанию; оправдываясь, он говорит, что его «единственное преступление» — любопытство. Его отчаяние при зрелище трагедии, в которой он частично повинен, возможно, подсказало Мэри Шелли идею «Франкенштейна». Кэрвин говорит: «Не я ли опрометчиво привел в движение механизм, чьи действия я не мог контролировать и который был безмерен в своей мощи?» Сила романа Брауна не в нагнетании ужасов, а в углублении готического метода с помощью философских, психологических и моральных размышлений; это помогло «Виланду» стать по-настоящему сильным, хотя и неслаженным композиционно произведением.

Браун, как и его герой Кэрвин, обладал неистощимым любопытством. В «Ормонде» (1799), самой хаотичной из всех его книг, он описал блестящего сверхчеловека-негодяя, очень умного и ни во что не ставящего буржуазные представления о добре и зле. Частично его взгляды сложились под влиянием тайного европейского общества иллюминатов*. Он издевается над традиционными представлениями о браке, религии и частной собственности. Соответственно поведение его экстравагантно

и жестоко. Этому почти карикатурному злодею противопоставлена Констанция Дадли, по мнению Шелли, «великолепно сочетающая в себе чисто идеальное и реально возможное». В «Артуре Мервине» (1799—1800) серьезно изучается (с особым акцентом на гражданской ответственности) проблема желтой лихорадки, вспышку которой Браун наблюдал в Филадельфии. Создав «Эдгара Хантли» (1799), он подарил стране первый детектив. В романе есть захватывающие эпизоды, но действие в целом неоправдано. Одновременно он отражает интерес Брауна к годвиновской теме зловещего любопытства, способного породить преступление. «Сцена в пещере» могла вдохновить Эдгара По на создание «Колодца и маятника», а также Купера, сначала посмеявшегося над «Эдгаром Хантли», но впоследствии подражавшего его автору.

В следующем романе Брауна, «Клара Хоуард» (1801), относительно мало насилия, характерного для предыдущих произведений; в основном это любовная история, рассказанная с акцентом на этической дилемме. «Джейн Тальбот» (1801) повествует о затруднениях впечатлительной молодой особы, вышедшей замуж без любви, хотя прежде она успела пережить настоящую привязанность. Браун рассказывает историю с изящным мастерством, странным образом предвосхищая некоторые произведения Джеймса. Относительная безмятежность последующих двух романов показывает, что Браун не забывал об отношениях писателя с публикой. Мастерство его было осознанным. Первые три романа принесли ему известность, но продавались плохо. В апреле 1800 года он писал: «Сочинительство... самое невыгодное ремесло». Когда его брат предположил, что публике, возможно, придется по душе романы, где будет меньше «исключительного и оригинального», Браун угрюмо согласился с ним, пообещав в дальнейшем быть не столь экстравагантным и больше писать о «каждодневном», таком, что, по-видимому, нравится читателям. Но ему так и не удалось стать популярным писателем, и после 1804 года он не создал ни одного романа.

Как писатель конца XVIII века, Браун должен был неизбежно следовать зарубежным образцам, так как собственно американских почти не существовало. Однако он остро ощущал себя именно американским писателем, пытаясь даже в готических романах использовать местный материал. Он гордился тем, что открыл в «Эдгаре Хантли» новые источники художественной силы: «Обычно в таких случаях принято описывать наивные суеверия и отжившие обычаи, готические замки и дикие наваждения. Уместно, однако, обратить внимание на случаи враждебности индейцев и опасности, которые таит в себе дикая природа Запада; уроженцу Америки непроситительно не пользоваться этим материалом. Именно последний составляет основу настоящей истории, каковую автор пытался рассказать правдиво и живо».

Он не считал абсолютным совершенством европейские образцы и в «Кларе Хоуард» писал: «Наши книги в целом — порождение Европы, следовательно, наши недостатки проистекают отсюда же». Под его романтическими теориями и морализированием лежала американская идея демократизма.

Браун, бесспорно, был моралистом, хотя и не догматиком: в его романах авторская мысль срастается с действием. Самые знаменитые эпизоды из его книг являются, по существу, художественным воплощением философского анализа людских неудач. Даже его наиболее антиобщественные по своим поступкам персонажи (как главный герой «Ормонда») выявляют суть основных проблем гуманизма. В большинстве случаев Браун не давал универсальных рецептов: он не был «дидактическим» писателем. Он просто описывал человеческую трагедию с мастерством, достаточно высоким, чтобы оставить после себя немало незабываемых сцен, написанных с большой проникновенностью и захватывающе интересных. Вынужденный постоянно отвлекаться от творчества то из-за болезни, то из-за срочных дел, он писал, когда ему позволяли обстоятельства, и почти без переработки. Он поднялся до вершин мастерства, а затем вдруг пал до напыщенности, балагурства и бессвязности. Не будь этого спада, он мог бы стать великим мастером романа-трагедии.

4

Если роман в это время мог позволить себе поэкспериментировать, почти не вызывая нареканий, то драме мешали стать на ноги разного рода помехи и неодобрение. Становлению американского театра, выработке его творческой позиции препятствовали американские законы, недоброжелательство церковных деятелей, военные действия, желтая лихорадка, страх перед авторским правом, а также многие другие причины.

Моралисты могли нарекать театр «логовом дьявола», законники могли чинить ему препятствия на том основании, что он угрожает общественному здоровью, и все же никакая оппозиция не сумела надолго затормозить развитие зрелища, основанного на принципе инстинктивного желания «увидеть — поверить». Нельзя сказать, что оппозиция внезапно и навсегда сдалась — так, во время Революции она возобновила свою активность, — но суровость ее оценок иногда смягчалась. К концу XVIII века американский театр уже прочно стоял на ногах, но национальной драматургии все еще не было. Репертуар складывался по преимуществу из зарубежных пьес; было бы наивно предполагать, что местная драма могла тягаться с безграничной мощью «Ричарда III», или «Амфитриона» Драйдена, или «Хитрого плана щеголей» Фаркера.

Поначалу вопрос о собственно американской драме даже не стоял. Безусловно, многие американцы пробовали свои силы

в драматургии, но они почти не надеялись увидеть свои пьесы на профессиональной сцене. Из сорока пьес, созданных до 1787 года, меньше полудюжины предлагались театрам, хотя многие из них ставились любительскими труппами. Первая, бесспорно американская, пьеса, написанная для профессионального театра, была показана в 1767 году. Постепенно все большее число американских писателей втягивалось в новое ремесло, так что между 1790 и 1820 годами отечественная драматургия была уже представлена так разнообразно и колоритно, что выделить из этого потока одного, самого талантливого драматурга или самую выдающуюся пьесу — задача нелегкая.

Первой, действительно значительной драмой на американской сцене была пьеса Томаса Годфри «Принц Парфянский», написанная до 1763 года, опубликованная в 1765 году и поставленная филладельфийским «Нью-театр» 24 апреля 1767 года. То, что пьеса была трагедией, соответствовало господствовавшей тогда суровости национального мировоззрения. Не надо удивляться и тому, что по форме пьеса была «елизаветинской», а по сюжету — восточной. Ведь основным населением страны были поднятые с места англичане, не прижившиеся еще прочно на новой земле. При данных обстоятельствах было естественно, что драматург предпочитал обращаться к проверенному и универсальному, нежели к неизвестному и частному. «Принц Парфянский» — вполне сносная пьеса. Она повествует о темных страстях и безрассудных деяниях в древнем далеком Парфянском царстве*. События эпического размаха в союзе с напряженными и яростными личными отношениями выливаются в откровенную мелодраму. Брат убивает брата; отец и сын соперничают из-за одной и той же женщины; жена подстрекает на убийство мужа — вот несколько «кровавых» примет пьесы. В конце героиня, обманутая сообщением о смерти любовника, принимает яд, так что герою остается только собственноручно заколоться. Элементы композиции и язык пьес Шекспира, Бомонта и Флетчера, несомненно, повлияли на драму Годфри, хотя и не во всем. В «Принце Парфянском» первый американский драматург умело использует традицию. Во время революционных войн драма пользовалась большой популярностью. Англичане, активно способствовавшие ее популяризации, временно превратили Фанл Холл в театр. Было написано также несколько пьес, остающихся по сей день интересным сочетанием колониального искусства и политики. Некоторые пьесы выражают мировоззрение тори, как, например, анонимный фарс «Битва при Бруклине» (1776), зло высмеивающий генерала Вашингтона и его офицеров. Среди патристических пьес выделялись произведения Мерси Уоррен «Лысец» (напечатана в 1773 г.) — сатира на губернатора Томаса Хатчинсона — и «Группа» (около 1773 г.), ядовито высмеивавшая тех, кто безропотно согласился на отмену Массачусетской хартии. Вероятнее всего, миссис Уоррен

написала также и «Глушцов», грубо полемизировавших с сатирическим фарсом Бергойна «Осада», который шел на сценах Бостона в 1776—1777 годах. И эти, и остальные пьесы миссис Уоррен не были отмечены высокими литературными достоинствами, которые бы способствовали их долгой жизни в искусстве; однако они — живое свидетельство того, что Революция была одним из источников интереса к театру.

5

Ко времени написания Ройоллом Тайлером «Контраста» нация уже обрела политическую независимость, хотя ее будущая социальная структура пока была неясна. «Контраст» — первая американская комедия, поставленная в Америке, была показана впервые 16 апреля 1787 года на сцене нью-йоркского театра Джона Стрита. «Контраст» и по сей день считается очень сценичной пьесой. В основе ее лежала вечно популярная тема столкновения городской искусственности и сельской наивности, прозвучавшая с особой силой в условиях послевоенной Америки, когда англичане, потеряв политическую власть над страной, продолжали осуществлять контроль в области культуры.

В основной сценической коллизии «Контраста» фигурирует прощельга-англичанин, добывающийся руки чистой американской девушки и одновременно пытающийся бесчестным путем завоевать расположение «компаньонки» своей будущей жены. Его, конечно, разоблачают с позором. Обрисовка характеров «светских» людей — героев пьесы — «выполнена автором с достоверностью, заставляющей вспомнить о его хорошем знании Шеридана: «Контраст» во многом напоминает «Школу злословия», но уже в прологе звучит патриотическая нотка, присущая всей пьесе:

К чему вас уводить в края чужие,
Когда и дома — все перипетии?

Пение «Янки Дудль» во время действия усиливало патриотическое звучание спектакля. Интерес американцев подстегивался также различными аллюзиями отечественного характера, а также прославлением американского характера. Срыв полковником Мэнли зловещих планов заговорщиков, а также его успех у молодой леди, которую он спасает из рук щеголя, воспитанного в идеях Честерфилда, — все это говорит о настроениях американцев в 1787 году. Сами американцы должны устанавливать нормы поведения своих граждан.

Популярность «Контраста», возможно, во многом обязана мастерству, с которым Тайлер ведет диалог, а также первому появлению на американской сцене удачного образа фермера-янки, Джонатана, чьи здоровые моральные принципы жителя Новой Англии, иногда им, правда, забываемые, сочетаются с детским

простодушием; порой это приводит к чрезвычайно смешным ситуациям, из которых особенно выделяется эпизод, когда Джонатан после случайного посещения театра пытается применить на практике советы чужеземного слуги из пьесы, как преуспеть в любви. Эта сцена почти достойна Филдинга, чей Парtridge — несомненный двоюродный брат Джонатана в литературе. Любовные ухаживания Джонатана встречают отпор, и это проясняет ему голову: «Если все ваши городские леди таковы, так давайте мне двадцать акров земли, где угодно. Библию, козову, Табиту и мирный семейный очаг».

«Контраст» остается пьесой, в которой американские идеалы выразились наиболее полнокровно; следуя английской традиции, пьеса все же прокладывает новый путь. На книжное издание пьесы подписались Джордж Вашингтон, генерал Хамфриз, не считая прочих выдающихся людей. Тайлер написал и другие пьесы, в том числе музыкальный фарс (популярная драматическая форма того времени), но его слава как драматурга зиждется в первую очередь на «Контрасте».

Противоречие, с которым столкнулись ранние американские драматурги, заключающееся в сочетании больших возможностей, открывшихся перед драмой, и ряда тормозящих ее развитие обстоятельств раскрывается и в творчестве Джеймса Нелсона Баркера, пробовавшего свои силы в комедии масок, семейной комедии характеров, злободневной (или политической) драме, романтической комедии и исторической драме. Его сентиментальная комедия «Слезы и улыбки» (поставлена в 1807 г.) возвращается к теме чужеземной угрозы нашим обычаям, столь мастерски разработанной Тайлером в «Контрасте», только на этот раз противниками выступают не англичане, а французы. Сам Баркер «никогда не видел ни одного янки в глаза», но по просьбе актера Джефферсона ввел в пьесу образ Натана Янка. Спектакль пользовался умеренным успехом. Его следующая пьеса, «Эмбарго» (поставлена в 1808 г.), демонстрирует поворот к реалистической дискуссии в политике. Текст ее утерян, но, когда «Олд Друри» («Честнат-стрит тиэтр») в Филадельфии поставил пьесу, торговцы, которые не разделяли в отличие от автора позицию правительства, подняли страшный шум. Драматургия явно превратилась в социальную силу, с которой нельзя было не считаться.

В «Индийской принцессе» Баркера (1808), первой из американских пьес на «индейскую» тему, поставленных на отечественной сцене, рассказывается о приключениях Джона Смита и Покахонтас, причем основное внимание автор уделял не опасностям, со всех сторон окружающим Смита, а сосредоточился на романтической любви Ролфа и принцессы, а также на любовных отношениях второстепенных персонажей. Баркер не стремился к правдивому отражению событий. Все кончается хорошо: разговор, целью которого было убийство белых, раскрыт, и, как гово-

рит в пьесе лорд Делавер, «наступает брачное время для «голубков». Джон Смит оставляется в живых, чтобы воочию лицезреть время, когда «искусства, усердие и изящества будут царить» в «этой прекраснейшей части света». Названная мелодрамой (свидетельство возрастающего влияния французского театра), «Индийская принцесса» — легкая сценическая пьеса с музыкой и масками, вводимыми по ходу действия в угоду публике.

Наиболее амбициозная из пьес Баркера — «Суеверие» (подставлена в 1824 г.). Это тщательно сконструированная драма, в основу которой положен эпизод Судилица над ведьмами, впоследствии неоднократно использовавшийся Купером, Готорном, Полдингом, Лонгфелло и другими. Это трезвое и серьезное изучение одной из жестоких страниц американской истории. Пьесе не суждена была долгая жизнь на сцене лишь по вине языка, не соответствовавшего духу пьесы.

Баркер принимал самое живейшее участие в общественной жизни, и его пьесы — только одна из сторон его многогранной деятельности на благо людей. Он не верил слепо в неуправляемую демократию. Он понимал, как показала разработанная им тема колдовства в «Суеверии», каким бедствием могут стать действия «бездумной толпы». И все же, по существу, Баркер был американцем и республиканцем. Кроме того, он был верным поборником американского театра, хотя и смотрел сквозь пальцы на уловки театрального дельца, Уильяма Буда, выдававшего одну из его пьес (а именно «Мармион»; поставлена в 1812 г.) за произведение английского драматурга. Не будучи националистом-фанатиком, он тем не менее внес свою основательную лепту в создание отечественной традиции в драматургии. Тайлеру он уступал в мастерстве, но превосходил его искренностью. Данлэпу же он уступает в силу необычайной плодовитости последнего и его беззаветной преданности театру.

6

Имя Уильяма Данлэпа — одно из самых влиятельных в истории культуры молодой Америки. Он не проявил гениальности ни в одной области искусства, но отличился во многих. Драматург, театральный директор, художник, историк в области драмы и изобразительных искусств, романист, биограф, мемуарист, журналист, антрепренер — Данлэп избежал участи большинства канувших в неизвестность, талантливых людей, проявивших подобную многосторонность. За заслуги перед живописью его называли американским Вазари*, с таким же успехом его можно было величать и родоначальником американского театра и драматургии. Его преданность драме выросла из убеждения: «Возникновение, рост и расцвет театра знаменует более высокий уровень развития общества и нравов любой страны». В период влияния Данлэпа, относящийся приблизительно к 1790—1820 го-

дам, все искусства в Америке переживали трудное время. Если даже такой человек, как Джон Адамс, мог сказать: «Я не дам И шестипенсовика за картину Рафаэля или статую Фидия», — это означало, что предстоит гигантская самоотверженная работа. Данлэп возражал против того, что драму привычно выделяли из прочих искусств, делая ее козлом отпущения. Он верил, что «искусства связаны между собой и должны либо развиваться, либо гибнуть все разом... если драма наносит вред обществу, то это относится и к литературе, и остальным искусствам». Благодаря влиянию, которое оказывал Данлэп, будучи владельцем театра, художником и постановщиком, ему удалось поддержать и укрепить театр в этот смутный период. Пусть как писателю, Данлэпу не хватало высокого воображения, все же он оказал неоценимую помощь молодой нации в период, когда ей так были нужны вкус и техника.

Пьесы Данлэпа одновременно и отражали условия, в которые был поставлен американский театр, и способствовали сохранению их. Будучи постановщиком, он шел навстречу пожеланиям публики: он часто ставил Шекспира, но в его театре шли и посредственные пьесы Коцебу* — любимца европейского и американского театра 1800—1805 годов. Однако даже в его уступках публике заметен хороший вкус и забота о мастере, хотя они и не всегда главенствовали. Сам он написал и перевел около шестидесяти пьес. Если проваливалась одна, он через десять — пятнадцать дней предлагал следующую. Из своей многосторонности Данлэп извлекал преимущество: он держал театр полностью в своих руках. И прежде всего он экспериментировал в разных жанрах драмы: в комедии, фарсе, мелодраме, трагедии, героической драме, романтической драме, опере, семейной драме и патриотических «зрелищах» — нечто среднее между спектаклем и карнавалом. Местом действия его пьес были Америка, Англия, Германия, Франция, Россия, Италия и Южная Америка.

Его первая пьеса «Отец, или американский шэндизм» (поставлена в 1789 г.), была приметным, хотя и не слишком великим произведением, написанным под влиянием «Контраста». Сам Данлэп считал своей лучшей пьесой «Итальянского отца» (поставлена в 1799 г.), моделью для которой послужила «Честная потаскушка» Деккера. Сейчас осведомленные критики склоняются к мнению, что лучшая его пьеса, пожалуй, «Андре» (1798). Это трагедия, посвященная последним дням английского офицера. Драматическое напряжение усиливают попытки молодого американца спасти Андре, который в прошлом вел себя благородно по отношению к нему. Но генерал Вашингтон, к которому молодой Блэнд обращается с просьбой о помиловании Андре, отклоняет ее из патриотических соображений. Положение усложняется, так как англичане угрожают казнить отца Блэнда (их пленника), если Андре повесят. Так как финал был заранее известен зрителям, успех пьесы зависел от способности Данлэпа

(и актеров) провести спектакль в высоком, торжественном ключе и проявить изобретательность в отдельных сценах. По тону пьеса выдерживала заданную высокую торжественность, но действие распалось на ряд сценок, не вязавшихся, несмотря на единство времени, друг с другом. Белый стих, которым написана пьеса, гибок и удачно имитирует манеру елизаветинских драматургов. Публика прохладно приняла первоначальный вариант пьесы, но Данлэп срочно переработал ее и пустил как патриотический спектакль с музыкой. В таком виде под названием «Слава Колумбии» она имела коммерческий успех. Однако как драматург, Данлэп демонстрировал скорее хорошую технику, нежели высокое мастерство. Для него текст пьесы был лишь одним из элементов, от которого зависело благосостояние театра.

Данлэпа интересовали самые разные постановочные и деловые аспекты. Он часто выступал против системы «звезд», так как боялся, что драматурги в своей работе начнут руководствоваться прихотями знаменитостей, а не принципами серьезной и логически построенной драмы. Он изучал материальные условия, наиболее подходящие для театра, а также подбирал необходимые декорации и реквизит. Данлэп заметил, что слишком большое театральное помещение неблагоприятно для спектакля, потому что в этом случае плохо видна мимика актера; к тому же в этом случае «требуется более громкая декламация, что разрушает мелодию речи и делает невозможным более тонкое интонирование». Он тщательно отработывал все детали постановки, особенно когда дело касалось пьес Шекспира. Однажды он прочитал «несколько книг», только чтобы выяснить, какие знамена были «у британцев при Цимбелине». Его интерес к синтезу различных театральных искусств проявился при постановке «Гамлета», когда он попытался дать в рисованных декорациях интерпретацию пьесы. Даже поглощенный практическими вопросами, искушаемый желанием угодить публике, он все же никогда не отказывался от своих высоких идеалов.

Одновременно и драматург и постановщик, Данлэп не стремился обязательно вводить американские темы. Он даже сомневался, «стоит ли нам желать национальной драмы, отличной от пьес наших английских предков». Он считал, что процесс американизации должен быть постепенным и не навязываемым сверху; хотя в одном отношении он приветствовал создание национального театра, имея в виду систему государственного финансирования. Данлэп полагал, что в этом случае исчезло бы большинство недостатков театральной жизни, проистекающих из капризов и скупости владельца театра, и ссылался на подобный опыт в Германии и Франции. В своей «Истории американского театра» он то и дело возвращался к этой возможности спасти драму. Такая система, вероятно, улучшила бы и его участь, потому что он до конца жизни не вылезал из финансовых затруднений, а однажды был объявлен банкротом.

В последние годы жизни Данлэп мало занимался театральными делами, снова вернувшись к живописи и литературной деятельности и кое-как сводя концы с концами. В 1832 году он выпустил «Историю американского театра», ставшую, несмотря на явные композиционные неувязки, памятником человеку, в свое время сделавшему больше, чем кто-либо для американского театра и драматургии.

7

В этот период времени роману везло больше, чем драме: «Современное рыцарство» Брэкенриджа и «Виланд» Брауна достигли высоты литературного мастерства, пока неизвестного драме. И все же в течение долгого времени оба жанра литературы приносили весьма скромные плоды. Это принято объяснять несовместимостью искусства с пуританской моралью, а также чрезмерным влиянием Европы. Возможно, последнее обстоятельство было особенно неблагоприятным. Пуританизм был реальной угрозой, но влияние его постепенно ослабевало и вскоре достигло той стадии, когда он не мог быть препятствием для истинного художника. Влияние Европы, особенно Англии, было более тонким, многообразным и всепроникающим. Англия дала нам язык и традицию. У нас была в руках готовая литература, и разве не естественно, что мы не торопились с созданием своей? После завоевания независимости мы еще долго были, по словам Баркера, «колонистами по духу». Провинциальный снобизм мешал американцам видеть достоинства собственных творений. Некоторые критики, как заметил в предисловии к «Слезам и улыбкам» Баркер, ввели в употребление оскорбительный термин «колумбианизм», которым клеймили «описание... американских манер, обычаев, мнений, характеров, природы... Они не прощали обращения к нашим местным особенностям, но жадно внимали деревенской речи йоркширца или ньюмаркетскому жаргону». Англичане, проигравшие войну, поощряли эти настроения, умаляя наши заслуги и в культурном развитии.

Однако были и исключения: актер Джон Говард Пейн, например, пользовался большим успехом в Друри Лейн, а его трагедия «Брут» выдержала за сезон пятьдесят представлений. Впоследствии, однако, он стал жертвой «предрассудков»: его преследовали за американские убеждения. В течение первых двух декад XIX века между Англией и Америкой шла бесславная литературная война. Целью книги Ирвинга «Английские писатели в Америке» было ослабить взаимное недоброжелательство. Он напоминал Англии, что атаки на нас унижают ее, и призывал американцев снисходительно относиться к Англии — этому «вечному справочнику». Но вряд ли было мудро пытаться покончить с литературной войной, умиротворяя обе стороны. Пожалуй, следовало бороться за литературную независимость.

15. АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА

1

В то время как граждане Соединенных Штатов старались создать литературу, соответствующую предполагаемому величию национальной судьбы, идея Америки сама становилась частью культурной традиции Европы. Как состояние ума и как мечта Америка существовала задолго до того, как ее открыли. С самых ранних дней западной цивилизации люди мечтали о потерянном Рае, о Золотом веке, где было бы изобилие, не было бы войн и изнурительного труда. С первыми сведениями о Новом Свете возникло ощущение, что эти мечты и стремления становятся фактом, географической реальностью, открывающей неограниченные возможности. Первые мореплаватели высадились не на скалистые берега северной части Америки, а на острова, продуваемые благоуханным ветерком, населенные мирными туземцами, которые без особых усилий и усердия жили естественными дарами щедрой земли. Их нагота, их обезоруживающее незнание стыдливости, их простота указывали, казалось, на то что в отличие от народов Европы они почти не затронуты проклятием первородного греха.

Рассказы путешественников с самого начала давали богатую пищу для яростных споров между противниками и защитниками европейских форм жизни, развернувшихся в ранний период Возрождения. Критики общества, которые с каждым днем становились все более сплоченными, изобретательными в доводах и умудренными, не уставали сравнивать простую, добродетельную, «естественную» жизнь индейцев со сложным, беспокойным, алчным существованием цивилизованных людей. Вне всякого сомнения, именно таких людей имел в виду Шекспир, когда заставил старого честного советника Гонзало в «Буре» нарисовать картину идеального сообщества, которое он учредил бы на острове, будь он там королем:

Все нужное давала бы природа —
К чему трудиться? Не было бы здесь
Измен, убийств, ножей, мечей и копий
И вообще орудий никаких.

Сама природа щедро бы кормила
Бесхитростный, невинный мой народ.
Перев. М. Донского

Такой «нежный примитивизм» можно обнаружить и у французского поэта Ронсара, и в истории «поселенца на Дунае», пересказанной испанским писателем XVI века Антонио де Гевара, и даже позднее, у Сервантеса, в описании острова Баратария, когда там правил добрый Санчо Панса. Такому философу, как Локк, он представлялся верным образом состояния, которое существовало до того, как личная собственность и договоры заложили основы нынешнего человеческого общества, ибо тогда «весь мир был Америкой». Ни Локк, ни Вико *, ни Монтескье не намеревались использовать восхваление дикарей как аргумент против наших форм общества, но именно такова была цель французца Лаонтэна в его «Диалогах между американским дикарем и автором» (1703 г.) и, в меньшей степени, Жан-Жака Руссо. Вольно или невольно, эти проповедники более или менее полного возвращения к природе были предшественниками современных анархических и коммунистических утопий.

Приверженцы более жесткой формы примитивизма тоже находили обилие материала у путешествовавших в северных частях Америки, особенно — в хрониках иезуитов. Святые отцы, воспитанные в классических традициях, с восторгом обнаруживали в индейцах образцы греческих и римских республиканских добродетелей и стоицизма. С другой стороны, не менее очевидно, что свою неприглядную картину естественного состояния человечества Гоббс тоже воссоздал на основе отчетов путешественников. Однако такие пессимистические взгляды были исключением; преобладали представления о бескрайних щедрых землях, не тронутых пороками современного общества, и показательно, что в 1516 году Томас Мор, создав прецедент для бесконечных подражателей, поместил идеальное государство Утопию в только что открытых землях.

Эта мечта о Земном Рае была, конечно, миражем, но не только — она была и революционной силой, вырвавшейся на свободу в западном мире, так как показывала, что человечество не было обречено из-за некоего прирожденного порока на изнурительный труд, страдание, угнетение, войны, голод, нищету. Неправильная организация человеком общества, а не человеческая натура была повинна в его несчастьях. Америка как идея уже прокладывала себе дорогу, указывая направление давним и до того несбыточным поискам счастья,

Если бы люди смутно не ощущали, что Новый Свет подает надежду всему человечеству, возмущение зверствами, которые чинили европейские завоеватели, может быть, не было бы таким сильным. Первый красноречивый взрыв возмущения принадлежал испанскому миссионеру, знаменитому Лас Касасу. Его

«Краткий доклад о разорении Индий» (1552) был переведен на английский язык в 1556 году, на французский — 1559, а латинский текст циркулировал по всей Европе. Это было начало долгой цепи протестов во имя гуманности против неоправданного насилия и порабощения невинных народов. Это было утверждение прав так называемых низших народов, отзвуки которого слышались на протяжении всего XVIII века. После эксцессов, допущенных завоевателями, стали иначе понимать право на завоевание и право на колонизацию*.

2

Смысл событий был ясен: то, чего не сумела достичь наша цивилизация, может быть, осуществится на недавно открытых землях. Этот «голый мир-младенец, еще не отнятый от груди», вдруг подарил дряхлеющему миру еще одну, быть может последнюю, возможность построить заново град человеческий.

Несмотря на неопределенность примитивистской мечты в литературе, к середине XVIII столетия этот взгляд приобрел отчетливые очертания. Образ американского индейца занял такое место на сцене, в поэзии и прозе, какое он не занимал никогда, и чаще, чем когда бы то ни было, его простые и естественные добродетели стали противопоставлять испорченности цивилизованного человека. Было слишком очевидно, что любая реформа в Европе потребует огромных усилий и что нельзя создать новые системы, не разрушив здание, которое все еще укрывало недовольное общество; с другой стороны, в Америке преследуемые могли найти не только убежище, но и возможность заложить основы общества, более справедливого. Надежды возлагались не только на британские колонии; примерно в середине XVI века французы пытались создать подобные поселения в Бразилии и во Флориде. Удалось ли то же самое сделать иезуитам в Парагвае — философам решить не удалось. Известно, во всяком случае, что после отмены Нантского эдикта французские гугеноты нашли убежище в Новой Англии, на берегах Гудзона, где к ним присоединились беглецы из протестантского Рейнского Пфальца, а также в Пенсильвании и обеих Каролинах. Новая Англия и Виргиния стали объектом изображения во многих «поощрительных» произведениях, призванных противостоять рассказам об испытаниях, выпавших на долю первых колонистов.

Пенсильвания занимала привилегированное положение среди британских колоний. Даже самые восторженные мечтатели никогда всерьез не предлагали вернуться к первобытному состоянию. Задача состояла в том, чтобы найти такую форму общества, которая позволила бы человеку сохранить свои природные свойства и одновременно пользоваться всеми благами, вытекающими из общения с ближними, и именно такую формулу предло-

жил в конце века Годвин в своем знаменитом «Рассуждении о политической справедливости». Правда, задолго до Годвина французские просветители полагали, что они открыли идеальное сообщество в «республике Пенсильвания». Это представление в значительной степени было вызвано пропагандистской деятельностью Уильяма Пенна, которую он вел в Европе, желая привлечь иммигрантов в Америку. На английском, голландском, немецком и французском языках появлялись брошюры и листовки, содержащие восторженное описание преимуществ, которые получали колонисты, и распространялись среди будущих иммигрантов. Квакеры, которые сами подвергались преследованиям, практиковали покупку земель у индейцев, а не захват их силой. Они были истинные республиканцы, предпочитали в обращении эгалитарное «ты» и никого не признавали хозяином над собой, они были философами, отказались от внешних религиозных атрибутов и «поклонялись Господу единственно в сердце своем». Благородные квакеры унаследовали добродетели благородных индейцев, и потому в своих «Письмах из Англии» (1734) Вольтер мог заявить, что Пенн принес на землю Золотой век, считавшийся до того выдумкой поэтов, но теперь реально существующий в Пенсильвании. На протяжении всего XVIII века развивалась полуфилософская, полусентиментальная литература, посвященная добрым квакерам, нашедшая наиболее полное выражение в «Философской истории обеих Индий» аббата Рейналя, где автор противопоставлял гуманное и разумное развитие «республики Пенсильвания» зверствам испанцев, португальцев и других европейцев, которые они совершали в ходе колониальных захватов.

Даже если британским колонистам не удалось повсюду создать поселения мудрецов, все равно остается фактом, что свобода в Америке в гораздо большей степени явилась результатом природных условий, нежели сознательных усилий. К такому заключению пришел в 1774 году редактор «Газетт де Франс», официального органа двора: «Те из наших мореплавателей, которые исследовали эту часть Североамериканского континента, утверждают, что врожденная любовь к свободе, уходящая в эту землю, небеса, леса и озера, не позволяет этой, все еще молодой стране быть похожей на другие части земного шара. Там убеждены, что любой европеец, попавший в Америку, почувствует воздействие ее специфических условий».

То ли по воле providения, то ли в силу «природы вещей», как сказал бы Монтескье и его ученики, обстановка для беспрецедентного политического эксперимента созрела. В начале XVIII века классической страной свободы Вольтер и Монтескье считали Англию. Правда, Монтескье признавался, что он имел в виду не ту Англию, которую видел, но Англию, какой она могла бы быть, если бы принципы британской конституции осуществлялись полностью. Однако американская свобода осно-

ываается не на древних учреждениях и традициях, она была подлинным открытием, и именно так описывал ее Томас Паунолл, один из колониальных губернаторов и друг Бенджамина Франклина, в «Памятной записке правителям Америки» (1783): «Новый порядок Вещей и Людей, который понимает их так, как они есть на самом деле, и полагает истинной Целью и совершенным Благом Политики не что иное, как Результат, который обеспечивает как Равные права, так и Равную Свободу, всеобщий Мир и беспрепятственное распространение счастья в Человеческом Обществе... Таков Принцип, заложенный в законе и деле, и это — отнюдь не умозрительная теорема».

Такой был смысл «Писем американского фермера» Кривера, впервые напечатанных на английском, потом на французском и имевших широкое распространение между 1780 и 1790 годами, и речей Томаса Пейна, который приехал в Филадельфию в январе 1776 года и заявил гражданам, что у них не просто ссора с королем Англии: «Дело Америки в большой мере есть дело всего человечества. Минувшие и будущие события имеют не местное, но мировое значение, они затрагивают принципы всех тех, кто любит человечество и кто заинтересован в развитии этих событий».

И друзьям, и врагам англо-американцев с самого начала было ясно, что именно революция даст ответы на проблемы, от которых зависит будущее развитие западной цивилизации. Даже в Англии проникательные наблюдатели сходились на том, что восстание не удастся раз и навсегда подавить силой. Рано или поздно, колонисты непременно завоюют независимость. Более того, ограничить пределы восстания невозможно, пожар с британских колоний перекинется на другие колонии в Новом Свете, а затем на все европейские колонии по всему земному шару. Это означало исчезновение или глубокую трансформацию экономических факторов, на которых покоилась экономическая структура Европы. Это означало конец монополии, эксплуатации колоний единственно к выгоде метрополии, это означало также, что торговые связи всех наций распространятся на недоступные до того области. В конце концов, это означало свободу мореходства и, следовательно, полную перестройку международной жизни.

Это ясно понимали в Англии, и это объясняет восклицание Хорэса Уолпола, когда он услышал «дурные вести» о поражении под Саратогой: «От Англии сохранится лишь тень былого величия!» Вряд ли менее остро это воспринимали во Франции Тюрго *, Верженн * и даже такие либералы, как аббат Рейналь *, которого страшили последствия распада колониальной системы.

Однако еще более важным и неотложным делом было решить социальные и политические конфликты, которые обострились в XVIII столетии и сводились к проблеме власти. Формы

правления, принятые бывшими колониями, были весьма разнообразны, но все они основывались на доктрине суверенного народа *, которая была записана в Декларации независимости и развита в декларациях, открывающих большинство конституций штатов. Теория была не нова, но практика прецедента не имела. Это была попытка организовать общество, в котором сохранились бы неотъемлемые естественные права, а власть сверху сведена до минимума. Такую форму правления не могли обеспечить ни мудрые законодатели, более или менее вдохновляемые свыше, ни безличное государство, заменившее монархию, — она должна была определяться решениями граждан, которые в совокупности составляли «народ».

Нельзя сказать, что даже философы сразу и во всей глубине поняли, что подразумевается в исходном выражении Конституции: «Мы, народ...» Гражданин Виргинии Маттеи, по происхождению итальянец, вынужден был объяснить французам в 1788 году, что понятие «народ» — это не чернь, что это — понятие, объединяющее всех, кто населяет данную землю. Мирабо тщетно пытался собрать депутатов Национального Собрания, чтобы провозгласить Декларацию прав Человека во имя «народа». Старые предрассудки держались и в 1789 году: понятие «народ» депутаты предпочитали понятие «нация», а выражение «Французский народ» появилось только в преамбуле к Конституции 1793 года. Джоэлу Барло, другу и ученику Джефферсона, в его «Видении Колумба», опубликованном в Париже в 1793 году, пришлось напомнить европейцам, и особенно французам, что народ — это

люди, чье братство нерушимо,
Оно единой клятвой одержимо.

Сам Кондорсе, которого за попытку поддержать восставших сделали «гражданином Нью-Хэйвена», вместе с другими членами философского кружка, группировавшегося около мадам д'Удето, пытался понять, как осуществляется воля народа, и письменно запрашивал своих коллег по Американскому философскому обществу в Филадельфии, какими математическими выкладками американцы обеспечат истинное представительство народа. Несмотря на эти сомнения, магические слова, произнесенные в Филадельфии, отозвались эхом «от Гвадалквивира до берегов Невы», пользуясь выражением того же Кондорсе. Энтузиасты, подобные Лафайету, приветствовали начало «Американской эры», а доктор Ричард Прайс, давний друг Бенджамина Франклина, мог заявить в 1785 году: «Я, наверное, не впаду в чрезмерное преувеличение, если скажу, что после распространения христианства среди человечества Американская революция может стать самым важным шагом в ходе человеческого совершенствования».

Еще до победного завершения революции отзвуки ее стали слышны в Европе. Пожалуй, нигде они не были столь непосредственными и быстрыми, как в Ирландии, откуда еще с 1763 года с тревогой следили, как идет борьба за независимость. «Посмотрите на Америку!» — восклицал Граттан через два месяца после Йорктауна, а 14 июня 1782 года Генри Флуд заявил в ирландской Палате Общин: «Голос из Америки воззвал к свободе, его прокатившееся через Атлантику эхо услышал наш народ, подхватил этот голос, и он загрохотал здесь».

Восторги достигли апогея во Франции. Часто и справедливо указывают, что французская революция была, в сущности, дочерью революции американской. Французская Декларация прав Человека весьма близко следует тексту виргинского «Билля о правах» 1776 года. На американский прецедент ссылались в Законодательном собрании и в других ассамблеях, которые тщетно пытались создать постоянный образ правления на протяжении многих последующих лет. Позднейшие французские историки утверждали, что основные принципы Декларации независимости восходят к Монтескье и Руссо, однако французским современникам Джефферсона, казалось, и в голову не приходила эта обусловленность. Как бы то ни было, французский моралист Шамфор указывал, что, когда в феврале 1778 года Людовик XVI подписал союзный договор с молодыми Соединенными Штатами, он признал законность народной формы правления и тем самым словно отрекся от престола. Почти сто лет спустя, уже к концу жизни, Ламартин имел не меньшее основание заявить с присущей ему поэтической силой: «Нужно обладать проницательностью самого Всевышнего, чтобы различить Америку и Францию: в ходе американской революционной войны и после нее цели и той, и другой страны слились воедино».

3

Борьба за независимость завершилась успехом и установлением прочной формы правления благодаря безмерным усилиям незаметных американских граждан, но обыденное представление склонно создавать героев, воплощающих все лучшее, что было в народе и в эпохе. Революция выдвинула две могучие фигуры, живо символизирующие страну, которую они создали: Джорджа Вашингтона и Бенджамина Франклина.

Джентльмен из Виргинии, о котором Байрон писал после первого отречения Наполеона:

Он — первый, он — единый!
И зависть чтит твои седины,
Американский Цинциннат!

Перев. В. Брюсова

— с первых же дней американской революции пользовался необыкновенной популярностью. Его прославляли в эпических поэмах, он был главным героем патриотических драм, ни один роман о революции не обходился без эпизода, в котором не появлялся бы он — суровый печальный, неразговорчивый, исполненный достоинства, великий человек, лишенный честолюбия, целиком преданный своей стране, постоянно сознающий огромную ответственность, которая легла на его могучие плечи.

Молодой Альфери в Италии посвятил ему в декабре 1781 года одну из своих од об Америке, а семь лет спустя снова воздал должное «благороднейшему и свободному человеку — генералу Вашингтону» в посвящении к трагедии «Брут». Бросая вызов тори, молодой Кольридж в 1792 году пил в таверне за здоровье Вашингтона. Французские волонтеры, сражавшиеся на стороне американцев, видели в нем первоклассного военного гения. Фридрих II добивался сведений о его тактике. Бертье, ставший впоследствии начальником штаба Наполеона, специально побывал в тех местах, где воевал американский генерал, и вычертил аккуратные карты его военных действий. Он был признан стратегом, который революционизировал способы ведения современной войны, благодаря чему отряды его вооруженных добровольцев, не имевших ни военной подготовки, ни обмундирования, «ни сапог, ни хлеба», одерживали победы над кадровыми частями. Слава его еще более возросла в последующие годы, когда французы во время революции были вынуждены собирать всеобщее ополчение, чтобы отстоять границы страны, и когда Костюшко, служивший под его началом, попробовал повторить тактику своего старого генерала во время восстания в Польше. Когда известие о смерти Вашингтона достигло Парижа, молодой Бонапарт, бывший тогда первым консулом и все еще республиканским героем, объявил во французской армии недельный траур и произнес надгробное слово в храме Марса перед ветеранами итальянской и египетской кампаний.

Иностранные офицеры, служившие у Вашингтона, гости из-за границы, посещавшие его в Маунт-Вернон, где он жил как рядовой гражданин под сенью инжирного дерева и виноградников, в один голос говорили о цельности его характера, благородстве и какой-то печальной озабоченности, удивительной у человека такой блестящей судьбы, который при жизни мог пожинать плоды своих успехов. Единственные диссонирующие нотки в этом единодушном хоре похвал слышатся в переписке некоторых французских и английских священников в тревожный период между 1793 и 1797 годами.

Меньше говорили и писали об успехах Вашингтона как государственного мужа, о его роли в выработке Конституции. За пределами Америки скоро забылись названия выигранных сражений, кроме, пожалуй, Йорктауна. Воинская слава Вашингтона померкла из-за того, что, одержав победу, он распустил ар-

мию и сложил с себя полномочия, передав их Конгрессу. С течением времени становилось неизбежным и даже навязчивым его сравнение с Наполеоном, и Вашингтон все более превращался в образец республиканского героя.

В силу понятных причин уважение к Вашингтону долее всего держалось во Франции, но отнюдь не ограничивалось этой страной. Итальянец Карло Ботта, написавший в 1809 году «Историю Войны за независимость Соединенных Штатов Америки», завершил свой труд отставкой Вашингтона с поста главнокомандующего, и это был многозначительный и смелый намек на то, что Наполеон избрал совершенно иной путь. Согласно одному из его биографов, Наполеон сокрушенно вздыхал на острове Св. Елены: «Они хотели, чтобы я стал новым Вашингтоном», — и принимался объяснять, почему условия Европы не дали ему возможности следовать республиканским убеждениям. В «Оде Наполеону Бонапарту» и в «Бронзовом веке» Байрон противопоставил Вашингтона будущим диктаторам. Путешествуя в 1817 году по Южной Америке, Генри М. Брэккенридж * повсюду встречал переводы прощального послания первого президента, и в то же время издаваемый Шатобрианом политический журнал сетовал, что на Бульварах можно видеть портреты Вашингтона и Боливара, вывешенные словно бы в знак молчаливого протеста против реставрации Бурбонов. Однако нет более красноречивого восхваления республиканского вождя, чем те страницы, где автор «Аталы», вспоминая, как в 1792 году его принял президент Соединенных Штатов, противопоставлял Вашингтона и Наполеона — человека, который создал страну, и завоевателя, который оставил после себя только руины.

Героический миф о Вашингтоне был популярен на протяжении всего XIX века и даже в XX. Менее красноречива, чем у Шатобриана, но не менее поразительна глава в заключительной части «Виргинцев» * (1857—1859), в которой Теккерей изображает, как Вашингтон прощается с армией в Уайтхолл-Ферри на Гудзоне. Более характерной и типичной для большинства англичан была оценка, данная Мэтью Арнольдом, который говорил о Вашингтоне как об англичанине, который случайно родился в Америке, и утверждал, что американцы должны видеть в нем образец английского помещика. Во Франции на протяжении всего столетия преклонение перед Вашингтоном было формой оппозиции диктатуре и деспотической власти, как о том свидетельствуют лекции Эдуара де Лабуле, которые он читал в Коллеж де Франс в период Второй империи. В пьесе «Новый мир», написанной Вилье де Лиль-Аданом в ознаменование столетия Декларации независимости, тоже появляется Вашингтон, провозглашающий «Свободу миру». В 1882 году, когда Франция была одержима страхом перед диктатурой, Жозеф Фабр прославлял солдата-гражданина в книге «Вашингтон —

освободитель Америки». Сравнительно недавно, когда многие французские либералы были встревожены возвышением тоталитарной идеологии и растущей популярностью Муссолини и Гитлера, Луи Ферье поставил пьесу о Вашингтоне, в которой возродил старый патриотический дух и от имени великого американца проповедовал республиканские убеждения.

Совсем иного порядка была в Европе слава Бенджамина Франклина. Миссия во Франции (1776—1784) означала апогей его европейской популярности, но он не вызвал бы в Париже бурю восторга, если бы не имел уже упрочившейся репутации. Еще в 1749 году благодаря его другу Коллинсону в Англии стали известны опыты Франклина в области электричества, в 1752 году французский физик Далибар познакомил с ними соотечественников, а вскоре последовали переводы его трудов на немецкий и итальянский языки. Европейские ученые считали его искусным исследователем и экспериментатором, но в представлении публики американский «доктор» был современным Прометеем, способным владеть силами природы, которая внушала благоговейный ужас бесчисленным поколениям.

Слава Франклина еще при его жизни распространилась по Европе, дошла до Австрии, Скандинавских стран, России. Он состоял в переписке с самыми знаменитыми учеными своего времени, получал от них и от монархов самые лестные послания. В Париже он чувствовал себя дома, как в Филадельфии, хотя его познания во французском были далеки от совершенства. После публикации части его «Автобиографии», которая появилась в Париже на французском языке, он стал как бы красноречивейшей иллюстрацией к тезису о неограниченных возможностях, заложенных в «народе», живым примером того, как в республиканском обществе, где классовые различия не препятствовали признанию таланта и гения, бедный паренек может использовать обстоятельства и достичь такого положения, какое в Старом Свете занимали представители привилегированных классов. Не удивительно, что немецкий историк Иоганн Георг Форстер в книге «Путешествие вокруг света» (1784) видел во Франклине пророка, указующего путь к Золотому веку. А Шамфор в «Картинах Французской революции» (1793) прославлял его как провозвестника новой эры простого человека. Тридцать лет спустя «дитя нищеты», который впоследствии станет выдающимся южно-американским вождем, Доминго Фаустино Сармьенто * будет бережно хранить две единственные книги, которые у него были, — Библию и «Автобиографию» Франклина. Даже в 1845 году французский историк Минье включил жизнеописание Франклина в библиотеку, выпускавшуюся под эгидой Академии моральных и политических наук. В 1865 году оно было переиздано той же Академией «как биография, которая воссоздает жизнь благородного человека, кладезя мудрости, пригодной для любого века, любых условий и любого общества, одного из основателей

американской свободы, которая не есть привилегия той или иной расы, той или иной формы правления, но есть простая и полная свобода»,

Франклин не делал секрета из своих необыкновенных успехов в жизни. Философы XVIII столетия тщетно пытались выработать практический моральный кодекс, который не основывался бы на религии и был доступен простому человеку и приемлем для него. У Франклина не было метафизических рассуждений, он излагал безыскусственные и трезвые правила поведения. «Наука Бедного Ричарда» — таким названием обычно снабжают переводы «Пути к изобилию», — это своего рода гражданский катехизис, который очень скоро стали включать в элементарные учебники и который до сих пор можно видеть в отрывках в школьных хрестоматиях Франции и Италии. Нет такого молодого европейца, который не читал бы в школьные годы историю о свистке * и анекдоты из «Автобиографии».

Франклин внес еще один важный элемент в ту картину Америки, которая складывалась перед глазами европейцев. Даже больше, чем Фултон, он воплощал дерзкий по замыслам и одновременно практический дух, столь характерный для американской науки, так что великий английский физик Хэмфри Дэви высоко отзывался о деятельности Франклина, который не ограничивался чисто научными исследованиями, а ставил науку на службу человеку. Франклин первым создал представление, что с помощью науки Америка может достигнуть невозможного. Так возникла популярная традиция, подкрепленная псевдонаучными новеллами Эдгара По и нашедшая полное выражение в романах Жюль Верна, в которых американцы покоряют межзвездное пространство и путешествуют к Луне. Позднее эта, уже утвердившаяся традиция получила новое подтверждение в изобретениях Эдисона, «мудреца из Мэнло-Парк», которого Вилье де Лиль-Адан восславил в романе «Будущая Ева» (1886) не только как изобретателя фонографа, но и волшебника, создавшего с помощью механических приспособлений человеческий автомат, наделенный всеми свойствами живого организма, включая способность чувствовать и думать.

4

Всеобщее восхищение Америкой в период Революции и позднее сопровождалось многими сомнениями и оговорками. По сравнению с первооткрывателями, которых преследовал образ возрожденного земного рая, многие путешественники XVIII и начала XIX века не обладали ни живым воображением, ни «романтичностью». Для них, как и для большинства поселенцев, природа прежде всего препятствовала колонизации, и, чтобы проложить дорогу цивилизации и обеспечить средства к

существованию, с нею приходилось бороться, ее приходилось покорять. Даже в 1770 году Оливер Голдсмит в «Покинутой деревне» рисовал Джорджию как «удручающее место»:

Умолкли птицы в этих черных пущах,
Лишь слышен страшный вспорх мышей летучих...
Там тигр ведет убийственные игры,
А человек там кровожадней тигра.

Иногда более светлые краски встречаются в записках иностранных путешественников, которых действительно влекла природа, особенно флора, как, например, шведа Петера Калма, или в колоритном описании Огайо, опубликованном в Париже незадолго до революции с целью привлечения французских иммигрантов; однако, за исключением Шастелю, который был философом и поэтом, на офицеров, сопровождавших Рошамбо, американские пейзажи не производили особого впечатления, а Лафайет был совершенно равнодушен к красоте природы.

Британские путешественники обычно сетовали на то, что неприглядные поселения, обгорелые скелеты деревьев и уродливые пни, оставшиеся после лесных пожаров, совершенно портят вид. Выжженную землю на участках, мрачные болота с ядовитыми испарениями, разрушающиеся от воды и ветра холмы они сравнивали с ухоженной, «очеловеченной» сельской местностью в Европе. Лишь немногие из них восприняли красоту американского пейзажа, и Айзек Вельд был одним из первых иностранцев, кто почувствовал прелесть осенней листвы, величественных видов Гудзона между Нью-Йорком и Олбэни и Ниагарского водопада. Можно было бы собрать разбросанные по разным книгам описания такого рода. Джон Дэвис был, вероятно, первым европейцем, который в своих «Путешествиях в Соединенные Штаты» с симпатией описал пересмешника. Ему, ученику Руссо, должно принадлежать преимущественное положение среди романтических наблюдателей Америки.

Как ни часты были не лестные отзывы недовольных путешественников, их затмили сочинения двух авторов — американского ботаника Уильяма Бэртрама и французского поэта в прозе Шатобриана. «Путешествия» Бэртрама часто издавались в Европе, и именно из них черпал Кольридж для «Кублы хана» и «Старого моряка», Вордсворт для «Руфи», Саути для «Мэдока», Томас Кэмпбелл для «Гертруды из Вайоминга» (название одного из графств в Пенсильвании), миссис Хименс, Шелли и даже Теннисон для своей поэмы «In Memoriam».

Трудно сказать, в какой мере приумножилось влияние Бэртрама, когда его труд стал главным источником описаний в «Атале» (1802) и «Натчезах» (1826) Шатобриана. Эту знаменитую поэму в прозе во многих отношениях можно считать не

только открытием неизвестного мира, но и конечным и совершенным описанием различных видов экзотики, процветавшей на протяжении трех столетий. Атала и ее бесхитростный возлюбленный уже не дети природы, они разрываются между традициями, обычаями и предрассудками своего племени и новым, более высоким этическим кодексом. Они не могут решить этот конфликт, им остается только страдание и смерть. Поэма Шатобриана — это погребальная песнь исчезающей расе.

Поколение спустя романам Д. Фенимора Купера выпало возродить интерес европейцев к индейской теме и начать совсем иную традицию. Каковы бы ни были намерения автора повестей о Кожаном Чулке, французская публика расценивала их прежде всего как захватывающие приключения с обязательными фигурами индейцев, которые прячутся за деревьями, со зловещей хитростью выслеживают врагов, убивают и скальпируют белых поселенцев. Горячий поклонник Купера Бальзак немало заимствовал у него * для изображения не только полудиких крестьян, устраивающих засады на республиканских солдат в «Шуанах», но и преступников и сыщиков, ведущих постоянную войну в джунглях парижского дна. Таким образом, благодаря веренице популярных романов и особенно произведениям Гюстава Эмара благородные дикари первооткрывателей и философов постепенно претерпели странную эволюцию и превратились в «апашей» — гангстеров французской столицы.

Удивительный успех «Аталы» Шатобриана в начале XIX века можно объяснить великолепными описаниями природы. Ниагарский водопад, Миссисипи, девственные леса, тропические болота — все это служило обрамлением для печальной истории любви Шактаса и полукровки Аталы. Неважно, в какой мере эти описания окрашены поэтическим воображением Шатобриана. Главное состоит в том, что их воспринимали как достоверные, потому что автор буквально грезил американской уединенностью, он слышал голос пустынных просторов, он видел — или благодаря Бэртраму воображал, что видит, — как кишат жизнью болота, как высятся величественные кедры и магнолии (*grandiflora*). Он сделал то, чего заведомо не удалось многим его менее талантливым последователям, начиная с Томаса Мура, который довольствовался замечанием, что вид Ниагары и «навевает грусть, и возвышает», до Френсис Райт *, которая признавала, что водопад «внушает мысль об огромности и мощи одновременно, о вашей собственной незначительности и суетности». Ни гораздо более точные картины Вольнея * в его «Описании климата и почв Соединенных Штатов» (1803), ни дотошная научная обстоятельность знаменитого английского геолога Чарльза Лайелла не могли ослабить того глубокого впечатления, которое произвела маленькая книжка Шатобриана, сразу же переведенная на все европейские языки и ставшая своего рода образцом даже для нескольких южноамериканских

писателей. Эту необыкновенную популярность укрепила «Эвангелина» Лонгфелло, которая тоже вызывала у европейских путешественников радужные надежды, сменявшиеся почти общим разочарованием, когда они попадали в захолустье на востоке Соединенных Штатов.

Гораздо серьезнее, чем этот созерцательный интерес к природе, было желание европейских наблюдателей узнать, способствуют ли естественные условия Америки развитию великой цивилизации. Во второй половине XVIII века французский естествоиспытатель Бюффон и берлинский академик Корнелиус де Пов ответили на этот вопрос отрицательно. Основываясь на отчетах путешественников, они пришли к выводу, что климат тут расслабляющий, а природные условия настолько изнурительны, что не способствуют длительному труду. Только неблагоприятными природными условиями можно объяснить тот факт, что в Новом Свете, несмотря на сообщения о плодородии почвы, плотность населения так и не достигла уровня Европы или Азии. Креолы (белые, родившиеся в колониях) и домашние животные, завезенные сюда, обнаруживали признаки физического вырождения, а дикие животные были гораздо меньше размерами, чем те же виды в Старом Свете. Это был отнюдь не академический вопрос, его политические последствия становились очевидными по мере того, как британские колонии взяли курс на независимость и образовали в конце концов новую нацию. Какие надежды могла возлагать либеральная Европа на Соединенные Штаты, если законами природы этому «молодому» народу определено быть низкорослым и сравнительно слабым? Многие французские офицеры, которые страдали от зимних холодов в Род-Айленде, а потом попали в субтропический виргинский климат, пришли к выводу, что в Америке неподходящие условия для человека. Ларошфуко-Лианкур и Волней, который между 1794 и 1799 годами провел несколько летних сезонов в Филадельфии, не могли не согласиться с ними, особо подчеркивая нездоровую погоду и, как следствие, частые заболевания.

Таковы были представления, которые пытался опровергнуть Франклин, а затем и Джефферсон, но им не удалось убедить своих оппонентов. Последние отголоски этого спора есть в работах Шопенгауэра. Однако факты говорили против теории: вскоре обнаружилось, что, несмотря на определенные неблагоприятные обстоятельства, население Соединенных Штатов равномерно увеличивалось независимо от притока иммигрантов, подтверждая, таким образом, оптимистические расчеты Франклина. Мальтус попытался объяснить это явление: в быстром развитии новой нации он усматривал подтверждение своей теории о том, что население неизменно растет с ростом средств к существованию. Численность туземного населения оставалась практически неизменной из-за недостатка трудолюбия у индейцев. После освоения новых земель население страны увеличилось и продол-

жало расти вместе с развитием сельского хозяйства, так как территории были поистине безграничны.

И все же сомнения насчет качества цивилизации, которую удастся построить англо-американцам, как их все еще называли, отнюдь не рассеивались. Первые сообщения были далеко неблагоприятны. Французские беженцы вспоминали изысканную жизнь при Старом порядке, высокомерные англичане, по-прежнему считавшие Америку ребенком, отбившимся от рук, резко критиковали грубоватые манеры здешних людей или в лучшем случае снисходительно терпели их. В Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне им не хватало литературно-художественных кружков, салонов, концертов, рассеянной и вместе с тем напряженной интеллектуальной жизни больших столиц. Иных, как, например, поэта Томаса Мура, постигло такое горькое разочарование, что они усомнились в либеральных концепциях, на которые возлагали такие надежды. Даже самые благожелательные наблюдатели впадали в обычную ошибку и мерили американское общество европейскими стандартами, а когда сталкивались с грубой реальностью, терпели разочарование. Снова обнаруживалось то самое удивительное расхождение между Америкой как географической, политической и социальной действительностью и Америкой как умозрительным представлением. Пожалуй, с наибольшей силой это выражено у Гёте в «Вильгельме Мейстере», когда один из героев, разочарованный после пребывания в Америке, заявляет: «Я возвращаюсь, и у себя дома, на своей земле, среди моих близких повторю: "Америка здесь, и нигде больше. Hier oder nirgends ist Amerika"».

Однако по мере того, как раздраемая постоянными войнами и междоусобицами Европа постепенно слабела, а Соединенные Штаты, напротив, быстро набирали силу, оптимистические прогнозы относительно будущего развития Соединенных Штатов, сделанные накануне Французской революции, казались все более оправданными. Уже в 1795 году, на третий год Французской республики, ученый Пикте из Женевы, обобщая наблюдения европейских путешественников и сведения из географии Джедидии Морзе, счел возможным исследовать «причины величия Америки». Его книга — не особо значительное явление, но она содержала обзор всего доступного в то время материала. В своих выводах Пикте противопоставлял страну, обитатели которой обладали достаточной мудростью, чтобы «подчиниться сильному правительству для сохранения свободы», Европе, со всей очевидностью обреченной «колебаться между унылым спокойствием тирании и бурной яростью анархии». Одновременно (в 1793—1799) движимый теми же соображениями Кристоф Даниель Эбелинг опубликовал в Гамбурге огромный сборник по Соединенным Штатам, который впоследствии служил главным источником информации для многих поколений немецких ученых.

К еще более решительным выводам после падения Наполеона, Гентского договора и перестройки Европы пришел преподобный Джон Бристед. Этот английский священник, который много лет провел в Америке, в 1818 году видел только две страны, способные к развитию: гигантскую Россию и гигантские Соединенные Штаты. Будучи тесно связанным с европейскими традициями, он не мог безоговорочно восхищаться американским образом жизни, но он признавал, что солнце Европы закатывается, что ни одна из старых наций не может соперничать со страной, которая благодаря сельскому хозяйству, торговле, промышленности, паровому мореходству и техническим изобретениям сможет прокормить население в пятьсот миллионов человек. Не то чтобы земля была особо плодородной — Америка не была «ни эдемским садом, ни Тофетом, долиной убийства»*, — но практически безграничные просторы, которые можно освоить огромной энергией и трудом, открывали такие возможности, о каких не смело и мечтать скученное население Европы.

К аналогичным выводам вынужден был прийти аббат де Прад, бывший капеллан Наполеона, в своей работе «О колониях и Революции как она есть в Америке», (Париж, 1817). Заразительный пример, что предсказывал Джефферсон и чего боялись Тюрго и Верженн, охватил Южную Америку. Следуя Соединенным Штатам, сбрасывали иго Европы испанские и португальские колонии. Через тридцать лет после заключения Версальского договора революционизирующее влияние Соединенных Штатов распространилось по всему Старому Свету. Задавая вопрос: «Какое будущее Соединенных Штатов?» — де Прад отвечал, что согласно выкладкам Франклина, которые до сих пор оказывались верными, Соединенные Штаты к 1919 году сумеют обеспечить средствами к существованию 138400 000 человек. Ничего подобного не видела ни древняя, ни новая история. Американский флаг развевался повсюду, и повсюду само существование Соединенных Штатов угрожало монархиям. Де Прад пошел даже дальше Бристеда: «Нет человеческой силы, что могла бы остановить продвижение нации, которой суждено распространить свое влияние по всему миру, а может быть, и господствовать над ним». Впрочем, это означало уже не влияние, а «вторжение».

Не так сильно, но не менее определенно повторил предупреждение Барбе-Марбуа десять лет спустя. По мнению этого старого дипломата, который служил Людовику XVI и был знаком с Вашингтоном, который от лица первого консула «продал» Луизиану Соединенным Штатам и оставался на дипломатической службе при Людовике XVIII, «даже не принимая активного участия в делах Европы, Соединенные Штаты своим примером будут иметь такое влияние, с которым придется считаться имперским и королевским кабинетам Европы. Держатель

власти — будь то король, магистрат или народ — не сможет править, не уделяя должного внимания политическим свободам граждан».

Это удивительное заявление было как бы уроком, преподанным старым роялистом будущему правителю Франции, очевидному наследнику французского трона «Монсеньору Дофину». Европа снова открывала Америку. Все сомнения и предупреждения Монтескье и его учеников оказались напрасными. Стало уже невозможно утверждать, что республиканская система правления слаба по природе своей и может существовать только в небольшой стране. Америка превратилась не только в мощное государство, сумевшее недавно отразить агрессию, но и единственной страной, где удалось установить «прочную форму правления, не нуждающуюся в особой опоре, тогда как большинство европейских правительств держалось у власти, лишь прибегая к чрезвычайным мерам».

5

Гораздо более мощное и всеобъемлющее влияние, нежели собственно Американская революция, имела новая сила, получившая символическое выражение в магическом слове «Америка» и ощущавшаяся повсюду в Старом и Новом Свете, хотя и незаметная поначалу. Этой новой силой была Демократия. Все подспудные процессы, которые не удалось подавить ни Наполеону, ни Святому Союзу, постепенно подготовили бурный взрыв, потрясший европейские государства в 1830 году. Чтобы определить, какую роль сыграл пример Америки в выработке идей и подготовке движений, достигших в то время расцвета, необходимы, обстоятельные исследования, которыми мы пока не располагаем. Особенно было бы интересно проследить влияние Джефферсона, которое он непосредственно оказал на поборников свободы в Европе путем необыкновенно широкой переписки.

Во время своего пребывания в Европе автор Декларации независимости не пользовался той удивительной популярностью, которую умело использовал в интересах родины Франклин. Его «Заметки о Виргинии» (1784), напечатанные в Париже и Лондоне, не имели широкого хождения, а другие сочинения Джефферсона редко публиковались. Однако он был известен просветителям как автор «Статута о религиозной свободе» и всестороннего плана народного просвещения. У него искали мудрого совета члены конституционной комиссии Национальной Ассамблеи. Высоко ставили его физиократы, которые видели в нем философа-практика и земледельца, заинтересованного в развитии сельскохозяйственных ресурсов страны. Позднее он дружески относился к Волнею, Пристли, Томасу Куперу, Томасу Пейну и предстал в общем мнении как сторонник угнетенных

и защитник политических беженцев, которые покидали свои страны, спасаясь от преследований, тюрем, а то и смерти. Будучи должностным лицом, он был вынужден соблюдать величайшую осторожность в своих посланиях европейским друзьям. После отставки он изъяснялся более откровенно. Он не скрывал, что ненавидит Бонапарта, чье честолюбие превратило Европу в кладбище. Он приветствовал первые попытки южноамериканцев добиться свободы и усилия кортесов установить более либеральный режим в Испании. Он давал советы греку Кораи, португальцу Корреа, поляку Костюшко, испанцу Де Онису и особенно воодушевлял своих французских друзей Лафайета, Дюпона де Немура, Дестюта де Трасси. Он переписывался с британскими либералами, такими, как майор Картрайт, с философами — как Дугалд Стьюарт, с Александром и Вильгельмом Гумбольдтами*. Он знал, что его письма тайно ходят среди его друзей, но возмущался, когда его доверием злоупотребляли, иногда публикуя их. Фактически он был, не отдавая себе в том отчета, вождем тайного движения сопротивления* в Европе во времена Империи и реставрации Бурбонов.

Немногие и пока поверхностные имеющиеся работы, исследующие влияние Джефферсона, весьма интересны. Впечатление такое, что истоки итальянского рисорджименто восходят к сплаву философии XVIII века и французских революционных теорий, в котором джефферсоновский американизм выступает в качестве катализатора. Можно показать, что русский декабрист Пестель создал свою «Русскую правду» (1825) под влиянием теорий государственной власти Джефферсона и «Комментария и обзора «Духа законов» Монтескье» Дестюта де Трасси. Книга Пестеля в свою очередь привела к обнародованию первого в Румынии кодекса законов, выработанного совместно с представителями румынского народа в 1832 году. Если снова обратиться к Франции, то Огюст Конт тоже признавал себя обязанным человеку, который попытался обосновать теорию и практику правления, независимую от теологических и метафизических предпосылок. Сборник писем и речей Джефферсона, опубликованный в 1832 году в Париже, вызвал длительную дискуссию вокруг его политических взглядов и «Насьональ» Армана Карреля. Знаменитый французский критик Сент-Бёв советовал молодым французам взять за образец для подражания человека, который доказал, что одна из первейших функций правительства — уважение прав личности. Столь же выразительно и восторженно писала о Джефферсоне «Эдинбург ревью» в октябре 1837 года, назвав его «признанным вождем той партии, которая совершила первую, и, может быть, самую замечательную, революцию, ту, что имеет огромное влияние на судьбы человечества». Двумя годами раньше Ричард Кобден заявил, что настало время вынести урок из американского опыта, недвусмысленно призывая к полной реорганизации со-

циальной структуры: «Мы твердо убеждены, что единственная возможность национального процветания состоит в том, чтобы своевременно перестроить нашу систему как можно ближе к равенству, используя опыт улучшенного управления американцев».

Незадолго до революции 1830 года французский «доктринер» Ройе Коллар заявил: «Демократия поднялась до берегов», и в самом деле, казалось, что демократия вот-вот выйдет из берегов и неудержимым потоком захлестнет Европу. Но «демократия» была скорее лозунгом, чем определенной программой, так же как лет пятьдесят назад была «свобода». Даже наиболее восторженные ее проповедники не знали, как действует на практике демократическая система правления. В то время, когда надвигалась полная трансформация европейской системы, американцы были единственной нацией, которой каким-то образом удавалось подчинять и направлять в умело сделанные каналы эту, казалось, неуправляемую силу. Соединенные Штаты теперь уже не были вовлечены в беспрецедентный и рискованный эксперимент: эксперимент был поставлен в гигантской лаборатории и увенчался несомненным успехом.

6

Таковы, вероятно, были мысли, теснившиеся в голове у молодого французского судьи, который весной 1831 года пересек океан с официальной миссией изучить уголовный кодекс в Соединенных Штатах. Родившийся в благородной семье, Алексис де Токвиль * был по материнской линии внуком М. де Малерба, неустрашимого адвоката, представлявшего защиту Людовика XVI перед Конвентом. Недавно назначенный на скромную должность в области юриспруденции, внук по своему воспитанию и семейным традициям отнюдь не был подготовлен к тому, чтобы стать если не апостолом, то, во всяком случае, теоретиком и толкователем демократии. Он решился на это путешествие не без сомнений и колебаний. По его собственным словам, Токвиль находился «под давлением почти религиозного ужаса», вызванного зрелищем неодолимой революции, шагающей на протяжении столетий через бесчисленные препятствия и теперь попирающей остатки прошлого на своем пути. Можно ли как-то поставить предел этому «почти роковому или предопределенному явлению»; какими средствами возможно обратиться демократию к великой задаче — научить людей самоуправлению; что позволило американцам избежать западни, в какую попал французский народ, — таковы были важнейшие проблемы, которые взялся решить молодой двадцатисемилетний человек.

Эти утилитарные побуждения, это желание служить своей стране и всей цивилизации обеспечили Токвилю уникальное место среди критиков и историков Америки. У него не было

намерения подтвердить или опровергать ту или иную теорию или систему. Он не страдал предубеждениями или предрассудками, но как судья был обучен искать свидетельства и факты, относящиеся к делу. Его профессиональной подготовкой и объясняются как судейская беспристрастность, так и недостатки его «Демократии в Америке» (1835).

Недавно опубликованные дневники Токвиля свидетельствуют, что у него был живой ум, острая наблюдательность и способность к быстрой реакции. Он много путешествовал по Соединенным Штатам, беседовал с государственными деятелями, учеными, спал в хижинах пионеров и даже побывал у некоторых индейских племен. Но он стремился подняться над частностями, за изменчивой внешностью изменчивых явлений искал устойчивое и непреходящее. Если еще раз воспользоваться выражением Монтескье, его интересовала «природа вещей», а не сами вещи. Он наблюдал, чтобы установить принципы, отталкиваясь от которых, он мог бы путем длительного размышления извлечь логические выводы и конечные уроки в искусстве самоуправления в интересах соотечественников.

Результат и, вероятно, недостаток этого метода, состоит в том, что «Демократия в Америке» не дает живую и полную картину американской жизни, а скорее своего рода диаграмму того, какой она могла бы стать, если бы продолжали действовать принципы, определившие ее развитие. Немалая часть прогнозов Токвиля не оправдалась, но на протяжении трех четвертей столетия его книгу воспринимали как самую фундаментальную и авторитетную работу и в Америке, и за границей, и даже сегодня ее можно читать не без пользы. Токвиль пришел к заключению, что отделение церкви от государства и почти чрезмерная децентрализация — это два столпа, на которых зиждется структура американской цивилизации. Подчеркивая эти черты американской жизни, автор, очевидно, держал в памяти противоположные условия и тенденции в своей собственной стране. Вывод его сводился к тому, что американский эксперимент нельзя повторить в Европе — и менее всего во Франции — без глубокой моральной перестройки. Его картина Америки была предметным уроком, а не образцом для подражания.

Две проблемы были, однако, общими для Европы и Америки. Первая состояла в том, как сохранить свободу личности против тирании — будь то тирания государства или тирания большинства. Вторая проблема, не менее настоятельная, возникла из неудержимых тенденций к выравниванию и понижению в современных обществах. Поскольку старая аристократия наглядно продемонстрировала политическую недееспособность и была обречена, а аристократия денег грозила навлечь не меньшие беды, чем при старом порядке, и поскольку, с другой стороны, простой народ был не способен решить проблемы современной жизни, то: главная задача «сторонников демократии со-

стоит в том, чтобы изыскать такие средства, которые позволили бы народу выбрать людей, способных к управлению, и дать народу достаточно власти, чтобы направлять их в общем и целом, но не в деталях работы и не в способах исполнения ее».

Говоря о первой части своей книги, Токвиль писал Джону Стюарту Миллю *: «Такова проблема. Я твердо убежден, что от решения ее зависят судьбы современных наций».

Одно из неизбежных последствий этого неизбежного выравнивания — исчезновение многих особенностей старой цивилизации, которые были дороги Токвилю и большинству его современников. Прежде всего среди них подразумевалось постепенное обнищание интеллектуальной и художественной жизни, которая может процветать только там, где сохраняется устойчивый слой аристократии. Подобно большинству путешественников и наблюдателей американской жизни, Токвиль не только отказывался признавать сколько-нибудь существенный вклад Америки в литературу и искусство, но и утверждал, что американские условия настолько неблагоприятны для развития искусства, что в лучшем случае здесь можно рассчитывать на появление лишь приемлемых посредственностей. То был старый спор: против таких обвинений выступали в XVIII веке Франклин и Джефферсон, и именно они несколько раз вызывали возмущение американской общественности в первой трети XIX века. Дэвид Уорден, долгое время бывший генеральным консулом в Париже, и позднее Эжен А. Вай в своей книге «О литературе и литераторах в Соединенных Штатах Америки» (Париж, 1841) тщетно старались противостоять высокомерным критическим отзывам об американских произведениях, которые печатались в «Эдинбург ревью», «Квотерли ревью», «Ревю де дё монд». В лучшем случае признавалось, что в некоторых «второстепенных» областях, таких, как история, ораторское искусство, может быть, и естественная история, где работали Бэртрам, Одюбон, Агассис, американские авторы достигли заметного положения. Но даже если имена Ирвинга, Купера и позднее Лонгфелло высоко ценились в литературе, все равно считалось, будто они стольким обязаны литературе Старого Света, что вряд ли могут рассматриваться как родоначальники поистине оригинальной американской словесности.

Такова была цена, которую заплатила Америка — по мысли Токвиля — и которую рано или поздно придется платить Европе, и она не была чересчур высока. Со всеми своими недостатками и несовершенством Америка в его глазах оставалась единственным местом на земле, где новая наука, наука правления, могла развиваться без больших помех, вызываемых внутренними неурядицами и внешними войнами. Европа в этом смысле уже утратила свое первенство. В 1830 году в мире существовало две великие державы, обладающие невыявленными и практически неисчерпаемыми ресурсами, — Америка и Россия; одна из них,

несмотря на многие недостатки, представляла идеал свободы и обещание уважать права личности, другая сосредоточила всю общественную власть в единой руке: «Главный инструмент первой — свобода, второй — служение. У них разные начала и разные пути, но, кажется, обе избраны волей небес влиять на судьбы полмира».

Токвиль не изменил своему убеждению. За шесть лет до смерти, в 1859 году, когда Союз Штатов был накануне развала, вызванного Гражданской войной, он подтвердил свою веру в особую миссию Америки: «Я питаю твердую надежду, что великий эксперимент в самоуправлении, который ведется в Америке, удастся. В противном случае это будет концом политической свободы в нашем мире».

Вряд ли можно переоценить глубокое влияние книги Токвиля. Она была переведена на датский, английский, немецкий, венгерский, русский, сербский, испанский и шведский языки, выдержала много изданий во Франции, Англии и Америке. Почти бесспорно, что Джон Стюарт Милль, который отрецензировал первую часть «Демократии в Америке» через несколько месяцев после ее появления, не написал бы своей знаменитой книги «О свободе» (1859) и не выделил бы проблему «личности» и угрозы вмешательства власти, если бы не держал в памяти картину демократии, нарисованную Токвилем. Воздействие ее ощущалось в самых разных кругах. Токвиль укрепил веру европейских либералов, обратив внимание на определенные формы контроля над народным правительством, а Прудон во Франции, Макс Вебер в Германии и сравнительно недавно Гарольд Ласки в Англии видели в нем пророка, провозгласившего обреченность буржуазии и необходимость выдвижения лидеров из народных масс. В некоторых отношениях, особенно в анализе американской формы правления, Токвиля дополнил, а кое в чем пошел дальше него лорд Брюс. Однако влияние его работы «Американское государство» (1888) было гораздо ограниченнее, тогда как «Демократия в Америке» несколько поколений была если не библией, то, во всяком случае, справочником либералов во многих странах мира.

Один из заметных недостатков книги Токвиля состоит в том, что он не уделил достаточного внимания новым экономическим силам и промышленной революции, которая разворачивалась на его глазах. В этом смысле книгу дополняли два его соотечественника — Мишель Шевалье и Гийом Тель Пуссен. Инженеры в области гражданского строительства, они предсказывали огромную промышленную мощь Соединенных Штатов. Из-за успеха книги Токвиля «Письма о Северной Америке» Шевалье (1836) остались в тени. Подобно многим своим современникам, он мрачно смотрел на будущее Европы. Вместе с ними он разделял теорию о продвижении цивилизации на Запад и упадке старых обществ. Как пылкий француз-патриот, он не мог

признать, что Европа неизлечимо больна, однако считал, что преобладающее влияние в международных делах скоро перейдет к молодым народам Азии, куда он включал и Россию, и к молодым народам Америки. Он возлагал единственную надежду на то, что в конечном счете Восток и Запад, цивилизации Европы и молодых наций Восточной Европы и Азии встретятся на Американском континенте, и не в смертельной схватке, а для того, «чтобы протянуть друг другу руки и соединиться, и это станет величайшим событием в истории человечества».

Его современник Гийом Тель Пуссен, который ставил перед собой задачу «дополнить знаменитую книгу Токвиля», подчеркивал даже настойчивее, чем Шевалье, необыкновенные успехи прикладных наук в Америке. В развитии железнодорожного транспорта и парохозяйства он усматривал конец экономического изоляционизма, своего рода индустриальную демократизацию всего мира, начавшуюся в Соединенных Штатах. В книге с характерным названием «Об американском могуществе» (1845) он предсказывал триумф мировой демократии, которым увенчается великая борьба с неперменным участием Америки. Следовательно, сила и могущество Америки, в которых уже не сомневались, были делом международного значения. Этого мнения придерживались не только французы. Еще двадцать лет назад во вступлении к «Философии истории» Гегель писал: «Америка, таким образом, является землей будущего, где в предстоящие века раскроется смысл истории старого мира... может быть, в соперничестве между Северной и Южной Америкой. Это желанная земля для всех тех, кому надоел исторический чулан Европы. Говорят, Наполеон как-то сказал: «Эта старая Европа меня раздражает. Именно Америка покинет сцену, на которой до сих пор разворачивалась История Мира».

В статье, опубликованной в 1831 году в «Ревю де дё монд», последователь немецкой философии Эдгар Кине проследил распад и смерть религий Старого Света, сопровождающих закат европейских цивилизаций, предсказывал: «Новая идея бога возникнет на озерах Флориды и на вершинах Анд, именно в Америке начнется новая религиозная эра и родится новая идея бога».

Подобный взгляд в интересной интерпретации высказал также прусский историк Фридрих фон Раумер в 1845 году («Америка и американский народ»). В удивительном возвышении Соединенных Штатов он усматривал почти ниспосланные свыше успехи «германской расы, неудержимо шагающей вперед». Не питая надежд на будущее развитие Азии и Африки, не видя никаких признаков восстановления больной Европы, он писал: «Если мы будем вынуждены отчаяться в будущем прогрессе германской расы в Америке, куда еще нам обратить взгляды свои за избавлением, кроме как к новому непосредственному созданию руки всемогущего».

Таковы были некоторые надежды, которые связывались с Америкой. Как на протяжении всего XVIII века, так и в начале XIX Америка была утопией, вернее, землей, где утопия становилась реальностью. Это была земля, где Леже Марнезья надеялся найти прибежище для французских аристократов и где Кольридж несколько лет спустя намеревался основать свою Пантисократию. Это была земля, куда после безуспешного эксперимента в Англии приехал Роберт Оуэн и где он организовал «Новую Гармонию»; где немец Рапп, в шестнадцати милях от Питтсбурга, основал коммунистическое поселение «Экономия». После Ватерлоо сторонники Наполеона во главе с генералом Бертраном прибыли сюда в качестве «солдат-фермеров», чтобы в глуши Техаса и Алабамы насаждать «виноград и оливы». Теории Фурье не смогли быть проведены в Европе на практике, а здесь группа писателей из Новой Англии провела свой знаменитый, хотя и незавершенный эксперимент в Брук Фарм. Америка была единственной страной на земле, где французский социалист Кабэ имел возможность организовать колонии икарийцев, в которой группа приверженцев новых порядков установила самоуправление почти без вмешательства со стороны правительства. Это была земля, где нашли убежище англичане Пристли и Томас Купер, французы граф де Ноай, Талейран и Волней в беспокойное последнее десятилетие XVIII века, а также генерал Бертран, Жером Бонапарт и Ашиль Мюрат после падения Наполеона. Это была земля, куда после 1848 года бежали в поисках свободы немцы, ирландцы, французы, отчаявшиеся установить ее в собственных странах. Это была земля надежды еще в одном отношении: Америка служила неопровержимым доказательством того, что представители всех наций мира, мыслители, реформаторы, благородные поэты, собравшиеся в 1848 году на Международную конференцию друзей мира под председательством Виктора Гюго, не были безумными мечтателями. Соединенные Штаты Америки были «сообществом наций». Они доказали истинность одной из главных аксиом Гегеля о том, что единство преобладает над разнообразием элементов. Пока существовали Соединенные Штаты, была и надежда, что в конце концов народы Старого Света могут спастись от самих себя. Американская мечта стала частью культурной традиции Европы.

*... Значение
независимости*

III.
ДЕМОКРАТИЯ

ВЕЛИКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

1

На протяжении целого периода — от переизбрания Джеймса Монро на пост президента в 1820 году, которое произошло без межпартийной борьбы, до компромисса 1850 года — Соединенные Штаты жили очень замкнутой жизнью. Контакты с Европой были редкими как никогда. Пароходное сообщение через океан, открывшееся в тридцатых годах, носило нерегулярный и ненадежный характер. Телеграф еще не появился. Обмен дипломатическими миссиями и консульствами был ограничен. Прирост населения за счет иммиграции по сравнению с ростом рождаемости упал до самой низкой точки с 1607 года. Три десятилетия Вашингтон, Нью-Йорк и даже Бостон как бы двигались в своем развитии в западном направлении — от Европы к Скалистым горам.

Во время революции американские либералы осуществляли европейские идеи; в первые годы Республики консерваторы также были готовы воспринимать иностранное влияние. Теперь же в условиях частичной изоляции новое поколение приспособляло представления, рожденные в Старом Свете, к своей деятельности и начало создавать новые, здешние понятия для выражения собственного опыта. В этом процессе и возник образ жизни, определяемый двумя силами: самостоятельностью и экспансией. Каждая способствовала развитию другой, но одновременно и вступала в противоречие с ней: тенденция к расширению разъединяла личности и штаты, тогда как самостоятельность, обыкновение полагаться только на свои силы, держала их в одной нации. Это расхождение в рамках единства чаще выражалось в действии, чем в слове, и все-таки слышалось в речах Клея, Уэбстера, Кэлхуна, в социальной критике Брайента, редактора нью-йоркской «Ивнинг пост», и у Купера. На этих перекрестках суждений и поднималось к зрелости поколение Линкольна и Эмерсона.

Чрезмерная уверенность в своих силах, проявляемая народом, есть национализм, который в нашем случае вылился в здоровую, хотя и самонадеянную уверенность молодой страны в своих достижениях и возможностях. Рожденная в политических и философских спорах Европы XVIII века, доктрина национализма

была первоначально воспринята в Америке в своей негативной форме, как враждебное отношение к Англии. Затем она стала сознательным требованием создать свое отечественное искусство, свои установления и даже свой язык — все это должно было создаваться *de novo*¹. Теперь, когда фронтир отодвинулся к Тихому океану, географический фактор придал национализму новое содержание. Соединенные Штаты первыми в истории создавались на основе нового принципа, полагающего, что границы национальности должны совпадать с границами суверенного государства, они явили также первый пример того, как возникает новая нация на щедрой земле неизведанного континента. Верно, что склонность американцев к национальным символам и праздникам, к национальному пейзажу и обычаям, к прошлому страны имеет прямые аналогии в Европе. Но влияние нового мира с его огромными ресурсами и постоянной возможностью освоения земель придало национализму в США особый и острый привкус, который иногда раздражал и всегда поражал иностранных наблюдателей.

Национализм тридцатых и сороковых годов часто был провинциален и шумлив, никогда в американской истории патриоты не были столь громогласны. Однако они оставались реалистами. Наблюдая за тем, как европейские державы оставляют свои позиции в Северной и Южной Америке, государственные деятели в Вашингтоне пришли к выводу, что гарантом американской независимости служат Атлантический океан и собственные интересы Британии. Президент Монро делал ставку и на удобное географическое положение Соединенных Штатов, и на внешнюю политику Британии, заявляя в 1823 году, что молодая республика претендует на роль защитника всего полушария: «Американские континенты... отныне не должно рассматривать как объект колонизации для любой европейской державы» и что всякая попытка иностранного государства взять под контроль то или иное независимое государство в американском полушарии будет расцениваться как «проявление недружественного отношения к Соединенным Штатам». Необходимо помнить, что ни президент, ни его советники Джефферсон, Мэдисон и Джон Квинси Адамс не считали возможным для Соединенных Штатов следовать этой дерзкой политике, пока не убедились в поддержке Великобритании. Самоуверенность американцев того времени была верой не только в свои силы, но и надеждой на единственную иностранную державу, которая имела морской флот, способный нанести удар через Атлантику.

Тем временем американский народ праздновал успех эксперимента в республиканской форме правления. Разногласия между монархистами и республиканцами, характерные для

¹ Заново (*лат.*).

конца XVIII века, исчезли, и монархия стала символом всего, что американцы презирали. С другой стороны, их Республика не была ни радужным миражем, ни царством хаоса, как предрекали европейские реакционеры. Она была живым развивающимся делом. Из ранних концепций естественного права и естественных привилегий американские либералы выковали новую доктрину народного суверенитета. Затем они выступили на защиту Республики как единственной формы правления, соответствующей этой доктрине. (Народный суверенитет в то время еще не всегда ассоциировался с «демократией», этим более поздним термином.) Как и следовало ожидать, американцы находили подтверждение своей вере в периоды республиканского правления во Франции, возникновении южноамериканских республик, в волнениях 1830—1831 годов и в революциях 1848—1849 годов в Европе. Когда где-нибудь проваливался тот или иной политический эксперимент, американцы благодарили судьбу за благополучное состояние их национальных дел.

Растущая убежденность в правильности идеи единого и неделимого Союза Штатов усиливала эгоцентрический американизм. На обеде в День Джефферсона в 1830 году президент Джексон категорично заявил о своей позиции: в ответ на тосты сторонников децентрализации он предложил поднять бокалы за «наш федеральный Союз, который должен быть и будет сохранен». Такой же недвусмысленной была его реакция в 1832 году, когда Южная Каролина объявила федеральный тариф недействительным и пригрозила выйти из состава Союза, если он будет навязан штату. В специальном послании Джексон утверждал, что Союз — это не лига независимых государств, что он суверенен и вечен. Джексон объявил также, что использует войска, если понадобится проводить национальные законы в жизнь. Постепенно штаты стали уважать федеральную конституцию, и затем она вместе с доктриной Союза превратилась в глазах националистов в двуединый оплот Республики.

Удачливый и в большинстве своем религиозный народ, американцы неизменно приписывали свои успехи не только себе, но и богу. Пуританский тезис, что каждое деяние людское во время колонизации Новой Англии неизменно направлялось рукой божьей, был перетолкован, в терминах XIX века, в культ «высшего предназначения». Божий промысел или судьба назначили Соединенным Штатам стать местом для великого, и может быть последнего, эксперимента в свободном правлении. Успех этого эксперимента доказал, что американцы в самом деле — избранный народ. И как таковому ему выпало нести свет самоопределения и республиканизма в Техас, Калифорнию и, вероятно, даже в Канаду и на Кубу. Именно ему дано стать примером идеального государства, которому должны следовать бунтари против монархической тирании в Европе. Искренняя забота американцев о благе человечества придавала определенное

величие этой теории высшего предначертания, а им самим — утешительное сознание своей правоты.

Эпидемия самонадеянности охватила в эти десятилетия всю нацию и каждого гражданина в отдельности и выражалась по-разному. На фронтире Дэйви Крокет разглагольствовал: «Я своего в любой передрыге добьюсь». Из Белого дома президент заявил в официальных документах, что страна достигла совершенноголетия. В присутственных местах и конторах толковали: да, конечно, мы ей кое-чем обязаны, но у старушки Европы, откуда бежали наши отцы, все в прошлом; хорошо и выгодно быть американцами. Ирвинг и Купер — если говорить о старшем поколении литераторов — пытались найти прибежище то за границей, то на родине, но молодежь твердо уверовала в себя и в новый мир. Обращаясь к эгоцентричным современникам в Соединенных Штатах и Европе, Эмерсон заявил в 1837 году: «Если отдельный человек будет упорно и неизменно следовать своему природному чутью, тогда весь мир станет его достоянием». Взывая к чувствам всех благородных националистов своего столетия, он объявил: «День нашей зависимости, наше долгое обучение наукам чужих стран приходит к концу. Миллионы вокруг нас, которые жаждут жизни, нельзя прокормить сухими остатками от иностранных урожаев. Происходят такие дела и события, которые надо воспеть, которые сами сложат песню о себе».

2

Дух экспансии, являвшийся одновременно причиной и следствием этой самонадеянности, писал между тем собственную историю на карте Соединенных Штатов. За время между революцией и 1820 годом территория Союза увеличилась вдвое. С 1820 по 1850 год поселения на Западе достигли Техаса, Орегона, Золотых Ворот, а территория Соединенных Штатов увеличилась наполовину. Теперь американцы были хозяевами трех миллионов квадратных миль суши — целая империя, которая по площади в тридцать раз превышала Британские острова. С невиданной в истории быстротой росло и население. За два века — с 1650 по 1850 годы — темпы роста за десятилетие составляли 35%, иными словами количество американцев удваивалось каждые двадцать пять лет. Таким образом, с девяти миллионов в 1820 году население страны выросло до двадцати трех миллионов в 1850 году, сравнявшись с населением Британских островов. Хвастовство американцев не раз оскорбляло уши иностранцев, но нередко подтверждалось ходом истории.

Под влиянием экспансии среди американского народа не возникло никаких особых новых расхождений, зато старые трения обострились. Тенденция к обособлению, например, задержала в 1780-х годах принятие федеральной конституции, а во время

войны 1812 года представители Новой Англии даже угрожали отделением. Примерно к 1840 году свои, местные, интересы упорно отстаивали не только Восток, но и Юг, и Запад. Регионалисты Новой Англии выступали за протекционистские тарифы, централизованную денежную систему и сильное федеральное правительство. На Юге Хейн и Кэлхун добивались свободной торговли, «легких» денег и расширения прав отдельных штатов. На Западе, чьи интересы совпадали то с интересами Юга, то интересами Востока, местные патриоты высказывались за «легкие» деньги и сильное федеральное правительство, которое занялось бы внутренними улучшениями, и свободные земли. Ни один из регионов не мог собрать достаточное количество голосов, чтобы выиграть на общенациональных выборах. Югу, только в союзе с Западом, по большей части не удавалось добиться контроля над национальными делами. Лишь коалиция, включающая Восток, была способна управлять страной. Когда все три района полностью осознали положение, поняли бесполезность попыток любого отдельно взятого штата заявить о своих правах путем нуллификации, то остался один-единственный вопрос: настолько ли выросли территория и богатство Соединенных Штатов, что любая часть страны может выйти из Союза и образовать новое государство?

Определенные региональные разногласия того периода вылились в конфликт между аграрным и индустриальным путями развития. Страна все еще была преимущественно сельскохозяйственной: в 1820 году только семь процентов населения проживало в городах с численностью более 2500 человек, а в 1850 году — только пятнадцать процентов. Стоимость сельскохозяйственной собственности поднималась и в 1850 году оценивалась более чем в три миллиарда долларов, хотя темпы роста вскоре замедлились. В 1820 году промышленность была третьим по величине источником национального дохода, уступая лишь судоходству и сельскому хозяйству. Однако стоимость промышленной собственности удваивалась каждые десять лет, и в 1850 году стоимость промышленной продукции превысила миллиард долларов. Американская промышленность вступила в полосу бурного развития. Гуманисты и ранние выразители настроений трудящихся уже подвергали критике индустриальную систему Востока, как недемократическую. Южные плантаторы видели в этой системе угрозу своим интересам и клеймили ее как непрощенную разновидность рабства. Фермеры на Западе в основном соглашались, что развитие промышленности представляет опасность, однако они были слишком заняты своими делами и активно против нее не боролись. Сторонники капитализма пока держались в обороне, довольствуясь тем, что подчеркивали демократический характер индустриального общества, которое дает каждому равную возможность заработать на жизнь, выгодно вложить сбережения и подняться на самый верх

социальной лестницы. Капиталисты даже выставляли промышленное предприятие как некую утопию, где провинциальные юноши и девушки приобщаются к городской культуре. Такое представление поддерживал и Дэйви Крокет после того, как заглянул на фабрики в Лоуэлле, штат Массачусетс, да и сами фабричные работники в своем журнале «Лоуэлл офферинг». Однако в целом американцы все еще оставались сельскохозяйственным народом.

Самым серьезным конфликтом той эпохи было противостояние аристократии и демократии. На Юге, где более всего ощущалось влияние прошлого, по-прежнему придерживались джефферсоновской теории прирожденного аристократизма, однако при этом пренебрегали демократическими элементами его философии. Вместо них Кэлхун выдвинул понятие «демократии» по образцу дохристианской Греции, в которой небольшой слой просвещенных свободных граждан жил за счет большого количества рабов. Аристократия денег на Востоке (особенно в куперовском Нью-Йорке) придерживалась теории «вклада в общество», то есть считала, что люди должны участвовать в управлении в той мере, в какой они владеют собственностью. Среди патрициев, не придерживавшихся столь узкопрактического взгляда на вещи, одни считали основой общества семью, другие — образованные круги, третьи, например бостонские брамины, — и то, и другое. Оплотом же демократии был новый Запад и его новые штаты. Именно здесь лесорубы, охотники, фермеры сохраняли радикализм левых сторонников Джефферсона и участников восстания Шейса, и именно их человек, Эндрю Джексон, попал в 1828 году в Белый дом.

Предвестником этого поражения патрициев было расширение избирательного права. В 1828 году только в Виргинии и Род-Айленде сохранялся имущественный ценз при голосовании. Огромное число избирателей, свободных в своем волеизъявлении, но отнюдь не непременно демократов, отдали свои голоса человеку с фронта, искусному в земельных и лошадиных сделках, в борьбе и дуэлях, в расправах с индейцами и англичанами — первому, кто занял самую высокую выборную должность в стране, не имея ни влиятельной семьи, ни образования, ни богатства. Результаты выборов повергли многих благовоспитанных граждан в ярость, молодые джентльмены в Гарвардском колледже сожгли изображение Эндрю Джексона, а люди постарше метали гром и молнии против «миллениума мелкоты» и воцарения «Короля-черни» в Белом доме.

Главное, что в глазах Джексона и его сторонников воплощало богатство, привилегии и аристократизм, был Национальный банк. И он не успокоился, пока не взял над ним верх. Джексон считал, что «обязанности должностных лиц настолько ясны и просты, или по крайней мере считаются таковыми, что все разумные граждане могут претендовать на исполнение их», и

потому поддерживал такую эгалитарную практику, как частые выборы, расширение выборных должностей, смену должностных лиц. Это дало членам демократической партии повод требовать, чтобы вознаграждения за службу тоже чередовались, и таким образом установилась «система добычи», то есть обыкновение распределять государственные должности среди членов партии, победившей на выборах. Тем не менее теория джексоновской демократии была справедливой, ибо она предполагала достижение равенства не путем уравнивания, а повышением общего уровня. Поэтому Эндрю Джонсон, портной из Теннесси, ставший президентом после смерти Линкольна, имел основания заявить в 1865 году:

«Человека можно возвысить, человека можно наделить божественным началом, так что постепенно он уподобляется богу и научается управлять собой. Да будем продолжать совершенствовать наши институты и тем возвышать людей до тех пор, пока демократия не достигнет совершенства и мы не сможем истинно сказать, что голос народа есть глас божий».

3

В области религии тяга к самостоятельности, стремление полагаться только на себя вылились, в формы волонтаризма, секуляризации и сектантства. Процесс отделения церкви от государства, начавшийся в XVIII веке, завершился в 1833 году, когда Массачусетс порвал все официальные узы между правительством и религией. Прекратилось регулирование со стороны закона любых религиозных отправлений, в особенности празднование воскресенья. Принадлежность к той или иной религии и поддержка своей церкви стала делом личного выбора, так что успехи и неудачи религиозной деятельности теперь зависели только от общины и ее индивидуальных членов. Ослабла авторитарная власть церкви. У конгрегационалистов и баптистов каждый верующий имел право проповедовать и занимать церковные должности, в англиканской и методистской церквях повысилась роль светской власти, а среди Учеников Христа были даже проповедники из мирян, которые по воскресеньям бесплатно наставляли паству, а в остальные дни недели зарабатывали себе на жизнь, как все прочие. По мере расширения страны небольшие группы баптистов, методистов и пресвитерианцев отпадали от своих церквей и образовывали особые секты. Появлялись даже раскольники, которые создавали новые религии, причем некоторые возникли еще в XVIII веке: трясуны, гармониты, миллериты — сторонники Уильяма Миллера, который объявил, что конец света придет в 1843 году, сестры Фокса и спиритуалисты, приверженцы Джона Хэмфри Нойеса, организовавшие коммуны на Онейда, мормоны во главе с Джозефом Смитом и

многие другие. В тот оживленный период вероучения появлялись так же быстро, как росло население.

На примере трансцендентализма можно показать, как меньшинства создавали новые религии в целях удовлетворения собственных потребностей. Выразителями трансцендентализма была небольшая группа интеллектуалов Новой Англии, которые отвергли как рационализм, так и кальвинизм и создали новую веру на утверждении божественного начала в человеке. Их центром был неофициальный Трансцендентальный клуб, у них был свой печатный орган — «Дайэл» и наиболее влиятельные представители Уильям Эллери Чаннинг и Ралф Уолдо Эмерсон. Чаннинг провозгласил основные принципы трансцендентализма: бог есть всеблагой и вездесущий, он пребывает в каждом и каждого наделяет божественностью, истинно поклоняться богу — значит творить добро. Сделав упор на интуиции, идеализме Платона, необходимости полагаться на самого себя, Эмерсон усугубил индивидуалистические стороны трансцендентализма.

О том, в какие разнообразные формы выливались религиозные чувства менее просвещенных американцев, дают представление религиозные бдения в общинах на западной «границе». Здесь, на молитвенных собраниях в поселениях, в обстановке равенства каждый чувствовал себя вправе не хуже других очиститься от грехов, свести счеты с богом и вообще выбирать образ жизни по собственному желанию. Хотя установления конгрегационалистской церкви давали верующим возможность самим выбирать пастырей, однако ее священники, как правило, выходцы из колледжей и ревностные строители новых церквей, не вызывали особого воодушевления у молящихся. Более успешно распространялся баптизм, особенно среди негров и пионеров, которые находили удовольствие в обряде крещения. Самым популярным было методистское вероучение, которое процветало на Западе благодаря деятельности преподобного Френсиса Эсбери и неутомного и грубоватого проповедника Питера Картрайта. Несколько вечеров пения, криков, «святого» смеха, судорог и экстатического трясения помогали изголодавшимся по эмоциям пионерам сохранять веру в страну и бога.

Гуманистичность в широком смысле этого понятия, очевидно, способствовала единению американского общества в целом, однако в повседневных житейских делах она вызывала разногласия и неприязнь. Теория и практика благодеяния, которые возникли из мироощущения XVIII века, теперь получили опору в американской демократии и набожности XIX. Теория благих дел в истолковании ее пророка Эмерсона предстает поистине всеобъемлющей. Да не поддадимся фальши какой-то одной идеи или одной реформы, разрушим не одну, а все тюрьмы. Людей, которые пытались претворить эту доктрину в действительность — Лаймена Бичера, Уильяма Эллери Чаннинга, Теодора Паркера, — превозносили как зачинателей всемирного переустройства.

Но даже эти люди с большим сердцем не обладали способностью избавить человечество от всех бед, они могли лишь взяться за то или иное близкое им дело, отказавшись от остальных. Руководители, способные превратить благие намерения в благие поступки, выдвигались в большинстве случаев из числа рьяных сторонников нескольких связанных между собой реформ или даже одного начинания.

Примером может служить движение трезвенности, которое в 1825 году объединяло более миллиона американцев, добивавшихся не просто умеренного употребления алкоголя, но полного воздержания. Бичер, Чаннинг и Паркер, эти покровители добрых дел, благословили движение и даже сами наставили на путь истины кое-кого из самых богатых; действительно важные персоны, они, однако, составляли меньшинство на выборах. Такие вселенские реформаторы, как «сладкоголосая» Лидия Хантли Сигурни из Хартфорда или сотрудницы журнала «Годиз ледиз бук», вербовали сторонников трезвенности среди жен и матерей, но те, увы, не голосовали. Так что добывать голоса избирателей приходилось мужчинам, одержимым идеей, — Тимоти Шею Артуру, автору книг «Десять ночей в баре», «Подношение сыновей трезвости» и несметного числа трактатов, членам Вашингтонского общества трезвенников, состоявшего из бывших алкоголиков, и знаменитому евангелисту Джону Б. Гоу. Эти энтузиасты завоевывали симпатии населения, которое на протяжении 50-х годов добилось принятия «сухого закона» в тринадцати штатах.

Другими движениями того периода тоже руководили люди, которые не распыляли своих усилий. Хорэс Манн и Генри Бернارد понимали, что существует немало неотложных проблем, однако занимались реформой в области образования. Эмма Уиллард и Мэри Лайон просвещали женщин. Томас Галлодет, Сэмюел Гридли Хоу и Доротея Дикс заботились о слепых, глухих и душевнобольных. Менее заметные личности, чьи имена уже забыты, организовывали муниципальные лиги, боролись за тюремную реформу и другие общественные усовершенствования. К сожалению, большинство идеалистов, у которых доставало характера, чтобы отстаивать интересы того или иного меньшинства, страдало индивидуализмом и не умело ладить с окружающими. Многие строители этого Нового Иерусалима одной рукой возводили свое собственное крохотное здание совершенства, а другой разрушали то, что удалось сделать соседу.

Возникали, сталкивались и распадались различные гуманистические движения, однако все более острым становился один вопрос: каково должно быть отношение Соединенных Штатов к институту рабства? С каждым годом ширилось движение аболиционистов, их выступления становились настойчивее и приобрели в конце концов самый громкий резонанс в стране. Пытаясь заручиться поддержкой населения, адвокаты трезвенности

вступили в соперничество с противниками рабства, проиграли и их движение очень ослабло. Когда кампания за женское равноправие пересеклась с аболиционистским движением, то едва лишь радикальное меньшинство Уильяма Ллойда Гаррисона признало женщин за равных, феминизм отошел на задний план. Более четверти века успешно развивалось пацифистское движение, начатое Уильямом Лэддом и Илайю Бэрриттом, но затем оно натолкнулось на воинственность рабовладельцев, и даже Теодор Паркер вынужден был в конце концов признать: «Я ненавижу и осуждаю войну, но тем не менее вижу ее неизбежность. Все великие страницы человеческой истории написаны кровью, и так будет еще столетия». Быстрый ход событий убеждал, что рабство стало единственной проблемой, от которой нельзя отмахнуться.

4

Только нация, наделенная высшей мудростью, смогла бы полностью примирить две различные тенденции того периода: стремление полагаться только на себя и дух экспансии. Американский народ сумел достигнуть такого частичного примирения в собственном сознании и рядом компромиссов в общественных делах. Американцы полагали, что им удалось сочетать знакомые доктрины прав человека и его способности к совершенствованию с идеей демократии и новой концепцией прогресса. Из этого сочетания и родилось убеждение, что путем совершенствования человека можно в конечном итоге создать и совершенное государство. Таким образом примирились интересы отдельной личности и всего общества.

Что до государственных дел, то этот период начался с компромисса и кончился им. С поражением Клея на выборах 1832 года распалась Национальная Республиканская партия. Возникла новая партия — партия вигов, кое-как сколоченная из бывших республиканцев, приверженцев Клея и Кэлхуна, сторонников децентрализации, членов антимаасонской партии, и другой разношерстной публики, которую объединяла только ненависть к Джексону, живому или мертвому — неважно. В джексоновской партии тоже были разногласия — между Западом и Югом — по целому ряду вопросов, особенно о рабстве. Головы у людей шли кругом от противоречивых идей общенационального и местного характера: индустриализма и естественных прав, рабства и воли господней, равенства и вклада в общество, ревизвализма и улучшения общественных институтов, эмансипации женщин, высшего предназначения и прогресса.

Из трех компромиссов, которыми закончилось столкновение этих различных тенденций, два касались проблемы рабства и все три — региональных интересов. Первым был миссурийский компромисс 1820 года, по которому Юг заполучил Миссури в

качестве рабовладельческого штата, а к восточным штатам добавился новый свободный штат Мэн, на большей же части территории Луизианы отныне «навсегда» запрещалось рабство. Второй компромисс был выработан в 1833 году, когда, умиротворяя южан, Джексон снизил таможенные тарифы и одновременно умаслил сторонников Союза законом о применении силы в отношении нуллификаторов. Последний, бесплодный компромисс был достигнут в 1850 году. Уставший от партийной борьбы Клей, у которого интересы общенациональные все же превалировали над региональными, призвал вигов ради спасения целостности Союза пойти на значительные уступки Кэлхуну и южанам. Его поддержал престарелый Уэбстер, в конце концов убедившийся, что сохранение Союза важнее принципов новоанглийского либерализма. Они оба способствовали принятию законопроектов, согласно которым в округе Колумбия запрещалась работорговля, но отнюдь не рабовладение, облегчалось возвращение беглых рабов владельцам; был аннулирован и миссурийский компромисс установлением, что новые территории могут присоединяться к Союзу и как рабовладельческие штаты, и как свободные — в зависимости от решения их граждан.

Дальнейшие компромиссы были невозможны. Гражданская война стала неизбежностью.

17. ИСКУССТВО НА РЫНКЕ

1

Примерно в 1820 году настало время для создания новой литературы, но не было ни образцов, ни рецептов. Их заменяла энергия и дух поиска. Чтобы обеспечить средства к жизни, сочинители, оставляя занятия правом, политикой, религией, все чаще обращались к журналистике и лекциям. Одновременно в американской культуре появляются отчетливые региональные особенности, возникают самобытные культурные центры — Новый Орлеан, Чарльстон, Ричмонд, Балтимора, Цинциннати, Луисвилл, Филадельфия, Олбэни, Нью-Йорк, Конкорд и Бостон. Однако по мере становления издательского и журнального дела и книготорговли эти расположенные повсюду центры все чаще и чаще обращают взоры к Нью-Йорку как средоточию литературного общения и литературному рынку.

Уверенность в себе и дух экспансии, свойственные этому периоду, выражались преимущественно в том, что буквально все страстно желали, чтобы Америка отличалась в искусствах, жаждали заставить английских критиков и читателей ценить американскую книгу. Это желание удваивалось на Юге, который начиная примерно с 1830 года стремился самоутвердиться в качестве особого региона в противовес Северу и в качестве особой нации в противовес Европе. Фронтир отодвигался все дальше, и на Западе тоже испытывали потребность усиленно отстаивать все свое. Трудно различить национализм и регионализм: обе концепции выдвигают требование «духовной независимости» и поощряют критику старых культурных центров. В результате необыкновенно оживилась литературная борьба.

2

Новые теории образования, основанные на правах естественного человека, постепенно формировали новое поколение читателей. Перестройку учебников, начатую Ноем Уэбстером и Джедидией Морзе, продолжил простецкий «Питер Парли» (псевдоним Сэмюэла Г. Гудрича), который утверждал, что коровы не только дают молоко, но и умеют прыгать через луну,

что первые представления ребенка «просты и целостны, и образы предметов, возникающие у детей, осязаемы для чувств». Начав с картинок и рассказов о повседневности, он затем повел своих воображаемых подопечных по всему земному шару, незаметно пытаясь «одухотворить разум и приподнять его над конкретными представлениями». За двадцать лет он написал и отредактировал около ста семидесяти книжек для детей и продал семь миллионов экземпляров. Тем же путем от чувств к духу шел несколько лет спустя друг Эмерсона философ Бронсон Олкотт в занятиях с учениками в своей Темпл-скул в Бостоне, однако здесь переход от непосредственного опыта к «духовному» осуществлялся в классной комнате, украшенной «картинами, скульптурой, книгами и отнюдь не безобразной мебелью», и все это было как бы «подпоркой, за которую цеплялись усики» познания. Братья Торо использовали природные условия и устраивали для учеников своей «Академии» длительные прогулки по лесам и полям вдоль тихого Конкорда.

Потребовалось, однако, еще целое столетие, пока педагогическая практика благодаря усилиям Джона Дьюи не взяла на вооружение это удивительное сочетание теорий Песталоцци и Джефферсона с сентиментальным идеализмом в их более чистом виде. Тем временем быстро развивалось начальное образование. В 1827 году, когда начал писать Питер Парли, в Нью-Йорке было две школы для малышей и пятьдесят шесть подготовительных классов. В том же году в Массачусетсе был принят законопроект, согласно которому каждый населенный пункт, насчитывающий более пятисот семей, должен был иметь среднюю школу. Однако дело шло медленно, особенно на Юге, и лишь в 1850 году благодаря пропагандистской кампании Хорэса Манна в северных штатах законодательным путем было введено — по крайней мере в принципе — начальное образование для всех детей на общественные средства. «Я верю, что человечество способно к совершенствованию, к ускоряющемуся совершенствованию», — писал Манн.

Эта вера в совершенствование принесла плоды: к концу века в стране насчитывалось около пятисот университетов и колледжей. В то время существовало две теории политики штатов в области высшего образования: в Нью-Йорке придерживались французской системы централизованного административного контроля над институтами, расположенными в разных местах, а так называемый немецкий план предусматривал сосредоточение различных учебных заведений в одном огромном разветвленном учреждении. В большинстве случаев взяла верх вторая теория, и почти все западные и южные штаты через несколько лет после их принятия в Союз создали свои университеты. Даже такие города как Чарльстон и Луисвилл основали к 1837 году по этому образцу собственные университеты и колледжи. По мере притока иммигрантов различные религиозные секты тоже

учреждали в каждом новом штате по два-три колледжа для учащихся определенного вероисповедания. Система высшего образования, равно в области прикладных дисциплин и гуманитарных наук, основы которой заложил еще Джефферсон в первые годы национальной государственности, господствовала на протяжении всего периода экспансии и стала отличительной формой организации демократических институтов. Главные ее черты были гибкость и полнейшая вера в *Veritas*¹ и *Lux*².

Колледжи, сохранившиеся с колониальных времен, тоже восприняли эту систему, постепенно перестраивая классические курсы и ослабляя бдительный контроль преподавательского состава над учащимися. Выразителем этих перемен, имевших positive национальное значение, был Джордж Тикнор, назначенный в 1815 году первым профессором современных иностранных языков в Гарварде. Прежде чем приступить к своим обязанностям, он несколько лет провел в Гёттингене; впоследствии его примеру последовали Эдвард Эверетт, Джордж Бэнкрофт и сотни других молодых американцев, поклонников немецкого романтизма, включая Лонгфелло и Лоуэлла. В дополнение к занятиям он много путешествовал по континенту, был в Англии и, вернувшись на родину, привез столько книг и идей, что смог перевернуть устоявшийся уклад провинциального колледжа. Давний друг Джефферсона, он был ревностным сторонником неограниченной свободы научного исследования, которую позднее сделал ведущим принципом Виргинского университета. В 1825 году Тикнор опубликовал работу, в которой призывал ввести в Гарварде факультативную систему с широким выбором дисциплин. Мероприятие это полностью осуществил Чарльз У. Элиот, ставший президентом Гарвардского университета в 1869 году.

Эта широкая тенденция захватила и область женского образования. Согласно тогдашней конституции женщины не являлись полноправными гражданами, но в сороковых годах Лукреция Мотт, Маргарет Фуллер, Элизабет Пибоди и другие развернули кампанию, которая в конце концов принесла женщинам большинство «прав». В 1821 году Эмма Уиллард организовала в городе Троя, штат Нью-Йорк, Женскую семинарию, где обучение девиц не ограничивалось уроками религии и нравственности, но включало также литературу, домашнее хозяйство и прикладное искусство. Разумеется, главной силой феминистского движения были соображения этического порядка, однако скоро стали ощущаться и его социальные последствия. Позднее возникли и другие подобные семинарии, и все же прошло много лет, прежде чем женщины стали обучаться в колледжах наравне с мужчинами.

¹ *Veritas* — истина (лат.).

² *Lux* — свет (лат.).

Интеллектуальный голод привел к созданию лицеев и других форм общедоступных лекций для взрослых. Существующий и поныне Лоуэлловский институт в Бостоне, одна из старейших и влиятельнейших организаций такого рода, вот уже столетие с лишним организует бесплатные публичные лекции по всем областям человеческого знания. Подобными учреждениями являются институт Пибоди в Балтиморе и возникший позднее Купер-Юнион. Они дополняли широкое движение лицеев, давали возможность ездить с лекциями проповедникам, отказавшимся от служения церкви, как, например, Эмерсону, обеспечивали скромным побочным заработком редакторов, например Хорса Грили, а также многочисленных писателей — Симмса, Торо, Диккенса, Теккерея, Мэтью Арнольда. Даже музеи типа Смитсоновского института в Вашингтоне не только экспонировали свои коллекции, но и устраивали лекции с целью «распространения знаний среди людей». Собирали большие аудитории и сторонники псевдонаук вроде месмеризма и френологии, сочетавшие развлечение со знанием, и сторонники разных движений, например аболиционизма и движения трезвенности. «В Бостоне забросили вечеринки и кинулись на лекции, — писал Уильям У. Стори в 1840 году. — Тут тебе и Эмерсон, и Полезное Знание, и Лоуэлловский институт, и Грамматика, и Трезвенность — все словно стараются протиснуться сквозь узкий дымоход науки. Все хотят насытиться, подобно бедным студентам, которые в старину ходили с кружками для молока».

Это просветительское движение многим обязано Джосае Холбруку из Дерби, штат Коннектикут, странствующему лектору по геологии и минералогии. В 1826 году в «Джорнэл оф эдьюкейшн» он опубликовал свой план общенациональной системы массового просвещения для взрослых. Согласно этому плану в каждом городе должен быть «лицей» с библиотекой, коллекцией минералов и другими экспонатами, курсом лекций для членов общества и группами по изучению естественных наук, истории, искусства. Делегаты от городских обществ составляют лицей графства или округа, те в свою очередь формируют лицей штата, затем таким же путем образуется национальный и даже мировой лицей. Холбрук отдал всю жизнь строительству этой огромной секции в здании американского просвещения для взрослых, и ему удалось бы добиться успеха, если бы не соперничество американских вариантов того, что в Англии называлось механическими институтами, и других различных начинаний в торговых и профессиональных школах, местных академиях и колледжах, в женских клубах и филиалах больших университетов. Тем не менее благодаря кампании, начатой Холбруком, за два года возникло около сотни отделений будущего Американского лицея, раскинувшихся почти по всей стране. В 1834 году, когда движение достигло наибольшего размаха, насчитывалось уже около трех тысяч местных

лицеев. Тремя годами раньше был организован в Нью-Йорке Американский лицей, представлявший собой национальную федерацию первичных организаций и ежегодно, вплоть до 1839 года, созывавший общую конференцию. Лицеи оказали сильное влияние на систему образования на всех уровнях — от начальной школы до колледжей, и сейчас уже невозможно сказать, есть ли связь между их действительным вкладом в популяризацию знаний и тем взрывом неорганизованности буквально на всех ступенях формального обучения, который характерен для тех лет. Лицеи больше любого другого начинания способствовали становлению американской литературы — независимо от того, были ли они причиной или следствием неограниченной свободы на раннем этапе нашего образования. Они создали армию читателей, слушателей, учащихся не только на Востоке, но и на Севере и Западе и способствовали развитию новой литературной формы — популярной лекции, хотя демократизация литературы на Юге и сдерживалась традиционным убеждением, что джентльмены могут добиться более плодотворных результатов, занимаясь политикой.

3

Единственно в силу торгового превосходства литературной столицей страны в те годы стал Нью-Йорк, а Юг, Запад и даже Новая Англия превратились в провинцию. Однако в Бостоне и его окрестностях наблюдалась литературная активность, связанная с иными, не коммерческими факторами. Расстояние от блистающего нижнего Бродвея до тихого Конкорда и Кембриджа измерялось не милями, а атмосферой. Для того чтобы понять значение культурного ренессанса, охватившего поселки Новой Англии в сороковых и пятидесятых годах, читателю этой книги надо вернуться на несколько страниц вспять, а потом заглянуть вперед и забыть о картинах суетного торгашеского Нью-Йорка. Успешнее, чем любой другой город, держался в стороне от рынка Бостон с его «Норт эмерикэн ревью» и Гарвардским колледжем, хотя некоторых шокировал материализм Главной улицы. Процветание не обошло стороной никого, благословив коммерцию во всех прибрежных городах к северу от Чарльстона, однако гордым бостонцам удалось обратить материальные выгоды скорее на пользу предметам интеллектуальным и духовным, чем во вред. Загадка такого контраста, очевидно, никогда не будет разрешена; обладая теми же, что и прочие, инструментами культуры, Бостон дал знаменитых ораторов, педагогов, писателей, а Конкорд, лежащий милях в двадцати к западу, был как бы его теплицей, где вращивались еще более утонченные плоды.

Городское собрание и конгрегационалистская церковь, эти два тесно связанных общественных института, с самого осно-

вания Новой Англии составляли характерную особенность этого региона. Конгрегационалистские и унитарийские священники, хотя немногие из них сохранили теологическую суровость ранних пуритан, а также ярый энтузиазм «Великого возрождения», по-прежнему пользовались огромным влиянием. Помимо своих церковных обязанностей, они были главными представителями интеллектуальной жизни Новой Англии. Пожалуй, только у них одних был досуг для занятий, размышлений и для выражения своих мыслей. Они и в самом деле были «уполномоченными разумом», причем в смысле, более точном, чем тот, который вкладывал Эмерсон в это выражение, говоря об идеальном американском ученом. Быть может, Эмерсон и не употребил бы это выражение, не будь он с детства знаком с правами и обязанностями новоанглийского духовенства.

Пытаясь оценить влияние, которым пользовались церковнослужители Новой Англии, следует иметь в виду не только людей исключительных способностей — пылких проповедников, как, например, Джозеф Стивенс Бакминстер, бесстрашных духовных пастырей, подобных Уильяму Эллери Чаннингу, или ученых и мыслителей, таких, как Фредерик Генри Хедж, — но и гораздо более многочисленных заурядных священников, которые каждую неделю с деревенских кафедр сурово наставляли свою паству, хотя мало имели что сказать. Образчиком такого повседневного церковного красноречия могут служить проповеди Эзры Рипли — сотни из них сохранились в «Старой усадьбе» в Конкорде, и некоторые слышал молодой родственник Рипли Ралф Уолдо Эмерсон, как раз в то время, когда собирался отказаться от служения церкви. Несомненно, что преподобный мистер Рипли неустанно трудился в виноградниках господина бога, но проповеди, которые он шестьдесят лет читал в Конкорде, едва ли стали большим вкладом в культуру города и, позволительно добавить, в христианство. Они были старательно традиционны и вычурны, скучны и пустоваты. Прондясь сквозь эти речи, то и дело вспоминаешь, что автор их был, по его собственным словам, «прирожденным унитарийцем», и у него не хватало дисциплины ума, чтобы проникнуть в «железную логику отчаяния», которую называли кальвинизмом, или выбраться из нее. Если сравнить его проповеди с точно высеченными из камня речами великого пуританского прошлого, созданными такими личностями, как, например, Томас Хукер, Томас Шепард или Мэзеры, то видно, как им недостает «фундаментальной работы ума». Они лишь подтверждают самое суровое высказывание Эмерсона о человеке вообще: «Сегодня днем глупее нет, как лаять на луну. Умолкни, старик, если годы не научили тебя истине».

При таком наставничестве культура Новой Англии, как она сложилась в третьем и четвертом десятилетии XIX века, неизбежно была консервативна, назидательна и тронута бесстраст-

ным благочестием. В ней было много начитанных людей, но мало творческих, она складывалась главным образом из чтения и книжных разговоров и не сумела лишиться устное и печатное слово того нездорового превосходства над другими искусствами, которое было с самого начала характерно для Новой Англии. Но даже в словесности преобладала тенденция робости и ханжества: тут, к примеру, могли всерьез рассуждать о том, действительно ли Гёте великий поэт в свете того, что было известно или предполагалось относительно его недозволенных любовных связей. И хуже всего, что эта культура возникла не на здешней почве, она была растением, которое попытались пересадить с чужой земли.

Как в среде духовенства, так и в Новой Англии вообще господствовал консерватизм. В неприятии джефферсоновского Закона об эмбарго и сдержанном отношении к войне 1812 года обнаружились англофильские тенденции Новой Англии — по крайней мере ее состоятельных классов, группирующихся вокруг Бостона. Члены распавшейся Федералистской партии еще долго удерживали власть в Массачусетсе и пользовались влиянием, несоразмерным с ее численностью. На съезде в Хартфорде в 1815 году федералисты высказали убеждение, что Новая Англия может, если понадобится, объявить себя независимой. На съезде в качестве делегата присутствовал отец Лонгфелло, и есть основания предполагать, что отцы Лоуэлла и Холмса тоже с готовностью были бы там.

Главным интеллектуальным центром всего региона, откуда вышло большинство конгрегационалистского духовенства, с самого начала был Гарвардский колледж — в 1829 году, когда его окончил Холмс, он существовал уже более двухсот лет. Колледж не мог дать глубокого образования: в нем насчитывалось едва ли две сотни учащихся, пятнадцать человек постоянного преподавательского состава, а в библиотеке было меньше четырех тысяч томов. Жесткая программа делала упор на латинский и греческий языки и математику, хотя со временем определенное внимание стало уделяться современным языкам, а несколько лекций и «показов» посвящались даже другим наукам. С заметным успехом вел курс англоязычной словесности профессор Эдвард Тайрел Чаннинг, который за несколько лет преподавания прочитал лекции с последующим суровым разбором сочинений на «заданную тему» Эмерсона, Холмса, Лоуэлла, Даны, Мотли, Торо, Самнера, Паркмена и Эдварда Эверетта Хейла. Дважды в день учащиеся обязательно посещали церковную службу.

Способному и пытливому юноше колледж не мог предложить чего-то особо замечательного, ибо средний выпускник едва ли получал ту сумму знаний, которую дает приличная средняя школа в XX веке. С другой стороны, в Гарварде серьезное внимание уделяли предметам умственным, которые не вы-

зывали отклика разве что у полных тупиц. В то время как вся страна налегала на грубые «практические факты», колледжу удавалось внушить интерес к отвлеченным идеям и знанию как таковому. Конечно, оно обладало своими отличительными особенностями, печать которых выпускники сохраняли на всю жизнь. В гарвардском «характере» было что-то от Древнего Рима и Афин, а огромные классные комнаты и общие спальни пронизывал свежий ветер плутарховских «Параллельных жизнеописаний». А главное, к чести Гарварда, можно сказать, что здесь терпимо относились к необыкновенным, своеобразным личностям, которые думали по-своему и смело высказывали свои мысли. Гарвард внес свой вклад в воспитание новоанглийского духовенства и в создание традиционной консервативной культуры, однако теперь в нем исподволь назревали иные тенденции.

4

Церковная кафедра и лицеи отнюдь не могли подменить другие, более привычные формы становления литературы. Раствующая численность населения, распространение грамотности, улучшение средств сообщения, «облагораживание» и городских и сельских слоев, технические достижения в печатном и переплетном деле — все это способствовало созданию обширной читающей публики. Первый влиятельный издатель в современном смысле слова Джордж П. Патнэм подсчитал, что в 1845 году в библиотеках американских колледжей числилось 600 тысяч томов, а в общественных собраниях — почти 900 тысяч. «Кроме того, — добавлял он, — в Союзе нет сколько-нибудь заметного городка, где не было бы публичной библиотеки, читальни, лицея или литературного клуба».

Результаты развития техники для распространения печатного слова не замедлили сказаться. Ручной набор, самодельная бумага и винтовой печатный станок уже уступали место техническим усовершенствованиям, и вот в 1825 году появилась паровая печатная машина Напира. Производство двух тысяч экземпляров в час нью-йоркской «Дейли эдвертайзер» казалось чудом, однако, — лишь до 1847 года, когда ротационная машина Ричарда Хоу повысила производительность до 20 тысяч. Правда, для издания книг, выпуск которых достиг в 1832 году тысячи экземпляров, по-прежнему практиковалась отливка отдельных литер и ручной набор. Стереотипные печатные формы были известны в Америке еще в 1813 году, однако вплоть до 1830 года они применялись преимущественно для издания Библии и учебников; после 1830 года Харперы ввели стереотипы для выпуска однотомных переизданий английских авторов, а Кэри — для публикации романов Купера. Улучшение процессов производства бумаги и красок, машинное литье шрифта,

новые методы изготовления переплетов и тиснения шли рука об руку с другими усовершенствованиями, а процесс гравировки по стали побудил Феликса О. К. Дарли и других художников обратиться к книжной графике, которая была абсолютно непрактична при работе с деревом, медной доской и литографским камнем.

Важным результатом развития книгоиздательского дела стали «ежегодные», или подарочные, издания, а также огромные антологии и энциклопедии по литературе, естествознанию и другим отраслям, где требуется хорошая печать, переплеты, иллюстрации. Моду на ежегодники «Тоукен», «Френдшипс офферинг» и «Атлантик сувенир» Гудрич приписывал изобретению процесса гравировки по стали. «Под этими привлекательными названиями, — писал он, — ежегодники стали посланцами любви, знаками дружбы, выражением привязанности, изысканности и утонченного вкуса и как таковые проникали и в дворцы, и в хижины, в библиотеки, гостиные, будуары». Руфус У. Грисуолд поднял на новый уровень великолепия — если не эстетической разборчивости — издание литературных антологий, выпустив в 1842 году книгу «Поэты и поэзия Америки», а затем сборники прозы и произведения «женской поэзии». В 1855 году братья Дайкинк издали свою двухтомную десятифунтовую «Энциклопедию американской литературы».

Совершенствование книгоиздательского дела шло в двух противоположных направлениях. Техника позволяла теперь выпускать издания со сложным оформлением, не увеличивая цену книги, богаче их иллюстрировать и тщательно переплетать, но жестокая конкуренция препятствовала широкому внедрению прогрессивных методов вплоть до середины века, когда появились собрания сочинений Купера и Ирвинга, изданные соответственно Таунсендом и Патнэмом, — величественные джентльменские наборы увесистых томов, напечатанных четким шрифтом на плотной бумаге, иллюстрированных гравюрами по стали, с тисненым орнаментом на твердых тканых переплетах. Рядом со скромными выпусками «Книги эскизов» 1819—1820 годов в бумажной обложке эти тома выглядели как кадровый современный полк рядом с оборванным партизанским отрядом.

С другой стороны, конкуренция вынуждала постоянно увеличивать выпуск печатной продукции и снижать расходы. Эта тенденция достигла высшей точки в тридцатых и сороковых годах, когда на рынке появились романы Купера в бумажных обложках по двадцати пяти центов за том вместо доллара, когда огромные газеты — длиной четыре фута и шириной одиннадцать колонок набора — стали целиком печатать романы Диккенса, Джорджа П. Р. Джеймса или Литтона в виде десятицентовых приложений примерно на семьдесят полос убористого текста. Именно в то время редактор нью-йоркской «Геральд», одной из самых первых дешевых газет, писал: «Что может по-

мешать дневным газетам превратиться в форум жизни общества? Книги отслужили свое, театры отслужили свое, церкви тоже».

Гудрич проанализировал состояние книжного рынка. По его подсчетам, общий оборот книжной торговли в Соединенных Штатах в 1820 году составлял 2 500 000 долларов, из которых полтора миллиона приходилось на учебные пособия, классику, книги по теологии, праву, медицине. В 1850 году эта сумма достигла 12 500 000 долларов, то есть увеличилась в пять раз, из которых 4 440 000 приходилось на категорию «разное». Имея в виду общее снижение стоимости и качества книг, общее количество выпущенных названий выросло, вероятно, в четыре раза по сравнению с этим увеличением. Гудрич подсчитал также соотношение книг американских и английских авторов: в 1820 году оно было 30 и 70 процентов, а в 1850 году — 70 и 30. В течение всего этого периода главным рынком сбыта для книготорговцев Севера был Юг. Возросло значение рынка в долине Огайо.

«Американские авторы отнюдь не всегда лишены достойного вознаграждения за свои сочинения», — писал Патнэм. В этом смысле дела, действительно, шли к лучшему, и в период инфляции до паники 1857 года гонорары были столь же высоки, как и сегодня. Однако самые усиленные попытки заработать на жизнь литературой предпринимались не только По, но и многими другими писателями старшего поколения. Да, Купер в 1828 году продал Кэри права на издание его «Понятий американцев» за 1500 долларов, а за издание романа получал на родине обычно 2000 долларов. Вместе с тем, несмотря на утвердившееся имя, По ничего не получил в 1839 году за свои «Гротески и арабески», а небольшое издание рассказов в 1845 году принесло ему только по восемь центов за экземпляр. Следуя установившейся практике, Эмерсон сам платил за издание собственных книг и передавал их книготорговцам на комиссионных началах. Патнэм, очевидно, первым ввел в 1845—1846 годах оплату в виде процентного отчисления с каждого проданного экземпляра и платил 10% американским и даже английским авторам, которых раньше переиздавали даром. Это привело почти ошеломляющее впечатление на англичан. Говорят, что Карлейль со свойственной ему выпренности воскликнул: «Это поступок, достойный порядочного человека!» Распространение книг велось обычно на основе товарообмена между издателями, что без широкой рекламы ограничивало продажу и уменьшало доход с гонорара, как бы он ни был высок.

Книгоиздание было делом не особенно выгодным в финансовом отношении, если книги не находили сбыта не только в Америке, но и в Англии, и, таким образом, отсутствие международного соглашения об авторском праве или протокола на этот счет не имело значения. Временное решение этой

проблемы нашли сообща Купер и Ирвинг. «Книга эскизов» Ирвинга (1819—1820) знаменовала действительное начало американской литературы во многих отношениях, в частности в том, что это была первая американская книга, которая принесла доход автору по обе стороны Атлантики. Коротко говоря, штука заключалась в том, что автор должен был проживать в Англии или выпустить здесь первое издание. Ирвинг понял это во время пребывания в Лондоне, когда испытывал определенные материальные затруднения. Его урок усвоил Купер, когда он в 1827 году тоже приехал в Англию, и с тех пор это стало важным источником средств к жизни для большинства наших писателей середины века.

Причина этого странного положения заключалась в том, что в Америке закон об авторском праве обеспечивал охрану произведений только *американских* авторов, тогда как в Англии закон основывался на защите первого издания или на факте проживания в стране независимо от национальности автора. Английские издатели нередко выплачивали американскому автору аванс за право первой публикации, и это не препятствовало защите произведения на родине в силу американского гражданства автора. Таким образом, американский писатель мог продать рукопись английскому издателю, договориться о быстрой доставке почтовым пароходом пробных отрывков или верстки и, рассчитав сроки так, чтобы в обеих странах книга вышла с промежутком в несколько недель или дней, перехитрить «пиратов» и получить двойной гонорар. Произведения же английского автора в силу его иностранного гражданства в Соединенных Штатах не охранялись, и он легко становился добычей американского издателя. Правда, к середине столетия благодаря чувству справедливости, проявленному с обеих сторон, положение стало выравниваться.

Тем не менее борьба за международное соглашение об авторском праве заняла все столетие. И английские, и американские законы неоднократно менялись, но не затрагивали существа дела. Долгое время писатели боролись почти в одиночку, потом к ним постепенно присоединялись издатели во главе с Патнэмом. Непримиримую позицию занимали бумагопромышленники и деловые круги других смежных отраслей. Их поддерживала широкая публика, которая хотела одного: побольше книг и подешевле. Принятие Закона 1891 года о присоединении к международной конвенции по охране авторского права положило конец почти вековой дискуссии.

Что касается журналов, то, выплачивая скромные гонорары за оригинальные произведения и выдавая авансы тем, кто испытывал материальные трудности, они кое-как обеспечивали и крупных авторов, и второстепенных деньгами на карманные расходы. Частично это объясняется модой на короткие рассказы, очерки на текущие темы и лирические стихи. Пожалуй,

только «Норт эмерикэн ревью» упорно продержался весь этот период, публикуя главным образом критику, большинство же носило более популярный и собственно литературный характер. Среди самых ранних можно назвать филадельфийский «Каскет» (1826—1840), «Нью Инглэнд мэгэзин» (1831—1835), чарльстонский «Сазерн ревью» (1828—1832). Позднее им на смену пришли «Никербокер» (1833—1865), «Юнайтед стейтс мэгэзин энд демократик ревью» (1837—1859), Ричмондский «Сазерн литерэри мессенджер» (1834—1864), филадельфийский «Грэмз» (1840—1858). Два последних журнала некоторое время редактировал Эдгар По. В Конкорде с 1840 по 1844 год Маргарет Фуллер и Эмерсон издавали собственный орган трансценденталистов — «Дайэл», в 1850 году начал выходить «Харперс», а в 1857 — «Атлантика. Традиции женских журналов положил начало в 1830 году «Годиз ледиз бук», публиковавший цветные иллюстрации мод, сентиментальные рассказы и стихи; этот журнал процветал почти до конца столетия. В течение многих лет одним из лучших еженедельников был издававшийся Уиллисом «Нью-Йорк миррор» (1823—1857).

Едва ли не монопольное положение среди ежемесячников того времени занимал «Грэмз». Он систематически заключал соглашения с авторами на право первой публикации. Тираж его в 1843 году превышал 100 тысяч экземпляров, и Готорн, к примеру, был доволен сотрудничеством с его издателями («виду прочного финансового положения Вашего журнала»). В том же году редактор журнала Руфус У. Грисуолд платил Френсис С. Осгуд по 25 долларов за рассказ и по 10 долларов за стихотворение. Примерно в то же время Парк Бенджамин писал Грэмму: «Не хотите ли Вы, чтобы время от времени для Вас писал профессор Лонгфелло? Я полагаю, Вы можете сойтись на 20 долларах. Он просил 25». Менее заметные авторы по-прежнему еще писали, что называется, из любви к искусству, и их предложения, насколько известно, не отвергались, однако в практику все больше входили сугубо деловые отношения. Современники предполагали, что гонорар Н. Р. Уиллиса за сотрудничество в четырех журналах колеблется в пределах 1200—1660 долларов в год. Полдинг подрядился давать в каждый номер «Грэмз» пятистраничную статью — по 10 долларов за страницу, а Генри У. Герберт писал: «В эти трудные времена я ставлю условием немедленную оплату по предоставлению материала». Даже в 1851 году драматург Джордж Генри Бокер жаловался в письме приятелю: «Увы, Дик. Американский литератор все-таки не может прожить журнализмом».

Еще более невыгодно было писать для театра. До того как был принят Закон 1856 года об авторском праве, который гарантировал драматургу «наряду с исключительным правом печатать и публиковать вышеназванное сочинение исключительное право играть, ставить, представлять это сочинение»,

единственным средством охранять пьесу было не печатать ее. Ранние антрепренеры и актеры, например Данлэп, Хэкетт и Уоллек, иногда устраивали бенефис для своих авторов — так называемый «третий спектакль», но в любом случае вознаграждение было скромным и не стимулировало отечественные таланты, особенно если иметь в виду, что большинство театральных трупп приезжало из Лондона со своим репертуаром. Постепенно их начали вытеснять американские актеры и театральные деятели, гастролирующие труппы уступали место постоянным театрам. Все это создавало почву для появления драматургов, однако не обеспечивало постоянного заработка. В сороковых годах Эдвин Форрест начал практиковать вознаграждение за оригинальные пьесы, в которых он собирался играть, и это укрепило престиж драматургов, но имело и отрицательную сторону: рукопись пьесы переходила в безраздельное владение театра. Классическим примером может служить случай с бокеровской трагедией «Франческа да Римини»: самая лучшая пьеса, написанная американцем в XIX веке, была в 1855 году снята после нескольких представлений, и прошло двадцать семь лет, пока Лоренс Барретт не возобновил эту вещь. К тому времени автор по старости уже не смог воодушевиться успехом новых начинаний. За все пять пьес, поставленных между 1849 и 1856 годами, автор получил, вероятно, не более 1500 долларов. Продав Форресту несколько пьес по тысяче долларов за каждую, Роберт Монтгомери Бэрд в конце концов оставил драму и обратился к прозе.

Неоднократно предпринимались попытки улучшить материальное положение писателей. В 1836 году объединенными усилиями юристов и литераторов в Бостоне с целью издания серьезных книг была организована Книжная компания. Она выпустила «Фердинанда и Изабеллу» Прескотта и «Дважды рассказанные истории» Готорна, но не добилась финансового успеха. И все-таки писатели постепенно получали признание. 27 сентября 1855 года — год выхода «Энциклопедии» братьев Дайкинк — в Кристэл пэлэс состоялось «Осеннее празднество, устроенное Нью-йоркской ассоциацией издателей в честь авторов и книготорговцев». «Это было одно из самых радующих и вдохновляющих собраний, на которых мне довелось присутствовать», — писал гость из Бостона. С приветственными речами выступили Эверетт, Самнер, Брайент и Бичер, а Джеймс Т. Филдс прочитал стихотворение.

Необходимо сказать несколько слов о роли издателей и книготорговцев, ибо в их лице писатель чаще всего находил поддержку. Много сделал для продвижения американской книги Патнэм, имевший в Лондоне свой магазин. В 1862 году Готорн писал издателю Филдсу, с которым находился на дружеской ноге: «Литературный успех, что я достиг или могу достигнуть, есть результат моего сотрудничества с Вами». Именно Филдс посоветовал Готорну развить тему одной из его новелл и напи-

сать «Алую букву», и ему удалось распространить роман тиражом, который втрое превышал «Истории», где была напечатана эта новелла. Готорн был завсегдатаем бостонской книжной лавки «На старом углу», хотя и не принадлежал к группе знаменитостей, объединившей Эмерсона, Холмса, Гарриет Бичер Стоу и Люси Ларком, которые превратили лавку в литературный клуб. Купер и Ирвинг организовали подобные кружки в магазинах Нью-Йорка и Филадельфии, а Уильям Гилмор Симмс создал в 1856 году литературный клуб Чарльстона в книжной лавке Рассела.

Однако еще большее по сравнению с Филдсом и другими издателями влияние на литературную жизнь сороковых и пятидесятих годов оказали два редактора и составителя — Руфус У. Грисуолд и Эверт О. Дайкинк. Они отбирали произведения, сообразуясь со вкусами растущей читательской публики, и писатели вскоре стали искать их благосклонности и дружбы. Грисуолд, которого Лоуэлл обвинил в том, что он прекрасно кормился стрижкой литературного стада, был преемником По в качестве редактора «Грэмз мэгэзин» в 1842 году, затем его литературным душеприказчиком и благодаря многим антологиям стал своего рода «главным пастухом» в «парнасском загоне» для молодых писателей — Томаса Бьюкенена Рида, Джорджа Генри Бокера, Бэйарда Тейлора, Ричарда Генри Стоддарда и других. Благодаря антологиям «Поэты и поэзия Америки» (1842) и сопутствующему тому «Прозаики Америки» (1847), а также полдюжине других сборников и вступительных статей к изданиям стихов Скотта, Мильтона, Прада, Беранже, Брайента, Хименс, Кэмпбелла и других он достиг положения такого арбитра в вопросах литературного вкуса, но и уронил свой авторитет трактовкой жизни и творчества По, да и в вопросах вкуса был скорее размахист, нежели разборчив.

Дайкинк обладал более основательными знаниями, тонким вкусом и благожелательностью. В отличие от своего соперника, который не уставал бороться с По, Дайкинк внимательно отнесся к молодому Мелвиллу, когда автор «Тайпи» только начинал литературную деятельность и нуждался в помощи, которую мог оказать редактор. Окончив в 1835 году Колумбийский колледж, Дайкинк около года (1838—1839) провел в Европе, ожидая профессорской кафедры по литературе. Когда его ожидания не оправдались, он стал профессором *ex officio*¹ для множества литераторов — их немало собиралось каждую неделю в полуподвальчике его нью-йоркского дома для бесконечных разговоров за пуншем и сигарами. Брайент, Ирвинг, Лоуэлл, Симмс, Тейлор и Готорн числились в его ближайших друзьях. Они — да и не только они — заимствовали книги из его

¹ Неофициальным (лат.).

прекрасно составленной библиотеки на восемнадцать тысяч томов. После 1845 года он в качестве редактора издававшихся Уилли и Патнэмом «Библиотеки лучших книг для чтения» и «Библиотеки американских книг» много сделал для знакомства американцев с европейской классикой и для продвижения книг отечественных авторов к читателю. Именно ему Готорн посоветовал опубликовать стихи Эмерсона, потому что, по его мнению, известность Эмерсона «частично из-за практики издания в Новой Англии носила ограниченный, если не провинциальный характер». Симмс, приехав на Север, познакомился с Дайкинком и вошел в круг знаменитых авторов, сотрудничавших в «Литерри уорлд», который при Дайкинке был самым блистательным литературным журналом в Америке.

«Энциклопедия американской литературы» (1855) сразу же стала и остается по сей день образцовой справочной работой. Написанная и изданная Дайкинком с участием его брата Джорджа, она отражает его глубокие знания, широкие знакомства с писателями-современниками, результаты длительного изучения книг и рукописей и неустанной переписки, которую он вел, собирая факты, а также хороший вкус и точность оценок. В этой книге и в статьях он отмечал надуманность произведений популярного тогда Натаниела П. Уиллиса и даже многих стихотворений Лонгфелло и Лоуэлла. Не испытывая симпатий к принципам трансцендентализма, он тем не менее никогда не ставил под сомнение величие Эмерсона и сожалел, что не мог получить некоторые его произведения для публикации в Нью-Йорке. Он безоговорочно провозгласил Готорна и Мелвилла литературными гигантами своего времени. Подобно большинству нью-йоркцев, в Бостоне он чувствовал себя неуютно, но среди его друзей были писатели со всех концов страны, а его дом — как и его родной город — был национальным местом встреч для литераторов.

Таким образом, Джон Джейкоб Астор и Стивен Джирард не были единственными коммерческими титанами, которые еще до середины столетия овладели искусством обращать разнородные тенденции демократической, основанной на невмешательстве в чужие дела экономики к собственной славе и выгоде. Используя эти тенденции, стали влиятельными фигурами в качестве редакторов Джеймс Гордон Беннет, Хорэс Грили и Уильям Каллен Брайент. То же самое в области книгоиздания делали Джордж Палмер Патнэм, Эверт А. Дайкинк и Джеймс Т. Филдс, в журнальном деле — Уиллис, Грэм и Льюис Гейлорд Кларк, в театре — Эдвин Форрест и Уильям Нибло и, наконец, в литературе — Купер, Ирвинг, Эмерсон, Кеннеди и другие. Благодаря осторожности и изобретательности Купера, Ирвинга и Уиллиса в Америке стала возможной профессия литератора, благодаря Эмерсону — профессия лектора, а Эдвард Эверетт, превративший свое красноречие в занятие, послужил образцом

для будущих ораторов. К середине века американский писатель добился самостоятельности.

Прогресс в импорте, производстве и распространении печатного слова позволил обеспечить литературной пищей миллионы все прибывающих читателей. С первого взгляда кажется удивительным не то, что так быстро появилось новое поколение отечественных авторов, а то, что их было сравнительно немного и им приходилось преодолевать почти такие же материальные трудности, как и предыдущему поколению. Однако объяснение напрашивается само собой. В условиях конкурентной коммерческой экономики положение писателя мало чем отличалось от положения фермера, производителя сельскохозяйственного сырья, не находящегося под защитой покровительственных тарифов. Он не мог заполучить ни влияния, ни денег, если не находил способа тоже включиться в игру. «Демократическая литература, — писал Токвиль в 1835 году, — всегда кишит оравой сочинителей, которые смотрят на литературу как на деловое предприятие». Диккенс говорил о низких нравах американских газет. Старший Лонгфелло грустно писал сыну в колледж: «Нашей стране не хватает богатства и щедрости только для приличного поощрения и поддержки пишущих». Богатство росло, но на протяжении многих лет его приходилось распределять на многих, и оно большей частью попадало не автору, а в руки литературного дельца и посредника.

18. ВАШИНГТОН ИРВИНГ

1

Итак, Америка ждала своего писателя: огни рампы зажжены, публика в сборе. Возможности для развития представлялись необычайные. Во всех тех сферах человеческой деятельности, которые мы называем культурой, наблюдалось движение, предвещавшее великое будущее. Лишь немногие из наших писателей, такие, как Готорн или Эмили Дикинсон, остались в веках, поднявшись над своей эпохой. Однако писателю, которого с таким нетерпением ждало все наше образованное общество, жаждущее иметь свой национальный театр, журналистику, прозу, не суждено было, подобно Эдвардсу или Эмерсону, пережить свое время; ему была предназначена лишь роль искусного выразителя культурных потребностей и настроений времени. В тот младенческий период нашей культурной жизни и не могло быть иначе. Без приобщения ко всем формам культуры литературный успех был немислим, а без определенного общественного признания никакой писатель не мог надеяться на читательское внимание.

Не удивительно, что наши первые писатели были людьми дела, проявившими склонность и к сочинительству. До тех пор пока Вашингтон Ирвинг не опубликовал в тридцать шесть лет «Книгу эскизов», он считался адвокатом, коммерсантом, солдатом, а венцом его карьеры в глазах современников стала не эта знаменитая книга, а назначение послом в Испанию. Его, мечтателя и художника, зачаровали новые игрушки цивилизации, он сделался рафинированным участником разного рода клубов, литературных и театральных кружков, создававших изящный фон для проявления его бесспорного таланта. Несмотря на долгую жизнь за границей, связи Ирвинга с группой «Никербокеры» оставались в силе. Никто лучше него не ощущал запросов современных читателей, как американских, так и европейских. Ирвинговские очерки нравов обнаруживают знакомство с очерками Джозефа Денни, появившимися в Филадельфии, мисс Митфорд *, вышедшими в Англии, и Фернан Кабальеро * — в Испании. Творческая жизнь Ирвинга успешно протекала не в каби-

нете, а в гостиной, в театре или в издательстве Джона Меррея*.

Вашингтон Ирвинг был нашим первым классиком. Уже при жизни его рассказы проникли в школы и библиотеки вместе с книгами английских писателей. Он стал одним из мастеров эссе в литературе XIX века. Поклонники его таланта — Байрон, Кольридж и Скотт; на книжных полках он соседствует с Аддисоном, Голдсмитом и Лэмом. Тем не менее Ирвинг никогда не подражал этим эссеистам и даже самому Вальтеру Скотту. У него свой собственный стиль, отличающийся темпераментом, вкусом и изяществом мысли. Преклонявшийся перед ним Готорн, чьи произведения напоминают об Ирвинге своеобразной манерой повествования, как и другие современники (кроме ершистого Купера), ощущали в его искусстве слитность чувств и совершенство изображения. Здравый смысл и дружелюбие в свое время способствовали популярности Ирвинга, подобно тому как резкость вредила Куперу. Сегодня Ирвинга не читают, однако его место в истории литературы останется прочным, не будь он даже первооткрывателем и не обладай личным обаянием.

Ибо Ирвинг стал нашим классиком не только как стилист, но как поэт-интерпретатор легенд — американских, европейских, всемирных. Памятник при входе в Саннисайд* увековечил в трех фигурах образы Дидриха Никербокера, короля Боабдила из Гранады и Рип Ван Винкля. Если не принимать во внимание романтичности биографии этого выходца из мелкобуржуазной шотландской семьи, возвысившегося до положения знаменитости или его блестящее мастерство прозаика, все равно останется поразительная интуиция, позволившая Ирвингу воплотить свои грезы и обогатить страну «историческим колоритом и традицией», представив Америку наследницей великих легенд прошлого. Корни его лучших рассказов уходят в глубины человеческой памяти и чувств. Возвращение Рип Ван Винкля — это символ вечной изменчивости, пронизывающей все произведения писателя. «С каким исключительным единодушием, — говорит Торо, — наиболее удаленные друг от друга народы и поколения придают цельность и завершенность древнему преданию».

2

Счастливая писательская судьба Вашингтона Ирвинга представляется ныне результатом удачного стечения обстоятельств: быстрого развития общественной и литературной жизни Манхэттена, воздействия европейских литературных образцов, его собственного гибкого ума. Живя в годы между Революцией и Гражданской войной (1783—1859), он читал книги Бернса, Кэмпбелла, Байрона, Скотта сразу после их выхода в свет,

а позднее, правда, не без страха, брал в руки эти странные новые сочинения Эмерсона, По и Готорна! Романтики начала XIX века, особенно Скотт, определили художественные вкусы Ирвинга, подобно тому как клубы, газеты и театры веселого старого Нью-Йорка направляли его талант к сатире, очерку, драме и рассказу. Счастливым баловнем родителей и многочисленных друзей, самый юный и одаренный отпрыск большой семьи, он чувствовал себя как рыба в воде в атмосфере нескончаемых вечеринок, приятельской болтовни и застольных экспромтов. К двадцати шести годам он уже был поэтом, автором жизнеописания Томаса Кэмпбелла, биографических очерков для журнала «Аналектик мзгэзин», который сам одно время редактировал, серенького томика театральной критики («Письмо Джонатана Олдстайла, джент.», 1802), сборника сатирических отрывков, написанных совместно с братом Уильямом Ирвингом и Джеймсом К. Полдингом («Салмаганди», 1807), и, наконец, этого искрящегося смехом бурлеска «История Нью-Йорка, написанная Дидрихом Никербокером» (1809). То было первое значительное произведение нашей комической литературы. Старый Нью-Йорк буквально покатывался со смеху.

В эти годы Ирвинг познал счастье веселой беспечности, которая превозмогла его скрытую склонность к меланхолии. Невысокого роста, с каштановыми волосами, голубыми глазами и каким-то особенно приятным хрипловатым голосом, он был само дружелюбие и никогда не выглядел столь очаровательным, как в те безмятежные годы, когда ухаживал за девицами Нью-Йорка и Филадельфии, путешествовал на каникулах к канадской границе, развлекался изучением юриспруденции в конторе судьи Хоффмана или проказничал в «Салмаганди». Он «далеко зашел в своих странствиях», заметил его друг Генри Бревурт, имея в виду два года, проведенных Ирвингом в Европе, куда тот отправился в 1804 году на средства любящих братьев. Вернувшись на родину и не испытывая желания заняться торговым делом в семейной лавке скобяных товаров или юриспруденцией, Ирвинг пристрастился к спутнице своих странствий — пергаментной записной книжке, источнику многих позднейших очерков и рассказов. По сути дела, он оставался обычным дилетантом до тех пор, пока в 1809 году замечательная сатира Дидриха Никербокера (один из многих псевдонимов Ирвинга) не позволила проникательному читателю, в том числе Вальтеру Скотту, ощутить исключительную силу его таланта. И в том же году произошло величайшее несчастье в его жизни — трагически умерла его невеста Матильда Хоффман. Последовали годы сомнений и тревог, вызванные неопределенностью будущего. В войну 1812 года он служил полковником в штабе, а в 1815 году вновь отплыл в Европу, не зная еще, что останется за границей целых семнадцать лет и вернется Джеффри Крэйном, знаменитым автором «Книги эскизов» (1819—1820).

После «Брейсбридж-холла» (1822) и «Рассказов путешественника» (1824), проведя зиму в Дрездене, Ирвинг пишет в Париже вместе с Джоном Хоуардом Пейном неудачную пьесу, в 1826 году отправляется в Мадрид, чтобы переводить по заказу А. Х. Эверетта * историю Колумба, принадлежащую Наваррету *, Затем в течение трех лет, следуя своей склонности к романтике, занимается в старых библиотеках Мадрида (где его навестил Лонгфелло), живет с андалузскими крестьянами во дворе Альгамбры *, знакомится с немецким антикварием Бёлем фон Фабером и его дочерью Фернан Кабальеро, бытописательницей испанских нравов. Такая полукочевая жизнь вполне устраивала его. Тем не менее в 1829 году, уступив желанию брата, он занял пост секретаря американского посольства в Лондоне. Через три года Ирвинг вернулся в свою прозаическую страну, но прежде создал четыре книги — результат изучения старой Испании («Жизнь и путешествия Колумба», 1828; «Завоевание Гранады», 1829; «Сподвижники Колумба», 1831; «Альгамбра», 1832).

Переезд из Европы в Америку имел для Ирвинга важное значение. В пятьдесят лет он был полон сил и вкушал славу, однако опасался столь затянувшегося пребывания за границей и своей приверженности к европейской тематике. Теперь, хотя и с запозданием, Ирвинг обратился к Америке. После паломничества на дикий Юго-Запад он прославил чудеса фронта, быта индейцев племени осего *, а также красоты западных территорий в трех элегантно изданных томиках, которые читали во всех уголках Америки («Поездка в прерии», 1835; «Астория», 1836; «Приключения капитана Бонвиля», 1837). Он подружился с Астором * и, по слухам, стал его доверенным лицом, пробовал играть на бирже, поговаривали и о его выдвижении на политический пост. Но особенно удручающим было то, что он перестал, насколько можно судить, профессионально заниматься литературой и однажды признался Джону Пендлтону Кеннеди, что, подобно большинству современников, считает литературный труд лишь развлечением для джентльмена.

Постоянно живя в Саннисайде, кроме тех лет, которые он провел при дворе Изабеллы II (1842—1846), Ирвинг был арбитром нашей литературы, благожелательным деспотом наших писателей, воплощением нашей скудной культуры. Как ни странно, он заметил появление больших писателей Новой Англии и изрек несколько бесспорных банальностей о рассказах По и «Алой букве». Сам же лишь перелистывал свои старые записные книжки, чтобы сочинять биографии Голдсмита, Магомета и Вашингтона, Он уже совершил все, что мог; миновало время, когда американцы с жадностью поглощали рассказы о романтических странствиях по Европе. Откровенно говоря об истощении его таланта, мы не должны, однако, забывать, как его почитали По и Готорн. Благодаря Вашингтону Ирвингу в Америке родилось искусство слова.

В письмах и очерках Ирвинга можно найти пронизательные суждения о всех исторических событиях, происходивших в течение его долгой жизни, охватывавшей более трех четвертей столетия; но мы напрасно искали бы на страницах его книг живительной мудрости, освещающей движение мысли и проникающей в интеллектуальную жизнь эпохи. Он живописно изобразил многие известные события того времени: Ватерлоо и войну с Мексикой. Однако об англо-французских отношениях или об американском империализме Ирвинг не сказал ничего сколь-нибудь стоящего. Ирвинг жил в Англии во время общественных волнений, приведших к Биллю о реформе*, но сокрушался лишь об исчезновении дилижансов и старых традиций английского рожества. Из английской смуты и подъема американского демократического движения он вынес лишь свой сентиментальный торизм. О значении демократии, сектанства, фронта Ирвинг написал несколько милых безделок, выражавших его субъективное отвращение к происходящему. Он оставался неизменным поклонником старины, романтического прошлого.

Напрасно было бы искать в книгах Ирвинга и отражения религиозной проблематики того времени. У истоков его духовной жизни стоял священник Ирвинг, шотландский ковенантер*, затем для него характерны быстрый рост скептицизма и безразличия к религии, и наконец в поздние годы в Тэrrитауне он приобщился к епископальной церкви. Все это свидетельствует о том, что его натуре была чужда в той или иной степени глубокая религиозность. Он никак не откликнулся на словопрения вокруг унитариянства, трансцендентализма, евангелизма. Все это мало интересовало Ирвинга, распространявшиеся в Новой Англии религиозные течения он считал недостаточно изысканными. Его понятия о современных направлениях мысли не опирались на аналитический поиск, как у Мелвилла, или страстную одержимость, как у Купера, они были обусловлены его флегматичным темпераментом и неизбывным консерватизмом вкусов.

В первых книгах Ирвинга — «Письма Джонатана Олдстайла, джент.» и «Салмаганди» — преобладает легкомысленное веселье. Зато другая «юношеская шалость», как покаянно называл Ирвинг «Историю Нью-Йорка», читается и сегодня. Многословная, избыливающая повторениями и позже безжалостно переработанная самим Ирвингом, она вся кипит озорным смехом над шведами и янки, голландской тяжеловесностью, педантизмом историков и джефферсоновской демократией. «История Нью-Йорка», использующая белый стих, сделана со вкусом, с воображением; здесь целый каскад сатирических аллюзий на книги Сервантеса, Рабле и Вальтера Скотта, так что последний, как он сам писал Ирвингу, покатывался со смеху. Имена голландцев Воутера Ван-Твиллера, Вильяма Кифта (карикатура на Джефферсона)

и Питера Стайвесанта вошли в поговорку, укоренились в сознании последующих поколений и получили отражение в живописи. Грубоватой комической эпосее суждена была долгая жизнь; в ней проявилось не только богатство познаний писателя, но и сила ума, проступавшая за очевидной апатичностью.

Когда Ирвинг держал корректуру своей комической истории, прекрасная Матильда Хоффман умирала. За десять лет — от появления ученой болтовни Дидриха Никербокера до выхода в свет «Книги эскизов» — Ирвинг из зеленого юнца превратился в зрелого мужа. К его всегдашнему дружелюбию и пронизательности прибавилась задумчивость и чуткость к человеческим страданиям. «Я знаю, — писал он, — что значит быть в чужой стране больным и одиноким». Спасением для него стал писательский труд. С детства он аккуратно вел дневник и теперь, после переезда в Европу в 1815 году, продолжал заносить в записную книжку заглавия книг, отрывки, анекдоты, дорожные приключения, запечатлевать свои мрачные настроения; в полустертых карандашных строках мы читаем о злключениях в Ливерпуле, об изучении немецкого языка, о восторженной встрече с Вальтером Скоттом *. «Я узнал, что такое счастье!» — записывает он, и 3 марта 1819 года отправляет в Нью-Йорк первый выпуск «Книги эскизов».

«Крэйон очень хорош», * — заметил Байрон. Кое-кто даже полагал, что Крэйон — это Вальтер Скотт. Нам в середине XX века достоинства «Книги эскизов» кажутся поблекшими. Разумеется, можно осилить все тридцать два рассказа книги, но мы уже не восторгаемся такими сентиментальными очерками, как «Гордость деревни», наивным повествованием о его путешествии по Англии, пересказом давно знакомых легенд. Эта последняя слабость обнаружилась со всей очевидностью тогда, когда литературоведы установили, что даже «Рип Ван Винкль» представляет собой дословный перевод рассказа из «Народных сказаний» Отмара *, а «Легенда о Сонной лощине» восходит к «Дикому охотнику» Бюргера * и одной из сказок о Рюбецале *. На первый взгляд «Книга эскизов» уже отжила свое и сохраняется в забалзамированном виде без всякой надежды на воскрешение.

Однако под внешним безразличием Ирвинга неизменно билась тревожная мысль. Закон всеобщего изменения отозвался романтической грустью во всех его лучших очерках. Вспомним древние книги в рассказе «Превратности литературы» *, опустевший трактир «Кабанья голова», где некогда веселился Фальстаф, королевские усыпальницы Елизаветы и Марии, могилу Шекспира, старого Рип Ван Винкля — эти свидетельства ужасающей быстротечности жизни и человеческой бренности. С грустью вспоминая о трагических событиях собственной жизни, Ирвинг то и дело в своих произведениях и личных записках возвращается к теме «разрушительного времени». «Продвигаясь по жизненному пути, — сокрушался он в записной книжке, — мы

убеждаемся, что все вокруг нас непрочно и преходяще... Мы чувствуем это, когда иссушаются наши сердца... Когда хороним своих друзей и видим обломки наших надежд и привязанностей. Оглядываясь на прожитые годы, диву даешься, свидетелем скольких перемен был мир, сколько разбитых судеб на дороге жизни».

Возможно, прелесть этих очерков эфемерна. Очевидно, их символика бессознательно произвольна: читая, мы ощущаем какую-то неопределенность чувства, которую не выразить словами. Секрет воздействия «Рип Ван Винкля» на наше воображение заключен в подтексте, воплощающем мрачную романтическую тему *tempus edax rerum*¹. Как раньше, так и теперь вольная юность Рип Ван Винкля, его долгий сон, фантастические видения и разочарование по возвращении — часть нашей собственной реальности. Это хрупкое творение знакомит нас с великолепным мастером стиля и заслуживает специального изучения с точки зрения влияния на него немецкой литературы, американского фольклора, Томаса Рифмача *, Вальтера Скотта, детских впечатлений самого Ирвинга; ради тех удивительных перевоплощений, которые получил Рип в театре, песне, переводах на испанский и русский языки. Изюминка рассказа в том, что здесь выражается чувство, знакомое каждому. Все прочитанные книги, вся бродячая жизнь и меланхолия Ирвинга соединились в одном порыве, который заставил написать рассказ за одну ночь, вложив в него все, что он знал о вечном враге человека — времени; немецкие сказания Отмара, рассказы, слышанные из уст голландских друзей, воспоминания о мрачных Кэтскилских горах и о синем Гудзоне. Как бы ни был «Рип Ван Винкль» затаскан в шутках и пародиях, за ним навечно останется место в истории мировой литературы.

Но Ирвинг редко опускался в такие глубины меланхолии. Горечь утраты, зревшая целое десятилетие, излилась в «Вестминстерском аббатстве» и «Рип Ван Винкле». В известном смысле он выговорился, и никогда уже его проза не достигнет той степени одухотворенности, которая характерна для этих рассказов, даже в сцене при лунном свете в «Кануне св. Марка», в «Брейсбридж-холле» или в фантазиях «Альгамбры». Престиж профессионального писателя и стремление упрочить свою репутацию побуждали его переделывать «Книгу эскизов», но превзойти ее ему уже было не под силу. Ирвинга провозгласили «самым светским человеком Лондона», его друзьями стали Гиффорд *, Роджерс *, Мур, Скотт, а поклонниками — Байрон и Кольридж. Он выпустил сборник «Брейсбридж-холл» (1822), состоящий из пятидесяти одного рассказа и очерка. «Недостаток этой книги в том, — справедливо отмечала Мария Эджворт, — что мастерство исполнения превосходит содержание. Незначительным вещам уделяется слишком много заботы и внимания».

¹ Время, пожирающее вещи (*лат.*).

Ирвинг обратился к новым темам, которые сближают его творчество с мрачными историями По и Готорна. Задолго до 1817 года, когда он, сидя в библиотеке Скотта, смотрел, как тот брал с полки книги Ламотт-Фуке, Гримма, Бюргера, Тика и Гофмана, Ирвинг уже пристрастился к тому, что Скотт называл «сверхъестественным в художественном произведении». Однако его рассказы о страшном, несмотря на основательное знакомство с немецкими мастерами, пронизаны светлым настроением. Он любил оживлять жуткие новеллы улыбкой иронического сомнения. Не был ли призрак жениха живым человеком, а грохот кегельных шаров в Кэтскильских горах обычным громом? Ведь оказалась же голова на луке седла Брома Бонса простой тыквой! Ирвинг знал истинную цену успеха в этой беспроектной области литературы, но его интерес к сверхъестественному объясняется более глубокими причинами. В старости он утверждал, что его больше всего в жизни волновали мечты и фантазии. Он воплощал их в вариациях немецких романтических историй. Эти рассказы о сверхъестественном питали его живое и неутомимое воображение и возбуждали желание, как в «Женихе-призраке», блеснуть мастерством. Не удивительно что, закончив «Брейсбридж-холл», он провел зиму за сочинением «немецкого романа».

Роман не был окончен, однако один из четырех разделов «Рассказов путешественника» (1824) прямо свидетельствует о длительности и плодотворности интереса Ирвинга к сфере сверхъестественного. Интерес, возникший еще в юношеские годы в Нью-Йорке, продолжался вплоть до незадачливой зимы в Дрездене. Усиленно занимаясь немецким языком и фольклором, он был всегдатаем саксонских балов, кабаньей охоты, катался на коньках и безнадежно ухаживал за английской девицей Эмили Фостер. Упорство в достижении цели не было главной чертой его характера. Вероятно, поэтому истории о привидениях и разбойниках, нередко марионеточных, соседствуют в «Рассказах путешественника» с тремя другими разделами: заметками об Италии (написанными по записным книжкам 1805 года), «Крушиной» — довольно пустячной повестью, возникшей под влиянием «Вильгельма Мейстера» Гёте, слабенькими рассказами о голландцах, выращивающих капусту, и капитане Кидде. Гулкое эхо в пещере — вот что такое «Рассказы путешественника» и готический роман, немецкая романтическая повесть, итальянский рассказ о разбойниках и легенды старого Нью-Йорка.

Последовавший затем испанский период жизни Ирвинга был гораздо счастливее, нежели немецкий. В мадридских библиотеках и бесценных коллекциях библиографа Обадаи Рича он отдался своей страсти к старым книгам и рукописям. Перевод «Истории» Наваррета показался слишком трудоемким

делом, и в конце концов вместо перевода он доверился своей собственной фантазии на тему о великом мореплавателе. «Жизнь и путешествия Христофора Колумба» (1828) с ее восемнадцатью книгами и ста двадцатью тремя главами является довольно странным конгломератом театральных персонажей (Колумб — «чувствительный герой») и бутафории, готических ужасов, вероломности испанцев, благородства дикарей, наличия русалок и молочных рек с кисельными берегами и строгой документации. Мучительные колебания между историей и романтическим повествованием усугубили нерешительность Ирвинга (прирожденного колориста там, где он изображает Испанию). Эта нерешительность особенно обнаружилась через год в «Завоевании Гранады» — книге, жанровое определение которой не мог дать ни один критик. Переводы хроник соседствуют в ней с поэтической интерпретацией эпизодов и характеров. Написанная от имени старого монаха, брата Антонио Агапида, она претендует на подлинность. В действительности же два больших тома составляют роман, прекрасный в своем монотонно льющемся повествовании. Ничего подобного в действительности не было. Но мало кто из поклонников Ирвинга откажется признать лучшими его образами величественных и мрачных героев Колумба или белокурого *el Chico*¹, Боабдила, последнего мавританского короля Гранады.

В «Альгамбре», этой «Испанской книге эскизов», как ее назвал Прескотт, несчастный Боабдил появляется снова; легендарный король сначала счастливо живет во дворце, а затем медлит у фонтана *El Suspiro del Moro*², чтобы послать последний прощальный взгляд «возлюбленному городу», *bellissima Granada*³. В этой книге Ирвинг чувствовал себя самим собой. Несмотря на массу подстрочных примечаний, он не был ни ученым, ни историком, а лишь романтиком-антикварием. Отбросив литературные каноны, к которым никогда не испытывал склонности, он вернулся к фольклору и старопечатным книгам, открыв им доступ в свои истории. Этому содействовала также дружба с Фернан Кабальеро и андалузскими крестьянами Долорес и Матео Хименес, слугами во дворце. Неторопливо, как в «Книге эскизов», описывает он Дворик львов и сад Линдараксы, оживляет старинные предания о таинственных пещерах, спрятанном золоте, звенящих саблях и призраках мавров. Подобно фантазиям, некогда порожденным туманным и синим Гудзоном, история, легенды и жизнь Гранады тоже слились воедино, но теперь вместо грубоватых голландцев появляются воины-мусульмане, вместо тыквы — гранат. «Альгамбра» пред-

¹ Мальша (*исп.*).

² Вздох мавра (*исп.*).

³ Великолепнейшей Гранаде (*исп.*).

ставляет собой ярко расцвеченный гобелен на тему мавританского прошлого. Такие рассказы, как «Легенда об Арабском астрологе», исполненные в свойственной ему изысканной манере, увековечивают неувядаемое очарование роскошной мусульманской Испании.

Если Ирвинг, по уверению Роберта Саути, не был способен писать о войнах Гранады, то равным образом его книги о западной границе, которые он, уступая читательскому спросу, опубликовал после возвращения в Америку в 1832 году, обнаруживают неспособность излагать факты, нерасцвеченные вымыслом. Документальный отчет о том же путешествии в Оклахому, составленный Г.-Л. Эллсуортом, обнаруживает, что Ирвинг в описании бизонов, мустангов и обычаев индейцев племени осего был склонен к приукрашиванию. «Поездка в прерии» (1835) — салонный вариант того многотрудного путешествия верхом, когда Ирвинг, надо отдать ему должное, переезжал реки вброд и безропотно ел грубую пищу на скусовых шкурах. Но склоняющиеся деревья в лесу напоминали милые его сердцу европейские готические арки, о которых он тосковал, а проезжая с Эллсуортом зарослями дубняка, он вспоминал о своей «Книге эскизов». Мерцающим огням стоянок, красочным одеждам рейнджеров, враждебно настроенным индейцам, охотникам за пчелами, холмистым далям лесов и прерий он придал романтические черты, идеализируя дикую природу на европейский манер.

Ощувив благосклонное внимание, вызванное «Поездкой в прерии», у читателей, никогда не видавших ни бизона, ни индейца, он засел в библиотеке Джона Джейкоба Астора и на основе дневников трапперов, описаний фронта очевидцами выткал «Асторию» — премиленький эпос, повествующий о путешествиях через континент к тихоокеанским аванпостам и о плавании на «Тонквине» вокруг мыса Горн. Как в «Астории», так и в «Приключениях капитана Бонвиля, США», написанных также при содействии Астора, Ирвинг создал ту смесь беллетристики и записей очевидцев, то бархатистое повествование, ту «необычайную свежесть целого», которая покорила даже непреклонного Френсиса Джеффри*. Рассказ о фронтире не был историей в собственном смысле слова, хотя ученые и ссылались на него; не был он и выдумкой, ибо при его сопоставлении с подлинными событиями существенных расхождений не обнаруживалось; просто истинный романист пользовался материалом, по праву принадлежащим историку.

Как бы популярны ни были его повествования о Западе, они, бесспорно, свидетельствовали, что знаменитый Вашингтон Ирвинг исписался. Уступив в 1839 году Прескотту обширную тему об испанском завоевании Мексики, он почти ничего не создал до 1848 года — а в этом году переработал собрание своих сочинений. Теперь Ирвинг, по собственному признанию, мало

читал и в течение четырех лет на посту посла в Испании даже не вел дневника. Он полюбил все испанское, вплоть до ароматов кухни. Его прелестные письма к племянницам о дворе Изабеллы II и Эспартеро* остаются единственным свидетельством его выдыхающегося таланта. Писателя занимали уже не легенды, а политика, светские сплетни и возвращение в милый его сердцу Саннисайд, где жили его племянницы и где ему суждено было провести свои последние десять лет. Обосновавшись там вновь, он опять принялся за старые записные книжки, пока Лонгфелло, столь многим обаянный очарованием «Книги эскизов», не высказался против этого доказательства такого явного упадка. Статьи для журнала «Никербокер», литературная смесь, подобная его книге «Уолфертс Руст», или третьеразрядные биографии Голдсмита и Магомета не заслуживают внимания критика. Мало осталось от прежнего Ирвинга, кроме много раз испробованных тем и внешнего изящества стиля. Он сознавал упадок своих сил, но незадолго до смерти принялся еще за одно, теперь уже последнее, начинание; однако и пятитомное «Жизнеописание Вашингтона» стало лишь бесстрастным памятником основателю Республики, созданным вялой прозой усталого человека.

5

По мере того как время Ирвинга постепенно уходит в далекое прошлое, писатель предстает перед нами и как творец, и как жертва молодой американской культуры первой трети XIX века. В те годы он сформулировал правила литературного вкуса, которым не изменял ни при каких обстоятельствах. Ирвинг очень многим обязан довикторианской драме (он даже похвалялся, что видел всех актеров своего времени), журналам, современным литературным идолам (не Аддисону и Стилю, а Байрону, Муру, Кэмпбеллу и Скотту), клубам, библиотекам и неисчерпаемым частным коллекциям рукописей, а также еще не определенным законом об авторском праве. Хоть он и бывал иногда способен, как в библиотеках Испании, на почти монашескую приверженность занятиям, однако не обладал той деятельной творческой мыслью, которая отличала участников конкордской группы. Его сатира, рассказы, очерки — естественный результат путешествий, светской жизни и бесчисленных, нередко случайных заметок в записных книжках. Превосходный искатель литературных приключений, он неутомимо собирал эти литературные *morceaux*¹, а затем искусно обрабатывал в рассказы и очерки, умело используя для этого журналы, ежегодники или повременные издания.

¹ Орывки (*фр.*).

Таков Ирвинг на первый взгляд: угождающий вкусам публики литературный поденщик в белых перчатках, которого печатали знаменитые издатели и редакторы журналов Джон Меррей и Льюис Гейлорд Кларк, чутко откликающийся на колебания литературной моды и книжной торговли. В результате тех склонностей, которые обнаруживаются в его переписке с Мерреем по поводу «Колумба», возник второй Ирвинг, делец, преуспевающий американец, состоятельный гражданин Нью-Йорка (о нем говорили как о кандидате в мэры города), владелец Саннисайда, посол в Испании. Со времен Аарона Бэрра Ирвинг ненавидел сальные ночные колпаки простолудинов; его душа тори чуралась джексоновской демократии. Но он оставался за кулисами театра, не выступая открыто на политической сцене. Обезоруживающий такт, проницательность, способность чувствовать пульс общественного мнения, столь содействовавшие его литературному успеху, не повредили и в избранной им роли наблюдателя американской жизни. Оба эти поприща теснейшим образом связаны между собой. Америка сороковых годов любила канонизировать своих литераторов, так она поступала с Брайентом или Ирвингом, и тем самым губила их как поэтов и эссеистов. Литературная слава могла вести к общественному возвышению, и, наоборот, общественное положение могло содействовать литературной репутации.

И еще один Ирвинг — их было три — внушал неподдельное уважение молодым американским писателям, которые еще решительнее, чем он, противостояли разлагающим тенденциям нашей неоперившейся культуры. Готорн и По иногда видели в нем литературного поденщика или политического дилетанта, но молчали об этом. Напротив, в «Книге эскизов» и даже в литературных мелочах они видели проницательного наблюдателя, поиски и свершения художника. Такого Ирвинга они читали. Такой Ирвинг писал сносные стихи и столь недурно рисовал, что Вашингтон Олстон *, сблизившийся с ним в Риме, умолял его стать художником. Записная книжка Ирвинга испещрена изящными зарисовками, его сочинения многим обязаны этому родственному виду искусства; живописные качества ирвинговской прозы проявляются и в красноречии его собственной кисти, и в рисунках к его произведениям Лесли *, Дарли * и других, и в фантастической красоте картин Джона Квидора * на темы его произведений, начиная с «Рип Ван Винкля» до «Уолфертс Руста». Как свидетельствуют записные книжки, для такого утонченного художника как Ирвинг никакая изнурительная работа ради одного предложения или образа не могла быть излишне усердной. Он беспрепятственно переписывал, неутомимо переделывал, лучшие часы своей жизни он посвятил счастливому, благородному труду истинного художника.

19. ДЖЕЙМС ФЕНИМОР КУПЕР

1

Слава Джеймса Фенимора Купера, создателя американского романа, жанра более сложного, чем новелла, приобрела в истории нашей литературы прямо-таки грандиозные масштабы. Не столь требовательный к литературному мастерству, как Ирвинг, Купер снижал популярность изображением романтики и будней фронта, лесов и морей, демократии и судеб Америки. Человек действия, ставший романистом по случайному стечению обстоятельств, он и собственный талант развил «прежде всего благодаря своей энергии». В предисловиях, памфлетах, исторических работах и романах он выражает свои взгляды на современность, используя, подобно Ирвингу, все новые возможности развития культуры, за исключением лишь театра. Купер не был литератором в собственном смысле слова. Он был Агамемноном за письменным столом и в полемических схватках и тем не менее оставил нам три десятка романов, несколько вечно молодых публицистических книг и два-три бессмертных образа. Его энергичный темперамент вызывал в свое время сокрушительные нападки критиков, а живость куперовской мысли захватывает нас до сих пор. Когда мы читаем романы Купера, то дышим воздухом морей и девственных озер, слышим треск ружейных выстрелов Кожаного Чулка. Купер не только несравненный критик чванливой американской демократии, но и непревзойденный рассказчик, создатель наших собственных арабских сказок фронта.

Купер родился в Берлингтоне, штат Нью-Джерси, 15 сентября 1789 года. Среди его предков были квакеры — англичане и шведы. Юность писателя протекала в основанном его отцом поселке Куперстаун, штат Нью-Йорк, вблизи мест, где в XVIII веке проходила граница между «цивилизацией» и «дикими» землями Запада — фронт. Здесь он, следуя примеру судьи Купера, научился объяснять передаваемые из поколения в поколение права собственности революционными привилегиями: «жизни, свободы и стремления к счастью» *. Проведя два года в Йельском колледже, откуда его исключили за какое-то нарушение дисциплины, отслужив гардемарином во флоте Соединенных Штатов и женившись в 1811 году на представи-

тельнице аристократического рода де Ланси из графства Уэст-честер, он на пари стал писателем. Путь Купера к славе кажется прямо-таки невероятным. В течение четырех лет он написал четыре романа, снискавших ему широкую популярность в Америке и за границей, которая уступала лишь славе автора «Уэверли».

После первых успехов в литературных кругах Нью-Йорка, после бесподобного романа «Последний из могикан» Купер путешествует целых семь лет по Англии, Франции, Швейцарии и Италии. Там он выступает в трех ипостасях: как культурный американец с семьей, знакомящийся с нравами и обычаями европейской жизни; выдающийся писатель, общающийся в Лондоне и Париже с другими знаменитостями; и раздраженный критик социально-политических порядков за границей и в Америке. Хэзлитт * видел, как Купер с достоинством прогуливался по улицам Парижа. В отличие от Ирвинга, которого Хэзлитт презирал, Купер не подпал под воздействие европейской цивилизации.

До возвращения в Америку в 1833 году Купер успел не только поддержать Лафайета в полемике о французском бюджете *, написать свои ни с чем не сравнимые заметки о европейской жизни, защитить Америку от нападок иностранных критиков, но и опубликовать семь романов, из которых три посвящены европейскому прошлому, два морских и два на тему фронта. Едва ли кто-нибудь мог сделать больше. Когда Купер отказался принять участие в торжествах по поводу его возвращения на американскую землю, он выказал ту непреклонность духа, которая определяла его жизнь и судьбу в Америке до самой смерти, последовавшей в 1851 году. Им владел безудержный и нередко своевольный энтузиазм. Романами, предисловиями к ним и судебными процессами он в течение восемнадцати лет пытался поучать невосприимчивых к поучениям соотечественников. Купер вел жизнь сельского сквайра и критика демократических порядков, одновременно одаривая мир потоком своих романов. Умер он в полном расцвете таланта, хотя непопулярность Купера-человека омрачала блестящую славу певца лесов и морей.

2

Почти невозможно классифицировать произведения Купера в строгом хронологическом и тематическом плане. После не имевшего успеха романа «Предосторожность» (1820), написанного в подражание Джейн Остин и миссис Опи *, Купер обратился к трем американским темам: революции, фронтиру и морю — и уже навсегда. Почти одновременно он начал ту откровенную защиту Америки, которой пронизаны его «Понятия

американцев» (1828), «Письмо к соотечественникам» (1834), многочисленные статьи и предисловия. Первый посвященный фронтиру роман «Пионеры» (1823) открывает цикл о Кожаном Чулке, в котором талант писателя обрел достойное воплощение. Пять романов этого цикла создавались в течение восемнадцати лет; долгая жизнь Кожаного Чулка, ее хронология не совпадает с тем порядком, в каком романы писались и публиковались. Революция, фронтир и море постоянно появляются в книгах Купера. И во всех раздается гром беспощадной куперовской критики американской демократии.

Несомненно одно: сочинения Купера — это клад для историка общественной мысли, ибо писатель мало заботился о самой литературе. Для него литературный труд был способом выражения того, что он думал об Америке. Иные из его убеждений, например о флоте или Законах против земельной ренты *, столь же устарели, как идеи Мелвилла в «Белом бушлате» или «Марди»; другие же превосхищают насущные проблемы развития демократии, волнующие нас и сегодня. Нам важны те его идеи, к которым мы снова обращаемся ныне: вера в нравственные основы свободы, патриотизм, убежденность, что существование аристократии духа не противоречит демократическим идеалам, а прирожденные черты человеческого характера получили наиболее яркое самовыражение в Америке, и, наконец, его взгляды на отношение этих идей к миру лесов и морей. При бесконечном разнообразии частных этих великие вопросы вновь и вновь возникают в книгах писателя.

Таким образом, в произведениях Купера мы видим Америку на ранних ступенях ее самосознания, пытающуюся осмыслить свое возникновение и развитие и представить себе отдаленное будущее, Америку, борющуюся за право на культурную независимость. В его романах и публицистике проявляется оптимизм и фатализм фронтира; мы наблюдаем рост классового самосознания, возникновение империализма, упорное сопротивление землевладельцев попыткам лишить их собственности и сотни других проблем прошлого века. Стремясь запечатлеть это, Купер обращается к перу; не публичными выступлениями, а в печати надеется свести все эти противоречия к некоему единству взглядов. Как писатель, он испытывал различные влияния, но его основополагающие понятия о литературном труде выражены в заявлении 1837 года:

«Настало время не только проявить уважение к американскому народу, но и обеспечить его безопасность, поэтому необходимо провозгласить принципы, отвечающие нашей действительности».

Никак нельзя обойти вниманием то обстоятельство, что Купер — социальный романист. Несмотря на его «литературные грехи», как называл их Марк Твен, он все же остается наряду с Дюма и Скоттом одним из величайших создателей

романтического повествования. Теккерей отдавал должное его героям:

«Кожаный Чулок, Ункас, Твердое Сердце, Том Коффин не уступают героям Скотта; возможно, Кожаный Чулок даже лучше кого бы то ни было из «людей Скотта». Длинный Карабин принадлежит к числу великих литературных лауреатов. Он стоит в одном ряду с дядей Тоби *, сэром Роджером де Коверли *, Фальстафом — героическими фигурами, неважно, кто они — американцы или англичане; художник заслужил справедливую благодарность страны, породившей их».

Но вот в чем загадка: свои знаменитые романы Купер недооценивал и высмеивал как «литературу легкого жанра». Конечно, его отношение к подобной прозе было типично для эпохи, которая считала литературу орудием выражения того, что необходимо сказать. Даже Ирвинг воспринимал беллетристику не всерьез. Большая часть наших писателей начала XIX века относилась с нескрываемым пренебрежением к предназначению «художника».

Однако слово «художник» употреблено Теккереем не второпях и не случайно. Обращаясь к письмам Купера или к его предисловиям, мы не находим в них ничего, кроме обычных литературных рассуждений, например о праве рассказчика придавать предмету поэтический облик, а образам героев ту или иную определенность. Все это совсем не похоже на размышления художника. Однако простота здесь обманчива. Дело в том, что Купер бессознательно питал приверженность к традициям английской прозы; точно так же как в поздние годы он принадлежал к одному из традиционалистских вероисповеданий *. Думается, что следует пересмотреть его отношение к произведениям, непосредственно не связанным с «американским образом мыслей» или «американской реальностью».

Подобный пересмотр неизменно обнаруживает в его круге чтения солидный, но довольно наивный литературный вкус. Он дотошно изучал некоторых экономистов и геологов, проводил исторические изыскания для своей прозы и публицистики, хорошо знал Шекспира. Однако он не обладал способностью глубокого литературного проникновения, ему было чуждо что-либо похожее на духовное родство Готорна с Мильтоном. Его критические суждения резки и непоследибельны, в письмах писателя мы редко встречаем пронизательные суждения о книгах, хотя и в них ощущается знание литературы; поэтические ассоциации возникают у Купера крайне редко, да и то лишь в эпиграфах к главам. В юности он читал прозрачную поэзию XVIII века (Попа, Грея, Томсона), а позднее обратился к таким известным мастерам стихотворного повествования, как Байрон, Скотт и Лонгфелло. Мы и без его сарказма понимаем, как он относился к более интроспективным поэтам прошлого века. Он искренне любил Шекспира, но книги других елизавет-

тинцев не вызывали у него интереса. Интеллектуальные стихи утомляли его, и он любил повторять, что «Потерянный рай» надо было бы написать Шекспиру!

Когда глубокая философская мысль Шекспира или Скотта совпадала с его собственными жизненными правилами, он охотно соглашался с ними, однако подобная мудрость интересовала его гораздо меньше, чем хорошо рассказанная история. Дар рассказчика, хотя он никогда и не признавался в этом прямо, глубоко волновал его, как и дар яркого историко-биографического повествования. Именно такие произведения считал он заслуживающими внимания. Да не обманет нас раздражительное замечание, высказанное им незадолго до работы над «Предосторожностью»: «Вообще я не очень люблю писать». В предисловиях к романам он излагает теорию техники повествования. Это действительно его интересовало.

Чтение и особенности темперамента Купера приобщили его к ведущей форме литературы XIX века — роману. Не учитывая этого интереса, как бы ни был он неопределенен, нельзя понять книг Купера. Возможно, его теория развития действия была лишь игрой ума. Если его разработка теории искусства была любительской, то интуитивное претворение им в жизнь нового метода производит впечатление. В литературе Купер любил больше всего описание волнующих событий и настоящих больших чувств. Его сочинения, говорит дочь Купера Сьюзен, «были простым излиянием его человеческой сущности, выражением сокровенной работы мысли, потока неподдельных чувств, теснившихся в его груди». Если бы ранние опыты Купера в области стихосложения не обнаружили неспособности к версификации, он, возможно, попытался бы создать поэму в духе Байрона, потому что поэтическое чувство, как отмечал Бальзак, было, несомненно, сильной стороной Духовного склада Купера. Чувствуя склонность к повествовательному жанру, он позаимствовал литературную форму английского романа. Купер впитал ее со всеми ее пороками, увлекшись при этом главными тенденциями: бурным действием и свободным искусством создания характеров.

Его восхищали основные особенности английской романической формы: правдоподобие действия, грубоватый психологизм характеров, роскошные описания, утешительные развязки и использование всего этого ради утверждения социальных идей. Последнюю особенность английского романа, которая вошла в моду в первое десятилетие века *, он еще усилил в ущерб своей литературной репутации. Его собственным великим вкладом была тема фронта, ее он приспособил к традиционной форме романа, относительно которой не испытывал никаких опасений. Бунтарские настроения он приберег для своей страны. Купер не проявил ни малейшего интереса к движению за литературную независимость Америки или к пророчествам

о неизбежной гибели романа. «Совершенно очевидно, — писал он, — что в отношении художественного вкуса и форм английская и американская литература должны создаваться по одному образцу... Единственная отличительная особенность, которая может и должна проявиться в литературе американцев, — это открытая приверженность к политике».

С удивительным упорством разрабатывая форму, к которой впоследствии обратились Готорн и Мелвилл, Купер свято придерживался освященных временем литературных условностей. Из романа в роман кочуют все те же затасканные приемы; тяжеловесный стиль лишен юмора и многословен. Он постоянно описывал картины героических баталий или сцены единоборства, изображал тайные побег и бешеные погони с переодеваниями героев и неподдельно радовался, когда верная любовь вознаграждалась. Он был настолько справедлив, целенаправлен и начисто лишен самокритичности, что никогда не смог бы представить себе, насколько смешным может показаться позднейшим писателям его преклонение перед избитыми образцами, и стал мишенью злой сатиры не только для мыслителей Новой Англии, но и для других писателей, обращавшихся к теме фронта, — Марка Твена и Брет Гарта. Романтизируя знаменитых исторических деятелей Вашингтона и Джона Поля Джонса, он часто избирал героями своих книг блестящих офицеров и благородных девиц, странную смесь легкомыслия и монастырской непорочности. Наряду с присущей его лучшим персонажам естественной манерой разговаривать, он нередко сочинял столь искусственные диалоги, что мы давимся от смеха, читая их; подобная манера изъясняться отражает лишь испорченные вкусы читателей того времени. Все говорило об упрямом нежелании Купера понять, что происходило в жанре романа.

3

Творчество Купера, начиная с «Предосторожности» (1820) и кончая «Векниями времени» (1850), охватывает три десятилетия, в течение которых он выпустил более пятидесяти книг и памфлетов, не считая статей и выступлений в текущей прессе. Нелегко уловить основную тенденцию его творческого развития, да и сам Купер не проявил к тому особого интереса. Под влиянием настроения он писал о невоспитанности американцев, о флоте или о фронтире, которому, если бы он понимал истинный характер своего таланта, посвятил бы все свои уникальные способности. Для удобства мы можем условно разделить творчество Купера на три периода. Первый включает приобщение Купера к литературе в возрасте тридцати одного года, неожиданный успех исторического романа о революции «Шпион»,

затем относительную неудачу с подобной же темой в «Лайонеле Линкольне» и далее, выход к новым историческим темам, связанным с морем и фронтиром.

Второй период — годы путешествия по Европе (1826—1833) — начинается с «Прерии» (1827) и оканчивается «Зверобоем» (1841), завершающим все лучшее, что было создано романистом. От тридцати четырех лет до пятидесяти Купер обрушивал на своих изумляющихся соотечественников книги путевых очерков, публицистику, сатирические и иноказательные романы, новые повествования о европейской истории и о море, а также выпустил три заключительных тома о Кожаном Чулке. В третий период, который соответствует последнему десятилетию его жизни, он разрабатывал с неменьшим упорством, хотя и не столь вдохновенно, уже известные темы. Когда смотришь на эти три периода, невольно поражает чередование творческих прозрений писателя с художественной слепотой.

Некритическое восприятие Купером традиций европейского романа со всей очевидностью проявляется не только в «Предосторожности» (1820), но и в «Шпионе» (1821), где условные приемы таинственного, почти сверхъестественного, сентиментальности, реалистической комедии, молниеносного возвышения и падения персонажей составляют зримые достоинства и недостатки повествования о легендарном революционном прошлом. Различия между «Шпионом» и предшествовавшим ему слабым романом достаточно очевидны, однако не столь разительны, как утверждают иные критики, которым не хватило мужества дочитать «Предосторожность» до конца. В этих романах Купер все более успешно оттачивает искусство рассказчика. Каким чувством удовлетворения должен был преисполниться писатель, когда в повести о «ничейной территории» его творческий талант научился использовать все, что дала благотворная, но непрофессиональная привычка к чтению! В середине работы над «Шпионом» он уже знал, что успешно освоил новую профессию; при этом понял, что натолкнулся на тему, которая соответствовала особенностям его таланта.

Одну из этих тем, еще отсутствовавшую в «Предосторожности», можно назвать, за неимением более подходящего термина, патриотизмом. Еще неумело подана она в «Шпионе», где писатель озабочен тем, чтобы воздать должное лоялистам, противопоставив их хищным скиннерам. Слишком сдержанный и чересчур благожелательный «мистер Харпер», он же Джордж Вашингтон, трансформируется в доброго волшебника и выражает глубокую, почти религиозную веру в предназначение Америки. Сходные эмоции проявляются у Купера по-разному: от раздражения в романе «Дома» до возвышенности ряда эпизодов «Прерии». Чувство патриотизма может показаться незамысловатым и несовершенным литературным орудием для романиста, но

Купер мастерски пользовался им. Этим чувством исполнены торжественные слова олимпийца Вашингтона, когда он в конце романа безуспешно пытается наградить Гарви Берча за верность, не получившую признания: «Я верю, что провидение предназначило нашей стране великую и славную судьбу, когда вижу, какой высокий патриотизм живет в сердцах самых скромных ее граждан».

Мы невольно улыбаемся, применяя эти слова к себе, ибо искренность чувств Купера непреходяща. На протяжении всей жизни она заставляла его отстаивать теорию Платона о демократическом обществе *. Эта теория, как он считал, была необходима Европе, в Америке же ее оценили недостаточно.

С большей определенностью можно говорить о роли в творческой эволюции Купера изображения местного колорита в «Шпионе». Сила его наблюдательности необыкновенна. Близкие друзья писателя отмечали эту способность, столь очевидную в великолепных картинах осенней реки. Когда взгляд Купера падал на лес или ручей, он видел все, и бесчисленные детали вплетались в ткань романа. Живописное убежище Гарви Берча на холмах или в горной пещере почти столь же очаровательно, как он сам.

В образе разносчика Гарви можно подметить еще одну из граней таланта Купера, обозначившуюся уже в героях «Предосторожности» и, подобно его интуитивному пониманию Америки, проступающую в Магуа, Чингачгукке, Кожаном Чулке или опять же в Гарви Берче. Это способность к созданию подлинно самобытных и естественных характеров. Однако Гарви окружают ходульные персонажи вроде взбалмошного мистера Уортона или «прелестной маньячки» Сары, и от этого утрачивается впечатление неповторимых качеств самого шпиона. Чисто куперовское проникновение в образ открывается в Гарви, а не в скучном докторе Ситгривсе, сколке с персонажей Смоллета, и даже не в мужественной Бетти Фленеган, вызвавшей восхищение Марии Эджворт *. Действительно, Гарви Берч — образ вполне оригинальный, если не считать некоторого сходства его с традиционным типом янки-коробейника. Смело задуманный, он вызывает сначала презрение читателей скупостью, робостью и низостью, с тем чтобы покорить их в конце бескорыстием при встрече со своим вождем и богом. Этой легендой о шпионе-патриоте, тайну которого знал лишь один Вашингтон, Купер положил начало замыслу, получившему позднее развитие в Кожаном Чулке. Так писатель с самого начала обнаружил понимание естественного человека и в образе Гарви Берча поднялся над литературными условностями, характеризующими сотни манекенов в его романах.

Для экспериментаторского духа, владевшего Купером в ранние годы, и для его беспокойного нрава весьма характерно, что он вместо того, чтобы продолжить в новых романах принесшую

успех революционную тематику, пробует силы в другой сфере американской жизни и пишет «Пионеров» (1823). Будучи уверен в своем таланте рассказчика, он довольно небрежно сочиняет историю об Оливере Эдвардсе и Элизабет Темпл и их бракосочетании после того, как героиня была спасена от лесного пожара своим возлюбленным, оказавшимся в заключение внуком старого майора Эффингама. Вновь появляются избитые литературные приемы, но внимание Купера теперь сосредоточено на изображении пограничного поселка в округе Осего, связанного с дорогами ему воспоминаниями юности. В предисловии, написанном семнадцать лет спустя после первой публикации «Пионеров», он проливает свет на раздиравшее его противоречие, оставшееся неразрешенным до романов о Кожаном Чулке. С одной стороны, писателя привлекало создание таких вымышленных образов, как Гарви Берч, а с другой — литературная добросовестность заставляла запечатлеть подлинную летопись жизни и окружения судьи Мармадюка Темпла. «Эта непреклонная приверженность к правде, — говорит он, — необходимая часть книг об истории и о путешествиях, но она разрушает очарование искусства, ибо художественное воссоздание действительности гораздо полнее достигается изображением героев в соответствии с их общественным положением и их поступками, нежели самой тщательной приверженностью к первоисточникам».

Таковы были колебания Купера в 1823 году, так возник компромисс между достоверной хроникой жизни его отца в пограничной полосе штата Нью-Йорк и романтическим повествованием, которому суждено было стать третьей частью пенталогии о жизни в лесах. И все же он разрешил эту проблему. На помощь пришли патриотизм, мастерство изображения и знание человеческих характеров (если не говорить о его бесчисленных условных персонажах). Так начиналась долгая работа по увековечению американского фронта. Фантастичны, несмотря на их реальность, вырубки, где возник поселок Осего, и героична фигура тощего, неловкого и уже немолодого Кожаного Чулка. То были реальные места и люди, существовавшие в действительности. Купер хотел, как он говорил впоследствии, изобразить их без «чрезмерно тщательного соответствия оригиналу», то есть целиком отдавшись полету своего воображения. Если бы ему это удалось, он воплотил бы одну из поэтических и в то же время вполне реальных сторон развивающейся Америки. Обратившись к американским темам, Купер соприкасал реализм видения с романтическим повествованием. Ступив на почву фронта, он создал подлинного героя, человека, который менялся вместе с изменением художественного сознания писателя.

В том же году Купер написал и опубликовал «Лоцмана» — квинтэссенцию его собственного житейского опыта. Нетрудно связать романы этой поры с незначительными событиями: «Предосторожность» — с недовольством слабым английским ро-

маном, «Шпиона» — с историей, рассказанной братом мистера Джея *, «Лоцмана» — с обедом, на котором обсуждались ляпсусы морского романа Скотта «Пират». Однако истинные причины лежат глубже. Первый морской роман Купера явился следствием его напряженного интереса к двум пограничьям — морю и лесной глуши, воде и чаще леса, которые в представлении писателя всегда были связаны между собой, вспомним хотя бы водную стихию «Следопыта».

В «Лоцмане» (1823) мы можем пренебречь запутанным сюжетом — любовными историями лейтенантов Барнстейбла и Гриффита с Сесилией Говард и Кэтрин Плауден, племянницами лоялиста полковника Говарда, происками и ужасной смертью отвратительного Кристофера Диллона, а также обычной мешаниной побегов, спасений и погони. Таковы, с незначительными вариациями, излюбленные темы всех куперовских романов. Но под внешним лоском скрывается добротная сердцевина «Лоцмана»: картина шхуны, зажатой в бурю между мелями и утесами, сражение фрегата с английским военным кораблем, описание подлинной жизни моряков во времена Революции. В морских романах больше достоверности, чем в романах о фронтире, ибо Купер не знал по-настоящему воинственных индейцев. Два года, проведенных на флоте, не говоря уж о чтении морских историй Смоллета и Марриета *, позволили ему со знанием дела писать о кливере, шкотах и компасе. Страх моряков перед землей, их любовь к открытому морю, картины жизни на шхуне и фрегате делают «Лоцмана» выдающимся событием в истории морского романа.

Рост художественного мастерства Купера сказывается не только в изображении широчайшего фронтира Атлантики, но и в двух образах романа. Сам лоцман, любимец наших школьных лет, — второй по значению персонаж куперовской исторической прозы. Туманное изображение Джона Поля Джонса * напоминает нам более ранний образ Джорджа Вашингтона. Однако Купер так и не понял, что расплывчатости изображения и налета таинственности еще недостаточно для создания героического образа. В лоцмане, человеке без родины, он хотел изобразить трагического героя. Вместо этого получился байронический герой, исполненный печали, с нахмуренным челом, таинственными влечениями и весьма комичными манерами. С первого знакомства, когда его «удивительное спокойствие граничит с чем-то сверхъестественным», и до тех пор, пока он с «горькой улыбкой» машет на прощание рукой, лоцман так же неопределен, как его плоские сентенции о свободе, страстным защитником которой, как пытается убедить нас Купер, тот является.

Иное дело Длинный Том Коффин. Он столь же реален, как «Ариэль», первая доска которого была прибита на его глазах и гибель которого он разделил. Каждое соленое слово, каждый его маневр с пушкой или гарпуном, все его простые чувства

обнаруживают те качества, которые писатель уже подметил в Гарви Берче и Кожаном Чулке. Сам моряк, Купер умел изобразить моряка. Мы радуемся появлению Длинного Тома, так же как мы невольно содрогаемся при виде мрачного лощмана. Смерть Длинного Тома (несомненный промах писателя, если представить, какие возможности могли бы открыться перед героем в поздних морских романах Купера) задевает сильнее, чем гибель капитана Ахава в великом романе Мелвилла. Как ни коротка литературная жизнь Длинного Тома, он стоит в одном ряду с Кожаным Чулком.

По-видимому, неравноценность романов Купера объясняется его неспособностью критически подойти к своим произведениям. В последних двух романах, опубликованных до поездки в Европу, то есть пятом и шестом по счету в стремительной карьере романиста, и завершающих первый период его творчества, эта неравноценность почти смешна. Мало какой из куперовских романов и лишь немногие, вышедшие из-под пера других писателей, могут сравниться с напыщенной скукой «Лайонела Линкольна» (1824—1825), написанного со знанием дела и тем не менее остающегося претенциозной мелодрамой из жизни Бостона в канун Революции. Ни один из персонажей не вызывает симпатий читателя: ни самодовольно-ограниченный главный герой, ни таинственный отец, ни Ралф, ни столь же отвратительная, сколь и неубедительная миссис Лечмир. «Лайонел Линкольн» — абсурдная арлекиада, неудавшаяся абсолютно, если не считать двух-трех батальных сцен. На какое-то мгновение Купер поражает нас былым могуществом, когда построенные в боевом порядке фермеры теснят британских солдат на Лексингтонской дороге или когда обрушиваются шквал огня с вершины Бэнкерхилла. Но о подобных вспышках таланта едва ли стоило бы упоминать, не будь они предвестниками несомненного мастерства шестого романа — «Последний из могикиан» (1826) — второго в цикле о Кожаном Чулке. Здесь перед нами зрелый художник. И хотя еще впереди оставались более впечатляющие картины жизни фронта, Купер, которому в то время исполнилось тридцать пять лет, никогда уже не достигал столь полного владения художественной техникой, не создавал более увлекательной приключенческой прозы.

Для многих — и такова одна из сторон книги «Последний из могикиан» — это бешеная и непрерывная погоня, до тех пор пока Алиса и Кора не попадают в плен к Магуа, а Кожаный Чулок, Ункас и Дункан Хэйуорд из преследуемых становятся преследователями. Кто, подобно Марку Твену, не заметит неувязок в сюжете? Однако промежутки между роковыми выстрелами Длинного Карабина так коротки, минуты относительной безопасности так ненадежны, шелест листвы в лесу краснокожих так зловещ, что читатель не знает покоя, да и не желает его. Ускорение хода событий служит убедительным свидетельством

развития мастерства романиста — миновала пора скачкообразного повествования, топчущегося между напряженным действием и скучной морализацией. И хотя в романе находится место для рассуждений о фронтире, но начиная с ожесточенного сражения на скале Хейурда с индейцем до смерти Ункаса и Магуа действие определяет все!

Занимательность сюжета «Последний из могикан» обеспечила роману всемирную славу и бесчисленное количество изданий на других языках. Читатель Купера не может не обратить внимания на умение показать цивилизацию белого человека глазами индейцев и близкого им по духу Кожаного Чулка. Если в «Пионерах» мы лишь иногда попадали в лес, то в «Последнем из могикан» мы живем в лесной глуши. Здесь Купера интересует не столько траппер, сколько индеец, который противопоставляется не своим врагам, белым людям, а другим представителям той же расы. Благородный и смелый юноша Ункас, его отец, достойный вождь Чингачгук, коварный Магуа, почтенный патриарх Таменунд — все они знаменуют собой начало глубокого изучения Купером души индейца. Ни в каком другом романе Купера не оказываемся мы так близки к подлинной жизни индейцев и не осознаем так остро неизбежности столкновения этого образа жизни с надвигающейся цивилизацией.

Купера как поносили, так и превозносили за созданные образы индейцев. Не касаясь их достоинств, следует отметить, что Ункас и Магуа воплощают в себе добродетели и пороки, которые Купер раскрывал в человеческой природе: верность, самоотверженную любовь и доброту Ункаса, коварство, злобность и жестокость Магуа и в обоих смелость, выносливость и ум. Сам Купер никогда не встречался с такими индейцами, но ему были знакомы типы подобных людей. Усиливая и возвеличивая эти черты характера, писатель показывает их на фоне фронтира, и поэтому правдивые образы Ункаса и Магуа заняли свое постоянное место в истории литературы. Что касается Кожаного Чулка, то он помолодел после своей несколько ворчливой роли в «Пионерах». Мудрый защитник лесов, рыцарственный покровитель женщин, безжалостный к врагу, погруженный в раздумья, хотя и немногословный философ, он достиг теперь полного расцвета сил, хотя пятнадцать лет спустя, в «Зверобое», станет еще моложе и отважнее.

4

В следующие два года появились два непохожих друг на друга романа о море и прерии (которой Купер никогда не видел), открывшие второй период его творчества и свидетельствующие о силе художественного воображения. В «Красном Корсаре» (1828) дана великолепная картина сражения парусных кораблей в открытом море. «Прерия» (1827), хотя и не лишена

действия, дышит разлитым в природе покоем, созвучным тому, который испытывает перед смертью Кожаный Чулок. История о моряке, который служил в английском флоте, но любил Америку, убил офицера и стал знаменитым пиратом, завершается традиционным раскрытием истинных имен героев. Комические выходы Фида и Сципиона не могут искупить нарочитой условности романа. Единственная живая сцена в нем — описание роковой бури, обрушившейся на «Королеву Каролину», самой грандиозной из всех, когда-либо изображенных Купером.

В «Прерии», романе менее динамичном, чем «Последний из могикан», разворачивается история, в ходе которой похищение героини, паническое бегство стада бизонов и пожар в прерии не отвлекают внимания от семьи иммигранта Измаила и Эстер Буш с их сыновьями. Однако все эти скваттеры: и злобный Матори из племени сиу, и добрый Твердое Сердце из племени поуни, — все они служат лишь фоном для изображения благородного Кожаного Чулка, который, как тогда полагал Купер, в последний раз появлялся перед читателем. Еще не заглядывая в будущее, Купер писал, что книга эта «завершит повесть о Кожаном Чулке. Отягченный годами, он уже не зверобой и не воин, он становится траппером, то есть звероловом, каких немало на Великом Западе. Стук топора прогнал его из любимых лесов, и... он ищет прибежища на голой равнине, протянувшейся до Скалистых гор». Ослабла рука Натти, но не разум этого «философа-отшельника». Он умирает, как и жил, безмятежно, откликнувшись на призыв создателя: «Здесь!»

Хотя во второй период творчества Купер опубликовал еще десяток романов, все они, кроме двух, воскресивших Натти из могилы («Следопыт», 1840; «Зверобой», 1841), отмечены тем скучным прозаизмом, в который художник впадал, погружаясь в абстрактное изображение старины или с тяжеловесной риторикой поучая своих соотечественников. Такова «Долина Виш-тон-Виш» (1829), мелодрама из времен войны короля Филиппа, разыгрывающаяся на фоне условно изображенного пуританского Коннектикута, неуклюжая в попытке «увекочить память об обычаях и событиях ранних лет нашей истории». Здесь Купер имеет в виду «странные и эксцентричные догмы» Новой Англии. Сюжет «Морской волшебницы» (1830), действие которой происходит в Нью-Йорке того же времени, был, естественно, ближе писателю, хотя роман не стал от этого более убедительным. Вместо штурма блокады, изображенного в предшествующем романе, Купер предлагает здесь погоню за пиратом, известным под прозвищем «Бороздящий волны». Эту книгу он написал в Италии, когда в силу своей роковой плодовитости сочинял трилогию на европейскую тематику. В трех романах — «Браво», «Гейденмауэр», «Палач» — он попробовал сразиться со Скоттом на его же территории, изобразив европейское общество таким,

каким оно видится просвещенному американцу, приобщившемуся к демократии.

Резкие нападки американских газет на «Браво» ускорили давно зревшее у него намерение: в 1834 году он публикует свое язвительное «Письмо к соотечественникам», в котором дал ответ этой критике и опрометчиво заявил, что больше не станет писать романов. Он начинает жестокую войну в предисловиях, сатирах, судебных процессах, так что одновременное появление новых романов о Кожаном Чулке кажется просто чудом. Гнев писателя получил исход в аллегории «Моникины» (1835) и в романах «Домой» и «Дома» (1838). Два последних претендуют на живописание современных американских нравов: первый, приправленный обычными картинками погони и битв, изображает группу культурных американцев, возвращающихся на родину вместе с менее достойными уважения членами общества; второй исследует американскую социальную жизнь в городе и деревне. Успех Купера в этих книгах весьма проблематичен, утонченные братья Эффингамы, воплощающие куперовское представление об американском джентльмене, столь же неестественны, как и карикатурные образы увальней мистера Стедфаста Доджа и Аристабулуса Брэга. Этими очерками, нарисованными словно черным углем, Купер подогрел растущую неприязнь своих соотечественников, получил прозвище Эффингама, был вовлечен в знаменитый «эффингамский» судебный процесс о клевете и, казалось, решил провести в жизнь раздраженное заявление (которое он, правда, не осуществил), что больше не станет писать художественную прозу. Тем не менее в романах «Домой» и «Дома» он оставил будущим историкам великолепные документы злободневной социальной полемики.

Примерно в 1840 году Купер достиг вершины активности и не только в смысле ссор с соотечественниками, но и влияния на литературный мир. После возвращения в Америку он опубликовал, помимо уже упомянутого, четыре тома о жизни в Европе, политический букварь для соотечественников «Американский демократ» (1838), различные статьи, первую историю американского флота (1839), шедевр скуки («Мерседес из Кастилии») в форме романа о Колумбе и в подтверждение плодотворности своего гения закончил цикл о Кожаном Чулке, выпустив «Следопыта» (1840) и «Зверобоя» (1841). Эти два романа явились, если бы только рассерженные современники могли это понять, имеющим непреходящее значение ответом на все обвинения Куперу — человеку и писателю. И вот он снова в своей стихии лесов и озер; забыты неловкие намеки на свои собственные переживания (как в романе «Дома»), и даже морализация, от которой он никогда не мог избавиться окончательно, приобрела отпечаток достоинства, ведь он рассказывал о жизни Кожаного Чулка. Снова все в движении, и снова мы становимся свидетелями великолепного проникновения в образы простых и сильных

людей, столь разительно непохожих на гротескные фигуры Эф-фингамов.

«Следопыт» захватывает нас сочетанием двух тем, характерных для Купера, — приключений в лесах и приключений на воде. В этом романе вместо моря предстает озеро Онтарио в окружении великолепной панорамы фронтира. Писатель достигает особой выразительности в образе Кэпа, старого морского волка, с тайным восхищением наблюдающего маневры юного Джаспера Уэстерна, речного лодмана на «Резвом». Никакой другой роман Купера о фронтире не отличается таким разнообразием эпизодов, как «Следопыт»; даже трафаретная глава о блокаде приятно разнообразится появлением индейской женщины по имени Июньская Роза. И при этом никаких персонажей, оказывающихся не теми, за кого их принимают. Лишь подзревание относительно Джаспера, рассеявшееся к концу романа, напоминает нам об этом избитом приеме. Главный герой всего цикла здесь в расцвете сил (так же как и автор); леса — его святилище и поле битвы. Купер хочет дать нам почувствовать всевозрастающее воздействие надвигающейся границы на естественного человека, этого подлинного демократа в своих отношениях с другими людьми. Возможно, нечто из квакерского наследия самого Купера сказалось на отношении Кожаного Чулка к богу и человеку, в его скорби об утрате Мэйбл Данхем, но симпатии Купера на стороне идиллического счастья Мэйбл и Джаспера. Соединившись наконец, возлюбленные прощаются с разведчиком: «Твердые шаги, которые не могло расслабить никакое горе, несли его все дальше, пока он не затерялся в лесной чаше».

На вершине своей интеллектуальной и художественной силы, нашедшей отражение в «Зверобое», Купер не только совершенно владеет материалом — ходульных героев в заключительном романе цикла совсем немного, — но и обнаруживает глубокую интуицию, позволившую ему показать нравственную природу Кожаного Чулка. Отказываясь от Мэйбл Данхем (в «Следопыте»), он посвящает свое одинокое существование философскому созерцанию природы, почему и любовь к нему Джудит Хаттер в «Зверобое» остается безответной. Он еще совсем молод, если следовать хронологии его жизни, но его непреклонность во взаимоотношениях с Джудит словно предвосхищает отречение от Мэйбл. Все глубже и глубже проникая в этот художественный образ, Купер подчеркивает одиночество Зверобоя и его близость к силам природы. Писатель изображает его братом по оружию Чингачгука, исполненным юношеской силы и энергии, впервые убивающим врага. Мы замираем от волнения, читая о сражении у «замка» Тома Хаттера, скорбим о смерти Хетти, содрогаемся, когда Зверобоя ожидают пытки, но в кульминационном романе цикла мы особо отмечаем озабоченность Купера духовным складом его бессмертного героя.

В «Зверобое», еще не подозревая, что именно он принесет ему посмертную славу, Купер сделал окончательную заявку на бессмертие. Тем не менее в дюжине романов, вышедших в третий период его творчества, начиная с «Двух адмиралов», появившихся в апреле 1842 года, и до «Вечный времени», изданных в 1850 году, за год до смерти, он сохранил вкус к писательству. Более того, романы против Закона о земельной ренте, составляющие трилогию о Литлпейджах, выявили новую грань куперовского таланта: глубину социального анализа. Таким образом, нельзя говорить об упадке писательского мастерства Купера; отдавая дань годам, он лишь заострился в предрассудках, утратил широту взгляда и оказался изолированным от нового поколения Америки, которую горячо любил. Нет смысла перечислять проблемы, все более и более отвлекавшие от основного действия, дававшие пищу дидактизму и ослаблявшие талант социального художника частностями, такими, как откровение и божественный разум в «Блуждающем огне», голландские и английские земельные угодья в «Вайандотте», «На суше и на море», «Майлсе Уоллингфорде», обращение в христианскую веру, избрание в «Дубовой роще», тринитаризм * на фоне полярного пейзажа в «Морских львах». Постоянные темы рассуждений в его книгах: религия — к ее поддержке он обращался все настойчивее — и неискоренимая социальная несправедливость. У него было также бесчисленное множество навязчивых идей относительно янки, английского произношения или Неаполитанского залива. Однако если мы терпеливо отнесемся к этим причудам, то из таких приключенческих романов, как «Джек Тайер» (1848), сможем многое понять в самом писателе. Занимательность действию в «Двух адмиралах» (1842) придают маневры, на этот раз не отдельных кораблей, как в «Лоцмане» и «Корсаре», а целых флотов. Несмотря на элемент религиозности и образ назойливого негодяя-янки Итуэла Болта, вполне понятно чувство удовлетворения, испытанное Купером после выхода романа «Блуждающий огонь» несколько месяцев спустя. Перед нами снова голубое и золотое Средиземное море — увлекательная история о капере и английском фрегате, захватывающая сильнее, чем трафаретная осада крепости в «Вайандотте». В противоположность Готорну, прибегавшему в своей критике пуританизма к более тонким и изощренным приемам, разоблачение этой идеологии Купером, испытанным к ней чувство отвращения, категорично и поверхностно, как и его восхваление в том же романе англиканского вероисповедания.

В двух последующих романах чувствуется перо зрелого мастера, использующего художественную прозу для беспристрастного изображения социальной истории. Роман «На суше и на море» и его продолжение «Майлс Уоллингфорд», опубликованные

в одном и том же году, представляют собой, в сущности, один роман, в котором воспоминания главного героя изложены от первого лица. Первая часть написана Купером в его лучшей повествовательной манере, напряженные события, развертывающиеся на море, напоминают «Лоцмана» или «Красного Корсака». В обеих частях мы имеем удовольствие читать автобиографию самого Купера (поскольку милая Люси, конечно же, Сьюзен де Ланси, а Майлс — сам Фенимор Купер). Не принимая в расчет бесспорно ироничную манеру повествования, можно сказать, что романы отличаются терпимым изображением жизни XVIII века, протекающей в садах, лугах, полях, речных долинах и обыкновенных американских фермах того времени, таких, как Клобони. Здесь перед нами безоблачная картина жизни в безмятежной, почти идиллической Америке, совершенно незнакомой позднейшим европейским критикам нашей цивилизации. Как и последующие «Сатанстоу» и «Землемер», это роман нравов, художественное воссоздание всего лучшего в американском обществе, к чему постоянно стремился Купер, и в то же время одно из неудавшихся романтических повествований, которые обычно у него хорошо получались.

Панорама американской жизни в романах о Майлсе Уоллингфорде составляет единое целое с трилогией «Сатанстоу» (1845), «Землемер» (1845) и «Краснокожие» (1846). В полемике о Законах против земельной ренты, ныне забытом споре, Купер увидел кризис американского идеализма и не случайно сам выступил на стороне лэндлордов в защиту частной собственности. Его ностальгический патриотизм в конце концов обратился против уравнилельного американского общества Эндрю Джексона. В первом романе трилогии и частично во втором Купер — хороший рассказчик, а в дидактических «Краснокожих» это достоинство приглушено. Во всяком случае, идея, объединяющая все три романа, как отмечается в авторском предисловии, — анализ «устоев». История любви Корнелиуса Литлпейджа и Аннеке Мордаунт и обычный замысловатый сюжет, образ злобного педагога из Данбери, штат Коннектикут, принадлежат к лучшим страницам куперовской прозы. Вместе с тем социальный романист отвлекает наше внимание от сюжета с картинками быта голландских землевладельцев и англичан в Нью-Йорке колониальных времен с его голландским праздником тройцы «пинкстером». Подобный подход преобладает в трилогии, он свойствен даже символическому образу Тысячаакра, новоанглийского скваттера, и описаниям долгих споров, которые ведутся по поводу этого выскочки и высоконравственных героев, вызывающих восхищение писателя. Первые две книги отличаются беспристрастием, но в «Краснокожих» Купер впадает в безудержный гнев по поводу надвигающейся гибели всего, что ему дорого.

Захватывающая исповедь Литлпейджа — в действительности воспоминания стареющего Купера; после нее начинается упадок

его творческого воображения. Правда, в пяти последних романах усталость писателя мало чувствуется, талант его все еще вспыливает в них подобно молнии, как это было в тщательно продуманном символизме «Кратера» (1848) или в картине битвы корвета и брига в «Джеке Тайере» (1848). Однако к концу жизни отвращение к неразумности американской цивилизации ограничивает творческий кругозор Купера; его утверждение, что человечество слепо и не понимает пользы проповедуемого им тезиса о необходимости контролируемой свободы, звучало уже неубедительно. В «Кратере», нашем первом настоящем утопическом романе, Купер выразил опасение, что человеческая природа не может обходиться без авторитетов, в «Дубовой роще» — обеспокоенность безразличием к обращению в христианство, в «Морских львах» — свои мысли об отрешенности бога от мира, в «Веяниях времени» — неприятие суда присяжных. Во всем, что он писал в те годы, разлита мелкая и столь хорошо знакомая нам раздражительность, характерная черта его темперамента. Куда бы ни бежал он — на таинственный остров в «Кратере» или в антарктические области в «Морских львах», — повсюду преследовало его беспокойство. То было довольно странное и, оглядываясь на прошлое, даже комическое зрелище. Силы не покинули его, он еще владел искусством повествования и не утратил социальный идеализм, но этот идеализм был подточен пороками общества, к которому писатель относился столь критически.

Окидывая взглядом творческий путь Купера, испытываешь недоумение, размышляя, какую колдовскую власть имела над ним американская цивилизация во всем ее неразумии и величии — над ним, ее врагом и поклонником. Критикуя, высмеивая, понося ее, он всегда считал эту цивилизацию замечательной, а ее интересы ставил выше своих собственных занятий литературным ремеслом. Все его книги после «Зверобоя» свидетельствуют, что он все меньше обращал внимание на художественную форму и все более интересовался тем, что можно выразить посредством романа. И только одному достоянию искусства оставался он верен — таланту, от которого не мог отказаться, даже если бы хотел, — искусству рассказчика. Это искусство он никогда не отождествлял с искренним, но столь часто вводившим его в заблуждение патриотизмом. Однако, оценивая Купера, мы должны вновь отметить, что для него Америка была на первом месте, а мастерство — на втором. Вполне вероятно, если говорить о кругозоре и страстности чувств, Купер — социальный критик переживет Купера-романиста, но никогда — автора историй о Кожаном Чулке. И все же эти повести никогда не стали бы такими страстными, глубокими и истинно американскими, если бы писателю за внешними фактами действительности не удалось беспощадно обнажить основы американского общества и человеческого характера.

20. СВОЕОБРАЗИЕ И НОВАТОРСТВО ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ШТАТОВ

Нью-Йорк и Пенсильвания, расположенные между Новой Англией и Югом, возглавляли штаты атлантического побережья и олицетворяли в те времена, по словам Генри Адамса, «золотую середину», практичную и мудрую склонность к компромиссу и сочетанию различных интересов. Поддерживая то Новую Англию, то Виргинию и соседние с нею южные штаты, служа своего рода балансиrom, они стали политической силой, сплотившей нацию, и сумели переплавить разноликие идейные и художественные тенденции в национальную культуру.

Крупнейшими писателями того времени были Купер и Ирвинг, в 1825 году заявил о себе молодой Брайент из Новой Англии, а позднее, после попытки добиться успеха в Ричмонде, — Эдгар По. Знаменательно, что эти четверо, выступавшие от имени Соединенных Штатов, были признаны, как дома, так и за границей, главными представителями литературной Америки. Средние штаты, гордившиеся тем, что в их пределах располагались политическая и деловая столицы, не желали считать свою культуру региональной. Развитие творческих сил нации сдерживалось, правда, постоянной приверженностью таких второстепенных писателей, как Полдинг, Уиллис, Баркер, Хэллек или Бэрд, к голландским, квакерским или английским аристократическим традициям, к театральным сплетням и незатейливой восторженно-патриотической болтовне в кофейнях. Так зарождалась национальная литературная жизнь, еще незаметная, но прочная в своей основе.

Писатели второго ранга возродили в таких центрах, как Филадельфия и Нью-Йорк, а отчасти и в менее крупных городах — Олбэни, Балтиморе и Вашингтоне — нечто близкое духу старого Лондона минувшего XVIII века. Мужчины и женщины устраивали в гостиных и клубах литературные беседы, поставляли журналам и театру патриотические плоды своего труда, созданные по английским образцам. Более многочисленные, чем их предшественники, эти писатели продолжили дело, начатое Френо, Брауном, Денни, Хопкинсоном, Брэкенриджем, Тайлером. И если те часто терпели неудачи, то новое поколение литераторов неплохо зарабатывало на жизнь своим пером. Характерные

черты этих писателей подметил По в «Литераторах», а Н. П. Уиллис запечатлел их в «Мимолетных зарисовках». Едва ли существовал жанр, в котором бы они не выступали, но наиболее притягательными для них оставались рассказ, очерк и лирическое стихотворение, поскольку новые журналы охотно печатали подобные вещи, а новые театры с готовностью брали комедии нравов и мелодрамы.

2

Джеймс Керк Полдинг, навсегда связавший свое имя с Нью-Йорком, — один из наиболее типичных писателей, творчество которого позволяет судить о своеобразии и новаторстве литературы Соединенных Штатов. В течение десятилетий он демонстрировал в своих многотомных сочинениях удивительную способность имитировать различные литературные направления, стили и даже манеру отдельных авторов и тем отличался от других писателей начала XIX века. Достоинства и недостатки Полдинга отражали специфику растущего самосознания страны. Его можно назвать Купером без куперовского обаяния или Ирвингом, который никогда не покидал Америки. Со всей пылкостью своего темперамента он брался за самые разнообразные вещи, экспериментировал с поэтическим эпосом, рассказом, романом, драмой, литературной критикой, юмористикой, статьями в духе Свифта на моральные, социальные и политические темы; однако его кипучая деятельность в известной мере свидетельствовала об отсутствии у Полдинга самобытного таланта, не позволившего ему стать действительно выдающимся писателем своего времени. Он олицетворял собой «золотую середину», характерную для Средних штатов. Искренний, даже несколько экспансивный приверженец демократии, Полдинг был трезвомыслящим человеком, лишенный метафизической утонченности и твердо стоявший на земле.

Если не считать временного сотрудничества Полдинга в газете Питера Ирвинга «Морнинг кроникл» в 1802 году писательская деятельность его началась в 1807, когда появилась первая серия периодически издававшихся очерков «Салмаганди, или Причуды и мнения Ланселота Лангстаффа, эсквайра, и других», написанная им совместно с Уильямом и Вашингтоном Ирвингами. Он близко сошелся с ними за десять лет жизни в Нью-Йорке, куда переехал из своего родного графства, населенного голландцами. Сотрудничество Ирвинга и Полдинга было столь тесным, что почти невозможно установить степень участия каждого из них, хотя принято считать, что именно Полдингу принадлежат образы семьи Коклофт, прототипом одного из которых послужил его дядя. Вторая серия «Салмаганди», появившаяся в 1819 году, целиком написана Полдингом.

«Занимательная история Джона Буля и брата Джонатана» (1812), изданная под псевдонимом Гектора Булласа, определила характер и во многом форму американской политической сатиры. Книга, вначале состоявшая из шестнадцати глав, затем разрослась более чем в два раза. Сатира Полдинга восходит к «Хорошенькой истории» (1774) Френсиса Хопкинсона и предвосхищает некоторые главы «Марди» (1849) Мелвилла. Главное место действия — остров Джона Буля, олицетворяющий Англию и тринадцать ферм Джонатана, которые представляют собой Соединенные Штаты, а сообщения о происходящих событиях поступают из Лягушачьего замка Льюиса Бабуина (Людовик XVI) и от Бо Напперти (Наполеон), «прозванного Добрым потому, что он им не был». Капрал «Плохой гриб» воплощает тех путешественников по Америке англичан, которых Полдинг изобразил позднее в сатире «Джон Буль в Америке, или Новый Мюнхгаузен» (1825). Продолжением ранней сатиры о Джоне Буле, хотя и уступающим ей по силе, является «История дяди Сэма и его ребят» (1835), где Джонатан превращается в дядю Сэма с двадцатью четырьмя сыновьями (штатами), крупными парнями. Однако некоторые из них «высохли от волнения», «тщеславны и завистливы, как большинство маленьких людей». Две пьесы Полдинга — «Олень хвосты, или Американцы в Англии» (написана около 1815 года) и «Лев Запада», получившая в 1830 году премию, — отражают склонность американцев к карикатуре, хотя главные герои заслуживают внимания как образы подлинно реалистические.

Основная идея всего зрелого творчества Полдинга, будь то эпическая поэзия, проза или драма, отчетливо прозвучала в статье «Национальная литература», появившейся в заключительном выпуске второй серии «Салмаганди» от 19 апреля 1820 года. Здесь, говоря о «рациональной литературе», Полдинг нападает на «рабское подражание», «господство иностранного вкуса и образа мыслей», «распространенные суеверия — веру в привидения, волшебников, гномов, всю эту отжившую свой век нечисть» и отстаивает приверженность природе и «реальной жизни», потому что «события, сколь бы необыкновенными они ни казались, всегда могут быть объяснены причинами, поступками и страстями, возникающими из совершенно обычных обстоятельств, в которых мы не причастны никакие сверхъестественные силы». Хотя Полдинг и прибежал к иностранной тематике (как правило, неудачно), а подчас тоже обращался к изображению сверхъестественного, однако в основном он придерживался своей теории. Некоторые стороны американской действительности Полдинг видел сквозь розовые очки. Так, он разделял необоснованные надежды своих современников на то, что жизнь пионеров фронта будет содействовать развитию «строгой простоты» и силы воли, не замечая, что вместе с тем она способствует росту грубости и корыстолюбия.

«Обитатель лесной глуши» (1818), эпическая поэма Полдинга размером более полутора тысяч строк, менее романтическая, чем рассказ Кревкера о гебридце Эндрю, предвосхищает некоторые идеи знаменитого эссе о фронтире Фредерика Джексона Тернера, написанного три четверти века спустя. История переселения Бэзила с берегов Гудзона на Запад в «обретенную бедняками обетованную землю» долины реки Огайо рассказывается Полдингом с «патриотическим чувством и жаром», хотя блеск и отточенность стиха XVIII века — «героических куплетов» — под его пером явно потускнели. Писатель посылает Бэзила, как бы в заслугу за его успехи, в американский Конгресс, допустив художественный просчет скорее национального, чем индивидуального характера, лишь подтверждающий убежденность его соотечественников, что добродетель и трудолюбие неизменно ведут к жизненному успеху. Картины природы, описание жизни моравских братьев в Пенсильвании, повествование о резне в долине Вайоминг *, рассказы о различных исторических лицах: Арнольде *, Андре, Грине *, Мэрионе *, Франклине, Вашингтоне, а также самый сюжет, — все делает поэму исконно американской.

Рассказы и романы — лучшее из созданного Полдингом. Проза Полдинга блестящим образом приспособлена для его неторопливой манеры повествования, склонности высказывать личные взгляды и рассуждать о самых различных материях. Наиболее удачны его произведения о голландцах, особенно выделяется яркий образ Сибрандта Уэстбука из «Очага голландца» (1831). Однако Полдингу удавалось изображение не только голландцев. Охотники и лесорубы американского фронта, будь то Уильям Джонсон в «Очаге голландца» или Эмброс Башфилд в романе «Вперед, на Запад!» (1832), обрисованы писателем с притягательной достоверностью. В своем первом романе «Кониингсмарк» (1823), Полдинг изображает шведские колонии на Делавере и Длинного Финна; пятый, и последний, роман «Пуританин и его дочь» (1849) посвящен пуританству в Англии времен Кромвеля и в Новой Англии. В романе «Старый солдат, или Цена свободы» (1846), действие которого происходит в Нью-Йорке во времена Революции, повествуется о превратностях судьбы вигов, живущих в общине тори, — тема, прозвучавшая в рассказе о родовом проклятье, преследовавшем Дадли Рейнсфорда из романа «Вперед, на Запад!».

Ревностное и самоотверженное стремление Полдинга развивать американскую литературную традицию свидетельствовало, насколько серьезно относился писатель к своему творчеству, утверждавшему идеи трудолюбия и порядочности. При этом он всегда подчеркивал, что пользовался источниками из первых рук: «Мемуарами американской леди» (1808) миссис Грант для своего «Очага голландца» и «Воспоминаниями о последнем десятилетии» (1826) Тимоти Флинта для романа «Вперед, на

Запад!». Полдинг, несомненно, был согласен с издательским предисловием Харпера к «Очагу голландца», утверждавшим, что нравственный долг романиста — дать читателю, «без горечи и опасности личного опыта, то знание людей, которое в большинстве случаев, если человек сам не сталкивался с жизнью, приобретает лишь к тому времени, когда уже слишком поздно использовать его к собственной выгоде».

В картинах нравов былых времен, в диалогах и прямых авторских комментариях Полдинг утверждает достоинство строгой «дорической простоты» (в «Очаге голландца» это выражение встречается особенно часто), здравого смысла и терпимости — последнее главным образом в обличении жесткого догматизма бродячего священника из романа «Вперед, на Запад!». Иногда писатель прибегал к широким сатирическим обобщениям, как у Шеридана и Ройолла Тайлера, доводя до абсурда те черты характера, к которым сам испытывал отвращение. Таковы карикатурные образы Устарелых в «Оленьих хвостах» и поклонников Кэталины Ванкур в «Очаге голландца»: Барри Гиллфилена, «легковозбудимого джентльмена» с «чисто ирландской склонностью влюбляться с первого взгляда», и сэра Толстяка Биржевика, нищего лорда, «олицетворения величественной глупости». Реже и не столь удачно создавал Полдинг положительные образы добродетельных героев, таких, как сэр Уильям Джонсон в «Очаге голландца» или Виргиния Дейнджерфилд и отец Жак из «Вперед, на Запад!».

В искусстве создания характеров и в разработке сюжета Полдинг иногда поднимается до уровня Симмса и Купера. Отмечалось сходство между «Очагом голландца» и «Сатанстоу» (1845) Купера: в обоих романах действие разворачивается вблизи Олбэни во время войны с французами и индейцами. Разумеется, «Сатанстоу» — роман более стройный композиционно, однако описание того, как Сибрандт Уэстбрук спасает Кэталину Ванкур во время урагана, захватившего на острове компанию веселившейся молодежи, не уступает по живости картине спасения Корни Литлпейджем Аннеке во время ледохода на Гудзоне. У героев Полдинга и Купера много общего: эти герои — идеальное сочетание голландской и английской крови, оба неоднократно спасают жизнь героинь, будь то стихийное бедствие или угроза со стороны индейцев; наконец, соперниками обоих выступают приехавшие в американские колонии англичане. Но полдинговский Сибрандт менее идеализирован. Он более застенчив, неуверен в себе, не столь уж обходителен, даже несколько неуклюж, но зато на него можно положиться в тех перипетиях, в которых оказываются герои романа, к тому же он добрее и по-человечески привлекательнее. Писатель глубоко проник в душевный склад Сибрандта, проявляющийся в его взаимоотношениях с сэром Уильямом Джонсоном. Кэталины, женственная и своенравная, также более убедительна, чем Аннеке. И все же

Полдингу не удалось создать образ такой неотразимой силы, как куперовский Гурт Тен Айк.

Опубликованный год спустя роман «Вперед, на Запад!» написан искуснее, чем «Очаг голландца», однако не отличается его реалистичностью и искренностью. Тип виргинского плантатора полковника Катберта Дейнджерфилда из Паухатана не был столь хорошо известен Полдингу, как нью-йоркские голландцы. Не мог он похвастаться и знакомством с топографией, а также обычаями Кентукки того времени, когда этот штат не без оснований называли «мрачной и кровавой землей». Увлечшись изображением причуд Дадли Рейнсфорда, чье болезненное сознание своей вины определяет развитие сюжета, Полдинг вплотную подошел к глубоко драматическому материалу, оказавшемуся, однако, ему не по силам. Не желая поверхностно подражать романтизму По, он не сумел реалистически осмыслить и отобразить помрачение рассудка Рейнсфорда. Таким образом, Полдинг уступал и Чарльзу Брокдену Брауну, в «Виланде» (1798) изобразившему сходную ситуацию: проникшись чувством религиозного фанатизма, Рейнсфорд хочет принести в жертву свою невесту Виргинию Дейнджерфилд. Пространная проповедь о геенне огненной вызывает галлюцинации героев, придавая всему повествованию трагическую напряженность. Надо сказать, что образ Эмброза Башфилда получился удачнее. Этот неуклюжий лесной великан выполняет обязанности старшего помощника полковника Дейнджерфилда во время экспедиции по реке Огайо в Кентукки и организации там новой общины. После того как индейцы вырезали семью Башфилда, а сам он лишь чудом уцелел, им овладело чувство ненависти к краснокожим. Башфилд любит необычные выражения и неизменно стремится заставить своих врагов «нюхать запах серы», а его бахвальство напоминает речи Нимрода Уайлдфайера из «Льва Запада», инсценированного Полдингом как раз в это время. Эксцентричный в одежде, в речи и поступках Башфилд — цельный человек, внушающий доверие и подтверждающий мысль Кревкера о том, сколь благотворное воздействие оказывает на человека жизнь на фронтире.

Для голландских рассказов Полдинга особенно типичны «Кобус Иеркс» и «Клаас Шлашеншлингер», вошедшие в «Книгу святого Николая» (1836). Первый своим настроением и действующими лицами напоминает ирвинговскую «Легенду о Сонной Лощине», хотя сам сюжет — возвращение Кобуса с ночной попойки в таверне, где верховодила «злая женская сила», — скорей вызывает в памяти бернсовского «Тэма О'Шэнтера». Черный пес, оказывающийся «дьяволом», преследует Кобуса, и он познает обманчивость «теории, будто хмель и мужество, то есть виски и доблесть, — синонимы». Действие «Клааса Шлашеншлингера» сосредоточено вокруг двух чудес святого Николая, но все детали сюжета и изображение характеров вполне

реалистичны. Психологические рассказы представлены «Немой девушкой» и «Призраком», хотя оба с равным правом могут быть отнесены и к жанру остросюжетного повествования. В первом из них разочарованную в жизни героиню Фиби Энгвин, живущую с матерью и братом-идиотом Элли, соблазняет и бросает приглянувшийся ей незнакомец Уолтер Эйвери. Некоторые критики проводили смелые сравнения этого рассказа с «Алой буквой» Готорна, однако в рассказе Полдинга отсутствует та полнокровность и глубина, которые могли бы придать убедительность неуравновешенному духовному складу героини и реальность всему замыслу. «Призрак», опубликованный одновременно в «Атлантик сувенир» и в нью-йоркском «Миррор» за 1829 год, — история о некоем Уильяме Моргане, который находит извращенное удовольствие в том, что наряжается призраком, причиняя этим беспокойство как другим, так и самому себе. Созданные Полдингом образы Моргана и Тома Брауна, главной жертвы его проделок, напряженность, правдивость и убедительность повествования производят сильное впечатление.

Энергичный, как сама молодая Америка, Полдинг занимался не только сочинительством, но и политической деятельностью. Слишком увлеченный открывающимися перед ним горизонтами, чтобы шлифовать что-либо до совершенства, он просто не имел времени переделывать свои произведения. Зато часто оказывался первым в освоении того, о чем другие писатели — выходцы из Новой Англии и Нью-Йорка, с Юга или Запада — писали позднее лучше и выразительней. Однако замечание По, будто «Полдинг обязан своей известностью романиста лишь тому обстоятельству, что первым завладел этим жанром», несправедливо. Широта интересов Полдинга, получившая отражение в его творчестве и литературно-критической деятельности, склонность открывать новое и вера в безграничные возможности американской литературы свидетельствовали о разностороннем и глубоком охвате явлений, присущем всей литературной продукции Средних штатов в 1810—1860 годы.

3

Наряду с Полдингом романы, напоминающие произведения Купера и Симмса, писал филаделфийский врач Роберт Монтгомери Бэрд. После двух романов из истории Мексики — «Калавар или Конквистадор» (1834) и «Язычник, или Падение Мексики» (1835) — и ранних пьес, написанных для Эдвина Форреста *, действие которых тоже происходит за границей. Бэрд обратился к американской тематике. Роман «Ястребы из Ястребиной Лощины» (1835), который По заклеил как чересчур «вальтерскоттовский», представляет историю семьи тори из Пенсильвании в годы после Американской революции. «Шепард

Ли» (1836), как лестно отзывался о нем По, — это *jeu d'esprit*¹ насчет фермера из Нью-Джерси, многочисленные перевоплощения которого позволяют писателю развернуть сатирическую картину всех слоев общества: от светских модников до рабов на плантации. Наиболее известный роман Бэрда «Ник-лесовик» (1837) — история Натана-убийцы, люто возненавидевшего индейцев и сходного в этом отношении с Тимоти Уизлом и Эмброзом Башфилдом у Полдинга. Бэрд создал образ большей жизненной силы, чем подобные герои Полдинга, Симмса или Купера. За отказ принять участие в борьбе своих соотечественников-кентуккийцев в 1782 году против индейцев квакер Натан прозван в насмешку Кровавым Натаном. Его странное поведение и непонятная привязанность к псу по кличке Питер, безошибочно вынюхивающему индейцев или иную опасность, настораживают, и все же он располагает к себе, вызывая доверие и симпатии, хотя временами он и кажется жертвой мономании. Это твердый человек, впечатляющий своей цельностью, которая проявляется во всем: в поступках, речи, в самой его внешности. «Ник-лесовик» — добротный роман, один из лучших в американской литературе 1830-х годов, выделяющийся непосредственностью повествования и мастерски построенной сложной фабулой. Точка зрения писателя на индейца определяется убеждением, что тот «дикарь по самой своей природе». Не веря в миф о «благородном дикаре», Бэрд писал в 1853 году в предисловии к переизданию этого романа, что «рисовал портреты индейцев черной краской, именуемой у нас тушью».

«Грейслейер» (1840) Чарльза Фенно Хофмана, роман о Могавской долине в годы Американской революции, подобно «Старому солдату» Полдинга и «Ястребам из Ястребиной Лощины» Бэрда, посвящен излюбленной теме противоборства вигов и тори. Хофман написал роман, используя нашумевшую историю убийства Бичемом главного прокурора Кентукки Шарпа, но изменив реальные обстоятельства. «Грейслейер» представлялся Эдгару По менее интересным, чем изображающий те же события «Бичем» (1842) Симмса, причем оба романа, полагал По, менее выразительны, чем подлинное событие. Дарование Хофмана проявилось и в журналистике. Таким образом, цели и методы более значительного чем они писателя Фенимора Купера можно понять, лишь рассматривая его произведения как часть общенационального развития американского романа на фоне творчества его современников.

4

Как поэт Полдинг уступал Фицгину Хэллеку, следовавшему непосредственно за Брайентом. Сто лет назад Эдгар По в своих «Литераторах» отводил третье место Натаниелу

¹ Шутка (*фр.*).

Паркеру Уиллису. Грисуолд, возможно, поставил бы на третье место Чарльза Фенно Хофмана, известного своей военной лирикой «Монтерей» и стихами «Мятный пунш». И все же оценка По представляется более справедливой. Если не считать нью-йоркца Брайента, после смерти Френо (1832) Средние штаты не имели выдающегося поэта до самого появления в 1855 году Уитмена.

Серия юмористических и сатирических од «Записки Ворчуна», печатавшаяся анонимно в 1819 году в нью-йоркской «Ивнинг пост», прославил стихи Хэллека и его друга Джозефа Родмена Дрейка. Одновременно с этим совместным творением Дрейк написал «Провинившегося эльфа» (1819), обратившись в поэзии к американской действительности. Весьма далекая от совершенства поэма однако едва ли справедливо названа По «юношеской неудачей» Дрейка. Смерть молодого поэта в следующем году вызвала отклик Хэллека, написавшего стихотворение «На смерть Джозефа Родмена Дрейка» (1820), благодаря которому Дрейка помнят и поныне.

Поэзия Хэллека, проникнутая влиянием Томаса Кэмпбелла, Сэмюэла Роджерса, Байрона и Вальтера Скотта, скорее кажется достоянием английского романтизма, нежели американской музыки. Правда, «Записки Ворчуна» и «Фэнни» (1821), большая социальная сатира в поэтической форме созданы Хэллеком уже на национальной основе. В «Поле поражения» (1831), посвященном битве при Саратогге, в «Красной куртке» (1828), воспевающей индейского вождя племени тускарора, в «Вайоминге» (1827) — везде изображены американцы, использованы американские реалии, но от этого стихи еще не становятся американскими. Интерес Хэллека к берегам Сасквеханы многим обязан поэме Томаса Кэмпбелла «Гертруда из Вайоминга» (1809); прославление индейского вождя порождает у поэта скорбь о былом; погибшие под Саратоггой предстают в его воображении более романтичными, чем победители, поскольку воплощают в себе старую традицию. Стихотворение «Молодая Америка» (1865) посвящено четырнадцатилетнему подростку, весьма добродетельному, мечтающему об американской Титания * или Диане, чтобы

Красавицу с набитою мощною

Найти — с ума свести — и повести к налюю.

Оставшийся незавершенным «Коннектикут», несмотря на такие инородные элементы, как «Сан Марино Запада», «изысканный Ариэль» и «рейнская песня», является по чувству и мысли, как и по сюжету, наиболее американским произведением поэта. Деловые и литературные связи приковали Хэллека к Нью-Йорку, однако стихи его исполнены воспоминаний о родном штате.

Здесь не Аркадия и не Темпея,
И лета итальянского здесь нет,
Нет фиников и пальм, нет легковей,
Бокаччо нашептавшего сюжет
На берегу Арно; здесь жизнь — затея
Для полных сил людей во цвете лет;
Здоровье — вот единственно прекрасный
Ответ зиме и осени ненастной.

Любовь к «Греции, святой земле смелых сердец», воодушевляет героя прославленного «Марко Боцариса» * (1823); поэтический образ «дикой розы Аллоуэя» вдохновил Хэллека на стихотворение «Бернс» (1827), исполненное проникновенной любви к Шотландии; посещение «родового гнезда знатного рода Перси» породило такой шедевр, как «Олнвикский замок» (1822). Эти три произведения Хэллек считал самыми лучшими, но ему нужно было уехать подальше или погрузиться в давно минувшее, с тем чтобы пробудить свою музу. Большую же часть жизни он служил у Джона Джейкоба Астора и имел достаточно оснований сетовать в «Олнвикском замке»:

Та сила, что сберегала меня
В мире банкнот и монет, исчезла.

Романтика отвековала,
Златою рифмой отзвучала,
Которой Спенсер чаровал:
Настали дни не чар, но чеков —
За Круглый Стол, но без успехов.

В «мире банкнот» и «чеков» Хэллек не мог писать стихов. Он дожил до эссе «Поэт» (1844) Эмерсона и расцвета творчества Уитмена, однако взгляды и привычки Хэллека сложились в более ранний период, для него неприемлемо утверждение Эмерсона: «Банки и тарифы, газеты и партийные выборы, методизм и унитариянство кажутся скучными и пошлыми скучным людям, но они покоятся на том же фундаменте чуда, что и Троя или храм в Дельфах, и так же быстро уйдут в небытие».

Натаниелу Паркеру Уиллису, которого По считал третьим по значимости поэтом нью-йоркской группы того времени, также не удалось воплотить американскую действительность с подлинной поэтической глубиной. Очевидно, поэзия по своей природе позже других литературных жанров становится национальной. Однако хочется согласиться с Лоуэллом:

Отныне легковесность обязательна:
Раз легковесно — значит и блистательно.

Уиллис был изысканным, даже изощренным писателем; одаренный и плодовитый в самых разных жанрах: в поэзии, драме, прозе, — но не отличается ни глубиной чувств, ни величию мысли.

Как поэт Уиллис представляется сегодня стоящим ниже Брайанта и даже Хэллека. Наиболее значительны его стихи на библейские темы. Но, сравнивая «Авессалом» с таким шедевром, как «Саул» Браунинга, легко убедиться в справедливости суждения По, что стихи Уиллиса, «совершенно правильные, как сказали бы французы», «весьма банальны, а если и несут в себе какую-либо выразительность, то лишь заимствованную из Библии, парафразой которой они являются». В «Паррасии», повествующем об афинском художнике, подвергшем пленного старика из Олинфа неимоверным пыткам, чтобы с этой живой модели писать муки Прометея, драматические возможности стиха остаются нереализованными. Уиллис обнаруживает всю свою несостоятельность как трагик. Среди торжественных стихов Уиллиса выделяется «Храмовый гимн» (1829), исполнявшийся при освящении церкви на Ганновер-стрит в Бостоне и отличающийся простотой и ясностью, которые придали ему художественную силу. «Невидимые духи» (1843), названные По лучшим стихотворением Уиллиса, убеждают, что сила поэта не в изображении глубоких страстей или трагедии, а в мечтательной чувствительности. В известных последних строках эффектно подчеркнута разница между красавицей, вышедшей по расчету замуж за богатого, и женщиной, любившей без супружеских обетов:

Христос простил им — но в мире стылом
Им не простят земной любви.

«К М. из-за границы» (1834) и «Стихи ко дню рождения», написанные для матери, представляют собой прелестные образцы сентиментальной поэзии, которые особенно удавались Уиллису и наряду с его религиозными стихами объясняют его популярность у современников.

Большая часть прозаических произведений Уиллиса собрана в дюжине томов его писем, путевых заметок и воспоминаний, начиная с «Мимолетных зарисовок» (1835) и до «Выздоровляющего» (1859), составленных из публикаций в нью-йоркском «Миррор» и в других периодических изданиях, которые он в то или иное время редактировал. Ранние письма полны восхищения леди Блессингтон * и ее кружком, традиционными достопримечательностями Старого Света, привлекавшими внимание туристов, однако, начиная с книги «В безопасности, или Жизнь в палатке» (1839), Уиллис обращается к описанию прогулок по окрестностям своих имений Гленмери и Айдлауялд. То, что писатель сказал о своих прогулках по реке Кеманг, применимо

ко многим его стихам, письмам и очеркам: «Это произошло à l'improviste¹, как обычно происходит все хорошее». О собрании лучших произведений Уиллиса можно было бы сказать словами Лоуэлла:

Книгу читать от зари до зари
Скучно, коль это не том Эй л'Обри.

Подобно многим пилигримам тех мест, обращавшимся к английской литературе, Уиллис был «писателем-любителем для читателя-мечтателя». Нельзя без улыбки читать, как рассуждал он с самым серьезным видом в 1839 году: «Мы не составляем больше нации в области литературы. Успехи пароходства через Атлантику слили воедино малое и великое, и Лондон стал общей столицей. Прощай, национальный патриотизм! Теперь лишь английский язык определяет пределы новой литературной империи, и Америка ее окраина».

Новеллистика Уиллиса свидетельствует о «случайном» характере его прозы по сравнению с лучшими из стихов. Большинство рассказов отличается морализаторским тоном, весьма условными ситуациями и образами. Только в «Конькобежцелунатике» из сборника «Страшные картинки» (1834) обнаруживается несомненная глубина чувств и понимание характеров. Генри А. Бирс, биограф Уиллиса, сравнивает этот рассказ с новеллами По, однако здесь больше реализма, чем у По, и меньше ходульной романтики и избитой чувствительности. Трактовка истории душевнобольного конькобежца Лэрри Уинна напоминает позицию Полдинга по отношению к Дадли Рейнсфорду из романа «Вперед, на Запад!», хотя история эта более лаконична и лучше написана.

Позднее в психологическом романе «Пол Фейн» (1857) Уиллис пытался изобразить молодого американского художника, отвергнутого чопорной английской девицей и решившего поэтому любыми средствами добиться расположения знатной леди. Многие женщины влюблялись в него, но встречали лишь надменное равнодушие. Роман «Пол Фейн» не удался, оказавшись ниже уровня, достигнутого Уиллисом в «Конькобежцелунатике».

5

Своеобразие и новаторство литературы Средних штатов заключается также в том, что четверо наиболее известных прозаиков и поэтов — Полдинг, Бэрд, Уиллис и Мэтьюз — явились и ведущими драматургами. Прославление национальной самобытности и романтического бегства в дальние страны или

¹ Неожиданно (*фр.*).

давно минувшие времена — вот две основные темы драматургии, создававшейся в те годы в Нью-Йорке и Филадельфии. В лучших пьесах оба этих мотива переплелись, хотя столь выдающееся произведение этого жанра, как «Мода» (1845) миссис Анны Кору Моуэт, являло собой чисто американскую комедию нравов, написанную под влиянием Шеридана, а ее герой Адам Трумен сочетал в себе черты янки Джонатана из «Контраста» (1787) Ройолла Тайлера и серьезно мыслящего патриота, воплощенного в образе полковника Мэнли в той же драме. Злодей в пьесе миссис Моуэт, граф Красавчик, представляет собой вариацию тайлеровского Милашки, хотя и более искусную и драматически эффектную. Истинное понимание пьесы заключено в словах По, заявившего в «Бродвей джорнэл» 29 марта 1845 года, что при всей своей бесспорной сценичности «Мода» слаба как драматургическое произведение. Далее критик довольно едко поясняет: «Драма отнюдь не переживает упадка, как полагают многие. О ней лишь позабыли. Мы не можем равняться в оценках на существующие образцы... по сравнению со средними современными драмами это хорошая пьеса, по сравнению с большинством американских драм это просто великолепная пьеса, но если рассматривать ее с точки зрения законов драмы, то она едва ли заслуживает упоминания».

Среди пьес на иностранные сюжеты следует отметить «Бьянку Висконти, или Многострадальное сердце» (1837)¹, действие которой происходит в Милане XIV века, и «Ростовщика Тортезу» (1839) — из жизни средневековой Флоренции, «Гладиатора» (1831) Роберта Монтгомери Бэрда, изображающего Рим 73 года до нашей эры, и его же «Маклера из Боготы» (1834), где события разворачиваются в южноамериканском городке в ранний период испанской колонизации; наконец, «Карла Второго, или Веселого короля» (1824), написанного Джоном Хоуардом Пейном совместно с Вашингтоном Ирвингом.

Пьесы из американской жизни основывались на историческом материале. Таковы «Суеверие» (1824) Джеймса Нелсона Баркера и «Колдовство» (1846) Корнилиуса Мэтьюза, действие которых происходит в Новой Англии конца XVII века, множество пьес об индейцах Джорджа Вашингтона, Парка Кустиса и Джона Огастеса Стоуна, «Джейкоб Лейслер, или Нью-Йорк в 1690 году» (1848) Мэтьюза и «Старый Нью-Йорк, или Демократия в 1689 году» (1853) Элизабет Оукс Смит, в которых использован один и тот же эпизод из ранней истории Манхэттена.

В «Льве Запада» (1831), где появляется герой, предвосхищающий Дэйви Крокетта, Полдинг изобразил характерные

¹ Даты при пьесах указывают время постановки.

черты американской жизни, каких не встретишь в пьесах, подобных «Моде» миссис Моуэт. Драмой «Оленьи хвосты, или Американцы в Англии» (опубликованной в 1847 году) Полдинг добился успеха, показав своих соотечественников в условиях европейской жизни. «Оленьи хвосты» — это переходящая в фарс комедия нравов, цель которой рассеять миф, будто все американцы похожи на Уайлдфайера, героя «Льва Запада», или на Крокетта. Среди немногих пьес, написанных на современном материале, следует отметить и «Политиканов» (1840) Корнилиуса Мэтьюза.

Из перечисленных пьес лишь «Карл Второй» Пейна не был связан с американской тематикой и проблематикой. Написанная на основе пьесы француза Александра Дювала, эта драма была впервые поставлена лондонским театром во время длительного пребывания ее автора в Европе (1813—1832) и была достаточно независимой от своего французского первоисточника, чтобы принадлежать к американской литературе. «Ростовщика Тортезу» Уиллиса условно можно отнести к категории пьес о бедняках, добившихся успеха, поскольку она посвящена истории женитьбы бедного художника Анджело на прекрасной Изабелле де Фальконе, который благодаря внезапной и необъяснимой щедрости Тортезы получил большое состояние. Уиллиса интересовала не столько американская проблематика, сколько сценичность пьесы и вечная тема торжества верной любви над, казалось бы, непреодолимыми препятствиями.

Франческо Сфорца, главный герой «Бьянки Висконти», восстал против итальянских герцогов, которые, относясь к нему с полным презрением и пренебрежением, тем не менее использовали его в своих расправах. Сфорца привлек внимание Уиллиса еще и потому, что писателя занимали проблемы демократии и человеческого достоинства. Интерес Уиллиса к этому герою подобен интересу Бэрда к восстанию Спартака против жестокого угнетателя побежденных народов — Рима, однако драматургические приемы Бэрда в «Гладиаторе» отличаются от манеры Уиллиса. В том же духе изображен главный герой «Метаморф» (1829) Стоуна, хотя здесь сила драматического воздействия острее, ибо притеснителями вождя вампаноагов, сына Массасойта *, выступают те самые колонисты Новой Англии XVII века, потомки которых теперь восхищались пьесой о борьбе индейцев за свободу. Другим героем-борцом был Джейкоб Лейслер *, неудачливый защитник демократии в Нью-Йорке 1689—1690 годов, выведенный в пьесах Корнилиуса Мэтьюза и Элизабет Оукс Смит. Сходная тема возникает в «Маклере из Боготы» Бэрда, где буржуа Баптист Фебро отстаивает свои права в борьбе с аристократией.

Разумеется, американская драма до известной пьесы Бокера «Франческа да Римини» (1855), подобно эссеистике, прозе и

поэзии того времени, представляет собой молодую национальную культуру, еще не достигшую поры зрелости. Ведущие писатели Средних штатов в период 1820—1850 годов в своих лучших произведениях выступали реалистами, а не просто оригинальными художниками, склонными к разнообразию в пределах допустимого. Они хорошо знали европейскую культуру и современную литературную моду, но не были склонны предаваться мимолетным увлечениям; не придерживаясь одинакового образа мыслей, каждый из них обладал своеобразием и внес в литературу нечто новое, однако их разносторонние интересы имели «мало общего с метафизическими тонкостями Массачусетса и Виргинии». Среди разнobia мнений и вкусов литература этой части Америки в десятилетия, предшествовавшие Гражданской войне, стала средоточием американской национальной культуры.

21. В НОВОЙ АНГЛИИ

1

Когда крупнейшими фигурами американской словесности считались Брайент, Ирвинг и Купер, а писатели, которым суждено было прославить Конкорд и Кембридж, были еще школьниками, литература Новой Англии не ограничивалась восточной частью штата Массачусетс. Хотя редакторы и авторы «Норт эмерикэн ревью» были выходцами из Бостона, поэты Коннектикута превосходили бостонских, а самые известные романисты жили в Грин-Маунтинс, в Беркширских горах и в штате Мэн. Таким образом, литература Новой Англии складывалась не в одном каком-либо месте, а по всей этой пространной области — еще полудикой отчизне Уильяма Эллери Чаннинга и Ричарда Генри Даны-старшего, Дэниела Пирса Томпсона и Уильяма Каллена Брайента.

В Бостоне и его окрестностях преобладала английская литературная традиция, поскольку в начале века Новая Англия во всех отношениях тяготела к Великобритании больше, чем какая-либо иная часть Соединенных Штатов. Здесь еще было живо наследие Александра Попа, а романтизм носил подражательный характер. Если великие английские романтики писали на английские и общеевропейские темы, то ранний американский романтизм, далекий от национальной действительности, копировал английские копии английской жизни. Этот литературный колониализм направлял внимание жителей Новой Англии на внешнее и чувствительное, на легенды и историю Европы, религиозные и политические взгляды Старого Света, на содержание и стиль произведений романистов XVIII и поэтов-романтиков XIX столетий. Поэтому большинство писателей Новой Англии жило отголосками классицизма среди подражательного романтизма и нарождающегося стремления к самобытному американскому романтизму. Подлинным голосом Новой Англии стала поэзия Уильяма Каллена Брайента — не потому, что она выражала протест против прошлого, и европейского влияния, а по той причине, что поэт органически воспринял и переработал литературную традицию. Другие его современники оказались менее удачливы, так как бездумно подражали всему иностранному или яростно отвергали литературные традиции.

Бостон, по словам Джеймса Фенимора Купера, населяли закоренелые провинциалы, одинаково равнодушные как к стране, гражданами которой они являлись, так и к языку, на котором разговаривали. Хотя вокруг «Норт эмерикэн ревью» группировались люди свободных профессий из Бостона или преподаватели Кембриджа, связанные дружескими отношениями и обладающие общим культурным наследием, они не были столь единодушны во взглядах на национальную жизнь, как полагал Купер.

Первый редактор «Норт эмерикэн ревью» Уильям Тюдор, много путешествовавший по Европе и Южной Америке, но написавший только одну значительную книгу — «Письма о восточных штатах» (1820), проявлял пристрастие ко всему новоанглийскому. Несмотря на обещание «избегать узкоместных предвзятых мнений», он уделял в редактируемом журнале столь большое внимание университету, Бостону и всей Новой Англии, что читатели других штатов окрестили это издание «Северное неамериканское обозрение». Разумный национализм воодушевлял Джереда Спаркса, друга Тюдора; Спаркс дважды был редактором журнала и проявлял интерес как к Северу, так и к Югу. Став профессором Гарвардского университета, Спаркс наметил грандиозную программу изучения истории Соединенных Штатов. Его перу принадлежат биографии Джона Ледьярда *, Говернера Морриса * и Бенджамина Франклина, а также многие очерки в «Библиотеке американской биографии» (первая серия, 1834—1838). Хотя ученые XX века и обнаруживают неточности в работах Спаркса, ему воздается должное как человеку, который завоевал американской истории почетное место в американских университетах. Когда «Норт эмерикэн ревью» перешел к Эдварду Эверетту, поклоннику всего европейского, это не могло не сказаться на профиле журнала. Эверетт был первым американцем, получившим в Гёттингенском университете степень доктора философии. Совместно с Джорджем Тикнором, учившимся с ним в Германии, он стал энергично перестраивать Гарвард на немецкий лад. Много позже, в своей речи о значении Гёттисберга, легко увлекающийся Эверетт выступил в защиту американского национализма, но в начале своей деятельности он еще оставался апостолом вывернутого наизнанку провинциализма, процветавшего среди приверженцев старого колониального образа мыслей.

В те годы даже самые пылкие националисты продолжали бездумно мерить свою литературу европейскими мерками. Они полагали, что американский писатель добьется успеха, если будет следовать европейским образцам. Однако в 1830 году один из наиболее выдающихся представителей бостонской группы Уильям Эллери Чаннинг провозгласил необходимость

создания подлинной американской литературы. Он внес в литературно-художественную критику Соединенных Штатов здравые суждения о европейских писателях и редкую способность к обобщениям. В «Заметках о национальной литературе», напечатанных в «Крисчен игзэминер» (1830), он утверждал, во-первых, что американская литература еще не создана, так как, протестуя против «зависимости от европейских изделий», мы, однако, продолжаем ввозить «плоды разума»; во-вторых, американская вера в «естественное равенство всех людей» весьма располагает к творческой деятельности. Поэтому, когда в Америке появятся «великие умы» и вырастет «благородное поколение», будут созданы и великие произведения. К тем же взглядам склонялся в эти годы и Брайент в своих статьях об американских писателях. Однако со всей убедительностью культурный национализм был провозглашен только в речи Эмерсона, произнесенной в 1837 году перед обществом Фи-Бета-Каппа.

Вопросы морали занимали на страницах «Норт эмерикэн ревью» столь же важное место, как и общественные проблемы. Чаннинг, например, в своих «Заметках» провозгласил «религиозный принцип» единственной силой, способной возвысить американскую литературу, с тем чтобы она могла проявить заложенные в ней возможности. К счастью для Америки, его вера была своеобразной разновидностью религиозных верований просвещенных бостонцев. Чаннинг разработал унитаризм особого рода, усвоив то, что было близко ему в теориях сепаратистов и деистов, Руссо, французских революционеров, Годвина и Уолстонкрафт. В проповеди при посвящении в духовный сан Джереда Спаркса и в других своих речах он провозгласил, что бог бесконечен (слишком велик, как говорил Чаннинг, чтобы его могли распять) и что бог — это любовь (слишком милосерден, чтобы мог обречь людей на вечные муки). Своей добротой человек подобен богу и столь же божествен. Естественные взаимоотношения между таким человеком и таким богом могут быть лишь благом; почитать бога — значит вести праведную жизнь. Подобно тому как бог признает неотъемлемые права человеческой личности, «единственный Бог... — это тот Бог, образ которого живет в нашей душе». Так Чаннинг заложил нравственные основы эгоцентричного, но искренне религиозного романтизма, который в той мере, в какой он основывался на доверии к себе, был истинно американским.

Чаннинг переносил свою любовь к богу на его «внешнее обличие» — материальную вселенную. Не только ради этого «обличия», но и ради их создателя любил он Атлантический океан, Уайт-Маунтинс, леса Новой Англии. Постичь эти физические воплощения божества помогали ему Шеллинг, Кольридж и самый почитаемый из живущих поэтов Вордсворт. Когда Чаннинг посетил Вордсворта, они проговорили всю

дорогу, едучи в крестьянской телеге от Дав-Коттиджа до Грасмира. «Прерывая друг друга, мы так увлеченно спорили, — вспоминает Чаннинг, — что добрались до Грасмира лишь к заходу солнца. Перед нами расстилось спокойное озеро, а рядом со мной был Вордсворт, с поэтическим жаром читающий стихи».

Самым суровым критиком отжившего свой век классицизма и самым яростным защитником романтизма английского образца был в Бостоне Ричард Генри Дана-старший. Впечатлительный и восторженный, не доверяющий ни современникам, ни самому себе, он чувствовал себя в Новой Англии одиноким. В статьях в «Норт эмерикэн ревью» Дана утверждал, что Поп не умел писать стихи, а подлинными мастерами являются поэты «озерной школы», из-за чего и подвергся яростным нападкам реакционного большинства бостонских литераторов. Однако в его защиту выступил Брайент. Провалившись на выборах в редакцию «Норт эмерикэн ревью», Дана отказался от сотрудничества в журнале. Страстно жаждавший общественного признания, он тяжело переживал холодный прием, оказанный его очеркам и рассказам в журнале «Айдл мен» (печатавшихся в течение 1821—1822 гг.), поэме «Пират» (1827) и собранию «Стихов и прозы» (1833, 1850). В середине жизненного пути Дана стал вести затворническую жизнь, убедившись, что его талант не находит признания.

Сердце Даны не лежало к современному «веку усовершенствований». Взор его был обращен к тем золотым дням прошлого, когда, по его разумению, «все было естественно и просто», а «безжалостное любопытство нашего века... еще не осквернило и не выкорчевало цветы». Устремленный в прошлое, Дана оставался федералистом в политике еще долго после того, как сама эта партия прекратила существование, и даже доказывал преимущество монархического образа правления перед республиканским. Он выступал также ревностным тринитарием, а в двадцатые годы — откровенным противником «еретических идей» Чаннинга и Брайента. В стихах и прозе, как и следовало ожидать, Дана подражал многим: в «Пирате» — сентименталистам XVIII века, Кольриджу, Вордсворту и Байрону; в повестях, особенно в «Поле Фелтоне», — тем же писателям и Чарльзу Брокдену Брауну. Дана импонировало «одиночество» Брауна, отчуждение этого глубоко чувствующего человека от «механического века» и то, как удалось ему, избежав «вольнодумства», стать «правоверным». Крайний романтизм Даны, хотя и не лишенный дидактики, спас его от смертного приговора, вынесенного Эдгаром По всем критикам «Норт эмерикэн». Однако всю свою жизнь Дана оставался страстным приверженцем того вывернутого наизнанку провинциализма, к которому был причастен в свои молодые годы Эдвард Эверетт.

Вся бостонская группа, за исключением Чаннинга, почти ничего не сделала, чтобы порвать с английской литературной традицией и обратиться к основам американской жизни.

3

Коннектикут, считал Вашингтон Ирвинг, населяли школьные учителя, любящие рукоприкладство, лукоеды, свинокрады, поклонники благоденствия и обычая спать не раздеваясь в одной постели. Подобные остроты указывают не только на самодовольство Нью-Йорка, но и на проблемы, стоявшие в начале века перед литературными джентльменами Коннектикута. Лишенные интеллектуального воздействия далекого от них Бостона, отвернувшиеся от окружавшего их грубого общества лукоедов и свинокрадов, они, подобно «Хартфордским мудрецам», обратились прямо к европейской традиции. Так уж получилось, что наиболее ретивые знатоки Средневековья и ревностные романтики-затворники вышли из Йельского университета, а самой отъявленной сентименталисткой стала хартфордская поэтесса. Поэтов более не волновали старые религиозные и политические темы — восторги и прелесть жизни пришли им на смену.

Знаток средневековья был Джеймс Авраам Хиллхауз. В своем «Рассуждении... по поводу того, что должно определять выбор эпохи для эпического или трагического писателя» он отверг языческий мир древних и отдал предпочтение временам славного христианского рыцарства («когда восторг был доведен до экзальтации и надо всем царило воображение, когда всему были приданы размеры чрезвычайные»). Америка — прекрасная страна, добавлял Хиллхауз, но у нее нет прошлого, и поэтому американские авторы трагедий и эпоса должны опираться на наше «неотъемлемое... право быть причастными к славе Артура и Альфреда». Эти принципы воплощены в трех драмах Хиллхауза, написанных белыми стихами: «Маска Перси» (1819), в основу которой положена баллада Томаса Перси «Уорквортский отшельник»; «Хадад» (1825) — мелодрама о временах, когда «люди общались с добрыми и злыми существами потустороннего мира»; «Деметрия» (1839) — «ужасающая» трагедия из жизни итальянских рыцарей и дам. Последовательный во всем, что он делал, Хиллхауз и поэме «Лес Сахема» (1836), написанной им на американском материале, не придал ни эпического, ни трагического характера, изобразив свою нью-хэйвенскую усадьбу в сентиментальных и комических тонах.

Романтиком-затворником был Джеймс Гейтс Персивэл. Изящные гравюры на стали, украшавшие американские гостиные в двадцатые годы, прославляли его среди прочих выдающихся писателей как главного поэта Америки. Так считали

многие литературные критики. Однако читающая публика предоставила ему возможность голодать. В течение двенадцати лет Персивэл подвизался в качестве преподавателя, лектора по анатомии, а затем по ботанике, врача, редактора, военного хирурга, профессора химии в Уэст-Пойнте, лексикографа и автора четырех томов поэзии, но его всюду подстерегали разочарования. Оскорбленный и слишком робкий, чтобы смешаться с толпой, он на десятилетие добровольно заточил себя в трех уютных комнатах общественной больницы Нью-Хэйвена. Последние годы его жизни прошли в пограничной полосе штата Висконсин, где он и умер в одиночестве.

Мир поэтических образов, в который бежал Персивэл из прозаического Нью-Хэйвена, складывался на основе его непокорных чувств и соперничества с английскими романтиками. Когда молодой маньяк в «Самоубийстве» восклицает: «Дайте мне нож, кинжал или пистолет!» — на память приходит сам Персивэл, в юности не раз пытавшийся покончить с собой. И тот же маньяк словно отвечает Байрону *: «Ад для меня ничто — ничто есть ад». Пространные витийства Персивэла в его «Прометее» напоминают Шелли, однако, когда он осуждает Прометея за то, что тот святотатственно «сорвал с нас покровы религии», здесь уже звучит просто набожность. Горы, изображенные в его стихах, — это тусклые копии ярких картин Вордсворта. В те же редких случаях, когда очарование озера Сенека или пейзажи Новой Англии увлекали Персивэла, он создавал великолепные картины Америки.

Многословие, этот главный недостаток своей поэзии, Персивэл возвел в достоинство романтизма. «Поэт должен писать лишь тогда, — заявлял он, — когда чувствует вдохновение, когда тема полностью овладела им... Тогда его стих течет широко и свободно». И действительно, поток стихов Персивэла (их более четырехсот) изливается свободно, безграничный в своем «божественном безумии», без того мучительного напряжения, которое отличало, например, лучшие стихи Брайента. Вместо того чтобы расходовать свой хрупкий талант с осмотрительностью и благоразумием, Персивэл расточал его направо и налево.

Поэзия Лидии Хантли Сигурни свидетельствовала о тупике, в который зашел сентиментализм. Персивэл привлекал читателей силой убежденности и глубиной отвлеченных идей. Стихи Сигурни отличаются точностью, благоприличием и элегантностью. В то время как Персивэл скрывался в больнице, она предприняла издание ежегодника, участвовала в ряде других изданий и печаталась в двух десятках журналов. Сигурни была наслышана о деятельности гуманистов своего времени, однако все, что она сумела сделать для негров, индейцев, бедных и умалишенных, — это потопить их в своих слезах. Пока не со-

зрел в пятидесятые годы талант Лонгфелло, она была самым популярным американским поэтом, «сладкогласным хартфордским соловьем», выпустившим шестьдесят семь книг.

4

Даже грубая простота жизни американской провинции не могла отвратить писателей Новой Англии от следования европейским литературным образцам. Реализм в обрисовке повседневной жизни Вермонта, Беркшира и штата Мэн доставил национальное и международное признание трем романистам, но всех троих столь крепко держала мертвая рука прошлого, что они капитулировали перед традиционной мелодрамой и общепринятыми условностями, отказавшись в конечном счете, хотя и в разной степени, от того, что их прославило — от изображения жизни своей местности. Их искусству не было дано достичь национального и тем самым универсального звучания.

Наименее самобытным из троих оказался Дэниел Пирс Томпсон, не сознававший, сколь богатыми возможностями он располагает. В те времена, когда своих романов в Америке было еще мало, «Ребята с Зеленых гор» (1839) считались классическим произведением Вермонта. Автор книги, сельский адвокат, не обладавший никакими литературными навыками и понятиями, стремился не столько запечатлеть образы жителей Новой Англии, сколько подражать романистам школы «кровавого пудинга». И в самом деле, получился не социальный роман, основанный на фактах жизни, а взволнованный рассказ о злодее, спускающемся в долину, и о герое, который поднимается в горы, держа одной рукой героиню, а другой — ее служанку-индеанку. Достоинство его романа «Лок Амсен» (1847) обычно усматривают в постановке вопроса об образовании в Вермонте того времени, однако многочисленные клише и стереотипы обесценивают бытописательскую сторону книги.

Кэтрин Мария Седжвик, подобно Марии Эджворт, которой она посвятила свою первую книгу, поначалу проявляла острый интерес к обычаям своего края, описанным ею в ранних романах с наивной и подкупающей искренностью. После того как она изобразила бедность фермеров-янки и выступила в защиту верований квакеров в «Повестях Новой Англии» (1822), ее брат писал: «Ортодоксы делают все от них зависящее, чтобы замолчать книгу... а обитатели Новой Англии чувствуют себя оскорбленными». Обидчивые жители Новой Англии вновь были травмированы язвительной и своенравной старой девой мисс Дебби, героиней романа «Редвуд» (1824). Секта шейкеров оскорбилась тем, что роман выставил их на «непочтительное осмеяние», а суровый бостонец Дана обвинил мисс Седжвик в отсутствии хорошего вкуса. Однако ее друг Брайент похвалил «Редвуд» «как неопровержимое доказательство того, что авторы сочинений,

действие которых происходит в знакомой и родной нам среде Соединенных Штатов, обладают богатым источником творчества». Позднее мисс Седжвик, оставив быт беркширских деревенских жителей, увлеклась светской болтовней леди и джентльменов — к тому времени она уже была известной писательницей, проводившей зиму в Нью-Йорке и только на лето выезжавшей в сельскую местность. Поддавшись моде на исторические романы, она променяла современную Америку на Массачусетс XVII века («Хоуп Лесли», 1827) и Нью-Йорк времен Революции («Линдвуды», 1835). Так условности и тяга к моде подавили природенный реализм мисс Седжвик, заставив отклониться от родного края и стать поставщицей сентиментальных романов для дам и девиц.

Наиболее самобытной и колоритной фигурой среди трех романистов Новой Англии был Джон Нил из Портленда, квакер, неистовый индивидуалист, практичный гражданин штата Мэн и всего мира, к тому же решительный сторонник литературного американизма. Получив лишь начальное образование, он вступил в торговое дело с Джоном Пирпонттом из Бостона, а когда их филиал в Балтиморе разорился, остался без гроша. Несколько лет Нил изучал право, пописывал в балтиморские газеты и журнал «Портико», издавал по роману каждые шесть-семь недель, а иногда и за четыре. Так появились «Логан» (1822), «Ошибка» (1823), «Семьдесят шесть» (1823), «Рэндолф» (1823). В своем первом романе «Не горячись!» (1817) Нил выступил против дуэлей, а «Рэндолфа» наполнил язвительными замечаниями об американских писателях и общественных деятелях, в том числе досталось и Уильяму Пинкни*. Когда же сын Пинкни вызвал его на дуэль, Нил отказался драться. С 1824 по 1827 год он жил в Англии и стал первым американцем, регулярно сотрудничающим в больших журналах. Для «Блэквуда» им написана серия очерков об американских писателях — весьма критичных, но не более резких, чем его замечания, содержащиеся в «Рэндолфе». После возвращения в Америку в Портленде на него посматривали с опаской. Создав себе репутацию опытного боксера и фехтовальщика, он как-то продемонстрировал это свое искусство в собрании квакеров, за что был выведен вон. Нил основал литературный журнал «Янки» и со временем стал признанным местным авторитетом. В тридцатые годы он одним из первых обратил внимание на По, а в шестидесятые сочинил дешевые приключенческие романы для издательства Бидла.

У молодого студента-юриста, одной рукой писавшего роман, а другой — критическую статью, просто не было времени, чтобы подумать об оригинальных образах и сюжетах. Выхватывая без разбора то благородных злодеев из романов Годвина, то героев-мерзавцев из поэм Байрона, он шествовал по избитым дорогам дешевой мелодрамы, описывая разгул и убийства. Доган с одинаковой легкостью проливает и слезы, и кровь. Само «дыхание

Хэролда — это яд». Публика взахлеб читала эти истории ужасов, а одна англичанка, о которой Нил рассказывал, что она упивалась его романами до той поры, пока «пикантность и аромат необузданности этих жестоких и нелепых историй сделали для нее пресной всякую иную литературную пищу», умерла с романом «Семьдесят шесть» в руках.

В отличие от зимних сезонов мисс Седжвик в Нью-Йорке жизнь Нила в Лондоне способствовала укреплению его симпатий к нашим национальным обычаям и языку. Присмотревшись к отечественным книгам, он подытоживал: «Наши лучшие писатели — это англичане, а не американцы... В наших книгах нет даже образа настоящего янки, не говоря уж о подлинном языке». На свой лад переиначив положение поэтики романтизма об оригинальности, Нил утверждал: «Я не хочу никому подражать. Моя родина в этом не нуждается. Кому нужен *американский* Аддисон, если уже имеется английский?» Нил требовал оставить «классический английский» («этот искусственный язык всегда был искусственным»), предлагая перейти на простой и естественный язык янки, развивающийся на американской почве. И он верил, что писатели США обнаружат «скрытые до поры до времени в их прекрасной и славной земле богатые истоки творчества».

Осуществить эти заповеди было суждено иным поколениям, однако Нил пытался реализовать выдвинутые им положения в своих новых романах. В первых главах «Брата Джонатана» (1825) он с удивительной верностью запечатлел обычаи и язык янки, но затем скатился к мелодраме. В «Рейчел Дайер» (1828) писатель честно изобразил ведовские галлюцинации и переживания двух несчастных женщин, приговоренных судьей Гэторном к смерти, а затем пустился в полемику по этому поводу. В начале романа «Жители штата Мэн» (1833) Нил создал целую галерею замечательных образов янки, превратившихся далее в напыщенные манекены. Самая американская и, следовательно, самая известная ныне книга Нила — живо написанная автобиография «Путевые воспоминания в известной мере делового человека», наиболее значительный рассказ писателя о нашей «прекрасной и славной земле». Нил был романтиком-индивидуалистом и при более благоприятных обстоятельствах мог бы служить подтверждением слов Эмерсона, что всякий американец, пишущий с полной верой в себя, становится истинным голосом Америки. Подобно Полдингу и Куперу, Нил проявлял решительность, когда искусство оказывалось неспособным порвать узы, связывавшие его с прошлым и с Европой.

5

Склонность к реформам, увлекшая миссис Сигурни в область сентиментализма, владела многими писателями Новой Англии, а в двадцатые и тридцатые годы развернулась, по выражению

Эмерсона, «война между разумом и чувством». Победило чувство, исповедуемое гуманистами, верившими, что «страна существует ради отдельной человеческой личности, ради охраны и просвещения каждого человека». Когда в 1840 году прозвучал призыв созвать съезд друзей всех и всяческих реформ, в церкви, на Шардон-стрит в Бостоне собрались мужчины и женщины всех слоев населения и самых разных верований. Добродушно и шутливо перечисляет Эмерсон всех этих «безумцев и безумиц, бородачей и баптистов, магглтонцев *, мистиков и стенающих, землевладельцев, баптистов седьмого дня, квакеров, аболиционистов, кальвинистов, унитариев и просто философов». В духовном преобразовании Новой Англии приняли участие представители старшего поколения — Чаннинг, Джон Пирпонт и Лидия Мария Чайлд. Смысл своего существования эти писатели видели в движении за реформы, их жизнь была ярче, чем созданные ими литературные произведения. В то же время их книги, не отличавшиеся художественными достоинствами, больше говорят об Америке, чем отшлифованные сочинения их коллег-литераторов.

Рассмотрев постулат о троице и взаимоотношениях между богом и человеком, Чаннинг обратился к отношениям между людьми. Переводя на современный язык такие понятия, как «высокое достоинство человека», «уважение к человеческим правам» и веру в «исконное равенство всех людей», Чаннинг поучал своих знатных бостонских прихожан, что «справедливость — большее благо, чем собственность, большее не по фактической стоимости, а по самой ее природе». Он доказывал южанам, что человека нельзя рассматривать как собственность, ибо человек — существо не только мыслящее, но и нравственное; и в то же время Чаннинг выступал против насильственных действий аболиционистов. Он обличал пристрастие к спиртным напиткам как «добровольное уничтожение разума», но восставал против кампании трезвости, считая методы принуждения неразумными. Чаннинг выступал с лекциями о несовместимости войны с «человеческим достоинством» и участвовал в организации Масачусетского общества мира, заявлял, что «воспитать ребенка несравненно труднее, чем управлять государством», и поддерживал Хорэса Манна *. Чаннинг отвергал афоризм Франклина, утверждающий, что человек обязан совершенствоваться во имя большего дохода, но отстаивал саму идею самосовершенствования, ибо его целью было улучшение общества посредством совершенствования каждого из его членов.

Джон Пирпонт, хотя и не столь возвышенно, как Чаннинг, но с неменьшей увлеченностью, рассуждал о роли всемирного преобразования. Разорившись вместе с Джоном Нилом на торговле съестными припасами, он написал принесшие ему известность «Палестинские мотивы» (1816), а чтобы напечатать их, заложил фамильное серебро. Пирпонт изучал богословие и стал

унитарианским священником, написал патриотическое стихотворение, которое учили наизусть многие поколения школьников, — «Обращение Уоррена к своим солдатам на Бэнкерхилле», выпустил «Американскую книгу для чтения» (1823) и «Американскую хрестоматию» (1827). Как участник движения за все и всяческие реформы, Пирпонт выступал против войны, рабства, долговых тюрем и спиртных напитков. Когда церковная община в Бостоне сдала подвал его церкви в аренду под склад виноторговцу, он повел «семилетнюю войну» против этого врага, а затем в знак протеста сложил с себя сан, в чем был поддержан церковным советом. Пирпонт дожил до Гражданской войны и освобождения негров, служил недолго капелланом, но уже не создал ни одной памятной стихотворной или прозаической строки.

Лидия Мария Френсис Чайлд свободно шла от патриотических романов к гуманистическим трактатам. Под воздействием своего брата — унитарианского священника — юная мисс Френсис опубликовала два романа: «Хобомок» (1824), историю благородного краснокожего, написанную в духе сентиментализма XVIII века, и «Повстанцы, или Бостон накануне Революции» (1825), смесь реальности и мелодрамы. «Естественные склонности, — признавалась миссис Чайлд, — больше влекли меня к литературе и искусству, чем к реформистской деятельности». Однако с 1833 года она всецело посвятила себя общественной борьбе, написав самую известную из своих книг «Воззвание в защиту того класса американцев, которых именуют африканцами». Тем самым она оказала серьезную поддержку аболиционистскому движению. Но выход этой книги положил конец ее журналу «Джювенайл мисселэни», пагубно сказался на продаже ее романов и привел к исключению писательницы из бостонского Атенеума *. С 1841 по 1849 год миссис Чайлд при участии мужа издавала аболиционистский «Нэшнл энтислэйвэри стэндард», а в 1843—1845 годах выступила с острой критикой существующей в Соединенных Штатах шкалы прибыли и заработной платы («Письма из Нью-Йорка»). В сочиненных по этому поводу куплетах Лоуэлл писал:

Было даровано сердцу Ея
В тюрьмы, в лачуги, в притоны воря,
В адские норы, в жилища греха
Смело входить под защитой стиха.

Общественная деятельность в пользу социальных реформ и трезвый реализм вряд ли приносили ей много чести, а денег и того меньше. Пока «Хижина дяди Тома» не создала прецедента, писателям Новой Англии было выгодней воспевать воображаемое прошлое, чем писать о противоречиях реальной действительности.

Уже Ричард Генри Дана-младший предвосхитил ту связь идей общественных деятелей-гуманистов с более широким

взглядом на человека и общество, который присущ произведениям Эмерсона, Торо, Мелвилла и Уитмена. Публикация роман «Два года простым матросом» (1840) знаменовала собой вступление молодого поколения писателей в литературу Новой Англии. Прервав обучение в университете, Дана в течение двух лет познавал жизнь в морском плавании на бриге «Пилигрим», после чего окончил Гарвард и занялся юридической практикой. В результате его плавания в Калифорнию возникла книга о море. Если «Пират» Даны-старшего отличался романтической необузданностью, то книга его сына подкупала безыскусной правдивостью. Несмотря на славу морских романов Купера, читатели сороковых годов продолжали сомневаться, возможно ли посвятить целый том описанию жизни на корабле. Книга Даны «Два года простым матросом» явилась для читающей публики откровением. Этот деловой отчет о повседневной жизни на корабле с ее неизменным однообразием не мог не вызвать восхищения нового поколения американских патриотов, упивавшихся приключениями янки на семи морях и океанах. Для гуманистов с Шардон-стрит описание телесных наказаний и иных жестокостей корабельной жизни прозвучало суровым обвинением мелкой тирании, господствующей в американском торговом флоте. Для замороженных морем мальчишек эта книга стала классикой. Для читателей, знакомых с «Тайпи» и «Моби Диком», роман «Два года простым матросом» достопримечателен главным образом как источник, к которому обращался Герман Мелвилл, создавая свои великие книги. Что касается самого Даны-юриста, то он спокойно жил в Массачусетсе, где подружился с моряками (написанное им руководство «Спутник моряков» стало их библией), мечтал снова пуститься в далекое плавание, но благоразумно удовольствовался вояжем в Вест-Индию («На Кубу и обратно», 1859). И каждый месяц обедал в бостонской гостинице Паркер-хауз в компании Холмса, Лоуэлла и других кумиров Субботнего клуба*.

6

В умиротворенной поэзии Уильяма Каллена Брайента нашло выражение единство прошлого и настоящего, Европы и Америки, единство, присущее книгам всех этих столь, казалось бы, различных писателей. Поэт родился 3 ноября 1794 года в патриархальной общине Каммингтона округа Гемпшир, Массачусетс, в доме Эбenezера Снелла, отца Сары Брайент. Старый Снелл придерживался привычек прошлого, слыл федералистом в политике и крайним кальвинистом в религии. Язвительный и суровый, он, будучи судьей города Каммингтона, дьяконом конгрегационалистской церкви и главой дома Снеллов и Брайентов, каждому воздавал по заслугам. Главными мирскими добродетелями он почитал бережливость и трудолюбие, а своего внука учил выра-

щивать картофель и кукурузу. Сгребая сено, он ставил внука перед собой, и, если Каллен начинал отставать, дедушкины грабли опускались на его пятки.

Уильям Каллен Брайент был сыном Питера Брайента из Массачусетса, доктора медицины, писавшего стихи в стиле Попа и покупавшего для своей библиотеки (одной из лучших в округе Гемпшир) книги поэтов-романтиков конца XVIII века. Как член медицинского общества и законодательного органа штата этот талантливый врач и активный общественный деятель часто бывал в Бостоне, где друзья и литературные увлечения обратили его в унитариянство. Безвременную кончину любимого доктора Питера Брайента, отличавшегося добротой и демократичностью, оплакивал весь западный Массачусетс.

Из этих конфликтующих миров — Питера Брайента и Снедлов — Каллен сбежал в свою собственную Новую Англию. Для Сары Снелл реальный мир — это ветер и дождь, о которых она писала в своем дневнике; для доктора Брайента — его сад лекарственных растений. Их же сын с младых ногтей был «восхищенным созерцателем природы — ослепительного блеска зимнего рассвета над снежной пустыней, открывавшейся из наших окон, великолепия осенних лесов, мрака надвигающейся грозы... возвращения весны с ее цветами или первого зимнего снегопада». У своего порога Каллен нашел желтую фиалку и растущую у лесных ручьев махровую горечавку. Он бродил по холмам и лугам до говорливой реки Уэстфилд, протекающей на востоке; на западе его взгляд следовал за туманными очертаниями Беркширской гряды. Один на один с природой он декламировал:

Я сливался с тем,
С чем раньше породнился, с чем я рос,
Что, никогда не хмурясь и не злясь,
Мне тех часов не ставило в упрек,
Когда я был беспечен.

Федерализму судьи Снелла и доктора Брайента обязан Каллен Брайент своим первым выступлением в печати, когда в 1808 году в Бостоне появилась его сатира «Эмбарго, или Современные очерки», подписанная «Тринадцатилетний юноша». За благочестивые вирши, создаваемые с одобрения семейства Снедлов, мальчик иногда получал монетку от деда Эбенезера. Потом Каллен писал сатиры на своих школьных товарищей. Затем, поощряемый отцом, он направил стрелы своей сатиры на «безумного раба», президента Соединенных Штатов. В злых куплетах, требовавших отставки Джефферсона, повторялось известное обвинение, будто бы тот жил со своей рабыней-негритянкой. Издающийся Уильямом Тюдором, Джорджем Тикнором и Уильямом Эллери Чаннингом бостонский журнал «Мансли энтолоджи», предшественник «Норт эмерикэн ревью», обнаружил

в «Эмбарго» «изрядный заряд страсти и несколько великолепных строк». В 1758 году подобная сатира тринадцатилетнего мальчика могла бы стать завидным началом литературной деятельности, но в 1808 году она выглядела запоздалым цветком классицизма.

Поэма «Танатопсис», возникшая на почве религиозного либерализма Питера Брайента и знакомства самого Каллена с Новой Англией, стала своеобразным мостом, соединившим в сознании молодого поэта Попа с Вордсвортом. Осенью 1811 года Каллен находился в мрачном настроении. Они с отцом надеялись, что он сможет попасть в Гарвард, где когда-то Питер Брайент собирался изучать медицину и где ныне учились Спаркс и Эверетт. Семейство Снеллов, однако, предпочло Уильямс-колледж, он был более ортодоксален и обучение там стоило дешевле. Каллен поступил туда на второй курс, но, выведенный из себя духовным ужестовом городка Уильямстона, ушел не проучившись и года. Молодой поэт хотел перевестись в Йельский университет, где учился Персивэл, но присущая янки бережливость опять стала препятствием, и он навсегда отказался от мысли об университете. Трижды разочарованный, Каллен теперь задумчиво бродил по «тихим и уединенным» Гемпширским холмам, размышляя о бренности жизни. Шестнадцать лет тому назад он родился здесь, через дорогу от кладбища, он был слабым ребенком и соседи говорили, что он не жилец. С годами заупокойные молитвы деда и страшные библейские рассказы матери сделали мысль о смерти угрожающей реальностью. Гуляя по окрестностям, Каллен задавал себе вопрос: «Как встречу я смерть?» Ответом стал «Танатопсис».

«Танатопсису» предшествовали не только годы страха смерти, но и долгие часы чтения поэтов в библиотеке отца: Роберта Блэра *, Билби Портеуса *, Генри Керка Уайта *, Эразма Дарвина *, Саути, Каупера, Мильтона. Ему предшествовали также «Руины» Вольнея * и бостонские унитарийские дневники доктора Брайента, а также известная Каллену унитарийская непреклонность отца, отказавшегося встать, когда в каммингтонской церкви исполнялись песнопения тринитариев. В «Танатопсисе» воплотилась и любовь мальчика к природе. Во второе издание «Эмбарго» (1809) Каллен включил три незрелые пасторали, в которых, подражая Попу, безуспешно пытался выразить свои зарождающиеся романтические настроения. Блуждая «в глухой чаще» или «в сумерках горных лесов», среди «низвергающихся каскадами водопадов» и «шума бурлящих горных потоков», Каллен без помощи Вордсворта, которого еще не читал, находил слова, выражающие его собственные представления об окружающем мире.

Вопреки Христу и Кальвину, проповеди обращения и бес-смертия, Каллен решительно заявил в «Танатопсисе» (в раннем варианте поэмы от имени природы говорит «добрый гений»

поэта), что каждый человек должен сойти в могилу, исполненный своей собственной веры; какова же она, эта вера, поэта мало интересовало. Порвав с суровым ригоризмом Снеллов, он воспринял деизм Питера Брайента, обратившись к природе за разрешением проблем жизни и смерти. Поэма не предназначалась для чтения Эбенезером Снеллом, и Каллен прятал ее, продолжая упорно работать, как учил его отец, над каждой строкой.

Материальные затруднения, не позволившие учиться в Йельском университете, теперь вынудили Каллена изучать право в Уортингтоне. Здесь он впервые заинтересовался людьми — проводил время в винных лавках и танцевал в тавернах, читал Байрона и сочинял байронические стихи о девах и любви. Возвращаясь к родному очагу, он вновь внимал языку природы, голосам леса и реки. Подслушанное в природе запечатлено в «Желтофиоли» и «Надписи при входе в лес». Утверждая, что он устал от людей, Брайент провозгласил, что природа — это «приют тихой радости», где птахи «щебечут и поют в восторге упоения» и ветер

Волнует реку и спешит к тебе,
Как тот, кто любит, чья любовь верна,
Щедра и пылка, в чьих объятьях — свет.

В Уортингтоне Брайент читал стихи Вордсворта и почерпнул из них новую образность для передачи своего мировосприятия. Нарождавшийся в его поэзии романтизм был одновременно и английским, и американским.

7

В двадцать один год Брайент покинул Каммингтон и начал самостоятельную жизнь. В последующее десятилетие сформировались его образ мысли и чувств, особенности его поэзии, которые уже не менялись в течение всей жизни, а умер он восьмидесятипятилетним старцем. Для начала он примирился с богом и религией. Однажды в конце короткого декабряского дня 1815 года Брайент вышел из дому, направляясь в свою юридическую контору в Плейнфилде на перекрестке дорог. Он вынужден был заточить себя в конторе, так как в семейном кошельке явно не было денег, чтобы посылать ему в Бостон. По мере того как сгущались сумерки, неопределенное чувство охватило путника. Ощущая одиночество, он вспомнил о боге, в которого веровал отец и которого сам он почти забыл последнее время. Вдруг на фоне вечернего неба ему явился темный силуэт водяной птицы — природа как бы подтверждала существование всемогущего творца. Глубоко взволнованный поэт преисполнился чувством разлитого в природе божества:

Тот, кто пред тьмой направит
К пристанищу чрез бездну твой полет, —
Меня в пути суровом не оставит
И к цели приведет.

Перев. М. Зенкевича

В области веры Брайент был либералом, симпатизировал идеям унитаризма, который и Снеллы, и большинство жителей Новой Англии считали вероотступничеством.

«Танатопсис» появился в «Норт эмерикэн ревью» после того, как Брайент покинул Плейнфилд, но не затем, чтобы вернуться в Бостон, а чтобы поселиться среди гор Беркшира в Грейт-Баррингтоне. Однако дух Бостона все еще витал над поэтом, хотя Грейт-Баррингтон представлял собой старый голландский городок, теснее связанный с Олбэни и Нью-Йорком, чем с восточным Массачусетсом. В одну из поездок в Каммингтон Брайент оставил рукопись «Танатопсиса» на столе у отца, и тот передал ее Дане и Чаннингу, на которых поэма произвела глубокое впечатление. Англофил Дана взволнованно писал одному из членов редколлегии журнала: «Вас бессовестно обманули. Никто по эту сторону Атлантики не в состоянии написать такие стихи!» «Танатопсис», опубликованный анонимно в 1817 году в «Норт эмерикэн ревью», не вызвал к себе особого интереса — мир оставался в неведении, что безвестный юрист в Беркширских горах написал одну из прекраснейших американских лирических поэм.

Первые критические высказывания Брайента относительно поэзии, естественно, вытекали из его собственного творчества. Статья о стихосложении, которую он начал писать одновременно с «Танатопсисом», свидетельствует, что изящество его поэзии не случайно; уже в шестнадцать лет он понимал, что трехстопный ямб «не только хорош сам по себе, но и соответствует законам английского языка». Рецензируя в 1818 году «Очерк американской поэзии» Солимана Брауна, Брайент упрекнул американских поэтов XVIII века за «размеренную и скучную правильность стиха». Сам же он давно освободился от влияния Попа и теперь с увлечением истинного романтика экспериментировал с различными поэтическими размерами. Ни один американский поэт двадцатых годов не мог соперничать с Брайентом в разнообразии и изысканности поэтического стиля.

Волновали Брайента и проблемы литературного национализма. На страницах «Норт эмерикэн ревью» он выступал как против вызывающего поведения американцев за границей, так и против их литературного самодовольства на родине. Подобным же образом реагировал Брайент и на раболепие американцев перед иностранным мнением. «Мы ничего не принимаем, — жаловался он, — пока не удостоверимся, что это одобрено Европой». Брайент считал, что американский писатель «должен оставить после себя нечто большее, чем скромную запись о рожде-

нии и смерти в приходских списках». Вопреки голосам, раздававшимся и в Англии, и в Америке, Брайент полагал, что Соединенные Штаты представляют собой «благодатную ниву» для литературы и что писатели, с открытой душой обращающиеся к американской природе и многоликости национальных характеров, могут снискать признательность своих соотечественников. Вскоре он указал на роман «Редвуд» Кэтрин Седжвик как на пример здорового национализма в литературе.

В 1821 году Брайенту предоставилась возможность окунуть взглядом всю историю человечества и тем самым составить себе имя в Бостоне: редакторы «Норт эмерикэн ревью» добились для него приглашения прочитать свою поэму в Гарварде для соискания почетной степени. Ради такого случая Брайент написал «Века» — довольно вялое славословие неизбывного стремления людей к совершенствованию. Тяжелыми спенсеровыми строфами воспел поэт прогресс человечества от времен варварства и славной Греции через мрак средневековья к нашим дням. Полного расцвета человек достигнет в Америке:

Последние оковы человек
Здесь сбросил, и пространства широту
Кто ж ограничит? Рек задержит бег?
Иль обуздает нашу доброту?

Ничто в этой традиционной интерпретации истории не впечатлило гарвардских профессоров, ничто в спокойной декларации Брайента не затронуло воображения публики, и никто не предложил ему выгодной должности в Бостоне. Зато он встретился с Даной, в котором нашел друга на всю жизнь, нашел также издателя для сборника своих «Стихотворений» (1821). Среди восьми включенных сюда произведений были «Танатопсис», «Желтофиоль», «Надпись при входе в лес», «К водяной курочке» и «Зеленая река». Томик стихов расхвалился плохо — из больших журналов Новой Англии его заметил лишь «Норт эмерикэн ревью», да с восторженной рецензией выступил ньюйоркец Гюльен Верпланк. Самый выдающийся поэт Америки оставался безвестным.

Обосновавшись в Грейт-Баррингтоне, Брайент упрочил не только свои религиозные, но и политические привязанности. Раньше свое перо и пылкое воображение Брайент-студент обращал к идеальной любви. Теперь он полюбил девушку Френсис Фэйрчайлд, выросшую на Зеленой реке, посвятив ей написанное в страстном порыве стихотворение «Прекраснейшая из сельских дев», и они счастливо обвенчались. Что же касается политических воззрений, Брайент с детства был убежденным приверженцем свободы и республиканизма. Теперь он выступал за права греков, вальденсов * и испанцев в Европе, требовал освобождения негров в Соединенных Штатах. Чтение книг английских

экономистов Адама Смита, Рикардо и Торнтона *, с которыми его познакомили братья Седжвик из Стокбриджа в штате Нью-Йорк, сделало Брайента сторонником «свободы торговли». Когда федералистская партия сошла с политической арены, а аболиционисты еще не выступили с развернутой программой перед избирателями, Брайент уже отказался от взглядов консервативного большинства Новой Англии, обратившись к демократам и приверженцам «свободы торговли». На протяжении всей своей долгой жизни Брайент оставался либералом, и принадлежность к той или иной партии не сказывалась на его убеждениях.

1824—1825 годы были решающими для Брайента-поэта. Бостонский журнал «Юнайтед Стейтс литерэри газетт», выходивший дважды в месяц, пригласил его сотрудничать в каждом из своих номеров. В результате Брайент написал больше стихов в эти годы, чем в какой-либо иной период жизни. Поэт полюбил Беркширские горы, в его поэзии возобладали тема природы: о том свидетельствуют «Зимний этюд», «Западный ветер», «Вечерняя прогулка», «Март», «Летний ветер», «После бури», «Осенний лес», «Ноябрь», «К облаку», «Лесной гимн» и другие стихотворения. Систематическое появление поэзии Брайента дважды в месяц на страницах нового бостонского журнала дало свои результаты: его стихи перепечатывались, американские и английские критики заговорили о нем, известность поэта росла. Однако отклики в Массачусетсе были часто неблагоприятны: ведь Брайент был отпрыском поэзии «озерной школы», которая в Бостоне предавалась анафеме.

В тридцатилетнем возрасте Брайент покидает Новую Англию. В Грейт-Баррингтоне он пользовался уважением, хотя его любили не все. Поэта раздражала мелочность сельской жизни. «Она принесла мне, — жаловался он, — немало огорчений и затруднений, кои не оправдывались добрыми отношениями с соседями». В этой атмосфере недоброжелательства Брайент был

На торжище людском — золотарем,
Кропая вирши варварским пером,
В толпе любых расцветок и мастей —
Смутьянов, горлопанов и вралей.

Служба в суде по гражданским делам, где он вел мелкие процессы о взыскании долгов — на этом «торжище людском», — дала ему не более пятисот долларов в год, а «Литерэри газетт» платила ему двести долларов в год за сотню стихотворных строчек ежемесячно. Брайент был слишком практичен в финансовых делах, чтобы ради музы голодать на чердаке. Тысяча долларов жалованья соредактора «Нью-Йорк ревью энд Атенеум мэгэзин» склонила его оставить Массачусетс и судебную практику. С 1825 года Брайент становится «литературным искателем приключений» в Нью-Йорке.

Итак, «искатель приключений» нашел пристанище в «Ивнинг пост», редактором и совладельцем которого вскоре становится. Здесь в течение целого полувека Брайент формировал общественное мнение Америки, приобрел уважение и почет в качестве одного из патриархов и достойнейших граждан города. Однако по своим привычкам и образу мышления нью-йоркский редактор по-прежнему оставался массачусетским юристом. Он расчетливо вкладывал доходы — не от бесприбыльной поэзии, а от своей газеты — в недвижимое имущество, и вскоре рост Нью-Йорка превратил его в богача. Некогда язвительный молодой сатирик, а затем вспыльчивый юрист, теперь запросто мог высечь в своей газете редактора «Комершиел эдвертайзер» Стоуна или позволить себе решительно отказаться от встречи с редактором Уидом из Олбэни, штат Нью-Йорк. Хотя с годами Брайент научился обуздывать свой гнев, даже в старости мрачное пламя все еще вспыхивало под его нахмуренными бровями. Но человек, укравшийся от людей, словно в крепости, в Беркширских горах, бывал в Нью-Йорке застенчив, как «робкая девица». По словам его элегантного современника бостонца Эдварда Эверетта, Брайент, как и всякий знаменитый человек, с которым ему доводилось встречаться, чувствовал себя беспомощным в светском обществе. Чтобы преодолеть застенчивость, Брайент усвоил весьма официальную манеру обращения («Скорее можно было позволить себе вольности с римским папой, чем с Брайентом», — говорил Джон Биглоу *) и отличался склонностью к суровой молчаливости («Из него клещами слова не вытащишь» — жаловался Брет Гарт). Незнающие Брайента могли принять его маску всерьез. Так в сороковые годы внешность Брайента настолько ввела в заблуждение молодого Лоуэлла, что он писал:

Вот Брайент, отчужденный и холодный
Как айсберг, что плывет по глади водной.

В последние годы жизни чувства Брайента, склонного к строгой самодисциплине, настолько угасли, что, действительно, когда Брет Гарт встретился с ним в семидесятые годы, тот был подобен холодному и молчаливому айсбергу.

Брайент был работающим и умелым редактором газеты «Ивнинг пост», но напрасно было бы ожидать блеска от тихого провинциального юриста, сделавшегося нью-йоркским журналистом. Когда газета стала приносить доходы, причиной тому был отнюдь не талант Брайента-газетчика, а то, что публике пришли по душе убеждения, которые он вывез из Массачусетса, — вера в свободу и вера в демократию. Брайент — один из первых нью-йоркских аболиционистов, защитник свободы слова и права на труд. В 1836 году он поддержал группу портных, образовавших

профсоюз и оштрафованных за участие в заговоре с целью ограничения торговли. «Если это не *рабство*, — гремел его голос в «Ивнинг пост», — то, значит, мы забыли, что такое рабство». Когда в 1837 году толпа убила Лавджоя *, Брайент писал в защиту свободы слова: «Право открыто и свободно обсуждать устно, письменно и в печати любые политические вопросы, рассматривать и подвергать критике любые политические учреждения — это право столь ясно и очевидно, так переплелось со всеми другими нашими свободами и столь насущно необходимо для их существования, что, лишись его сегодня, мы тут же окажемся во власти деспотизма и анархии». Брайент превратил «Ивнинг пост» в орган фрисойлеров *, барнбернеров *, а после принятия в 1854 году билля «Канзас — Небраска» * — новой радикальной партии «Черные республиканцы». Брайент обличал Закон о беглых рабах *, «самый бандитский акт, когда-либо принятый законодательным органом», прославлял Джона Брауна как «героя и мученика» за свободу, поддержал Авраама Линкольна во время его первого выступления в Нью-Йорке. Когда дальнейшие компромиссы с Югом стали невозможны, Брайент отказался от убеждений своей юности о праве Юга на выход из Союза и стал горячим сторонником беспощадной войны с мятежниками.

Слишком рассудительный, чтобы поддерживать любые реформы, Брайент оказывал в газете поддержку тем общественным движениям, которые представлялись ему реальной и здоровой силой. Что касается муниципальных дел, Брайент активно участвовал (правда, с разной степенью успеха) в обсуждении проблем устройства нью-йоркского Центрального парка, реформы полиции, противопожарных мер и политической продажности. В международных делах он продолжал поддерживать «свободу торговли» и являлся сторонником свободного культурного и экономического обмена между Европой и Соединенными Штатами. При этом в передовицах Брайент неизменно обращался к нравственной стороне дела. И хотя понимание им демократии ближе к отцовскому, чем семейству Снеллов, Брайент считал, что приверженностью «великому делу справедливости, не взирая на лица», он обязан матери, научившей его «никогда не поддерживать зла потому, что другие склонны к нему». Пригвоздив к позорному столбу таких общественных деятелей, как Гаррисон *, Клей * и «грязный изменник» Уэбстер *, Брайент-редактор поступил с ними подобно Саре Брайент и ее подругам, которые вывели в день выборов из Каммингтона некоего мужа, избившего свою жену, предварительно обваляв его в дегте и перьях. Трудолюбие, здравый смысл, нравственное начало, честность и мужество — все эти качества обеспечили Брайенту почетное место в американской журналистике.

В первые годы жизни в Нью-Йорке Брайент писал прозаические повести на романтические сюжеты, которые ранее использовал в стихах, на куперовские темы об индейцах и первопро-

ходцах («Индийская весна», «Водопад Мелсинга», «Скелет в пещере», «Свадебная ошибка»), фантазии и легенды в духе Ирвинга («Пограничное предание», «Пенсильванская легенда», «Воспоминания о Нью-Йорке», «Сказание о чертовой кафедре»), о литературе и обычаях Испании («Воспоминания о юге Испании», «Ранняя испанская поэзия», «Фанет де Гантельм»). Немалый груз фактов, вывезенный им из поездок вместе с матерью и братьями в прерии, из путешествий по Европе и Ближнему Востоку, позволили Брайенту подготовить «Письма путешественника» (1850), вторую серию «Писем путешественника» (1859) и «Письма с Востока» (1869). Когда его современники-романтики Томас Коул, Купер, Ирвинг, Гюльен Верпланк — умирали, он писал некрологи. Проза Брайента, будь то вымышленная история или надгробная речь, отличалась тяжелым стилем, поэтому в позднейшие годы он разумно прибегал к помощи стиха, когда отправлялся в волшебную страну вымысла: «Воздушные замки», «Снежный народец», «Заоблачная страна», «Стелла».

9

Брайент — пионер американской литературной критики, автор первых в Соединенных Штатах статей о природе поэзии. Начиная с «Лекций о поэзии» (прочитанных в 1825 и опубликованных в 1884 году) и кончая введением к «Библиотеке поэзии и песни» («Англоязычные поэты и поэзия», 1871), Брайент всегда считал, что главное в поэзии — это проблема нравственности, воображения, самобытности, эмоциональности и простоты, воздействующей на наши чувства. Всецело преданный, как и вся массачусетская группа «Норт эмерикэн», нравственному идеалу, над чем ньюйоркцы уже начали подтрунивать, он ни минуты не сомневался, что поэт призван «преподать урок мудрости». Вместе с тем Брайент считал, что поэзия — искусство не столько подражательное, сколько созидательное, пробуждающее читательское воображение. И читатель откликается на голос певца, устремляя свои чувства «по пути, намеченному поэтом». Поскольку каждый новый художник, как полагал Брайент, начинает там, где остановился его предшественник, поэт, если он хочет «достичь самобытности и признания», должен искать «новые способы воспроизведения возвышенного, прекрасного и подлинно человеческого». Брайент писал, что чувство — это «движущая пружина поэзии». Отсюда следует, что «поэзия, не находящая путей к сердцу человеческого, едва ли может называться поэзией». И вновь повторял: «Лучшая поэзия та, которая глубже всего проникает в душу». Наконец, Брайент был приверженцем ясности и простоты, в особенности «прозрачности стиля», являющейся «одним из важнейших свойств всякого великого поэта». Что же касается истоков подобных взглядов, молодой

Каллен Брайент почерпнул их в отцовской библиотеке в Каммингтоне, в книгах писателей и критиков XVIII века, прямо или косвенно предвосхитивших романтическую революцию в Великобритании.

Всеобщее признание пришло к Брайенту-поэту поздно, уже после признания его как журналиста. В 1837 году По писал: «Поэтическая репутация мистера Брайента и в Америке, и за границей превосходит, как мы полагаем, популярность любого иного американского поэта. Британская критика высоко оценила поэзию Брайента — общественное мнение оказалось единодушным по обе стороны океана». Однако такое восхваление не было целиком оправдано, ибо американские критики не единодушно признавали Брайента главным поэтом Америки. Издание его стихов в Англии, финансируемое в 1832 году Вашингтоном Ирвингом, вызвало, тем не менее, живой интерес; в Америке Брайент достиг наибольшей известности в тридцатые годы, но вскоре поэты-романтики нового поколения — По, Лонгфелло, Уитьер и Лоуэлл — затмили его славу. Ирония литературной славы проявилась в том, что в годы своей наибольшей популярности Брайент написал лишь несколько достойных упоминания стихотворений («К махровой горечавке», «Песня мэрионцев», «Прерии») и немногим более в последующие четыре десятилетия («Мать славного народа», «Роберт из Линкольна», «Как сажали яблоню», «Смерть Линкольна»). Редакторская работа часто не оставляла времени для поэзии, но вместе с тем Брайент располагал достаточным досугом для творчества. Весьма скромный объем оставленного им поэтического наследия объясняется тем, что его талант был невелик, а также редкой взыскательностью автора: он работал над стихом с исключительной тщательностью, переделывал, без конца шлифовал, отбрасывал и переписывал заново. К чести Брайента следует сказать, что эти переработки в большинстве случаев оказывались плодотворными. Хотя его стихи и не всегда совершенны, он завоевал почетное место в пантеоне американских поэтов.

Когда-то первые читатели находили поэзию Брайента сложной и трудной для понимания, а ныне эти произведения воспринимаются как образец весьма почитаемой поэтом простоты и ясности. Стих Брайента не отличается ни оригинальностью, ни глубиной мысли. Бог воплощает в себе природу, любовь, справедливость и свободу; человек, который при непосредственном рассмотрении есть носитель «горя, преступления и суетности», в конечном счете предназначен для великого будущего, когда «любовь и мир установят рай» на всей земле. Природа — светлый храм, источник здоровья и радости, куда поэт зовет читателя бежать

Ото всего, что в сей юдоли мук
Заставило тебя своей гнушаться жизнью.

Читателю наших дней чувства Брайента кажутся довольно ограниченными: почитание бога, проклятие всем врагам человечества и сочувствие их жертвам, любовь к жене и детям (столь естественная и не нарушающая гармонии природы), преданность родной земле (которая редко когда губит человека) и глубокая привязанность к реальному миру, несовершенство которого Брайент не желает замечать. Проникновенное выражение подобных чувств и мыслей исполнено тихого очарования и величия, пожалуй, до сих пор непревзойденного в американской поэзии.

Брайента следует читать — и он сам о том говорил — как певца Америки. Его национализм более последователен, чем у Кэтрин Седжвик или у Джона Нила, глубже обоснован, чем у современников из Новой Англии, за исключением разве что Чаннинга. В любви к американской природе Брайент превосходит Ирвинга и может сравниться только с Купером. Как нью-йоркец, Брайент не мог оставаться равнодушным к красоте Лонг-Айленда и Гудзона. Кэтскильские горы очаровали его, как и Томаса Коула, художника-романтика, прославившего величие американской природы. И действительно, на картине Ашера Брауна Дюранда, изображающей кэтскильский пейзаж («Родственные души»), Брайент и Коул — единственные человеческие фигуры на полотне. Подобно своим друзьям-живописцам гудзонской школы, Брайент не сумел создать американские характеры, он лишь ввел в свои произведения американский материал. В отличие от Уитмена, представителя новейшего поколения романтиков, Брайент не мог ни заявить, ни осуществить смелый призыв: «Язык американского поэта должен быть новым и необычным». Стихи Брайента, свидетельствовавшие о его кровной связи с жизнью Америки и особенно Новой Англии, в конечном счете все же были голосом американца, но испытавшего английское влияние.

Наконец, Брайента следует читать как поэта, причастного ко всему человеческому. Вечную изменчивость наблюдал он в античной литературе, которую в детстве переводил для удовольствия, а в старости — для утешения (гомеровскую «Илиаду», 1870, и гомеровскую «Одиссею», 1871 — 1872). «Великое движение вселенной» обнаруживал он и в Библии, и в науке. И в Массачусетсе, и в Нью-Йорке Брайент скорбел, когда его родичи или друзья вступали в

Тот бесконечный караван, который
В неведомые тянется края,
Где каждого ждут ложе и молчанье.

В поэмах «Века» и «Прошлое» Брайент обратился к истории, стремясь окинуть взором прогресс всего человечества. В «Песне

сеятеля», «Как сажали яблоню», в стихах о ветре, отличающихся конкретной образностью, мир реального человеческого бытия сливается с жизнью вселенной. Полагаясь на свои воспоминания, он пересказал прошлое в «Потоке лет» и «Всей жизни». Теперь, в восемьдесят лет, поэт в последний раз задает вопрос, прозвучавший впервые, когда ему было шестнадцать: «Как надлежит человеку встретить смерть?» И старый Брайент отвечает: «Иди спокойно с твердой верой в «бесконечный Поток времени», с верой в «вечную Изменчивость», которая объединяет всех людей, все времена и все события в «вечном Согласии».

22. НА ЮГЕ

В 1826 году, когда Купер, Ирвинг и Брайент завоевали славу первых больших писателей Америки, а Эдгар По остался еще никому неведомым студентом только что основанного Виргинского университета, самым известным писателем Юга считался Джордж Такер, профессор этики и политэкономии в Шарлотсвилле. Такер родился в 1775 году на Бермудских островах и юношей приехал в Виргинию, чтобы в колледже Уильяма и Мэри изучать право под руководством своего двоюродного брата Сенджорджа Такера, тоже уроженца Бермуд, знаменитого юриста, выступавшего иногда и в качестве писателя.

Творчество Джорджа Такера характерно для развития литературы и культуры Мэриленда, Виргинии и обеих Каролин 20-х годов прошлого века. Человек пытливого ума и сдержанного характера, Такер вскоре обратился от занятия юриспруденцией к серьезному изучению аграрной экономики, на которой основывалась вся политическая философия Юга. Став конгрессменом, он опубликовал «Очерки о национальном характере, нравах и обычаях» (1822). Однако для своих художественных произведений Такер искал и находил образцы не в современном для него Нью-Йорке Ирвинга и Купера, не в Новой Англии Брайента, а в Лондоне XVIII века. Рассказывают, что в бытность свою юристом в Ричмонде Такер написал поэтическую сатиру, положившую конец карточным играм в светском обществе. В романе «Долина Шенандоа» (1824) он сочетал реминисценции ричардсоновской «Клариссы» с картинами жизни Виргинии. Написав причудливое «Фантастическое путешествие на Луну» (1827), Такер с 1845 года проживал в Шарлотсвилле и Филадельфии, плодотворно и упорно работая в историческом и социологическом жанре.

Уильям Уэрт, автор известных «Писем британского шпиона» (1803) и ряда очерков о Юге, написанных в стиле Аддисона, давно перестал писать, однако до самого конца 20-х годов считался на Юге более знаменитым писателем, чем Такер. Уэрт, родившийся в Мэриленде в 1772 году, женился на представительнице знатной виргинской семьи, переехал в Ричмонд, занялся юридической практикой и завоевал репутацию одного из

лучших ораторов своего времени. Там он написал биографию Патрика Генри * и вел знаменитый процесс Аарона Бэрра *. В 1817 году Уэрт был назначен министром юстиции Соединенных Штатов. С этих пор и до самой смерти, последовавшей в 1834 году, он проживал в Балтиморе все то время, когда дела не требовали его присутствия в Вашингтоне. В преклонном возрасте он стал первым ректором Виргинского университета. Литературные вкусы Уэрта отличались аристократичностью и консерватизмом. В соответствии с обычаями той эпохи он строго делил свое время между сочинением изящных сатирических эссе, государственными делами и судебной практикой, которой придавал серьезное значение.

Уэрт не испытывал никакой симпатии к другому деятельному балтиморцу, старшему по возрасту Уильяму Пинкни, долгие годы посвятившему дипломатической службе и считавшемуся величайшим юристом Америки. Не удивительно, что всегда уравновешенный Уэрт был, по-видимому, самого низкого мнения о его сыне, поэте Эдварде Куте Пинкни, молодом человеке, еще более беспокойном, чем Пинкни-старший. Поэт родился в 1802 году в Англии, где его отец находился с дипломатической миссией. Из двадцати шести лет своей жизни он более половины провел с отцом за границей и на флоте Соединенных Штатов, куда был определен с тринадцати лет, а в двадцать два года, заносчивый и вздорный, подал в отставку. В 1823 году Пинкни-младший опубликовал «Серенаду, написанную джентльменом из Балтимора» («Взгляни на звезды, любовь моя...»), напоминающую лирику елизаветинцев, а также стихотворение «Родольф. Отрывок». В 1825 году появился маленький томик его «Стихотворений», в котором был напечатан «Гост»:

Я этот кубок подыму за женщин идеал,
За благородство, красоту — за ту, что повстречал.

Все это время, особенно после женитьбы в 1824 году, Пинкни отчаянно нуждался в деньгах; его стихи, в мелодике и содержании которых ощущается влияние Байрона, казались слишком непривычными для степенных людей и отнюдь не содействовали успеху юридической практики их автора. Единственное, чему способствовала поэзия Пинкни, — его назначение профессором риторики и литературы в Мэрилендском университете, без жалованья, а позднее — редактором политической газеты, где он проработал несколько месяцев, оставшихся ему до смерти. Пламенные и мелодичные стихи Пинкни, собранные в небольшом томике, явились ярким проявлением романтизма консервативного Старого Юга двадцатых годов.

Насколько присутствие Пинкни в Балтиморе раздражало Уэрта, настолько дружба с другим молодым человеком радовала его. Джон Пендлтон Кеннеди, покровитель По и в течение полу-

века меценат писателей Юга, был сыном иммигранта; его мать принадлежала к известному в Виргинии роду Пендлтонов. В юности он охотнее жил на плантации родичей своей матери в долине Шенандоа, чем в родном городе, где должен был учиться в школе и колледже.

С детства Кеннеди отличался склонностью к литературе и уже в раннем возрасте печатался в газетах, а став юристом, принимал участие в издании выходившего время от времени анонимного журнальчика. В Гарварде это язвительное и колкое издание снискало благожелательное одобрение Эдварда Эверетта. В 1820 году Кеннеди избирается в Законодательное собрание Мэриленда, а в начале 1822 года Уэрт, даже не получив окончательного согласия Кеннеди, устраивает его на дипломатическую службу в Южной Америке. В тридцать с лишним лет, в то время, когда в Балтиморе бедствовал двадцатилетний По, а двадцатилетний Пинкни умирал в нищете, Кеннеди получил большое наследство и женился на дочери процветающего и литературно образованного балтиморского фабриканта. С тех пор Кеннеди постепенно отходит от юридической практики и все больше и больше занимается политикой, литературой и общественной деятельностью.

При Кеннеди Балтимора стала литературным центром, с которым на Юге мог соперничать лишь Чарльстон, приобретший в то время известность главным образом благодаря сочинениям некоего светского остроумца, прибывшего из Массачусетса, и одного необычного художника, собиравшегося отбыть в Массачусетс. В конце 1820-х годов создается деятельная группа местных литераторов. Недоучившийся двадцатилетний молодой человек Уильям Гилмор Симмс опубликовал два тома стихов и вскоре оказался наиболее плодовитым и известным писателем Юга. В 1828 году два уважаемых жителя Чарльстона, оба плантаторы — стареющий банкир и ученый-ботаник Стивен Эллиот вместе с много путешествовавшим ученым и юристом Хью Суинтоном Легарэ, — основали журнал «Сазерн ревью». Это забытое ныне издание представляло собой своеобразную адаптацию для Старого Юга издававшихся в Англии больших журналов, выходивших ежеквартально. Через четыре года журнал прекратил свое существование, очевидно, расчет на перелицовку английских журналов не оправдал себя.

Несколько высокопарный, непоколебимо честный Легарэ являл образец трудолюбия и эрудиции в своей области — юриспруденции и истории Европы в ее различные периоды. Такому человеку, серьезность и разборчивость которого не позволяли проявлять интереса к чему-либо, кроме самой что ни на есть классической классики, американская литература, вернее художественное творчество местных писателей, казалась чем-то весьма незначительным. Однако его собственные статьи, печатавшиеся в «Сазерн ревью» и в «Нью-Йорк ревью», свидетельствуют,

что он все же признавал литературную критику в Америке. По тому, как недолго Легарэ был в Конгрессе, можно судить, сколь сильно вредила его политической деятельности на Юге оппозиция Кэлхуну *, что, впрочем, не помешало Легарэ занять пост министра юстиции Соединенных Штатов в 1841 году и исполняющего обязанности государственного секретаря в 1843. В том же году он скончался в доме своего ближайшего друга Джорджа Тикнора в Бостоне. Один из его родственников — Джеймс Мэтьюз Легарэ — написал стихотворение, посвященное его памяти, а в 1846 году сестра Легарэ издала в Чарльстоне двухтомное собрание его сочинений.

Американский Конгресс, своего рода тихая гавань для писателей Юга с 1818 по 1835 год, не раз принимал под свой кров еще одного писателя-южанина. Ричард Генри Уайлд из Джорджии родился в 1789 году в Ирландии, а вырос в Огасте. Став юристом в девятнадцать лет, он в 1815 году написал поэму о войне с индейцами во Флориде, содержащую стихи «Жизнь моя подобна летней розе». Эта очень популярная, но мрачная элегия в байроническом духе вызвала в свое время бурю споров относительно ее принадлежности. Дело в том, что греческий перевод стихотворения выдавался за вновь найденный отрывок из Алкея, а бесцеремонное притязание на авторство одного ирландского мошенника окончательно запутало вопрос, проясненный в пользу истинного автора лишь в 1871 году.

В 1834 году Уайлд стал достопримечательностью Огасты — посылая статьи в открывшийся в Ричмонде журнал «Сазерн литерэри мессенджер», он обеспечил журналу сотню новых подписчиков. Однако демократия страны разочаровала Уайлда: все политические партии «требовали от своих членов такого, чего ни один честный человек не должен и никакой джентльмен не станет делать». В 1835 году он уехал в Италию и в течение пяти лет изучал литературу итальянского Возрождения, а в 1842 году опубликовал книгу о Тассо. Это «трусливое бегство» из Америки в Европу — «отраду для чувств, но плесень для сердца» — вызвало осуждение современников, однако его скептическое высказывание о литературных возможностях Америки не повредило восторженному приему, оказанному ему по возвращении на родину. К тому времени Уайлд уже считал, что своим творчеством в известной мере опроверг и в недалеком будущем окончательно опровергнет обвинение, будто художественная жизнь Америки бесплодна. Кто-то даже предложил поставить ему памятник от благодарных жителей Джорджии, но проект не был осуществлен, и Уайлд покинул Огасту, удалившись, как он сам говорил, в провинциальную глушь, в Новый Орлеан. Там он занялся преподавательской и юридической деятельностью, писал для нескольких южных журналов, изредка наезжая в Нью-Йорк, где встречался со своим другом Симмсом из Чарльстона и наконец умер от желтой лихорадки в 1847 году.

В 1832 году Кеннеди под псевдонимом Марка Литлтона опубликовал в Балтиморе «Суоллоу-барн» — не роман, по его словам, а «серии взаимосвязанных очерков». В известной мере это знаменовало отказ южной литературы от следования классической и рыцарской традиции Старого Света и удостоверяло ее родство с молодыми писателями Севера. Каковы бы ни были истоки «Суоллоу-барна», по стилю и настроению роман живо напоминает произведения Ирвинга. Действие происходит на плантации в Виргинии в первой четверти XIX века. Великие дни Виргинии, по мнению Кеннеди, уже миновали, но то, что еще сохранилось от былого величия, писатель изобразил так, чтобы дать почувствовать исконную романтику этого штата. Герои книг Кеннеди чрезвычайно «аристократичны», и честь называться первым реалистом в изображении Юга принадлежит Огастесу Болдуину Лонгстриту, автору таких земных и юмористических «Картинок Джорджии», появившихся три года спустя после «Суоллоу-барна». Однако важно отметить, что жизнь Юга, представленная в «Суоллоу-барне», была естественнее и проще, чем ее рисовали позднейшие романисты, воздвигавшие по всей Виргинии бесчисленные алебастровые колонны и населявшие ее ходульными персонажами.

Читающая Америка с интересом восприняла «Суоллоу-барн», и Кеннеди был признан литературным наследником стареющего Уэрта, которому посвящен роман и который узнал об этом посвящении незадолго до смерти, в 1834 году. В 1833 году Кеннеди, входивший в жюри литературного конкурса на лучший рассказ, присудил тогда еще неизвестному Эдгару Аллану По премию за «Рукопись, найденную в бутылке». Несчастный и жалкий вид молодого талантливого писателя глубоко взволновал Кеннеди, и в 1835 году он помог По устроиться редактором в созданный за год до этого в Ричмонде «Сазерн литерэри мессенджер». Это в известном смысле определило лицо журнала и дальнейшую судьбу его редактора. Кеннеди на протяжении всей жизни Эдгара По питал к нему самые сердечные чувства, помогал не только деньгами, но и мудрыми, добрыми советами, какие мог преподать такой человек, как уравновешенный Кеннеди, такому человеку, как ершистый По.

Два года спустя после выхода в свет «Суоллоу-барна» врач Уильям Александр Карузере из Саванны, горячий почитатель журнала, издававшегося Эдгаром По, опубликовал свой роман «Кентуккиец в Нью-Йорке». Родившись в Виргинии в 1800 году и проведя школьные годы в Лексингтоне, Карузере называл себя не иначе как виргинцем; вместе с тем он считал себя сторонником Запада, частью которого была в его представлении также и Джорджия. Карузере полагал, что со временем Саванна опередит Нью-Йорк и Филадельфию, а к 1870 году Соединенные

Штаты станут страной с 168 миллионами населения, которые откажутся от вина и католицизма.

«Кентуккиец в Нью-Йорке» содержит переписку двух молодых выходцев из Южной Каролины и кентуккийца, посетившего Нью-Йорк с молодым виргинцем, побывавшим в Южной Каролине. В результате получилась живая книга путешествий, подчас с многочисленными, но неизменно интересными отступлениями, посвященными то нежным чувствам, то историческим, экономическим и философским наблюдениям. Вопреки разделяемому Карузерсом убеждению, что на Севере существует заговор против южных писателей, сам роман скорее свидетельствует об обратном — если северяне и южане лучше узнают друг друга, они неизбежно проникнутся чувством взаимной симпатии.

Приветливый и безгранично доверчивый Карузерс обладал страстным политическим темпераментом. С убежденностью ревностного патриота выступал он как против плантаторской системы Юга, так и против «власти черни» Севера, искренне полагая, что благом для всей страны станет экономика, основывающаяся преимущественно на мелком фермерстве белых землевладельцев.

В эпилоге своего первого романа Карузерс писал, что по-настоящему его интересует исторический роман, который он обещал вскоре выпустить, и что образ болтливый кентуккийца, приверженца Джексона, задуман им как завлекательная приманка для читателей. Однако новая книга «Виргинские кавалеры» (1834—1835), с сочувствием повествующая о восстании Бэкона, написана витиевато и напыщенно; к тому же в ней утверждалось, что виргинцы — особая порода людей, особая в своем превосходстве над другими людьми. В последнем романе «Рыцари подковы» (1845) Карузерс развивает те же идеи, изображая Старый доминион — Виргинию — при губернаторе Спотсвуде *, возглавившем первую экспедицию в долину Шенандоа и в Аппалачские горы.

Уильям Гилмор Симмс из Каролины, родившийся в Чарльстоне в 1806 году, был писателем не только южного региона. Он рано начал печататься, и когда в 1834 году вышел роман «Гай Риверс», снискавший его автору широкую популярность, Симмс уже около года наездами жил то в Новой Англии, то в Нью-Йорке.

Мать Симмса рано умерла, отец же вскоре уехал в Миссисипи, оставив мальчика на попечение обедневшей бабушки. Она то и дала внуку первоначальные познания, определила его на службу в аптеку, питала воображение мальчика рассказами о Революции и безуспешно пыталась обуздать его безудержную страсть к чтению. Приезд в 1816 году отца Симмса, жителя фронта, принимавшего участие в войнах, которые вел Эндрю Джексон, бесспорно, усилил отвращение мальчика к службе в

аптеке. К 1824 году, времени поездки к отцу в Миссисипи, Симмс был начинающим юристом и собирался жениться. Впечатления нескольких месяцев, полученные на Западе, навсегда остались в его памяти. Несмотря на отцовский совет не возвращаться на восточное побережье, Симмс в 1825 году снова появился в Чарльстоне.

В том же году он напечатал торжественную погребальную песнь, посвященную скончавшемуся местному участнику Революции, а в 1827 году — томик байронических стихов. В следующем году, когда Легарэ и Эллиот издавали солидное «Сазерн ревью», Симмс открывает свой недолговечный журнал «Тэблет», но, потерпев неудачу, переносит всю энергию на издание «Сити газетт». Симмс вложил в это дело столько страсти, выступая против Кэлхуна, что победа последнего на выборах была воспринята им почти как личное поражение. По стечению обстоятельств чарльстонский период в жизни писателя (конец 20-х и начало 30-х годов) оказался весьма тяжелым. Симмс продолжал печатать свои стихи, но они не находили отклика. Почти одновременно умирают его жена, отец и бабушка.

В мрачном душевном состоянии он уезжает из Чарльстона на Север. Подобно Легарэ, Симмс потерпел политическое поражение, и его настроение было сходно с тем, в каком Легарэ отправлялся на дипломатическую службу в Бельгию. В Новой Англии и Нью-Йорке Симмс подружился со многими, но особенно близко сошелся с Уильямом Калленом Брайентом. Здесь он напечатал свою первую повесть «Мартин Фейбер» (1833) и написанную в Массачусетсе поэму «Атлантида» (1832), посвященную любви некоей южной nereиды.

Первым успехом в жанре романтической прозы, созданной на национальном материале, оказался роман «Гай Риверс» (1834), повествующий о золотой лихорадке в дебрях Северной Джорджии. После этого Симмс возвратился в Южную Каролину, посещая в дальнейшем Нью-Йорк и иногда подолгу там задерживаясь. В 1835 году вышел его роман о революции «Партизан» и самый известный из написанных им — «Йемасси», увлекательный «пограничный роман» о Южной Каролине, изображающий жизнь индейцев — картина, уступающая лишь куперовским романам (хотя и не столь идеализированная).

В своих многочисленных романах Симмс рисует различные стороны южной жизни. «Гай Риверс» — первый в ряду книг о юго-западной границе, знакомой ему главным образом по рассказам отца, а «Партизан» — первый из серии романов об Американской революции, о которой он столько слышал от бабушки. «Пелайо, история гота» (1838) и его продолжение «Граф Джулиан» (1845) — два неудачных романа, написанных в ответ на распространенное тогда мнение, что Америка малопригодна для создания выдающихся образцов литературы. Современники считали, что рассказ «Любовь кучера» (история любви негра),

романы «Бичем» (1842) и «Шарлемон» (1856), посвященные тому же пресловутому убийству в Кентукки, которое По и Чиверс воплотили в драме, слишком прямо трактуют вопросы, требующие большего художественного такта. Однако творческий мир Симмса был столь богат и живописен, что вряд ли кто мог долго обижаться, даже если писатель позволял себе преступать границы допустимого тогда в литературе.

Снова женившись в 1836 году, Симмс незамедлительно и самым коренным образом изменил политические взгляды, приспособив их к воззрениям своего весьма уважаемого тестя-плантатора, подобно тому как Кеннеди поменял свои убеждения в соответствии с принципами не менее достойного тестя-фабриканта. Обоих упрекали при этом в трусости и малодушии, и оба оправдывались тем, что изменили убеждения не ради личной выгоды, а в связи с изменением окружающей их обстановки.

Теперь мы видим Симмса в Вудлендс, усадьбе жены, крупным плантатором, главой большой семьи, отцом пятнадцати детей, в дом которого съезжаются гости со всей округи. Как и других южан, Симмса везде и повсюду донимали разговорами о рабстве, но тут он стал проповедовать хитроумную теорию, звучавшую весьма убедительно в те времена, когда господствовала мода на все древнегреческое. Он утверждал, что американский Юг — это греческая демократия с некоторыми поправками, внесенными христианством. В южном обществе было принято считать, что любой добропорядочный свободный человек может занять любое положение в свете, хотя ни один из негров не может об этом и мечтать; тем не менее каждый негр в отличие от «наемных рабов» Бостона может претендовать на удовлетворение своих насущных потребностей и на признание своего христианского братства с белыми.

Теоретическое обоснование права каждого свободного человека на неограниченное развитие своих способностей неизменно оставалось эфемерным. Но на Старом Юге вера в это право была особенно живуча, к чему было несколько причин. Во-первых, постоянное влияние близкого фронта, во-вторых, существование рабов, этого угнетаемого класса людей, которые охотно подхватили бы любой призыв к мятежу, откуда бы он ни исходил.

Симмс сделался одним из самых яростных приверженцев теории «греческой демократии». По мере того как положение Юга становилось все более угрожающим, а слава Симмса продолжала расти, сограждане относились к бывшему помощнику аптекаря все с большим расположением. Рассказывают, что однажды некий британский сановник посетил Чарльстон и на вопрос, что ему хотелось бы посмотреть, ответил, что хотел бы повидать великих людей Юга, например Симмса. Когда сановнику дали понять, что не все южане признают величие Симмса, эта важная персона с удивлением спросила, кого же, если не

Симмса, считать великим человеком Чарльстона. Все это правдоподобно и вполне вероятно: Симмс, будучи человеком необыкновенным, вызывал почти повсеместное восхищение. Критические же суждения о нем как о писателе касались не столько небрежностей его стиля, сколько его склонности к бурной деятельности; но при этом обсуждалось его сходство с Купером, которого он будто бы превзошел в мастерстве создания характеров и в изображении индейцев, говорилось об их сходстве с возвышенными героями Скотта, а самого Симмса даже сравнивали с Шекспиром — в эпическом образе лейтенанта Порги, участника Революции, видели американского Фальстафа.

В том же 1835 году, когда появились «Йемасси» и «Партизан» Симмса, По стал редактором «Сазерн литерэри мессенджер», а Уайлд отправился в Италию. В этом же году вышли «Картинки Джорджии» Лонгстрита и вторая книга Кеннеди «Робинзон-Подкова» — романтическое повествование о западной Каролине, написанное с целью популяризации Великой американской легенды. Действие происходит в 1780 году, главный герой — кузнец по прозвищу Робинзон-Подкова, ветеран Революции, неосознанное желание которого — воплотить в жизнь идеал «естественного человека». Кеннеди воспользовался рассказом встреченного им во время поездки в Джорджию в 1819 году человека, который дожил до глубокой старости и мог подтвердить правдивость всего изложенного писателем. Не столь яркая, как рассказы Симмса о Революции, книга Кеннеди отличается большей достоверностью и точностью. Популярность ее была так велика, что, вопреки убеждению Кеннеди, будто бы влиятельные люди не интересуются литературой, она содействовала деловому успеху ее автора в штатах атлантического побережья.

1838 год ознаменовался для Кеннеди избранием в Конгресс и публикацией «Роба», туманного романтического повествования о вражде мэрилендских католиков и протестантов в 1661 году. В сороковые и в начале пятидесятых годов Кеннеди целиком погрузился в общественно-политическую деятельность. Он опубликовал «Кводлибет», острую и не утратившую донныне живого читательского интереса сатиру на джексоновскую демократию, а десять лет спустя — биографию Уильяма Уэрта. К тому времени он уже успел убедиться, что влиятельные люди меньше интересуются политикой, чем литературой. Хотя ему и доставляло удовольствие служить в 1852—1853 годах министром флота, принимать и очаровывать великого Теккеря, посетившего Америку, Кеннеди все это не удовлетворяло.

Карузерс и Кеннеди никогда не испытывали враждебности к Северу, то же можно сказать о Симмсе до происшедших с ним в зрелом возрасте перемен. Иное дело живший в Уильямсбурге Натаниел Беверли Такер, сын Джорджа Такера; в свои пятьдесят лет он настороженно взирал на мир, погрязший, как

ему казалось, в злокозненных заговорах. Оставаясь в душе истинным виргинцем, хотя с 1815 по 1833 год он проживал в Миссури, Такер вернулся домой примерно в то время, когда умер его сводный брат Джон Рэндолф, и стал преподавать юриспруденцию в колледже Уильяма и Мэри.

Начиная с 1820 года Такер верил, что в случае необходимости Юг воспользуется правом выхода из союза. Когда в 1836 году его друг Томас Дью, столь же решительно настроенный, как и он сам, занял пост ректора колледжа, Такер выпустил роман «Вождь партизан», где нашли отражение его мечты о свободном Юге, не обремененном северными тарифами. Действие книги отнесено на двадцать лет вперед и посвящено войне за отделение Юга, которая успешно завершается в 1850 году. Стиль повествования напоминает о романах Вальтера Скотта, что же касается военных прогнозов, то они не сбылись. Однако его пророчество относительно общего хода событий оказалось трагически точным. В 1844—1845 годах «Сазерн литерэри мессенджер» печатал по частям роман Такера «Гертруда»; его ранний роман «Джордж Балкомб» (1836), основанный на миссурийских воспоминаниях, побудил Эдгара По сказать: «Немного найдется книг... превосходящих это произведение».

3

В конце тридцатых и в сороковые годы По жил в основном на Севере, оставаясь тем не менее ведущей фигурой южной литературы. Считая себя южанином, он поддерживал связь с большинством писателей, проживавших южнее реки Потомак. Кеннеди, Такер, Симмс, Чиверс и многие другие обязаны ему благосклонными отзывами.

Особенно были близки По произведения поэта Томаса Холли Чиверса. Сын богатого плантатора из Джорджии, впоследствии доктор медицины, он успел жениться и развестись, когда ему еще не исполнилось двадцати. В то же время Чиверс слыл мистическим поэтом, общающимся с бесчисленным количеством ангелов. Подобно По, в конце тридцатых годов он жил главным образом на Севере, где женился на девушке из Массачусетса. В 1837 году Чиверс выпустил сборник стихов «Накучи», в обширном предисловии к которому определял поэзию как «кристально чистую реку души... изливающуюся в океан Бога». Два года спустя он создал свою вторую драматургическую интерпретацию знаменитого убийства 1825 года в Кентукки, которую По использовал в драме «Полициано», а Симмс — в двух романах.

Знакомство Чиверса с По началось в 1840 году с переписки и литературной дискуссии, в ходе которой По заявил, что Чиверс «одновременно один из лучших и один из худших поэтов Америки». Тот в свою очередь возражал, будто подобные суждения

подтверждают распространяемые слухи о его душевной болезни.

В 1842 году умерла старшая дочь Чиверса. Свою скорбь он излил в элегиях, близких по мировосприятию и художественному своеобразию поэтической стихии Эдгара По, что свидетельствовало о родстве их эстетических вкусов. Эти элегии были опубликованы в 1845 году в сборнике «Потерянная Плеяда и другие стихотворения». В том же году По и Чиверс впервые встретились в Нью-Йорке. Они быстро сдружились, и По явно льстил Чиверсу, не отказываясь от его денежной помощи. Чиверс со своей стороны постоянно поддерживал По советами и много раз, хотя и безуспешно, приглашал навсегда поселиться у него в Джорджии.

Когда По умер, Чиверс опубликовал в 1850 году «Рубиновый Йонх», в который входит знаменитая «Исадор», написанная, очевидно, в 1841 году и напоминающая (или предвосхитившая в свое время) «Ворона»:

Как-то раз, во тьме глубокой,
Я, грустя по Исадор,
Бдел на страже одиноко
И слезу катил из ока,
Тут спросили: «Что за вздор?» —
«Нет, не вздор! Слезу из ока
Я качу по Исадор!»

На немедленно последовавшее обвинение, что он бессовестным образом обокрал покойного поэта, выпустив под своим именем том его стихов, Чиверс отвечал, что это умерший По в свое время бессовестно обокрал его, Чиверса. И хотя прошло уже почти сто лет, критики продолжают спорить, кто из них прав. В 1853 году Чиверс опубликовал три книги стихов, в одной из которых, «Виргиналия, или Песни летних ночей», поэтическое искусство и звукопись, ярко подчеркивающая смысл, доведены до такого совершенства, что это привело бы По в восторг. Стихи Чиверса, значительно уступающие не только поэзии По, но даже Пинкни, отличаются совершенным чувством ритма, которое так характерно для всей южной поэзии.

Другой поэт, с которым близко сошелся По, был Филип Пендлтон Кук, писавший стихи для «Никербокер мэгэзин» и статьи о ранней английской поэзии в «Сазерн литерэри мессенджер». Стихотворение «Флоренс Вейн» («Вы, что были красивы, а ныне мертвы...»), опубликованное По в 1840 году в его филадельфийском журнале «Бертонс джентлменз мэгэзин», прославило Кука по всей Америке. Многочисленные прозаические произведения писателя сыграли решающую роль в том, что его младший брат Джон Истен Кук тоже обнаружил в себе литературное призвание. Уже в восемнадцать лет он с увлечением писал стихи и

прозу в журналы, а в двадцать четыре года (1854) опубликовал две книги — первые из тридцати одной, которые он успел закончить перед смертью, до 1886 года. Наиболее замечательные романы Джона Кука — «Виргинские комедианты» (1854) об Уильямсбурге в 1765 году и «Сарри из Орлиного гнезда» (1866), посвященный только что закончившейся войне.

Юг братьев Кук был полон для них захватывающего очарования — природа, охота и другие развлечения манили из тиши кабинета. И все же старший из братьев любил «страстные порывы» творчества, музыку, «нисходящую бог знает откуда», восторг «увлеченности работой» и наитие, «закругляющее строфу». Он любил сочинять рассказы в стихах, которые читал своим друзьям-охотникам на привале.

Один-то из этих друзей и сказал Куку после успеха его «Флоренс Вейн»: «Я не стал бы терять времени на такие пустяки, как поэзия. С вашими знаниями и умом вы можете принести пользу в разрешении местных неурядиц». Однако Кук продолжал заниматься и тем и другим, находя равное удовольствие и в охоте, и в тех благосклонных отзывах, которые приходили от По. Охотничьи друзья были «хорошими, добрыми ребятами, прекрасными собутыльниками... гораздыми на развлечения... лишенными литературного вкуса, но обладающими остроумием... людьми, которых он любил и был любим ими».

Далеко не все писатели, о которых с похвалой отзывался По, ценили и понимали друг друга. Здравомыслящий Симмс, например, игнорировал мистического Чиверса, упрекал его в рабском следовании По, призывая стать «мужественным, прямым, простым и естественным». Чиверс же упорно отрицал, что подражает По, и провозгласил себя единственным американским писателем, освободившимся от пут заокеанского влияния и достигшим полной самобытности. Сам По, говорил он, признавал за ним эту самобытность. И хотя упреки Симмса не лишены оснований, Чиверс принадлежит к тем американским писателям, которые пользовались известностью за пределами Америки.

В сороковые годы По превозносил Симмса по любому поводу. И действительно, одной его кипучей деятельностью было за глаза достаточно, чтобы не только покорить Эдгара По, но и прославить самого Симмса. Во время своих бесконечных скитаний между Вудлендсом и Чарльстоном, Чарльстоном и Нью-Йорком, помимо целого потока романов, стихов, драм, статей, лекций и исторических очерков, он выпустил издание исторических пьес Шекспира и написал биографии Френсиса Мэриона, капитана Джона Смита, рыцаря Баярда * и генерала Натаниела Грина.

В 1845 году Симмс издавал ежемесячный журнал, заглавие которого «Обозрение Юга и Запада» красноречиво свидетельствовало о том, что он считал себя политическим стратегом Юга. В журнале печатались главным образом его собственные

сочинения, иногда под псевдонимом «Адриан Бофен»; случалось ему заполучать статьи и других южных писателей, один из которых присылал их из такой глуши, как Арканзас.

В 1849 году он стал редактором «Сазерн квотерли ревью» и храбро вел этот журнал до 1856 года, не получая почти никаких материальных выгод. Важнейшим результатом этого предприятия явилось укрепление контактов с поэтом Джоном Рубином Томпсоном, издававшим в 1847—1860 годах «Сазерн литерэри мессенджер», еще в 1845 году поглотивший симмсовский «Сазерн энд Уэстерн мансли мэгэзин энд ревью». Томпсон был известен как друг По и автор воспоминаний о нем, однако Симмса привлекало не столько это, сколько его, как казалось Симмсу, доходящая до агрессивности приверженность делу Юга. В результате издания Симмсом «Сазерн ревью» возникла дружба с достопочтенным Беверли Такером, который в свою очередь ревниво относился к тому, что он считал святым долгом Симмса — быть беззаветно преданным Югу. И Симмс делал все от него зависящее. Он поддерживал так и неосуществившийся замысел Такера написать биографию своего родича Джона Рэндолфа и опубликовал уничтожающий отзыв Такера на биографию Рэндолфа, написанную Х. А. Гарлендом. А когда Такер умер в 1851 году, Симмс тщетно пытался написать его биографию. Однако к тому времени благородные идеалы Старого Юга были поколеблены нависшей угрозой большого общественного конфликта.

4

Молодое поколение южных писателей, выступившее на сцену в канун Гражданской войны, разрывалось между старыми традициями и противоречиями современности. Самый молодой из них, Сидни Ланьер, родившийся в 1842 году, дожил до эпохи Реконструкции, но даже в его самых поздних стихах слышится отзвук елизаветинских и байронических мотивов, столь популярных в недавнем прошлом. Для тех, кто не мог предсказывать будущее, Чарльстон 1856 года олицетворял расцвет культуры. В том году несколько уважающих друг друга и действительно весьма достойных джентльменов создали свой клуб. Члены его, люди, уже зарекомендовавшие себя на том или ином поприще, выступали поклонниками и покровителями науки и литературы. Нестор этого клуба Симмс, как и три других члена — Генри Тимрод, Пол Хэмилтон Хейн и Бэзил Гилдерслив, старшему из которых было двадцать семь, — составляли группу писателей

В 1857 году этот клуб основал журнал «Расселс мэгэзин», выходявший три года. Здесь печатались произведения Симмса, Тимрода и Хейна. Самые значительные статьи на политические темы писал Уильям Джон Грейсон. В пору расцвета журнала чарльстонскому юристу и плантатору Грейсону, бывшему кон-

грессмену, исполнилось семьдесят лет. В 1854 году он опубликовал поэму «Наемник и раб», написанную попарно рифмованным пятистопным ямбом, в которой доказывал, что наемное рабство Севера гораздо хуже системы рабского труда на Юге потому, что черных рабов можно хотя бы вернуть в Африку.

Наиболее значительными поэтами Юга перед Гражданской войной, если не говорить об Эдгаре По, считались Генри Тимрод и Пол Хэмилтон Хейн. Дед Тимрода был немецким иммигрантом, а отец — книготорговцем и поэтом. Генри рос в Чарльстоне в тяжелых условиях, недолгое время учился в колледже, ставшем впоследствии университетом штата Джорджия, а затем зарабатывал на жизнь уроками. Наиболее известные южные журналы помещали его стихи, напоминавшие поэзию Вордсворта и Теннисона. В «Расселс мэгэзин» Тимрод печатал литературно-критические статьи о поэзии, в которых утверждал (да покоится прах Эдгара По с миром!), что стихам не обязательно быть краткими, что сила поэзии в ее правдивости и красоте. О пейзажной лирике Тимрода в Бостоне слышали с 1860 года, но признание пришло к поэту лишь в годы войны.

Хейн, на год моложе Тимрода, был щедрее, чем его друг, одарен всем, кроме поэтического гения. Еще больше, чем Тимрод, испытал он влияние великих английских современников и предшественников в поэзии. Хейн редактировал «Расселс мэгэзин», кроме того, его стихи печатались в «Сазерн литерэри мессенджер» и составили три отдельных тома, изданных в Бостоне в 1855, 1857 и 1860 годах.

Когда над страной нависла угроза Гражданской войны, из видных писателей Юга, выступавших в литературе с тридцатых годов, в живых оставались немногие. Не входивший в чарльстонскую группу Джордж Такер пятнадцатый год проживал в Филадельфии и умер в 1861 году. Кеннеди и Лонгстрит, дожившие до 1870 года, к тому времени состарились и были всецело поглощены делами.

Оказавшись негодными к долговременной военной службе, Тимрод и Хейн излили весь свой пыл в патриотических стихах во славу Конфедерации. Тимрод то ликовал, то отчаивался — в 1864 году он отпраздновал свою свадьбу и впал в уныние из-за того, что стихи, посланные им в Англию, так и не были напечатаны; радовался назначению редактором газеты в городе Колумбия, но был окончательно сломлен в 1867 году поражением Юга, а также собственной нищетой и одолевшими болезнями. Лучшие стихи Тимрода отличаются благородством замысла и художественного исполнения. Поэзия Хейна также возвышенна в своих устремлениях, но в жизни он не был человеком экзальтированным. В предисловии к «Собранию стихотворений Генри Тимрода» (1873) этот честолюбец, неутомимый труженник и экспериментатор спокойно признает художественное превосходство

Тимрода. В то же время воинственный дух Конфедерации нигде не увековечен столь ярко, как в звонких строках тимродовской «Каролины»:

Тиран попрал тебя ногой,
В твой лес отряд отправил свой,
Твой сын не шевельнул рукой,
О, Каролина!..
Былая слава — позади,
Лишь униженье — впереди,
Порывом ветра нас веди
В бой, Каролина!

В тяжелое послевоенное время, в 1866—1867 годах Хейн подружился с Тимродом, чему содействовал Симмс. Сразу же после войны Симмс возобновил свои знакомства на Севере и способствовал тому, чтобы влиятельные северяне помогли Тимроду и Хейну. Однако Тимрод так и не смог встретиться со своим благодетелем, поскольку не имел средств для поездки в Нью-Йорк.

Хейн владел небольшим участком земли в сосновом лесу на том берегу реки Саванна, который относится к штату Джорджия. Сюда он подался в конце войны вместе с матерью, женой и сыном. Там он дал клятву жить жизнью поэта, «единственного поэта Джорджии последней трети XIX столетия», и уже сама смелость этой клятвы, даже если бы он не сдержал ее, делала его лицом достопримечательным. Незадолго до своей смерти Тимрод дважды посетил Хейна. Симмс также бывал у него, а когда летом 1870 года Симмс умер, Хейн не мог тому поверить: он полагал, что Симмс бессмертен.

Несмотря на частые поездки Симмса в Нью-Йорк и связи Хейна с послевоенным Севером, оба питали безграничную неприязнь к своему покойному врагу — Кеннеди из Балтиморы. Они не могли простить ему той роли, которую он сыграл в столкновении Юга и Севера.

С годами Кеннеди перешел на позиции противников Юга, и его «Письма мистера Пола Эмброуза по поводу Великого восстания в Соединенных Штатах» лишь подтвердили то, что уже давно стало очевидным. В то время как к югу от линии фронта люди прозябали в нищете, Кеннеди важно разгуливал по Мэриленду, заведовал фондом Пибоди, деньги из которого щедро тратились на нужды Балтиморы, или совершал продолжительные турне по Европе, утверждая вместе со своим другом и биографом Такерманом, что война счастливо покончила в Америке с жаждой к обогащению, размышлял о благословенной аристократии мысли и чувства или же, что самое возмутительное, ездил по Югу, выдвигая самые безответственные и грязные обвинения в адрес рабов, освобожденных Гражданской войной. Все это

говорил тот самый Кеннеди, который еще совсем недавно вместе со своим гостем Ирвингом насмеялся над рассказами о жестоким обращении с неграми. Однако с точки зрения Старого Юга было нечто зловещее в том, что Симмс и Хейн, столь преданные делу проигравшей Конфедерации, со всей серьезностью вынашивали мысль о переселении на Север. Многие литераторы-южане уже покинули Юг, и это только пошло им на пользу. Так, Джон Рубин Томпсон из ричмондского «Мессенджера» перебрался в Нью-Йорк, где стал литературным редактором «Ивнинг пост». Но еще хуже было то, что не прошло и двадцати пяти лет после войны, как бесчисленные паладины Юга уже взирали на ее события не глазами Симмса, а глазами Кеннеди. Новый подъем националистических чувств, последовавший за войной с Испанией, в значительной мере ускорил этот процесс. В 1909 году некий влиятельный педагог в Теннесси утверждал, что литература Старого Юга хуже всего, что можно себе представить. А сколько иронии судьбы заключено хотя бы в том, что некая леди, возглавлявшая одно из патриотических обществ времен Конфедерации, теперь нашла нужным извиняться за Томаса Джефферсона, отдававшего предпочтение просторам Виргинии перед тротуарами Парижа.

Со временем все большее число видных южан и вообще американцев склонялось к подобному мнению; порой казалось, что завоевание авторитета на Севере было условием завоевания его дома, на Юге. Однако продолжали жить преданные старым символам веры смелые и сильные люди, не понятые даже ближайшими друзьями и добрыми соседями, считавшими их чудачками-доктринерами.

23. ЭДГАР АЛЛЕН ПО

1

Никому из выдающихся американских писателей XIX века не выпадали на долю столь разноречивые суждения критики, как Эдгару Аллену По. Спорили даже о том, можно ли называть его крупнейшим представителем литературы Юга — ведь оказалось, что он сыграл большую роль в литературном и культурном развитии не только южных, но и среднеамериканских штатов. Без малого сто лет прошло со дня его смерти, а критические оценки его жизни и творчества и сегодня ничуть не менее разноречивы, чем в те дни, когда Теннисон считал его самым своеобразным американским талантом, а Эмерсон — «пустозвоном». Для Франции он всегда был великим поэтом, а вот Генри Джеймс утверждал, что любовь к По — «свидетельство совершенно примитивного уровня мысли». То же и в наши дни. Для Йейтса По — «великий лирик, принадлежащий всем временам, всем народам», Валери убежден, что По обогатил литературу неповторимыми открытиями, и не только в стихах, но точно так же и в прозе. Однако среди крупнейших современных американских поэтов не нашлось такого, кто на живом примере показал бы значение По для нашего времени, а многие из них повторяли, говоря о По, те обвинения, которые шли от Эмерсона и Джеймса.

Даже биография По вызывала столь же горячие споры еще с тех времен, когда Бодлер набросал портрет юного аристократа, «Байрона, по ошибке родившегося в скверном обществе», а почтенный Руфус Грисуолд* возвестил, что жизнь По — пример сатанинской гордыни и должна стать грозным предупреждением потомкам. Не одному исследователю пришлось потрудиться, прежде чем фальсификатора вывели на чистую воду. Грисуолд искажал факты уже в своих отравленных ненавистью записках, которые сочинил после смерти По; он не постеснялся вставить в эти мемуары страничку из «Кэкстонов», где Булвер описал своего озлобленного эгоиста и негодяя* и выдал этот пассаж за собственные воспоминания о По. Литературный душеприказчик, он вскоре пошел гораздо дальше, обрабатывая полученные им от По письма таким образом, чтобы выставить поэта в самом неблагоприятном виде. Но надо сказать, что от

романтической легенды, которую создал Бодлер, а во многом подготовил — и как нельзя лучше — сам По, восстановленный по фактам образ поэта отличается едва ли не столь же разительно, как и от нарисованного его душеприказчиком чудовища, «не выказавшего почти что ни единой добродетели ни в жизни своей, ни в писаниях».

Оба этих далеких от истины портрета оказались возможными из-за психологической неуравновешенности По, которую они дают особенно остро почувствовать и которая оставила такой глубокий отпечаток на жизни писателя. Он прожил всего сорок лет, но к концу жизни хотел казаться моложе, чем был, и обычно на вопрос, в каком году родился, отвечал: в 1811, в 1813, точно не хотел и вспоминать о той зиме 1809 года, когда он, сын странствующих актеров, впервые увидел луч света, а было это в Бостоне, столице «квакообразных»*, чьи претензии на ведущее положение в американской литературе потом будут вызывать у По жгучее презрение и насмешки. Стремясь попрочнее зацепиться корнями за устойчивую почву Юга, он любил повторять, что его балтиморский дед был генералом. При этом он предпочитал не останавливаться на том, что Дэвид По сначала был обычным иммигрантом-ирландцем, колесным мастером, и что звание генерала получил главным образом не за боевые заслуги, а за то, что, став ко времени войны коммерсантом, помогал революционной армии. Естественно, По не упоминал и о том, что унаследовал от отца чрезвычайное пристрастие к спиртному, умолчал он и о другом: через два года после рождения Эдгара, когда его талантливая, но болезненная мать-англичанка умирала в нищете в Ричмонде, отец уже успел покинуть семью. Рассказывая о Джоне Аллене, негоцианте, экспортировавшем табак, принявшем Эдгара в свою семью, хотя формально его и не усыновившем, По представляет дело так, что Аллен стоял ближе к аристократам и владельцам плантаций, нежели к торговому сословию; в действительности же было наоборот.

Из своего детства По любил вспоминать те годы — от шести до одиннадцати, — что он провел с Алленами в Англии, вспоминал, как по возвращении в Ричмонд, где готовился к поступлению в колледж, он, хотя и обладал хрупким сложением, прославился в драках и проплыл шесть миль по Джеймс-ривер. По словно бы тогда уже готовил почву для будущих сравнений с Байроном. Когда впоследствии речь заходила о том времени, которое По провел в университете, учрежденном в результате джефферсоновской реформы*, он говорил, что проучился три года и с отличием закончил курс. В действительности же, хотя По и показал себя с лучшей стороны на занятиях латынью и французским — предметами, которые он изучал тщательно, — не прошло и года, как Аллену пришлось забрать из университета своего питомца, наделавшего карточных долгов. По утверждал, что играть его вынуждал сам Аллен, посылавший слишком мало

денег, но еще ранее отношения между По и Алленом так обострились, что опекун — не будем вдаваться, насколько справедливо, — воскликнул однажды: «У мальчишки нет к нам ни капли привязанности, ни капли благодарности за все, что я для него сделал!» В отношениях с Алленом По наглядно продемонстрировал всю свою неуравновешенность; он вел себя, как капризный ребенок, и то держался с человеком, заменившим ему отца, высокомерно, то каялся и сокрушался о самом себе. Вернувшись из Шарлоттсвилла, он принял окончательное решение порвать с Алленом; ему было восемнадцать, когда он ушел из дому — да и был ли это ему родной дом? — и начал самостоятельно прокладывать путь в жизни. Впоследствии как раз этот период своей биографии По скрывал всего тщательнее, стараясь заменить истину красивой легендой. Он рассказывал, как собирался поехать в Грецию и драться за свободу, но этому помешали какие-то совершенно непонятные обстоятельства, возникшие на его пути в Петербург *. На самом деле По так и не уехал дальше Бостона; там ему удалось напечатать первую свою книжку — тонкий сборник стихов *; средств к жизни у него не было, и По пришлось записаться в армию. Два года военной службы По, хотя и стал капралом, неизменно отлынивал от обязанностей, а все для того, чтобы начальство, которому он успел надоесть, послало его (пусть ненадолго) кадетом в Уэст-Пойнт *. В это время он переживал краткое перемирие с Алленом, только что похоронившим жену и растроганным соболезнованиями, которые выразил ему Эдгар. Но едва Аллен женился вторично, По твердо решил, что необходимо покинуть Уэст-Пойнт: теперь он не мог рассчитывать на наследство, а для бедняка военная карьера невозможна.

Если бы По и вправду был юным аристократом, каким любил себя воображать, исключение из Уэст-Пойнта было бы последней драмой молодости, не знающей удержу в своих порывах. Даже лишившись наследства, он, несомненно, нашел бы поддержку у кого-нибудь из своих богатых друзей. Он твердил Аллену, что обладает талантом, и не скрывал, что стремится к славе. Он казался самому себе героем, завоевателем новых земель: «Ричмонд и Америка для меня слишком тесная сцена, пусть ею станет весь мир». Но отрезвляющая истина заключалась в том, что с двадцати двух лет По предстояло вести жизнь, полную отчаянной нужды и ни на минуту не прекращавшейся борьбы, а к этому его слишком ранимая и чувствительная душа была мало приспособлена.

2

Первые его стихотворения еще соответствовали легенде о юном романтике, о том, как он должен относиться к жизни. Поэма, давшая название сборнику «Тамерлан и другие стихотво-

рения» (1827), рассказывала о безумстве, побуждающем отречься от любви во имя честолюбия, и воспринималась лишь как перепев байронических настроений. Вскоре По скажет, что он «поэт и это уже непоправимо», но из десяти небольших лирических стихотворений, следовавших за «Тамерланом» в первом сборнике, лишь очень немногие свидетельствовали хоть о каком-то таланте. Правда, иногда тут можно обнаружить мотивы, в полную силу прозвучавшие у него позднее, например, когда он страстно заклинает: «О, если б молодость была как долгий сон!» или в столь для него характерном финале стихотворения, описывающего «мой день счастливейший, счастливейший мой час». Ибо, хотя этот час и осенил поэта своими воздушными крыльями, «уж что-то темное на них ложится».

Второй его поэтический опыт, книга «Аль Аараф, Тамерлан и мелкие стихотворения» (1829) вышла в Балтиморе в тот промежуток времени, когда По уже ушел из армии, но еще не поступил в Уэст-Пойнт. Полный надежд, он просил поддержки у Аллена, всячески доказывая, что издание обойдется дешево, но тот ответил, что «строго осуждает его поведение и отказывает в какой бы то ни было помощи». По пытался убедить его, что «давно отказался от Байрона как образца для подражания», но если это и соответствовало истине, то Байрона заменил Мур и его «Лалла Рук» *. У магометан Аль Аараф — царство, простирающееся между небом и адом; поэма, которой По дал такое заглавие, насчитывает более четырехсот строк, это самое крупное его поэтическое произведение. Его можно назвать и самым маловразумительным из всех созданных им гимнов неземной красоте; а поскольку у поэтов взгляды на поэзию неизбежно связаны с их собственным творчеством, не приходится удивляться, что По в дальнейшем считал удачную большую поэму вообще делом невозможным. Во второй книге было с полдюжину новых лирических стихотворений, два из них отмечены уже чертами зрелого мастерства — «Сонет к науке», который, подобно китсовской поэме «Ламия» *, навеян мыслями о том, как наука опустошает, обкрадывает жизнь, и «Романс», казавшийся самому По «лучшей вещью» в сборнике. Здесь По впервые провозглашает, что душа его стала преступна, отдавшись наслаждению музыкой, но «трепета тех струн не разделив».

«Стихотворения», появившиеся в 1831 году и посвященные «американскому корпусу кадетов», из которого только что был изгнан автор, знаменуют большой шаг вперед. Большинство ранее написанных стихов подверглись переработке — По будет до конца дней тщательнейшим образом переделывать прежние свои вещи, как правило, с немалой для них пользой. Но направление, которое станет теперь для него основным, и причины, побудившие По его избрать, открываются нам не в этих переделках, а в предисловии к книге; это первое выступление По на критическом поприще. Вероятно, с Вордсвортом он расправляет-

ся слишком легкомысленно, но это понятно: воображением По безраздельно овладел Кольридж. «Литературные биографии» влекут его больше, чем «Напутствия к размышлению»*, из которых потом так много черпали трансценденталисты. А сам По, объявив войну мыслителям из Новой Англии, впоследствии скажет, что Кольридж «напутствовал размышления к куда более значительной цели в своей «Женевьеве»*. Самый факт, что столь разные писатели, как Эмерсон и По, в равной мере были обязаны одному и тому же поэту, чьи идеи послужили непосредственным источником для их теорий языка и поэтического выражения, остается свидетельством живого и исключительного значения Кольриджа. Без Кольриджа романтическое движение в Америке не приняло бы той формы, в какой оно нам предстает.

Насколько был обязан Кольриджу По, можно судить, прочитав в конце его предисловия определение поэзии. «На мой взгляд, стихотворение противостоит научному произведению в том смысле, что его *непосредственной* задачей является доставить наслаждение, а не открыть истину», — пишет По, и мысль эту он будет отстаивать и дальше, а ведь он здесь почти слово в слово повторяет Кольриджа. В своем определении поэзии он под конец особо упомянет о «музыкальности» и «отсутствии строгой определенности» — и то и другое подсказано чтением «Биографий», хотя По придает этим компонентам поэтического искусства значение еще более существенное, чем Кольридж.

Для третьей своей книги По написал только шесть новых стихотворений, но зато четыре из них принадлежат к числу наиболее известных. Потом он пояснял, что стихотворение «К Елене» он создал в память своей первой любви, миссис Стэнард, умершей, когда ему было пятнадцать лет. Оно, вероятно, включалось в антологии чаще любого другого. Античные мотивы прозвучали здесь так, что Бодлер не нашел для него более лестной характеристики, чем «полупародия». «Айрин», которую По затем назвал «К спящей» и в которой видел «воплощение всего лучшего в поэзии», ценя ее «выше, чем «Ворона», с первых строк заставляет вспомнить волшебную музыку «Кристалели»* и своей неправильной четырехстопной строфой, и точно сотканным из лунных лучей образом странной женщины, что явилась неведомо откуда. «Морской город» посвящен обычной для романтиков теме города мертвых, которой касался в своей «Тьме» Байрон; но лишь одному По присуще было умение создавать детальнейшую картину, внушающую ужас. Это изменяет звучание темы, и вместе с поэтом мы оказываемся в тех сферах, где чувствуем на себе «застывший взгляд громадных глаз» Смерти; образ ее исполнен такой силы, что у Байрона мы ничего подобного не найдем. Прочитав «Израфель», эти несвязные стансы, превратившиеся в символ всей жизни По, мы понимаем, почему он с такой силой изображал ужас — ее давало пережитое им самим страдание.

«Стихотворения» свидетельствовали о том, что как поэт он достиг зрелости; однако следующий сборник По вышел только через четырнадцать лет. Книга почти не привлекла внимания критиков, а ему надо было на что-то жить. Последовавшие за третьей книгой стихов несколько лет остаются в биографии По темным пятном; видимо, он жил тогда главным образом в Балтиморе, у своей тетки миссис Клемм. Осенью 1831 года, смертельно боясь оказаться в долгой тюрьме, По обратился с письмом к Аллену, а последнее его письмо к бывшему покровителю отправлено весной 1833 года, и в нем По пишет: «Без всяких преувеличений я погибаю без поддержки». Но Аллен остался непреклонен; По для него был «низкий, жалкий человек», и он так и не примирился с ним вплоть до самой своей смерти год спустя. Тем временем По, решивший жить литературным трудом, чего бы ему это ни стоило, забросил стихи и обратился к прозе.

3

Он принял участие в конкурсе на лучший рассказ, проводившемся газетой «Сатердей куир» в Филадельфии; приз — сто долларов — получила Делия Бэкон за «Мученика любви», но газета взяла у По пять рассказов, напечатанных на протяжении 1832 года. Первый же из них, «Метценгерштейн», обладает особенностью, присущей всей прозе По, — здесь не просто рассказывается история, но и развивается определенная идея. По в этом рассказе обратился к теории переселения душ и придумал соответствующий сюжет: юный барон гибнет из-за того, что понесла лошадь, в которую переселилась душа мертвого, но не отказавшегося от мести врага семьи барона. Источник такого сюжета указал сам По, перепечатав рассказ с подзаголовком «В подражание немцам». Четыре других рассказа должны быть отнесены к «гротескам»*; их подоплеку, понятную современникам По, сейчас уже нелегко установить. Это «Герцог де л'Омлет» и «Бон-Бон» — в обоих рассказах в комическом духе описана сделка с дьяволом; «На стенах иерусалимских», где к конфузу фарисеев жертвенный агнец оказывается свиньей, и «Без дыхания» — прибегая к приему буквального толкования метафоры По изображает в этом рассказе цепь несчастий и, наконец, погрешение заживо незадачливого мистера Духвона. К своему юмору По относился с совершенной серьезностью — опасная склонность, и, похоже, она никогда не вызывала особого восторга у других. Если же взглянуть на рассказы По, не забывая о непосредственном литературном его окружении, мы убедимся, что он использовал некоторые широко распространенные приемы американской юмористики: безудержные преувеличения и смешение всех понятий в рассказах-небылицах*, буквальное истолкование смысла слов, доведенное до грани абсурда, в высшей

степени серьезную и «отстраненную» манеру повествования рассказчика-юмориста. Но выделяло По, не чуждого всех этих приемов, то, что они у него лишены спасительного тепла, даруемого радостным смехом.

У него, надо сказать, было вполне отчетливое представление о том, что он хочет выразить. Он писал не просто юмористические истории, а бурлескные рассказы разных видов; мы можем заключить это, познакомившись с набросанным им проектом «Рассказов Фолио Клуба», куда он хотел включить и точно расположить все свои ранние вещи. Имена некоторых членов Фолио Клуба, которые должны были вести повествование, подсказывают тональность этого рассказа: ведь среди них такие достойные джентльмены, как мистер Блэквуд Блэквуд, мистер Оррибиле Дикту «с дипломом Геттингенского университета», мистер Соломон Гольфштрем, «которого было ни за что не отличить от рыбы». Более того, некоторые из мишеней, в которые нацелены были его стрелы, По указал сам. Рассказу «Без дыхания» он дал подзаголовок «Рассказ не для журнала «Блэквуд» и отнюдь не из него» и разъяснял, что подверг здесь сатирическому изображению «крайности разгулявшейся фантазии», столь обычные в ледящей кровь журнальной беллетристике. О некоторых своих рассказах По говорил, что они «наполовину подшучивание, наполовину сатира», а в «Знаменитости», написанной чуть позже, он высмеял вошедших в моду светских львов вроде Н. П. Уиллиса, и вместе с тем создал бурлескную пародию на Булвера и его «Слишком для всего хорош».

В 1835 году редактор «Сазерн литерэри мессенджер» Томас Уайт написал По и выразил свое возмущение «Береникой» — рассказом, где пристрастие автора к изображению ужасного дошло до того, что он заставил своего одержимого героя вырывать зубы у трупа. По в ответном письме четко изложил цели, к которым стремился в ранней своей прозе. Он согласился с тем, что рассказ его, «конечно же, слишком полон ужаса», но говорить о плохом вкусе считал «в данном случае неуместным», ибо «для того, чтобы вас заметили, нужно, чтобы вас читали». Он пристально следил за текущей английской литературой и знал, что сенсацию вызывают лишь такие вещи, как «Рукопись, найденная в доме умалишенных», «Человек, забравшийся в колокол» и «Признание курильщика опиума». И ему была ясна основная особенность этих пользовавшихся успехом вещей. «Вы спросите, в чем же эта особенность? В том, что забавное в них возвышается до гротескного; пугающее делается ужасным; ироническое превращается в бурлескное; причудливое становится странным и необъяснимым».

Если из первых пяти рассказов По четыре строились на использовании не слишком надежных приемов, рождаемых трансформацией забавного в гротеск, а иронии — в бурлеск, то «Рукопись, найденная в бутылке», которая была написана на

следующий год и получила приз пятьдесят долларов на конкурсе «Балтимор сатердей визитор», явилась предприятием в совсем ином роде. Быть может, По и вверил бы здесь повествование мистеру Соломону Гольфштрему, но воображение автора все равно было бы неудержимо, поскольку речь шла и о пугающем, и о странном. С первых же строк звучит специфическая для По тональность: «О моей родине и моем семействе мне почти нечего сказать. Давность лет и пренебрежение отдалили меня от родных краев и сделали чужим в кругу близких». И вплоть до самого конца рассказа героя не оставляет «предощущение зла», ужас и изумление перед происходящим порождают «чувство, для которого у меня нет определения», а беспомощный корабль, где происходит действие, стремительно несет к гибели в «неизмеримых океанских пучинах».

В 1835 году По как-то упомянул, что у него уже есть шестнадцать «рассказов Фолио Клуба» и он надеется — как оказалось, тщетно — издать их книгой. Он гордился тем, что вещи не походили одна на другую, и среди найденных им новых типов рассказа можно отметить «Мореллу», где он впервые описывает смерть и внушающее ужас новое рождение любимой, а также «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля», первую из его мистификаций*; проявляя несомненную изобретательность, По стремился в этом рассказе как можно более правдоподобно описать полет к Луне на воздушном шаре. «Свидание» дает образец приобретенного По умения преобразовать байронического героя в самого себя. Действие начинается на Мосту Вздохов*, но в лице грациозного героя с его «неповторимыми, дикими глазами, то сверкающими, то затуманенными», с его «необычайно крупным лбом», над которым развеваются блестящие черные кудри, перед нами — пусть не без доли идеализации — предстает сам автор. Впервые По вводит в рассказ одно из своих лирических стихотворений — «Той, что в раю», стихи с запоминающимся ритмом. В предсмертной своей речи герой говорит, что его «дух извивается в пламени, как украшенные арабесками курильницы»; и в дальнейшем под арабесками По будет разуметь необходимое дополнение гротескам, как было необходимым дополнением фантазии его воображение.

4

Через Джона Пендлтона Кеннеди, входившего в жюри конкурса, на котором По выиграл приз, он завязал связи с «Сазерн литерэри мессенджер» и в конце 1835 года отправился в Ричмонд, чтобы стать сотрудником Уайта по журналу. Он пишет оттуда миссис Клемм, и это письмо полно несдержанности, которой По делался подвержен все больше и больше. До него дошли слухи, что тетка и ее дочь Виргиния покидают его, и По в неистовстве заявляет, что не намерен долее жить. Это не-

давно обнаруженное письмо говорит о том, что на своей кухне По женился не в силу распространенного тогда обычая; мы находим здесь страстные заклинания, к ней обращенные. Вскоре миссис Клемм приехала в Ричмонд и приготовила им скромный домик, а весной По и Виргиния обвенчались. Ему было двадцать семь, ей еще не исполнилось четырнадцати.

Легенда о По, созданная теми, кто не одобрял его поведения, утверждает среди прочего, что он был одним из первых в Америке людей богемы. Нельзя себе представить что-нибудь более далекое от истины. Он пил не ради веселья и не из стремления шокировать буржуа, просто он был не властен над собой. Неуравновешенность глубоко укоренилась в нем. Десятилетие спустя По заметит, что «срывы, о которых теперь приходится так глубоко сожалеть, были *последствием* ужасающего зла, но не причиной его». Хотя позднее представители богемы любили говорить, что По писал лучше всего, будучи нетрезв, такие суждения ничем не подтверждаются. Отныне в его жизни периоды напряженного труда постоянно сменялись полосами нервной подавленности, искавшей разрядки в вине.

Взять хотя бы тот год с небольшим, что он прослужил в «Мессенджере». Он писал одну рецензию за другой, до бесконечности, в среднем по девять-десять рецензий в месяц, и все объемом в эссе. Он взвалил на себя все хлопоты, связанные с подготовкой и печатанием номеров, а платили ему за это около восьмисот долларов в год. Работа По отличалась таким высоким качеством, что и «Мессенджер», и он сам впервые привлекли к себе широкое внимание. Хотя очень распространено мнение, что По жил «вне времени, вне пространства», при жизни он вплоть до появления «Ворона» был известен почти исключительно как критик, пишущий для журналов. О науке он писал не меньше, чем о литературе, в его рецензиях речь шла о книгах по навигации, классической истории, френологии, но, конечно, и о художественных новинках. Он снискал себе имя умением основательно пропесочить претенциозную посредственность, о нем говорили как о человеке, который может как следует «отхлестать и задать перцу» — в традициях критиков британских квартальных обозрений. Между прочим, бросив взгляд на сделанное им за первый год в журнале, По сам отметил, что у него заметно преобладали хвалебные отзывы; если же мы перечитаем его рецензии сегодня, то, наверное, сочтем, что По грешил против истины, когда впадал в чрезмерно комплиментарный тон, например захваливая какую-нибудь поэтессу вроде миссис Хименс * или утверждая: «Женщина — единственная настоящая Шехерезада, если нам рассказывают сказку о любви». А заметив в другой его статье фразу: «*Может быть*, и сегодня есть писатели, по своей силе не уступающие Булверу», невольно заподозришь, что ставший для По обычным темный костюм, возможно, должен был вызвать ассоциацию с булверовским героем-денди Пелэмом.

Но как бы, случилось, ни подводил его вкус, По в своих статьях продемонстрировал такой пытливый ум, как никто из американских критиков. Он с редкой настойчивостью говорил о «построении» вещи и ее «верности основному тону», («о строгом подчинении частей целому»). С самого начала он взял на вооружение вычитанное у Шлегеля понятие о «единстве, или нераздельности, авторского интереса». На него произвела впечатление исключительная точность, с какой Кольридж определял в стихах «ценность *отдельных слов*», и вскоре он дал весьма подробный и строгий разбор недостатков языка Симмса. Исходная позиция, с которой он выступал как критик, сформулирована на первых страницах наиболее смелой по замыслу из ранних его статей, большого эссе, в котором По, оставаясь под воздействием своего учителя, доказывал, что Дрейк и Хэллек были не поэтами воображения, но лишь поэтами фантазии. В тогдашней американской литературе По больше всего тревожило то, что прежде лакейское преклонение перед британскими образцами сменялось иной формой провинциализма, казавшейся ему еще более опасной, — нескрываемым предпочтением, которое «тем более оказывается книге, чем она глупее, ибо — и это воистину правда — глупость ее есть нечто вполне американское». Сопrotивляясь крайностям, По руководствовался в своих суждениях тем, что не менее как «весь мир» является «единственным надежным компасом» и для писателя, и для читателя.

Несомненно, и в его собственных суждениях подчас проступал провинциализм. Ему так хотелось продемонстрировать свое виргинское происхождение, что По решился следовать традиции Аллена *, хотя она восходила к Маршаллу *, а не к Джефферсону. По заходил так далеко, что сожалел о Французской революции, защищал рабство, «основу всех наших институтов», и разделял с собственниками их презрение к демократической «толпе». Но при всех его предрассудках По не раз выказывал необходимую критику гибкость, способность оценить талант, по характеру своему очень далекий от его собственного: он, например, с радостью приветствовал «Картинки Джорджии». А самое главное, он с первых же шагов неуклонно руководствовался первичными принципами искусства. В его «Маргиналиях» сказано: «Обязанность критика — парить так высоко, чтобы он мог с близкого расстояния *рассмотреть солнце*».

Работая в «Мессенджере», По наметил для себя, что мог бы сделать, располагай он собственным журналом. Но затем наступила полоса запоев, а было достаточно и рюмки, чтобы По утратил контроль над своими нервами. Он постоянно твердил: «Я сражаюсь с врагом мужественно и честно», но отношения между ним и Уайтом стали тяготить их обоих, и в начале 1837 года По решил испытать судьбу на Севере и уехал в Нью-Йорк.

Редакторская работа не оставляла По времени писать новые вещи, а издательство «Харперз» отказалось от «Рассказов Фолио

Клуба», сочтя их, «чрезмерно учеными и мистическими». Другой причиной отказа были опасения издателя, что сборник новелл не отвечает современным вкусам, и, может быть, это и побудило По приняться за «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» (1838), вещь на семьдесят пять тысяч слов, самую большую из всего им написанного. В этом рассказе о несчастьях, которые пришлось претерпеть в южных морях кораблю, отправившемуся из Нантакета, проявились и вечная тяга По к воображаемым путешествиям, и его умение сопроводить свою повесть многочисленными реалистическими подробностями, которые он жадно вычитывал мальчишкой из «Робинзона Крузо». Приключения юного Артура и его друга Огастеса, которые пережили бунт на корабле, испытывали галлюцинации от жажды, видели чаек, слетевшихся полакомиться человеческим мясом, могут, конечно, показаться лишь безудержным полетом мальчишеской фантазии. Но то воздействие, какое оказывает на воображение читателя этот неотступный ужас белой пустыни, окружающей путешественников по мере того, как они все дальше и дальше уходят в неразведанные антарктические широты, заставляет вспомнить о кольриджевском альбатросе *, который маячил в воображении По, и о «белизне» мелвилловского кита, для которого здесь подготовлена почва, и впечатление это по силе своей сродни производимому Кольриджем и Мелвиллом.

«Пим» не имел особого успеха. По видел, что в Нью-Йорке встать на ноги ему не удастся, и через несколько месяцев переехал с семейством в Филадельфию. Он снова занялся рассказами и на протяжении следующего года написал три самые оригинальные свои новеллы: «Лигейя», «Падение дома Эшеров» и «Уильям Вильсон». Для характеристики его творческого процесса любопытно отметить, что в это же время он сочинял и свои бурлескные вещи: «Как писать рассказ для «Блэквуда» и «Черт на колокольне», в котором По обыгрывал ирвинговские мотивы, навеянные жизнью голландских поселенцев в Америке; он создал на их основе фарс о том, как часы на башне городка Школькофремена пробили тринадцать раз, а также «Человека, которого изрубили в куски», еще один образчик довольно унылой шутки, где все сводится к буквальному толкованию переносного смысла слов. По и сам видел, что его рассказы четко распадаются на две основные группы, и своему первому сборнику новелл, вышедшему в 1840 году, дал заглавие «Гротески и арабески». Книгу, включавшую двадцать пять рассказов — все, что он к тому времени написал, — По сумел пристроить в одном филадельфийском издательстве, но при условии, что все доходы от нее получал издатель. Быть может, заглавие было подсказано ему известным эссе Скотта «О сверхъестественном в литературных произведениях», однако Скотт пользовался терминами «гротеск» и «арабеск» как синонимическими, попеременно обозначая ими причудливые творения гофмановской фантазии. В сборнике По

«гротески» несколько преобладали над «арабесками», хотя в наши дни продолжают читать лишь эти последние.

И как раз свои «арабески» имел в виду По, говоря в кратком предисловии к сборнику, что навеваемый ими «ужас не пришел из Германии, но вылился из души». От того, принимал или не принимал на веру это заявление читатель, зависело, видел ли он в новеллах По лишь изобретательные, но пустые поделки или властно приковывающую к себе воображение литературу. Даже критики, относившиеся к По особенно враждебно, как правило, отвергали не все его рассказы. «Уильям Вильсон» — новелла, в точных и страшных образах рассказывающая о раздвоении личности, — представляет собой законченную аллегория, как бы ни поносил само это понятие автор, и речь здесь идет о том, как человек убивает собственную совесть. О «Доме Эшеров» обычно говорят как о лучшем у По рассказе, хотя самому ему больше нравилась «Лигейя». Взятые вместе, эти две новеллы намечают очертания того особого мира, каким было творчество По. Родерик Эшер — типичнейший из его одиноких, мечтательных, склонных к самоанализу героев. С головой уйдя в оккультные науки, он обуреваем необъяснимыми страхами, которые выливаются в написанном им стихотворении «Заколдованный чертог» — скрытой аллегории, где все говорит о боязни потерять рассудок. Под стать этому персонажу и сестра Родерика, Маделина, чья тонкая красота делается еще совершеннее из-за болезни. В своей высшей точке развития Маделина стала бы Лигейей, чья опасная ученость вполне отвечает всеведению ее мужа, вместе с которым она проводит свои дни в отдаленном ветшающем замке. Создавая этот образ, По солидаризировался с мыслью Бэкона: «Не может быть совершенной красоты, которой не была бы присуща и некоторая странность». В Лигейе нашла самое сильное выражение всегда влекшая к себе По дикая страсть «к жизни, к одной только жизни» — исключительно усилием воли после смерти она на мгновение вновь обретает жизнь, чтобы вцепиться в тело ненавистной соперницы.

По говорил, что мысль написать такой рассказ явилась ему среди грез, и те, кто считает его наркоманом, указывали, что герой новеллы сам признается в опиумном опьянении. Но был ли По наркоманом, а не только пьяницей, сказать нельзя — надежных свидетельств не существует. Он, разумеется, мог бы описать такого рода ощущения и просто вообразив их, как вообразил он припадок катаlepsии или погребение заживо, хотя не пережил ни того, ни другого. Любопытно, что По, как и большинство первых читателей Де Квинси, воспринял «Признания курильщика опиума» как авторский вымысел. Говоря о таком рассказе, как «Лигейя», важно установить, была ли это лишь болезненная фантазия По или, как считает Пол Элмер Мор, у его фантазии были реальные основания в той самой «одержимости духа», которая выражалась в описанном Готорном чрезмерном внимании к злу

и оставила неизгладимый след в американской истории, начиная с отцов-пуритан.

«Гротески и арабески» получили благожелательные отзывы критики, но за три года разошлось менее семисот пятидесяти экземпляров. По приходилось бесконечно заниматься разного рода случайной работой для «Бертонз джентлменз мэгэзин» и других филадельфийских изданий; впрочем, в начале 40-х годов, особенно в 1841 и 1842-м, он испытывал прилив энергии и активно трудился в нескольких направлениях. К 1845 году общее количество написанных им рассказов более чем удвоилось и среди них появились новеллы совершенно нового типа. Особую популярность среди них приобрела новелла, представлявшая собой разновидность логического рассуждения; образцом ее стали «Убийства на улице Морг». В качестве человека, умеющего разгадывать тайны, По вскоре приобрел широкую известность, а сам процесс анализа запутанной ситуации доставлял ему наслаждение; расследующий преступление Дюпен оказался героем совсем иного рода, чем Родерик Эшер. Описывая исключительный талант Дюпена восстанавливать ассоциативный ход мышления, По вновь воспользовался достижениями Кольриджа в специфических целях. Ведь «идеальные аналитические способности» Дюпена представляют собою поразительную комбинацию — они в одно и то же время и «разрушительны», и «созидательны»; Дюпен убежден, что «люди изобретательные непременно отличаются капризами, а люди с *настоящим* воображением не могут не быть аналитиками». В Уэст-Пойнте По преуспел в математике; поэтому в других рассказах — «Тайна Мари Роже» и «Похищенное письмо» — безошибочность суждений и талант Дюпена устанавливать истинные закономерности поведения людей объясняются тем обстоятельством, что он был одновременно и математиком, и поэтом.

Другим вариантом новеллы-рассуждения был «Золотой жук», при жизни По самый известный из его рассказов; вместо обычных десяти долларов, которые ему платили за новеллу, «Золотой жук» в 1843 году принес автору целых сто — приз филадельфийской «Доллар ньюспейпер». Разгадка тайны здесь сопряжена с поисками клада, что придает новелле особый интерес. Оригинальное описание острова Салливэн под Чарльстоном было навеяно воспоминаниями о тех днях, что автор провел здесь солдатом, а рассказывая о капитане Кидде *, По в первый и последний раз использовал американский фольклор.

Совершенно новым направлением в творчестве По стали такие его вещи, как «Философия мебелировки» и «Как разбить сад»; он изложил здесь свою теорию эстетического вкуса и соразмерности. Говоря об идеальном интерьере, он утверждал, что «аристократы доллара» стоят неизмеримо ниже «аристократов крови», что богатство, как правило, лишает людей вкуса. Он полагал, что «разумное расположение» мебели в комнате не менее важно, чем

архитектоника любого произведения искусства, и во всех подробностях описал идеальную комнату, своеобразие которой определялось слиянием темно-красных и золотых тонов, создававших «арабески» своим переплетением и на обоях, и на ковре. Пристрастие По к роскоши и великолепию отчасти объяснялось тем, что они были ему недоступны. Когда это пристрастие сочеталось с его любовью к причудливому, По начинал, как в «Маске Красной Смерти», описывать семь комнат, все обставленные в различной цветовой гамме, причем последняя из них, с коврами из черного бархата и алыми оконными стеклами, являла собой блистательную балетную декорацию для танца смерти. Разделяя тогдашний интерес к искусству разбивания садов, он придумал свой сказочный Арнгейм *, этот искусственный рай с фантастической растительностью, над которой возвышается особняк «архитектуры, наполовину готической, наполовину мавританской». Такие описания не могли не вызвать у Бодлера «дрожь, как при виде чего-то надреального и гальванического».

И наконец, еще одним новым направлением стали диалоги «персонажей после их смерти», вроде «Беседы Моноса и Уны», где По впервые выразил свое презрение к утилитаристам и отказ принять доктрину прогресса, высмеивая «среди прочих безумных идей» мысль о «всеобщем равенстве». Здесь, кроме того, начало размышлений о личности, обретаемой после смерти; итог им будет подведен в «Эврике». По грезилось такое состояние, при котором чувства смешиваются одно с другим и восприятие мира оказывается от начала и до конца «чисто чувственным».

В «Черном коте» и «Бесе противоречия» он выразил убеждение в том, что садистская жестокость «есть одно из начальных побуждений человеческого сердца»; мы как раз потому и не можем остаться глухими к голосу искушения, что «твердо знаем — нам никак *нельзя прислушиваться* к нему». В этих рассказах, а также в «Колодце и маятнике» и «Случае с мистером Вальдемаром» в полной мере раскрылась способность По так описывать ужас, подобный галлюцинации, что он становится физически ощутимым и явным, — ну хотя бы в том эпизоде, где по губам заключенного бегают крысы. Эти рассказы показали и другое — сколь непрочной может быть грань между «гротесками» и «арабесками». Когда материал их один и тот же, различие определяется лишь модуляциями тональности, и смешная новелла «Ангел необъяснимого» может превратиться в чрезвычайно серьезный рассказ «Бес противоречия».

Интересно отметить, что после 1840 года «гротесков» стало у По гораздо меньше, они не составляли даже четверти всех рассказов. Видимо, ему яснее стали видны недостатки этого жанра. Он полагал, что работа воображения подчиняется принципу гармонии, а работа фантазии — принципу новизны, новизна же легко может быть обращена из красоты в уродство и тем самым перейти в область комического. Разбирая стихи Томаса

Гуда и его невеселые и «упрямые попытки добиться веселья», По, сам того не ведая, дал определение собственного юмора — это «итог живой Фантазии, которую пробуждает Ипохондрия». В лучших из поздних его «гротесков» есть конкретный объект сатиры; а с другой стороны, полет на воздушном шаре через Атлантику был им, описан столь правдоподобно, что на день весь Нью-Йорк поверил этой мистификации. В «Дельце» характер его насмешек не требует пояснений, но в новелле «Надувательство как точная наука» сатира По на мошенников и дуралеев окрашена горечью, напоминающей Мелвилла и его «Шарлатана». И все же до конца жизни По сохранит способность писать вещи, удивляющие и своим остроумием, и своей мелкотравчатостью, вроде рассказика «Как была набрана одна газетная заметка».

В годы, проведенные в Филадельфии, он отдавал энергию и грандиозным планам создания собственного журнала. Одним из первых он ощутил любовь своей эпохи ко всему «краткому, сжатому, точному, легко распространяемому» и ее растущее отвращение к «чрезмерно подробному, слишком объемному, не для всех доступному». Многие с сожалением наблюдали менявшиеся вкусы, видя в этом проявление присущей американцам поверхностной образованности; споря с ними, По говорил, что, быть может, люди не смогут «думать глубже», чем полстолетия назад, но должны научиться «думать быстрее», ибо теперь они сталкиваются с гораздо более многочисленными явлениями. Вот почему им надо «вмещать как можно больше мысли в самый малый из всех возможных компасов», ведущих по жизни, «вот почему это век журналистов». По и самого себя часто называл, «по сути дела, журнальным литератором», а собственный журнал хотел сделать органом «абсолютно независимой критики».

Но денег, которые он надеялся собрать подпиской, не появилось, и в 1841—1842 годах По пришлось служить редактором «Грэмз мэгэзин». Здесь он пережил высший свой взлет как критик. Первый номер 1842 года он открыл трактатом о правильном методе рецензирования. По вновь выступил против узкого национализма во всех его формах и заявил, что «задача литературной критики должна быть ограничена рассмотрением самого искусства». Что же касается выраженных в книге «взглядов», то «критику они должны быть решительно безразличны, коль скоро они не имеют непосредственного отношения к самому произведению». За этим изложением принципов последовала целая серия мастерски написанных эссе. По первым с такой ясностью продемонстрировал неизбежную ограниченность писателей-«пионеров» поколения Брайента, Ирвинга и Купера. Он много способствовал укреплению литературной репутации писателей его собственного поколения, не переставая при этом показывать, сколь посредственным по качеству были, за редким исключением, книги, имевшие наибольший успех. В суровом своем разборе интриги «Барнеби Раджа», развязку которой По угадал еще до

появления заключительных выпусков романа, он указал и на вообще распространенную тогда ошибку, состоявшую в попытке отделить практику «от теории, чьей составной частью она является». «И если на практике ничего не получается, — делал По вывод, которого до него никто в американской критике не сумел сделать, — то происходит это потому, что сама теория несовершенна». В высшей степени объективной была его статья о Лонгфелло; он возражал против «чрезмерной навязчивости» дидактического его тона и далее изложил собственный взгляд на поэзию как порождение «возвышенных» стремлений, как «ритмическое воспроизведение красоты». Признавая в Готорне одного из наших «немногих, вне всякого сомнения талантливых, писателей», По высказал знаменитые свои соображения о новелле, которая должна быть построена с целью достижения «единства эффекта» и в которой каждое слово необходимо сделать значительным.

О недостатках По-критика писалось не раз. Подобно тому как его слишком увлекали псевдонауки вроде френологии и месмеризма, в литературе его внимание слишком сильно приковывали к себе писатели-современники. Протестуя против решения Аллена забрать его из Виргинского университета, По писал ему, что все еще далек от «гуманитарного образования», и пробелы в его знаниях культуры прошлого ощущаются очень ясно. К сожалению, и здесь он поступал в точности так же, как и всякий раз, когда чувствовал себя неуверенно. Он делал вид, что обладает эрудицией, какой на деле был лишен, стремился подкрепить это впечатление цитатами, почерпнутыми из таких источников, как «Занимательные факты из истории литературы» Дизраэли*. Как критик, он часто страдал от неустойчивости характера. Так, стоило Лоуэллу написать несколько суровых строк о его рассказах, как По взял назад все комплименты, ранее им высказанные в статье о Лоуэлле. Он чрезмерно резко говорил о недостойном поведении литераторов Новой Англии, будто бы нарочно сговорившихся хвалить только друг друга, он слишком сурово распекал бедного Эллери Чаннинга, а преследовавшая его мысль, что Лонгфелло якобы занимается плагиатом, переросла у По просто в манию. Но вместе с тем По настойчиво боролся за то, чтобы положение писателей в Америке было улучшено; ведя полуголодную жизнь, он на себе испытал, какой «непоправимый ущерб» наносит отечественной культуре отсутствие закона об авторском праве, из-за чего писателям просто невозможно было сводить концы с концами своим трудом. Оригинальность его как критика предопределялась тем, что он отказывался довериться какому бы то ни было авторитету, и, о чем бы ни писал, он рассматривал достоинства и недостатки произведения *de novo*. А самая большая его заслуга в том, что он неизменно настаивал на «приложении строгого метода в любой области мыслительной работы».

Когда в 1842 году вторично рухнули его планы создать собственный журнал, в жизни По началось время безнадежной подавленности. В ту же зиму у Виргинии — теперь это был уже не ребенок, а женщина, что нередко забывают биографы По, пишущие о его «жене-подростке», — во время пения лопнул кровеносный сосуд, и с той поры состояние ее здоровья оставалось в высшей степени шатким. Оглядываясь на эту полосу жизни, По говорил, что вечная неопределенность состояния Виргинии, ее полувыздоровления, сменявшиеся новыми приступами слабости, вызывали у него приступы отчаяния и тревоги, повторявшиеся слишком часто, чтобы их могли выдержать нервы. «Это было безумие, перемежавшееся длительными паузами, когда я ощущал себя в своем уме, и это оказывалось еще ужаснее», — писал он. Он добавлял, что враги приписывали его безумное состояние пьянству, «тогда как скорее пьянство было следствием безумия». Отношения По с владельцами журналов, где он работал — Бертоном и Грэмом, — напоминали те, которые у него были с хозяином «Мессенджера». Пока он был редактором, тираж «Грэмз» вырос неправдоподобно — с пяти тысяч пятисот до сорока тысяч экземпляров, но заработки По от этого не увеличились. К 1844 году он окончательно разуверился в том, что Филадельфия сулит ему какие-то перспективы, и переехал в Нью-Йорк; если прибегнуть к образному выражению Бодлера, По продолжал блуждать в американской пустыне. Сам По пришел к убеждению, что в Америке, «более чем где бы то ни было еще на земном шаре, быть бедным означает быть презируемым». Но и в Нью-Йорке условия его жизни не переменились к лучшему. Денежные дела пошли здесь даже хуже, чем прежде.

Ничего в этом смысле не сдвинулось к лучшему даже после того, как в нью-йоркской «Ивнинг миррор» был напечатан «Ворон», сразу же вызвавший большой шум. В письме к одному из друзей По говорил, что его «птица... решительно забила... жука», но при этом «я сейчас беден так, как в самые скверные мои дни». В наше время американцу, если он уже не ребенок, быть может, недоступно свежее восприятие «Ворона», ибо стихотворение стало теперь материалом, на котором упражняется любой декламатор, а его некогда оригинальные интонации приглушены пародиями. Его повторы и рефрен, мысль о которых, возможно, была навеяна По Чиверсом и которые произвели такое впечатление на первых читателей, ныне уже настолько всем известны, что Олдос Хаксли даже ссылается на «Ворона» как на образец «вульгарных вкусов в литературе». Подозрения в том, что автор старательно подделывался под публику, черпают некоторую пищу в высказываниях самого По, который в «Философии композиции» бесстрастно описывает шаг за шагом весь процесс своей работы над стихотворением, призванным

«удовлетворить требования как публики, так и критики». Это свое эссе По считал «образцом настоящего анализа», однако многих читателей смущал присущий ему тон механически размеренной точности. Бодлер, восхищавшийся По и как любителем разыгрывать фарсы, уловил скрывающийся в эссе намеренный вызов общепринятому — По хотел еще раз посмеяться над теми, кто толковал лишь о вдохновении и не признавал неизбежной зависимости таланта от строгого расчета. Быть может, и правда По просто-напросто поддразнивал читателей, ведь он обожал такую критику, которую сам называл «забавной»; но он действительно верил, что художнику необходимо на любой стадии творчества полностью отдавать себе отчет в том, что выходит из-под его пера, поскольку «создавать — значит терпеливо, осторожно и с пониманием дела соединять части друг с другом».

Пришедшая теперь известность помогла ему осуществить летом 1845 года издание книги, в которую вошло двенадцать рассказов и за которую По причиталось восемь центов с каждого проданного экземпляра, а также сборника стихов, — издатель выплатил за него сразу семьдесят пять долларов. Впервые ранние его стихи предстали вниманию массовой публики. В широко разошедшейся антологии Грисуолда «Поэты и поэзия Америки», которая была издана в 1842 году, появилось три стихотворения По: «Колизей», «Заколдованный чертог» и «К спящей»; Лидия Сигурни была здесь представлена семнадцатью стихотворениями, Чарльз Фенно Хофман — сорока пятью. Свою книгу По сопроводил посвящением «прекраснейшей представительнице прекрасного пола» мисс Элизабет Баррет, одну строку из стихотворения которой «И движением неясным в воздухе пурпурно-красном» он, несомненно, ритмически развил в «Вороне». В предисловии он писал: «Книга эта не содержит ничего такого, что представляло бы особую ценность для публики, да и самому мне казалось бы таким уж совершенным»; и верно, с 1831 года он сумел написать лишь десять новых лирических стихотворений, причем лучшие из них, исключая «Страну грез», вошли в текст новелл. Значительным добавлением к уже напечатанному по-настоящему были здесь только сцены из неоконченной трагедии «Полициан», которую По оставил еще в 1835 году и которая совсем не годилась для сцены. И все-таки По отнесся к подготовке своего сборника со всей возможной серьезностью; это явствует не только из исправлений, внесенных им во многие стихи, но и особенно из следующего его заявления: «События, над которыми я не властен, воспрепятствовали тому, чтобы у меня появилась хотя бы малая и кратковременная возможность сделать то, что при более счастливых обстоятельствах я непременно бы и по собственному к тому расположению сделал. Для меня поэзия никогда не была особым назначением, но всегда оставалась страстью». Отзывы критиков о книге в основном оказались неблагоприятными.

Он предпринял еще одну попытку открыть собственный журнал и сумел в течение нескольких месяцев удерживать в своих руках «Бродвей джорнэл»; но и этот проект лопнул, так как у По не было ни денег, ни выдержки. С этого момента мечта основать свой журнал делалась тем более неотступной, чем меньше становилось шансов воплотить ее в жизнь; в 1846 году По уже говорил, что «это единственное великое мое призвание в литературе». Но тогда же вместо забот о своем журнале ему пришлось опять взяться за поденщину; он написал для «Годиз лэдииз бук» серию статей о тридцати семи «литераторах Нью-Йорка». Когда эта серия была объявлена в журнале, поднялся переполох — ведь По снискал себе известность как «критик с томагавком в руках»; но в действительности статьи его, как было ясно и самому По, оказались обычной «критической болтовней», преимущественно комплиментарной по тону.

Виргиния умирала от туберкулеза, а у По, случалось, не хватало денег даже на дрова, чтобы затопить камин в их домике в Фордэме. После ее смерти зимой 1847 года По быстро и неудержимо начал катиться вниз. Один из осматривавших его в это время врачей заключил, что у него локализованное воспаление мозга. Он не в состоянии был переносить одиночество, и одна связь сменяла у него другую. Часто он вел себя так, словно сам не понимал, что делает; он собирался жениться на миссис Элен Уитмен, а в то же время погибал от тоски по своей «Энни», жене Чарльза Ричмонда. Единственным выходом представлялось наложить на себя руки, и он принял дозу опийной настойки, но дело кончилось всего лишь неудержимой рвотой.

Согласно легенде Грисуолда, в душу По отныне вселился дьявол и потому, бродя по улицам, он шевелил губами, словно обрушивая на мир «неслышимые проклятия», ибо ощущал себя «уже навеки погибшим». Сам По говорил о своей «страшной агонии». Но, думая о последних годах его жизни, изумляешься прежде всего, как много он сумел в это время сделать, причем все это были вещи, не похожие одна на другую. Даже когда Виргиния переживала смертные свои дни, он смог собраться с силами и писал Уиллису: «Истина заключается в том, что мне необходимо еще очень многое сделать, и я положил себе не умирать, пока это не будет сделано».

«Эврика» явилась итогом длительных размышлений. В «Месмерическом откровении» (1844) он уже прибегал к изображению впавшего в транс человека, для того чтобы изложить собственное понимание бессмертия, и утверждал, что материя неделима, что бог — это «лишь высшее воплощение материи». «Эврика», которую он писал весь 1847 год, рекомендовалась как «эссе о материальной и духовной Вселенной». Но, помимо того, автор назвал ее «поэмой в прозе». По глубоко верил в значительность своих идей, но их истинность определялась для него прежде всего заключенной в них красотой; и По адресовался к

«мечтающим и тем, кто верит в мечты как в единственную реальность». Свою книгу он посвятил Александру Гумбольдту, и «Эврика» свидетельствовала, что По основательно проштудировал «Космос»*, а также астрономические гипотезы Лапласа. Хотя он отрицал прогресс, По разделял с Эмерсоном современный интерес к теоретическим научным построениям. В «Эврике» ему наконец удалось подробно проиллюстрировать смысл своей идеи о том, что «высшая гармония наделенного воображением интеллекта всегда наделена по преимуществу математическим характером». Были критики, придававшие огромное значение тому, что теории По относительно притяжения и отталкивания атомов, а также переживаемой вселенной «стадии прогрессирующего разрушения» словно бы предвещают научные открытия XX века. Но в лучшем случае это лишь удачные догадки ума, не искусенного в физике и астрономии, и разумнее было бы прислушаться к самому По, завершающему свое предисловие просьбой к читателям: «Я желал бы, чтобы после моей смерти об этом произведении судили только как о поэме».

Он начал с того, что одним пассажем, шуточный тон которого звучит несколько странно, разделался с методами дедукции и индукции как слишком ограниченными и утверждал, что к творческому открытию «способна направлять нас лишь Интуиция». Доверие По к воображению, дающему постижение истины, к этой высшей способности, которая возвышает душу человека «до созерцания на мгновение вещей божественных и вечных», еще раз свидетельствует, что при всем его открыто возмущавшемся отказе от «невещественного» По были присущи взгляды, близкие — и это очень любопытно — Эмерсону и восходившие, как и у Эмерсона, к Кольриджу. О своих новеллах-рассуждениях По однажды заметил: «Их напрасно считают так уже хитро придуманными, а происходит это потому, что в основе их лежит метод, а также и *видимость* метода». Эта «видимость метода» на редкость последовательно поддерживается в «Эврике», и, как бы ни оценивать оригинальность и глубину книги, нельзя не отдать должное этому шедевру тонкого мастерства, четкого и незатуманенного изложения мысли. В одном из кульминационных эпизодов книги, благоговей перед разумностью вселенной, восторгаясь ею, По прибегает к такого рода метафоре, которая вообще для него была наиболее естественной: «Расчеты Бога совершенны. Вселенная — Его расчет».

Завершает же свою книгу По на той ноте, которая стала доминирующей для XIX века с его индивидуализмом, — он не в силах поверить, что «на свете возможно нечто более величественное, нежели его собственная душа», и если бог должен стать «всем во всем», то и каждый человек обязан воспринимать свою жизнь как ничуть не менее значительную, чем «жизнь Иеговы». При таком безграничном эгоцентризме не удивительно, что По придавал «Эврике» огромное значение и любил говорить

о революции в метафизике, которую ознаменует эта книга. Он достиг той стадии, когда личность его раздвоилась, хотя и не как у Уильяма Вильсона. И если в его любовных письмах царил хаос и смятение, то в «Эврике» он как будто бы задался целью доказать, что по-прежнему способен подчинять свой мыслительный процесс требованиям взвешенности и обоснованности.

6

В последние годы жизни он работал над «Маргиналиями», этим на редкость богатым собранием идей, относящихся к методу литературного творчества. Здесь в концентрированной форме он выразил важнейшие из исповедуемых им художественных принципов. Он вновь и вновь отмечал проявляющееся во многих отношениях сходство между музыкой и математикой и причину появления рифмы обнаруживал в нашем «тяготении к согласованности». Он был, вне всякого сомнения, новатором, когда пытался понять действие бессознательного, разбирая образы, возникавшие у него «на той грани, где смешиваются явь и сон». Эти точно бы грезящиеся человеку в состоянии гипноза образы сюрреализм культивировал как одному ему доступную сферу, но у По внимание к ним уравнивалось и другими интересами, отделяющими его не только от сюрреалистов, но и от современных ему романтиков. Он писал: «Поскольку от рождения самым характерным свойством человека является разумность его поступков, то самым диким его состоянием должно быть признано то, при котором он действует, *не руководствуясь* разумом, и это, стало быть, противоестественное его состояние».

В «Поэтическом принципе» — лекции, с которой По выступал в 1848—1849 годах, — он сделал обзор современных поэтов и окончательно разработал свою теорию «чистой поэзии», формирование которой мы уже могли наблюдать. Вновь вкус изменил По, когда Теннисон оказался у него «изысканнейшим из всех когда-либо творивших поэтов», — и не потому, что достиг необычайных глубин, а потому, что Теннисон «среди поэтов всех времен был самым неземным, другими словами, самым возвышенным, самым чистым поэтом. Нет поэта, который столь мало был бы привержен к земному, к житейскому». Натолкнувшись на подобное суждение, лучше понимаешь, почему По полагал самой благодарной темой для поэта смерть прекрасной женщины и почему и в стихах его, и в новеллах так слабо выражено чувственное, физическое начало.

Очевидны и другие уязвимые места теории По. Он признавал только лирическую поэзию — не драматическую и не эпическую. А то, что он преклонялся перед одной только возвышенной красотой, и саму лирику грозит превратить в последовательное выражение какой-то тональности, и не более того. Атмосфера

не просто окружает стихотворение, но становится его содержанием. Главный же недостаток порожден слишком нечеткой терминологией По, представлявшего в этом смысле полный контраст гибко мыслящему Кольриджу; эта терминология побуждает его к механическому и, разумеется, очень прямолинейному противопоставлению красоты и истины. Он так яростно обрушивался на «дидактическое надругательство над поэзией», что сам изгонял из сферы поэтического истину, о которой будто бы призваны были печься лишь наука и проза. В «Философии композиции» он, правда, снизошел до признания вспомогательной роли истины в достижении идеала поэтической красоты, а в «Эврике» занял гораздо более широкую позицию и говорил уже, что «гармония частей и последовательность мысли — вещи взаимозависимые; и, таким образом, Поэзия и Истина едины». Но каковы бы ни были те или иные ее изъяны и промахи, теория По была твердо подчинена основному в его понимании искусства, которое для По не мгновенное озарение таланта, но итог размышления и расчета. Этим теория По отличалась от всех романтических истолкований творчества и способствовала начавшемуся во Франции отходу от свойственной романтикам дезорганизованности и новой тяге к отличавшей классиков способности удерживать форму произведения под контролем.

По написал около семидесяти рассказов, но из них лишь семь или восемь — после 1845 года. «Бочонок амонтильядо» (1846 г.) представляет одну из самых выразительных иллюстраций того принципа По, согласно которому сюжет «не просто запутанная интрига», но «нечто такое, где нельзя ничего переставить, не нанеся ущерба целому», «Прыг-Скок» — один из последних его «гротесков», но в рассказе заключена такая неуемная энергия, что самый характер повествования преображается. Речь здесь идет о карлике-калеке, исполняющем при королевском дворе должность шута; его насильно напоили, а затем в его присутствии жестоко оскорбили танцовщицу, его подругу. Рассказывая об отмщении карлика, сжегшего живьем короля с его советниками, По оказался во власти зловещих, разрушительных сил, овладевших его воображением и словно бы поднявшихся в ответ на те испытания, через которые самому ему пришлось пройти. Зимой 1849 года он создал последнюю из своих мистификаций — «Фон Кемпелен и его открытие», мнимое научное описание процесса превращения свинца в золото. Он хотел здесь произвести отрезвляющее, «хотя и не надеюсь, что целительное», воздействие на людей, охваченных золотой лихорадкой, которая вспыхнула в тот год.

Накапливавшаяся в душе По озлобленность на свою эпоху наиболее полно вылилась в «Mellonta Tauta», где современный писателю мир предстал в восприятии путешественника, явившегося сюда через тысячу лет. Нью-йоркская церковь представлялась ему «чем-то вроде пагоды, возведенной для поклонения двум

идолам — Богатству и Моде»; но особое презрение у него вызвал «способ управления страной, которым пользовались жившие тогда американцы». Абсурдность такого управления По проследил до его «драматического конца», когда «некий молодчик по имени Чернь забрал все в свои руки и установил деспотизм». В позднейших записях, вошедших в «Маргиналии», он снова восставал против давления, которое оказывается на мыслителя, идущего своей особой дорогой. Он обрушился на «современную философию реформ, уничтожающую человека тем, что она все свои заботы посвящает массе». Он оставался южанином, со стороны разглядывающим Новую Англию, когда писал: «Не подлежит сомнению, что, пытаясь воспарить над своей природой, мы неизменно оказываемся ниже ее. Эти ваши поборники реформ, в которых вы готовы видеть воплощенных полубогов, на самом деле лишь воплощения дьявола, только вывернутые наизнанку».

После «Ворона» По написал еще с десятков стихотворений, и теперь общее их число, хотя и с трудом, достигло пятидесяти. «Колокола» — образец ономапии*, достигшей уже той своей стадии, дальше которой едва ли возможно, да и желательно, идти. В «Улялюм», напечатанном через год после смерти жены, так странно переплелись и столкнулись страсти, что конец стихотворения, как признавался По, «был едва понятен и мне самому». Здесь можно обнаружить все те парадоксы, которые породили столь противоречивые высказывания критиков об авторе этого стихотворения. Мы найдем в «Улялюм», как в «Вороне», и повторы, напоминающие гипнотические заклинания, и растворение смысла в музыке. Малларме считал «Улялюм», «быть может, самым оригинальным и вызывающим всего больше странных ассоциаций стихотворением По», но, с другой стороны, Хаксли находил этот «тяжело влачащийся» дактиль «чересчур уж музыкальным». Мало того, люди, обладавшие более строгим, чем По, музыкальным вкусом, утверждают, что при всех его смелых аналогиях между музыкой и математикой в музыке он смыслил мало, иначе не мог бы так легко принимать за музыкальность простую расплывчатость звучания. Однако он и здесь показал себя мастером, всегда стремящимся к совершенству; ведь мог же он рифмовать «мысль» и «смысл». Он был аналитиком в чрезвычайной степени, настолько, что содержание его стихов нередко не поддается уже никакому анализу. Нечеткость его терминологии снова бросается в глаза; он, например, заявлял, что «говорить о стихотворении, проникнутом страстью, — значит просто путаться в словах». Со всей суровостью порицал он «страсть», полагая ее тождественной «половому желанию» и противопоставляя «идеальной любви»; но в человеке, внимательно прочитавшем «Улялюм», проснется глубокое волнение, даже если он будет ему сопротивляться.

В «Эльдорадо» По говорил о той жажде идеального, которая должна прийти на смену «золотой лихорадке», а переделывая одно из ранних своих стихотворений, добавил эти две строки:

Мечтой иль явью поражен —
Все это сон и только сон.

Но поздние его стихи ни в коей мере не были попыткой бегства от мира. Особенно согрет личным чувством сонет, посвященный миссис Клемм, которую По называл матерью, ибо без нее он не мог жить после смерти Виргинии. Стансы «К Энни» вылились на бумагу, потому что их автор сам пережил трагедию. «Эннабел Ли» посвящена той же теме, какой По касался в предисловии к «Гротескам и арабескам». Для некоторых читателей это стихотворение — только имитация готического «царства у моря». Но сам По знал: эта жажда далекой красоты неотделима от смертной его тоски. Его ведущей темой стало умирание, и воображение По было таким могучим, что даже самый банальный романтический реквизит под его пером преобразался, создавая картину трогательную и поэтичную:

Много, много ночей там покоюсь я с ней,
С дорогой и любимой невестой моей —
В темном склепе у края земли,
Где прилив бьется в кромку земли.

Перев. В. Рогова

«Эннабел Ли» увидела свет вскоре после смерти По. Летом 1849 года он вернулся в Ричмонд, все еще не оставив надежд на журнал; от грубого Севера он устремился прочь, на Юг, но Юг оказался еще равнодушнее к его великим планам. Впервые за свою жизнь По начал говорить о приступах *mania a potu*¹, и все-таки счастье еще раз улыбнулось ему: после непродолжительного ухаживания он стал женихом овдовевшей Эльмиры Ройстер, в которую был влюблен в юности. В конце сентября он вновь поехал на Север, чтобы подзаработать случайным литературным трудом и повидаться с миссис Клемм. Что происходило с ним в последнюю его неделю, так до конца и осталось неизвестным; просто однажды его подобрали без сознания в Балтиморе, рядом с избирательным участком. Ненадолго он пришел в себя, но затем снова начал бредить, впал в ярость и все время звал Рейнолдса * — человека, страстно верившего в важность исследования южных морей и своей верой вдохновившего По на создание «Пима». Быть может, в охваченном лихорадкой сознании По ожили те образы, которыми полны его новеллы вроде «Рукописи, найденной в бутылке», где впервые свой внут-

* Алкоголизм (лат.).

ренный мир он выразил через ужасающее ощущение, что его «что-то толкает вперед, к необыкновенно интересному открытию, к какой-то тайне, не доступной никому и несущей смерть человеку, ее раскрывшему». Умер По от острого мозгового воспаления; его похоронили рядом с дедом на пресвитерианском кладбище. Незадолго до смерти он написал в «Маргиналиях»: «Бывают мгновения, когда даже трезвому взгляду Разума печальный мир, населенный человечеством, должен предстать Адом». Он был одним из тех, кого «не ведающее пощады горе... преследовало все упорнее и упорнее», до самого конца,

7

Значение По может быть в полной мере оценено лишь в том случае, если не упускать из виду, как много традиций берет начало в его творчестве. Французский символизм с его стремлением добиться в искусстве слова многозначности музыки зародился в тот момент, когда Бодлеру в логически выведенных По формулах поэзии открылись собственные его еще неясные мысли, «только изложенные здесь последовательно и в совершенстве». Но Бодлер был обязан По больше, чем только формой. Для личного своего дневника он взял заглавием фразу из «Маргиналий»: «И сердце обнаженное мое»; он считал, что именно стараниям По — вновь указать всем на зло — мы обязаны тем, что человек вернул себе достоинство, вырвавшись из плена поверхностного оптимизма, пропагандируемого приверженцами реформ. Другая запись в «Маргиналиях» — «Оранжевый луч спектра и зудение комара... пробуждают во мне почти тождественные ощущения» — подсказала Бодлеру тему его ознаменовавшего настоящий переворот сонета «Соответствия»*, от которого отталкивался Рембо, развивавший те же мысли о взаимопроникновении чувств. Шедевр Рембо «Пьяный корабль» также показал, до какой степени созданный По образ человеческой судьбы, олицетворенной в неустойчивом суденышке, бессильном перед гигантскими волнами жизни, стал знаменем эпохи. В те годы Гютье и поэты-парнасцы нашли в «Философии композиции» свою концепцию формы, порождающей идеи. Благодаря всему этому По оказывался значительной фигурой и для американской поэзии: ведь символизм глубоко привлекал Т. С. Элиота и Уоллеса Стивенса, и через Францию По вновь возвращается в родную страну.

У склонных к самоуглублению героев По оказались очень многочисленные наследники. Как блистательно доказал Эдмунд Уилсон, далекий замок, в котором живет у Вилье де Лиль-Адана его Аксель, достался этому герою в наследство от Родерика Эшера; а когда Гюисманс, изображая своего Дезэссента*, описывал декадентский уклад жизни, чуть ли не каждая

деталь в этом отгороженном от посторонних взглядов рае, который он изобразил, была им заимствована из сходных описаний По — как, впрочем, и болезненная сосредоточенность героя на этой, по выражению Эшера, «отвратительной остроте чувственного восприятия». Пруст, вероятно, может служить примером дальнейшего — если это только возможно — отречения героя от своих обязанностей по отношению к враждебному ему миру, и, хотя националистически настроенные критики теперь с тревогой воспринимают такого рода европейские веяния в Америке, Харт Крейн не менее остро, чем По, чувствовал непримиримость, существующую между художником и цивилизацией бизнесменов.

Правда, при всем этом По, видимо, остается все-таки в стороне от основных течений американской мысли. И хотя Готорна приводило в восторг своеобразие его рассказов, а Лоуэлл сразу же почувствовал в нем двойной дар воображения и анализа, поколение первых реалистов не оценило По. И Хоуэллс, и Твен находили его метод «механическим», совершенно сходясь в этом с Генри Джеймсом; и если для запоздалого открытия памятника на его могиле в 1875 году Малларме написал замечательный сонет, то из всех крупных американских писателей на церемонии присутствовал один Уитмен — а ведь Уитмен считал, что в конечном счете место По «среди тех звезд вдохновенной воображением литературы, которые сияют ярко, ослепительно, но не излучают никакого тепла». Все же воздействие По на литературу, которую у нас всего больше читают, оказалось громадным. С самым полным основанием его можно назвать творцом детективного рассказа. От него же идет мода на квазинаучную или рассчитанную на подростков литературу приключений. Жюль Верн, Стивенсон, Конан Дойль — все в равной мере ему обязаны. «Золотой жук», «Колодец и маятник», «Убийства на улице Морг» в наши дни читали миллионы людей, понятия не имеющих об эстетических теориях их автора.

Иногда приходится слышать, что По, чьи интересы в ряде случаев были такими материальными, По с его любовью к трюкам и мистификациям, с его особыми журналистскими склонностями в большей мере представляет духовный мир рядового американца, чем Эмерсон или Уитмен. Но подлинное его значение было понято братьями Гонкур, отметившими в «Дневнике» 1856 года, что рассказы По — это «литература XX века», аналитическая литература, интересующаяся происходящим в голове больше, чем в сердце. Различие, быть может столь же обосновательное, как многие из тех, что делались самим По, но вместе с тем напряженное исследование тех болезненных состояний души, которые и порождают темные страхи, было одной из органических традиций американской прозы, начиная с Брокдена Брауна и По и — через Эмброза Бирса — вплоть до Уильяма Фолкнера.

По творил в эпоху, когда подлинных и мнимых трансцендентальных талантов Америка производила больше, чем по-настоящему мастерских рассказов и стихов. В противовес стремлению романтиков раскрыть мир творческой личности он настаивал на том, что в искусстве важен не художник, а созданное им произведение. По — один из очень немногих великих новаторов в американской литературе. Подобно Генри Джеймсу и Т. С. Элиоту, он едва ли не с первых шагов занял свое место в культуре, принадлежащей всем народам, и за рубежами Америки мода на него не прошла, как недолгое увлечение Купером и Ирвингом, ибо По воплощал в себе неподдельную творческую силу.

IV.

ЛИТЕРАТУРНОЕ
СВЕРШЕНИЕ

24. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ДАЛИ

1

Ни совершенством стиля, ни тем более глубиной философского проникновения американская литература не превзошла пока коллективных достижений Эмерсона, Торо, Готорна, Мелвилла и Уитмена. Творчество этих писателей позволило американской литературе преодолеть изначальные тенденции слепого подражания европейским образцам или бездумного неприятия их и освободиться наконец от провинциализма. Став самой собой, выражая только то, что она должна была выразить, и делая это так, как умела и хотела, она достигла, как это ни парадоксально, уровня и качества мировой литературы, чья подлинность признавалась не только в Америке, но и повсюду, где понимают английский язык.

Освобождение носило материальный и социальный характер. Началось с того, что в XIX веке на Востоке возросла социальная текучесть, которая сопровождалась чувством неограниченных культурных возможностей. Пока Запад расширялся и экспериментировал, в тех частях страны, которые были заселены уже двести лет, начали сглаживаться резкие социальные и региональные контрасты и появляться черты культурной однородности, похожей на ту, что свойственна старым цивилизациям Европы, но только на прочной демократической основе.

Социальное расслоение в колониях на Атлантическом побережье на торговую и земельную аристократию, мелких фермеров, скваттеров и рабов начало исчезать в период Революции, но пока еще, естественно, не вылилось в классовую структуру индустриального общества. Колониальные отличия тоже стерлись под давлением растущей миграции населения в западном направлении — из Европы на Атлантическое побережье и отсюда — к фронтиру. Благодаря взаимодействию идей и местных обычаев процесс сглаживания региональных различий, которые играли такую важную роль на ассамблеях колониальной эпохи, уже заставил осознать национальную общность, в рамках которой впоследствии закрепилось более простое и четкое деление страны на Север, Юг и Запад.

Примечательно, что эта подвижность общества и его установлений не вызывала тревоги или чувства потери, напротив,

она была отмечена ощущением неизбывных возможностей и большими ожиданиями. «Добрые чувства» в течение целого периода, последовавшего за войной 1812 года, войной, которая поначалу казалась проигранной, но затем каким-то чудесным образом обернулась в нашу пользу, затронули все уровни национальной жизни и побудили людей не обращать внимания на рискованность американского эксперимента и видеть в нем только привлекательные стороны. Этот дух уверенности в себе поддерживался всем тем, что обещала Америка: и природными ресурсами — обилием лесов, земель, водных путей, которые служили легкому обогащению, — и уже проявившейся способностью американцев к техническим и социальным новшествам.

И все же ни всеобщее чувство уверенности, ни многочисленные «обещания» того периода не могут вполне объяснить, каким образом тогдашняя американская литература достигла вершин. Для этого необходимо обратиться к третьему, решающему фактору — переориентации литературы под влиянием трансцендентализма Новой Англии. Дело в том, что трансцендентализм снова пробудил интерес к важным проблемам природы человека и его судьбы, пробудил этот интерес даже среди критиков трансцендентализма и тем самым сообщил американской литературе широкую перспективу — перспективу самой человечности, выходящую за рамки сформулированных им доктрин. Эта перспектива такова, что придает общность цели и смысла таким различным во всех других отношениях творческим достижениям Эмерсона, Торо, Готорна, Мелвилла и Уитмена. Она во многом объясняет их явное превосходство над непосредственными предшественниками, например Ирвингом и Брайентом, чьи интересы не столь глубоки и носят более специфический, литературный характер.

2

Трансцендентализм, как оформившееся направление новонанглийской мысли, возник между 1815 и 1836 годами. Первая дата ознаменована зрелостью либерального проповедничества Уильяма Эллери Чаннинга; вторая — время публикации эмерсоновского трактата «Природа», самого оригинального и, наверное, самого лучшего систематического изложения трансценденталистской философии. В последующие годы это интеллектуальное течение продолжало развиваться: сперва как бунт против бесплодной унитарной ортодоксии, затем как протест против затянувшейся культурной зависимости Америки от Европы и, наконец, как глубокое исследование духовных основ и нравственных аспектов новой демократии. С самого начала наряду с талантливыми людьми трансцендентализм привлекал немало чудачков, а после Гражданской войны выродился в хи-

льный идеализм. Однако в период подъема в сочинениях Эмерсона, Торо и Олкотта, а также в стимулировании мысли Готорна, Мелвилла и Уитмена жизнетворное влияние трансцендентализма на американское искусство и литературу и на развитие американской демократии в целом остается непревзойденным.

Причина этой жизнеспособности лежит в интеллектуальных истоках трансцендентализма, в том, что он воспринял определенные положения пуританства, квакерства и других теологических систем колониальной эпохи, обмирщенных и как бы очищенных эгалитарными идеями революции, и перевел их на язык тогдашней европейской философии. Несмотря на громгласное неприятие авторитетов и националистические предубеждения трансценденталистов, корни его уходят и в американское прошлое, и в европейскую современную действительность.

Пуританству, например, — в широком смысле этого понятия — трансцендентализм обязан всепроникающим морализмом. Подобно пионерам, искавшим на новой земле свободу совести, трансценденталисты всегда объясняли жизнь категориями этики, подчиняя эстетические, интеллектуальные и даже политические и экономические стороны человеческого существования самоценной личности как носителю нравственных качеств. Таким образом, пуританская концепция более двух столетий спустя служила средством возвеличения всех сфер человеческой деятельности, в том числе и самых скромных. Так же как Мэзеры, Эдвардсы, Пенн, Вулмен и даже Франклин были убеждены, что каждый на своем месте «призван» как можно лучше выполнять свои обязанности, так и Эмерсон считал, что всякий поступок человека проистекает из его индивидуальности и является неповторимым выражением человеческой природы вообще и, следовательно, никакое занятие не может считаться низким.

Подобное сходство обнаруживается и между трансценденталистской «интуицией» и квакерской доктриной «внутреннего озарения», так как обе эти теории мистически полагали материальный мир некой оболочкой или символом божественного и обе учили, что каждый способен самостоятельно, не опираясь на традиционные авторитеты и даже логику, проникнуть сквозь эту оболочку и найти для себя высшую истину.

Разумеется, ни одна из этих доктрин не сохранилась в трансцендентализме в своем первоначальном виде. С самых истоков пуританская ортодоксия Новой Англии словно процеживалась сквозь фильтры всевозможных ересей, и на место господствующей жесткой системы пришла менее категоричная и более продуманная теология унитарянцев. Такого рода тенденции, проявляющиеся в религиозном мышлении, были, разумеется, еще заметнее в мирском радикализме революционной эпохи. Светскость и «здравый смысл» Франклина и Джефферсона

ничего не имели общего с ранними ортодоксиями, сохранив, однако, их ревностное стремление к свету нравственности. В силу той же тенденции эгалитарная теория джексоновской демократии быстро отошла от доктрины божественной санкции. Эти новейшие и преобразованные формы Реформации и Просвещения, слившиеся воедино в проповедях Уильяма Эллера Чаннинга и других предшественников трансцендентализма, кое в чем дополнили и в целом видоизменили ортодоксальные учения наших ранних религиозных и светских вождей.

Это подтверждается, например, новым смыслом, который стали вкладывать в старую доктрину главенства этики. С одной стороны, были обмирщены и расширены до невиданных прежде в Америке пределов ее эгалитарные элементы. Если в трактовке ортодоксального пуританства доктрина равенства между людьми носила преимущественно теоретический характер и сводилась к гипотетическому равенству перед богом и законом, если даже политическая философия революции допускала социальное расслоение, то согласно джексоновскому индивидуализму равенство должно было стать практическим принципом социальных реформ, включающих местное самоуправление, бесплатное обучение за счет общественных фондов и всеобщее голосование в таких масштабах, о которых не смел мечтать даже Джефферсон. С другой стороны, сам принцип равенства стал пониматься гораздо шире. Вместо прежнего индивидуального различия между чистыми и нечистыми, предполагавшего, что лишь немногие избранные удостоиваются духовного равенства, унитарянцы и универсалисты, подчеркивая, что все люди — братья, утверждали способность к совершенствованию у всех без изъятия.

Этот процесс уравнивания незаметно менял само представление об этике. Хотя по-прежнему считалось, что моральный долг трансцендентен по своей сути, то есть предопределяется чем-то большим, нежели личной склонностью или привычкой, все же далее нельзя было формулировать его в абстрактных вселенских терминах и возводить к воле сурового бога. Под влиянием унитарянства роль верховного существа сводилась к некоему имманентному началу, заложенному в человеке, так что сам человек становился истинным источником морального закона. Моральный долг все реже воспринимался теперь как следование некоему закону, как своего рода ритуал соблюдения всеобщего кодекса; напротив, возникло мнение, что никакой закон не может быть годным для всех ситуаций и что каждый волен сам решать, как ему поступить в каждом конкретном случае. Богословие предпринимало последнюю попытку освятить религией эгалитарные тенденции, с самого начала появившиеся в Республике.

Благодаря признанию самостоятельности нерелигиозного мышления и отчасти достижениям естественных наук так же

радикально менялась доктрина внутреннего озарения. Это признание, еще раз подтвержденное ролью разума при выработке принципов революции и нашедшее конкретное выражение в рационализме унитарянцев и прагматизме «пограничного» мышления, подорвало веру в постулат внутреннего озарения по двум основным пунктам.

Прежде всего нерелигиозное мышление поставило под сомнение саму возможность внутреннего озарения. Хотя подчеркивание роли разума иногда тоже носило авторитарный характер, последствия в данном случае были прямо противоположны. Сторонники этого интеллектуального течения разделяли мнение Локка о том, что всякое знание возникает из ощущений, и считали, что любая истина должна быть проверена экспериментом и наблюдением. А эту проверку доктрина внутреннего озарения господним словом выдержать никак не могла именно в силу ее мистицизма.

Во-вторых, нерелигиозное мышление бросало вызов этой доктрине с точки зрения непосредственной полезности. Внутреннее озарение обладало лишь квиетистской ценностью, обещающая человеку прямое общение с богом, тогда как практическое применение разума давало человеку контроль над силами природы и, следовательно, прямо удовлетворяло его насущные нужды.

И все же ни общественная мысль того периода в целом, ни унитарянство и демократия в отдельности не были настолько пронизаны прагматизмом, чтобы отрицать возможности религиозного мышления вообще. Власть христианской традиции над убеждениями и представлениями была еще слишком сильна, хотя в самом понятии внутреннего озарения произошли определенные перемены.

Первая состояла в том, что внутреннему озарению отводились нравственная и созерцательная сферы, а первенство в познании природы отдавалось наблюдению. Другая, более важная, заключалась в трактовке внутреннего озарения как естественного процесса. С ортодоксальной точки зрения оно целиком зависело от божественной милости, представляя собой озарение разума вышним светом; теперь же сила внутреннего озарения приписывалась самому разуму, стала еще одной умственной способностью среди прочих и потому в той же мере поддавалась сознательному контролю. Другими словами, «откровение» как прерогатива и акция бога превратилась в «интуицию» — прерогативу и акцию самого человека.

Крайне сомнительно, что эти видоизменения пуританской этики и теории познания смогли бы вылиться в нечто большее, нежели неопределенные умственные искания, или получить четкое словесное выражение, как это случилось позднее, без воздействия современной им европейской философии. Именно тогда возникло в Германии утонченное интеллектуальное

движение, получившее известность благодаря тщательно разработанным системам Фихте, Шеллинга, Шлейермахера и Гегеля, а затем — работам Кольриджа, Карлейля и Виктора Кузена. Это идеалистическое по характеру движение пользовалось своей собственной терминологией и слогом, определенными посылками и особым методом.

Влияние этого движения стало ощущаться в Новой Англии примерно в 1820 году, но интерес к немецкой философии возник здесь гораздо раньше. В конце XVIII и начале XIX веков Уильям Бентли выступал в роли своего рода культурного посланника между торговцами Сейлема и Гамбурга, а до него Коттон Мэзер переписывался с богословами-пиетистами из Галле. Связи такого рода были ограничены, и лишь после войны 1812 года среди интеллектуальной молодежи Новой Англии возникла мода совершать поездки по немецким университетам и слушать там курсы лекций, а немецкая философия через сочинения ее английских и французских последователей стала привлекать особое внимание. Впоследствии многие трансценденталисты вроде бы обращались непосредственно к оригинальным работам, однако первые и, вероятно, самые устойчивые представления о немецкой философии они составили по вторичным источникам, таким, как «Заметки к размышлениям» Кольриджа в издании Марша (1829), «Вступление к истории философии» Виктора Кузена в переводе Линберга (1832) и «Sartor Resartus» Карлейля (1836).

Благодаря влиянию немецкой философии писателям Новой Англии и через них — американским писателям вообще стала доступна разработанная символическая система, которая не только могла выразить общую метафизическую неустойчивость того периода, неспособность погрузиться в откровенную мистику или прийти к смелому материализму, но содержала принципы и положения, помогающие исследовать и отстаивать это межумочное состояние.

Соответственно концепция человеческой личности как превосходящей самое себя и одновременно себя утверждающей, концепция, признающая как причастность и подчиненность личности чему-то более высокому, нежели она сама, так и уважающая ее неповторимость и независимость как особой сущности, а также вытекающий отсюда взгляд, что счастье индивидуума зависит от успешного сочетания этих равновеликих качеств, — эта концепция давала почти совершенную основу для новых попыток найти в сверхъестественном санкцию, освящение постоянно движущейся и меняющейся панорамы американской жизни.

Подобным же образом различие, которое Кольридж и Эмерсон проводили между разумом и познанием и которое из-за странной путаницы в терминологии отождествляло разум с интуицией и воображением, а познание с логикой и индуктивным

методом, обосновывало и выражало волю трансценденталистов взять на вооружение мистицизм прошлого и эмпиризм настоящего, отводя тому и другому особую, соответствующую его характеру сферу человеческого опыта.

Наконец, идеалистический взгляд на Вселенную как воплощение некоей единой космической души, проявляющей себя то в человеке, то в природе и, через их взаимодействие в историческом процессе, достигающей своей тайной цели, объяснял самоутверждающий -импульс индивидуума и его решимость любой ценой оставаться самим собой тем обстоятельством, что личность осознает свою идентичность с мировой душой; а самопревосходящие, направленные вонне импульсы приписывались осознанию личностью своей конечности, пониманию того, что она — лишь малая частица мировой души, выражающая наряду с другими сущность последней. Эта теория также объясняла и обосновывала различие между интуитивной способностью и индуктивной, причем первая толковалась как необходимое условие сознательного союза с мировой душой, а вторую считали необходимым условием индивидуального бытия как отдельного ее выражения.

Европейский идеализм, таким образом, служил как бы образцом и хранилищем идей, к которому американские писатели, и особенно писатели Новой Англии, могли обращаться, выполняя добровольно поставленную себе задачу — создать новую метафизику для демократии из религиозного и интеллектуального материала американского прошлого. Отнюдь не копируя рабски этот образец, но вдохновляясь им в разной степени, Эмерсон, Торо, Уитмен (а также отталкиваясь от него — Готорн и Мелвилл) сумели добиться удивительного сплава чужеземного и отечественного, сплава, в котором традиционные европейские концепции были приспособлены к специфически американским потребностям. Такое органичное соединение очевидно, например, в апелляции Эмерсона к сверхдуше, которая была призвана освятить стремление янки полагаться на собственные силы; в утверждении Торо, что Уолден — это вселенная в миниатюре; а также в противоречиях Мелвилла — то есть в его неспособности достичь такого соединения. Оно обнаруживается и в «Демократических далях» Уитмена, который, призывая к новому братству людей, использовал лексику мистического единства всего сущего, «божественную центральную идею Всего».

Однако европейский идеализм был не только моделью для трансцендентализма Новой Англии. Благодаря его влиянию, прослеживаемому в трансцендентализме и через него и несколько позже усиленному аналогичными учениями с Востока, оживилась вся американская литература. Это относится и к сочинениям таких писателей, как Готорн и Мелвилл, которые активно отвергали трансцендентализм. Общее оживление, со-

стояло не столько в прямых и косвенных заимствованиях — хотя они тоже имели место, — сколько в перспективной постановке больших проблем, например: сущность вселенной, природа зла, смысл человеческого опыта, которые впоследствии сообщили американской литературе универсальное звучание и вывели ее на орбиту мировой литературы.

3

На первый взгляд в творчестве Эмерсона, Торо, Готорна, Мелвилла и Уитмена гораздо больше расхождений, нежели согласия. Прежде всего они сильно различаются по темпераменту. Торо, Уитмен и, конечно же, Эмерсон были настроены преимущественно оптимистично. Представления Готорна были по меньшей мере фаталистичны. Что до Мелвилла, то ему довелось пережить всю гамму противоречивых чувств, и он от оптимизма пришел к пессимизму, а затем и к полной покорности судьбе. Далее, у каждого из них своя, особая тема и способ выражения. Готорна и Мелвилла как романистов по преимуществу интересовал психологический и символический анализ определенных типов человеческой личности и нравственных проблем; поэты и эссеисты Эмерсон, Торо и Уитмен сосредоточивали внимание, хотя и каждый по-своему, на глубинных отношениях человека к природе.

Однако более всего они различаются степенью интереса и способностью к углубленному философскому размышлению. Никого из них не интересовали философские теории как таковые, они не интересовали даже Эмерсона, который был не столь нетерпим к абстрактному мышлению, как другие. Но даже в этих пределах они не похожи друг на друга. Если у Эмерсона еще можно обнаружить элементы стройной философской системы, то эти элементы убывают у Торо, Мелвилла и Уитмена, а у Готорна пропадают вовсе.

И все же это несходство не абсолютно. Их, как и всех больших писателей, объединяет прежде всего то, что они глубоко чувствуют человеческий удел, вопросы, осаждающие человека, и озабоченность несовершенством и возможностями людей. Эта общая озабоченность стоит над их различиями, как явствует, к примеру, из трактовки проблемы зла у Эмерсона и Готорна. Когда Эмерсон заявляет, что зло в конечном виде не существует, и когда Готорн тоже отвергает концепцию абсолютного зла как трагическое заблуждение, оба писателя вовсе не отрицают самой проблемы зла и не преуменьшают ее. Напротив, для Готорна, как известно, это одна из насущнейших проблем, а по мнению Эмерсона — как подсказывают иные пассажи в его трактате «Природа», — она может положительно разрешиться лишь после отчаяннейшей внутренней борьбы,

лишь по достижении полнейшей, свободной от страстей безмятежности. Другими словами, Эмерсон и Готорн расходятся не в том, важна или не важна проблема зла, а в способе ее наилучшего разрешения.

Общей для всех названных писателей является определенная совокупность идей, в рамках которой они и пытаются проникнуть в природу человека. Даже в тех случаях, когда они приходят к совершенно различным выводам, эти выводы всегда имеют четкую гуманистическую направленность.

Исходная предпосылка этих идей заключается в том, что человек является духовным центром вселенной и только в нем заложена разгадка тайн природы, истории и в конечном счете самой вселенной. Отнюдь не отвергая ни существования бога, ни материальной субстанции, эта теория отрицает их как исключительные принципы толкования бытия, предпочитая объяснять человека и его мир, насколько это возможно, категориями самого человека. Наиболее ясно это выражено в трансценденталистском принципе, полагающем, что строение Вселенной буквально повторяет строение индивидуального «я» и что всякое знание поэтому начинается с самопознания. О том же свидетельствует ревностный морализм Готорна и Мелвилла, который толкает их на бесконечные размышления об ипостасях человеческой души, заставляет вносить личностный элемент даже в безличную природу, рассматривая ее как иносказание человеческого опыта. Именно по этой причине редкий эпизод в их романах обусловлен игрой случая и не несет некоего символического смысла для действующих лиц.

Общая перспектива идей этих писателей универсальна. В центре их внимания — не специфический человек, например европеец или американец, а человек «универсальный», освобожденный от случайных обстоятельств времени, места, происхождения, способностей, человек, сведенный к общечеловеческим элементам. Это очевидно не только у Эмерсона и Торо, но и у Готорна, Мелвилла и Уитмена: даже там, где они наиболее конкретны и практичны, ни один из них не забывает, что драма человека подернута дымкой вечности. Так, например, эмерсоновский «Американский ученый» на поверку оказывается «мыслящей личностью», а уитменовская песнь о себе незаметно переходит в песнь о всех «детях Адама», когда «каждый атом, мне принадлежащий, равно принадлежит тебе». Точно так же, несмотря на высокую подчас степень индивидуализации, характеры и ситуации у Готорна и Мелвилла в основе своей безличны, выступая в лучшем случае как сочетание особенного и общего, а в худшем — только как носители общего.

Такой отказ от современных научных представлений о мире и обращение под влиянием европейского идеализма к неоплатоническому взгляду на природу как живую тайну, полную предзнаменований, возрождал концепцию, знакомую некоторым

из этих пяти писателей по литературе XVII века и религиозно-мистическим трактатам. В то же время возникший принцип ответственности требовал не отказа от науки, а примирения с ней.

Трудно переоценить практическое значение этой концепции и в литературном, и в социальном отношении. С точки зрения литературы ее толкование природы как символической по самой своей сущности поднимало авторитет естественной способности к воображению, подготавливая тем самым будущую символистскую литературу, и подрывало роль сообразительности, чувства и рационализма, роль, которую они играли в прежней литературе. Еще более широкими были социальные последствия этой концепции. Постулируя подобие между категориями безличной природы и человеческой психологии, а тем самым единство всего сущего, она давала метафизическое обоснование вере в демократическое равенство, к которому призывает социальная философия Эмерсона, Торо и Уитмена.

Второе, что объединяет всех пятерых писателей, — это убеждение, что личная добродетель и счастье зависят от развития собственных способностей, а это развитие в свою очередь — от гармоничного сочетания двух всеобщих психологических склонностей: направленного вовне, самопревосходящего импульса личности, ее жажды объять весь мир опытом каждого отдельного момента, познать мир и слиться с ним и, с другой стороны, направленного внутрь, самоутверждающего импульса личности, ее стремления обособиться, остаться отдельным, особым существом и отвечать только перед самой собой.

Тогдашняя теория личности, как она выражалась у Кольриджа и других европейцев, согласовывалась с этим убеждением и выходила за рамки умозрительности, ибо, пользуясь общезначимыми выражениями, она формулировала главную цель и задачи демократии вообще. Демократия как моральная и политическая доктрина предполагала, с одной стороны, этику крайнего индивидуализма, который сохранял за личностью полную степень свободы и самовыражения. С другой стороны, демократическая личность оказалась словно бы расколотой: во-первых, возникал конфликт между традиционным чувством долга по отношению к богу и новообретенным чувством долга перед человеком. Во-вторых возникал конфликт между долгом по отношению к себе, как это подразумевает понятие свободы, и долгом перед обществом, как подразумевается двумя другими понятиями революционной триады — равенством и братством. Следовательно, доктрина, признающая разделение личности и ставящая условием истинного ее раскрытия внутреннее примирение, определяет не только демократическую этику вообще, но и специфическую надежду демократии, что личность может полностью выразить себя, не ущемляя ни одну из сторон, ни альтруистическую, ни эгоистическую.

Нет никакого сомнения, что все пятеро писателей опреде-

ляют этический идеал именно в этих выражениях, хотя показывают, что они расходятся и в понимании того, как достичь этого идеала, и в степени его достижимости. Так, Эмерсон, Торо и Уитмен считают достижение нравственного идеала реальной возможностью, ибо исходят из того, что личность и космос выражают одну и ту же духовную силу; однако они расходятся во мнении, каким именно путем их внутренняя гармония превратится в объективный факт. Если Эмерсон и Торо полагают, что гармонию можно полностью осуществить, прибегнув к простому, хотя и парадоксальному способу: забыть о мире и быть верным только себе, то Уитмен скорее придерживается убеждения, что необходима безграничная любовь ко всему существу, чувство, которое включает и личность, и мир как одно целое.

Особняком стоят Готорн и Мелвилл, которые вообще ставят под сомнение возможность истинной гармонии между индивидуумом и вселенной. Хотя оба признают, что человеку определено вечно стремиться к ней, они вместе с тем глубоко убеждены, что личность и космос — жертвы трагической вины, которая препятствует их слиянию. Готорн усматривает ее в гордыне и духовной немощи личности, а также в невозможности изменить социальную среду. Мелвилл же отождествляет эту вину с несовершенством мироустройства, что символизируется непостижимостью Белого Кита. Но, так или иначе, оба считают, что конечный союз между личностью и миром недостижим. И хотя конфликт между двумя главными силами иногда получает эмоциональное разрешение — то ли демоническим утверждением собственной воли, как у капитана Ахава, то ли отказом от нее, как у Эстер Принн или Билли Бадда, — разрешение это носит частичный характер, так как достигается ценой исключения из конечной нравственной сообразности либо мира, либо личности. Другими словами, Эмерсон, Торо и Уитмен строят на романтической теории раскрытия личности свои высшие надежды, а Готорн и Мелвилл извлекают из нее лишь трагическую неразрешимость.

Третье положение, объединяющее пятерых писателей, о которых идет речь, состоит в том, что интуиция и воображение представляют собой более верный способ познания истины, нежели абстрактная логика или научный метод. Это вытекает из их убеждения, что природа носит органический характер, и соответствует особому различию: разума — как интуиции и познания — как логического анализа. В специфической форме «различия» это общее положение чаще всего встречается у Эмерсона, но как принципиальный подход прослеживается и в теории, и в практике всех остальных.

Это положение наглядно выражается в большой роли, отводимой интроспекции, убеждению, что разгадка внешнего мира заключена во внутреннем мире индивидуальной психологии,

а также в подчеркивании символической сущности опыта. Оба эти момента основаны на органической связи между космосом и личностью, в которую можно проникнуть лишь интуитивно, с помощью воображения.

И наконец, все пятеро сумели сделать из третьего общего положения выводы, которые имели огромное практическое значение не только для их собственного творчества, но и для последующего развития американской литературы в целом. Тезисом о превосходстве воображения они подкрепили собственную творческую склонность к вещественному, метафоричному, дидактичному; этот тезис подразумевал также растущую роль литературного мастерства в целом. Кроме того, раз способность к воображению котирировалась наравне с мыслительными способностями, то носитель этой способности, писатель, призван играть в обществе роль, во всяком случае, не меньшую, чем ученый, философ, богослов. Значит, все одинаково могут стремиться к одной цели — к поискам истины.

Нет сомнения, что вера Эмерсона, Торо, Готорна, Мелвилла и Уитмена в воображение позволила им утвердиться в их собственных нравственных и метафизических открытиях. Благодаря ей они пришли к представлению о писателе как провидце и таким отношением к литературе подчеркнули ее ответственность перед жизнью, столь характерную для наших дней.

4

Говоря о близости идеализма европейских философов и романтизма Эмерсона, Торо, Мелвилла, Готорна и Уитмена, никоим образом нельзя отождествлять их и исключать иные влияния. Общность концепций и терминологии европейских и американских мыслителей является еще одним доказательством того, что молодая нация успешно преодолевала провинциализм и занимала свое место в основном потоке западной культуры. И в период первых поселений и раннего развития, и в пору первой зрелости американская философская мысль всегда была верна своим истокам, которые в первую очередь были европейскими. Теперь она снова обращалась к Европе за подтверждением — основываясь на схожести — своих выводов.

Конечно, между американцами и европейцами были существенные различия. Интересы европейцев XVIII и XIX веков находились преимущественно в интеллектуальной и эстетической сферах, интересы американцев — в нравственной; европейцы были склонны подчеркивать роль иерархии и стабильности установлений в делах общества, тогда как американцы на первый план выдвигали идеи равенства и независимости личности от государства.

Европейская философия не была единственной силой уско-ряющей развитие американского мышления в XIX веке. Ран-ние исследователи трансцендентализма Новой Англии считали ее влияние само собой разумеющимся, хотя и не постигли вполне сущность этого влияния. В последнее время появилась тенденция преуменьшать роль европейской философии в стано-влении трансцендентализма, подчеркивая очевидное влияние идеализма неоплатоников и восточных разновидностей идеа-лизма, давшего американским мыслителям некоторые новые понятия и термины. Историки показали влияние Платона и Плотина на Эмерсона и «Бхагавадгита» и других восточных повествований и поэм на Эмерсона и Торо. Но очень часто такого рода влияния философии прошлого испытывали и аме-риканские писатели, и их европейские современники, и точно определить пути этих влияний — дело необыкновенно сложное. По складу мышления Эмерсон, Уитмен и Мелвилл — настоя-щие американцы и потому были готовы воспринимать нужные им идеи отовсюду, не особенно заботясь о логической последо-вательности, поэтому, вероятнее всего, многие главные прин-ципы этих писателей — и, уже во всяком случае, способы их выражения — возникли в результате их живого интереса к гос-подствующим интеллектуальным движениям современности, а не восходят к какому-то одному источнику в прошлом.

Каковы бы ни были истоки, можно констатировать, что между этими пятью американскими писателями и их европей-скими современниками существовала общность интересов, основанная на общности философских категорий и, как след-ствие, на общности круга проблем, и общий подход к ним. Эта общность объясняет факт быстрого «открытия» Эмерсона, Торо и других членов этой группы за границей и признания там. Оно объясняет также почти собственническое чувство, которое испытывали эти писатели в отношении литературных и фило-софских движений Европы.

Еще большее значение имеет то обстоятельство, что их зна-комство с европейской литературой и философией создавало не только духовную общность с современниками, но и преем-ственность между ними и значительными философскими и ли-тературными традициями прошлого. Заново открыв для себя такие фундаментальные концепции западной культуры, как со-ответствие между человеком и природой и взгляд на поэта как на пророка, наши писатели приобрели не просто набор готовых принципов. Вернее сказать, через эти идеи — благодаря тому, что они являются вечными идеями для западного мышления, — они восприняли самый дух универсальности, характеризующий западную культуру в ее наивысших проявлениях и позволив-ший ей впитать и то лучшее, что есть на Востоке. Таким обра-зом, преимущественное внимание к местным обычаям, легендам, к местному пейзажу, свойственное ранним авторам атлантиче-

ских штатов, а затем и фронта, вылилось — по крайней мере у писателей, выразивших этот особый период литературного развития, — в глубокий интерес к природе человека; демократию же перестали рассматривать просто как эксперимент в способе правления и принялись за всестороннее исследование ее фундаментальных, нравственных и метафизических проблем.

Можно сказать, что европейская философская теория стала катализатором процессов, уже происходящих в американском сознании, и тем самым ускорила переориентацию литературы, что было равносильно достижению ею нового уровня. Раскрыв тождественность американского характера и опыта характеру и опыту всех других людей, она создала условия, в которых американская литература, ничуть не утрачивая национальных черт, могла стать частью мировой литературы. Эмерсон, Торо, Готорн, Мелвилл и Уитмен сумели превратить эту возможность в вероятность, и в этом — единая мера их творческого гения.

25. РАЛФ УОЛДО ЭМЕРСОН

1

Эти течения мысли породили Эмерсона — посланца разума, «Мыслящую личность»* по его собственному определению, «Есть времена, щедрые на великих людей, — говорил он, — есть бесплодные — время тайного огня и время пожара». Прошло пятьдесят лет с тех пор, как Соединенные Штаты получили крещение в купели политической независимости. Настало время утверждения духовной свободы. Ралф Уолдо Эмерсон из Конкорда, штат Массачусетс, громко заявил об этом и стал глашатаем своей эпохи и страны.

Исключительность Эмерсона неизменно приводила в смущение наших историков литературы. Америка пребывала в уверенности, что в ближайшее время явятся Шекспир, Данте и Достоевский и нация обретет свой литературный язык. Однако судьбой ей был уготован иной апостол — американский Аристотель, Павел, Бэкон. У сдержанного и мудрого Эмерсона жар сердца и ума превратился в пламя, излучающее духовный свет. Ему первому довелось свести воедино опыт двух столетий жизни на Атлантическом побережье американского континента, осмыслить экономическую и духовную революцию, которая перевернула Старый Свет и заселила Новый. Им запечатлены демократические преобразования, превратившие богоданную республику в мировую державу.

Эмерсон запечатлел их двояко: с наибольшей силой выразив протест личности против власти, что означало переход от средневековья к современности, и сформулировав дихотомию восприятия мира Джонатаном Эдвардсом и Бенджамином Франклином с его здравым смыслом; он выразил таким образом конфликт и гармонию, которые содействовали творческому развитию американской жизни. Однако он не воплотил эти открытия ни в философию, ни в искусство. Его логика и метафизика не обрели строгой системы, а мастерство, подобно искусству всех великих американских романтиков, сохраняло присущую ему свободу.

У Эмерсона не было Босуэлла, ему самому пришлось говорить не только от себя, но и о себе, и на это ушла вся его жизнь. Он увлекал сердца живым словом, подобно тому как

рука виртуоза-органиста покоряет слушателей; рукописи же на столе в его кабинете оставались бесстрастными документами. «Мы ходим не затем, чтобы слушать, что говорит Эмерсон, — писал Лоуэлл, — а затем, чтобы слушать». Высокий, светловолосый, всегда в черном, он обращался с кафедры к людям с робкой стеснительностью, иногда свойственной янки, и покорял сердца слушателей искренним взглядом голубых глаз и проникновенным голосом.

«Где мы по-настоящему обретаем себя?» — вопрошает он в очерке «Опыт» и дает ответ: «Мы становимся самими собой пред лицом природы; натура определяет в человеке все». Истинная сущность человека в его внутренней целостности. Жизнь — цепь настроений, подобная нити бус. Человеческая натура — железная проволока, на которую нанизаны бусинки... Стремясь выразить свое сокровенное «я», Эмерсон оставил нам небольшую россыпь очерков и стихов, которые для многих стали неотъемлемой частью их собственной веры. И все же сам человек остался непознанным. «Сколь много времени уходит в жизни на приуготовление, — восклицает Эмерсон, — сколь многое сегодняшнее лишь повторяет далекое прошлое. На проявление же истинной сущности человеческого духа в жизни отведены только немногие часы».

Пометки на страницах его календаря свидетельствуют о постоянной приверженности к мыслям о приуготовлении к будущему, к размышлениям о рутине повседневногo и «ретроспекции» — воспоминаниям. Такова жизнь умеющего властвовать собой Эмерсона, пророка Новой Англии. Тридцать три года посвятил он тому, что назвал позднее «приуготовлением», прежде чем в 1836 году опубликовал свою первую книгу. Из двух десятилетий выкристаллизовались те «немногие часы», в которые его гений, исполненный света, создал великие произведения, возникшие на основе духовной гармонии или спокойной «обыденности» жизни. И наконец, последние тридцать лет, вплоть до смерти, последовавшей в 1882 году, были отданы «осмыслению прошлого». В главные двадцать лет его жизни сформировался тот Эмерсон, которого мы ныне знаем: неколебимый в нравственных принципах, увещающий сограждан отвратить глаза от зла, уверовать в самих себя и друг в друга и искать бога в Природе. Однако эмерсоновские доверие к себе и умиротворенность были достигнуты и утверждены в борьбе сомнений, в долгом самопознании.

2

Летопись эмерсоновского приуготовления можно восстановить на основе его писем и дневников. Не в его характере было писать автобиографию души, подобную «Sartor Resartus», «Поэзии и Правде» или «Исповеди» Руссо. Тем не менее романти-

ческий характер ретроспекции, сомнения и духовные кризисы, столь свойственные Карлейлю или Гёте, были присущи и Эмерсону, они возникали под воздействием семейных обстоятельств — бедности, одиночества, болезни, склонности к идеальной любви и познанию таинства смерти.

Спутницей юности Эмерсона была бедность. Ему, второму из четверых братьев, едва исполнилось восемь, когда в 1811 году умер отец, и церковная община старой Кирпичной церкви Бостона в течение нескольких лет обеспечивала «благочестивую и добрую вдову» кровом и пропитанием. Ее мальчики делили одно зимнее пальто на всех, как и работу по дому, вместе учили грамматику и, как сообщал Ралф тетушке Мэри, завершали «труды дня» каждый своей молитвой.

В годы обучения Ралфа в школе и колледже эта миниатюрная тетушка то и дело неожиданно прибывала из своих странствий в дом Эмерсонов или слала наставительные письма опекаемым ею духовным детям, как бы олицетворяя собой отца и совесть. Жизнь ее, писал племянник, протекала в то самое время, когда сила старой веры отступала перед натиском современной науки и гуманности. Старая пуританская закваска сочеталась в этой современной провидице с острым и здравым смыслом и ненасытной любознательностью. Мэри Моды Эмерсон провела свою жизнь в приуготовлении к грядущей, однако жила со вкусом. Переписка племянника с тетушкой свидетельствует, как развивались его ум и душа. Их письма исполнены торжественности и неприхотливого юмора, хотя софистика мальчика не поднималась выше студенческой начитанности, в то время как познания маленькой старой леди отличались глубиной и оригинальностью, ибо тетя Мэри при склонности к мистике обладала критическим умом, была кальвинисткой и скептиком одновременно. Даже в шутовском тоне писем Ралфа присутствует самое глубокое почтение. К ней нес он свои сомнения и открытия. Она оттачивала его ум и учила проникновенному восприятию действительности. Здесь начало слияния интуиции и здравого смысла, отличавшее его мышление, непосредственности и афористичности его стиля.

Эти ранние годы в жизни Эмерсона отмечены стремлением к самоанализу. Его личные отношения ограничивались главным образом кругом семьи. «Друзья, занимающие мои мысли, — записал он в Гарварде, — не люди, а некие фантомы в обличии и одежде людей, которые их породили и на которых они внешне похожи». Тем не менее он был очень близок с братьями Уильямом, Эдвардом и Чарльзом. Дневники ранних лет, которые вели Ралф, а по-видимому, и Чарльз, не дошли до нас. Первый из дневников Эмерсона датирован Гарвардом 1819 года, и уже по нему можно проследить, как несколько претенциозный декламатор постепенно вытесняется настоящим человеком. К 1824 году «пестрые дневники» превращаются в «моно-

логи» — «кладовые мысли», куда он сносил свои накопления. То была своего рода мастерская с пилой, молотком и рубанком. Здесь производились разработки и заготовки сырого леса мыслей, почерпнутых из чтения и жизненного опыта. Между ранними и поздними дневниками огромная разница. Первые четыре или пять томов составляют движущуюся автобиографию духа, следующие можно читать в любом порядке, погружаясь в них с чувством неизменного удовольствия. Между 1820 и 1836 годами, по мере того как формировалась духовная жизнь Эмерсона, его дневниковые записи приобретали характер развивающегося драматического конфликта. Со временем дневники становятся тем, чем они были для писателя на самом деле — не столько путешествием по жизни, сколько разработкой приисков.

Жизнь в нужде и постоянный самоанализ осложнились в дальнейшем борьбой с болезнями и другими напастями, которых с избытком хватило бы на любого романтического героя, — над домом Эмерсонов нависла тень чахотки, и Ралф едва не сгорел от ее дыхания. Болезнь унесла двух его младших братьев, одного — более живого и пылкого, другого — более слабого здоровьем, чем он. Если принять объяснение Эмерсона, то сам он избежал той же участи, когда тоска и кашель иссушали его грудь, лишь благодаря «вялой» пассивности, с которой он принимал болезнь, не вступая с нею в единоборство, сосредоточив внимание на своей внутренней жизни, чему и был обязан исцелением. Неожиданное душевное заболевание Эдварда в 1828 году случилось через год после поездки Ралфа на лечение во Флориду. Болезненность же Чарльза, «друга и товарища многих лет... чья беседа была моим насущным хлебом», держала умы братьев в состоянии тайной тревоги, которую они поверяли лишь дневникам. «Не без изумления прочитал я страницы его дневника, — пишет старший брат после смерти Чарльза в 1836 году. — Они обнажают ночную сторону, о которой не давала представления его дневная жизнь. Эти записи исполнены меланхолии, покаяния и самобичевания. Я читал их без удовольствия, наблюдая, как наваждение помраченного разума застигло свет души брата».

Было бы ошибочным преувеличивать близость этих черт характеру самого Ралфа, однако настроения покаянного самобичевания преобладают в течение всех лет обучения в колледже и позднее заставляют обращаться против самого себя, когда несчастья омрачают жизнь. Как и у Чарльза, хотя и не в такой мере, это мироощущение определило скептический склад ума, и этот скептицизм на протяжении ряда лет противоборствовал, неизменно терпя поражение, с природным оптимизмом Эмерсона, отчего убеждения его только крепили.

Любовь также пришла к нему в мрачном одеянии. В 1827 году он заметил мимоходом: «Я холост и, насколько понимаю, ни-

когда не был влюблен», Однако уже в следующем году он признавался Уильяму в письме из Конкорда, штат Нью-Гемпшир, куда повез Эдварда в надежде поправить его здоровье: «Сердце самонадеянного человека пронзила любовь, и он сдался на милость победителя. Теперь он счастлив, насколько позволительно быть счастливым в этом мире. Ей семнадцать, и, по общему утверждению, она прекрасна». Болезнь Эллен Такер — та же, что и его собственная, хотя более тяжкая, — уже сделала девушку неизлечимо больной, подчеркнув вместе с тем ее неземное очарование, которое покорило подавленного горем мечтательного молодого человека. Хрупкая, исполненная глубокой религиозности и преданности, Эллен вызвала в нем желание защитить ее, пробуждала мужское честолюбие и жар поэтического чувства. Брак длился немногим более года, и ее смерть вызвала скорее «горестную апатию», чем обостренную тоску. Став пастором Второй церкви Бостона, Эмерсон вступил в пору зрелости и возмужания. Однако Эллен осталась единственной великой любовью его жизни, идеальной мечтой, которую болезнь оградила от суровой прозы жизни.

Жаждающий познания жизни, приобщению к которой мешала его робость, Эмерсон стремился постичь реальную действительность по книгам. Его склонности определились еще в раннем детстве. Тетушка Мэри следила за тем, чтобы лишённые отца дети воспитывались в традициях истовой религиозности и любви к книгам. Сама она читала не только ортодоксальные теологические трактаты и стремилась увлечь своим примером племянников. Благодаря ей Ралф открыл для себя Мильтона и Бэкона, Шекспира и Берка, которые всегда оставались его ближайшими друзьями, обосновавшимися на обширных книжных полках его библиотеки.

По мере того как Эмерсон вырослел и уходил из-под влияния старой леди, характер его чтения становился более разнообразным. Учебной программе Гарварда он уделял совсем немного внимания, вполне довольствовался положением среднего ученика и не стремился к академическим отличиям. Хорошая проповедь У. Э. Чаннинга, речь Эверетта или Уэбстера доставляли ему больше удовольствия, чем риторические наставления Эдварда Чаннинга и холодный рационализм Локка. В позднейших произведениях Эмерсона можно проследить влияние шотландского рационалиста Дугалда Стьюарта *, однако в то время «Основы философии человеческого разума» казались ему жалкой хижинкой или мелочной лавочкой, к которым вели врата надежды и славы. Сомнение стучалось в его дверь, приняв форму пирронизма, модного среди тогдашнего студенчества. Постепенно, занимаясь самообразованием, он начинает читать Платона (в переводе Томаса Тейлора *), Монтеня, Ньютона, Сведенборга * и Плутарха (с его «Жизнеописаниями» и «Моралиями»). Чаще, однако, Эмерсон обращался к истории

и антологиям как средоточиям полезных мыслей — Жерандо *, Шлегелю, госпоже де Сталь, Кузену *, к немецким переводам Гаммера из персидской поэзии и к неоплатоникам в переводе Тейлора. «Начала» Ньютона и «Геология» Лайелла * познакомили Эмерсона как со старыми, так и с новыми достижениями науки. Он владел французским и немецким настолько, что мог читать подлинники, однако не чурался переводов, которые экономили время, подобно тому как «не стал бы пренебрегать железной дорогой и телеграфом».

В круге чтения Эмерсона явственно проступают две тенденции: стремление почерпнуть из сочинений скептиков, рационалистов и ученых практическую основу нравственных истин; у мистиков же и романтиков он искал обоснование внезапного, интуитивного, конечного. Первое сближало его с реальной жизнью, второе — с богом. Он скорее давал пищу своему этическому воображению, чем тренировал разум. Двудеиная природа его поиска отражает двойственность природы и запоздалый дуализм, придававший творческое напряжение его литературной деятельности. Эмерсон неизменно стремился слить оба начала воедино, однако в своих ранних размышлениях еще не всегда четко отличал логический путь к истине от интуитивного. Различать их научил его Кольридж, хотя Эмерсон осознал это лишь после того, как его дух обрел новые формы в процессе плавки и перековки.

Романтический кризис в жизни Эмерсона наступил в 1832 году, когда он сложил с себя сан священника. Духовная независимость, которая зиждилась в основном на чтении, теперь преобразовывалась под влиянием его характера, времени и традиции. «Тот, кто хочет стать человеком, — писал он позже, — не может быть конформистом... В конечном счете ничто не свято, кроме цельности вашей личности». Оказавшись перед выбором, еще неясным, но неизбежным, Эмерсон вынужден был отречься от окружающего мира, чтобы обрести себя.

Когда-то молодой человек отнесся со всей серьезностью к выбору профессии священника. В дневниковой записи от 18 апреля 1824 года — одном из самых выдающихся в литературе свидетельств самоанализа — он так выразил свои чаяния: «Я приступаю к своей деятельности. Через месяц я юридически стану совершеннолетним. И я сознательно посвящаю все свое время, талант и надежды Церкви. Человек — это существо, понимающее прошлое и будущее... и страница эта вплоть до моего последнего часа призвана свидетельствовать, подтвердилась ли моя решимость».

Следующий за этим перечень отражает как глубокое нравственное начало, так соответственно и слабые логические способности автора, но ведь в конечном счете теология отдавала предпочтение нравственному воображению, а не «логической машине» Локка, Кларка * или Юма. Отсутствии уверенности

в себе было серьезной помехой для священника и совершенно исключало юридическую практику. Не обнаружил в себе Эмерсон склонности и к медицине. «Я надеюсь отличиться в богословии», — говорил он. Унаследованная «любовь к красноречию» давала основания ожидать «полного успеха» в публичных проповедях, хотя некоторые неудачи в личном общении иногда и омрачают этот успех. Мало удовлетворения принесло Эмерсону и преподавание в школе для девочек, которой руководил его брат. И тем не менее Эмерсон верил, что, если он преодолеет слабость, его призвание будет способствовать «возрождению разума, нравов, внутренней и внешней гармонии».

В этом перечне проступают три аспекта, весьма существенные для понимания позднего Эмерсона: вера не в разум, а в нравственное чувство, недостаточная уверенность в себе и предпочтение, оказываемое красноречию как естественному средству общения. В то время он еще не сомневался относительно своего соответствия церковным требованиям; эти сомнения в правильности выбора возникли позднее.

Бунт Эмерсона, когда время это настало, был направлен против двух вещей: против церковной власти, все еще сковывающей духовную жизнь человека, и против рационализма XVIII века, отвергнувшего откровение и убившего, как полагал Эмерсон, духовность. Первое вело к прямой ереси, поскольку каждый человек становился сам своей собственной церковью; второе было чревато учением о новой индивидуальной ортодоксии. Так возник постулат «доверия к себе», подчиненный «великолепной необходимости». Подобно тому как задолго до него Джонатан Эдвардс парадоксальным образом стремился вернуть заблудших арминиян * в лоно ортодоксальной церкви, взывая к их сердцу и разуму, так Эмерсон атаковал свободомыслие интеллектуалов своего времени.

Ибо вера отцов к началу 1800-х годов вновь ослабела в результате успехов унитаризма Уильяма Эмерсона * и Уильяма Эллери Чаннинга из Бостона. Новая секта еще не заявила о себе, однако небольшая группа новоанглийских священников, либералов в теологии, «отказалась от кальвинизма, молча игнорируя его», уповая не на догмы или откровение, а на разум, чувства и литературный вкус. Следующим шагом к ереси, которую Эмерсон услышал в «возвышенной проповеди» Чаннинга, стало учение о том, что истина постигается не сердцем, а умом. Но дух Кальвина ожил вновь, когда юноша писал тетке и матери: «Мы, несомненно, станем чувствовать себя увереннее, если запишем наш победоносный ответ в неколебимых строках». Его новая ортодоксальность предполагала непосредственное обращение каждого человека к богу внутри себя. Эмерсоновский вариант откровения был создан в трактате «Природа» и разработан в его лекциях и стихах. То был ори-

гинальный росток на местной почве XIX века, но семена взяли с верхней полки семейного буфета.

Внутренняя драма этой борьбы заключена в подтексте более чем 160 проповедей 1826—1832 годов, часть из которых опубликована в книге «Говорит молодой Эмерсон». В этих проповедях мы обнаруживаем большинство позднейших, столь характерных для Эмерсона взглядов, которые были изложены с взволнованной убежденностью и основывались на логике и авторитете, хотя неуверенность в себе еще охватывала молодого проповедника. В первой проповеди «Молись беспрестанно» (1826) человек провозглашается «созидателем своего собственного счастья». Совесть, выступающая в качестве предшественника «нравственного чувства» позднейших очерков, — это «наместник Бога». «Предсуществующая гармония мысли и вещей» превосхищает позднейшее убеждение о соответствии законов нравственности законам природы. Природа «содействует целям человека».

Эти главные мысли наряду с другими, не менее характерными для Эмерсона, получили развитие в последующих проповедях, в то время как идеи, выраженные не столь определенно, были затем изменены или отброшены. Мучительные усилия трактовать «Чудеса» (1831) как особые «средства, к которым Бог прибегает в общении с людьми», были перечеркнуты, а сама проповедь переписана, и все за тем, чтобы ее основная мысль была категорически отвергнута в «Обращении к студентам богословского факультета», написанном семь лет спустя. Смерть жены побудила Эмерсона воплотить в проповеди «Утешение скорбящего» (1831) насущную веру в личное бессмертие, которую позднейший пантеизм писателя практически опроверг. Попытка найти себя в рамках существующей церкви вынудила Эмерсона признать общественную значимость молитвы и проповеди, обоснованность таинства брака, крещения и евхаристии.

Молодой проповедник, как мог, боролся со всеми своими сомнениями и противоречиями, однако с самого начала понимал главную свою трудность. Он не хотел соглашаться, если это шло вразрез с его совестью. В первой беседе с паствой он заявил, что «не страшится нововведений и не задумываясь станет прибегать к новым формам обращения с кафедры, к новым приемам для иллюстрации своих мыслей и разного рода аллюзиям». Приверженность верующих к традиционному языку службы и высокопарности приводимых примеров не остановит его и не заставит отказаться от изучения как мирской, так и библейской мудрости, чтобы обе использовать в своих проповедях. Уже тогда можно было предвидеть неизбежность его бунта против религиозных обрядов. Вызов был брошен не только понятию евхаристии, но и всей системе официального богослужения.

Есть ирония в том, что этот человек, призванный освободить унитариянство от остатков догматизма и власти авторитетов в области логических рассуждений, в лекциях и беседах столь разительно отвергал образцы красноречия своих предшественников, У. Э. Чаннинга и Генри Уэрта. Проповеди Эмерсона холодны, а ранние из них написаны по строгой схеме. Они апеллируют к разуму и лишены евангельской патетики. Постепенно, по мере того как возрастала убежденность Эмерсона, утверждалась новая форма и новый стиль его проповедей. Когда же перед ним действительно встали личные и теологические проблемы, пробудилось сердце Эмерсона. Потребность самоутверждения на избранной им одинокой стезе придала его выступлениям ту эмоциональную страстность, которую не смогло разбудить в нем евангелие. В последний раз попытался он опереться на принципы логического анализа в прощальной проповеди об евхаристии (1832). Однако настоящее прощание с паствой последовало месяц спустя в заключительной проповеди о «Настоящем человеке», который «растает со своей индивидуальностью, оставляет позади все заботы о личных делах и привязанностях и взамен обретает силу целого... Его сердце бьется в унисон со всей Вселенной. С этой новой силой родилось новое красноречие. Теперь Эмерсон неизменно начинал с общеизвестных истин и вместе со слушателями устремлялся к высотам идеала. Форма всех его позднейших произведений отчетливо проступает в «Чуде нашего бытия» (1834). От представлений о том, что «человек соответствует земле», мысль Эмерсона быстро восходит к идее о «бесконечной и совершенной жизни». Ищущий становится поводырем и учителем, убежденным в своей правоте и верящим в свое посредничество.

Написано немало книг, чтобы доказать, будто в конечном счете Эмерсон пришел к неоплатонизму, немецкому идеализму или восточному мистицизму, однако его проповеди и круг чтения в молодости свидетельствуют, что он никогда не нарушал верности вере отцов — христианской традиции, идущей от Христа, апостола Павла, Фомы Аквинского и Кальвина. Всегда склонный к романтизму, Эмерсон был в одном ряду с бунтарями и алчущими и, подобно Кольриджу и Гёте, искал подтверждения своей вере всюду, где только мог.

Однако углубляющийся романтизм Эмерсона делал бремя официальной религии невыносимым. В поисках духовных ценностей он уезжает в горы Нью-Гемпшира к Итэну Крофорду, где «пересматривает свою жизнь». Пребывание в горах привело к перелому во всей судьбе Эмерсона. «Как трудно повелевать душой или увещевать ее». Ожесточенно сражаясь «с этой ветряной мельницей» и признавая, что «без компромиссов общественная жизнь невозможна», Эмерсон сделал наконец неизбежный выбор: «Я не могу, как прежде, ходить в церковь»,

которую с полным равнодушием и даже неприязненно называют святым местом». Расхождение было вызвано не той или иной доктриной или формулой. Дело было в его личной совести. Эмерсон не отказался бы от догмы евхаристии, будь она исполнена смысла для других, но проповедовать ее больше не мог. Когда он вернулся в Бостон и вновь встретился с прихожанами, его конформизм был пройденным этапом, ибо к тому времени единоборство с самим собой увенчалось победой. Неуверенность в себе уже не могла помешать ему, так как личный успех больше не имел для него значения. Он обрел доверие к себе, проповедуемое другим.

3

То было, как выражался Карлейль, «вечносущее да», кризис и разрешение романтических сомнений. Но прежде чем достичь совершенства, Эмерсон должен был пройти через «состояние безразличия». Ему следовало целиком и полностью порвать с жизненным окружением, чтобы внутреннее «я» могло проявить себя в свободном самопознании.

Будущее рисовалось Эмерсону довольно туманно, когда он в январе 1833 года ступил на палубу брига «Джаспер», отправляющегося на Мальту. Несмотря на природное отвращение к путешествиям с целью перемены обстановки и отдыха, большую часть этого года Эмерсон провел в Европе. В тридцать лет жизнь его была уже позади — вереница неудач и никаких реальных достижений, не говоря о здоровье, которое сулило мало хорошего в будущем. Он испытывал отчаяние и самоотвращение: «К чему ты пригоден в этом мире, бледнолицый?.. Не я привел себя сюда, но боже упаси думать, что я отказываюсь от ответственности за свое существование». Он был безжалостен с самим собой: «Несомненно, это грех постоянно помышлять о себе самом, но я — моя собственная комедия и трагедия». Вспоминая это путешествие, Эмерсон говорил, что путник «несет руины к руинам». Вернувшись домой, он с облегчением вздохнул: «Я рад, что путешествие окончено. Нестарый человек слишком стар, чтобы быть бродягой».

Однако такие настроения не всегда владели Эмерсоном. Он выдвигал различные причины своей поездки, объясняя ее болезнью и желанием повидать великих людей: «Узнать, на что способен человек, что самое совершенное создано общественным человеком». И все же главной причиной было желание остаться один на один с собой и попытаться найти себе новое призвание, не ограниченное ни формальностями, ни тем, чего другие ждут от тебя, ни собственными недостатками. «Я благодарен за то, что я американец, точно так же как благодарен за то, что я человек». Его поиск завершился обетом: «Если бы

только здоровье и благоприятные обстоятельства позволили мне доказать, что истинная правда сама собой очевидна, что учение Бога не нуждается в книжном подтверждении, что само христианство неверно трактуется теми, кто понимает его как систему учений, в то время как главное в нем — нравственная истина. Это правило жизни, а не правило веры».

Открытия Эмерсона касались не только этики и религии. К своему большому удивлению, он был поражен и увлечен культурой Старого Света. Чувства были взволнованы фимиамом и музыкой собора Святого Петра, рафаэлевского «Преображения», фресками Сикстинской капеллы и микеланджеловским Моисеем. Памятники католицизма произвели на него впечатление, однако в Женеве, родине кальвинизма, он не обнаружил ничего достойного интереса, кроме гор, окружающих город. В Париже его поразила коллекция птиц, зверей и всего прочего, выставленного в Жарден де плантс *. «Я почувствовал такое влечение ко всему этому, что сказал себе: «Буду естествоиспытателем». Пресловутые сухость и необщительность Эмерсона опровергались его дружескими отношениями с американцами, встречавшимися ему в поездках, — со скульптором Грино *, путешественником Дьюи * и многими другими. Однако он пережил разочарование, не обнаружив величия Лэндора, Кольриджа и Вордсворта, побывав во Фьезоле, Хайгете и Ридале. Один лишь Карлейль оправдал его ожидания. В 1827—1829 годах Эмерсон внимательно читал «этого новейшего и интереснейшего журнального критика», чьи статьи, казалось, прожигали насквозь страницы «Эдинбург ревью», «Фрейзерс» и «Блэквудс». Разыскав Карлейля на глухой ферме в Крэггенпаттоке, он часами слушал едкие и проникновенные рассуждения об изобретательности свиней и бессмертии души, после чего между Эмерсоном и Карлейлем завязалась переписка, длившаяся всю жизнь и составившая два тома писем. Оба проговорили всю ночь не потому, что им виделся один и тот же свет, а потому, что оба бродили в потемках одних и тех же пещер. Когда же со временем выяснилось, что Карлейль предпочитает оставаться «борцом в темноте», расположение к нему Эмерсона пошло на убыль и в зрелые годы жизни Эмерсон остался наедине со своими верованиями.

Они были особенно тверды в течение десяти лет после возвращения из Европы до тех пор, пока в 1844 году появилась вторая серия «Очерков». На основе тщательно подготовленных рукописей Эмерсон произнес за короткий промежуток свыше семидесяти пяти речей, большая часть которых представляла циклы из десяти-двенадцати лекций, в масонском обществе Бостона, а также с дюжиной речей по различным поводам и много проповедей. Его письма Карлейлю, с которым он изредка встречался, к Стерлингу *, с которым не был лично знаком, и к близким друзьям, таким, как Маргарет Фуллер, Кэролайн

Стерджес, Сэмюел Грей Уорд и Генри Торо, представляют собой платонические очерки на тему дружбы. Регулярно и основательно заполнял он страницы своего дневника, прилежно и столь же регулярно сочинял стихи. В то время из груды рукописей к печати были подготовлены только «Природа» и «Очерки». Это был его основной капитал, с которого он получал проценты в течение всей жизни. Лишь немногие стихи и очерки публиковались в «Дайэл», «Уэстерн мессенджер», «Массачусетс кватерли», а позднее в «Атлантик», но отнюдь не потому, что ему хотелось напечатать их, а с тем чтобы помочь друзьям и делу просвещения, в котором они принимали участие вместе с ним. Теперь Эмерсон нашел свое призвание: он должен стать откровением во плоти, гласом, вещающим истину. Его новой церковью стал городской зал собраний, его сектой — Общество по распространению полезных знаний.

С этим новым призванием он начал новую жизнь. В течение трех лет после возвращения из Европы им были приняты все важнейшие решения и упорядочена личная жизнь. Зимой 1833—1834 годов он приступает к чтению лекций, летом окончательно обосновывается в Конкорде, в следующем году женится на Лидии Джексон из Плимута, покупает дом старого Кулиджа у Кембриджской заставы — «к сожалению на лугу, а не на возвышенности» — и выступает перед согражданами с чтением «Исторического доклада» по поводу двухсотлетия города. В 1836 году вышла в свет «Природа» и у Эмерсона родился сын Уолдо. Теперь он имел дом, жену, семью, дело, друзей и коллег. «Одиноким странником», как позже назовет его Карлейль, снова становится гражданином окружающего мира.

Однако бунтарский дух не угас в нем, как можно было ожидать, судя по всем этим фактам. Рассеяв мрачные облака интроспекции и неуверенности в себе, Эмерсон с годами занял определенную позицию и теперь знал, что он приемлет и что отвергает. Он готов был не только говорить, но и действовать. В романтизме существуют две стадии: сомнение и поиск и, с другой стороны, «бунт в равновесии». К 1834 году Эмерсон достиг второй стадии, и в течение последующих десяти лет его творчество развивалось гармонично.

Началом разрядки нового творческого напряжения стала «Природа», ключ к пониманию которой Эмерсон называл своей «Первой философией». «Я пытаюсь провозгласить законы Первой философии, — писал он в июне 1835 года. — Возвещение этих законов пробуждает чувство нравственного величия. Велики те люди, что верят в них. Каждое из выдвинутых положений напоминает большую орбиту. В каком бы направлении ни перемещалось небесное тело, оно целиком в пределах этой орбиты. Соответственно каждое отдельное положение заключает в себе всю истину».

Краеугольный камень преображенной философии Эмерсона, очевидно, зиждется, как он сам отмечает, на том, что «Бэкон, склонный к гипотезам, но верящий лишь результатам, в своей карте человеческого разума называл всеобщностью, или *prima philosophia*». Возможно, что приверженность Эмерсона к христианскому мистицизму сыграла свою роль в дальнейшем развитии его сочувствия квакерам, сведенборгианцам и методистам, возвращенного ранним пристрастием к неоплатонизму и восточной интуиции.

Отбросив существующие догмы, Эмерсон провозгласил законы, формулирующие новое учение, основывающееся на положениях, которые, как убедил его опыт, имели существенное значение. Логика была бы здесь бесполезна, ибо, как он говорил, «глупая последовательность — это пугало для недалеких людей». Как уже отмечалось, собственные умозаключения были для него самого не ступенями в системе доказательств, а действующими лицами в спектакле разума. Эти умозаключения уподоблялись уравнениям, основанным на нескольких ключевых понятиях, почерпнутых у Кузена, Кольриджа, сведенборгианца Сэмпсона Рида* и неоплатоника Томаса Тейлора, которые в свою очередь заимствовали их у немецких метафизиков, шотландских рационалистов и вообще из литературы романтизма. Близость Эмерсона к философии Канта, Гегеля, Шлейермахера и Шеллинга обманчива — влияние это доходило до него через одного или нескольких посредников. Эмерсон относился к своим построениям с той же категоричностью, что и к догмам, им отвергаемым. Он нашел способ утверждать свои «победоносные ответы» в форме неуязвимых умозаключений и законов, характеризующих не сущность, а взаимоотношения. Они скорее относятся к этике и вере, чем к метафизике, теологии или логике.

«Природа» (1836) — скорее евангелие новой веры, чем хроника жизненных событий, как «Уолден» Торо. Популярность признания возвысила книгу до уровня прозо-поэзии, которая остается тем не менее кратким изложением Первой философии. Главная мысль этого очерка состоит в том, что человек, рассматриваемый с точки зрения индивидуальной или общественной, является отправным моментом всех философских спекуляций, единственный смысл которых заключается в исследовании его цели, его взаимоотношений и его судьбы. Доверие к себе, вытекающее из этого тезиса, имеет существенное значение для жизненного опыта. Какая бы истина ни находилась вовне, человека можно понять лишь исходя из него самого.

Очерк Эмерсона начинается с рассмотрения общепринятого различия между «я» и «не-я», души и природы, устанавливая таким образом исходный дуализм. «Я» — это сознание, та часть человека, которая восходит к богу: «не-я» — это объективизация сознания, с которой «я» находится во взаимодействии. Од-

нако природа, или «не-я», также восходит к богу в том «внешнем, что есть мечта и тень». Реальность же природы заключается в том, что она является «проекцией Бога в бессознательное». Второй дуализм существует между Природой и Богом, третий — между Богом и Человеком. Такова троичность, смысл которой заключается не в абстрактном тождестве Человека, Бога и Природы, а во взаимоотношениях между каждым двумя из этих факторов. Человек постигает Бога в созерцании Природы. Звезды, цветы, животные, горы, — все отражает мудрость его лучших часов, но сначала он постигает их неосознанно, а затем — сознавая «видение подлинной и вечной красоты», тем самым постигая божественный принцип мироздания.

Важная особенность Первой философии — ее способность рассматривать все явления с двух сторон. В подходе к конечной истине Эмерсон монистичен, а его метод неизменно дуалистичен. Во введении к «Природе» он пишет, что употребляет слово «природа» в двух смыслах: в обычном значении независимой от человека сущности и в идеальном смысле этого слова как феноменальное проявление души. Никакой двусмысленности при этом «не возникнет; смешения понятий не получится». Чтобы исследовать лежащее в основе всего конечное, внешнее единство, необходимо установить временный дуализм. Этот метод, примененный во введении к первой опубликованной им книге, подразумевается или провозглашается буквально во всем, что бы ни писал Эмерсон. Поскольку он занят не столько предметом мышления, сколько самим процессом мысли, его позицию часто считают дуалистической. Однако таков философский метод Эмерсона, метод же для него — нечто очень важное.

В учении о соответствии между естественными и нравственными законами, заимствованном им у Сэмпсона Рида, а также и у самого Сведенборга, Эмерсон усматривал подтверждение своим первоначальным положениям. «Духовная сторона человека — такая же реальность, как и материальная; подобно тому как материя воздействует на материю, дух может воздействовать на дух». В каждой области существует закон, изучение которого может быть превращено в науку; законы одной области, знаний соответствуют законам другой. Хотя законы природы и этики различаются между собой, в действительности они едины. «Материя, — заключает Эмерсон, — это феномен, а не субстанция». «Существует закон для людей и (параллельный) закон для вещей». Предположение, что один общий закон управляет в действительности и тем и другим, объясняет полное и открытое приятие Эмерсоном прогресса естественных наук, поскольку он не опасался, что их открытия подрвут религию. Так, одним взмахом пера отметал он главное противоречие века, сводя его к неизменному христианскому синтезу веры и деяния.

Эмерсон обращается к способности человека рассматривать область духа в качестве «нравственного чувства»; самые глубокие суждения о людях и жизни определяются им в конечном счете наличием или отсутствием способности человека интуитивно угадывать нравственные законы. В «Природе» и ранних очерках он именует ее «разумом» и отличает от «понимания» — таков еще один образец того, как Эмерсон расчленяет единое, чтобы познать его. На этот раз он, очевидно, заимствовал из Кольриджа, утверждавшего в «Заметках к размышлениям»: «Разум — это сила всеобщего и необходимого убеждения, источник и сущность Истины в ее превосходстве над Чувством, сам себе довлеющий... Понимание и его суждения связаны только с объектами наших чувств, отражающихся посредством этого Понимания». «Небеса, — как бы вторит Кольриджу Эмерсон, — это имя, которое мы даем Царству Истины, миру Разума в отличие от мира Понимания; реальному, а не кажущемуся». Во всех своих сочинениях Эмерсон пользуется этими двумя терминами только в том смысле, как он делает различия между Воображением и Фантазией, Талантом и Гением в соответствии с философией английского романтизма. Он проводит четкое различие между низшими и высшими способностями человеческого ума: Понимание, Фантазия и Талант относятся к непосредственному опыту, однако каждое из этих понятий имеет своего благородного двойника — Разум, Воображение и Гений, которые позволяют человеку подняться от естественных законов к нравственным.

На основании двух исходных положений — центрального места человека в мире опыта и полного соответствия материальных и духовных законов — Эмерсон разработал остальные принципы, определяющие его практическую философию. Из этих принципов он вывел свой закон компенсации, или равновесия противоборствующих в жизни сил, учение о добре и зле, и почерпнул свою глубокую веру в призвание каждого человека, в идею прогресса, в беспристрастную любовь между людьми и теорию сверхдуши. Из того же источника черпал Эмерсон методологию своих лекций и очерков, начинающихся, как правило, с обычных явлений действительности и возносящихся к духовным высотам. Отсюда возникла и его теория искусства и поэзии как сложной системы символов, особого «языка», выражающего через посредство человека единую нравственную гармонию.

То было новое духовное кредо, основанное на фундаменте пуританизма, проверенное на суровом американском опыте, созданное по образцу романтизма и демократического идеала. Все полезное в пределах достигаемого тщательнейшим образом изучалось и монтировалось в возводимое здание: из прошлого — мудрость Платона и его последователей, индуктивный метод Бэкона и Монтеня, религиозная и поэтическая мистика Во-

стока; из будущего — естественные науки и безудержный материализм индустриального развития страны. В результате возникла гипотеза о сведении противоборствующих сил не к статическому единству, а к динамической гармонии, не статичная философская система, а концепция развития и перемен. В одном из очерков Эмерсон выступил защитником народа, утвердив принцип, согласно которому противоречия человеческой природы если и не получают логического разрешения, то по крайней мере примиряются. При посредничестве философии Эмерсона мистик-теолог Джонатан Эдвардс как бы обращался через столетие к политическому идеалисту Вудро Вильсону, а Бенджамин Франклин мог «сообщить» Уильяму Джеймсу через посредство Эмерсона, что прагматизм всего-навсего «новое название для старого образа мышления». Американский обычай проверять истину как интуитивным путем, так и на практике свидетельствует не столько о раздвоении личности, сколько о завершенности опыта.

«Природа», в которой Эмерсон впервые высказал свои убеждения, была лишь началом. Хотя книга построена по принципу восходящей шкалы от Удобства через Красоту, Язык и Дисциплину к Идеальному и Духу, мы найдем в ней скорее вопросы, чем ответы, возглас изумления при виде жизненных перспектив, а не констатацию достигнутого. Перед писателем открывалось обширное поле деятельности, и он тут же принялся за дело.

31 августа 1837 года Эмерсон выступил в Гарварде перед Обществом Фи-Бета-Каппа с обычной речью на традиционную тему, которая в этом году была посвящена характеристике американского ученого. С той же кафедры и на ту же тему не раз выступали и более знаменитые ораторы, чем Эмерсон. Американские журналы уже четверть века возносили молитвы о создании национальной литературы. Ни тема речи, ни настроение публики, ни внешность выступавшего не предвещали, казалось, ничего необычного. Когда же Эмерсон закончил свою речь, Лоуэлл объявил ее «событием, не имеющим себе равных в истории нашей литературы», а Холмс провозгласил ее «нашей Декларацией духовной независимости». Современники по достоинству оценили, чего мы ныне сделать не в состоянии, глупину и силу бунта Эмерсона.

В ряде выступлений 1837—1844 годов Эмерсон показал своим прежним коллегам — писателям, ученым, священникам, всем мыслящим людям, — сколь глубокие перемены произошли в его понимании человеческого долга. Использовались любые возможности: актовый день на том же богословском факультете, где он уже некогда выступал, заседания литературных обществ Дартмутского и Уотервиллского колледжей, собрания библиотечной ассоциации или просто публичные лекции в городском зале. Во время выступлений Эмерсон всегда в напряжении, возбужден, даже вызывающ, оставаясь в то же время

тверд, понятен и непреклонен. Он сознавал, что бросает вызов. «На планете, населенной консерваторами, должен родиться хотя бы один преобразователь».

Эмерсон ожидал резкой и неизбежной отповеди, особенно со стороны церковников, говорил с нарочитым желанием поразить, но подбирал слова тщательно и осторожно. Каждый его удар, нацеленный прямо в сердце, был силен и точен. Он говорил ученому: «Объясняй, сопоставляй, извлекай суть из всех систем — это не принесет никакой пользы; правду не добудешь механическим путем». И вновь: «Мыслящий человек не должен пасовать перед инструментами, ему данными. Книги существуют для досугов ученого. Если он способен читать непосредственно начертания Бога, время слишком драгоценно, чтобы тратить его на сочинения других людей, представляющие собой пересказ того, что они прочитали». Он говорил писателю: «Настоящие книги еще предстоит написать. Поэзия едва-едва пропела первую песнь». Он говорил студенту-богослову: «Люди, как стадо, идут за святым или поэтом, минуя Бога, видящего тайное... Мне хотелось бы прежде всего посоветовать каждому из вас идти своим путем, не следовать за прекраснейшими образцами, даже за теми, что святы в представлении людей, попытаться любить Бога без посредничества», «даже самого Христа». Он говорил в лекции «Времена»: «Наши предки вступали в мир и сходили в могилу, терзаемые страхом греха и ужасом перед Судным днем. Теперь эти страхи больше не гложут нас — наша мука в Неверии и Незнании того, что мы должны делать; мы сомневаемся в ценности того, что делаем, в том, что Необходимость (в которую все верим) справедлива и благотворна». Цель всех этих крайних высказываний одна и та же: заставить самодовольство признать, что каждый рассвет открывает новый день. Прошлое не отрицается, но традиции должны стать для настоящего не авторитетом, а одной из сторон опыта. Вместо того чтобы изрекать обдуманную и окончательную истину, Эмерсон вовлекал публику в спор.

Возлагая особые надежды на настоящее и будущее, Эмерсон считал, что доверие к себе может быть не только восстановлено, но упрочено. «Не церемонясь и без ложной почтительности говорю я о нынешней политике, образовании, бизнесе и религии». Новая литература не должна быть ни классической, ни романтической: «Обращаясь к истокам обыденного, исследуя низкое, я охватываю всеобщее. Дайте мне возможность постичь современное, и вы получите мир древности и мир будущего». Наш век, провозглашал Эмерсон, — это век Мысли, или Философии, который интересуется лишь самим собой. Эмерсон не боялся кипучей энергии и неисчерпаемых ресурсов своего времени. «Железнодорожные рельсы — это волшебные палочки, которые пробуждают спящую энергию земли и воды». «Америка создана, чтобы выразить и возвестить самые завет-

ные мысли человека. Это молодая, свободная, здоровая и сильная страна тружеников, демократов, филантропов и верующих. Она должна говорить от имени человечества».

Эмерсон не оставался слеп к опасности, таившейся в этой безудержной энергии. Он признавал экономикую изобилия, основанную, как и у Адама Смита, на принципе, предоставляющем частному интересу неограниченные возможности. Эмерсон глубоко верил в прирожденный аристократизм, в собственность, иммиграцию, торговлю и конкуренцию в промышленности. Оставаясь сторонником свободной торговли, янки-материалистом на уровне чувств, он полагал, что с помощью нравственного начала можно разрешить все противоречия. «Материалист исходит из внешнего мира... идеалист... из своего сознания». Трансценденталист приемлет обе точки зрения. Поскольку его дуализм лишь временное состояние, он может «исходить» из чувств, будучи совершенно уверен, что в то же самое время имеет дело с духовной стороной. «Он верит в чудо, в то, что человеческий разум всегда открыт для добра и света, верит во вдохновение и священный восторг».

Восторг этот не всегда присутствовал в жизни самого Эмерсона или многочисленных лекциях, которые он читал в течение всего десятилетия. Многие лекции сохранились в рукописях, их список и краткое содержание приложены к «Мемуарам» Дж. Э. Кэбота. Уже сами названия этих лекций говорят о присутствии Эмерсону стремлении подчеркнуть идею нравственного закона: «Биография», «Английская литература», «Философия истории», «Человеческая культура», «Человеческая жизнь», «Наш век», «Времена», «Новая Англия». Лекция и дневники Эмерсона так же относятся к «Очеркам», как эскизы художника к его законченной картине. Они тщательно выписаны, хотя стиль их отличается свободной разговорной манерой, принимающей подчас юмористический оттенок.

Энергичность и нетерпение, уверенность и умиротворенность, которые Эмерсон вселял в своих слушателей, исходили из атмосферы его дома. Семейная жизнь писателя несла в себе самой вознаграждение, была прочна и богата чувствами. Лидиан, как он испросил разрешения называть ее, поскольку добавочное «н» сглаживало переход к ее новой фамилии, походила скорее на мадонну, чем на великомученицу Цецилию. В 1836 году родился Уолдо,

Осчастлививший отцовский кров
Мальчик, в чьих глубоких глазах
Читалось благословенье времен и миров, —

принеся с собой ощущение полноты семейной жизни, длившееся пять лет. Смерть Уолдо породила горе, но более тихое, чем скорбь по умершим Эллен Такер и Чарльзу. Двух своих доче-

рей Эмерсон назвал Эдит и Эллен, а второго сына — Эдвардом. «В доме, где живет человек, — писал Эмерсон-отец, — должен пестоваться подлинный характер и надежда на будущее», ибо здесь человек может «стоять на своих собственных ногах».

Если городок Конкорд казался одним большим домом, то кружок друзей, собиравшихся в гостиной Эмерсона, представлял собой одну большую семью. Соседние города уже уступали натиску промышленности, а по реке Маскетаквид все еще плавали каноэ и

Балкли, Хант, Виллард, Хосмер, Мерьям, Флинт
Хозяйничали в благословенном краю
Сена, зерна, конопля, леса, яблок, шерсти и льна.

Торо, Хоуры и Рипли были коренными жителями города, Олкотт, Эллери Чаннинг и Готорн появились в нем позднее, а Маргарет Фуллер, Элизабет Пибоди, мистик Джонс Бери и многие другие из группы трансценденталистов были не более чем случайными пришельцами. Общество, иногда собиравшееся в доме Эмерсона по вторникам, состояло из «двадцати пяти наших граждан: доктора, юриста, фермера, торговца, мельника, мастерового — почтенных людей, предававшихся столь же почтенным сплетням.

Совсем иная группа лиц усвоила привычку приходить в дом друг к другу для послеобеденных серьезных бесед, будь то в Бостоне или Конкорде, и таким образом совершенно непреднамеренно возник Клуб трансценденталистов. Как заметил один остроумец-трансценденталист, ему это напоминало «вознесение в небо на качелях», и сам Эмерсон временами подтрунивал над серьезностью притязаний трансценденталистов. Единственное, в чем, по-видимому, не было разногласий, — это неизменное удовольствие, с каким поглощались книги Кольриджа, Вордсворта и Гёте, а позднее Карлейля. Сколь образованные и начитанные были они в других областях, судить трудно, ибо их познания оставались по-американски поверхностны, и они вели уединенный образ жизни, подобно самому Эмерсону. Орфический философ * Бронсон Олкотт пребывал в атмосфере идеального, которую делил с Платоном; Торо принес с собой чистоту лесов и полей; Эмерсон — кабинетную ученость; Паркер, «наш Савонарола», и Бронсон — приверженность церкви, первый — унитарийской, второй — католической; Маргарет Фуллер и отчасти Элизабет Пибоди, свояченица Готорна, — представительницы воинствующего феминизма, делали радикальные заявления, доказывая, что женщины такие же люди, как и мужчины, и утверждали дружбу на уровне трансцендентального отношения полов.

Такая дружба, пылкая со стороны Маргарет, молчаливо приемлемая Эмерсоном и порой тревожившая его, породила

«самый скромный ежеквартальный журнал» «Дайэл» — орган трансценденталистов, вышедший в течение четырех лет. Джордж Рипли, вдохновленный идеями Оуэна и Фурье, пытался организовать самый знаменитый коммунистический эксперимент — Брук Фарм, но звезды трансцендентализма недолго в нем участвовали, предпочитая сиять каждый на своем небосводе. Третьим практическим — в широком смысле этого слова — результатом явилась Конкордская школа философии, основанная в 1879 году Олкоттом в своем саду, — один из первых успешных опытов американских летних курсов. Не менее четверти века идиллический Конкорд был питомником духовного цвета нации.

В творческой атмосфере, созданной главным образом самим Эмерсоном, вырос и созрел его талант. Изданные в 1841 и 1844 годах первая и вторая серии «Очерков» — действительно новые произведения, уже не зависящие от лекций и дневников, поскольку теперь, обращаясь к этим источникам, он, очеркнув карандашом нужные строки, извлекал из старого текста отрывки и перерабатывал их заново. Все еще оставаясь по форме лекциями, «Очерки» предназначались уже для аудитории, которую невозможно вместить ни в каком зале. Сохраняя стиль разговорной речи, они не предназначались для выступлений. Каждая строка и каждый абзац свидетельствуют о тончайшей шлифовке.

Новая форма, разработанная Эмерсоном, не является, собственно, ни очерком, ни лекцией. В ее основе хорошо отточенная фраза, тот «чистый, подлинный англосаксонский язык», который Карлейль немедленно признал «сильным и простым, исполненным ясности и красоты». Предложение обычно содержит в себе крупницу основной мысли всего очерка, всей книги — искусство, которому Эмерсона научили афоризмы Бэкона или *répnsées*¹ Паскаля, столь же простые и ясные, как и привычный Эмерсону стиль Монтеня. «Природа не хочет, чтобы мы раздражались». «Все двойственно и противостоит одно другому». «Жизнь дает одну возможность — жить, а не саму жизнь». Иногда возникает конкретный образ: «Подобно нитке бус, жизнь лишь смена настроений, которые, нанизываясь одно на другое, как многоцветные линзы, придают миру свой собственный цвет и каждая показывает только то, что отражено в ее фокусе». Более длинные предложения ритмически изломаны, но сохраняют при этом свое стаккато: «Смерть дорогого друга, жены, брата, возлюбленной сначала кажется только несчастьем, но затем иногда становится поводом или ангелом-хранителем; она производит революцию в образе нашей жизни, завершает эпоху детства или юности, ждущую своего завершения, ломает привычные занятия, домашний уклад и стиль

¹ Мысли (фр.).

жизни и способствует возникновению новых форм, более благоприятных для развития характера».

Карлейль искал у Эмерсона последовательности в абзацах, а находил «стреляных уток, брошенных в один мешок». Еще менее связаны между собой предшествующие и последующие абзацы и очерки, не создающие цельной книги. Было бы, однако, ошибкой думать, что форма в них вовсе отсутствует. Каждый абзац, каждый очерк строится по принципу круга, содержащего внутри себя маленькие круги. «Глаз — это первый круг, — писал Эмерсон в самом коротком из своих очерков, — образуемый им горизонт — второй круг; всюду в природе эта основная форма повторяется до бесконечности». Органический метод Эмерсона отражает структуру вселенной такой, как она ему видится.

Однако если у Эмерсона отсутствует последовательное логическое развитие мысли, то этого нельзя сказать относительно его общения с миром чувственным. Стилистические приемы громоздятся один на другой, подобно вздымающейся конструкции из мысли и чувств. Возникает ощущение, что человек разговаривает с аудиторией, завоевывает ее внимание, концентрирует это внимание на главном смысле, расширяет его до необъятных пределов опыта, поднимает до высочайшего уровня понимания и возвращает обратно к исходной точке. В начале каждого очерка Эмерсон либо спокойно ставит под сомнение самый обычный факт, либо наносит внезапный удар гиперболой. Применяя таким образом принцип скорее гомилетики*, чем логики, Эмерсон развертывает свою тему постепенно, так что писатель и читатель постигают ее совместно. В большинстве очерков присутствует ощущение возрастающей интенсивности как мысли, так и формы, заставляющее вспомнить эмерсоновский образ спирали, лестницы, стремительного полета вверх. Конец приносит спокойствие свершения, исчерпанных возможностей, полного прозрения, как в финале спектакля, когда занавес опускается.

Правда, расположение очерков в обоих томах не отличается подобными особенностями, хотя первая серия несет на себе отпечаток большей композиционной стройности, чем вторая. Цельность эмерсоновской мысли такова, что в любом из своих проявлений она исходит из опыта. В каждом очерке подчеркнута одна из граней, и вместе с тем каждый очерк вмещает в себя целое. Это единство заключено в самой Первой философии, а не в способе ее выражения.

Условно можно наметить три исходных момента: описание вселенной и ее законов (Доверие к себе, Теория компенсации, Законы Духа, Сверхдуша, Теория Кругов, Опыт, Природа, Номиналист и Реалист); общий анализ нравственного начала в человеческих отношениях (Любовь, Дружба, Благоразумие, Героизм, Характер, Нравы) и исследования более специфических

проблем бытия (История, Искусство, Поэт, Политика и Новоанглийские реформаторы). Однако, как вскоре выяснилось, даже столь емкие категории были нарушены, так как разработка исходной концепции каждого очерка определяет концепцию всех остальных.

Возникающее в результате единство во взгляде на жизнь объясняет нам секрет духовной власти Эмерсона над своими последующими поколениями. Генри Адамс считал все это просто «наивным», другие пытались отбросить прочь как детские забавы. Неспособность понять, что Эмерсон, вместо того чтобы отвергать, игнорировал зло, отсутствие у писателя строгой логической системы, блестящий стиль стаккато, дидактизм, видимое стремление подняться над муками и страданиями — все это воздвигло стену непонимания между ним и многими. Однако его светлая тенденция признания и доверия, умение вылущить самое зерно истины, способность бесконечного исследования вопросов бытия и мышления, его пронизательные суждения о высотах, на которые могут подняться сердце и разум Америки, сделали книгу очерков нашей современной Библией. «Это еще не искусство, — писала ученая графиня д'Агу*, открыв эмерсоновские очерки для своего народа. — Это смещение до толе неведомого бунтарского индивидуализма, или доверия к себе, с пантеизмом, пронизывающим всю книгу, гармоничное сочетание этих двух антагонистических принципов в высшей духовности, бесспорно являющееся началом новой стихии, способной породить самобытное искусство». Таким образом, динамически сопряженные противоречия американской жизни впервые заговорили, с помощью Эмерсона, внятно и внушительно.

4

«Новое искусство» Эмерсона составило пять томов, где все, кроме нескольких стихотворений, было написано в течение десятилетия, с 1844 по 1854 год. Однако ни одно из этих произведений — «Стихотворения» (1847), «Представители человечества» (1850), «Черты английской жизни» (1856), «Путь жизни» (1860) и сборник «Майский день» (1867) — не было опубликовано сразу после его создания. В лекции 1859 года «Искусство и критика» Эмерсон свидетельствует, что в то время он перешел от состояния романтического напряжения к «классическому, или органическому, самообладанию», более соответствующему духу Новой Англии:

«Искусство сочинения, величайшее из всех, дарованных человеку, является непосредственным проявлением Души, и средство или материал, которым оно пользуется, также таятся в Душе... Классическое искусство — это искусство необходимого, органического; современное же, или романтическое, ис-

кусство носит отпечаток каприза или случая». Храня верность догматическим основами мышления в области исторического романтизма, Эмерсон при определении классического разработал свою теорию стиха и лекции-очерка, утверждая необходимость нравственной самодисциплины в искусстве.

Поэзия Эмерсона рождалась в его кабинете, во время прогулок по конкордским полям или в «саду» — участке леса на берегу Уолденского пруда, где он позволил Торо построить хижину. Проза Эмерсона была переработкой лекций, которые он читал в Англии (1847—1848) и на Западе — от Питтсбурга до Цинциннати, Сент-Луиса и Чикаго (1850—1853). В эти годы он проводил вдали от дома столько же времени, сколько и дома, так что Лидиан приходилось самой управлять с хозяйством, заботиться о детях и большом белом доме, полагаясь лишь на помощь сограждан да Генри Торо, поселившегося у Эмерсонов, чтобы поддерживать огонь в печах и возделывать сад в отсутствие хозяина.

Если бы Эмерсон не написал ни строчки прозы, достижений поэта-экспериментатора и эпиграммиста вполне хватило бы, чтобы обеспечить ему первостепенное место в нашей литературе. В семье его с детства считали поэтом, однако сам он воздерживался от того, чтобы принимать всерьез свои подражательные и шуточные стихи. Когда пришло время любви к Лидии Джексон, поэтическое творчество рассматривалось им самим и Конкордом как нечто многообещающее. «Я прирожденный поэт, — писал он, — поэт, несомненно, низшего класса, но все же поэт... по восприятию жизни и поклонению гармонии, которая разлита в душе и природе, по умению сопрягать одно с другим». Однако его одолевали сомнения: «Не знаю, наделен ли я подлинной искрой того огня, что горит в настоящих стихах».

Эмерсон, бесспорно, был прирожденным поэтом и доказал это в теории и на практике. До публикации его «Стихотворений» (1847) Соединенные Штаты имели лишь одного истинного исследователя и экспериментатора в искусстве — Эдгара Аллена По. Брайент, Хэллек и Френо, не проявляя глубокого интереса к теории и технике стиха, соотносились с романтическими настроениями Вордсворта и Байрона, с традициями английской лирической поэзии. Ранние стихи Уитьера, Симмса, Лонгфелло, Лоуэлла и Холмса создавались по тем же образцам, приложенным к американскому материалу. Один По стремился заново постичь природу и назначение поэзии в ее собственной сфере. Самобытность Эмерсона столь же глубока, как и самобытность По, а их теории дополняют друг друга. По искал эстетические основы искусства, Эмерсон — нравственные. По исследовал главным образом возможности ритма, Эмерсон — символики. Вместе они определили курс американской поэзии своего времени, отвернувшись от заимствованных ус-

ловностей и заново открыв тайны поэзии. Уолт Уитмен и Эмили Дикинсон углубили этот разрыв с традициями прошлого. Другие последовали за ними.

Неуверенность Эмерсона в себе частично порождена высоким представлением о миссии поэта. Он больше, чем жрец. «Поэт пророчествует, он дает имена вещам и является посредником красоты. Он монарх в средоточии всего сущего... властелин идей и выразитель как необходимого, так и случайного». Призвание поэта — «провозглашать и утверждать». Он не сочиняет своих стихов, «ведь вся поэзия была создана еще до того, как началось время... Те, чей слух особенно тонок, передают на бумаге такие ритмы». Эмерсон преувеличивает представление о пассивности поэта. Это эолова арфа, которая «дрожит от дыхания Вселенной». Поэт также — Мерлин, традиционный бард, мудрец, волшебник, «чи удары по струнам — это удары рока». В существующем разделении функций между людьми он — человек глаголящий, ученый, призвание которого — выразить полученную свыше идею. При таком взгляде на вещи Платона можно легко классифицировать как поэта, к тому же ряду можно отнести сэра Томаса Брауна, Зороастра, Микеланджело, авторов Вед, Эдды и Корана. Джордж Герберт выдерживает это испытание наряду с Мильтоном и королем поэтов Шекспиром, так как его гений может «при помощи учености и религии воспарить в восприятии как прошлого, так и будущего, до высот интуиции и наиболее выразительного изображения героической жизни человека». Для Эмерсона перс Саади становится образцом поэта, потому что

Он ведал пламя, он знал, как взмыть,
Рождалось слово, чтоб вещью быть.

Вот в чем причина его нерассуждающего приятия «Листьев травы» в 1855 году. Каждое слово Уитмена было зримо.

Но если бы для Эмерсона единственное призвание поэта заключалось бы в том, чтобы записывать небесную музыку, его стихи отличались бы большей мелодичностью, чем то было в действительности. Особенно в прозе своей, предназначавшейся для чтения вслух, он ближе всего подошел к свободному ритму, подобно Мелвиллу, чей философ в «Марди», впадая в экстаз пророческого провидения, переходит к мелодекламации. До тех пор пока стиль Эмерсона не обрел афористичности, он был частью общего потока его красноречия, поднимаясь временами до ритмических и свободных периодов Песни Песней, Нагорной проповеди или покоряющих ритмов Уитмена. В неопубликованном отрывке из вводной лекции раннего курса «Человеческая культура» Эмерсон обратился к приемам, которыми затем пользовался Уитмен. Риторические строки, освобожденные как от абзацев прозы, так и от ритмического размера

стиха, строятся на параллельных периодах, ассонансах, аллитерациях и повторах:

Философ оплакивает бесплодное увядание способностей и достоинств.

Он оплакивает нищету того, кто мог бы трудиться.

Он оплакивает слепоту того, кто не видит вокруг себя и над собой
лучезарной красоты.

Он оплакивает нарушение закона и наложение наказания и называние всего
этого вмешательством Судьбы...

Он оплакивает человеческую обособленность, разделенность в силу
религиозных и политических взглядов,
равнодушие к Ближнему и к Прошлому.

И лишь мудрая Культура призвана избавить от этих унижений Душу.

Однако от поэта Эмерсон требовал большего. Функция поэзии, как он ее понимал, состояла в выявлении и акцентировании отношений реального с идеальным — задача, которую нельзя было решить лишь с помощью ритмики. Английские поэты-метафизики, владевшие стихом и прозой — Герберт, Донн, Мильтон, Браун, — научили его многозначности отдельного слова, блестящим и неожиданным возможностям, открывающимся в образе. К этим поэтам Эмерсон обращался охотнее, чем к современным романтикам, которые покорно растворялись в пассивности пантеизма. Мильтон и Герберт гораздо глубже, чем Вордсворт и Кольридж, чувствовали бога и боролись за то, чтобы возродить его для людей. Эмерсон близок этим старым поэтам, стремившимся примирить глубокую религиозность со столь же глубоким стремлением к знанию. В этом отношении среди современных поэтов Британии и Америки он был одинок: ведь даже Мэтью Арнольд не смог полностью оценить значение его символов, хотя сам сражался с «двумя мирами», среди которых жил. Мистик и ученый должны слиться воедино, что осуществимо лишь через символ. Осознание этого — вклад Эмерсона в современную поэзию. От Бэкона заимствовал он аристотелевский взгляд, что «поэзия, не находя в действительности точного соответствия своей идее добра и прекрасного, стремится соотнести видимые предметы с желаемым и тем самым создать идеальный мир, более совершенный, чем существующий». К этому Эмерсон добавил сведенборгианский взгляд на природу как кладовую символов, утверждая, что поэт, прозревая через явление — суть, способен преобразить свидетельства своих органов чувств ради высшей цели и тем самым восстановить соответствие между природным и нравственным. «Акт воображения обычно сопровождается чистым наслаждением, наполняя всю природу какой-то легкостью и упоением». Поэт выступает «точным регистратором основного закона» всего сущего, причем он скорее активен, нежели пассивен, так как восстанавливает гармонию сверхдуши посредством контрапункта реального опыта. Своей интуицией поэт творит

более правдивый образ природы, чем кажущийся реальным, «Разум, проникнутый ощущением природы, проецирует ее на то, что видит перед собой». «Результатом становится красота, но не чувственных ощущений, а нравственных».

Критик не должен обманываться частыми ссылками Эмерсона на поэзию как на музыку, потому что его собственные стихи редко бывают мелодичны. «То, что другие слышат, — признавался он, — я вижу». Даже в стихотворении «Музыка» почти все образы визуальны, а «Песнь Мерлина» создана скорее «острейшим взглядом», чем «правдивейшим языком». Его диссонансирующие и хромые рифмы являются частью сознательных усилий достичь свободы экспрессии и как бы получают поддержку от образцов, которым следуют. Батлер употреблял «кривые» или несовершенные рифмы, Мильтон — неполные строки, а Шекспир в своих поздних пьесах — блуждающие ударения. Эмерсон притяжал на все эти свободы, вместе взятые. Он чрезмерно увлекался рифмой, поскольку для него то было любимое выражение природного ритма (хотя примеры при этом неизменно визуальны: блики в пруду, череда набегающих теней). Он также усвоил восьмистопную строфу, поскольку был убежден теорией О. У. Холмса, что ритм поэзии определяется человеческим дыханием. В отличие от Уитмена с его более естественной и свободной разговорной речью Эмерсон никогда не терял сдержанности. В пределах своих возможностей, которые считал установленными природой, а не навязанными традицией, он доверял песне, которую слышал, хотя слух его не всегда был верен. Его рифмы часто не что иное, как ассонансы; его размер иногда сбивается со счета, позволяя ударению падать где придется.

Эмерсоновская муза особенно благоволила к визуальным образам. В эпиграфах-стихах, которые Эмерсон предпослал своим очеркам как некий сгусток мысли, он совершал ту же ошибку, что и Вордсворт, отдавая предпочтение умствованию. Но там, где воображению была предоставлена полная свобода — в «Сфинксе» (самом любимом стихотворении Эмерсона), «Днях» (очевидно, наиболее удачном), «Хаматрее» (наиболее непосредственном по выражению чувств), «Уриэле», «Браме», «Снежной буре» и первой части «Мерлина», — оно порождает причудливые образы, достойные Герберта или Донна и одновременно исполненные свежести личного жизнеощущения. Здесь поэт использовал свое право изображать изменчивость природы — сосна, море и звезды предстают в своем естестве, подтверждая соответствие законов материи законам божеским. В других стихах — «Голоса леса», «Погребальная песнь», оды — он временами уверен в себе и раскован, порой сбивается на ритмизованную прозу, а иногда, как в «Рододендроне», идея совершенно обнажена, и стихотворение приобретает характер прямого нравоучения.

Присущее лучшим произведениям Эмерсона острое ощущение величия природы, мастерство и смелость визуальных образов, глубокое понимание многозначности поэтического слова (дар, которым не обладал даже По и к которому так и не приблизился ни один из современников Эмерсона, за исключением Эмили Дикинсон, которая шла тем же путем как в теории, так и технике стиха) делает их автора одним из наиболее самобытных и влиятельных, если не самым совершенным поэтом английского языка. Прибавьте к этим качествам глубину высказываемых мыслей, и поэзия Эмерсона станет в известном смысле большим сокровищем нашей литературы, чем его очерки, ибо когда он давал себе волю, то говорил на всеобщем языке, не обращаясь к какой-либо определенной аудитории. Искусство Эмерсона органично в том смысле, что воспроизводит сущность нравственного закона, разлитого в природе; оно классично по самому своему замыслу, и смелые эксперименты обретают жизненность, подобно тому как в «Днях» сложные и хаотичные образы сливаются в едином откровении.

Подобное же встречаем мы и в зрелой прозе Эмерсона — «Представителях человечества», «Чертах английской жизни» и «Пути жизни». Каждая из этих книг, выросшая из специальных лекционных курсов, несет свою главную тему, вокруг которой группируются варьирующие ее отступления: о назначении великих людей, ценностях современной цивилизации, принципах индивидуального поведения. Мудрый Эмерсон теперь говорит в своей собственной церкви, о своем народе и для своего народа. Чувствуя себя уверенно, он больше не бунтует; битва выиграна, и он знает, что его слышат.

Темы его книг не новы. Еще в 1835 году в лекции «Биография», из первой серии лекций, Эмерсон говорил, исследуя качества, присущие великому человеку: есть ли у него цель, которой он предан всей душой? Является ли она общезначимой и бескорыстной? Основывается ли на твердых фактах? Воздействует ли на умы других людей? Несет ли в себе божественную миссию? Две из этих лекций — «Микеланджело», и «Мильтон» — были опубликованы в «Норт эмерикэн ревью» и дошли до нас в первоначальном виде. Три другие — «Лютер», «Джордж Фокс» и «Берк» — наряду с вводной лекцией или не опубликованы, или частично вошли в другие произведения. Замысел этих серий принадлежал самому Эмерсону, хотя, возможно, отчасти подсказан «Жизнеописаниями» Плутарха, где человеческие деяния и намерения судятся по их нравственным достоинствам. Замысел Эмерсона укрепила также книга Карлейля «Герои и о почитании героев», которую он назвал в 1841 году «хорошей книгой, делающей людей смелыми и счастливыми», потому что Карлейль на примерах иллюстрирует, давая оценку, принципы человеческого поведения. Однако в трансцендентализме Карлейля стало проявляться смешение мирского, суетного и этиче-

ского. У Эмерсона был иной подход. Он расценивал людей вне зависимости от их власти над другими. «Человек велик тем, чем он наделен от природы и не похож на других». «Люди тоже представители — сначала вешного мира, затем идей». В противоположность критериям Карлейля критерии Эмерсона демократичны: доверие к себе, нравственное чувство, опыт, интуиция.

Эмерсон тщательно подбирал героев для книги «Представители человечества», с тем чтобы каждый олицетворял различный образ мыслей или деяний, глубоко пережитых им самим: философ Платон, мистик Сведенборг, скептик Монтень, поэт Шекспир, гражданин мира Наполеон, писатель Гёте. То были не столько критические очерки, сколько проверка себя и своих читателей. Он вопрошал: чем измеряется честолюбие человека? И отвечив: по честолюбию других я могу судить о своем. Польза великих людей состоит в том, что мы руководствуемся их опытом в своей частной жизни.

Первые четыре главы — «Платон», «Сведенборг», «Монтень» и «Шекспир» — были продиктованы сердцем; эти личности помогли ему, Эмерсону, перейти от сомнений и неуверенности юности к спокойному самообладанию зрелых лет. В конечном счете каждый из них не вполне соответствовал идеалу Эмерсона, поскольку невозможен великий человек без изъяна. И лишь один преуспел в разрешении противоречий природы, претворив их в единство нравственного закона, отождествив в конечном результате веру и деяние. Эмерсон не решился прямо писать ни о «Христе, осуществившем это», ни о себе самом, стремившемся к тому теоретически, но именно об этом идет речь в начале и конце книги. Наполеон и Гёте не вызывали у него особых симпатий, они были представлены ради полноты картины, поскольку Эмерсон должен был включить по крайней мере одного человека, который бы не писал, и другого, все величие которого почти полностью зависело от того, что он писал. Наполеон для Карлейля — символ мировой силы. Эмерсон, обратившись к личности Наполеона, «на деле» показал истинную ценность и опасности, таящиеся в демократии, и пришел к одному из своих глубочайших выводов относительно демократического кредо.

В каждой лекции им неизменно ставятся одни и те же вопросы: что есть человек? Что он сделал со своей жизнью и во имя чего? Достойны ли его ценности? Пробным камнем является здесь нравственное чувство, способность человека быть неповторимым. В отличие от иных, более умозрительных очерков подобного рода рассуждения возникают лишь в приведенных вопросах. Ни один из них не получает в конечном итоге полного разрешения, и, таким образом, эти частные вопросы вновь возвращают нас к главной проблеме. «Представители человечества», несмотря на то что более слабые главы заключают книгу, отличаются большей целостностью, чем ранние «Очерки». Однако некоторые частные суждения сбивчивы. Для того,

например, чтобы правильно понять вводящий в заблуждение заключительный абзац о Шекспире, следует обратиться к краткой речи Эмерсона по случаю трехсотлетия Шекспира в 1864 году, где без обиняков сказано, что Шекспир — «единственное сокровище нашей жизни, которое не отбрасывает тени... самый здоровый и могучий мыслитель из когда-либо существовавших». В «Представителях человечества» Шекспир привлекается для сравнения ценностей, ему не присущих; в речи же Эмерсон спорит с прежней концепцией, не смешивая, однако, нравственные и эстетические ценности, как то утверждали некоторые критики.

Серия лекций, прочитанная в Бостоне в 1845—1846 годах, явилась основой выступлений Эмерсона в Англии. По возвращении он не издал книги впечатлений, однако серия лекций, подготовленная в течение 1849—1856 годов и основывающаяся на этих впечатлениях, обнаруживает взгляды писателя, сложившиеся в результате этой поездки. Идеи и целые страницы новой книги «Черты английской жизни», вышедшей в 1856 году, были почерпнуты из дневников и лекций. Тогда же Эмерсон предложил слушателям западных штатов свою серию лекций «Путь жизни» — первый набросок книги на эту тему.

Эмерсон не получал удовольствия от своих поездок, но они обогащали не только слушателей, но и его самого. Теперь он нес мудрость к мудрости, а не «руины к руинам» и приобрел известность благодаря тому, чем он был и что говорил. Почетный гость торжественного вечера Манчестерского Атенеума, Эмерсон выступил перед многотысячным собранием, на котором присутствовали такие знаменитости, как Кобден, Брайт *, Крукшенк *, Блэквуд *. Несколько лет спустя он выступил в Цинциннати перед «большим сборищем, присидевшим на его лекции два бесценных часа... изнывая от духовного голода» в ожидании чего-то необычайного. Теперь он был на равных с великими мира сего — с Диккенсом, Теннисоном и снова с Карлейлем, слушал игру Шопена: «Если бы скупые небеса даровали мне к тому же слух на этот случай!» В промежутках между лекциями Эмерсон ездил по недавно проложенным железным дорогам или пользовался более привычными средствами передвижения. Бывало, его радушно принимали в знакомых домах, случалось ему и одиноко сидеть в гостиничных номерах. Париж он называл «местом самой большой свободы, какая возможна в цивилизованном обществе», а «Миссисипи с ее бурными стремнинами... самой одинокой рекой». В Европе Эмерсон изучал людей и общество, на американском Западе покупал карты и книги по географии. Спрос на его выступления столь возрос, что очередные лекции ему приходилось писать в дороге. Его аудитория не всегда оказывалась большой и благосклонной. Лекций было много, иногда по две в день, а доходы невелики. Как-то в Чикаго разовый сбор

Бэйарда Тейлора составил 252 доллара, а Эмерсона — всего 37 долларов — случай, из ряда вон выходящий. Несмотря на всю предприимчивость его антрепренера Александра Айрленда, поездка по Англии, очевидно, не покрывала расходов; в Америке дела шли несколько лучше. Реальным и долговременным доходом от этих поездок стали две выросшие из них книги: «Черты английской жизни» и «Путь жизни». Если бы Эмерсон создал только их, они дали бы ему право называться самым представительным писателем Америки.

Книга Эмерсона о британской цивилизации, подобно всем его произведениям последнего периода, явилась плодом многих лет познаний и раздумий. Готовя одну из ранних серий лекций по английской литературе, Эмерсон прочитал «Историю английской поэзии» Уортона. Он издавна любил произведения английских классиков, однако первая поездка в Англию принесла разочарование. Лишь вновь посетив страну в 1847 году, он постиг суть английского характера, и прошлое стало для него живой частью настоящего. «Англия — лучшая страна, — писал он. — Лондон — вершина нашего бытия». «Черты английской жизни» — первый рассказ о возвращении на «Старую родину» американца, не утратившего к ней симпатии, несмотря на способность критически рассуждать. Это был анализ цивилизации, к которой Америка принадлежала вместе с Англией. Сразу же заняв достойное место в нашей литературе путешествий, книга эта обозначила в творчестве Эмерсона поворот от личного взгляда к социальному. Рассуждая об англичанах, Эмерсон впервые обратился к проблеме человека как явления общественного.

Написанная от имени самого Эмерсона в форме записок путешественника книга начинается рассказом о первом посещении страны, а заканчивается описанием поездки в Стонхендж *, личными впечатлениями и речью в Манчестере. Главы книги являют собой взгляд на современную цивилизацию Британии сквозь призму истории. «Если существует всеми признанный критерий национального гения, — говорил Эмерсон, — это успех, если за последнее тысячелетие в мире существовала хотя бы одна страна, добившаяся успеха, — это Англия». Его любопытство возбуждено, и он ищет ответа в географии, этнологии, этике, политике, образовании, религии, литературе. Разгадка заключается, по его мнению, в неиссякаемом «источнике силы английского характера», в свойственной англосаксам способности воспринимать и усваивать обычаи других народов, пользоваться своим благоприятным местоположением, в умении подняться над ошибками, признавая их, использовать материальные ресурсы, не утрачивая нравственной целостности. Родина человеческих свобод Англия остается вечно юной, и «сила ее в соответствии своему времени». Она воздаст должное материальным ценностям, она может сохранять и укреплять аристо-

кратию, может иметь централизованную церковь и свои высокочтимые университеты, блюсти традиции и ритуалы, не причиняя себе вреда, потому что умеет смеяться над своими ошибками, сохраняя «исконное пристрастие к личной независимости». До тех пор пока она производит паровые машины и поэтов, Англия останется жизнестойкой, несмотря на свои ошибки.

Подобно Куперу и иным американским путешественникам, Эмерсон вернулся на родину, окрыленный верой в ее возможности, но настроенный резко критически к ее недостаткам. Романтический пафос бостонской лекции «Молодой американец» сильно поубавился и уступил место обострившемуся критическому чутью, когда он по возвращении начал работу над книгой «Путь жизни». В отличие от «Черт английской жизни», прямого исследования специфики английской цивилизации, новая книга была обращена к американцам, тогда как прежде он апеллировал к людям вообще. Повсеместное стремление анализировать «свой век» захватило Эмерсона. «В результате странного совпадения, — замечает он, — четверо или пятеро знаменитых людей выступили перед гражданами Бостона и Нью-Йорка с лекциями о духе времени», и все это в течение одной и той же зимы. В 1843 году Карлейль опубликовал «Прошлое и настоящее», дух реформ уже носился в воздухе. «Однако для меня, — предупреждал Эмерсон, — проблема нашего века приобрела характер практического вопроса о пути жизни». Противоречия господствующих идей могут быть разрешены только обращением к более широкому кругу проблем, чем повседневные заботы. Эмерсон заново переписал краткое изложение Первой философии, но теперь ее выводы обрели большую гибкость благодаря знакомству с подлинными силами, действующими в современном обществе, с тем, как ведет себя человек в королевском дворце и в пустыне,

Наконец-то Эмерсон твердо стоит на земле, критически взвешивая окрест. Новая цель заключалась в том, чтобы дать оценку современной цивилизации, руководствуясь собственными критериями, которые совершенствовались им всю жизнь. Ни одно из ранних воззрений, сформулированных в «Природе», не было отвергнуто, но Эмерсон больше не смешивал то, что он видел в людях и окружающем, с тем совершенством, которое могло быть присуще жизни. Критический реализм этого третьего периода сменил гармоническое напряжение ранних произведений более резко обозначившимся дуализмом воззрений: с одной стороны, обостренное восприятие мира, как он есть; с другой — твердая убежденность в единстве основных моральных принципов. Эти выводы, как и их непоследовательность, идут скорее от ума, чем от чувства, но выкладки отмечены точностью формулировок. Искусство Эмерсона скорее в статике, чем в движении. Тех, кто ищет наслаждения в романтическом пафосе его произведений, ждет явная потеря; те же, кто ценит строгость

литературной формы, в этой жесткости видят свидетельство успеха.

«Путь жизни» знаменует собой апогей творчества писателя. Здесь он и критик общества, и философ-моралист. Он стремится исследовать как прагматические, так и идеальные пути жизни, дать оценки как человечеству, так и отдельной личности. Все более очевидны несоответствия между материальным и идеальным, а восхождение от одного уровня к другому уже совершается без той непринужденности, что была в «Природе» и «Очерках». И все же оно должно свершиться. Более мудрый и твердый дух создал главы «Судьба», «Сила», «Поклонение», «Красота», ибо искушение, несправедливость и страдание познаны. Старый оптимизм не иссяк — мы должны возводить наши алтари в честь «великолепного единства» и «великолепной необходимости», но трудности, возникающие на пути, должны быть сочувственно исследованы, прежде чем отмечены. «Юный смертный вступает под небесный свод... Тотчас же его неизбежно обуревают вихрь иллюзий... И когда постепенно воздух очищается и облака рассеиваются, вокруг на своих тронах восседают боги — один на один с ним».

5

Когда писались лекции о пути жизни, тучи Гражданской войны уже нависли над страной. Война разразилась в год появления книги. Так начался четвертый, и последний, период творчества Эмерсона — время осмысления прошлого, ретроспекции. Его литературное дарование стало клониться к упадку. В течение последних тридцати лет жизни оно исподволь подтачивалось тревогами времени, которые, помимо его воли, обращали Эмерсона к общественным делам и национальным проблемам; теперь эти возросшие требования жизни и слабеющие силы писателя не позволяли уделять должного внимания творчеству.

Никогда уже, вплоть до самой смерти в 1882 году, не создал Эмерсон ничего равного «Пути жизни». Он выпустил еще одно собрание очерков «Общество и одиночество» (1870), однако второй задуманный сборник — «Литература и общественные задачи» (1875) — оказался ему не по силам после потрясения, вызванного пожаром: в 1872 году сгорел дом Эмерсона. Его друг Джеймс Эллиот Кэбот взял на себя труд завершить книгу, что и сделал под рассеянным наблюдением автора. Кэбот собрал два тома из груды разрозненных рукописей, а Эдвард Эмерсон подготовил к печати третий после смерти автора. В целом эти пять томов составляют почти половину опубликованной прозы Эмерсона. Однако это всё фрагменты, среди которых встречается отдельные блестящие страницы.

Отчасти трудности последнего этапа творчества можно объяснить новой манерой работы, не только упадком сил писателя. В ранние годы Эмерсон свободно обращался к собствен-

ным сочинениям, переписывал заново и исправлял заимствованные страницы, сохраняя первоначальную рукопись нетронутой. Позднее возросший спрос на его книги уже не оставлял времени следовать прежнему правилу, и он вкладывает в новую рукопись страницы из старой, в результате чего большинство рукописей, когда к ним обратились редакторы, оказалось разрозненными. Едва ли возможно восстановить полный список произведений этих лет, разве что следуя за Кэботом, перечислившим заглавия эмерсоновских лекций. Сами лекции в том виде, как он читал их, утрачены. Подготовленный им сборник «Общество и одиночество» написан в более разговорной манере, нежели его ранние очерки, но дышит их очарованием и полон прежнего красноречия. После войны Эмерсон обратился к радостям домашнего очага, сельскому хозяйству, книгам, клубам, искусству, размышлениям о старости. Собрав воедино все, что говорилось и думалось по этим поводам с 1841 по 1862 год, он решил создать цельное произведение. «Мудрость стара в детстве, молода в восемьдесят и, отбросив все препоны, очищает и умудряет разум счастливец». Таким должен был стать его разум, и таким он стал.

В 1870 году желание всей его жизни «разработать новый метод в метафизике путем рассмотрения некоторых умозрений без попытки глубокого анализа и координирования их» было близко к свершению. Ему предложили прочесть курс из шестнадцати лекций по философии в Гарварде. Но ум его был уже слишком утомлен. Эмерсону не под силу было заново осмыслить собственную теорию законов, существующих для человека, и законов природы. Он читал новый курс, основываясь главным образом на старом материале.

Смерть помешала ему написать свой «Новый органон»*. Оставшиеся отрывки опубликованы под заглавием, которое Эмерсон избрал для всей книги, — «Естественная история разума». Здесь вновь присутствует стремление соотносить силы и законы мысли, инстинкт, вдохновение и память с открытиями естественных наук. Идеи не новы, стиль изложения холоден и ясен, как послеполуденный воздух поздней осени. За три года до смерти он писал:

Как буре птицу не застать врасплох,
Так и меня — земному урагану,
Я руль сжимаю, парус мой неплех,
И верить зову я не перестану.

Основным тезисом Эмерсона оставалось различие в опыте нравственного и естественного и их слияние в идеальном тождестве. Он созерцал этот дуализм со времен юношеских сомнений до дней старческой просветленности, причем вера в «отдельное и общее» осталась непоколебленной. Эмерсон обнаружил вечные истины и показал, как противоборствуют они в сознании нового человека нового мира.

26. ГЕНРИ ДЭВИД ТОРО

Нет ничего удивительного, что на торжественном открытии великолепного нового здания библиотеки в Конкорде в 1872 году честь выступить с речью была предоставлена Ралфу Уолдо Эмерсону. Река мыслей, сказал он, всегда истекает из сверхчувственного мира в умы людей. И он перечислил имена конкордских литераторов: «Мы помним Генри Торо, талантливого и замечательного человека, слывшего среди наших фермеров умелым землемером, который лучше их самих знал принадлежащие им луга, леса, деревья, но снискавшего более широкую популярность в качестве автора нескольких самых превосходных книг, когда-либо написанных в Америке и по-настоящему не оцененных, я думаю, даже наполовину».

Торо не было в живых уже десять лет. При жизни в газетах и журналах появились лишь скудные отрывки из его поэзии и эссеистики да вышли две книги — «Неделя на реках Конкорд и Мерримак» (1849) и «Уолден» (1854).

Скудный список изданных произведений, как и личные особенности Торо, сулили негромкую славу, которая лишь с годами стала напоминать нестройный хор похвал. Для Уильяма Эллери Чаннинга, сопровождавшего Торо во время прогулок, он был поэтом природы. Эмос Бронсон Олкотт называл его типичным уроженцем Новой Англии, крепким, независимым, находчивым янки, которым можно гордиться перед Европой. Когда происходил судебный процесс над Джоном Брауном, местные власти видели в Торо лишь назойливого смутьяна. Они не могли простить этому землемеру пренебрежения служебными обязанностями, как не могли простить, что он однажды в день городского собрания ненароком поджег их лес. Махатма Ганди, выпускавший в Южной Африке «Индиян опинион», увидел в памфлете Торо «О гражданском неповиновении» систему сопротивления деспотическому режиму. Роберт Льюис Стивенсон, многим обязанный Торо и как человек, и как писатель, обозвал его бездельником, уклонявшимся от ответственности, налагаемой жизнью. Критик XX века, отмечая чрезвычайно напряженную творческую жизнь Торо, считал его «одним из классиков прозы, сильнее, чем кто-либо в Англии

или Америке, ощутившим чистоту, силу и свежесть подлинной жизни». Джон Берроуз, упрекнув Торо в «научных ошибках», утверждал, что он являлся воплощением нравственной силы, изъяснявшейся языком природы. Джордж Элиот в «Вестминстер ревью» охарактеризовала «Уолден» как «кусочек подлинной американской жизни (не делячества!), пронизанной тем деятельным и в то же время спокойным духом поиска, той реальной и теоретически обоснованной независимостью от шаблонов, которые свойственны лишь лучшим умам Америки». Джеймс Рассел Лоуэлл провозгласил его подражателем Эмерсона, неприятным эгоистом и неудачником. А сам Эмерсон говорил о нем как о достойнейшем гражданине Конкорда.

Многие из этих отзывов обязаны своим возникновением как личности Торо, так и его книгам. И это понятно: в них запечатлен его облик. Когда Торо обращался к природе, то с удивительным упорством стремился передать на бумаге все свои ощущения и мысли. Когда касался спорных вопросов, то был уверен в своей правоте, сколь бы несообразной или даже абсурдной ни казалась она другим, ибо он пережил все сам. Его книги были исполнены высоким духовным порывом и горячей пульсацией крови. Более чем у кого-либо из великих американцев его поступки, мысли и творчество слиты воедино. Все попытки понять Торо, включая что и для чего он писал, начинаются и заканчиваются личностью писателя.

2

Когда Эмерсон только переехал в Конкорд и назвал Генри Торо достойнейшим гражданином города, он недавно еще знал его, хоть с матерью его был знаком хорошо. Подобно многим дамам, миссис Джон Торо из-за стесненных материальных обстоятельств пускала жильцов, и среди них оказалась миссис Люси Браун, свояченица Эмерсона. Отца, Джона Торо, в Конкорде считали неудачником в торговле. Даже после отмены губительного эмбарго, введенного Джефферсоном, и окончания войны 1812 года торговые банкротства не прекращались. Джону пришлось закрыть лавку. 12 июля 1817 года в Конкорде у него родился сын Генри. В течение пяти лет отец искал удачи в Бостоне и других местах, после чего семья вернулась в Конкорд и стала заниматься производством карандашей. Детей было четверо: старшая Элен, Джон (на два года старше Генри), Генри и София.

Вскоре Генри, подобно большинству детей Новой Англии, которые, закинув ружье за плечи, слоняются по лесам и долинам, полюбил природу, но не стал охотником, предпочитая бродяжничать и ловить рыбу. Любящая и дружная семья Торо хотела послать братьев в Конкордскую академию, как назы-

валась местная частная школа, поскольку уровень преподавания в городской школе их не устраивал. Однако средств на двоих не хватало, и выбор пал на Генри.

Во время учебы в Гарварде Генри слыл в кругу друзей ученым, хотя сам вовсе не желал выделяться из общей среды. Многие часы проводил он в тиши университетской библиотеки, где на полках рядами стояли «Английские поэты» Чалмерса*, двадцать один том, чтение которых было начато еще в Конкорде. Не в натуре Торо было ограничиваться университетской программой. Он стремился к широким познаниям. Основой его образования стало чтение.

Не уделяя особого внимания большинству предметов, он настолько постиг греческий, что уже на второй год обучения получил роль в публичном исполнении греческого диалога. Во время больших зимних каникул Генри начал преподавать в школе в Кэнтоне, штат Массачусетс, и провел целый семестр рядом с унитарийским священником, блестящим и взбалмошным Орестом Бронсоном, который привил ему интерес и к немецкому языку, и литературе, и, возможно, к собственному радикализму.

У Генри была заветная тетрадь, куда в годы учения в Гарварде он вносил много стихов и прозаических отрывков из прочитанных книг — не с какими-то определенными намерениями, а просто так, потому что ему нравилось перечитывать эти побуждающие к размышлению выписки.

К своей тетради Торо обращался, выполняя задания Эдварда Чаннинга, профессора стилистики и риторики из Бойлстона. Чаннинг стремился научить студентов излагать идеи логично и последовательно, естественным и ясным языком. Ум Торо был интуитивным, а не логическим, и потому, естественно, следовало ожидать затруднений. Не то чтобы он не любил делать упражнения или противился методу обучения Чаннинга. Совсем нет. Напротив, он сочинял охотно. Торо даже утверждал, что этот полезный навык приобретен им в Гарварде. Но недостатки были продолжением достоинств. Темы эссе, задаваемые Чаннингом, невольно вели к монотонной дидактике, которой не встретишь в лучших творениях Торо, но что постоянно дает о себе знать в наиболее слабых местах его книг.

В сверхпрограммном чтении Торо открыл для себя современных английских писателей: Кольриджа, который ввел его в немецкий трансцендентализм, Вордсворта, чьи мысли в таких стихах, как ода «Размышление о бессмертии», органично вошли в поток его собственных размышлений, и, наконец, Карлейля, знакомство с которым было весьма плодотворно. У Карлейля он обнаружил богатейший язык и противоядие логическому дидактизму профессора Чаннинга. Для молодежи Карлейль стал евангелием индивидуализма. Торо восхищался здоровым юмором Карлейля, его смелыми преувеличениями, его способ-

ностью ломать барьеры условности. «Карлейлизмы», которые, по словам Эмерсона, заразили почти всех молодых американцев, читавших книги этого шотландца, наложили отпечаток и на раннюю прозу Торо. И прежде чем он достиг зрелости, ему необходимо было избавиться от этого влияния.

По мере того как расширялись его познания, возрастал интерес Торо к елизаветинцам и английским писателям XVII века. Особенно любил он таких прозаиков, как сэр Томас Браун, и поэтов-метафизиков Донна, Вогена, Крэшоу и Герберта. Они покоряли своей эксцентричностью и откровенным выражением чувств и поступков. Он любил повторять строки поэта-елизаветинца Сэмюэла Дэниела:

Коль самого себя не превзойдешь во век
Как жалок будешь ты, о человек...

Во время занятий в Гарвардской библиотеке он натолкнулся на старые книги о путешествиях, подобные «Диковинкам Новой Англии» Джосслина *. Помимо заинтересовавшего его содержания, Торо высоко оценил простой и сильный язык образованных деятелей прошлого.

В последующие годы к этим любимым писателям прибавились лишь один-два; страсть к чтению сделала Торо одним из наиболее образованных американских писателей. В зрелые годы он не выносил авторитетов; книги, однако, не были единственным источником его познаний. Подлинным духовным открытием стала для него «Природа» Эмерсона, появившаяся на свет в родном городке осенью 1836 года. В наше время в Америке, писал Эмерсон, мы страдаем от приверженности к прошлому. «Люди, жившие до нас, видели Бога и природу лицом к лицу; мы же смотрим на Бога и природу их глазами. Почему же и нам не обрести исконной связи со вселенной? Почему бы и нам не создать поэзию и философию, основывающиеся на вдохновении, а не на традиции?» То была заповедь обращаться к жизни, брать от нее как можно больше. Книги должны стать каплями воды в потоке жизни. Ничто не должно препятствовать ее течению. С такими напутствиями Торо мог прямо вступать в американское Возрождение.

В актовый день 16 августа 1837 года Торо в качестве одного из лучших студентов выступил в публичной дискуссии и говорил об отрицательных сторонах духа торговли. Приверженность человека этому духу, сказал он, делает его слепым к красоте мира и высоким целям жизни.

3

Окончив университет, Торо поспешил домой, радуясь мысли, что родился в самом достойном из всех возможных на свете мест и в самое лучшее время. «Если я забуду тебя, о мой Кон-

корд, пусть отсохнет у меня правая рука, — по-мальчишески клялся он в своей тетрадке. — Куда бы ни закинула меня судьба, я буду благословлять ее, что я родом с конкордского Норт Бриджа» *.

Торо стремился жить полной жизнью, насколько позволяли ему условия. Но как осуществить это в повседневных заботах? Он помогал семье по дому и в саду, торговал в отцовской лавке карандашами — во всем городе не было более умелого сына. В семье его считали ученым, и он мог сам распоряжаться своим временем. Тем не менее за свое содержание Генри платил, подобно другим жильцам. И продолжал прогулки и чтение. Он снова преподает в школе. Но через две недели оставляет работу из-за вмешательства школьных властей: им не понравилось, что он отказался от применения телесных наказаний, ведь дисциплина на уроках была хорошей. Возможно, он еще станет учителем в штате Мэн, на Юге или на Западе. Тогда как гарвардские однокашники уже взялись за дело и избрали себе профессии, Генри все еще обдумывал свое будущее, все еще был в нерешительности и не знал, на чем остановиться.

Тут Эмерсон стал его другом.

Тридцатичетырехлетний Эмерсон, находившийся в расцвете творческих сил, пришел в восторг от молодого ученого, глубоко начитанного в той же области, которая интересовала его самого. Более того, Генри свободно читал на многих языках: греческом, латинском, французском и несколько хуже по-итальянски, испански и немецки. Он интересовался грамматикой, был знаком с англосаксонским и с наслаждением читал Чосера. Эмерсон заметил и поддержал живой и независимый ум Торо, столь родственный его собственному и склонный подвергать все сомнению.

В тот август в кембриджском Обществе Фи-Бета-Каппа * Эмерсон произнес свою речь «Американский ученый». Не был ли его юный друг тем свободным американцем, о котором он говорил в этой речи, знатоком великих книг, остро чувствующим природу, способным к деянию и к размышлению? Чем больше Эмерсон узнавал Торо, тем больше ценил этого ладно скроенного человека, его сильные руки, пригодные для труда, и его неутомимый ум.

Мир, куда Эмерсон ввел Торо, открыв перед ним двери своего дома, был ни с чем не сравним — то была особая интеллектуальная вселенная, в которой Эмерсон и группа его приверженцев чувствовали себя свободными. Вскоре Генри, самый молодой, вошел туда на равных и стал членом кружка. Иногда, особенно когда возникали неизбежные трения, он демонстративно поворачивался и уходил. Однако участие в этом обществе избранных сыграло несомненную роль в его развитии, укрепив веру в интуитивное мышление.

Вместе с тем кружок стал предметом острых насмешек Торо. Другим объектом его выпадов были знакомые фермеры — простые и хитрые, практичные и земные философы-янки.

«Вы ведете дневник?» — спросил его Эмерсон. — «Временами». И стал вести. «Чем вы занимаетесь?» — поинтересовался Эмерсон. Но даже в эти годы поисков самого себя Генри не мог бы отправиться в штат Мэн или на Запад, хотя еще раз попытался учительствовать. В течение трех лет преподавал он вместе с братом Джоном в старой школе, используя летние каникулы для поездок на реки Конкорд и Мерримак. Когда же здоровье Джона пошатнулось, Генри отказался от работы. Стеснение свободы не оправдывалось заработком. Ему была нужна и зима, не только лето, для наблюдений и исследований. Не желая более зарабатывать на жизнь преподаванием, Торо с присущей ему прямоотой заявил, что трудится не ради блага ближнего.

Торо любил дом, но в меблированных комнатах он не имел возможности работать. Сочувствуя Торо, Эмерсон сумел помочь и ему и себе. Тяжело переживая смерть брата Чарльза, Эмерсон чувствовал себя одиноким и нуждался в друге. Вскоре он писал Карлейлю: «Один из ваших читателей и поклонников поселился в моем доме, как я надеюсь, на ближайший год. Это Генри Торо, поэт, о котором вы еще однажды услышите». Эмерсон считал Генри подающим большие надежды, подобно молодой цветущей яблоне. Он уже рекомендовал его редактору «Дайэл» Маргарет Фуллер, убедив напечатать стихотворение «Сострадание», появившееся в первом номере журнала наряду со статьей о римском поэте-сатирике Флакке. Эмерсон ценил «Дайэл» главным образом за то, что журнал помогал молодежи войти в литературу, не умножал сочинений в старом духе, а писал о новой жизни и мечтах молодости.

У молодого поэта был лишь один долг — быть поэтом, и Эмерсон никогда не подвергал сомнению эту обязанность Торо. Имея такую поддержку за плечами, Генри пустился в море поэзии. И все же вопрос, на что жить, оставался нерешенным, хотя проживание у Эмерсона временно снимало эту проблему. Попробовал он было, подобно Эмерсону, читать лекции. В первый же год после университета Торо выступил в конкордском Лице * с бесплатной лекцией, многозначительно называвшейся «Общество». Однако читать за деньги не предлагали. К тому же Торо, подобно всем ученикам Эмерсона, имел обыкновение говорить с эмерсоновской интонацией, но у него не было мастерства и покоряющего голоса Эмерсона, а то, что он говорил, было насквозь пропитано гарвардской риторикой.

Учение Карлейля, воспринятое Торо, состояло в том, что каждый человек стремится к такому труду, который больше всего ему подходит, затем, чтобы всецело ему отдаться. «Должен сознаться, — писал Торо, — я чувствую себя довольно

неловко, когда меня спрашивают, что я делаю для общества или что нового могу я сообщить человечеству. Мое замешательство, конечно, имеет свои причины, но я хочу оправдаться. С радостью отдал бы я все самое ценное в своей жизни людям. Вместе с моллюсками растил бы для них жемчужины и вместе с пчелами производил бы для них мед. Для общественного блага просеивал бы солнечные лучи».

То, что Торо обратился сначала к поэзии, неудивительно, ибо в «Дайэл» были напечатаны некоторые лучшие стихотворения Эмерсона: «Вопрос», «Пение птиц», «Снежная буря», «Сфинкс». Ранняя проза Торо во многом несет на себе отпечаток эмерсоновского стиля, но это и все. Маргарет Фуллер отклонила его очерк «Богослужение», хотя признавала богатство мысли Торо. Однако написан очерк был так необычно и так пронизан мистическим символизмом, что читать становилось просто мучительно. Когда редактирование журнала перешло к Эмерсону, его протезе повезло. «Пусть у нашего упрямого янки будут упрямые стихи», — писал Эмерсон мисс Фуллер, когда Торо отказался сделать предложенные исправления. У Эмерсона были свои критические замечания о стиле Торо, он даже признавал, что не без опасения отправил «Зимнюю прогулку» в типографию, несмотря на превосходные зарисовки дровосека и ловца молодых щук. Он видел всю беду в манерности Генри, пытавшегося чего-то достичь сближением противоположностей: так он называл холод знойным, уединение публичным, пустыню домом. Совершенствуя свой стиль, Торо учился писать. В исправленном варианте «Зимней прогулки» манерность исчезла, вместо нее проступил добротный материал, а когда хотел, Генри умел переноситься и в мир воображения.

В письме брату Уильяму в Стейтен-Айленд Эмерсон отдает должное образованности и стихам нового домочадца, его любви к садоводству и прогулкам. Этот крепко сложенный, здоровый блондин с серо-голубыми глазами, сильный и серьезный, казался неутомимым в любом деле. При поддержке Эмерсона он начал сотрудничать в конкордском Лицее, и, хотя городское собрание оказалось прижимистым в субсидировании лекций, ему удалось привлечь интересных ораторов. В отсутствие Эмерсона он редактировал «Дайэл». По мнению Эмерсона, этот находчивый и рассудительный молодой человек мог дать благоразумный совет в труднейшем деле или возглавить экспедицию в Тихий океан.

В лесу Торо бывал особенно бодр и жизнерадостен. Эмерсон отметил развитие у него наблюдательности. Сам же Торо все более проникался убеждением, что разгадку тайн жизни можно отыскать и на конкордских полях. Никто лучше Генри не понимал, что важен не факт, а то, что за ним кроется. Для Торо и в самом малом, и в самом великом скрывалась гармония и красота целого.

В доме Эмерсона, как и в гарвардской библиотеке, Торо перечитывал английских поэтов. Его привел в восторг Одюбон, на которого он случайно натолкнулся. Еще студентом он обнаружил в собрании Чалмерса «Очерки поэзии восточных народов» сэра Уильяма Джонса * с образцами переводов. Эмерсон, сам глубоко интересовавшийся священными книгами Востока, в частности «Законами Ману» *, содержащими религиозно-этическое индуистское учение, обратил на них внимание и своих друзей. Вскоре Торо уже превосходно знал эти книги. Но, очевидно, с «Бхагавадгитой» *, о которой Эмерсон отзывался с восторгом, он не познакомился до тех пор, пока в 1844 году не покинул дом Эмерсона. Для Торо эта книга стала величайшей находкой, столь же важной, как и эмерсоновская «Природа». Эмерсона привлекали в первую очередь мистические размышления. Для Торо же возможность, живя аскетически, соединить созерцание с действием стала руководством к дальнейшему совершенствованию.

Изучение индуистской философии, естественно, способствовало дружбе Торо и Эмерсона. Еще теснее сблизила их горечь неожиданной утраты. В первую зиму жизни в доме Эмерсона внезапно умер от тризма челюсти Джон, горячо любимый брат Генри, а через две недели скончался первенец Эмерсона Уолдо. Эти утраты нашли отражение в произведениях обоих писателей.

Эмерсон хорошо знал привязанность Генри к детям, наблюдая, с каким жаром, словно ребенок, пускался он в их игры. Эта слабость свидетельствовала, что Генри тоже нуждался в добрых отношениях, хотя и делал вид, что они ему не нужны. Хотя Торо бывал колюч как еж и раздражителен, как каймановая черепаха, Эмерсон не принимал всерьез задиристый нрав своего юного друга. Казалось, Генри готов оспаривать любое утверждение, что, естественно, не могло располагать к нему людей. Отдавая должное цельности его натуры, Эмерсон был неизменно чуток и терпелив с ним. И действительно, желая, чтобы свет, излучаемый Торо, превратился в путеводную звезду, он сделал все возможное, чтобы свет этот был виден далеко за пределами «Дайэл».

Хотя Нью-Йорк был центром американской журналистики, где выходили такие газеты, как «Трибьюн» Хорэса Грили, Эмерсон с горечью понимал, что ни один поэт и мало кто из прозаиков может прожить в Америке литературным трудом. И все же с рекомендательным письмом к Грили в кармане можно было больше заработать в Нью-Йорке, чем в Конкорде. К тому же город должен был способствовать творческому развитию Торо. Эмерсон не мог знать его дневниковой записи: «Думаю, что мог бы написать поэму «Конкорд». В нее вошли бы Река, Леса, Пруды, Холмы, Поля, Болота и Луга, Улицы и Дома и Горожане. А также Утро, Полдень и Вечер, Весна,

Лето, Осень и Зима, Ночь, Бабье Лето и Горы на Горизонте».

Прибыв в Нью-Йорк в качестве наставника сына Уильяма Эмерсона, Торо намеревался не только узнать, но и покорить этот город. Натаниел Готорн, которому он понравился, деликатно оказал ему помощь, познакомив молодого провинциала с Джоном Луисом О'Салливаном, редактором нью-йоркского «Демократик ревью». Хорэс Грили, наблюдавший за литературными успехами Торо, почувствовал расположение к молодому человеку. Эти связи сохранились до конца жизни Генри. Для журнала О'Салливэна Торо написал небольшой очерк «Лэндлорд» и основательный разбор удивительной книги некоего Этцлера *, немецкого иммигранта в Пенсильвании, предсказавшего наступление индустриального века, сулящего человеку рай на земле при минимальной затрате труда. Как заправский янки, интересующийся различными механическими устройствами, Торо прочитал Этцлера без всякой предвзятости, но решительно выступил против материалистических целей этого пророка. «Возвращенный рай» будущего, позволяющий вести легкую гедонистическую жизнь на основе новейших технических достижений, показался ему лишенным духовного начала. Существует более верный способ, писал критик, улучшить землю, осушить болота и создать благотворную среду для жизни человека. Лучшие качества человеческой души и незыблемые моральные устои прокладывают путь к этому будущему. Что касается самого Торо, то его никогда не покидала вера в силы человека.

Тем временем Генри одолевала тоска по дому. В Нью-Йорке он чувствовал себя одиноким. «Разве я не плоть от плоти Конкорда? — читаем в письме к Лидиан Эмерсон. — Его земля на подошвах моих сапог и его пыль на моей шляпе». В ноябре 1843 года он вернулся домой.

4

В двадцать шесть лет Торо снова оказался на распутье. Вскоре после окончания университета он писал: «Современный мир — театр. В нем можно играть любую роль. Я могу избрать любой когда-либо существовавший или хотя бы лишь воображаемый образ жизни». Можно стать южноафриканским колонистом, гренландским китобоем, солдатом во Флориде *, капитаном в любом океане. На следующее же лето после нью-йоркской вылазки он получил предложение подобного рода. Айзек Хекер, приятель Торо, еще один исследователь жизни, захотел вдвоем, без всяких средств и надеясь лишь на заработок в дороге, путешествовать по Атлантике, а затем по Англии, Франции, Германии и Италии.

Обдумав, Генри отверг предложение. «Дело в том, — писал он, — что я не могу так решительно откладывать исследование самых дальних Индий, к которым ведут иные пути и иные способы путешествовать». Его уже ждал Уолденский пруд. Обратно, живо, ярко он впоследствии писал: «Я был весьма удивлен, когда некто доверительно предложил мне, взрослому человеку, пуститься с ним в путь, как будто мне нечего было делать, а моя жизнь совершенно не удалась. Что за комплимент в мой адрес! Как будто он встретил меня посреди океана, никуда не плывущим, а лишь лавирующим против ветра, и предложил отправиться вместе с ним! А если бы я согласился, что сказала бы на это страховая компания? Нет, нет! У меня есть свои занятия в жизни. Сказать по правде, я видел объявление о наборе здоровых моряков, когда мальчишкой разгуливал по родному порту, и, как только достиг совершеннолетия, пустился в путь».

Эмерсон предоставил Торо свой участок земли близ пруда, где тот мог жить и работать.

«Я ушел в лес, — писал Торо позднее, — потому что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться». Догадки студенческих лет стали глубокими убеждениями. Большинство людей влачит безнадежное существование, сетуя на горькую судьбу, в то время как сами могли бы ее изменить. Человеческое трудолюбие и предприимчивость, когда они не порождены алчностью, вызывали уважение Торо. Эксплуатация свободного человека другим человеком и самообман относительно целей жизни вызывали у него негодование. Повсюду: в лавках, конторах и полях — люди расплачивались за это самым горьким образом. Сколько бы ни работал его отец, выросший среди торговцев, он обречен был терпеть неудачи, подобно другим лавочникам. А если они и зарабатывали деньги, то тратили их на недостойные цели. В рецензии на Этцлера Торо отмечал, что коренной порок книги тот же, что и порок нашего века: убеждение, будто величайшее благо — не светлое и свободное, ничем не стесненное развитие индивидуума, а материальное благополучие. Торо стремился как можно меньше нарушать естественное течение своей жизни, чтобы сохранить в неприкосновенности тот контакт с природой, который позволял ему дышать с нею одной жизнью, впитывать ее всем своим существом.

Торо ни в коей мере не хотел, чтобы другие следовали его примеру; не намерен был он поучать и тех, кто сами знали свое дело. Таков был его личный ответ на вопрос, как стать счастливым, имея необходимую пищу и кров.

На двадцать восьмом году жизни летом 1845 года в День независимости Торо поселился в хижине, из дверей которой можно было наблюдать солнечные восходы и блеск луны на водах Уолденского пруда. В тихие вечера, сидя в лодке под

звездным небом, он играл на флейте. Свое время он посвятил поискам наиболее точных образов, способных передать пение птиц. Жизнь на Уолдене позволяла читать сосредоточенно и неторопливо.

Он вел запись своим скромным расходам, культивировал свои философские взгляды и бобовое поле. Он изучал своих соседей: выдру и лисицу, канадского француза Терьена — лесоруба, похожего на одного из тех простых тружеников, что описаны Гомером; ирландцев, которые за жалкие шестьдесят центов работали по шестнадцать часов в сутки на строительстве железной дороги в Фичберг, в полумиле к югу от его хижины. Проходя вдоль железной дороги, он видел жалкие лачуги, в которых жили рабочие; их сутулые тела вечно ежились от холода и лишений, они не имели возможности развиваться ни физически, ни духовно. Говоря о будущем американского общества, не мешало бы людям приглядеться к жизни того класса, чьим трудом создаются все достижения века. Рабство и эксплуатация приводили Торо в негодование, которое умерялось лишь чувством возмущения глупостью этих людей, позволявших так себя дурачить. Его одновременно привлекала и отталкивала мысль, что жизнь ирландцев в их конурах странным образом напоминает то опрощение, к которому стремился и он, хотя сам он не знал нищеты и убожества. Поэтому со вздохом облегчения спешил он обратиться к жизни индейцев: она была здоровей. Однако выносливость ирландцев вызывала его неподдельное восхищение, особенно мужество их детей, взирающих на Америку глазами первооткрывателей.

Довольно часто, почти ежедневно, Торо ходил в город, выбирая кратчайший путь — вдоль железнодорожного полотна. Кочегары товарных поездов кивали ему как старому знакомцу. Генри любил наблюдать, как сквозь буран и снег шли груженные вагоны, — воплощение человеческой предприимчивости и дерзаний. В городе он заходил в новый дом, построенный им вместе с отцом. Ему хотелось повидать семью и на радость матушке отведать любимых всеми янки яблочных пирогов, которые она пекла с особыми травками, составляющими секрет ее кулинарного искусства.

Продолжались бесплатные лекции в Лицее о речных прогулках и о жизни в лесу, постоянно велись записи в дневнике об открытиях, книгах, встречах с людьми, о жизни и ее смысле. В отдалении от поселка он лучше мог изучать его. Убежденный индивидуалист, он тем не менее считал, что идея коллективной жизни соответствует духу Америки. Но обыденщину захолустья Торо презирал. Почему город должен ограничиваться учителем, священником, дьяконом, приходской библиотекой и тремя членами городского управления? Только потому, что их имели наши предки-пилигримы, очутившиеся однажды холодной зимой на голой скале? «Пора превратить поселки

в университеты, а их старейших обитателей — в служителей науки, которым досуг позволяет, если они в самом деле так благополучны, совершенствовать до конца жизни свои знания». Пусть будут у нас целые селения просвещенных людей, призвал Торо. «Если нужно, пусть будет одним большим мостом через реку меньше и кое-где придется идти в обход, лишь бы перебросить хоть один мостик над окружающим нас куда более глубоким омутом невежества».

Помимо прогулок по реке Конкорд, Торо совершил еще два путешествия: одно — в штат Мэн, другое — в область государственных дел, закончившееся тюремным заключением. Поездка в штат Мэн, где он забрался на гору Катадин, была первой из трех вылазок в северные леса. Истинное удовольствие принесли ему короткие прогулки на Кейп-Код, Файер-Айленд, в Канаду или в Бруклин, чтобы повидать Уолта Уитмена. Каждую поездку Торо вел записи, собирая материалы для будущих книг. Путешествие в тюрьму в 1846 году имело свои вполне определенные причины. Рабство негров всегда оскорбляло лучшие чувства Торо. Его друзья тоже считали рабство предосудительным, но оставались бездеятельны. Иное дело Торо и его семья. Они укрывали беглых рабов, а на Уолдене Торо как-то приютил беглеца, направляющегося в Канаду. Повседневный опыт убеждал его, что рабовладельцы становятся все более заносчивыми и жадными. Алчный Север, извлекающий огромные барыши от хлопка, выращенного неграми, становился все трусливее и сговорчивее. Противниками Торо были не далекие плантаторы-рабовладельцы, а соседние сотни тысяч лавочников и фермеров, которые, протестуя против рабства, и пальцем не пошевелили, чтобы как-нибудь изменить положение рабов. Наступило время, когда правда и Конституция пришли в противоречие. Торо был преисполнен готовности активно выступить в любой момент. Уже второе лето он жил на берегах Уолдена, когда началась война с Мексикой, названная им отвратительным заговором рабовладельцев с целью заручиться голосами на выборах после присоединения Техаса. Если правительство поступает беспринципно, его не следует поддерживать. И он отказался платить налоги.

Приятель Торо констебль Сэм Стейплс не хотел сажать его в тюрьму. «Я заплачу за тебя налог, если у тебя пусто в кармане, Генри». Но тот предпочел начать свою революцию в одиночку. В ту же ночь кто-то, к великому неудовольствию Торо, сорвал его демонстрацию, уплатив налог. Теперь ничего не оставалось, как вернуться на пруд. Однако ночь в тюрьме не прошла напрасно: она дала ему пищу для размышлений о взаимоотношениях человека и государства.

На Уолдене, используя дневники и лекции, Торо заканчивает описание путешествия с братом по рекам Конкорд и Мерримак, а также статью о Карлейле, напечатанную позже

в «Грэмз мэгэзин». Иногда по воскресеньям он принимал посетителей; побеседовать с ним приходило с полдюжины железнодорожных рабочих, крепких и здоровых, в белых чистых рубашках, которые они надевали по этому случаю.

Иногда хижина и прибрежные пригорки оглашались детскими голосами — маленькие Хосмеры и девочки Олкотта набегали подобно ветерку с поселка. Часто навевывался Эллери Чаннинг, который говорил, что Генри сросся со своим образом жизни, как кора со стволом дерева. Приходили Эмерсон и Олкотт, утверждавший, что ему никогда не приходилось встречать человека, столь слившегося с природой. Казалось, что природа, лес со всеми его обитателями и Торо сделаны из одного материала. Однажды вечером, прослушав отрывок о путешествии по рекам, Олкотт назвал рассказ Генри о жизни в лесах и на реках Новой Англии глубоко национальным, чисто американским. Больше нигде не могло быть написано такое, и вместе с тем в описании природы у Торо чувствуется знакомство с сокровищами мировой литературы. Книга Торо, решил Олкотт, должна быть известна, «она покорит сердца и воображение читателей, пробудит естественное благоговение перед природой, столь же неожиданное, как и благотворно освежающее».

Великие произведения создавались силой великой любви, горя, ненависти и других столь же глубоких чувств. Все книги Торо неразрывно связаны с образом его жизни. Так была написана «Неделя на реках Конкорд и Мерримак», так создавался «Уолден», исполненный спокойной безмятежности и силы духа, свидетельствовавших о творческом подъеме.

Внешне путешествие Генри с братом протекало спокойно, как течение реки, по которой они плыли в 1839 году. Воспоминания о поездке пробудили чувства, наполнившие произведение неизъяснимым очарованием. Генри не мог написать о той поездке и строчки, не вспомнив, что Джона уже спустя год не было в живых. Мысль об этой утрате, невыносимая сама по себе, становилась мучительней от того, что, отправляясь в путь, оба брата влюбились в одну и ту же девушку, хотя, по-видимому, никогда не говорили между собой об этой странной и запутанной ситуации.

Девушку звали Эллен Сьюолл. Она принадлежала к известной в Новой Англии консервативной семье и приехала ненадолго погостить в Конкорд. Ей нравились оба юноши, с которыми она совершала прогулки или каталась на лодке. Джон сделал предложение первым, но был отвергнут: Эллен не была уверена в своих чувствах и прислушалась к сомнениям своих родителей. Так Генри получил возможность попытать свое счастье. «От любви только одно лекарство — любить еще сильнее», — записал он в дневнике. Столь высоки были его представления об этом чувстве, столь велико преклонение перед силой любви, что он надеялся: чуткая, хотя в остальном совершенно

обыкновенная Эллен сама поймет, что ее любят. «Любовь — глубочайшая из тайн. Разглашенная даже любимой, она перестает быть любовью». Однако реальная острота чувства заставила его в конце концов спуститься со своего трансцендентального неба на землю, и то, что начиналось столь идиллично, привело к сбивчивому, мучительному и неизбежному объяснению. Предложение он сделал письменно, почти не имея надежды на согласие. Говорят, что Эллен было нелегко отказать Генри. Но на том все и кончилось. Затем умер брат. Когда четыре года спустя Торо писал об этом на Уолдене, он вновь пережил прошлое.

Однако согласие Эллен поставило бы его в затруднительное положение. Женитьба — он понимал это — потребовала бы уступок, а Генри не терпел никаких компромиссов. Так Эллен Сьюолл, сама того не ведая, сыграла роль в формировании писателя и мыслителя. Непосредственным откликом на эту любовь стало очаровательное стихотворение «Деве на Востоке». В дальнейшем под впечатлением пережитого сложилась его философия любви и дружбы. Уже к законченной «Неделе» Торо приложил очерк, один из лучших в его книге, развив в нем идеальное представление о духовном родстве двух друзей и необыкновенно высоких требованиях любви.

6 сентября 1847 года, по прошествии двух лет, двух месяцев и двух дней, Торо покинул Уолден. Эмерсон уезжал читать лекции за границей и просил Торо присматривать за его домом. Это была лишь одна из причин; сам Торо вряд ли мог бы сказать, в чем заключалась другая. Он питал глубокую привязанность к Лидиан Эмерсон, которую называл «сестрой-матерью», как и Эллен Сьюолл: она способствовала формированию его трансцендентальной платонической философии дружбы. Новая жизнь открывалась перед ним. Настоящий день был еще впереди.

Живя у пруда, он совершал дальние странствия во времени и пространстве. Вместе с капитаном Джоном Смитом, Уильямом Брэдфордом, Джосслином и другими авторами путевых хроник он побывал в дикой, еще не тронутой цивилизацией Америке, разговаривал с первыми поселенцами Конкорда, в храме на священных берегах Ганга вел беседы с жрецами Браммы, Вишну и Индры. Он жил в слиянии с природой. Проникнув в самую суть жизни, Торо обогатил целостность и чистоту своего духа. Без пребывания на берегу пруда не было бы не только «Уолдена», но и «Недели». Если бы Торо вел, как все, обычную жизнь, то не стал бы тем Торо, которого знает мир по его книгам.

Он заносил переполнявшие его мысли в дневник, а когда им стало там тесно, изложил их в лекции «О гражданском неповиновении», впервые прозвучавшей под названием «Сопrotивление гражданскому правительству». Здесь он возмущался трусостью людей, не решающихся выступить против правительства, совер-

шившего преступление и поправшего законность и вечную справедливость. Совесть, даже если это совесть меньшинства, вправе решать, что справедливо и что несправедливо.

5

Окончив работу над «Неделей», Торо занялся поисками издателя. Его друзья считали, что книга вызовет большой спрос, и, забыв, что художественная оригинальность имеет сомнительное коммерческое достоинство, не могли понять причину промедления. Во время своего путешествия по Англии Эмерсон расхваливал Торо и его произведение, которое, по его словам, напоминает «пасторали Исаака Уолтона *, ароматично, как сахарный тростник, отличается широтой и глубиной мысли, присущей Ману». Однако, несмотря на все старания друзей, охотника выпустить книгу на свой страх и риск не удалось.

Ждать пришлось довольно долго. Занявшись изготовлением карандашей, он мог оплатить расходы по изданию. В начале лета 1849 года была отпечатана тысяча экземпляров «Недели», однако так называемый «издатель», деньги которому были гарантированы, не приложил никаких усилий, чтобы довести книгу до читателя. Ее заметили немногие литературно-критические журналы, и появились лишь две небольшие рецензии. Хорэс Грили поместил заметку в «Трибьюн», а в «Массачусетс кватерли» Джеймс Рассел Лоуэлл, уже достаточно прославленный к тому времени критик, доброжелательно отозвался о книге. Лоуэлл с удовольствием прочел рассказ о самом путешествии, хотя его не привлекали ни приглашение автора принять участие в речной прогулке, ни нравоучительный тон повествования. Тем не менее он признал в писателе мыслителя и поэта.

Уже не впервые Торо привлекал внимание Лоуэлла. В остроумной «Басне для критиков» последний язвительно писал, что, будучи временно, исключенным из Гарварда и скучая в Конкорде, он заметил, как Торо подбирал падалицу в саду Эмерсона. Для такого обвинения были определенные основания. Восхищенный «Природой» Эмерсона, которая придавала жизнь и силу его убеждениям, безгранично ценя дружбу и духовное родство с Эмерсоном, Торо, подобно многим способным молодым людям, ищущим своего пути, совершенно естественно и неосознанно следовал за светочем своего старшего друга. Однако в зрелые годы Торо обрел самостоятельность, и Эмерсон первым удивлялся и даже обижался, если кто-либо не хотел этого признавать.

Рецензия Джорджа Рипли в «Трибьюн» могла бы оказать «Неделе» хорошую услугу, ибо была написана именно с этой целью. Однако Рипли, бывшего унитариянского священника, хотя и либерала, оскорбило то, что он называл приверженностью

Торо к «сомнительной и опасной школе» трансценденталистов, а также его «неуместные пантеистические нападки на христианскую веру». В XIX веке подобное обвинение могло отпугнуть многих. Не удивительно, что первая книга Торо оказалась мертворожденной. Большая часть тысячного тиража как нераспроданная была возвращена автору. Около сотни экземпляров он раздал сам.

По предложению Эмерсона книга была послана молодому англичанину, которому он рассказывал о бескомпромиссной жизни Торо, — Джеймсу Энтони Фруду *, члену совета Эксетерского колледжа в Оксфорде, автору серьезного труда «Немезида веры», этого «неистового протеста против всех властей, как божественных, так и человеческих», который подвергся резкой критике в печати. «Когда я думаю о вас, о том, что вы сделали, и о том, что написали, — обращался Фруд к Торо, — я имею право сказать, что на свете нет ныне человека, чье дружеское внимание я ценил бы выше вашего». Очевидно, эти слова были вызваны не только книгой о небольшом путешествии. У Торо Фруд почерпнул силу, позволившую ему сохранить верность своим убеждениям.

«Неделя на реках Конкорд и Мерримак» состоит из семи глав, по одной на каждый день недели. Хотя в действительности путешествие длилось гораздо дольше, художественный вкус Торо подсказал ему, как уплотнить ход времени. Автор не стремился дать только наблюдения, накопленные во время путешествия. Он заглядывал в старые и новые дневники, черпал кое-что из своих статей в «Дайэл». Рассуждения о священных книгах индусов возникли гораздо позже — в библиотеке Эмерсона и на Уолдене. Многочисленные отступления в книге, например о дружбе, написаны мастерски. Однако можно понять Лоуэлла, сравнивавшего эти отступления с тем, как, плывя по реке, неожиданно налетаешь на корягу, хотя, по утверждению того же Лоуэлла, было бы жаль лишиться таких препон. Все же Торо так перегрузил свой рассказ о путешествии тремя сотнями ссылок и цитат из прочитанного, что едва не потопил свой утлый челн. «Неделя» написана книжным языком, и Торо не удалось переварить «начитанный» материал, чего нельзя сказать об «Уолдене», хотя даже в «Неделе» изложение прочитанного и описание увиденного как бы сливаются с течением реки. Да, эта первая попытка сказать свое собственное слово временами обнаруживает беспомощность автора. Легко доказать, что «Неделя», построенная на основе простейшей схемы и в то же время отличающаяся разорванностью действия, утрачивает художественную целостность. Но равным образом можно сказать, что неспешное и неравномерное течение повествования выражает самый дух реки Конкорд, которая как для Торо, так и для Эмерсона была символом самой жизни. Задумчивый августовский день проходит незаметно от восхода до заката солнца, и

только различные темы повествования вносят разнообразие в это неспешное течение. Конец книги придает определенную завершенность целому. Сентябрьская свежесть гонит летнюю дремоту, а ночью возможны заморозки.

Рукопись «Уолдена», итог зрелых размышлений и художественных поисков, была подготовлена к печати ко времени выхода в свет первой книги, но издатели и слышать о ней не хотели, помня о том, как была принята «Неделя». Генри пришлось ждать. Однако духовная и эмоциональная взволнованность, заставившая Торо написать «Уолден», была залогом того, что рано или поздно успех ей обеспечен. Приверженность к естественной жизни на берегу Уолдена и в конкордской общине, обожествление природы (за ней как бы скрывается бог), протест против пустой траты жизни в условиях торгашеской цивилизации, любовь к друзьям и интерес к людям — все это и многое другое нашло место на страницах «Уолдена». «Только то может быть написано хорошо и правдиво, что пишется с истинным удовольствием, — замечает Торо. — Тело и чувства должны составлять единое целое с разумом». Не жалея усилий, он совершенствовал свои творения. Страницы его дневников были теми обширными полями, которые он засеивал своими мыслями, созревшими лишь после бесчисленных обработок. Торо учился мастерству у древних греков, используя при этом яркий, острый, краткий, типично американский язык, которым разговаривали его друзья фермеры Джордж Майнотт и Эдмунд Хосмер.

Интуитивное мышление Торо порождало весьма своеобразные фразы. Они часто приходили к нему в таком незавершенном виде, что не были пригодны не только для печати, но и для понимания; тогда он переписывал их по нескольку раз, перекраивая, переделывая то на один, то на другой лад, подгоняя одну к другой, пока они не превращались в ткань книги. Прежде чем «Уолден» был подготовлен к печати, Торо исписал массу бумаги. Многие разделы первого варианта переписывались по нескольку раз.

В течение пяти лет, пока «Уолден», подобно куколке, лежал без движения, Торо не переставал шлифовать каждое слово. Продолжая изготавливать карандаши, чтобы расплатиться за «Неделю», он зарабатывал на жизнь трудом землемера, что нравилось ему больше, чем работать попеременно садоводом, каменщиком, маляром или плотником. Да, Аполлон служил теперь Адмету, но обязанности уводили его в любимые им поля и рощи. Ежедневно продолжались его речные и сухопутные исследования.

Хотя природа по-прежнему оставалась для него религией, кое-что изменилось в их взаимоотношениях. Другом Торо стал знаменитый гарвардский ученый Луи Агассис*, автор «Очерка систематизации», прививший ему свою беспримерную страсть к скрупулезному описанию, которая была так близка самому Ген-

ри. Однако характерная для науки XIX века фактография не признавала никакой философской системы, способной избавить ее приверженцев от всевозрастающей массы фактов. В лесу Генри с учебником ботаники Грея * в руках подчас забывал о боге. В начале их дружбы Эмерсон предостерегал Торо от поисков «таинственного и неуловимого ночного певца», к чему Торо и не стремился. Но теперь у него оставалось еще меньше времени для постижения тайны творения, ибо он обременил себя массой сведений о глубине снега, кольцах на деревьях, травах и лишайниках — конкретными фактами, с которыми не знал, что делать.

Торо уже реже встречался с Эмерсоном, чем в первые годы дружбы. Забыв о рукописи «Уолдена» и о богатствах, накопленных в дневниках Генри, Эмерсон продолжал надеяться, что его друг исполнит завет гармонической цельности, сформулированный в «Американском ученом», и покажет себя человеком великого действия. Лелея эту мечту, он на время утратил понимание того, что Торо становится совершенным художником, национальным американским мастером слова, появление которого с таким нетерпением ожидал. Слова Генри в стихотворении «Молитва» о том, что ему не оправдать надежд своих друзей, казалось, буквально сбылись тогда, когда Эмерсон засвидетельствовал в своем дневнике: «Торо следовало бы немножко добавить честолюбия. А то он, вместо того чтобы быть главным американским инженером, предводительствует командой по сбору черники».

К счастью, природа была основой их постоянного контакта. Подобно многим высокообразованным людям, Эмерсон, хотя и черпал вдохновение в лесах, по-настоящему леса не знал. Он почитал за великую честь, когда Генри брал его с собой на прогулку или катал в лодке. Не было в Конкорде лисы, вороны или куропатки, считал Эмерсон, которые знали бы местность лучше, чем Торо. Эмерсон едва поспевал за широко шагающим Торо, одетым в грубую домотканую одежду, позволявшую пробираться сквозь заросли колючего кустарника. В глубоком кармане пальто Торо находились его записная книжка и карандаш, под мышкой — старый нотный альбом, чтобы засушивать растения, подозрительная труба для птиц, карманный микроскоп для цветов, складной нож и бечевка на всякий случай. Каждый не задумываясь доверится такому проводнику и не пожалеет.

Наконец, в начале августа 1854 года «Уолден, или Жизнь в лесу» был опубликован, — компактная, превосходно и экономно написанная книга, представляющая собой наряду с прочим автобиографию духа и тела, сообща вкушающих всю полноту жизни. Структура произведения основывается на событиях жизни героя у пруда, а время определяется сменой сезонов от лета к осени, зиме и ликующей весне — год становится символом человеческой жизни. Как в «Неделе» и с той же целью,

Торо не придерживался хронологии своей жизни у пруда, значительно уплотнив время. Темы и размышления, упорядоченные по принципу контраста или сходства, связываются между собой искусными переходами.

Богатые горожане Конкорда, не заметившие ничего другого, обратили внимание на бережливость Торо и пришли в восхищение, что можно прожить так дешево. Они ставили под сомнение честность писателя и искали доказательства обмана, вспоминая о вкусных пирогах миссис Торо. Такое прозаическое понимание книги распространилось далеко за пределы Конкорда. Многие читатели, соблазненные конкретными хозяйственными расчетами Торо, восприняли их слишком всерьез, как будто они не были второстепенным отвлекающим моментом, а заключали в себе всю суть книги. С лукавым удовольствием, чтобы провести тех, кто понимает все буквально, он добавил к цифрам расходов различные дроби, вплоть до трех четвертей цента, и весьма преуспел, уведя читателей в сторону от большого проблем. Но Чаннинг, Эмерсон, Олкотт и другие друзья хорошо знали, чего надо искать в этой книге. Эмерсону должен был нравиться блеск строк, полных таинственной красоты, правдивость описаний природы. «Уровень воды в Уолдене, — говорил он, — ныне трепетно понижается при виде выпавшей на его долю славы». Естественно, что Олкотт сосредоточил все внимание на социальных теориях Генри и его рассказе о противоборстве с государством. «Этот человек — самый независимый из независимых, единственный, кто на самом деле подписал Декларацию независимости. Он более, чем 1776 год, воплощает собой Революцию, ибо от подписания Декларации перешел к ее выполнению». Некий юноша писал из Гарварда: «Мы в Кембридже смотрим на Конкорд как на своего рода Мекку студентов и рады видеть, что ваша последняя книга снискала такую популярность».

В критических обзорах Торо упоминался лишь изредка и с сомнительной благосклонностью. Слава его была впереди. Лишь девяносто лет спустя могла появиться следующая оценка «Уолдена»: «Мы читаем «Уолден» как очерки философии человеческого счастья с некоторыми отступлениями о жизни прудов, полетах ястребов, снежных узорах и повадках сов. Его величайшее достижение — в том изяществе, с каким подана здесь гармония жизни человека и жизни природы. Зарисовки жизни леса — как паузы в молитве, они изобличают алчность и лицемерие».

6

Незадолго до публикации «Уолдена» власти и Генри Торо столкнулись снова. В 1850 году был принят Закон о беглых рабах, превративший Торо и его единомышленников в Новой Англии в преступников, ибо они продолжали помогать черным бег-

лецам. В 1854 году, в год «Уолдена», общественное мнение Конкорда уже созрело настолько, чтобы потребовать на городском собрании обсуждения проблемы рабства. Но когда Торо пришел, чтобы сказать об обязанностях Массачусетса, то обнаружил, что его сограждан интересовали лишь события, происходящие в далекой Небраске. Тем не менее в Фрамингеме в День независимости ему удалось произнести речь, которая оказалась не к месту в Конкорде. Кратко и резко, со свойственным ему бесстрашием, когда дело касалось моральных вопросов, Торо осудил самодовольство и трусость Массачусетса. Практичных политиканов повергло в смятение и отчаяние, что он не принимал в расчет ничего, кроме совести и принципов.

Через три года Джон Браун посетил Конкорд, и Торо увидел человека, готового сражаться за свои убеждения. Когда Брауна приговорили к повешению за нападение на Харперс Ферри, Торо сразу же смело выступил в его защиту. Местный аболиционистский комитет, комитет новорожденной республиканской партии и даже его ближайшие друзья считали это выступление преждевременным. «Я не прошу у вас совета, а хочу лишь сообщить, что буду выступать». Так он и сделал, сначала в Конкорде, потом в Бостоне. В конце концов Массачусетс занял антирабовладельческую позицию, и одной из причин этого следует признать выступление Генри Торо.

Пока эти проблемы волновали его ум, он словно забыл, что дикие утки все еще ныряют в Ассабете, что предстоит еще жить, писать новые очерки и, возможно, книги. В последние годы работе мешали и возросшие обязанности перед семьей. После смерти отца Генри возглавил его дело, перейдя от изготовления карандашей к более выгодной работе по выделке графита. И все же время от времени появлялись его очерки: «Ктаадн» — рассказ о первой поездке в штат Мэн, напечатанный в «Юнион мэгэзин»; «Патнемс» опубликовал очерк о посещении Кейп-Кода. По просьбе Джеймса Рассела Лоуэлла для нового журнала «Атлантик» был написан очерк о втором путешествии в мэнские леса «Чезункук» (напечатан в июне—августе 1858 года).

Раскрыв июльский номер журнала, Торо к своему удивлению обнаружил, что Лоуэлл выбросил из описания сосны одно предложение: «Она так же бессмертна, как и я, и, возможно, поднимется еще выше в небо, чтобы по-прежнему возвышаться надо мной». Он и раньше встречался с издательскими проделками, но не такого рода. Лоуэлл задел главную струну Торо. Как-то Готорн шутливо заметил, что Генри гордится тем, что ближе кого бы то ни было проник в душу сосны. Припомнив любовь Торо к священным книгам индусов, нетрудно понять, что тут было не до шуток. «Я не прошу кого-либо соглашаться с моими суждениями, — писал он, — но раз вы их печатаете, то печатайте без изменений или же получайте мое согласие на изменения и пропуски». Как будто его можно было заставить исказить свои

собственные идеи! «Я пишу вовсе не для того, чтобы в какой бы то ни было мере солидаризироваться с партиями, проявляющими ханжество и трусливость». Мог ли согласиться с этим журнал «Атлантик»? Редактор не удостоил Торо ответа.

Торо больше не посылал Лоуэллу статей. Но когда редактором стал Джеймс Т. Филдс, Торо, по его просьбе, написал для журнала очерки «Прогулка», «Краски осени» и «Дикие яблоки». Тяжело больной, он держал корректуру первого очерка, но увидеть его в печати ему не было суждено. Бич семьи, туберкулез, наконец сразил и его. Жизнь на свежем воздухе, возможно, отдалила такой конец, но простуды, воздух лавки, пропитанный графитной пылью, сделали свое дело.

Запад неизменно тянул Торо к себе. Он только что вернулся из поездки в Миннесоту, где надеялся поправить здоровье. В конце зимы он умирал. Даже прикованный к постели, этот человек, проживший жизнь в единстве с природой, оставался спокоен, составлял список всего написанного им, приводил в порядок дневники, принимал друзей. Иглы дикобраза, охранявшие его независимость, теперь были не нужны. Под ними скрывалась природная доброта. Торо мучительно беспокоило только одно — охватившая страну кровавая междоусобица. Пока она продолжается, признавался он, ему не выздороветь.

Он умирал, окруженный уважением и почитанием сограждан, некогда называвших его чудаком. Сэм Стейплс никогда не видел, чтобы умирали так хорошо и спокойно. Сосед-священник Грайндел Рейнолдс застал однажды Торо работающим над рукописью. Тот весело взглянул на него и, поскольку говорить уже не мог, прошептал: «Как прекрасно оставить наследство друзьям».

«Генри, примирился ли ты с Богом?» — спросила благочестивая тетка Мария. «Что вы, тетушка, разве мы с ним ссорились?» 6 мая 1862 года в девять часов утра — Генри больше всего любил утренние часы — он умер. Ему было сорок четыре года, девять месяцев и двадцать четыре дня.

Вскоре Эмерсон написал его краткую биографию, одну из лучших на английском языке. Олкотт никак не мог поверить, что этот исконный обитатель нашей планеты вместо того, чтобы стать свидетелем, как она провалится в тартарары, тихонько улизнул из пространства и времени, украшением которых был его гений. Олкотт страстно ожидал последней книги Торо, своего рода всеохватывающего «Атласа Конкорда». Но, если бы время и силы позволили, Торо скорее написал бы книгу об американских индейцах. В год смерти его мысли были заняты целиком этой темой. Джордж Уильям Кертис видел больного Торо в его последнюю осень. «Он говорил об американских индейцах, наших обязанностях перед ними и нашей неблагодарности. Это была, несомненно, прекраснейшая речь об индейцах, которую мне когда-либо доводилось слышать или читать. Надо

полагать, среди его бумаг сохранились свидетельства изучения их жизни и преклонения перед ними». Действительно, записи сохранились, но весьма хаотичные...

7

После смерти Торо друзья издали его новые книги, включив в них статьи из периодики и дневников. В 1863 году были опубликованы «Прогулки», наспех составленные из отрывков, собранных сестрой Генри Софией. В книгу вошла и «Прогулка» из журнала «Атлантик» — краткий, и возможно лучший, комментарий к тому, ради чего Торо жил, а также появившиеся намного раньше в «Дайэл» «Естественная история Массачусетса» и «Зимняя прогулка». Там же напечатана заключительная лекция, прочитанная в сельскохозяйственном обществе Мидлсекса «Сукцессия леса». Здесь Торо излагает результаты своих исследований по лесоводству. Хотя она написана в свойственной Торо своеобразной манере, председательствовавший в тот день губернатор Массачусетса Джордж Баутвелл поздравил общество с такой ясной и деловой речью.

В 1864 году вышли «Мэнские леса» — статьи Торо о трех поездках на север Новой Англии, которые для него самого еще не сложились в книгу. Здесь с особой силой проявилась любовь к жизни на природе, наслаждение всем, с нею связанным, кроме разве охоты, которую Торо считал занятием, недостойным человека. Писатель восхищается лесными жителями, такими, как индейский вождь Джо Полис или речники и первопроходцы дядюшка Джордж Маккаслин и Том Фаулер, чувствующие себя привольно в Пенобскоте, как пара лососей. Книга обладает той композиционной стройностью, которой так не хватало вдохновенно написанной «Неделе». Непосвященного читателя подстерегает здесь меньше неожиданностей. Генри хотел, чтобы к этой книге обращались те, кто отправляется за город. И действительно, «Мэнские леса» — превосходное чтение для предприимчивых людей и юношей, впервые знакомящихся с Торо.

В «Кейп-Коде» (1865) собрано все, что было написано об этой поездке Торо. В отличие от «Мэнских лесов» «Кейп-Код» ради стройности композиции отклоняется от фактической стороны этой прогулки. Подобно другим книгам Торо о путешествиях, это скорее репортаж, чем законченное художественное произведение. Лишь в «Неделе», располагая на Уолдене свободным временем, Торо удалось избежать ограниченности рассказа очевидца. Для первоначального замысла он использовал факты своей первой поездки на Кейп-Код, вставив их в позднейшие разработки той же темы. В «Кейп-Коде», более чем в каком-либо ином произведении, Торо уделяет внимание чело-

веку наряду с землей и океаном. Читателей до сих пор привлекают энтузиазм и юмор, с каким написана эта книга. В том же 1865 году вышли собранные под редакцией Эмерсона «Письма к различным лицам».

Хотя при жизни Торо были опубликованы лишь две его книги, после смерти он стал известным писателем, а перечень его сочинений на титульном листе удлинился с каждым вновь опубликованным произведением. Все же в том триумфальном шествии к славе, которое предвидели Эмерсон и Олкотт, произошла заминка. В 1865 году Джеймс Рассел Лоуэлл высказал напоследок все, что он думал о Торо и группе трансценденталистов, к которой он его причислял. Авторитет Лоуэлла был велик, к его словам прислушивались. Его литературные заметки, занимающие одиннадцать страниц во влиятельном «Норт эмерикэн ревью», лишь весьма отдаленно напоминают то, что он высказал за шестнадцать лет до того в рецензии на «Неделю». Осталась похвала мастерству Торо, и более ничего. Лоуэлл — один из самых взыскательных критиков, принявший всерьез уолденский эксперимент и пытавшийся отыскать в нем обман и ошибки. По его мнению, Торо «столь высококого мнения о себе, что без стеснения принимает и хочет, чтобы мы приняли его недостатки и слабости, словно это присущие лишь ему достоинства и добродетели». Надо сказать, Лоуэлл применяет здесь старый-престарый прием: читатель не знает, что в действительности писал тот, о ком говорит критик. Торо был ленив, продолжает Лоуэлл, и свою лень оправдывал тем, что, мол, будничная человеческая деятельность презренна. Однако сам Лоуэлл никогда не бродил вместе с Торо по лесу, не работал землемером, не исходил окрестности Конкорда, не возводил кирпичных стен, не изготовлял графита, не писал ни «Уолден», ни «Недели», ни многотомных дневников. Уединенная жизнь Торо, настаивал Лоуэлл, полностью изолировала его от людей, даже тех, что собирались в уолденской хижине, и лишила его права называться живым наблюдателем жизни. Нападки Торо на преуспевание (в том смысле, как понимал Лоуэлл) критик объяснял неумением Торо добиваться успеха в жизни. Себялюбивый, не сделавший никому добра, добавлял Лоуэлл, Торо жил только для себя. Лоуэллу, очевидно, не довелось слышать историю о том, как скряга-фермер присвоил себе награду, которую выиграл в состязании земледельцев его батрак-ирландец, а Генри, чтобы восстановить справедливость, собрал деньги и так отбрил фермера-янки, что у того только уши горели. Мог ли Лоуэлл знать, как вдохновлял Торо всех борцов: от Джеймса Энтони Фруда в Англии до гарвардских студентов, находивших себе поддержку в его книгах?

Олкотт, друг Лоуэлла, был глубоко опечален этой статьей. Лоуэллу не следовало бы ее писать, считал он: Торо и ему подобные намного выше уровня его понимания. «В основе его

оценок лежит очевидная правда, которая внушает доверие. Однако достоинства Генри переживут любую уничижительную критику и станут в глазах непредвзятого читателя оправданием его жизни и сочинений». Но, как предвидел Олкотт, от суровой критики Лоуэлла нельзя было просто отмахнуться. В ней есть своя логика. Торо наступил на любимую мозоль достойных, пекущихся об общественном благе, трудолюбивых, уважаемых людей, — людей, весьма преуспевающих в глазах всего общества. Он мешает им и теперь. Лоуэлл говорил от их имени. С точки зрения реалистов, учение Торо лишено здравого смысла, ибо он, как Дон Кихот, игнорирует факты и то, что за ними скрывается. «Либо этот человек шутит, либо его слова взмутительны», — нацарапал некий студент XX века на полях библиотечного экземпляра книги «О гражданском неповиновении». «Ты ничего не понял!» — поучает его другой. Оба мнения заслуживают того, чтобы о них задуматься.

Книги Торо продолжали выходить. В 1866 году появился том «Янки в Канаде», в который вошли три главы наблюдений, впервые опубликованные в журнале «Патнемс», различные социальные и политические очерки: «О гражданском неповиновении», «Рабство в Массачусетсе», «В защиту капитана Джона Брауна», а также «Жизнь без принципов», лекция, прочитанная в 1854 году. «Жизнь имеет достоинство лишь в том случае, — говорит Торо, — если она прожита со смыслом и согласно принципам». Затем в печати появились дневники: «Ранняя весна в Массачусетсе» (1881), «Лето» (1884), «Зима» (1888) и «Осень» (1892), каждый из которых включал в себя соответствующую подборку рассуждений Торо о природе независимо от года их написания. В 1906 году вышло собрание сочинений, где дневники даны в хронологической последовательности. Первое десяти-томное издание произведений без дневников появилось еще за пятнадцать лет до этого. А в 1895 году добрая половина его поэзии была опубликована под названием «Стихи о природе». В 1943 году издано собрание «всех дошедших до нас» стихов Торо.

Поэтическое наследие Торо имеет свою сложную судьбу. Неравноценность стихов позволила друзьям, когда стал утихать первый восторг, убедить Торо, что его призвание — проза, а стихи не очень значительны. Интерес к поэзии Торо возродился во второй четверти XX века. Ее современные приверженцы утверждают, что она принадлежит не прошлому, а настоящему — по своему духу и воинственности она не имеет ничего общего с традиционными образцами, созданными Уитьером, Лонгфелло, Брайентом и Лоуэллом. «Подобно Эмили Дикинсон... Торо предвосхищает смелый символизм, фантастический импрессионизм, точный реализм и беспокойную изменчивость поэзии XX века». Как и эти поэты, Торо постоянно обращался к художникам всех времен: от античных к Чосеру, Бену Джон-

соку, метафизикам XVII века, к изысканному и афористическому дидактизму Эмерсона. От греков, очевидно, идет то чувство формы, которое поражает нас в «Дыме», лучшем стихотворении Торо. Он любил экспериментировать в области стихотворной метрики, отбирая размеры, которые наилучшим образом соответствовали его настроением.

Говоря, что биография Торо содержится в его стихах, Эмерсон, конечно, имел в виду духовную жизнь Генри. Нагроможденность образов, шероховатости формы были порождены желанием постичь правду мгновения. В те недолгие годы, когда Торо писал стихи, он относился к своей поэзии со всей серьезностью. Следует сказать, что большинство его стихов лучше, чем считали в то время, и, не посоветуй ему Эмерсон бросить стихотворство, Торо достиг бы гораздо большего и в мире поэзии. Многие читатели, очевидно, согласятся с афоризмом Эмерсона: «Золото еще не очищено от примесей. Тимьян и майоран еще не превратились в мед».

Из года в год по мере выхода в свет новых произведений Торо его слава росла, подобно груде камней на месте, где некогда стояла уолденская хижина. К первой гальке, принесенной Олкоттом с берегов Уолдена, присоединились камни бесчисленных пилигримов из всех стран света. Посвятив с такой беззаветной любовью свой талант полям, холмам, озерам и рекам родного края, Торо сделал их, по замечанию Эмерсона, всемирно известными. Обогащенные мыслью Востока слова этого янки, совершив полный круг, вернулись на берега Ганга и способствовали росту пассивного сопротивления. Голос Торо в переводе на другие языки дошел до многих народов. Скандинавы, немцы, чехи и словаки, голландцы, французы, русские и японцы читают «Уолден». В Англии на рубеже веков либералы носили при себе «Уолден» как духовный меч и щит против материализма и господства империализма. Торо стал причастен к социальному и политическому бунтарству британской лейбористской партии. В Лондоне появился сборник его дерзких высказываний «Жизнь и дружба» — своеобразная неофициальная библия лейбористов, изданная на простой дешевой бумаге, чтобы не опустошить карманы таких молодых борцов, как Джордж Бернард Шоу, Беатриса и Сидни Вебб, Эдвард Карпентер и Рамсей Макдональд. Англичане другого сорта также открыли для себя «Уолдена», «золотую книгу среди лучших книг всех времен», по определению У. Г. Хадсона*.

В царской России молодые революционеры находили в Торо силу, помогавшую им выстоять. Голос Торо обращен к европейцам и американцам XX столетия, ставшего веком решительного сражения между государством и честностью отдельного человека. Торо, подобно Давиду, исполнен решимости защитить себя и всех людей, когда правительство превращается в тирана Голиафа. Нередко в классическое произведение вкладывается

смысл, который и не думал ему придавать сам писатель. Вот почему книги классиков живут в меняющемся мире. Торо высказывался за то, чтобы «предложения были многозначны и долговечны, как римский водопровод». Это дает нам право видеть в его нападках на торгашеский дух, в его антиправительственной «революции в одиночку» призыв к переоценке смысла жизни в условиях современного индустриального государства и звонкий вызов угнетению. Конечно, не Генри Торо, а XX век озабочен тем, как сохранить человеку честность в нашем противоречивом националистическом, высокотехнологизированном мире. Но Торо всегда будет близок тем, кто страстно предан ускользающему идеалу свободы, он навсегда останется «одним из проповедников борьбы за нравственную независимость, этой самой глубокой и насущной американской проблемы».

Для тех, кто отстаивает достоинство простого человека, Торо сделался своего рода героем. «Когда в глухом городке, — писал он, — фермеры соберутся на городское собрание, чтобы обсудить тревожащий всех вопрос, это и будет подлинным, самым представительным Конгрессом, который когда-либо созывался в Соединенных Штатах».

8

Как жил и для чего жил Торо, на эти вопросы отвечают его сочинения, вводя читателя в сокровенный мир писателя. Стиль Торо энергичен, афористичен, его язык крепок, немногословен и колоритен, речь свободно переходит от разговорной к возвышенной. Большой любитель ароматной горной черники, он и своей прозе умел придать такой же аромат свежести. Случалось, избыток энергии толкал его на крайние парадоксы и преувеличения, но с годами он научился властвовать собой и подчинять свои порывы мастерству писателя. Удивительный дар художника создавал образы, наполненные глубокими раздумьями. Он любил причудливые и неожиданные сравнения, например сказать о собаке, что ее нос утыкан иглами дикобраза, как у некоего собачьего Арнольда Винкельрида *. Ему нравились индейские имена, и он любил вплетать их в свою классическую прозу, что, не нарушая гармонии, производило несколько странное впечатление, подобно тому как если бы полевые цветы украшали урну в греческом храме. Говоря о простом народе, он не брезговал каламбурами, рифмованными фразами и другими озорными штучками. Стремясь к музыкальности, Торо охотно и очень искусно использовал аллитерации: сравнивал, например, свист славки со свирелью. Талант Торо так правдив, говорил Эмерсон, что тратить слова впустую было недостойно его.

Многое, о чем писал Торо, родилось в случайных беседах. Однажды, опершись о забор и обсуждая с приятелем, как мало времени прошло после так называемого сотворения мира, он за-

метил: «Шестьдесят таких старух, как Нэбби Кеттл (старейшая жительница поселка), взявшись за руки, могли бы составить всю историю». То же сравнение повторено в «Неделе» с добавлением, что подобралась бы «недурная компания, и одних ее сплетен хватило бы на всемирную историю». Подобные фразы из дневников, собранные вместе и разбавленные различными описаниями, Торо использовал в своих лекциях, которые со временем становились очерками и книгами. Как и Эмерсон, Торо отличался интуитивным складом мышления, и его лучшие высказывания заключены в отточенную афористическую форму. Тем не менее не следует недооценивать и его пространных рассуждений, где он как бы уподобляется певчому дрозду. Сложные переплетения фраз и ритмов текут, так же чисты и совершенно гармоничны, как пение этой птицы.

Хотя Торо не читал и не любил литературу, образы, разбросанные в его произведениях, многоплановые как сама действительность. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать, что он пишет о лесорубе Терье, об одноглазом Гудвине, стреляющем мускусных крыс со своей плоскодонки, о солдате войны за независимость Хью Койле, спившемся с круга конкордском бедолаге. Когда хотел, Торо рассказывал с такой непосредственной прямоотой и захватывающей силой, что читатель не может оторваться от книги.

Постепенно возрастал авторитет Торо как литературного критика. «Никогда никто не писал об этом так удивительно верно», — заметил Дж. У. Кертис о главе «Чтение» в «Уолдене». «Книги надо читать так же сосредоточенно и неторопливо, как они писались», — говорил Торо, и это стало для него привычкой. Иногда его творческое вдохновение страдало от любви к парадоксам, но знавшие его делали на то скидку. Рассказывают, что он носил по улицам Конкорда «Листья травы» Уитмена «как красный флаг», считая книгу «очень смелой и американской». Торо и Эмерсон были в числе первых, по достоинству оценивших талант нового поэта, хотя и не безоговорочно. Заметки Торо о поэзии, если бы он над ними поработал побольше, могли бы составить превосходный очерк. Его критические статьи содержательны, аналитичны и пробуждают мысль. Очерк о Карлейле дает четкую оценку писателя, не устаревшую и спустя столетие. Здесь находим мы самые глубокие суждения по поводу стиля, когда-либо высказанные в американской критике. Более частные замечания о книгах и чтении вкраплены во все сочинения Торо.

Как свидетельствует история жизни Торо, его страсть к природе начиналась исподволь, развивалась понемногу, пока не превратилась в Конкорде в своего рода религию, когда зримый мир природы стал символом мира невидимого. Подобное отношение к природе, столь свойственное его образу мыслей и чувств, никогда не покидало Торо, учившегося у таких систематиков, как Агассис и Грей. В этом типичная непоследовательность Торо,

обратившегося к бесплодным пустыням науки XIX века. Очевидно, пустыни эти так и не наскучили ему, но они были настолько безграничны, что не позволили достичь того благословенного предела, когда, стремясь не столько к фактам, сколько к их осмыслению, ученые в конце концов признают правомерность интуиции.

Однако наблюдения его последних лет отнюдь не бесполезны. Особенно это относится к области географических исследований, где он не только наблюдатель, но и ученый. Его обстоятельный анализ режима естественных водоемов стал первым шагом в области научных изысканий, до сих пор не получивших полного развития. Надо признать, что обитатели бассейна Миссисипи, сами того не ведая, многим обязаны Торо.

Издание дневников Торо способствовало утверждению в Америке мысли о нем как о естествоиспытателе. Потребовалось полвека, чтобы пересмотреть это представление. Строго говоря, Торо был знатоком — любителем природы. Джон Берроуз считал его больше, чем естествоиспытателем, и видел в нем природоведа в самом широком смысле этого слова. Торо обладал философским представлением о единичном, «соотнося мельчайший факт с законами вселенной», как говорил Эмерсон. Иногда в самозабвенном порыве или в спокойном откровении его творческое воображение порождало страницы, исполненные мистического смысла, подобно рассуждению о сосне в «Чезункуке».

«Я всецело согласен с утверждением: „Лучшее правительство то, которое правит как можно меньше“, — писал Торо в памфлете «О гражданском неповиновении». Подобно большинству американцев, он вспоминал о правительстве лишь в трудные моменты и, подобно соотечественникам, осуждал за недостатки. Те, кто сводят политические взгляды Торо к простому анархизму, не понимают их сущности. В критике правительства проявился истинный Торо, возвысивший себя и человечество до такой силы негодования, когда уже невозможны компромиссы ради какой-либо практической целесообразности и когда удовлетворить может только самое благородное и возвышенное. «Если рассматривать ее с низменной точки зрения, Конституция при всех ее недостатках очень хороша; законы и суды — весьма почтенны; даже правительства Америки и штата во многом заслуживают восхищения, очень многими так и описаны, и мы должны быть за них благодарны; но с точки зрения хоть немного более высокой они именно таковы, какими их описал я; а если смотреть с еще более высокой, то кто скажет, каковы они и стоят ли вообще того, чтобы смотреть на них или о них думать?» Хотя Торо остается типичным американцем, отстаивающим право личности на самоутверждение, он никогда не выступал против разумных общественных начинаний. И никогда не падал духом. Мерзость, несовершенства общественных институтов, войну и поругание человеческого достоинства Торо сравнивал с грязью на

дне реки Конкорд, однако водяные лилии на поверхности порождали веру в то, что человек все же поднимется к новой жизни.

Широкий резонанс приобрел донкихотский протест Торо против физического наказания учеников, завершивший его двухлетнее преподавание в школе. Однако гораздо важнее выдвинутое им положение о наглядности обучения, о необходимости творческого начала, приобщающего ученика к живому опыту, который полезнее целых недель обычной учебы. Под руководством братьев Торо в конкордской Академии применялись передовые методы обучения, ставшие столетие спустя общепринятыми. Наконец, он считал, что не должно быть церемонии окончания учебного заведения, что учиться надо всегда, и сожалел, что его время не было системы образования для взрослых.

Торо одним из первых в Америке признал целесообразность функциональной архитектуры, а в «Мэнских лесах» превознес преимущества бревенчатой хижины лесоруба. Но он же предвидел неизбежность печальных последствий лесных вырубок. Примечательно, что в то время, когда, казалось, не будет конца природным богатствам Америки, Торо писал: «Нам придется грызть землю для своего пропитания». По его мнению, следовало учредить комитет в каждой городке, который бы следил, чтобы его красоте не чинилось ущерба. Узкие шоссе необходимо переделать. «Дороги должны быть достаточной ширины и обсажены по краям деревьями для удобства путешественников. Следует отвести специальные места, особенно у источников и водоемов, куда можно было бы свернуть и отдохнуть или разбить лагерь». Торо полагал, что природные богатства, как и полезные идеи, должны стать бесплатной, неотъемлемой собственностью человечества.

Все это и многое другое объясняет, почему Торо стал одним из знаменитых людей Америки. Его величайшей заслугой останется ни с чем не сравнимое искусство распахивать окна в сад природы. По мере того как поток нашей материальной цивилизации, подобно лаве, сметает естественную красоту земли, возрастает значимость ярких, поэтических произведений Торо — бесценного сокровища, подаренного им человечеству. Каждый день нашей жизни Торо с радостью делится с нами свежестью своих наблюдений, чудом своего мира.

27. НАТАНИЕЛ ГОТОРН

1

Натаниел Готорн, человек более земной, чем Эмерсон, и более трезвомыслящий, чем Торо, был беспокойным свидетелем божественного безумия, объявшего Конкорд. Кружок молодых честолюбцев, преклонявшихся перед Эмерсоном, вызывал у него неприязненные чувства, и, хотя ему нравилась независимость Торо, с которым он катался на лодке по реке Конкорд, Готорн не проявлял никакого интереса к тому, что называл «диким и самобытным задором» этого исследователя жизни. В «Небесной железной дороге» Готорн высмеял мечты трансценденталистов, а в «Романе о Блайтдейле» изобразил заблуждения колонистов, жизнь которых наблюдал, живя на Брук Фарм. В обществе Бронсона Олкотта он скучал, а к Маргарет Фуллер относился неприязненно. Неземным порывам конкордских мыслителей Готорн противопоставляет собственные экскурсии в область морали и ее принципов, язвительно замечая, что они отнюдь не ведут к Золотому веку, а лишь усугубляют наши страдания. Вскоре он покинул Брук Фарм, никогда не выступал в «Дайэл», хранил молчание в кабинете Эмерсона и на заседаниях Субботнего клуба. Напрасно искали бы мы в его книгах или в предисловиях к ним свидетельства того, что Готорн пытался опровергнуть или хотя бы обсудить ставшее популярным учение о доверии к себе, о сверхдуше, интуиции и другие подобные изыски. И все же он жил в Конкорде, на одной улице с Эмерсоном, считавшим, что его романам не хватает «внутренней глубины». В самый разгар трансценденталистской бури Готорн предавался спокойным размышлениям, оставался молчалив, невозмутим, почти насмешлив. Он не считал себя ни пророком, ни реформатором, ни искателем бога внутри себя, хотя перед его мысленным взором и раскрывались незримые ландшафты.

Готорн родился в 1804 году. Условия жизни содействовали раннему развитию прирожденных пуританских черт его характера, аналитического ума, мрачного взгляда на жизнь, а также его склонности к одиночеству. Болезнь помешала ему заниматься спортом, его жизнь протекала в тихом доме вдовствующей матери в Сейлеме, а летом — в отдаленном Реймонде, штат Мэн. Становясь все более замкнутым, он, однако, не был во вла-

сти каких-либо духовных противоречий; он держался обособленно, но мы не можем считать его меланхоликом лишь на том основании, что в своем юношеском журнале «Наблюдатель» он описал одолевающее его чувство одиночества. Отнюдь нет. За четыре года, проведенных в Боудойнском колледже (1821—1825), он обнаружил умение властвовать собой, свидетельствовавшее, что это одиночество было добровольным. Готорн научился легко и весело относиться к окружающему, что было недоступно иным не менее здоровым натурам. В сравнении с учившимся вместе с ним общительным Лонгфелло он не блистал отметками. Общительность Готорна была более ограниченной, подчиненной всегдашнему стремлению к покою, хотя он любил карты, вино, рыбную ловлю и охоту. Однако «проклятая привычка» к одиночеству, как он однажды выразился, не сделала его несчастным. Напротив, она способствовала развитию его духа. Именно этой привычке, сложившейся в первые двадцать лет, обязаны мы появлению Итэна Бранда, Эстер Принн, Зенобии и других одиноких детей его воображения.

Это сокровенное свойство характера, никогда его не покидавшее и служившее защитой от суеты жизни с молодых лет, стало второй натурой Готорна. Хотя и нет оснований считать образы склонных к размышлению персонажей первого романа «Фэншо» автобиографическими, очевидно, уже в Боудойне Готорн посвящал досуг сочинительству. Жизнь колледжа питала его воображение. Не хватало последнего шага, чтобы стать на стезю писателя. Этот шаг Готорн сделал, вернувшись из Брунсвика и поселившись в Сейлеме. «Я знал, что мне судьбою предназначено жить в Сейлеме», — говорил он. Тихие улочки и уединенный дом, неизбежное одиночество и прирожденная склонность к перу — все влекло к тому образу жизни, который он вел все двенадцать долгих лет и стремление к которому все же не до конца прояснено. В действительности, вероятно, не было ни таинственных причин, ни романтического разочарования, ни большого несчастья. Глаза, которые, по словам Бэйарда Тейлора, метали искры, не могли спокойно и холодно взирать на человеческую жизнь в этом беспокойном мире. Как позднее Готорн писал Лонгфелло, быть может, он лишь играл роль затворника. А может быть — это вполне вероятно, если мы вспомним позднейшие годы его жизни, — он надеялся таким путем достичь в обывательской Америке независимости и литературной славы. Во всяком случае, здесь, в своем «привычном покое», Готорн проводил многие часы за письменным столом, переделывая или уничтожая очерки и повести, мастерски оттачивая тончайшие символы и аллегории — неизменные образы и темы, навеки вошедшие в сознание жителей Новой Англии.

В 1837 году, покидая этот «покой», где «была завоевана слава», Готорн держал в руках свой первый сборник, изданный под названием «Дважды рассказанные истории», а в сердце хранил

образ Софии Пибоди, на которой через пять лет женился — событие, обогатившее и его личную жизнь, и творчество. Ничто не могло, однако, изменить художественных устремлений Готорна: ни литературное признание (в том числе Эдгаром По), ни новый счастливый союз, скрасивший его одиночество. Подобно своему Холгрейву из «Дома о семи шпилях», он стал общительнее и мягче. Но, окидывая взором его причастность к повседневным делам в качестве инспектора бостонской таможни, работника Брук Фарм или таможенного чиновника в Сейлеме, видишь всю иллюзорность этих связей.

Конечно, Готорн жил в мире реальном. Мало кто из писателей столь хорошо видел мелочность современной журналистики. Как автор и редактор, выступавший совместно с Сэмюэлом Гудричем («благонравным и сентиментальным Питером Парли»), Готорн отлично знал вкусы американских читателей. Печатая рассказы в журналах и ежегодниках, он постигал писательское мастерство, что не могло не сказаться на развиваемой им теории романа и, вероятно, на технике его письма. Литература, даже сочинение книг для детей, была для него источником заработка. Не покладая рук работал он на Брук Фарм, в обеих таможнях, находя время всерьез интересоваться местными политическими делами. Но несмотря на все эти связи с повседневностью, расчетливость в денежных делах или любовь к крепким сигарам и крепким словам, в мыслях он был далек от всего этого. Больше общения с простыми людьми, даже больше своей почти что трансцендентальной Софии, никогда, впрочем, не проникавшей в сень его мрачных размышлений, больше всего любил Готорн мечтать в тиши своего кабинета о давно минувших временах. В 1849 году он принялся писать роман, почти без помарок, ибо уже овладел искусством прозы. Через четыре месяца «Алая буква» была готова.

1850—1852 годы знаменуют собой наивысший расцвет мастерства Готорна («Алая буква», «Дом о семи шпилях», «Роман о Блайтдейле», а также сборник лучших рассказов). Это десятилетие завершается романом о пуританизме, перенесенном на католическую почву, — «Мраморным фавном» (1860), написанным не без блеска, но уже с некоторой усталостью. Восьмилетний перерыв в работе писателя был вызван внезапными переменами в его жизни: президент Франклин Пирс назначил его американским консулом в Ливерпуле с последующим переводом в Италию. Во время пребывания в Англии были написаны произведения, вышедшие в свет лишь посмертно: «Септимиус Фелтон», «Роман о Долливере», «След предка» и «Тайна доктора Тримшо». В отличие от Ирвинга Готорн всегда оставался верен юношеским мечтам. «Английские дневники» рассказывают не только о деловой жизни, но и о вынашиваемых литературных планах. Более того, эти заметки об Англии, пронизанные свежестью чувств, вполне заменяют роман. Читая «Мраморного

фавна» или размышляя о «летаргии», в которую погрузился писатель в последние годы жизни, трудно избавиться от впечатления, что в полете своей фантазии он натолкнулся на какую-то невидимую преграду. В черновиках и набросках он вновь и вновь обращается к бесплодным символам паука и кровавых следов. Внезапная смерть Готорна во время прогулки с Пирсом в 1864 году предстает естественным завершением жизни ума, который уже не мог блуждать по закоулкам того нравственного лабиринта, в который вступил он полвека назад мечтательным сейлемским мальчиком.

2

Определяющей для анализа творчества Готорна является история его жизни. Пуританизм проник в сознание Готорна с детства, и писатель, мы глубоко уверены, остался бы тем же Готорном, живи он подолгу на *rive gauche*¹ или на берегах Миссисипи. То же было и в Риме — Италия не смогла поколебать пуританские пружины его мышления. Уже к пятнадцати годам он был совершенно пронизан духом Новой Англии, в которой жили и воспитывались его суровые предки. Готорн мало чем отличался от майора Уильяма Гэторна, этого «мрачного бородача, носившего черный плащ и шляпу с остроконечным верхом и приплывшего в Америку с Библией и мечом», или от другого своего предка, судьи Гэторна, снискавшего известность «охотой на ведьм». Предки наложили неизгладимый отпечаток на характер писателя. Новую Англию можно понять без Готорна, но Готорна без Новой Англии — нельзя. Он впитал ее в кровь и плоть. Картинами и образами Новой Англии заполнены все книги Готорна, на страницах которых оживают тени его праотцов. То был не просто «местный колорит» Новой Англии, а скорее неосознанное выражение мыслей новоанглийских Готорнов, нисшедших подать глас своему отпрыску.

Готорн был весь погружен в этот невидимый мир, в существовании которого он, как Эмерсон и Торо, не сомневался. Не желая иметь дело с философской мыслью как старых, так и современных новоанглийских мыслителей, Готорн шел по непроторенным путям духовной жизни. Его пуританский ум легко устремлялся в сферу отвлеченных размышлений о смысле жизни, которые высказывал Эмерсон с глубокой убежденностью, Торо — скептически, а он сам — столь рассудительно. Он, подобно другим писателям Новой Англии, проявлял интерес к двум главным формам взаимоотношений: Человека к Богу и Человека к Человеку, хотя его суждения на этот счет отличались неопределенностью, недосказанностью, даже пессимизмом. С необыкновен-

¹ Левый берег (Сены), Латинский квартал Парижа (*фр.*).

ным пониманием отнесся Готорн к воспринятому трансценденталистами учению Джонатана Эдвардса о моральной основе нашей жизни. Источник света был тот же самый, но преломляла его другая линза — ум Готорна. Духовная проблематика его повестей и романов существенно преобладала над грузом новоанглийской истории и даже подчинила себе его великолепное мастерство.

От Эмерсона и Торо Готорн отличался именно своим несравненным мастерством, которое позволяло преображать исторические события в причудливые фантазии, «выполненные» в мягкой гамме красного, белого и черного цветов; ритмичность его фразы дышит гармонией его спокойной жизни; его символика, не всегда закономерная и даже абсурдная иногда, выражает сокровенные законы морали, которые он стремился внушить; наконец, он умеет запечатлеть грех, или, как он называл, «пятно на совести», потрясающий сердца мужчин и женщин. Готорн мало что черпал из книг, разве лишь из любимого им Беньяна да из Мильтона или Спенсера, которому обязан несколькими аллегориями и даже именем одной из своих дочерей, Уны. Обыденные события и простые люди давали ему материал, из которого ткал он сложные и неизбежно причудливые узоры моральных коллизий. Если не считать поспешной назидательности нескольких ранних рассказов, Готорн сохранял исключительную скрупулезность во всех своих исследованиях человеческого сердца. Так, пуританский образ мышления подвергся глубокому и проницательному рассмотрению в его книгах. Чуть ли не впервые в литературной истории Америки, как подметил поклонник его таланта Генри Джеймс, художник попытался дать оценку пуританизму. В этом отношении Готорн близок По, предвосхитил самого Джеймса и стал основоположником жанра психологического романа в Америке.

Невольно удивляешься спокойствию, которое сохранял Готорн среди литературных бурь своего времени. Художественные приемы английского романа XIX века оказали на него незначительное воздействие. Особенно примечательно его полное равнодушие к всесторонней и многогранной манере повествования. В этом смысле он никогда не создал ничего такого, что Диккенс и Теккерей могли бы назвать настоящей книгой. По его словам, он преклонялся перед Ирвингом, но в то же время не подражал ему; связь его с Чарльзом Брокденом Брауном эфемерна, а опыт «готической школы» Готорн использовал на свой особенный лад. Столь отличный во всем от Эмерсона, он напоминает его своей привычкой читать, чтобы найти подтверждение своим мыслям. Например, мысль о том, что лучшие качества человека приводят его к гибели, получает подкрепление в неотразимом замечании Беньяна, что дорога в ад начинается от врат рая*. Для него ровным счетом ничего не значили ни модные литературные поветрия, ни критика его собственных произведений. Го-

торн не понял бы недавно высказанных сожалений о том, что он довольно поздно обратился к европейской культуре, что он работал в полном одиночестве без какого-либо общения с выдающимися писателями, за исключением Германа Мелвилла, который был моложе его на пятнадцать лет и с которым он встречался нерегулярно. Конечно, еще вопрос, изменили бы что-либо в его творчестве более обширные культурные связи, чем те, которые могли предоставить ему Сейлем и Конкорд. Направленность его искусства к изучению сложных пружин моральных побуждений была предопределена изначально.

Готорн в разговоре с женой назвал себя «самым неподатливым человеком», чьи интересы были сосредоточены на семье, работе и дорогом ему пространстве земли, называемом Новой Англией. И действительно, в отличие от Ирвинга или даже Мелвилла Готорн был совершенно неуправляем. Во время работы над «Мраморным фавном», отразившем воздействие древней культуры Италии, талант Готорна был подобен гибкому толедскому клинку, а готический сюжет в «Доме о семи шпилях» — насечке дамасского орнамента на этом клинке. При всем том Готорн оставался твердым как сталь в своем неуклонном поиске разгадки тайн человеческой души. То был компас, показаниям которого он неколебимо следовал в своих более чем ста шестнадцати рассказах и очерках и в четырех романах. Поэтому нас не может ввести в заблуждение его праздность, раздражительность, нетерпимость к глупцам и даже обманчивая пластичность его прозы. Нашему первому художнику-романисту была свойственна железная непреклонность и приверженность к немногим нравственно-эстетическим принципам, которые приводили в восторг его ученика Генри Джеймса.

Невзирая на провинциальное окружение и артистизм природы, Готорн посвятил всю свою жизнь истории. Новейшие исследователи его творчества самоотверженно пытались выправить это положение, представить Готорна вполне нормальным гражданином деятельной и алчной Америки. Последовал пересмотр некоторых существенных оценок Готорна — теперь мы лучше понимаем его отношение к Брук Фарм, Гражданской войне, а также его собственные записные книжки. На наших глазах писатель с загадочной внешностью, прогуливающийся в темном плаще по улицам Сейлема, превращается в живого, самоуверенного, насмешливого и упрямого человека. Такая перемена делает нам понятнее Готорна-человека, но еще более усиливает налет таинственности, скрывающий его творчество. Что же таится за черной вуалью? София не могла этого объяснить, а друзья уверяли, что за внешней непреклонностью существует другой Готорн. Сам он говорил о безднах своего рассудка, которые невозможно ни измерить, ни постичь. Подобно Торо, Готорн слышал музыку сфер, слышал своего далекого барабанщика. Все это делает Готорна типичным представителем новоанглийского Возрождения.

Во всяком случае, в жизни Готорна ничто не имело большего значения, чем тот сокровенный уголок его души, где обитали одиночество и размышление. Этот тайник поддерживал его существование. Когда же источник иссяк, Готорн умер.

3

Неизвестно точно, когда был написан «Фэншо» (1828), завершивший юношеские литературные опыты Готорна и вместе с тем положивший начало его карьере романиста. Позднее взыскательный писатель уничтожил это незрелое произведение, что сделало повесть в две сотни страниц библиографической редкостью. Ее темы и образы дают ключ к пониманию ранней художественной манеры Готорна, напоминающей неумелые пересказы Вальтера Скотта и готических романов: персонажи книги невыразительны и плоски, диалоги неестественны, но современники были правы, утверждая, что в «Фэншо» можно легко обнаружить зачатки будущего своеобразия мастерства писателя.

Своеобразие это проявилось не в стиле молодого Готорна, еще не уверенного в себе, и не в сюжете, искусством которого Готорн никогда не блистал, а скорее в невольной склонности к характерным образам, получившим позднее воплощение в Фиби, Чиллингворте и Димсдейле. Действительно, уже в первом романе предвосхищен образ Фиби, солнечной героини «Дома о семи шпилях», и злодея Чиллингворта из «Алой буквы», а также, правда в меньшей мере, Димсдейла, идеалиста с запятнанной совестью. Существовал ли, как предполагают, у Эллен Ленгтон прототип — предмет юношеской влюбленности Готорна, сделавший для него столь дорогим образ женщины, несколько не похожей на суровых Эстер, Зенобию и Мириам? Во всяком случае, Эллен предвосхищает образы Фиби, Присциллы и Хильды. Ранним наброском образа злодея стал Батлер, чей сатанизм восходит, очевидно, к героям Мильтона, которого Готорн постоянно читал. Батлер как грубый прототип Роджера Чиллингворта свидетельствует о постоянном интересе писателя к типу бессердечного негодяя, в изображении которого ему никогда не удавалось достичь естественности. И наконец, нас очаровывает главный герой, сочетающий байроническое высокомерие с готической мрачностью, чего мы уже не встретим в более поздних персонажах Готорна. Будучи близок Димсдейлу своим идеализмом, Фэншо, однако, лишен трепетной и милой слабости бедняги священника:

«Выражение его лица не было грустным; напротив, оно было гордым и высокомерным, почти что победоносным». Фэншо открывает целую галерею готорновских идеалистов (Фэншо, Эйлер, Димсдейл) и несет в себе, хоть и в искаженном виде, нечто

от того молодого Готорна, который любил во время длительных прогулок воображать себя одиноким и гордым мыслителем.

Для понимания искусства Готорна было бы интересно рассмотреть записи, которые он вел изо дня в день в течение двенадцати лет, пока оставался «самым безвестным писателем Америки». За эти годы написано около ста двадцати рассказов и очерков, многие из них утеряны, погибли, но некоторые, как отметил Готорн в 1851 году, «можно еще найти (но они того не стоят) среди пожелтевших страниц газет и журналов пятнадцати- и двадцатилетней давности или внутри потрепанных сафьяновых переплетов старых книг». Эти ученические опыты при всей их хаотичной разрозненности сыграли важную роль в развитии художественного чувства писателя. О многом можно судить на основании списка опубликованных произведений. Около семнадцати очерков написал он, прежде чем в 1835 году начал свои «Американские записные книжки». Опубликованные в этот и три последующие года пятьдесят два произведения (очерки, рассказы и заметки) свидетельствуют как о щедрости таланта, так и о том, что в ранние годы Готорн отдавал предпочтение очерку. Однако, поскольку последовательность создания этих произведений неизвестна, можно лишь гадать, как в уединении проходило развитие и совершенствование художественного мастерства писателя.

4

Используя пятьдесят ранее опубликованных заметок, Готорн выпустил первую серию «Дважды рассказанных историй» (1837), состоящую из девятнадцати новелл. Для второй серии, вышедшей в 1842 году, использованы семьдесят три. Однако это вовсе не означает, что произведения, включенные во второй том, были написаны позже. Третий том («Мхи старой усадьбы», 1846) практически завершает канон готорновской новеллистики. Вышло еще пять сборников, в том числе «Снегурочка» (1852) и два посмертных тома, прежде чем было завершено издание всех отрывков и заметок, хотя и поныне обнаруживаются и переиздаются произведения, созданные в «таможенные годы».

Изучая этот период, мы должны отказаться от представления о последовательном интеллектуальном развитии писателя. Можно отметить лишь самые общие особенности и затем соотнести их, где это возможно, с более сложными и глубокими достижениями романической формы. В очерках легко обнаруживаются неровности стиля, во многом вызванные тем, что Готорн ориентировался на уровень жалких журналов, с которыми его поначалу свела литературная судьба, а также привязанностью писателя к источникам. Иной раз даже хочется датировать произведение в зависимости от того, насколько оно свободно от таких

качеств. Только заведя собственную копилку — свою первую записную книжку, — Готорн смог всецело положиться на столь характерные для него наблюдения над всем причудливым и психологически необычным. «Пытается найти Непростительный грех, — писал Готорн в 1844 году, — пока наконец не находит его в собственном сердце и в своей деятельности». В этой записи содержится зародыш «Итэна Бранда». В плодотворной почве записных книжек вызревали представления Готорна о человеческих отношениях. Писателю не приходилось больше обращаться к избитым литературным сюжетам.

В рассказах Готорна предвосхищены темы и образы его романов. Если идти от романов к рассказам, то мятущийся, углубленный в себя Димсдейл окажется пастором Хупером, дьяволоподобный Чиллингворт — приготовляющим яды Рапачини, а стремящийся к совершенству Холлингсворт возвращает нас к безумцу Эйлмеру, уничтожившему родимое пятно жены и вместе с ним ее самое. Греховные деяния, изображенные в рассказах, повторяются в романах: в «Кротком мальчике» пуритане жестоко преследуют ребенка квакеров; в «Итэне Бранде» у эгоцентричного героя, сгоревшего в печи для обжига извести, оказывается мраморное сердце; в «Похоронах Роджера Мэлвина» молодой человек, оставивший друга на погибель в лесу, мучается раскаянием. Дьявольский сосуд, в котором кипят бурные страсти Эстер, Димсдейла и Чиллингворта, — это отдельные колбочки в лаборатории раннего Готорна, в которых совершается тот же процесс.

Рассказы Готорна не только помогают лучше понять его романы, но и представляют собой непревзойденное изображение пуританизма XVII века. Они в какой-то мере объясняют нам, почему лишь один его роман посвящен эпохе, которая была так близка ему по духу и которую он столь хорошо знал. «Майское дерево на Веселой горе», «Седой заступник», «Маскарад у Гоу» — все исторические рассказы написаны в результате глубокого знания жизни его пуританских предков, и можно лишь сожалеть, что среди крупных произведений одна «Алая буква» (хотя это и немало) свидетельствует об удивительном умении воссоздать мир уинтропов и мэзеров. Рассказов о XVII веке не так уже много, но они как бы образуют ту среду, в которой возник великий роман. Благодаря им мы лучше понимаем «Алую букву»: если бы их не было, многое осталось бы неясно и в романе. Готорн любил размышлять о своих пуританских предках, он даже задавал себе фантастический вопрос, что подумали бы они о нем, потомке-ренегате, пишущем романы. И все же остается загадкой, почему, опубликовав в 1850 году «Алую букву», Готорн не написал больше ни одного романа о XVII веке. Чем глубже погружался он в прошлое, тем важнее становятся для понимания писателя его рассказы, посвященные тому времени.

Исторические рассказы Готорна отличаются высоким мастер-

ством. Некоторым, возможно, суждено даже бессмертие, не говоря уж о том, что в них отразилась глубокая преданность писателя XVII столетию. Число действительно хороших рассказов невелико. В новеллистике Готорна содержится немало таких нелепиц, как «Прогоулка маленькой Энни», или сентиментальных историй вроде «Свадебного звона». Отыскать религиозное начало в его рассказах еще труднее, чем в ранних произведениях Ирвинга и По. Многие рассказы имеют привкус провинциализма, чего почти не встретишь в романах. Несомненно, что на некоторых рассказах отрицательно сказались традиции подарочных изданий и ежегодников, в которых они печатались. Мало нового дают они и для развития жанра новеллистики. Своей пространностью, туманностью и отсутствием художественной точности они напоминают рассказы Ирвинга, оказавшие на многих современников весьма действенное, хотя с первого взгляда и неприметное влияние. Никто не может соперничать с Готорном в передаче того мучительно-горького чувства, которое подметил в его рассказах По. Прибегая к особому языку символики, Готорн заставляет нас пережить все нравственные муки своих героев: полное одиночество священника Хупера, никогда не снимающего с лица черной завесы, молодого Брауна, делящего темные тайны своих друзей, Роджера Мэлвина, покинувшего товарища в глухом лесу, Итэна Бранда, Эйлмера с его эгоистическим стремлением к совершенству и почти невыносимое описание жестокости в «Кротком мальчике».

Потратив многие годы жизни на подобные образы и темы, Готорн свободно и легко написал в 1849 году «Алую букву», прекрасный роман о «человеческой бренности и неизбывном горе». На протяжении всей этой истории из жизни Новой Англии XVII века — от сцены у дверей тюрьмы, где столпились женщины в чепцах и мужчины в островерхих шляпах, и до заключительного описания могилы Эстер Принн — нас завораживает великолепное переплетение реальности и фантастики. «Алая буква» — искреннее, проникновенное произведение и в то же время в чем-то жестокое и даже унижительное для героини, несмотря на «борение духа», испытываемое ею. Писатель не гонится за правдивым воссозданием деталей истории, хотя портреты губернатора Беллингэма и миссис Хиббинс отличаются достоверностью, какой трудно было ожидать после «Майского дерева на Веселой горе», где Готорн по-своему причесал историю. В этом убеждает нас особый склад мышления, осязаемый в книге, и заложенное в нас самих пуританское наследие. Мы не замечаем ни навязчивого утверждения религиозных догм ни местных обычаев. Церковь, священник, богослужение, суд, молитвенный дом показаны человеком проницательным. Перл могла бы с успехом ответить на все вопросы по «Новоанглийскому букварю» или по «Вестминстерскому катехизису»*, и наряду с этим она — живой ребенок, а не сухое исследование характера

детей пуритан. Все изустные рассказы о том далеком времени, все, что Готорн прочитал у Мэзера и Томаса Принса, все, что он сам разгадал в пуританизме, легло в основу «Алой буквы» с той достоверностью, какая присуща лишь историческим архивам. Вместе с тем повествование отличается жизненностью образов, будь то мрачный церковный сторож или милостивая Эстер Принн. Но главное достоинство романа заключено, очевидно, в совершенстве и целостности его художественного стиля и верности интонации.

История Эстер Принн — главная нить сюжета — не отличается особой оригинальностью или сложностью. Когда в начале романа стоящая на эшафоте и предающаяся воспоминаниям героиня замечает в задних рядах толпы слегка искривленную фигуру, мы сразу догадываемся, что это ее обманутый муж, решивший мстить, хотя еще не знаем, каково будет мщение Артуру Димсдейлу, любовнику Эстер, что именно приурочено судьбой всем троим, включая маленькую Перл. Да мы и не торопимся узнать это — так завожил нас Готорн зрелищем трех незаурядных людей, терзаемых чувством вины, один из которых добровольно признался и тем спасся, другой упорно не сознавался и тем погубил себя, а третий скрывал свои черные замыслы и оттого превратился в изверга. Последовательный рассказ прерывается, возобновляется и вновь прерывается. Это даже не столько рассказ, сколько обсуждение проблемы с различных точек зрения разными персонажами романа, как в драме Чехова. Даже отдельные эпизоды вроде мучительной беседы Чиллингворта с Димсдейлом или подготовка бегства Эстер и Артура — это все то же пристальное исследование смертельных ран готорновских героев. Все трое исполнены высокомерия, и, хотя мы не очевидцы их преступлений, тем не менее с ужасом наблюдаем, как медленный, но неумолимый пламень раскаяния и жадны отмщения пожирает их. Странно видеть, однако, как писатель, невзирая на убийственность Алой Буквы и богатство самой природы Эстер, равнодушно поворачивается спиной к молодости и страстям, чтобы продемонстрировать суровые последствия греха! Характерно, что этим же отличаются и его рассказы с заранее заданной темой греха и преступления.

Однако, исследуя вместе с Готорном нравственные недуги людей, мы вправе знать и их причины. И, надо сказать, с гораздо большей обстоятельностью, чем в рассказах, объясняет нам писатель, как получилось, что естественная симпатия Эстер и Димсдейла, характеров, взаимно дополняющих друг друга, переросла в страсть. На эшафоте Эстер вспоминает отчий дом в Англии. Перл становится постоянным напоминанием о ее загубленной молодости. Подобным же образом Димсдейл мысленно обращается к счастливым временам своей славы ученого в Оксфорде. Вот они стоят перед нами, два любовника и Чиллингворт, этот неуспящий Казобон * XVII века, женившийся на Эстер,

чтобы скрасить свое одиночество. Столь искусно вплетенные в ткань романа воспоминания оживляют фабулу, не отвлекая нашего внимания от последующих событий. На память невольно приходит Шекспир. Рассказ в двух временных отрезках давал ему возможность поведать о ранних годах Гермियोны и Фальстафа. Неизменная готорновская тема постоянного воздействия прошлого на настоящее, характерная также для Генри Джеймса и Т. С. Элиота и ставшая главной идеей следующего романа «Дом о семи шпильях», не позволяет «Алой букве» быть только повествованием о тяготах жизни на склоне лет. Другим свидетелем мастерства Готорна служит его тонкое умение соразмерять настоящее и прошлое.

Этот обширный фон, как бы вытканый из воспоминаний и аллюзий и выносящий за условные рамки пуританской колонии Уинтропа, подтверждает, что перед нами не три богобоязненных человека, погрязших в догмах теологии, а три гордых ума, стоящих перед дилеммой столь же древней и неизбывной, как само бытие. Пуританские аксессуары, подобные вышитой букве А, — это лишь внешняя сторона трагедии. Они отражают обычаи той эпохи, как условности XX века — наше время. И дело здесь не в религиозных догмах, а в тех муках совести, которые свойственны не только пуританам. Грех, его последствия и проистекающие отсюда мучения существовали во все времена. «Суровый, знакомый взгляд», упрекающий Эстер, муки Димсдейла, лицемерно проповедующего с кафедры, самоистязание Чиллингворта, стремящегося к отпущению, — все эти чувства свойственны не только XVII веку, в хронологические рамки которого Готорн попытался втиснуть волновавшие его этические вопросы.

Если повествование звучит правдоподобно и не ограничено пуританской моралью, то оно немедленно обрастает бесчисленными экскурсами, посвященными природе зла и отчуждения человека. В этом заключено превосходство романов Готорна над его рассказами. В общее действие влетают сложные нравственные проблемы. Мы сформулируем эту проблематику в виде вопросов — характерно, что Готорн не дал на них никакого определенного ответа. Была ли грехом женитьба Чиллингворта, к чему он не был способен? И если нет, не находится ли его наказание в ужасающем противоречии со столь малой виной? Является ли его главной ошибкой то, что, подобно Итэну Бранду, он посвятил свою жизнь науке? Почему его жажда мести Димсдейлу переросла в неестественную любовь-ненависть? Как можно объяснить то обстоятельство, что падение Димсдейла начинается, согласно любимому Готорном выражению Беньяна, у врат рая — с духовного очарования Эстер? Почему трусость Димсдейла, не признавшего своей вины, вознесла его на высоту, с которой он поучал свою паству? Почему признание своей вины освободило Эстер от чувства раскаяния? В самом деле, почему все, что произошло с нею, обогащает и облагораживает Эстер?

Учитывая эту возрождающую силу греха, столь привлекавшую к себе внимание Готорна в более поздней книге о Мраморном фавне, следует ли стремиться к искоренению зла? Можно до бесконечности копаться в алхимии готорновских экспериментов — телепатии, существующей между отцом, ребенком и матерью, или таинственном насилии над личностью Димсдейла, совершенном врачом. Вспоминая о таком незрелом раннем рассказе, как «Эготизм, или Змея в груди», мы можем лишь восхищаться эволюцией представлений Готорна о грехе как «пятне на совести». Рассматривая эти сложные проблемы, Готорн смело использовал художественную прозу для изучения душевных недугов. Как уже отмечалось, в писателе жил хладнокровный и неутомимый наблюдатель, который ставил моральные опыты, изучая взаимоотношения героев своих книг. Правда, эти полунаучные эксперименты иногда лишают тепла его образы — даже в живой и человеческой «Алой букве» сатанический Чиллингворт временами кажется ходячим олицетворением страсти к мщению. Однако Готорн не всегда оставался равнодушен к своим персонажам. Как каждый великий романист, он сочувствовал своим героям и горячо переживал их судьбы. «Я посвятил немало времени размышлениям об истории Эстер Принн», — говорил он. Задумываясь над постоянно волновавшей темой насилия одной личности над другой, Готорн был чуток и к Димсдейлу, страдающему от жестокости Чиллингворта, и к мукам Илбрагима в «Кротком мальчике». «Алая буква» превосходит другие романы Готорна отчасти потому, что ее четыре беспокойных героя остаются в нашей памяти и после того, как мы забываем перипетии их моральных конфликтов.

Подобно другим великим образам литературы, Эстер Принн сходит со страниц романа живым, дышащим человеком. Реальностью она не уступает Бекки Шарп и героиням Шекспира. Напоминая Беатриче в «Дочери Рапачини», она в то же время предвосхищает сумрачных и сильных духом женщин других романов — Зенобию и Мириам. Высокого роста, с глубокими черными глазами и темными волосами, полная благородства, Эстер, кажется, источает спокойствие и силу, которых лишены слабый Димсдейл и бесстрастный книжный червь Чиллингворт. Если и есть в ней чувственность, то она — естественное выражение ее жажды, домашнего уюта которого Эстер столь безжалостно была лишена. Женщина в полном смысле этого слова, она такова во всем: в искусстве вышивания, в терпеливом воспитании Перл, в заботливом, как у жены, отношении к истерикам священника, в беседах с ним, с ребенком или с ними обоими, беседах, кажущихся пародиями на сцены у домашнего очага, к которым она была предназначена самой природой. Трагедия ее заключается не в утрате общественного уважения, которое она научилась ценить, и не в личном ее раскаянии, заглушаемом трудом на благо ближних, даже не в утрате самого Димсдейла, а

в том крахе ее глубочайших чувств, причиной которого стали людские предрассудки. Готорн нарисовал великолепную картину духовного развития Эстер: из робкой, заблудшей жены, боящейся мужа, она превращается в апостола новой морали; человек со свободной душой, она почти презирает лихорадочную одержимость Димсдейла и Чиллингворта.

Димсдейл не испытал подобного духовного возрождения. И все же его родословная длинней, чем у Эстер: он ведет происхождение от Фэншо, пастора Хупера и других идеалистов из рассказов Готорна. Писателю никогда еще не удавалось столь мастерски нарисовать портрет героя данного типа. Физически более слабый, чем Эстер, Димсдейл, казалось, нуждался в ее материнской заботе. Его нервная неуверенность уравнивается ее спокойствием и железной твердостью Чиллингворта. Он обладает интуитивным, обостренным чувством моральных ценностей — ярчайшее следствие его приверженности к пуританской идее незримого мира. И тем ужаснее последствия совершаемой им уступки законам природы. Муки Димсдейла начались с разрывающего душу сокрытия греха, что для более сильной, чем он, Эстер совершенно неприемлемо: *vitum crescit aliterque tegendo*¹. Следующей стадией падения Димсдейла стало его подчинение воле Чиллингворта. В лесу мы видим его уже духовно сломленным, жаждущим лишь мира и покоя в отличие от Эстер, стремящейся к полнокровной жизни. «Тише, Эстер, тише! Мы нарушили закон...» Это на его груди, по сути дела, пылает Алая буква. Навсегда исчез мечтатель, каким он был в прежние, оксфордские дни, — таково наказание за грех этому возвышенному идеалисту.

Образы Эстер Принн и Артура Димсдейла не оставляют желать ничего лучшего. Они совершенны. В противоположность им образы двух других главных героев — Роджера Чиллингворта и Перл — не отличаются такой законченностью. Они скорее свидетельствуют о том, чего мог бы достичь Готорн, прислушайся он к мудрой критике других писателей. А так они отдают литературным провинциализмом, как туманные лики его ранних рассказов. К тому же чувствуется, что Готорна они больше интересуют не как живые характеры, а как абстрагированные не-реальные символы. Чиллингворт убедительнее своих литературных прототипов из ранних произведений Готорна, тем не менее он все же еще один эксперимент писателя, исследующего процесс духовного вырождения. Театральность Чиллингворта напоминает нам о тяге Готорна к мелодраме, которая особенно очевидна в картинах убийства и утопления в других его романах. Соответствие внешнего облика духовному складу, столь естественно прочерченное в Эстер и Димсдейле, в образе Чиллингворта проведено более грубо, почти неправдоподобно, когда мы

¹ Грех произрастает в тайне (*лат.*).

видим, как постепенно растет его горб, а глаза начинают сверкать мрачными красными огоньками. Здесь, несомненно, ощущается влияние мильтоновского Сатаны и спенсеровского Архимого *. Чиллингворт, заставляющий священника сознаться, — не что иное, как художественное исследование патологии мести.

Любопытно отметить, что Перл тоже скорее порождение болезненной фантазии, нежели реальной действительности, в которой живут Эстер и Димсдейл, а ведь из четырех героев одна она означала для Готорна нечто весьма личное. Перл — это его дочурка Уна, чей образ он трансформировал в «Алой букве». Живая натура этого маленького «эльфа», вся ее прелесть и грация запечатлены в записных книжках писателя. Естественно было ожидать, что Перл — далеко не первый образ ребенка у Готорна — воплотит в себе то совершенство мастерства, которое отличает изображение идеалистов в рассказах. Но это не так. Перл великолепно сочетает в себе земное и небесное начала, а ее не по летам развитое понимание бушующих вокруг темных страстей заставляет удивляться ее детской восприимчивости. На память приходит искусная разработка той же темы в «Зимней сказке», когда юный Мамиллий умирает от «слишком благородных мыслей». Мы видим, как смущает Перл неестественность отношений между ее отцом и матерью и какое умиротворение наступает вслед за предсмертным признанием Димсдейла. «Чары развеялись», — говорит писатель. И все же как ребенок Перл часто неестественна, даже нелепа, хотя и нельзя целиком сбросить со счетов ее образ из-за его символического значения. Мысль Готорна сводится к тому, что это «дитя греха» будет расти среди человеческих радостей, которых была лишена ее мать.

Анализ «Алой буквы» постоянно напоминает нам о неизменной склонности Готорна к той сфере человеческого сознания, которая соприкасается с миром сверхъестественного. При всех обстоятельствах его несчастные герои соотносят свои страдания с такими явлениями в небесах и на земле, какие не снились нашим мудрецам *. Поскольку современная критика считает Готорна язвительным реалистом, мы видим в его сочинениях полусаркастическое снисхождение к надеждам на вмешательство божественного Промысла. Писатель словно повторяет, хотя внутренне склонен отнестись к нему критически, знаменитый вопрос Коттона Мэзера: «В чем вижу я руку Господню в этих явлениях?» Из записных книжек Готорна и косвенно из романов и рассказов мы узнаем, что он считал жизнь чем-то весьма мрачным. Иногда писатель снисходительно иронизировал над фантастическими иллюзиями, будто наши мелкие судьбы привлекают внимание равнодушной и бесстрастной вселенной. С какой скептической насмешкой подана в романе миссис Хиббинс, а также младенческая вера слабовольного Димсдейла в божественное провидение! Что если Готорн был в душе трезвым реали-

стом, презирающим попытки людей возложить на звезды ответственность за свои плутни?

Однако, хотя подобные настроения и возникают иногда в произведениях Готорна, вряд ли оккультные знамения появляются в них лишь затем, чтобы их осмеять. Ведь Готорн был сыном века разочарований, и его ирония нередко напоминает пессимизм Германа Мелвилла и Генри Адамса. Его бунтарство было глубоко искренним. В его произведениях отразилось общее для века неприятие обветшалого пуританизма, а скептицизм толкал его к идее самоусовершенствования, как это было с Джордж Элиот, и даже к двусмысленному примирению с действительностью, что сближало его с Мелвиллом «Билли Бадда». Недаром Готорн и Мелвилл обогатили американскую литературу трагической иронией. Что касается сверхчувственных явлений, Готорн тут ни в чем не уверен; он не знает, а следовательно, ничего не может сказать. Он просто задает те вечные вопросы, на которые никакой «реализм» не в силах дать ответ. Он слишком осторожен, чтобы высказывать веру в божественный Промысел, поэтому лишь туманно намекает на то, что позорная буква Эстер словно бы переносится на страждущую грудь Димсдейла. Но сам характер книги как бы подтверждает бессмысленность фантазий, видений, например возникновения буквы «А» на небе или, в других романах, смерти судьи Пинчена во исполнение проклятия Мола, перевоплощения Фавна в Донателло. Писатель словно хочет сказать, что все это — галлюцинации больной души. Так, один лишь Гамлет видит отца в комнате матери. Тем не менее Готорн не отрицает подобных возможностей. Были ли Димсдейлу знамения? Но имеет ли смысл знать, были они или нет, если он их «видел?» Так символ превращается в действительность. Живые призраки и плоды фантазии героев легко и бесшумно передвигаются по страницам «Алой буквы». С Новой Англией граничит другая страна, чью территорию можно вообразить, но нельзя начертить на карте.

5

«Алая буква» вышла в свет весной 1850 года, а в августе Готорн переехал в «Красный дом» в Ленноксе, штат Массачусетс. Ему исполнилось сорок шесть лет, и, хотя он был измучен работой над книгой и глубоко опечален смертью матери в минувшем году, быстрое признание романа приободрило его. «Мистер Филдс сказал мне, — заносит 5 мая 1850 года Готорн в свою записную книжку, — что два лондонских издателя объявили о выходе «Алой буквы». Он отдал книге так много душевных сил, что теперь охладел даже к ней.

Начинается самый деятельный период творчества Готорна, сопровождавшийся плодотворной дружбой с Германом Мелвил-

лом. До своего назначения в следующем году на пост консула в Ливерпуле Готорн выпустил не менее пяти книг, в их числе «Книгу чудес» (1851) и биографию будущего президента Франклина Пирса (1852). Обращаясь к двум из них — «Дому о семи шпилях» (1851) и «Роману о Блайтдейле» (1852), — мы расстаемся с призраками «Алой буквы».

«Зло станет благословением, а лед возгорится», — жизнерадостно утверждал Эмерсон. Только для сильных духом, мог бы возразить ему Готорн, для таких, как Эстер Принн или Холгрейв. Зло не только с ужасающей быстротой губит слабых, как то было с Димсдейлом и Чиллингвортом, но и накладывает свое клеймо на будущие поколения. Проклятие Мола — «они захлебнутся кровью» — прозвучало в XVII веке, его же последствия мы видим в XIX столетии: это помраченный рассудок Гефсибы и Клиффорда Пинчена и невеселая судьба Холгрейва и Фиби. «Дом о семи шпилях», действие которого разворачивается на гораздо больших отрезках пространства и времени, чем в «Алой букве», вышел спустя несколько месяцев после нее и явился своего рода реакцией на неизбежную трагедию последней. Новый роман рисует неограниченное во времени возмездие незримого мира; оно начинается со времен пуританских поселений и осуществляется под сенью нынешнего благоустроенного сада Пинченов; по сравнению с этим протяженным возмездием то, что происходит в «Алой букве», лишь краткий эпизод. Конечное зло, порожденное Молом (далеким потомком которого является дагерротипист Холгрейв), писатель усматривает в преследовании лицемерным судьей Пинченом Гефсибы и Клиффорда. «Неужели нам никогда не удастся освободиться от пресловутого Прошлого?» — восклицает Холгрейв в своей взволнованной речи. Отрицательный ответ очевиден — вся книга свидетельствует об отсутствии у человека свободы воли. В противоположность эмерсоновскому тезису «и сегодня ярко светит солнце» Готорн рисует настоящее скованным и зависящим от движения неумолимых ледников минувшего. Мастерское изображение столь сложной коллизии объясняет, почему этот роман, несмотря на его явную претенциозность, ставят выше «Алой буквы».

Но почему в письме к Бриджу Готорн назвал «Дом о семи шпилях» книгой, «более соответствующей складу моего мышления и более подходящей для меня как писателя»? Вряд ли из-за фабулы, явно позаимствованной, даже в отступлении об Алисе Пинчен, из готических романов, взять хотя бы столь искусственную развязку с ее мистической музыкой, древним пергаментом и тайниками, о чем сейчас нельзя читать без улыбки. Сюжетные ходы романа, сама история вражды семейств Пинчена и Мола легко предугадываются читателем. Мелодраматическая смерть судьи Пинчена напоминает неожиданные кончины героев в ранних и более слабых романах Готорна. Так что же все-таки имел в виду писатель, отдавая предпочтение этому роману? Воз-

можно, его мягкую созерцательность и, может быть, изображение повседневной жизни, которое отличает эту книгу от «Алой буквы» и создает атмосферу спокойствия, характерную для лет, проведенных им в Сейлеме и Конкорде. Умиротворяющая беседа о лицах и событиях исполнена той внутренней благодати, которой было лишено творческое общение писателя с Димсдейлом, Чиллингвортом и Эстер Принн. Поэтому, несмотря на старинное проклятье, традиционный образ злодея и мрачные рассуждения о прошлом, роман дышит ароматом счастья, как розы, выращенные Фиби. Готорновский символизм принимает теперь слегка иронический и более светлый оттенок, не похожий на жуткую символику багровеющей буквы. Как далеки от злобного мира Чиллингворта курочки Гефсибы, голубой чайный сервиз Дейвенпортов, позвякивающий колокольчик на двери лавки. Мало что осталось в «Доме о семи шпилях» от мрачного пуританского прошлого. Эта книга — «легенда, переходящая из туманной дали прошлого в наш нынешний ясный день».

«Занавески раздвинуты шире, — писал Герман Мелвилл о «Доме о семи шпилях», — и внутрь проникает больше солнца». Но и здесь постоянные темы творчества Готорна, имеющие лишь косвенное отношение к распаду старых семейных связей вырождающейся аристократии Новой Англии, подвергаются обычной лабораторной проверке при участии персонажей книги. Каждый герой романа выражает идеи, уже встречавшиеся в ранних произведениях, и каждый (в отличие от «Алой буквы») представляет собой сочетание различных характеров. Так, счастливая и невинная Фиби соединяет в себе черты Эллен Лэнгтон из «Фэншо», Присциллы и Хильды из позднейших романов; судья Пинчен сродни Чиллингворту, Уэстервелту и таинственному незнакомцу «Мраморного фавна», а художник Клиффорд удивительно напоминает Оуэна Уорленда из «Мастера красоты» или Димсдейла, лишнего пуританизма. Мысль писателя никогда не бывает однозначна — он анализирует не просто зло само по себе, а его воздействие на персонажей различного склада. Бремя старой несправедливости неодинаково ложится на разных людей. «Пусть черный цветок цветет по-своему». Тревожно проносятся тени прошлого над двумя столь несхожими женщинами: увядшей Гефсистой и цветущей Фиби. Старая дева сломлена трагедией Клиффорда, бедностью и одиночеством; Фиби испытывает тихую беспричинную печаль как отражение того семейного греха, к которому она была непричастна. Смысл экспериментаторства Готорна ясно виден в различии между двумя романами: воздействие зла на Эстер Принн прямое и непосредственное, а на Гефсису и Фиби — косвенное, отдаленное, даже безликое.

Наряду с противопоставлением Холгрейва судье Пинчену — воплощения добра воплощению зла — нас больше всего притягивает самый запоминающийся образ книги Клиффорд Пинчен, утонченный художник, человек с исковерканной жизнью. Боль-

шой соблазн — сравнить впечатлительность Клиффорда с напряженным самообладанием Готорна, не поддаваясь ему. Отметим, однако, постоянный интерес писателя к слабым душам, обреченным сталкиваться с жизненными невзгодами, которые даже сильным людям не всегда оказываются по плечу. Характер неуравновешенного Клиффорда очерчен весьма выразительно: он способен горько рыдать, пораженный уродством и мерзостью обезьяны. Неудачной представляется история тридцатилетнего тюремного заключения Клиффорда, однако тяжелые испытания, выпавшие на его долю, подтверждают, что за слабоволием может скрываться внутренняя сила. Это единственный образ законченного неврастеника, созданный Готорном. В самые отталкивающие моменты он вызывает нежность Гефсибы, жестокость судьбы Пинчена и мудрые сентенции Холгрейва.

Первые три романа Готорна (исключая «Фэншо») довольно ясно свидетельствуют о том, что писатель все больше отходил от принятых норм жанра романа. «Дом о семи шпилях» сменяет суровую картину «Алой буквы», а «Роман о Блайтдейле», основанный на пережитом самим писателем, раскрывает психологизм его метода. В романе запечатлены воспоминания Готорна о Брук Фарм, хотя сам писатель и отрицал это, признаваясь, однако, что играл там роль духовного соглядатая.

«Не слишком это полезное умственное занятие, — говорил писатель, — всецело отдаваться наблюдению за жизнью мужчин и женщин». Подобного рода личные отступления, то, что Зенобия, а возможно, и Холлингсворт и другие персонажи, имели реальных прототипов в Конкорде, и, наконец, употребление (правда, только однажды) местоимения «я» наводят на мысль об автобиографическом характере романа. Конечно, никто не возьмется доказать, что Майлс Ковердейл — это Натаниел Готорн, участник коммуны Брук Фарм, со временем охладевший к ней. Однако скромный и задумчивый Ковердейл столь напоминает его творца, что мы не можем считать его только простым изображением того типа наблюдателя жизни, к которому всегда влекло Готорна, начиная с раннего рассказа «Дэвид Суон» и кончая «Мраморным фавном». Вероятно, «Роман о Блайтдейле» — самое сокровенное произведение писателя о человеческом разуме. Есть что-то постыдное, говорил он, в знании подноготной всех поступков и мыслей Присциллы, Холлингворта и Зенобии. Действительно, исполненный трагизма диалог между двумя последними персонажами и самоубийство Зенобии как гром среди ясного неба потрясает мирную жизнь, протекавшую на ферме и у подножия скалы, носящей название «кафедра Элиота».

Таким образом, Готорн, несмотря на оговорки в предисловии и то обстоятельство, что им были использованы лишь отдельные черты характера Маргарет Фуллер и Эмерсона, вероятно, облегчил душу, рассказав о драматических событиях на Брук Фарм. «В нем я не заметил ничего, — говорит Ковердейл о Холдинг-

сворте, — что не отталкивало бы». Образ этого законченного Итэна Бранда, филантропа, который, по словам Зенобии, всецело занят своим «я, я, я», не лишен сарказма, а описание собираемого блайтдейлцами урожая — чувства юмора. Соседние фермеры говорили, что даже коровы хохотали, смотря, как блайтдейлцы «выкорчевывают целые акры кукурузы и других злаков, старательно окучивая сорняки; будто (они) вырастили пятьсот лопухов, приняв их за капусту, будто семена не прорастали, а если и прорастали, то корнями вверх». Хотя из романа мы не узнаем, как участвовал Готорн в эксперименте Брук Фрам, однако подспудные размышления об Эмерсоне, Маргарет Фуллер и Оресте Бронсоне интересней нарочитого сюжета с путаницей имен, тайным браком, гипнотизмом и самоубийством.

Оставив наивную фабулу «Романа о Блайтдейле» и завуалированную сатиру на современников и их теории, посмотрим в готорновский микроскоп на четырех его персонажей. Нелепый Уэстервелт с золотыми зубами под стать другим злодеям Готорна, а Ковердейл — просто самодовольный педант. Со своего деревенского или городского шестка он видит и слышит больше того, что ему следовало бы знать. Даже если Ковердейл влюблен в Присциллу, о чем говорит нелепая последняя строка романа, это не мешает ему, в отличие от Кеньона в «Мраморном фавне», быть довольно абсурдной фигурой. Однако жестокосердый Холлингсворт напоминает нам, что Готорн — мастер; образ реформатора, выписанный весьма скрупулезно, достойно продолжает линию героев, целиком посвятивших себя некоей чрезвычайной цели. Никогда дьявол не бывает более хитроумен, говорит писатель, чем тогда, когда под видом филантропии развивает самовлюбленность. Холлингсворт причиняет боль Присцилле, убивает Зенобию, а сам остается «холодным, бессердечным, самовлюбленным» автоматом. Мы вновь вспоминаем слова Беняна, что дорога в ад начинается от врат рая — лицемерие и себялюбие Холлингсворта начинается с мечты о добродетели.

Образ Зенобии придает «Роману о Блайтдейле» ощущение жизненной правды. Великолепная, как царица Пальмиры, чье имя она носит, Зенобия представляет собой более раскованное изображение женского характера, чем близкие ей Эстер или Мириам из «Мраморного фавна» и другие женские образы Готорна. Три романа, в которых возникает тип яркой и страстной женщины, богаче «Дома о семи шпильях», где мы не видим никакого интереса к этой стороне, столь полно исследованной писателем моральной проблематики. Сельская тишина и шумный город — две различные сцены, где изливается бурный поток эмоций этой великолепной натуры. С символическим пунцовым цветком на груди, напоминающим о некоей мистической связи ее с Уэстервелтом, Зенобия — воплощение изменчивых царственных настроений: надменности и жалости к Присцилле, снисходительности к Ковердейлу, горячей любви и одновременно не-

нависти к Холлингсворту. Зенобия — источник жизненной энергии в несколько анемичном «Романе о Блайтдейле». В ней Готорн воплотил свое представление о женщине будущего, в ней претворены размышления Эстер о назначении женщины. Важно не то, что в ней запечатлена Маргарет Фуллер, а то, что писатель создал подобный образ, свидетельствующий, как и Мириам, о глубине его проникновения в те неистовые человеческие страсти, которые еще не считались в XIX веке допустимой для романа темой.

6

«Мраморный фавн», последнее опубликованное при жизни писателя художественное произведение, написан в совершенно иной манере, сильнее отличающей его от предыдущих трех романов, чем они в свою очередь отличались от ранних очерков и рассказов. И тому были свои причины. «Алая буква», «Дом о семи шпилях» и «Роман о Блайтдейле», опубликованные в течение трех лет, — несомненно, высшая точка развития художественного мастерства Готорна. С тех пор как писателя занимали судьбы Холлингсворта и Зенобии, прошло семь-восемь лет, бесплодие которых он с горечью признает в своем предисловии к «Мраморному фавну». Готорн постарел, и это сказалось не только на характере повествования в новом романе, проникнутом спокойствием смирения, но и на самом его жанре. Так, полное невнимание к развязке романа свидетельствует о равнодушии к сюжету, туманные намеки на прошлое Мириам — о пренебрежении какой-либо мотивировкой в объяснении поступков героев. Обстоятельствам перевоплощения праксителевского фавна в современного итальянского джентльмена Донателло постоянно сопутствуют размышления о сумеречной области сверхъестественного, фантастическое имеет оттенок иронии.

Готорн жил уже не в Конкорде, а в Риме, и это не могло не наложить на него, даже в поздние годы жизни, некоторый отпечаток древней культуры. И хотя существенных изменений в его мировоззрении не было, городская и сельская жизнь Италии, ее крестьяне пробудили в нем свежие чувства и породили особые коллизии в «Мраморном фавне», отсутствовавшие в романах о Новой Англии. В предисловии Готорн отмечает, что создает «своего рода волшебную и поэтическую страну». Оглядываясь на свое американское прошлое, он вновь проникновенно и в то же время иронически утверждает: «Никакой писатель не может представить себе всех трудностей, которые встанут перед автором романа о стране, где нет призраков, древности, тайн, живописного и мрачного зла, — ничего, кроме банального процветания при ярком свете солнца, как, к счастью, обстоит дело с моей дорогой отчизной».

«Мраморного фавна» Готорн вынашивал долго. Начав роман во Флоренции в 1858 году, он заново переработал его, живя на «сумрачных дюнах Редкара, когда седое Северное море обрушилось на меня, а северный ветер беспрестанно завывал в ушах». Так создавались эти «итальянские воспоминания» на основе новой жизни, зрелости, таланта и спокойного размышления обо всем увиденном. Не удивительно, что «Мраморный фавн» получился не похожим на другие его романы.

Подобно спокойной реке, льется рассказ Мириам, возлюбленной Донателло, соединяющей в себе природное начало и культуру классической древности. Иногда эта убаюкивающая, как сладкий сон, история приостанавливается, чтобы уступить место неторопливым описаниям, как бы заимствованным из путеводителей по Риму, что так ценилось тогдашними американцами и что вызывало зевоту у последующих поколений, лучше знающих Италию и безразличных к забытым книгам путевых очерков Ната Уиллиса или Вашингтона Ирвинга. «Мраморный фавн» ассоциируется с Римом, подобно тому как «Альгамбра» — с Гранадой. Действие медленно разворачивается в катакомбах, на Форуме и на итальянских равнинах, приобретая живость лишь в захватывающем эпизоде на Тарпейской скале, когда Донателло, преданно повинувшись жестокому приказу, который он прочитал в глазах Мириам, сбрасывает ее преследователя со скалы.

Утомительно рассматривать, как заметки Готорна о фонтане, статуе и галерее почти без изменений перекочевали из записной книжки в роман и сколь часто развитие характеров замедляется справками по Древнему Риму. В конце концов нам приходится возвратиться к моральной проблематике жителей Новой Англии, заблудившихся в дебрях латинской цивилизации. И вновь возникают старые, но оставшиеся неразрешенными вопросы. Готорн сменил небеса, но не загадки, волновавшие его. На фоне итальянской деревни или римского карнавала (вместо прежнего Бостона, Сейлема и Уэст Роксбери) его герои: Кеньон, Хильда, Мириам и Донателло — постоянно ощущают и обсуждают между собой безжалостный гнет прошлого, губительное воздействие зла на совершенную невинность, содружество грешников и возрождающую силу греха. Между образами Новой Англии и их римским обрамлением возникает заметное несоответствие. То обстоятельство, что Готорн перенес свою проблематику даже на итальянскую почву, свидетельствует об одержимости прежними идеями.

Обращение Готорна к неамериканской действительности для выражения определенных нравственных законов породило характерную особенность книги. Великолепие католической церкви вызывает любопытство нашего выходца из Новой Англии, а в исповедальне он находит подтверждение своим психологическим наблюдениям — перед священником Хильда раскрывает свою душу. Поскольку фавн относится к первобытным людям, мы по-

лучаем возможность изучать человека в его естественном состоянии. Донателло теряет райскую невинность, запятнав себя грехом Каина, что позволяет писателю вновь выдвинуть проблему «грехопадения человека», волновавшую его новоанглийских предков. Готорн не только исследует воздействие абсолютного зла на абсолютную невинность, но и впервые задает прямой вопрос о природе зла — намечает проблему, решить которую он предоставит своему другу Герману Мелвиллу.

Каковы бы ни были причины — возраст ли писателя, или то, что он исчерпал обычные характеристики зла, или влияние на него латинской культуры, в которой он, очевидно, видел непонятную для читателей Новой Англии моральную испорченность, — в «Мраморном фавне» Готорн приобщает нас к самым темным глубинам человеческого духа. Наблюдатель Кенъон, подобно Ковердейлу, может вполне сойти за самого Готорна, а Хильда с ее преувеличенным страхом перед «моральным злом» — за идеализированный портрет Софии Пибоди Готорн. Это совершенно нормальные люди, как Ковердейл и Фиби, на которых они весьма похожи. Вместе с тремя другими персонажами — таинственным незнакомцем, Мириам и Донателло — мы вступаем в безграничные моральные пещеры человеческого сознания.

Таинственный незнакомец, самый неправдоподобный из неправдоподобных злодеев Готорна, никогда, несмотря даже на свои беседы с Мириам, не покидает полностью тот мир сверхъестественного, в котором обитает. Не имел ли Готорн в виду, создавая этот образ, Агасфера? Писатель дает нам понять, что преследователь Мириам обладает чертами бессмертия и демонизма, что с ним Мириам чувствует себя виновной в некоем отвратительном преступлении. Глухие намеки на Беатриче Ченчи подсказывают, что Мириам повинна в грехе кровосмешения, которого Готорн уже касался в одном из рассказов. Этим объясняется чувство безысходности у Мириам и существующая между ней и читателями преграда, не позволяющая относиться к ней с таким сочувствием и пониманием, как к Эстер и Зенобии. Все это вновь заставляет поразмыслить о степени проникновения Готорна в природу зла. Мы снова задумываемся о вероятных дискуссиях между ним и Мелвиллом, дискуссиях, в которых могли бы фигурировать имена Изабеллы из «Пьера» и Мириам Шеффер или их двойников. Едва ли писатели удержались бы при этом от откровенного рассмотрения подлинных глубин человеческого порока.

Загадка Донателло более привлекательная, хотя не менее темная, не говоря уж о несчастном духовном союзе с Мириам после совершенного им убийства. Как и в «Молодом Брауне», Готорн в замешательстве созерцал притягательную силу греха. Картина «превращения» Донателло из простодушного дикаря в «печальное иссушающее самопознание» заранее подготовлена изображением тех его черт, которые заставляют нас недоуме-

вать: принадлежит ли он к реальному или сверхъестественному миру? Может быть, писатель действительно хотел нас убедить, что Донателло первобытный фавн с остроконечными ушами, но в современном одеянии? Такое предположение сомнительно; скорее Готорн привносит здесь в будничную реальность нечто до эксцентричности фантастическое. Забавные выходки Донателло, его собачья преданность не всегда оборачиваются добром — это неуклюжий дух природы. Лишь встретившись с грехом, обретает он черты реальности, но, к сожалению, Готорн пускается в пространные объяснения этой аллегии, как то было свойственно его предкам. Писатель сам определил значение этой прекрасно написанной, но неубедительной книги, назвав ее «ликами из мира грез».

7

Таким образом, Готорн претворил в жизнь мысль, высказанную 22 апреля 1858 года, когда он стоял перед фавном Праксителя: «Можно придумать повесть, полную веселья и грусти, о том, как род фавнов перемешался с человеческим». Чтобы осуществить этот замысел, он отложил работу над любопытной книгой, известной ныне под названием «След предка», главной темой которой является возвращение американца на землю своих английских отцов. Перерыв в начатой работе, следствием которого стал «Мраморный фавн», говорит о внутренней смятенности Готорна в течение последних шести лет его жизни: за это время он начал четыре романа, но не закончил их, что заставило его горестно заметить 1 января 1864 года: «Мне опротивела литературная работа, я устал и от собственных мыслей и фантазий, и от того, как я выражаю их». Усталость писателя была трагична: он безуспешно пытался завершить хотя бы одну из четырех книг. Мало кто из американских писателей оставил после себя такой ворох бессвязных черновиков, предварительных заметок и отрывков, на основании которых были опубликованы посмертно его романы «Септимиус Фелтон» (1871), «Роман Долливера» (1876) и «Гайна доктора Гримшо» (1883). Печален упадок некогда сильного и изящного таланта, безнадежно возвращающегося на уже хоженные тропы и беспомощно ищущего новых путей. Перо писателя утратило свою живость.

Старые мечты, старые фантазии! Как мучили теперь они его, когда он тщетно пытался связать их в нечто целостное. Оставив тему предков и скучного старого волшебника Гримшо, Готорн вновь обратился к излюбленной проблеме бессмертия. Эликсир жизни, над изготовлением которого упорно трудился доктор Гримшо, имел у Готорна длинную историю, начиная с повести о докторе Хейдегере и легенды о бессмертном человеке, рассказанной некогда Торо. Теперь, по мере приближения к роковому пределу, Готорн вновь задавал вопрос: существует ли эликсир

жизни? Мы не ощущаем личной заинтересованности в его размышлениях о неведомом, поскольку к этому времени Готорн был уже утомлен жизнью и вряд ли хотел продлить ее. Бесмысленно, наверное, отмечать сходство Септимиуса с ему подобными идеалистами в книгах Готорна, в частности с Фэншо (как будто колесо творчества совершило полный оборот), или, если обратиться к другим отрывкам, Розы Гарфилд с Фиби Пинчен, Сибил Дейси с Присциллой, тетушки Кезаи с Гефсидой Пинчен. Все это топтание на месте, неопределенность, хаос. В четырех романах ощущается изживший себя талант.

Однако творчество Готорна оставляет впечатление единства мысли и искусства. Мало кто из американских писателей столь безоговорочно и бессознательно подчинился диктату своего таланта. Он не стремился поразить читателя или соперничать с другими писателями разнообразием тем, почерпнутых из бурного мира, бушевавшего за пределами Сейлема и Конкорда, и никогда не превышал своих возможностей. Начиная с первого очерка и до «Романа о Долливере», искусство Готорна, каким бы ограниченным оно ни было, всегда оставалось естественным, лишённым нарочитости и какого-либо подражательства. Сердцевину его творчества, более существенную, чем даже страсть к совершенству формы, составлял микрокосм новоанглийского пуританизма, а пуританский образ мыслей вошел в его плоть и кровь. И действительно, ему не надо было усваивать механизм пуританского мировосприятия, ибо со времени создания «Дважды рассказанных историй» он владел им в совершенстве.

Спокойно и независимо претворял Готорн собственные идеи в области романа, что особенно примечательно, если мы вспомним те жаркие споры, какие велись в XIX веке по поводу этого жанра. Лишь Готорну удалось достичь высот художественного совершенства, лишь он один снискал дань уважения По, Мелвилла и Генри Джеймса, хотя ему, определившему различие между романтической повестью и романом, не удалось создать развернутой теории прозы. Идея Готорна превратить роман в иллюстрацию моральных концепций весьма напоминает старую пуританскую мысль о литературе как служанке религии. Однако независимость мышления Готорна разрушала этот наивный взгляд на искусство слова, столь губительно сказавшийся на таких американских поэтах XIX века, как Брайент и Лонгфелло. Хотя писатель и не высказывал своих взглядов по этому вопросу, они были твердыми и постоянными. В Англии Готорн не проявлял никакого интереса к новым литературным модам и теориям. Равнодушие к другим литераторам, советы и мнения которых его не волновали, объясняется нежеланием отступать от присущей ему манеры письма. Когда окидываешь взглядом долгий путь Готорна к литературному признанию и его одиночество, лишь однажды прерванное на короткое время дружбой с Германом Мелвиллом, еще больше поражаешься силе духа и «не-

податливости» характера этого человека. Со всей решительностью осуществлял он свои художественные принципы.

Преданность Готорна искусству не представляла собой в Америке XIX века чего-то исключительного. Обитающий в пустыне невольно обращается к живительному источнику в собственной душе. Многие наши наиболее выдающиеся писатели под влиянием одиночества пристально вглядывались в то, что совершалось в их душе. Так, сам Эмерсон, пробираясь через снежные заносы на окраине Бостона, был «исполнен радости, доходящей до страха», а Эмили Дикинсон, одиноко жившая в кирпичном доме на деревенской улице, испытала любовь к Вечности и запечатлела ее в стихах. Возможно, богатством души Готорн был обязан скудости своей жизни. Художественное чутье открыло ему вечный материал искусства в суровом пуританском наследии, которое заставляло человека трепетать от страха или возмущаться.

28. GERMAN MELVILLE

1

Летом 1850 года Герман Мелвилл — писатель, достигший известности уже в тридцать один год, — лежал на сеновале в Питсфилде, читая «Мхи старой усадьбы», книгу своего соседа Натаниэла Готорна (вскоре оба писателя встретились и подружились). Чем дальше читал Мелвилл, тем больше удивлялся: как это его соотечественники до сих пор не признали Готорна гением. Вскоре Мелвилл написал большую статью, пытаясь убедить американских читателей, что среди них живет необыкновенный человек, представляющий «новое и замечательное поколение писателей».

Статья «Готорн и его «Мхи старой усадьбы» — нечто гораздо большее, чем просто глубокое и пронизательное суждение о книге. Мелвилл развивает здесь свои взгляды на художественное творчество. Сказанное о Готорне может быть отнесено и к самому Мелвиллу. «Если вы отправитесь путешествовать по краям, глубоко и прекрасно описанным Готорном, — замечает Мелвилл, — вы услышите в отдалении рев его Ниагары». В Америке нет писателя, чьи человеческие чувства обрели бы, как у Готорна, «высшую форму, позволяющую говорить о гении». Кроме того, Готорн обладает «могучим, глубоким интеллектом, устремляющим человека в глубины вселенной, подобно свинцовому грузилу, тянущему леску на самое дно». Если американцы признают силу гения Готорна, это «скажется на всем литературном братстве. Ведь во всем мире талантливые люди составляют единое целое, и едва взаимное понимание коснется кого-то одного, как оно распространяется на весь круг».

Мелвилл открыл для себя столь восхитивший его талант Готорна в ту пору, когда сам работал над «Моби Диком», с завершением которого связывал большие надежды. Роман этот шире и глубже ранних морских повестей Мелвилла, снискавших ему популярность, однако мало кто из читателей расслышал тогда отдаленный рев мелвилловской Ниагары. Только в XX веке удостоился Мелвилл того глубокого понимания, какое сам он проявил в отношении Готорна в 1850 году.

Почему после 1852 года слава Мелвилла в глазах соотечественников уступала славе таких ниспровергателей общеприня-

того образа мыслей, как Торо и Уитмен? Почему так нескоро был принят он в пантеон великих американских писателей? Начнем с того, что в сложном характере Мелвилла сталкивались различные вихри. «Беспощадный демократизм», столь же пылкий, как у Уитмена, заставлял его терзаться «острой болью при виде человека, утратившего мужество». Аристократ по натуре, он всю жизнь любил то, что презирал Торо — веселую компанию с шампанским и сигарами, старые фолианты и редкие гравюры. Даже у своего друга Готорна Мелвилл усматривал отсутствие необходимой человеку «приятной завершенности». Ради красного слова он мог обозвать Эмерсона дураком, набитым «трансцендентализмом, мифами и всякой чепуховиной». При этом он сам скорее согласился бы стать таким глупцом, чем умником в обычном смысле слова. Мелвилл любил людей, подобно Эмерсону, но нырял за правдой в более глубокие и опасные воды. Горячий патриот, как и Уитмен, он после 1865 года разделял его страх за будущее американской демократии.

В то время, когда четверо других писателей спокойно трудились, совершенствуя свое мастерство, Мелвилл глубоко переживал Гражданскую войну, результаты которой волновали его гораздо больше, чем собственное творчество. В стремлении к достоверности он оставил далеко позади то, что писал когда-то в «Тайпи» и «Белом бушлате». В эпоху, уверовавшую в справедливость материального успеха и вступившую в компромисс с агностицизмом, зрелище некогда популярного романиста, «впадавшего в буйство по поводу отдаленных аналогий», вызывало, мягко говоря, недоумение. Даже самые беспокойные умы того времени отдавали предпочтение уравновешенности четырех великих современников Мелвилла перед его беспокойным поиском той формулы, которая должна разрешить всеобщую взаимосвязанность, заложенную в природе.

2

Когда 3 января 1841 года «Акушнет» вышел из Нью-Бедфорда в море, в его команде из двадцати шести человек был новый двадцатидвухлетний матрос. Это плавание, преображенное силой его искусства, стало самым знаменитым из когда-либо совершенных китобоями. Молодой Мелвилл не был новичком в море. В 1839 году он побывал на торговом судне в Ливерпуле, а позднее рассказал об этом плавании в «Редберне», правда не придерживаясь точных фактов. Не удивительно, что он вновь оказался в море, и на этот раз на китобойце. Герман Мелвилл был сыном некогда процветавшего нью-йоркского купца, мать происходила из известной в Олбэни семьи Гэнзвортов. Молодые люди с такой родословной обычно

не плавали на китобойцах, поскольку это было сопряжено и с опасностями, и с тяжелым трудом. Но отец Мелвилла к тому времени умер, мать занималась воспитанием многочисленного потомства, и молодой человек должен был сам пробивать себе путь. Он попробовал учительствовать, но бросил. Юноши в шестнадцать лет нанимались на китобойные суда и, разбогатев, становились их капитанами и совладельцами раньше, чем у них вырастала борода. Еще важнее то обстоятельство, что Мелвилл всю жизнь терзался «неуемной страстью к дальним странствиям». Дядя — капитан дальнего плавания и два кузена, служившие офицерами на флоте, рассказывали ему о чудесах Южных морей, разжигая желание «плавать по заповедным водам и высаживаться на диких берегах». Презируя «всякого рода респектабельную суету», он меньше всего беспокоился, что ему придется заниматься грязной работой.

Океанское плавание «Акушнета» проходило довольно спокойно и ничем не напоминало плавание «Пекода» в «Моби Дике». «Акушнет» следовал обычным путем китобоев, направлявшихся на промысел в экваториальные воды Тихого океана, в июне заходя в перуанский порт Санта, а в ноябре отплывая с Галапагосских островов, изображенных позднее Мелвиллом в «Энкантадос». У капитана Пиза были свои заботы. Слишком много членов команды покинуло корабль, прежде чем в июне 1843 года он достиг Сандвичевых островов. Среди семи бежавших были Мелвилл и его друг Тоби Грин. 9 июля 1842 года, когда «Акушнет» стоял в романтически прекрасном заливе Анна-Мария возле Нукухиви, одного из Маркизских островов, они не вернулись на корабль. Более чем вероятно, что Мелвилл заранее решил побывать в этом раю Южных морей, хорошо известном морякам и миссионерам, но еще мало исследованном и почти совсем не описанном. Туземцы там не отличались гостеприимством, а одно племя, тайпи, даже слыло каннибальским.

В написанном позднее «Тайпи», претендующем на автобиографический рассказ о жизни на Маркизских островах, Мелвилл сочетал художественный вымысел со случайными сведениями, почерпнутыми из отчетов мореплавателей о более ранних посещениях этих островов. Но кое-что из описанного Мелвиллом вполне достоверно. Тоби был с ним, когда они по ошибке спустились в долину враждебно настроенных туземцев. Тоби бежал от них первым, и Мелвилл ничего не знал о его судьбе до тех пор, пока не опубликовал свою повесть. Желая сделать повесть правдоподобной, Мелвилл утверждал, будто туземцы не отпускали его более четырех месяцев. На самом же деле он был почетным гостем каннибалов лишь несколько недель, очевидно не более месяца.

Мелвилл бежал на ветхой, но быстроходной сиднейской шхуне «Люси Энн», переделанной в китобойное судно. Историю своих дальнейших приключений, восстания, зачинщиком кото-

рого он стал, бродяжничества на Таити, столь часто посещаемом и уже не безгрешном тихоокеанском рае, расположенном на расстоянии тысячи миль от долины тайпи, Мелвилл изобразил довольно достоверно в повести «Ому». В этой веселой книге писатель потешается над некоторыми уважаемыми людьми, которые назвали его после публикации повести клеветником.

Начав, по его словам, скучать на Таити, Мелвилл покинул остров. Затем мы видим его в качестве клерка и бухгалтера у торговца различными товарами в Гонолулу, где он законтраговался на год, начиная с 1 июля 1843 года. За несколько недель до этого «Акушнет» прибыл на Гавайи, и его капитан сообщил в суд о беглецах с корабля. Вероятно, Мелвилл опасался, что рука морского закона снова бросит его в китобойный промысел. Так или иначе он стал под защиту американского флага, завербовавшись простым моряком на отправлявшийся в Америку фрегат «Юнайтед стейтс», изображенный под именем «Неверсинк» в еще одной книге о тихоокеанских приключениях — «Белом бушлате».

Четырнадцать месяцев шел домой «Юнайтед стейтс» с Мелвиллом в качестве ютового матроса, подолгу простаивая на рейдах Калья в Перу и Масатлана в Мексике. Будущий обличитель жестокостей на американском флоте повседневно наблюдал на «Юнайтед стейтс» и унижение человеческого достоинства, и проявление стойкости духа. 3 октября 1844 года фрегат вошел в гавань Бостона, и Мелвилл, хотя отслужил только полсрока, был списан на берег вместе со всей командой.

Долгое плавание, самое великое в истории литературы, было окончено. Мелвилл видел много такого, что наблюдали и о чем оставили записи другие путешественники. Однако никто из них — ученых, исследователей, миссионеров или купцов — не осознал в такой мере, что значили жадность и порочность, а также филантропия белого человека для первобытных народов, встречавших матросов-сифилитиков с таким же радушием, как и жену миссионера с ее Матушкой Хаббард*. Жизнь на военном корабле сделала Мелвилла демократом во всех отношениях. Он не мог себе представить более благородного героя, чем Джек Чейс, первый старшина марсовой, которому в старости посвятил свое последнее произведение «Билли Бадд». Впечатления этих лет не покидали писателя всю жизнь, оставаясь такими же яркими среди новых, полученных позже, во время поездки в Европу, и от беспрестанного чтения.

В те годы, когда все книгоиздатели рекламировали свои библиотеки путешествий, Мелвилл волей-неволей должен был написать о виденных им чудесах. Он с увлечением принялся за эту работу в доме матери по другую сторону Гудзона, напротив Олбэни. В 1846 году «Тайпи, взгляд на полинезийскую жизнь» вышел в Лондоне в издательстве Меррея (под названием «Мар-

кизские острова Мелвилла») и в Нью-Йорке в издательстве «Уайли и Патнэм».

Большинство критиков и читателей восторженно приняли «Тайпи». Кое-кто возражал против того пыла, с каким описывались девушки этого племени, поэтому наиболее откровенные места были сняты в вышедшем вскоре новом издании. Кое-кому вся история показалась слишком невероятной. Они не могли поверить, что столь блистательно описанные приключения и столь великолепно нарисованные картины могут принадлежать неизвестному беглецу с китобойца. Мелвилл создал книгу, какой еще не бывало.

Уже с первой главы обнаруживается мастерство, выделяющее «Тайпи» среди описаний вроде «Плавания в Южных морях» (1831) Стюарта, которому Мелвилл многим обязан. Кто устоит и не прочтет второй главы, когда в первой его аппетит уже разожжен рассказанным забавным случаем, как непристойно обошлись островитяне с женой миссионера и как вела себя царица острова, так потрясая французских моряков, что они в тот же миг бежали, покинув сцену столь поразительного зрелища? Большую часть повести автор заставляет читателей переживать судьбу своих героев. Удастся ли им бежать с корабля? Удастся ли благополучно спуститься в долину? Не окажутся ли туземцы страшными тайпи? Когда же беглецы попадают именно к тайпи, возникают новые опасения. Не убьют ли их? Не пришлось ли им на туземном празднике невольно съесть человеческое мясо вместо обычной «пуарки» (свинины)? Когда Тоби исчезает и больше не появляется, Мелвилл невольно беспокоится не только за него, но и за себя. Тайпийцы прячут прокопченную голову белого человека так поспешно, что рассказчик не может удостовериться, не голова ли это его пропавшего друга.

Трепетное ожидание читателя не всегда, однако, порождено страхом. Где-то в середине книги Мелвилл начинает проводить мысль, брошенную в начале мимоходом: «Я не сомневаюсь, что мы были первыми белыми, так далеко проникшими в их страну». Да и кто стал бы в 1846 году сомневаться, что Мелвилл первым узнал о системе брака у маркизанцев (разновидность полиандрии, которую писатель не вполне понял) и о церемониях празднеств тыквенных бутылей. В этих главах, составляющих среднюю часть повести, Мелвилл демонстрирует свое умение обыгрывать детали и делать их живыми и человеческими. Мастерство это он продолжал совершенствовать в «Моби Дике».

Следует отметить, что подобно тому как у Дефо рассказчик «Робинзона Крузо» убедителен и достоверен, так и «я» в «Тайпи» не просто рассказчик, а предприимчивый молодой человек, жизнерадостный и любопытный, несколько расчетливый и хитрый. Тоби, напротив (независимо от того, был ли таким на самом деле Ричард Тобайес Грин), изображен склонным

к вспышкам гнева и угрюмости. Но не только эти два образа в книге тщательно выписаны. Вождь Мехеви, старый лекарь, верный Кори-Кори, Марну, красивый, как Аполлон, — все наделены писателем глубокой жизненностью. Что касается Файавэй, то в ней воплощено представление романтиков о том, какой должна быть полинезийская нимфа.

«Ому», вторая книга Мелвилла, в основу которой легла его бродячая жизнь на Таити, вышла весной 1847 года. Первые издатели, к которым обратился писатель, отклонили рукопись, очевидно из-за содержащихся в ней нападок на протестантские миссии в Южных морях. Ее напечатал Харпер, опубликовавший шесть следующих книг писателя и получивший таким образом почетное право поставить имя своей фирмы на титульном листе «Моби Дика».

Хотя в «Ому» отсутствует занимательность рассказа, державшая в постоянном напряжении читателей «Тайпи», во многих отношениях эта книга больше походит на роман. Вместо напряженного действия Мелвилл использует ряд последовательных эпизодов, каждый из которых вводится в текст с мастерством профессионального писателя. Вслед за веселыми начальными главами и описанием мятежа на «Джулии» следуют не менее занимательные проделки бунтовщиков во время их заключения в английской тюрьме на открытом воздухе, «Калабуса беретани». После освобождения Мелвилл и его товарищ по несчастью, неверный доктор Долговязый Дух, осматривают остров. Это дает писателю возможность показать «Таити без прикрас» и высказаться о деятельности миссионеров, высмеять их нелепые утверждения, будто они вырвали души туземцев из лап дьявола. Хотя, как допускал Мелвилл, миссионеры уменьшили опасные последствия алкоголя, гонореи и корыстолюбия, принесенных их белыми соотечественниками, они в то же время нанесли непоправимый вред, уничтожив табу, на которых держался весь социальный организм этих островов.

Воздав должное миссионерам, Мелвилл и доктор перебрались на остров Эймес помогать янки и кокни на уборке картофеля, но, несмотря на трехчасовой перерыв, нашли работу невыносимой. Вновь пустившись в долгое путешествие, они наконец попадают без приглашения в королевский дворец босоногой королевы Помаре Вахине I, которая принимает их в окружении битого фарфора и стекла, сабель и охотничьих ружей, кружевных шляп, канделябров и графинов (все это подарки европейских монархов), вкушая рыбу и потягивая «пои» из тыквенных бутылей.

Помимо таланта рассказчика, проявившегося в отдельных эпизодах, развитие художественного мастерства Мелвилла в «Ому» отмечено двумя чертами. Здесь он почти не прибегает к книгам других путешественников, всецело полагаясь на вымысел. Заметно возросло его умение создавать яркие образы.

Среди множества забавных персонажей, наполняющих «Ому» безудержным весельем, более двадцати написаны рукой мастера, причем потребовалось всего несколько предложений для характеристики матушки Тот и несколько глав для создания образа шумливого и своевольного консула Уилсона.

Третьей книгой, которая родилась в результате проведенных в Тихом океане лет, стал «Белый бушлат, или Жизнь на военном корабле». Снова, как в «Тайпи», Мелвилл предложил читателям новую тему, на этот раз полную и достоверную картину жизни на борту американского военного корабля. Выступив (в первых главах «Ому») в защиту тяжелого труда эксплуатируемых китобоев, он теперь с еще большей решимостью вступился за простых моряков американского флота. Его вера в природное достоинство человека была оскорблена жестокими телесными наказаниями и сценами мелочной тирании, свидетелем которых он стал на борту «Юнайтед стейтс». Будучи в душе пацифистом, Мелвилл возмущался военно-морскими законами и обычаями, призванными превратить американских деревенских парней и ремесленников в жестоких солдат. Презрение к рангам не могло не вызвать у Мелвилла протеста против ходульного церемониала, сопутствовавшего появлению коммодора на борту корабля. Временами «Белый бушлат» звучит как открытая пропаганда, и действительно, роман внес свою скромную лепту в те преобразования, которые были проведены на американском флоте в середине прошлого века. Через полгода после выхода книги Мелвилл уже мог написать своему другу Эверту Дайкингу: «Я искренне радуюсь отмене телесных наказаний на флоте».

Лишь в нескольких главах мораль становится назойливой. Среди пяти книг, вышедших до «Моби Дика», «Белый бушлат» — самая зрелая, художественная завершенность которой приближает ее к «Моби Дику». Не так-то легко держать в напряжении читательское внимание на четырехстах страницах без помощи сюжета одним только описанием уклада жизни, вахт и распорядка, заведенного на военном корабле.

Хотя в романе нет сюжета в строгом смысле слова, в нем описаны события, происходящие с рассказчиком по прозвищу Белый Бушлат, чья холщовая куртка выделяет его среди пятисот моряков. Как и в «Тайпи», мы не только симпатизируем рассказчику, но и с интересом следим за его судьбой. Белый Бушлат, склонный к размышлениям и праздному времяпрепровождению, вполне подходящая фигура для «Клуба сорокадвухфунтовых», к которому принадлежат сливки корабельного общества. В «Белом бушлате» развернулось необычное сатирическое дарование писателя, которое до тех пор проявлялось лишь в изображении миссионеров и ничтожных колониальных чиновников. Объекты сатиры на борту «Неверсинк» самые обычные: туманная проповедь капеллана, помпезность появления ком-

модора на корабле, стоящем в гавани, придирки к матросам молокососа кадета, лишь недавно вышедшего из детской и начальных классов, где порядок наводился розгой, и, наконец, самый устрашающий персонаж — флагманский хирург Кэдуолддер Кьютикл, доктор медицины, суший мясник с искусственной шевелюрой и фальшивыми зубами.

Судовой журнал «Юнайтед стейтс», к счастью, сохранился, и мы можем установить, что взято Мелвиллом из жизни и что придумано. Последние три месяца на пути в Америку — время действия романа — были настолько лишены каких-либо событий, что Мелвилл смог использовать в своем повествовании только один реальный эпизод. Все остальное вымысел: и ужасная операция, проведенная хирургом Кьютиклом над марсовым; и благоуханная история о том, как грог, запасы которого исчерпались, был заменен одеколоном; и великое истребление бород; и то, как Белый Бушлат-Мелвилл едва избежал порки. Самые волнующие страницы романа — рассказ о том, как белый бушлат стал причиной падения его владельца в море с наветренного нока брам-рея и с высоты ста футов, а то и более. Но даже этот эпизод Мелвилл спокойно позаимствовал из «Заметок моряка» Натаниела Эймса, причинив тем немало хлопот своим будущим биографам, обнаружившим, что писатель присвоил чужой предсмертный ужас и выдал за пережитый Белым Бушлатом.

Когда Мелвилл принялся за «Моби Дика», его главной заботой было представить обыкновенное плавание китобоя как событие необычное. Читатель должен постичь тайный смысл повседневных дел, ту всеобщую значимость их, которая одна позволяет выразить всю глубину романа. Уже в «Белом бушлате», опубликованном в год, когда Мелвилл начал работать над своим шедевром, он изобразил жизнь военного корабля как нечто символическое, универсальное. Микрокосм корабля дает большое разнообразие характеров — от Скриггса с его воровским взглядом до благородного Джека Чейса — и целую панораму человеческих переживаний — от телесных наказаний, вызывавших страх на всем флоте, до той печальной минуты, когда «последний стезжок» пронизет нос моряка, прежде чем тело его будет должным образом похоронено в море.

Мир-фрегат, говорит Мелвилл в заключении, плавает во исполнение тайного приказа — «мы сами являемся хранилищами секретного пакета, таинственное содержание коего мы жаждем узнать». В первый раз оказавшись в море и попав в качку, к которой в последующие годы постепенно привыкаем, мы все до единого заболеваем морской болезнью.

«О товарищи по кораблю и братья по человечеству! Мы, народ, терпим много несправедливостей. Сколько жалоб набралось на батарейной палубе! Но тщетно апеллируем мы к командиром корабля на суд лейтенантов; тщетно — пока мы находимся

на фрегате нашего мира — к неопределенным чинам Морского ведомства, до которых так далеко, что их и не видно. Однако виновниками самого жестокого зла по отношению к себе являемся мы сами. В этом даже офицеры наши бессильны нам помочь, даже если б они этого и захотели. От такого зла никто другой спасти не может; каждый человек должен быть собственным спасителем. В остальном, что бы ни приключилось, никогда не будем нацеливать пушек на свою же команду и не будем подымать мятежа, размахивая окровавленными пиками».

3

Успех «Тайпи» и «Ому» побудил Мелвилла стать профессиональным писателем. Убедившись, что теперь он и читающая публика в Англии и Америке поладят между собой, осенью 1847 года Мелвилл женился на Элизабет Шоу, дочери главного судьи Массачусетса. Они поселились в Нью-Йорке, где Мелвилл вскоре стал членом кружка писателей, группировавшихся вокруг литературного критика и советчика издателей Эверта Дайкинга. На вечеринках этого кружка, известного в Нью-Йорке под названием «Рыцари Круглого стола», молодой романист рассказывал за пуншем о чудесах Южных морей и принимал участие в беседах об искусстве, литературе, философии и политике. Друзья и литературные рецензенты ждали от него новых историй о путешествиях. Несмотря на философский подтекст, замеченный в «Белом бушлате» (1850) лишь наиболее проницательными читателями, Мелвилл и здесь, в своей пятой книге, представлял публике тот сорт чтения, который она от него ждала.

За год до этого в «Редберне» Мелвилл обратился к воспоминаниям о своем плавании в Ливерпуль девятнадцатилетним юношей. Теперь он презирал или делал вид, что презирает эту трогательную повесть о страданиях молодого джентльмена, путившегося в море с суровым капитаном и впервые познавшего грязь иностранного порта. Вскоре после выхода «Редберна» Мелвилл писал своему другу Дайкингу: «По-видимому, книга встретила благосклонный прием. И я рад этому, так как в пустом кошельке появились деньги. Однако надеюсь, что больше мне уже никогда не придется писать в таких условиях — когда тебя окружают кредиторы и глядят из-за спины на твою работу... что хорошего можно написать? Что, кроме жалкого «Редберна»? Доходы от публикации книг в то время были таковы, что даже писатель, живший среди каннибалов и вернувшийся рассказать о том в Америку, не мог содержать растущую семью писательским трудом.

Теперь Мелвилл был готов поставить на карту свое обеспеченное положение и выступить с произведением, которое, он знал, едва ли понравится читателям. Именно такой книгой стал

«Моби Дик» — недаром писателя мучило предчувствие несчастья, когда он писал роман. В самый разгар работы над «Житом» он признавался Готорну: «То, что больше всего мне хочется написать, запрещено, ибо не окупится. А ничего *другого* я не могу писать. В результате получается мешанина, и во всех моих книгах видна стряпня». До «Моби Дика» Мелвилл пытался идти на компромиссы, писал отчасти то, что хотелось публике, отчасти то, что хотелось ему самому. В письме к Готорну он, очевидно, имел в виду «Марди» (1849). И в самом деле, этот роман — мешанина из приключений, романтического повествования, сатиры и бесплодного философствования, довольно смелая стряпня, представляющая интерес как свидетельство своенравности гения и в то же время столь многое объясняющая в самом Мелвилле.

Первые пятьдесят глав «Марди» похожи на ранние книги Мелвилла. На этот раз мы становимся очевидцами приключений рассказчика и его спутника Джарла, бежавшего с корабля, пережившего мучения в лодке среди океана, побывавшего на борту окутанного тайной туземного корабля, который затем погиб во время шторма. И вот они снова в лодке среди океана, их ожидают странные, но вполне вероятные приключения. Они убивают священника, спасая девушку с белоснежной кожей и золотыми волосами. Ее таинственное, вряд ли земное происхождение, странный плен на Острове наслаждений, ее перевоплощение и обожествление в храме Апо — все это напоминает некую перелицовку Блейка или прозаическое изложение стихов Томаса Холли Чиверса. Доверчивый читатель может решить, что перед ним одна из легенд Южных морей, или предположить, что рассказчика приняли на острове Одо за полубога Таджи, подобно тому как гавайцы сочли капитана Кука своим богом войны Лоно. Когда Таджи в сопровождении короля по имени Медиа, философа с подчеркнуто аллегорическим именем Бабадандуса (Балаболка), историка Заплетенная Борода и поэта Йуми совершает путешествие вокруг архипелага Марди, тогда и обнаруживается замысел всей книги. Читатель понимает, что в своем небольшом предисловии к «Марди» Мелвилл не обманывает: «Опубликовав два повествования о плавании в Тихом океане, воспринятые во многих кругах с явным недоверием, я решил написать романтическую историю о Полинезии и напечатать ее, чтобы посмотреть, не примут ли вымысел за истину — обратное тому, что произошло в прошлый раз».

В «Марди» отразились настроения Мелвилла 1848 года. В течение семи предшествовавших лет, читая книги в корабельных библиотеках и в огромном собрании Эверта Дайкинга, он открыл для себя целый мир идей. Новые литературные друзья Мелвилла возбуждали его интерес к современным политическим проблемам, особенно к неразрешенному вопросу о рабстве и к американской империалистической экспансии в Мексике и на

Северо-Западе. С ненасытным, но бессистемным любопытством человека, не получившего академического философского образования, жонглировал он специальными терминами стоицизма, идеализма, детерминизма, христианской теологии и даже трансцендентализма, хотя и не испытывал сердечной склонности к современникам из Конкорда.

Роман «Марди» перенасыщен различного рода неясными аллегориями, безвкусными стихами Йуми (первыми опытами Мелвилла в поэзии), очерками обо всем на свете — от этюда «Время и храмы» до рассуждений на тему благородных вин и физиологии гениальности. Несмотря на засоренность языка и любительский характер философствования, в книге ощущается прилив новых сил, и писатель торжествует, сознавая это. К лучшим страницам относятся сатирические образы философов и педантов, а также ряд глав, в которых Таджи и его придворные спутники знакомятся с Доминорой (Англией) и Вивенцой (Соединенными Штатами) и малыми народами, составлявшими всю Марди в 1848 году.

Хотя Мелвилл попытался втиснуть в книгу все, что привлекало его внимание в этот знаменательный для Америки год, «Марди» строится по вполне определенному плану. Правдоподобные приключения первой части уступают место фантастической истории Йиллы. После того как она была похищена, Таджи пускается на ее поиски, что и составляет сюжет весьма странного путешествия в область политики и чистого разума. Начальные сатирические главы этого раздела, написанные в раблезианском духе и посвященные вечным, переходящим из поколения в поколение темам, предваряют отточенную сатиру на суеверия, продажность и бесконечные распри различных сект, позоривших христианскую церковь почти два тысячелетия. После обширной интерлюдии Мелвилл изображает христианское государство, каким ему следовало бы быть, — безмятежную страну Серению, где законы порождены не чувством мести, а любовью и Альмой (Христом).

Хотя писателю нет необходимости давать пояснения, ибо главная его цель достаточно очевидна, тем не менее в главе «Плавание продолжается» он заявляет, что это путешествие без карты по миру разума столь же отважно, как предпринятое некогда Колумбом:

«Странник ведет свой челн по нехоженным морям, прокладывая дорогу среди язвительных насмешек. На сердце у него тяжело, одолевают сомнения в правильности избранного пути.

Таков и я».

Но этот искомый мир еще более необычен, чем тот, что был открыт отправившимся из Палоса *. Это мир разума, где странник озирается по сторонам с большим изумлением, чем отряд Бальбоа * в золотых ацтекских долинах.

Страстное желание порождает фантом будущего и считает его реальностью. Если же после всех бесплодных усилий окажется, что мы не достигли желанной гавани, лучше в гордом порыве погрузиться в бездонную глубину, чем плавать в мелких водах. «О боги, если суждено мне погибнуть, пусть потерплю я абсолютное крушение».

Что искал Мелвилл? Какую землю обетованную в «мире разума» надеялся он увидеть? Кто такая Йилла, этот неуловимый призрак, за которым в безбрежном океане вплоть до последней страницы романа гонится Таджи? Кто такая темная и зловещая Хаушия, преследующая преследователя и предлагающая ему чувственные радости этого мира? Туманная символика кажется банально-романтической, но, взглядевшись в «Моби Дика» и «Пьера», с которыми тесно связан «Марди», мы начинаем постигать смысл романа. Мелвилл отправился в долгие поиски наивысшей истины. Он хотел получить ответ от загадочной и страстной вселенной. Видимость вещей должна была обернуться скрывающейся за ней действительностью.

Когда в январе 1850 года в Лондоне был издан «Белый бушлат», пятая книга Мелвилла находилась в печати. Он только что вернулся из Англии, проведя во время поездки несколько восхитительных дней на континенте. Хотя он ездил за границу по делам — во времена взаимного англо-американского литературного пиратства писатель-американец мог лишь взывать к великодушию своих английских издателей, — все свое время Мелвилл посвятил удовольствиям: рылся в книжных ларьках, покупая, как обычно, больше, чем позволяли его средства, обедал с литературными знаменитостями, осматривал достопримечательности, ходил в театры. Перед преуспевающим автором «Маркизских островов Мелвилла» Лондон предстал совершенно иным, чем Ливерпуль перед безвестным девятнадцатилетним матросом. Он сам уже был в полном смысле слова литературной знаменитостью. В последние дни пребывания в Англии герцог Ратленд оказал ему честь, пригласив в Белвуар. Мелвилл вынужден был отклонить это предложение, чтобы побыстрее вернуться к семье.

Литературные клубы Нью-Йорка стали вызывать отвращение Мелвилла. Даже его верные друзья братья Дайкинк были заняты продвижением писателей, к которым он больше не испытывал интереса. В семнадцатой книге «Пьера», прибегая к прозрачным намекам, Мелвилл сатирически изобразил это милое общество: невежественные издатели, лстящие молодому писателю своей просьбой о выпуске «полного собрания» его сочинений, организаторы лекций, упрашивающие его прочитать лекцию о чем угодно (при этом почтительно предлагается тема «Удел человека»), редакторы журналов, требующие дагерротип, чтобы обеспечить успех молодому дарованию, благоухающие розовым маслом молодые леди, жаждущие автографов.

Балаболка в «Марди» любит рассуждать о том, как трудно писать хорошо. Этот мелвилловский философ утверждает, что глубокие мыслители — гиганты, когда думают, и карлики, стоит им лишь раскрыть рот. Постигнув новый таинственный источник творчества и осознав, какие приключения открываются перед ним в мире разума, Мелвилл почувствовал презрение к той славе, которой он уже обладал. Слава нужна, если она дает власть деньги и положение в обществе. Слава — всегда дело случая, достоинство — вот главное. Он напишет нечто столь совершенное, что окажется не под силу понять критикам, этим тщеславным мулам, «которые не в состоянии породить свежую идею, ибо давно утратили мужественность мысли».

В начале 1850 года Мелвилл приступил к работе над книгой, огромная тема которой так захватила его, что он больше не думал о критиках. словно желая подчеркнуть свой разрыв с литераторами Нью-Йорка, он через несколько месяцев перевез семью в Бродхол близ Питсфилда, штат Массачусетс. Это был пансион, а некогда дом принадлежал любимому дяде Мелвилла, и многие светлые воспоминания детства были связаны с этими местами. Вскоре Мелвилл приобрел поблизости дом и ферму, пристроил веранду с северной стороны своего «Эрроухэда», по которой любил вышагивать, созерцая вершину величественной горы Грейлок, видневшейся за лугами на расстоянии двадцати миль. Зимой он совершенно погрузился в работу над «Моби Диком». Но в голове Мелвилла теснились замыслы иных книг, и он в шутку просил Эверта Дайкинга прислать ему полсотни молодых людей, умеющих быстро писать, чтобы они помогли ему справиться с работой.

4

В настроении отчаянной дерзости, сопутствовавшем «Марди», Мелвилл отправляет Ахава и его биографа Измаила в еще более опасное путешествие, чем то, которое совершил Таджи в «мире разума». Читатели «Моби Дика, или Белого Кита», вышедшего в свет осенью 1851 года, раскрывали книгу в полной уверенности, что это еще один роман о плавании китобойного судна. В те годы в книжных лавках бойко торговали книгами о приключениях китобоев, о китобойном промысле, о самом левиафане, его анатомии и физиологии. Но вскоре читатель начинал догадываться, что перед ним книга, совсем не похожая на «Рассказ о путешествии на китобойном судне» (1840) Фредерика Беннета или «Гравюры, изображающие плавание китобоя» (1846) Дж. Росса Брауна.

«Моби Дик» начинается, собственно говоря, в Нью-Бедфорде, величайшем китобойном порту, а плавание «Пекода» — в древнейшем прибежище американских китобоев Нантакете. То, что происходит с Измаилом, пока он ожидал отплытия, могло

бы произойти с любым новичком, впервые нанявшимся на корабль, разве что о первых часах, проведенных им в порту, рассказывает с большим чувством юмора, чем свойственно сухим повествованиям Беннета и Брауна. Однако уже в первых главах появляются приметы того, что «Пекоду», этому «настоящему канибалу среди кораблей, украсившемуся костями убитых врагов», суждено необычное плавание, в результате которого трюм не будет ломиться от бочек спермацета, способного превращаться в золото. Рок с самого начала тяготеет над судном. Темные слова пророка в выцветшем бушлате и заплатанных брюках (имя его — Илия) породили в душе Измаила всевозможные «смутные недоумения и полупредчувствия». Проповедь морского священника Мэпла, обращающегося к пастве с кафедры, словно с грот-мачты своего корабля-часовни, бросает луч света на тот пагубный путь, который сознательно избрал капитан Ахав. Подобно Ионе, взявшему на себя грех неповиновения и бежавшему от бога, Ахав познает муки, ниспосылаемые богом тому, кто не может сказать, испуская последнее дыхание: «Отец мой (знакомый мне главным образом по тумакам), смертный или бессмертный, вот я умираю. Я стремился принадлежать тебе, скорее нежели этому миру или себе самому. Но сие все — не важно. Я оставляю тебе вечность, ибо что есть человек, чтобы он мог пережить своего бога?»

Мелвилл проявил большую смелость, сделав героями романа американских китобоев, прототипы которых он встречал за десять лет до того во время плавания на «Акушнете». Грандиозное действие сродни пьесам Софокла и Шекспира, с той лишь разницей, что актеры разыгрывают его на покрытой жиром палубе китобойца. Сила искусства Мелвилла превращает ее в сцену, достойную самого действия, но и в самой этой обстановке заключена скрытая сила. Годы расцвета китобойного промысла, когда был написан «Моби Дик», представляют собой один из выдающихся периодов нашей национальной истории, когда тысячи американцев, захваченные волной миграции на Запад и кличем «Золото в Калифорнии», готовы были в тройной надежде на приключения, золото и славу ставить на карту свою жизнь и счастье. Американский флот в три раза превосходил тогда флот европейский. Мы поставляли миру большую часть осветительного масла, свечей и китового уса. Героика морского промысла вошла в легенду. В распоряжении писателя была обширная литература об охоте на китов начиная с античности. Веками волновал воображение писателей левиафан, самое могучее и загадочное творение бога. В своей комнате в «Эрроухэде» Мелвилл припомнил все были и небылицы, рассказывавшиеся китобоями. Слышанное и прочитанное дополнялось собственными воспоминаниями о призрачном фонтане, появившемся в тихую лунную ночь, о разделке, об адском смраде салотопки. Мелвилл охотно обращался и к фактам, и к мифам — ко всему, что касалось

«чести и славы китобойного промысла». Еще до начала действия романа писатель поведал о капитане Ахаве, который в слепой ненависти к своему старому знакомцу Белому Кита, лишившему его ноги, навлек гибель на команду и на самого себя.

И в самом деле, один такой злобный кит в течение многих лет наводил ужас на американских китобоев. Дж. Н. Рейнолдс описал его в «Никербокер мэгэзин» за май 1839 года под именем Моха Дик. Мелвилл встречался и разговаривал с сыном Оуэна Чейса, автора «Рассказа о самом невероятном и при-скорбном кораблекрушении китобойного судна «Эссекс» (1820), повествующего о таком же свирепом, как Моби Дик, ките, потопившем «Эссекс» к югу от экватора на 119° западной долготы. Из этого рассказа, прочитанного Мелвиллом еще до плавания на «Акушнете», и возник, очевидно, замысел романа.

Однако Белый Кит Ахава — это нечто неизмеримо большее, чем живое существо, которого следует избегать китобоям, желающим вернуться в родной порт. Ахав ненавидит его как «бредовое воплощение всякого зла, какое снедает порой душу глубоко чувствующего человека, покуда не оставит его с половиной сердца и половиной легкого, — и живи как хочешь». И Ахав, весь изувеченный, решает сразиться со своим врагом. В Моби Дике все зло стало ему «видимым и доступным для мести». На белый горб кита готов он обрушить обиды и негодования всего рода людского, со времен Адама обреченного на страдания божественным провидением.

И это еще не все. Старший помощник Старбек, человек, мягкий по натуре и добрый христианин, называет безумием и даже богохульством злобу к бессловесной твари. Тогда Ахав раскрывает перед ним свои сокровенные мысли. Является ли Моби Дик орудием или воплощением зла? Узнать об этом можно, лишь сорвав эту маску белизны. Иной раз Ахаву думается, что за ней ничего нет, но ему надо знать наверняка. Всей душой ненавидит он непостижимую злобу Белого Кита. Неужели — богохульство добиваться разрешения этой загадки? Он готов разить и солнце, если бы оно оскорбило его. «Кто надо мной? Правда не имеет пределов».

Никто на корабле не в состоянии призвать Ахава к благо-разумию и отвратить грядущую беду после того, как он разжег страсти команды, прибив золотую монету к мачте и пообещав ее тому, кто выследит Белого Кита. Лишь однажды Ахав на мгновение останавливается в своей безумной погоне, чтобы при-знаться Старбеку, как он отказался от счастливой жизни с же-ной и ребенком, и пожаловаться на «неведомую, непостижимую, нездешнюю силу... беспощадного повелителя», его поработив-шего. Но Старбек не властен над Ахавом и, «в отчаянии побледнев до мертвенной белизны», отходит прочь от капитана.

Никто не в силах отвратить неизбежное, и только один че-ловек на корабле понимает приближение неминуемого. В образе

молодого Измаила выступает сам Мелвилл. Он один остается в живых после гибели судна, чтобы поведать миру эту историю. Измаил выжил не случайно, ибо он единственный, кто понимает, в чем состоит безумие Ахава. Когда тот объявляет команде цель путешествия, Измаил осознает себя причастным к «неутолимой жажде мщения», владеющей капитаном. Лишь со временем начинает он понимать, что «особый вид помешательства» одержимого старика поколебал и его «чувство здравого смысла», «обратив неистовое пламя души к безумной цели». Как-то в пасмурный и душный день, когда каннибал Квикег плел мат, погруженному в размышления Измаилу стало казаться, будто перед ним Ткацкий Станок Времени, будто ткань жизни изготавливается на прямых нитях основы-необходимости, свободным движением челнока и игрою случая, которому «принадлежит последний удар, определяющий лицо событий». Не коловращение судьбы, как кажется Ахаву, гонит его по белу свету, — он сам навлекает на себя погибель.

Правда об Ахаве осеняет Измаила в одну из ночей, когда он стоит у румпеля, а огонь и дым салотопки пронизывают тьму ночи. Утомленный долгим созерцанием огня, Измаил выпускает из рук румпель. Проснувшись от удара, он вдруг ощутил, будто быстро летящий предмет, на котором он стоит, чем бы ни был в действительности, «бежит не к дальним гаваням впереди, а уходит прочь от всех гаваней позади себя». Измаил обернулся назад и едва успел привести корабль к ветру, избежав тем самым опасности перевернуть судно. Смысл ясен, но Измаил растолковывает его нам. Ахав, слишком долго глядевший на адское пламя, им самим разожженное, превратил «мудрость горя» в «горе безумия». В другой раз, видя, как Ахав, поднятый с постели непереносимыми сновидениями, выскакивает из каюты, словно бежит с огненного ложа, Измаил молится про себя: «Бог да смилуется над тобою, старик, твои мысли породили новое существо внутри тебя; а тот, кого неотступные думы превращают в Прометея, вечно будет кормить стервятника кусками своего сердца; и стервятник этот — его же собственное порождение».

С точки зрения Измаила, поразительное упорство Ахава в стремлении вырвать у небес тайну человеческого горя выглядит подлинной трагедией. Однако тональность и весь смысл книги не сводятся к трагедии, потому что писатель слишком явно симпатизирует прометеевскому началу своего героя-злодея. На третий день погони Мелвилл посылает на смерть Ахава, по-прежнему непримиримого ко всему, что ради своего существования готово терпеть зло. У самого Измаила мы обнаруживаем бунтарские мысли, граничащие с богохульством. В главе «О белизне кита» он доходит почти до атеизма, размышляя о «бездушных пустотах», сокрытых всеобщей зловещей белизной. Не могильный ли это склеп? Может быть, за белой маской действительно-

сти не существует добра и зла ни как орудия, ни как самостоятельной силы. Смирение самого Измаила имеет тоже пределы, что выражено в словах: «И за это я благодарен богу, ибо у всех бывают сомнения, многие умеют отрицать, но мало кто, сомневаясь и отрицая, знает еще и наитие. Сомнение во всех истинах земных и знание по наитию кое-каких истин небесных — такая комбинация не приводит ни к вере, ни к неверию, но учит человека одинаково уважать и то и другое». Гамлет не был так смущен, прощаясь с Горацио и всем миром; Эдип не обращал с таким сомнением свои кровавые слепые глазницы к подданным, сознаваясь в невольных грехах.

Говоря в главе «О белизне кита»: «Ибо многое в этом видимом мире построено на любви, но невидимые сферы сотворены страхом», Мелвилл не сказал еще последнего слова о гиперборейских областях, куда восторженная Истина увлекает бесстрашный ум, которым обладал и сам писатель. Левиафан — не самая большая рыба в море идей. Мелвиллу приходилось слышать о кракене. И он пустился уже в новую охоту, прежде чем критики успели выразить свою растерянность перед «Моби Диком». Новый роман назывался «Пьер, или Двусмысленности». Эта «деревенская кринка молока», — отзывался он о своем романе, мрачно шутя относительно падшей невинности героя гамлетовского склада, выросшего в сельской тиши. По имени его и назван роман.

Само изложение содержания раскрывает всю фантастичность его сюжета. После смерти отца-аристократа Пьер Глендиннинг жил в атмосфере обожания, созданного матерью. Накануне его женитьбы на Люси Тартан, равной ему по невинности и красоте, внезапно появляется черноволосая Изабел. Нарушив идиллию юной любви, она открывает Пьеру тайну своего прошлого, намекнув, что она — незаконная дочь его отца. Изабел нуждается в защите, и Пьер решает искупить грех отца. Признать ее сестрой — это значило бы разбить сердце матери и запятнать имя отца, память которого он глубоко чтит. Единственный выход — фиктивный брак. В результате гордая и непреклонная мать Пьера умирает, а сам он убивает Глена Стэнли, двоюродного брата, который пытался не дать Люси последовать за несчастной четой в Нью-Йорк и поселиться вместе с ними. Трагедия завершается смертью Люси, не вынесшей потрясения. Пьер и Изабел принимают яд.

Мелвилл никогда не занимался поставкой дешевого чтива для издателей таких журналов, как «Чудеса и диковинки» или «Ежемесячник капитана Кидда», изображенных в романе «Пьер» и эксплуатирующих талант главного героя, пытавшегося зарабатывать на жизнь сочинением романа о некоем Вивиа, который в свою очередь пишет роман о «целительной силе добродетели и правды». Мрачные эпизоды и мучительные образы этого романа призваны показать нам, что ожидает юного привержен-

ца долга, который пытается следовать божьим заповедям, но обнаруживает, что сам он еще глубже погрузится в пучину горя, если не сокрушит окружающий мир. Подобно Титану, этому полубогу, Человек рождается от нечестивого союза Неба и Земли. Брак был заключен на Небе, и именно оттуда пришло зло, запятнавшее человеческую природу. В безрассудном штурме Небес Невинность стремится вновь обрести свое божественное первородство, но она обречена быть низвергнутой, разделив участь Титана.

Тема романа «Пьер» возникла у Мелвилла во время работы над «Марди». Когда странники прибывают в клерикальное государство Марамма, на пути к храму, расположенному внутри страны, их внимание обращает на себя приветливый юноша, преисполненный доброжелательности. Он отвергает предложение проводить его, заявив, что должен сам искать для себя пути истины. Следуя внутреннему божественному влечению, он подчас пренебрегает предостережениями разума. Этот юноша, отверженный к «возвышенному житию», представляет собой первый набросок Пьера, «шута Истины, шута Добродетели, шута Судьбы».

Главная двусмысленность бытия, разрешению которой посвящен роман, заключена в том, что мрачная сторона видимого мира порождает у думающего человека страшную мысль, будто дьявольская сила причастна к небесной правде. «Если человек был сотворен на небесах, почему же мы видим на нем отпечаток ада? Почему на благородном мраморном столпе, подпирающем всемирный небосвод, различаем мы мрачные прожилки?»

О «двусмысленностях» в подзаголовке романа сказано во множественном числе, и они, действительно, возникают в каждой главе. Поскольку любовная идиллия Люси и Пьера разрушена, в романе нет настоящей любви, а лишь взаимоотношения, приобретающие двусмысленный характер. Мать держит Пьера на серебряном поводке, и их беседа напоминает галантное кокетство старомодных любовников. Фиктивный брак Пьера и Изабел, призванный, по замыслу Пьера, маскировать отношения брата и сестры, вскоре перерастает эти границы. Мелвилл подразумевает, что если не в действительности, то, во всяком случае, мысленно их брак стал кровосмесительным. С большим мастерством и необычной для писателя середины XIX века смелостью обыгрывает он странную юношескую дружбу Пьера и Глена, переходящую со временем в жестокую ревность из-за Люси. А сама Люси, преуспевшая в своем желании поселиться вместе с Пьером и Изабел, превращает их непонятный брак в жалкой крохотной мансарде в еще более странный тройственный союз.

Мелвилл отнюдь не предполагал эпатировать этими двусмысленными сексуальными взаимоотношениями тех, кто обратил бы

на них внимание в дофрейдовскую эпоху. Очевидно, они связаны с темой, заявленной в начале книги, но не получившей дальнейшего развития и не имевшей отношения к проблеме дуалистической природы самой действительности. Место это в книге следует сразу после описания утренней прогулки Пьера и Люси и представляет собой песнь во славу молодой любви. Однако подлинный смысл этого отрывка в том, что Любовь, естественная Любовь, гонит дьявола по имени Принцип, владыку Нужды и Горя, все дальше и дальше в хаос. «Вся Земля обручена с Любовью, и напрасно дьявол Принцип тщится наложить свой запрет». Когда Пьер отказывается от Люси и любви ради своего долга перед небом, он вместе с тем теряет и надежду на счастье. Дьявол Принцип воцаряется в его земном раю.

Принято считать, что второй роман является поворотным пунктом в судьбе каждого писателя. Первый обычно создается на основе опыта, второй — на основе воображения. И тогда видно, художник перед нами или простой репортер. В этом смысле «Пьер» был вторым романом Мелвилла. Более ранние книги, включая и «Моби Дика», создавались на основе морской жизни, которую Мелвилл знал, как никто из живших до него, писателей. То, что не удалось ему почерпнуть из личного опыта, он заимствовал из книг других мореплавателей. Предшествовавшие «Моби Дику» произведения были подготовкой великого творения. Но с «Пьера» он начал все сначала. Если не считать некоторых воспоминаний о годах детства, проведенных среди семьи Гэнзвортов в Олбэни и у родственников по мелвилловской линии в Питсфилде, весь роман основан на вымысле. Писатель уже не мог обращаться к своим бесконечно восхитительным морским историям или вызывать интерес читателей рассказом о том, как вести корабль, гонимый ветром.

Нельзя сказать, что «Пьер» очень хорошая или даже просто хорошая книга. Но в работе над ней Мелвилл избрал, и не случайно, путь, по которому с тех пор следуют другие романисты. Читая «Пьера» сегодня, когда мы знаем Генри Джеймса и Вирджинию Вулф, Д. Г. Лоренса и Джеймса Джойса, а также вековую традицию символизма, можно представить себе, каковы были намерения писателя. Роман «Пьер» примитивен и читается теми, кто не отождествляет литературу с жизнью, как одна из ранних попыток использовать в прозе художественные приемы, считавшиеся раньше достоянием поэзии. Мелвилл глубоко презирал поверхностную прозу своего времени, романы, в которых «характер героя можно определить с первого взгляда». Человеческая природа, полагал Мелвилл, гораздо сложнее, чем считали тогдашние писатели. Причины определенного поведения человека восходят к переживаниям его детства. Они не могут быть отчетливо определены или легко урегулированы, их можно лишь предугадывать в том свете, который проливают на них разного рода сновидения, символы и мифы.

Диссонансы «Пьера» объясняются тем, что Мелвилл пытался достичь новыми средствами того, что дотоле не удавалось ни одному романисту. Он неудачно выбрал темой романа кровосмешение, хотя здесь, возможно, оказала давление аллегория: инцеста небесной правды и земного зла. Явный инцест — слишком абстрактный грех, чтобы вызвать ужас современного читателя. Кроме того, отбросив свою обычную автобиографическую манеру повествования, когда рассказчик, даже если он не в центре событий, все же весьма близок к ним, Мелвилл создал тем самым для себя дополнительные трудности. Рассказчик иногда говорит «я», иногда — «мы». И хотя в романе царит всеведущий автор, временами некий хор, настроенный сочувственно или иронически, сопровождает поступки и мысли Пьера.

Такие просчеты мог бы допустить начинающий романист; даже менее опытный писатель легко бы их избежал. Неудача, постигшая Мелвилла, объясняется его неспособностью свести символы в гармоническое целое, которое помогло бы читателю проникать все глубже и глубже в образы, постигать художественную проблематику. Иные символы оставляют довольно нелепое впечатление, например гитара Изабел, из которой она извлекает мрачные звуки, имеющие для Пьера чрезвычайную значимость, однако совершенно непонятные читателю. Художественно впечатляющ замысел дать два символических портрета отца Пьера. Великолепен сон Пьера о горе Титанов, однако тема Энцеладуса не всегда соответствует настроению «устремленного к небу, но еще полностью не освободившегося от земных уз» героя. Сходным образом памфлет Плотина Плиниммона, призванный дать символическую трактовку поведения Пьера, настолько пронизан загадочной сатирой, что критики до сих пор ведут нескончаемые споры о его истинном значении.

В одном из превосходных разделов романа символика использована писателем с силой, свидетельствующей о том, какой могла бы получиться книга, сумей он сохранить этот уровень на протяжении всего произведения. В детстве Пьер часто играл в лесу вблизи огромного, величиной с амбар и едва держащегося на краю обрыва камня, так что при взгляде на него дух захватывало. Пьер называл его Камнем Ужаса. Терзаясь муками и не в силах решить, что делать ему с Изабел, он отправляется к Камню, становится под ним и молит, чтобы тот упал на него, если жизнь — обманчивый сон, а добродетель бессмысленна. Пока герой тщетно ожидает ответа на свою мольбу, Мелвилл превращает Камень Ужаса в Камень Мемнона, воздвигнутый подданными «этого младого царственного сына богини утренней зари, родившегося владыкой Египта, с горячим безрассудством бросившегося в справедливую схватку за чужое дело... и обретшего безвременную и скорбную смерть под стенами Трои». Но Пьер не только Мемнон. Этот символ растет,

включая Гамлета и всех потерпевших крушение молодых царственных отпрысков, чей трагический удел — видеть, «как цвет добродетели скошен ранним несчастьем».

5

В «Моби Дике» и «Пьере» Мелвилл сделал заявку на посмертную славу, о которой мечтал. Оба романа отвечали требованиям великого и самобытного произведения, которые позднее были сформулированы писателем в трех главах его книги «Шарлатан», посвященных теории романа (XIV, XXXIII, XLIV). Мелвилл стремился предоставить читателям возможность развлечься и в то же время «показать больше действительности, чем то позволяет сама жизнь». Он увлек читателей занимательностью и изображением человеческой природы, «ничем не стесненной, ликующей и действительно преображенной». Пьер, как и Ахав, — «характер самобытный», каким только и может быть, по мнению писателя, герой великого художественного произведения, «излучающий сияние, подобно вращающемуся друммондовому свету*. Все устремлено к нему (вспомним Гамлета), ради того чтобы создать у читателя особое представление о герое, впечатление, сходное с тем, какое сопутствует в Книге бытия сотворению мира».

Однако в Америке мало кто хвалил или покупал эти два романа. «Моби Дик» смутил друзей Мелвилла, хотя кое-кто уже предчувствовал, что в книге заключена великая мощь. Но даже друзья и дружески настроенная критика пришли в смещение от двусмысленности «Пьера», а ханжи и невежды негодовали на писателя, посмевшегося обратиться к теме инцеста. Публика отвернулась от Мелвилла, и его следующий роман «Израиль Поттер», опубликованный три года спустя после «Пьера», почти не привлек внимания критики. Редко когда преуспевающему писателю случалось столь внезапно быть низвергнутым с пьедестала славы.

Годы, прошедшие между выходом «Пьера» и переездом в 1863 году в Нью-Йорк, где Мелвилл вскоре получил работу в качестве таможенного надзирателя, были, по-видимому, самыми горькими в его жизни. Писателя постоянно угнетала мысль, где бы добыть денег, чтобы прокормить семью (в том числе мать и сестер). Вплоть до 1864 года он был в долгу перед фирмой братьев Харпер и не получал гонорара за книги, выходившие в этом издательстве. Литературный труд в течение 1853—1856 годов не приносил более 240 долларов в год. Патнэм, издавший «Израиля Поттера», вынужден был во время паники 1857 года продать стереотипные доски романа. Дикс и Эдвардс, напечатавшие «Рассказы на веранде» (1856) и «Шарлатана» (1857), разорились.

Подобно большинству своих соотечественников, Мелвилл пытался выступать с лекциями, но доход от них не превышал в 1857—1860 годы 423 доллара в год. Влиятельным друзьям не удалось выхлопотать ему должность консула, в надежде на которую он в марте 1861 года приехал в Вашингтон, где даже встречался с Линкольном. Пошатнувшееся здоровье сказывалось на настроении, и, как гласит семейное предание, наступившая вскоре после публикации «Пьера» тяжелая депрессия внушала серьезные опасения за его рассудок. Если бы тесть, судья Шоу, тактично не помог семье, положение могло бы стать отчаянным.

В эти годы жизнь Мелвилла не богата событиями, однако его рассказы и очерки позволяют судить о настроении писателя. Тема милосердия встречается в них столь часто, что он, несомненно, постоянно думал о милосердии, хотя сам никогда не согласился бы принять помощь, в которой нуждался. «Материнское милосердие взрастило тебя ребенком, — говорит рассказчик в «Двух храмах». — Отцовское милосердие вскормило тебя, милосердие друзей помогло найти место в жизни... Ты и все смертные живут на свете по милости других, милосердных своим снисхождением, а не только тем, что они совершают».

Несмотря на унижения этих мучительных лет, Мелвилл по-прежнему считал себя профессиональным писателем вплоть до выхода в 1857 году «Шарлатана». Теперь он не печатался уже столь широко, как в 1846—1852 годах, когда было опубликовано семь романов и ряд литературно-критических статей. Тем не менее создание в течение пяти лет двух романов, «Рассказов на веранде» (сборника из шести повестей), а также десятка других рассказов и очерков — это немало даже для такого плодовитого писателя. Не следует к тому же забывать, что многое из написанного в те годы отличается высоким художественным достоинством. В «Израиле Поттере» рассказана история участника Революции, история, выросшая из дешевой книжечки — автобиографии старого нищего. Собственно, перед нами плутовской роман, в котором сцена морского сражения «Сераписа» и «Бедного Ричарда» написана с подлинным блеском. В «Бенито Серено» перед читателем шаг за шагом раскрываются невообразимые и неопишуемые ужасы. Мелвиллу рассказывали, что Джеймс Рассел Лоуэлл находил один из эпизодов «Энкантадос» «совершеннейшим творением гения, какое ему только доводилось встречать в прозе». В «Писце Барлби» жанр аллегорической повести поднят на ступень выше по сравнению с Готорном, здесь достигнуто слияние фантазии с глубоким смыслом, как в притче Генри Джеймса «Зверь в джунглях». Даже в «Шарлатане» страницы острой сатиры в значительной мере искупают статичный сюжет и атмосферу таинственности.

В произведениях этих лет бросается в глаза большое разнообразие стилей и тем. Вероятно, Мелвилл пытался найти мате-

риал, который удовлетворил бы издателей. Рассказ «Продавец громоотводов», например, близок к тем неназойливым нравоучительным повестям, которыми прославился Готорн. Рассказчик «Веранды» с ученым видом предается романтическим размышлениям о красотах сельского пейзажа Беркшира, подобно тому как герой «Мечтаний холостяка» Д. Г. Митчелла (бестселлера пятидесятых годов) грезит наяву и строит воздушные замки.

В рассказах Мелвилл пытался не только понравиться читателю, но и уйти от забот и тягот жизни. Он вновь и вновь возвращается к темам и ситуациям, порождающим страх отчуждения, нежелание обращаться к чьему-либо милосердию, к изображению святая святых человеческого сердца (в том числе собственного в рассказе «Я и мой камин»). Его рассказчики — люди целостные в своем упорстве, доходящем до упрямства, продолжающие идти своим путем, невзирая на презрение окружающих. Порой рассказчик — человек настроения, замкнутый, но наблюдательный, покидающий свою скорлупу ради бедняков, которые, несмотря на бедность, остаются добрыми, смелыми и в какой-то мере счастливыми, поскольку тешат себя иллюзиями.

Эти автобиографические наброски создают впечатление, что автор стремится достичь хладнокровия и уравновешенности, желает обо всем знать и в то же время ни во что неприятное не вмешиваться. Навсегда исчез прометеевский огонь «Моби Дика» и титанизм «Пьера». Кажется, Мелвилл борется против того разочарования, которое в конце концов проявилось в «Шарлатане».

Образ Хоубоя в «Скрипаче» — это *mutatis mutandis*¹ сам Мелвилл, каким он хотел быть в 1854 году. Некогда знаменитый скрипач, ныне он «гуляет по Бродвею, и никто его не узнает». Однако Хоубой самый превосходный человек, «честный и простой малый», успешно «избегающий и крайней восторженности, и полного равнодушия».

«Было очевидно, что Хоубой немало повидал на своем веку, однако, по существу, не отдал предпочтения ни светлым, ни темным сторонам жизни. Отбрасывая домыслы, он признает лишь факты. Не отрицая огульно всего печального в нашем мире, не замалчивая цинично всего радостного, он с благодарностью приемлет то, что доставляет ему удовольствие. Необычная веселость его не была порождена — так, во всяком случае, казалось тогда — неполноценностью мыслительных и эмоциональных способностей».

Из всех автобиографических сочинений «Писец Бартлби» и «Шарлатан» заслуживают особого рассмотрения. Первый важен для понимания тогдашнего отношения Мелвилла к искусству, а

¹ С соответствующими изменениями (*лат.*).

второй является последним опубликованным прозаическим произведением. За ним наступили тридцать четыре года молчания, нарушавшегося лишь выходом четырех сборников стихов, написанных в часы досуга.

Бартлби — молчаливый писец, третий помощник-переписчик в конторе процветающего члена совестного суда. Вначале усердный, хотя и не без странностей, Бартлби вскоре обнаруживает упрямство и отказывается выполнять свои повседневные обязанности. Он не только перестает переписывать бумаги, но и отказывается взять расчет. Упрямство Бартлби подрывает репутацию всей конторы и в конце концов вынуждает его хозяина переехать с конторой на новое место, чтобы избавиться от кошмарного присутствия писца. Сам же Бартлби остается на старом месте, и возмущенный домовладелец препровождает его за «бродяжничество» в Гробницу, городскую тюрьму. Здесь Бартлби и умирает. Единственное, что удалось узнать огорченному юристу — это то, что Бартлби некогда состоял младшим клерком в Отделе невостребованных писем в Вашингтоне. Прежде чем его уволили оттуда в связи со сменой начальства, он проводил время, распечатывая письма, исполненные надежды «для тех, кто умер в безнадежности; добрых вестей для тех, кто умер, задохнувшись под гнетом несчастий».

Разбросанные в рассказе намеки позволяют судить, что хотел сказать Мелвилл своей притчей. Так, юрист заявляет, что, хотя представители его профессии и вошли в поговорку как люди деятельные, сам он превыше всего ценит свой душевный покой, никогда не выступает в суде и ни в коей мере «не гоняется за рукоплесканиями». Первый клерк, одержимый излишним рвением Индюк, после полудня забывал о всякой субординации. Однако утром он бывал незаменим, успевая сделать очень много работы, и притом безупречно. Второй клерк, по прозвищу Кусачка, был жертвой честолюбия и несварения желудка. Питая презрение к обязанностям рядового переписчика, он иногда предавался необузданным фантазиям, вместо того чтобы составлять судебные бумаги. Член совестного суда держит в конторе обоих клерков, поскольку «их приступы сменяли друг друга, как караул. Когда накатывало на Кусачку, Индюк был тих, и наоборот. И естественный этот порядок вполне меня удовлетворял».

«Писец Бартлби» — первый рассказ Мелвилла, опубликованный в журнале. Новые сочинения, печатавшиеся в «Харперс» и в «Патнэмс», подобны монотонному, хотя, возможно, и прибыльному делу члена совестного суда. Сам Мелвилл видел здесь три аспекта. Он может заниматься работой до полудня, как Индюк, и может хорошо держаться, как Кусачка, пока честолюбие не возьмет над ним верх. Образ Бартлби, по мысли Мелвилла, предвосхищает финал, к которому приведет его новая жизнь. Не вынудят ли мелочи и пустяки повседневности, сковывающие жизнь условности последовать примеру одинокого писца, кото-

рый отказался «переписывать»? Таковы, очевидно, были мысли Мелвилла в 1853 году. Однако решение вопроса, не оставить ли литературный труд и не «отправиться ли в Гробницу», если то необходимо для душевного покоя, было отложено до выхода в свет «Шарлатана», появившегося четыре года спустя.

Эти странные беседы пассажиров на борту идущего по Миссисипи парохода едва ли можно назвать романом. Конечно, речь идет не о каких-нибудь пустяках, и писатель едва ли мог рассчитывать, что книгу станут покупать те, кто подписывался на семейные журналы, печатавшие его рассказы. «Шарлатан» начинается с появления на палубе загадочного глухонемого, как щит, несущего перед собой грифельную доску. Написанное на ней слово «Милосердие» сопровождается после различных относящихся к этому понятию фраз из Священного писания окончательным утверждением: «Никогда не обманет». Тем временем корабельный цирюльник вывешивает свое объявление: «Никакого доверия». Ироническая затравка сделана, и действие, каково бы оно ни было, начинается.

Калека-негр, едва волочащий ноги, просит у пассажиров подавание. На вопрос о том, может ли кто-либо подтвердить его бедность, он услужливо (как то кажется читателю) называет восемь добрых «джентльменов», которые готовы замолвить за него словечко. Все они, как оказывается впоследствии, — разные личины одного и того же шарлатана. Появляясь всякий раз в роли внушающего доверие парня, этот плут пытается получить деньги или моральную поддержку от жертв своего обмана под такие благотворительные начинания, как помощь вдовам семинолов и приют для сирот, организация всемирной филантропии или угольная компания «Черные пороги». Глупость попавшихся на эту удочку может сравниться лишь со злокозненностью самого шарлатана.

Микрокосм корабля, который Мелвилл уже изображал в «Белом бушлате» и «Моби Дике», а также ряд сцен, когда шарлатан с обходительными манерами вымогает деньги или, напротив, получает отказ, позволяют писателю сатирически изобразить миссионеров, биржевых маклеров, всемирных реформаторов, трансценденталистов, романтических любителей природы, поклонников промышленного прогресса и машинной техники. Широкий диапазон романа позволил автору коснуться даже личных передраг, изобразить, например, Фанни Кембл Батлер* (под именем Гонерильи в «Истории неудачника»), чьи супружеские неурядицы стали предметом сплетен.

«Шарлатан» — замечательная книга, много говорящая о внутреннем состоянии писателя в те годы, о силе его сатиры и мастерстве иносказания. Если она и не удалась как целое, то отдельные места в ней великолепны. Но, чтобы проникнуть в ее скрытый смысл, необходимо глубоко знать ранние произведения Мелвилла.

Дело, очевидно, в том, что, отказавшись во время работы над «Пьером» от веры в нравственное начало Вселенной, Мелвилл был близок к утрате гуманистической веры в порядочность и достоинство человека. Характерно, что рассказы, написанные после «Пьера», лишены метафизических размышлений и воссоздают лишь картину человеческой жизни. Идея «Шарлатана» выражена в его заглавии: мошенники дурачат тех, кто не в меру, самонадеян и кого жадность или мягкосердечие сделали не в меру доверчивыми. Существует ли на свете взаимное доверие и уважение, милосердие, любовь, составляющие основу общества? В десятой главе Мелвилл ищет ответ в кабинете «престарелого человека в одежде квакера», распространяющего листовки со стихотворением, «название которого отличается многословием»: «Ода на возникновение недоверия в человеке, невольно порождаемого повторными отказами, написанная в бескорыстном стремлении добиться его доверия». Если даже квакеры вынуждены признать положение безнадежным, то что же остается делать всем остальным?

В ноябре 1856 года после завершения работы над «Шарлатаном» Мелвилл посетил Готорна в Англии. Они беседовали, или, вернее, Мелвилл говорил о «провидении, суетности и многом другом, находящемся за пределами человеческих возможностей». При этом он «почти смирился с мыслью, — говорил Мелвилл своему старому другу, — что превратится в ничто», иными словами, он стал материалистом. На это Готорн заметил, что лично его «не прельщает подобная перспектива», и довольно резонно сказал, что не успокоится, пока не «обретет ясной веры». Медленно и поначалу неуверенно, как бы нащупывая возможные тропы в стихах о Гражданской войне и в «Клэреле» (1876), Мелвилл прокладывал пути к твердой почве, которую в конце концов обрел в работе над «Билли Баддом». Книга была закончена в апреле 1891 года, за пять месяцев до смерти.

6

Не столь удивительно, что, решив больше никогда не писать прозы, Мелвилл обратился к поэзии. Уже в «Марди» встречаемся мы со спорами об искусстве поэзии, а Йуми даже декламирует кое-какие неуклюжие сентиментальные стишки, написанные по моде того времени. В 1859 году миссис Мелвилл в письме к матери с тревогой сообщает, что «Герман стал писать стихи. Никому не говори об этом, ты ведь знаешь, как быстро распространяются такие слухи». Когда в 1860 году Мелвилл отправлялся со своим братом, капитаном дальнего плавания, в путешествие вокруг мыса Горн, у него уже набрался целый томик стихов. Издателя не нашлось, и отдельные стихотворения были опубликованы на личные средства в двух сборниках, вышедших в 1888 и 1891 годах.

Гражданская война оказала глубокое воздействие на Мелвилла, пробудила его от летаргии, наполнила сознанием причастности к общему делу, полностью развеяв мрачные настроения «Шарлатана». Подобно Уитмену, он смотрел на события глазами человека гражданского, глубоко переживая страдания и героизм простых солдат, сыновей расколовшейся семьи, то отдаваясь радости победы северян, то скорбя о потерях обеих сторон. Твердая уверенность, что то была борьба Добра со Злом, проливая бальзам на его душу. Вместе с тем он был преисполнен сочувствия к заблудшему Югу и в «Стихах о войне» (1866) выступал певцом как конфедератов, так и победителей-северян, сражавшихся за Союз штатов (во многих стихах рассказ ведется от лица южанина). Однако дело Севера было, бесспорно, справедливым. И Мелвилл ликовал от всей души так же чистосердечно, как Сьюард * и Сэмнер после битвы при Лукаут Маунтен *. Многие сражались, как считал Мелвилл, с отчаянием Ахава.

Подветренных — пусть отчих берегов,
Когда штормит, страшатся моряки,
И тщетно ветр хрипит: «Плыви домой!» —
Так эти люди борются с бедой.

Раздел «Стихов о войне», озаглавленный «Стихотворные надписи и эпитафии», свидетельствует, сколь часто предавался Мелвилл размышлениям о личном героизме и как жаждал высказать в этих эпитафиях «последнее прощание» тем, кто сражался, чистосердечно веруя в правоту своего дела.

Как бы глубоко Мелвилл ни был уверен, что победа Севера знаменовала собой «триумф и воплощение Закона», он не обманывался на счет того, что успехи на поле боя не обязательно укрепят Союз штатов. Писатель опасался губительных последствий победы. В его прозаическом дополнении к «Стихам о войне» звучат предостережение и пророчество: «Годы войны были испытанием нашей верности федерации, мирное время станет проверкой искренности нашей веры в демократию».

Война залечила душевные раны Мелвилла, воскресив утраченную веру в «рыцарей и оруженосцев» демократии, перед чьим «безупречным мужеством» он преклонялся во время работы над «Моби Диком». То же чувство вызывало у него желание еще раз сразиться с метафизическими противниками, чья злая сила в конце концов повергла его наземь. Прежние мотивы снова возникают в «Стихах о войне», например в стихотворении «В память морской победы»:

Венок из роз, из лавров — но без терний,
На целом свете отыскать нельзя.
И свет рассветный, и туман вечерний
Равно сулит высокая стезя,

И ты, Певец, так взыскан Роком,
Мне муками и радостью грозя,
Что песнь твоя не может ликовать,
Раз слушатели спят. — Плывут, скользя,
Акулы по мерцающим потокам.

Перед тем, кто вечно одержим мукой противоречия добра и зла, блеснул луч надежды. Впервые у Мелвилла прозвучала примирительная нота. Неисчерпаемая и вечно обновляющаяся природа со временем уврачуется раны. Что говорят старые вязы Малвернского холма *, обступившие мертвечов на окровавленных кипарисовых опушках?

Мы старые вязы,
Мы смерти упорней,
Стань мир еще вздорней —
Не высохнут корни
И листья весною распусятя снова

Мелвилл начинает понимать, что «муки века» могут породить «великую державу и счастливый мир». Человек не одинок в своей борьбе. В каждом, кто в отчаянии и растерянности останавливается перед загадками бытия, Мелвилл видел своего друга. Время, говорил он в «Марди», — великий благодетель. Если история неотвратима, как судьба, она тоже может «оказаться спасительной». И перед Мелвиллом вновь открывалась дорога, а в конце ее маячил приют спасения.

В 1856—1857 годах Мелвилл совершил путешествие в Палестину, к которой были устремлены помыслы как благочестивых, так и неверующих викторианцев. Он повидал Ближний Восток и Европу, побывал в Англии, однако, как свидетельствуют его путевые заметки «Путешествие к проливам» (1835), самое большое впечатление произвела на него Иудея. Раздумья Мелвилла обо всем увиденном, подобно чувствам, пробужденным Гражданской войной, были исполнены неотступного поиска истины. Прежде чем опубликовать в 1876 году поэму «Клэрел», возникшую на основе этих размышлений, он долго и мучительно работал над ней. Из писем жены мы знаем, чего стоило ему завершить поэму.

По форме «Клэрел» напоминает «Кентерберийские рассказы». Группа самых разных людей путешествует из Иерусалима в Вифлеем. Они беседуют о мелких событиях и странных знакомцах, проводниках, монахах и других пилигримах, которых довелось им встретить по дороге. Рассказчики как бы группируются вокруг Клэрела, полюбившего еврейку Руфь и отправившегося в паломничество, так как, согласно иудейским обычаям, он не имел права после смерти ее отца видеться с ней. В конце поэмы мы узнаем о смерти Руфи.

Однако Клэрел, именем которого названа поэма, пожалуй, наименее значительный персонаж. Выслушивая рассказы других, обладающих большей силой веры и глубиной ненависти, он как бы представляет самого автора. Вот перед нами швед Мортмейн, разочарованный в политике идеалист, некогда страстный приверженец европейских революций. Он стал «добровольцем забвения» и молит лишь о том, чтобы тихо умереть в укромном месте. Мечта сбывается — смерть наступает его в пустыне. Мортмейна сменяет Унгар, еще один социальный изгой. Подавленный поражением южан в Гражданской войне, он поносит новую демократию. Если мы отвергаем прошлое, то на что мы можем надеяться в будущем?

Богиня скотства, плутовства,
Злодейка, блудная вдова,
Диана мерзкой песьей своры,
Ведешь восторженные хоры!
Ты сеешь смерть, и страх, и смрад,
Ты край наш превращаешь в ад;
Одна надежда — ветер твой чумный
Не долетит до тиходумной
Великой Азии, не то б
Вселенский начался потоп.

Этим заблудшим и озлобленным душам Мелвилл противопоставляет обходительного оптимиста Дервента, священника англиканской церкви. Но если Мортмейн и Унгар вызывают у поэта жалость, то Дервент, наиболее полно очерченный в поэме образ, не пробуждает иных чувств, кроме презрения. Он мастер примирять науку и религию, традиционный католицизм и католический модернизм*, язычество и христианство. Особенно неприятен Дервент писателю тем, что стряпает свои лицемерные проповеди из остатков некогда глубокой веры.

Направление мысли самого Мелвилла в поэме «Клэрел» наиболее отчетливо выражает образ Ролфа. Импульсивный и острый ум его схватывает проблемы, обсуждаемые пилигримами, в их самом широком значении. И хотя предприимчивость Ролфа вначале отталкивает Клэрела, он все же привязался к нему. Подобно своему творцу Ролф глубоко сожалеет, что христианские таинства не выдержали испытания в современном мире. Но он понимает также, что человечество знало времена, когда вера слабела. Христос пришел в нечестивый Рим, когда веровать

Для всех, кто не последний раб,
Звучало ересью...
А вывод? а мораль? — ступай;
Учи глупцов колоколам —
Не сосчитаешь времени.

Среди разногласий суждений, которая озадачивает читателя «Клэрела», слова Ролфа звучат как мнение самого Мелвилла. В этом убеждает нас яркий эпилог поэмы, где автор выступает заодно с Ролфом:

Но ты, и побежденный, не отчаивайся,
Взойти, о Клэрел, твоему зерну,
Пробиться, как фиалка из-под снега,
Иль вынырнуть пловцом из глубины,
Иль вырваться, как роковая тайна,
Из уст, ее желавших замолчать,
В последний день ты явишься по водам
И жизнь, и смерть в победу обратишь.

Вера, которой так жаждал Мелвилл, работая над «Клэрелом», и достигнутая им в «Билли Бадде», не была верой его отцов. Она не была явлена ему в момент духовного озарения. Ему пришлось творить свою веру. Но она была совершенной и удовлетворяла его вполне. То обстоятельство, что Мелвилл должен был созидать свою веру, которой можно жить, и то, что ему удалось этого достичь, объясняет нам, почему его книги были столь притягательны для поколений позднейших писателей, бившихся над решением тех же проблем. Война, экономический хаос и новые страхи, порожденные атомной опасностью, волнуют ныне мыслящих людей так же, как насущные вопросы того времени волновали современников Мелвилла. Писатели типа Йейтса и Одена, неудовлетворенные традиционной верой, конструировали, подобно Мелвиллу, свою. Современный человек должен верить, иначе он погиб. Таков смысл «Клэрела».

День Лютеров, как Дарвинов, продлись —
Надежды б или страхи унеслись?
Небесный свет вовеки бы не смог
Развеять тьму земли, не будь он Бог.

7

После смерти Мелвилла осталась гряда рукописей, прозаических и стихотворных, которых хватило бы на целую книгу в триста страниц. Однако мало что из них заслуживает интереса историка литературы. Единственное исключение составляет «Билли Бадд, марсовый матрос», великолепная повесть, в которой писателю удалось столь глубоко исследовать трагическую тему, что это поставило книгу в один ряд с действительно великими творениями художественной прозы. Не без основания «Билли Бадда» называют «духовным завещанием Мелвилла», ибо здесь он наконец разрешил «тайну зла», молча согласившись с тем, что, как и каждый человек, не мог понять до конца.

Время действия — 1797 год, место действия — палуба британского 74-пушечного военного корабля «Индомитэбл». Как кошмар преследуют офицеров и матросов воспоминания о недавнем восстании в Норе*, о мятежниках, повешенных «для острастки стоящего на якоре флота». Капитан, достопочтенный Эдвард Фэрфакс Вир, известный на флоте под именем Звездный Вир, готов задушить в зародыше любое восстание, хотя по природе своей жалостлив и мягкосердечен. Склонный к мечтательности и столь благовоспитанный, что, окажись он на борту в качестве гражданского лица, его можно было бы принять за «некоего высококоштанного тайного посланника, направляющегося к месту своего назначения», Звездный Вир тем не менее человек вполне определенных взглядов. Глубоко начитанный в истории и жизнеописаниях, он пришел к своим твердым убеждениям при посредстве писателей, «свободных от ханжества и условностей... честно и невзирая на существующие понятия размышляющих о действительности». Поступки и мысли Вира помогают нам понять идею повести. Мы скорбим о смерти Билли Бадда, невинного и красивого юноши, ставшего жертвой гнуснейшего вероломства, но трагедия распространяется и на капитана Вира, понимающего и тяжело переживающего происходящее.

Повествование начинается с того, как Билли Бадд был насильственно завербован в военный флот с торгового судна «Райтс оф мэн». Безмятежно восприняв это насилие над собой, он смело вскакивает на нос увозящей его лодки, чтобы попроситься со своим кораблем и опечаленными приятелями, глядящими ему вслед с гакаборта: «Прощай же, старый «Райтс оф мэн»!» На новом корабле его полюбили за веселый нрав и готовность работать. Но у него сразу же появился враг — капитанармус Клэггарт. Мелвилл тщательно поясняет причины враждебности Клэггарта к Билли, так как без этого не понять внутреннего смысла повести.

Окольными путями Клэггарт пытается бросить на Билли тень подозрения в мятежных замыслах, но «красавец-моряк» столь простодушен и доверчив, что ничего не подозревает. Тогда Клэггарт идет к капитану Виру и открыто обвиняет Билли. Пораженный и не желающий верить Вир вызывает Билли, чтобы тот выслушал обвинение. На этот раз Билли понимает все достаточно ясно, но в волнении не может защитить себя словами, поскольку от рождения заикается, и отвечает кулаком. Удар оказывается смертельным для Клэггарта. По законам военного времени матрос, убивший другого моряка, должен умереть. Вир мог бы передать дело на рассмотрение адмирала, но решает принять всю ответственность на себя. Происходит суд, и, поскольку закон должен быть соблюден, офицеры вынуждены уступить требованию Вира. Билли умирает на заре, выкрикнув перед тем, как веревка перехватила ему горло: «Господи, помилуй капитана Вира». В момент казни облако, закрывавшее

восток, «вдруг заалело мягким светом и приняло таинственные очертания руна Агнца Божьего, и в то же самое время сбившиеся тесной кучей моряки увидели, как Билли вознесся на рее и, возносясь, окрасился розовым цветом восхода».

Когда были задуманы «Моби Дик» и «Пьер», Мелвилл еще не созрел для трагедии, хотя в обоих романах присутствует трагический подтекст. Когда он обратился к «Билли Бадду», все было уже иначе. В повести разрешена трагическая коллизия, получающая возвышенное оправдание в речи капитана Вира, обращенной к колеблющимся офицерам, которые не решаются вынести обвинительный приговор Билли. Это чисто мелвилловский вариант трагедии, выстраданный годами упорных размышлений, главный итог зрелых лет жизни и старости.

Клэггарт несет с собой зло, но теперь Мелвилл уже знает, откуда берется это зло и почему оно столь распространено на свете. Такие, как Клэггарт, страдают «природной порочностью» и этим отличаются от нормальных людей. Вступая в мир, населенный подобными людьми, приходится пересекать некое «мертвое пространство». Порочность людей не распространяется на «все человечество». «Общество, особенно сурового склада, относится с известной благосклонностью к таким типам». Порочные натуры, подобные Клэггарту, часто оказываются склонными к здравомыслию. Так, они нередко пользуются здравым смыслом, чтобы достичь целей, которые иначе своей «злонамеренностью обнаружили бы их душевную болезнь». Теперь Мелвилл освободился от уз, некогда его сковывавших и заставлявших сомневаться, не смешалось ли добро и зло в мире столь безнадежно, что Пьер и ему подобные, пытаясь творить добро, вовлекают себя и других в самые бесчестные поступки.

Большинство матросов, как и Билли Бадд, непорочны по своей натуре. Их грехи — это мелкие прегрешения, как у всех моряков, чьи «проделки порождены молодостью». Не следует упускать из виду и того важного обстоятельства, что Билли был насильственно завербован с корабля, носящего имя «Райтс оф мэн» («Права человека»), и что он невинен, как Адам до грехопадения. Захвативший его корабль называется «Индомитэбл» («Неукротимый»), а одно время Мелвилл думал дать ему имя «Беллипотент» («Воинственный»). Билли оставил позади естественное состояние человека и вступил в мир, находящийся в состоянии войны, наш мир, где маниакальная порочность Клэггарта, не встречая преград, развращает людей, но где встречаются и такие люди, как капитан Вир.

Мелвилл драпирует Билли в трагическое одеяние и наделяет его символическим изъяном — неспособностью говорить и тем самым опровергнуть обвинение Клэггарта. Билли мужественно идет на смерть, благословляя капитана Вира. Писатель отчасти позволяет Билли осознать причины, приведшие его к такому финалу, хотя для нас остаются тайной слова утешения, произ-

несенные капитаном в его последнем разговоре наедине с Билли.

Билли претерпевает страдания, но только капитан Вир в состоянии понять закон, обрекающий на них юношу. Для растерянных офицеров-судий капитан Вир является толкователем закона, под властью которого они живут и ответственными представителями которого им суждено выступить.

«Можем ли мы приговорить к немедленной и позорной смерти ближнего, невинного перед Богом и перед людьми? Будет ли это справедливо? Вам предстоит подписать печальный приговор. Я тоже чувствую это, чувствую, как никогда. В нас говорит природа. Но разве мундир, что мы носим, удостоверяет нашу преданность природе? Нет, он свидетельствует, что мы служим королю. Мы, моряки, обитаем в океане, этой неоскверненной первозданной стихии, однако разве наш долг как офицеров Его Величества находится в сфере природы? Ведь уже само присвоение офицерского звания означает, что в наиболее важных обстоятельствах мы перестаем выступать в качестве свободно действующих лиц. Советуются ли предварительно с находящимися на службе офицерами, когда хотят объявить войну? Мы воюем по команде. Если мы и одобряем войну, то это не более чем простое совпадение. И так во всем. Мы ли ныне выносим приговор или закон военного времени действует через наше посредство? За строгость этого закона мы не несем никакой ответственности. Наша ответственность, подтвержденная присягой, заключается в следующем: сколь бы ни был безжалостен закон, мы должны следовать ему и применять его».

«Мы воюем по команде. Если мы и одобряем войну, то это не более чем простое совпадение». С этими словами Мелвилл отошел на вечный покой. Он не принимает первой заповеди и не может по принуждению любить бога, создавшего тот нравственный мир, в котором мы живем. Остальные же заповеди он принял наконец.

29. УОЛТ УИТМЕН

1

В то время когда мужал талант Эмерсона, Мелвилла и Уолта Уитмена, Соединенные Штаты были группой почти изолированных друг от друга федераций, хотя, согласно Конституции, им надлежало быть единой страной. Принцип федерации еще не прошел по-настоящему испытания временем, а при жизни Уитмена он был на некоторое время нарушен.

Уолт Уитмен родился на ничейной территории Лонг-Айленда 31 мая 1819 года, вблизи крупнейшего порта, каким был Нью-Йорк, и текущей на запад реки; среди его предков были датчане и янки, квакеры и кальвинисты. Его воспитали поборником союза штатов. В патриотически настроенной семье его с детских лет учили, что все граждане республики такие же американцы, как он сам, хотя у них разные профессии, состояния и характеры. По сравнению с Эмерсоном, Торо и Мелвиллом Уитмен был американцем и экспансионистом нового типа. Не столь привязанный к определенной среде или району страны, как они, он видел всю Америку.

А личные интересы, надежды на будущее, темпераменты мужчин и женщин Нового Света разнились значительно больше, чем Новая Англия и Южная Каролина, — эту разницу Уолт уловил с легкостью. Наблюдатель отметил бы в каждом штате, а особенно в соседнем Нью-Йорке, столице его юности, разницу между оседлым кланом торговцев и землевладельцев восточных штатов и народными массами, чьи мысли и энергию привлекали пространства неосвоенного Запада. Некоторые из этих землепроходцев-скитальцев были недавними иммигрантами, устремившимися на поиски новой родины. Другие были уроженцами самой Америки; пылкое воображение или специфика занятий направляли их мысли к освоению диких земель. Некоторые, будучи экспансионистами в душе, оставались дома, мечтая, однако, о континентальном, космополитическом государстве, подлинном Новом Свете. Таким человеком был Уолт Уитмен; он разделял всем сердцем территориальные и политические идеи экспансионистов со зрелых лет и до самой смерти.

Уолт Уитмен родился на одной из ферм Лонг-Айленда, входившей в пятисотакровое поместье семьи, давно уже осевшей на

этих землях, неподалеку, от приморской деревушки Хантингтон. Уолту еще не исполнилось пяти лет, когда семья перебралась в Бруклин, где его отец, плотник по профессии, основал свое дело. Однако в последующие тридцать лет Уолт постоянно навещался в старые места, чтобы побродить по лесам Лонг-Айленда и побережью. В Бруклине он пошел в начальную школу — формально другого образования он не получил, — затем поступил учеником в типографию; печатное дело увлекло его, он сам стал пописывать в бруклинские и нью-йоркские газеты. Сначала работал наборщиком, затем репортером, затем редактором по вопросам политики. 1846 год был «вершиной» его журналистской карьеры — его сделали главным редактором «Дейли игл», первой газеты Бруклина тех лет. Два года он сообщал местным читателям о всех городских новостях, событиях в стране и в мире, а также просвещал их по вопросам политики демократов, морали, гражданских добродетелей и основных тенденций времени.

Всеми уважаемый член растущего общества, Уитмен чувствовал себя в Бруклине, в типичной обстановке небольшого американского городка, как дома. Но сразу же за Бруклинским перевозом лежал огромный нью-йоркский залив, по которому проходили суда с иммигрантами, направляющимися на Запад; особенно много их стало после открытия в 1825 году канала на озере Эри. И сам Нью-Йорк был тут же, за паромами, уже тогда — величайший центр человеческой деятельности, космополитический, шумный, богатый и невероятно быстро растущий город. Поднимись в гору и увидишь порт Нью-Йорка — символ американского экспансионизма, и молодой Уитмен внимательно смотрел; хотя искусство и литература все еще ориентировались на Старый Свет, тысячи американцев, наделенных ярким воображением, промышленность и торговля устремили взгляд на Запад, готовые к завоеванию континента.

Юноша был мечтателем и мистиком в душе. Однако как начинающий журналист, выступающий от имени простых людей Америки, он был серьезно озабочен судьбой нации, ее проблемами, обострившимися в связи с интервенцией американцев в Мексике во время американо-испанской войны, когда он трудился в «Дейли игл». Ежедневно Уитмен покидал свой уютный кабинет в Бруклине и по долгу репортерской службы (а Уитмен, что бы он ни писал, всегда был репортером) отправлялся в Нью-Йорк; он завсегдатай театров, где в шекспировских драмах тогда выступали прославленные актеры, он упивается оперной музыкой, наблюдает, как искусство поэтической декламации покоряет огромные, полные людей залы. Человек богемы (а Уитмен, никогда не имевший семьи и редко гостивший у родных, всегда оставался им), он восхищался толпами на Бродвее, он изучал тогда, но его словам, «массы»; у него не было никаких классовых предрассудков, его особенно привлекали рабочие,

фермеры, жизнелюбивые простые люди, которых он ставил выше статичного и самодовольного американского высшего общества. «И запомни, эту книгу («Листья травы»), — пишет он своему другу, доктору Баку, — вызвало к жизни мое существование в Бруклине и Нью-Йорке с 1838 по 1853 год, впитавшее в себя за эти пятнадцать лет миллионы человеческих судеб, которые я прочувствовал так интимно, с таким пылом и непринужденностью, как никогда».

Самоучка, получивший несистематическое профессиональное образование, он знал понемногу обо всем. Самообразование его шло за счет чтения, профессиональные знания он получил, работая журналистом. Трудно четко разделить эти два источника знаний — с возрастом он погрузился в чтение, чтобы постоянно совершенствовать свои «Листья», точно так же он глотал книги, когда был редактором, нуждаясь в информации. Подход к чтению у Уитмена всегда был журналистский: он сразу же находил нужные книги, не задерживаясь на том, что его не интересовало. Журналистская работа, особенно политика, способствовала упорядочению чтения (книги в большом количестве поступали в «Дейли игл» для обозрения): теперь он выбирал то, что утоляло духовную жажду, а также книги, где речь шла о правах, возможностях и особенно потенциальных способностях человека из народа.

Мы располагаем длинными перечнями того, что читал Уитмен, и, хотя его записи трудно датировать, они относятся к годам создания «Листьев». Сначала он читает рыцарские романы, любит Вальтера Скотта, когда же книги хлынули потоком, он уже понимал, что главная задача человека — «долгий путь» к личной свободе и полному самораскрытию. Тогда это были книги по истории и естествознанию, литературная классика и некоторые философские труды. Ежегодно ученые открывают новые источники, способствовавшие возникновению «Листьев»: называют Мишле *, Гегеля, Жорж Санд, Карлейля. Найдутся и еще сотни источников, так как широта (не глубина!) кругозора Уитмена, если судить по записным книжкам, поразительна.

Эти источники сами по себе не очень важны. Молодой человек искал подтверждения внутренней потребности — стать глашатаем народа, которому освоение континента представляло большие возможности. Из записей Уитмена видно, что он, в отличие от популярных сентиментальных писателей, не довольствовался воображением. Ему нужны были факты. Они были его оружием, как и поэтическая символика. Давая волю мечтам, он одновременно готовил «интеллектуальный арсенал» для защиты демократии. Возможно, что сначала он хотел использовать его в газетных баталиях, к которым, учитывая скудость образования, был подготовлен неважно.

Но в 1849 году, раздираемая внутренними противоречиями и не имеющая единого мнения по вопросу о рабстве, демокра-

тическая партия уже не может быть опорой независимому уму. Уитмен изолирован в политической журналистике и обращает свои силы к иному, тому, что должно было покорить не столько разум, сколько чувства и воображение американцев. Отныне, продолжая существовать журналистикой, он отдает всю свою энергию, все способности, всю глубину души поэзии. Правда, в его «Листьях травы» было знание американской жизни и демократизм тех лет, когда он внимательно всматривался в жизнь, когда редактором готовился к очередной битве по злободневным политическим и общественным вопросам.

2

Хотя до 1855 года Уолт Уитмен был известен только как редактор или внештатный журналист, он еще в ранней юности понял, что хочет быть настоящим серьезным литератором. Правда, вначале под серьезной литературой он подразумевал не совсем то, что следовало. Начав писать рано, он усиленно старался преуспеть в излюбленных жанрах того времени: сентиментальных и мелодраматических рассказах, которые обычно публиковали второсортные авторы в ежегодниках и журналах, традиционных стихах с привычной рифмой и размером и модных риторически-субъективистских эссе. Кое-что ему повезло пристроить в неплохие журналы, вроде «Демократик ревью», однако все его сочинения того времени, в том числе и роман о пагубности невоздержанности, были заураядны, лишены художественного своеобразия, раздражательны, подчас банальны и явно уступали его журналистике. Либо его творческое воображение еще не созрело, либо он еще не мог выразить себя в слове. До конца сороковых годов, то есть накануне его тридцатилетия, можно было думать и так, и иначе. Рядом с Эмерсоном и Торо, писавшими в те же журналы, он выглядел мелким, поверхностным и невежественным. И однако, именно его десять лет спустя Эмерсон провозгласил творцом подлинно американских стихов.

Перемена свершилась, когда внутренний, рвущийся наружу мир писателя облекся в слова. Известно, что в детстве Уитмен был мечтательным мальчиком, иногда так глубоко погруженным в процесс познания или задумчивость, что его нередко называли лентяем. И вот на четвертом десятке жизни плодовитый поставщик традиционного журнального «чтива» и страстный газетчик почувствовал, как его набирающее силу воображение вызывает к жизни дремлющие голоса. Поверить в свое предназначение помогли яркие впечатления детства. Мощный эгоизм молодого человека, подкрепленный экспансионистскими настроениями времени, подстрекал облачиться в мантию пророка. Книги, которые он читал (это видно из заметок), убеждали его

в могуществе поэта. А профессионально зоркий репортерский взгляд, видящий, что миллионы деятельных американцев вокруг приобщаются к одному из величайших экспериментов человечества, убеждал его в правильности выбора. Уже будучи профессиональным писателем, он попробовал передать свое новое видение в поэтической прозе и подходящих к случаю стихах и после мучительных усилий наконец добился успеха.

Все было действительно так. Еще в 1847 году, на «вершине» журналистской карьеры, главный редактор бруклинской газеты «Дейли игл», поучая сограждан, заносил в записную книжку, хранящуюся ныне в библиотеке Конгресса, отдельные поэтические строки вперемешку с прозой; некоторые из стихов, возможно, перенесены сюда из более ранних записных книжек. К этому времени Уитмен научился свободно выражать свои мысли хорошим газетным стилем и мог ратовать за разумную политику и здоровую мораль не хуже любого другого журналиста. Однако в его записной книжке есть множество туманных, апокалиптических по духу, прозаических отрывков, ритмизованных, трансцендентальных, евангелических в своей страстной убежденности. По содержанию и по форме эта проза не имеет никакой связи с лучшими из его традиционных редакторских статей, а также его беллетристикой или личной перепиской. Она явно несовершенна и экспериментальна. Стихи из этой записной книжки — а они там тоже есть — глубоко символические, они ритмичны, хотя в них и отсутствует метрика, часто не завершены и кажутся первым или более ранним вариантом «Листьев травы». По существу, основные идеи и предисловия, и стихов первого издания «Листьев» можно уловить в прозе и стихах первой записной книжки, а также последующих.

Никакой, даже самый тщательный анализ не объяснит нам этот удивительный феномен: как занятый и преуспевающий журналист переродился в гения и пророка (хотя и не полностью сформировавшегося). Один из последних друзей Уитмена, канадский психиатр профессор Ричард Морис Бэк, утверждал, что это был поразительный пример непосредственного вдохновения, проявившегося через, как он называл, космическое сознание. Многих ранних почитателей Уитмена (и, возможно, самого поэта) убеждала эта теория духовной интуиции. Но думается, более скромное заключение к истине ближе. У юноши был талант впитывать в себя окружающее, он чутко реагировал на физический и духовный мир, этот талант раскрылся и стал творческим, когда щедро одаренная, но неразвитая натура почувствовала давление жизненного опыта. Он уже не мог отделаться от своих видений и стал искать способ выразить их в слове, но ему не хватало профессиональных знаний. Записная книжка не только дает представление о его первых опытах, но и показывает, как эти видения, вне зависимости от источника и пока туманные, уже трансформировались в религию божественного на-

чала, заложенного в простом человеке, — но обо всем этом мог сказать лишь новый поэт и пророк. Его ранняя духовная жизнь запечатлена в размышлениях о том, каким должен быть этот новый поэт, что собой представляют его путь и слава. Ясно, что таким поэтом, по его мнению, должен стать именно он.

Поэтому, когда сама жизнь положила конец карьере Уитмена на поприще политической журналистики, его интересы, естественно, переместились. Читая записные книжки, ясно видишь, что когда-нибудь это неизбежно должно было случиться. То, что прежде было мучительной попыткой выразить святая святых своих верований и желаний, теперь стало настоятельной и определенной жизненной целью. Через несколько лет над своим рабочим местом он повесит лозунг «Верши дела» и подготавливает к печати первое издание «Листьев травы», что немыслимо для обычного политика и журналиста. Но для Уитмена это было возможно: корни «Листьев травы» уходили в глубокие пласты детства, хотя только Уитмен знал об этом. Таково вероятное, хотя и неисчерпывающее объяснение одного из удивительнейших и неожиданных проявлений гениальности в зрелом возрасте, известных в истории литературы.

3

Так что же такое были эти «Листья травы»? Сам Уитмен не однажды давал им определение — не всегда в одних и тех же выражениях: «Попытка... наивного, мужественного, нежного, созерцательного, чувственного, властного человека выплеснуть в литературу не только свою стойкость и высокомерие, но и собственную плоть и кровь, не лицемеря, не оглядываясь на образцы прошлого, забыв о скромности и законах, не ведая, как кажется сначала... ничего, кроме неистово любимой земли своих отцов... То, что удается ему в стихах, не может быть заслугой художника или достижением искусства, оно порождается творческим глазом, чистыми руками, творческой атмосферой, деревьями, птицами.

С того времени, как мои вопрошания и дело моей жизни обрели определенную форму (а как лучше мог выразить я особенность своего времени и места — Америки, демократии?), я понял, что центром, откуда излучается ответ и куда все возвращается на круги своя, должна быть личность — единая душа и плоть, — которой, после долгих размышлений, я решил стать сам — в действительности ей не мог быть никто иной.

«Листья травы»... по существу, были... попыткой... заговорить о Личности, человеке (о себе в Америке второй половины XIX века), заговорить свободно, полно и правдиво. Я не нашел ничего подобного этому в современной литературе».

Эти дефиниции представляются истинными и пятьдесят лет спустя, хотя они скорее относятся к позднейшим, расширенным

изданиям, нежели к первоначальному тексту поэмы, которая вчерне оформилась и была зафиксирована в записной книжке 1847 года; из него-то и выросли «Листья травы». Это «Песня о себе» — отнюдь не лучшее произведение Уитмена, хотя, возможно, наиболее характерное; настоящий микрокосм и одно из откровеннейших произведений, известных в литературе. Как только у Уитмена зародилось намерение стать истинным поэтом Нового Света в «странное, раскрепощенное, удивительное время» XIX века, он, должно быть, сразу начал работать над «Песней» — примерно с 1846 года, и работал вплоть до ее публикации в 1855, для последующих изданий произведение было значительно переработано. Оно — ключ к пониманию творчества Уолта Уитмена.

Когда «Песня», предисловие и несколько коротких сопровождающих стихотворений были готовы, Уитмен из поэта переключился в печатника. Хорошо зная, что находит спрос у издателя, а что — нет, он решил сам издать свои стихи. Используя свои познания в печатном деле, он подготовил книгу, необычную по размеру и оформлению, сам набрал ее и выпустил первое издание «Листьев», ставшее теперь библиографической редкостью. Среди прочего «Песня» выделялась своей необычностью, что и отмечалось рецензентами.

В окончательном варианте «Песня о себе» — произведение, состоящее из написанных длинными строками пятидесяти двух отрывков, каждый из которых отмечен новым поворотом мысли. Иногда скачок воображения слишком уж причудлив, и тогда единственным связующим звеном становится вдумчивое, пророческое видение автора.

Начинается поэма с утверждения, бросающего вызов современной (и более ранней) литературе, которая, по мнению Уитмена, порождает «элитарную поэзию». Она отражает мир, где литература предназначена для людей исключительных, а не для простого, взятого в отдельности человека или для масс.

Я славлю себя и воспеваю себя...
Ибо каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и вам...
Я, праздный бродяга, зову свою душу...
Я принимаю природу такую, какова она есть,
Я позволяю ей во всякое время, всегда
Говорить невозбранно с первобытной силой.

Перев. К. Чуковского

Ранний вариант был конкретнее:

Я — голос ваш. В вас он молчал — заговорил во мне.
В себе я славлю всех живущих — мужчин и женщин.
И утверждаю: душа не больше тела.
И утверждаю: тело не больше души.

Перев. В. Бернацкой

Это — главные строчки в поэме. Поэт стремится стать глашатаем самой демократии: все, что он видит в себе, он будет воспевать как черты, присущие «божественной обыденности». Что же он в себе находит?

Уитмен делает открытие, что каждый человек есть целый мир чувственного восприятия, этот мир — часть вечно обновляющегося времени; он важнее рутины повседневной жизни и того, что поэт называл «последними сенсациями». Через любовь и ее проводников, чувства, поэт познает, что все люди, а также бог — братья между собой. С этим нельзя спорить, как нельзя ответить на вопрос: «Что такое трава?» Очевидно, однако, что жизнь и смерть — часть единого, непрекращающегося процесса, в котором каждое явление одинаково важно. Поэтому перестанем спорить и посмотрим на торжественное шествие жизни — всех этих жен, старых дев, кучеров, фермеров, охотников, клиппер с неподвижными парусами, собирателя морских моллюсков, ловца, ставящего капканы, мужчин, купающихся в реке, и женщину, мечтающую быть рядом с ними, извозчика-негра с гладкими мускулами — все они часть личности поэта, часть процесса, одновременно и физического, и духовного. Они в родстве с растущей повсюду травой, с воздухом земли, единым для всего человечества.

Так, драматизирующий себя Уолт Уитмен говорит за них всех, видит себя во всех людях и во всех проявлениях жизни, выступает от имени мужчин и женщин, Добра и Зла и, блуждая в мягких сгущающихся сумерках, чувствует невыразимую, пылкую любовь ко всей этой красоте. Он принимает безоговорочно все эпохи: по его мнению, все идет, в конечном счете, так, как надо. Он принимает науку, которая объясняет мир. Он верит в «массы».

Я говорю мой пароль, я даю знак: демократия.

Клянусь, я не приму ничего, что не досталось бы всякому поровну.

Перев. К. Чуковского

Глухие, протяжные голоса узников и рабов, больных и отчаявшихся, запретный зов пола и желания, пропущенные через «я» поэта и обретшие наконец голос, очищены и преображены. «Уолт, — говорит он, — в тебе всего достаточно, почему бы тебе не поделиться всем этим?» Что он и делает, рассказывая вначале о том, что слышится ему в волнующем мире его чувств, затем о том, чего он касается, передавая все это в сложных сексуальных символах.

Теперь Уитмен шагает в ногу со своими видениями. Его путь проходит через Америку с ее буднями и праздниками, его радует все, что он видит; затем его воображение переносится в прошлое. Он бродит с Христом по холмам Иудеи; он — то свободный гражданин, то герой, то преследуемый раб; он был в

Аламо; он сражался рядом с Полем Джонсом. Силой любви он спасет всех несчастных и умирающих и превзойдет в этом земных божков, жалких барышников:

Я слишком много говорю о себе,
Эти строки мои всеядны, но других я не должен писать,
Каждого, кто бы он ни был, я хочу заполнить собой целиком.

Перев. К. Чуковского

Грандиозной была работа этой сильной природы, символизирующей душу нового общества. Ничто не могло помешать ее развитию. Он обнимал мужчин и женщин, чтобы показать необъятный путь, который каждый из них должен был пройти сам: довольно мы предавались презренным Мечтам. Что же касается его, то, исполнив свое предназначение, он уйдет, предав себя земле, чтобы подняться еще раз с травой, которую так любит.

Из-за обилия подробностей и богатства образной структуры многие читатели не увидели, что «Песня о себе» по своему духу, декларативности и пространному перечислению разных родов деятельности — поэма экспансиониста, выразившего определенные настроения страны и времени. А кроме того, это пророческая поэма в духе Ветхого Завета, ибо Уитмен убеждал энергичную страну одухотворить свою мощь, призывал общество, с его интеллектуальной культурой, отыскать новые источники могущества в замечательном братстве, в чувственной страсти, в животной гармонии со всем мирозданием.

Наконец, это — драматическая поэма. Автор подчеркнуто театрален, как «возрожденцы»-ревивалисты. «Если я противоречу себе, — говорит он, парафразируя Эмерсона, — что ж, значит, я противоречу себе». Он огромен, он вмещает в себя множества. Он может представить себе и представляет мужчину определенного возраста. Он достаточно велик, чтобы чувствовать со всеми, чтобы всех любить, он может указать людям долгий и трудный путь к полному самораскрытию. Если этим и не исчерпывается миссия Уитмена, то в этом ее суть. В других стихотворениях он скажет об этом полнее и лучше, но никогда не отречется ни от одного своего слова.

Удивительно, как эта поэма, замечательная несмотря на всю свою экстравагантность, художественные просчеты и непоследовательность (подчас только кажущуюся), могла выйти из-под пера журналиста, до сих пор создававшего лишь заурядные, а порой и того хуже произведения, сколь долгой была прелюдия, интуитивно постигнутая мудрым Эмерсоном в письме, в котором он приветствовал издание 1855 года? Где залегали корни? В каком духовном и интеллектуальном климате эта поэзия зародилась? Как сложилась сама «личность», эта «душа, иден-

тичная телу» — драматический центр его поэзии, — которую Уитмен сознательно развил в себе?

Уитмен родился в семье, не чуждой радикальному либерализму. Его отец, Уолтер Уитмен, был учеником Френсис Райт, любимицы Лафайета, феминистки, лектора, писавшей по вопросам труда и социального положения простых людей. Уолтер Уитмен был страстный индивидуалист и, хотя обладал земельными акциями, предпочитал зарабатывать на жизнь собственноручно, так как любил, по его словам, пожинать плоды своих трудов. Все члены семьи были демократами в то время, когда быть демократом значило прежде всего ратовать за права человека и требовать защиты интересов народных масс от произвола предпринимателей. Философия демократической партии, пришедшей к власти с Джефферсоном и Джексоном, была еще революционной. Именно американские демократы начали проводить в жизнь социальную революцию, порождение революции политической. Никогда еще так полно, как в эпоху великого движения на Запад, не торжествовали демократические идеи партии, никогда они не были так сильны, обнадеживающи и реальны. Трансформация политического рвения молодого редактора в яркообразный литературный пафос его поэм, в которых он выступал от лица простого человека, была естественной и многообещающей. Социальный фон «Листьев травы» — революционные преобразования XVIII века, начиная с Просвещения. Автор видит выход для простого человека в приверженности к универсальной церкви братства, где сначала он будет рядовым прихожанином, а затем и священнослужителем.

Не удивительно, что первые, столь своеобразные стихи Уитмена — не пропагандистские стихи, не стихи дискутанта; они воспевают победу и вдохновение, в них он славит себя как символ «божественной обиденности». Не удивительно, что они посвящены «простой отдельной личности», рядовому, простому человеку, судьба которого лучше всего характеризует Новый Свет, где угнетенная личность нашла наконец-то достойное, освобожденное существование.

И все же сомнительно, поверил бы Уитмен, еще не умеющий, как видно из записных книжек, внятно выразить себя, в свое призвание и возможность его реализации, если бы не его знакомство с мистицизмом квакеров.

Он, конечно, никогда не принадлежал к секте: он не мог, по его словам, жить в клетке. Однако он вырос в квакерском окружении, родственники матери были квакерами, отец восхищался знаменитым квакером-еретиком Элайей Хиксом, а сам Уитмен был не только знаком с квакерством, но испытал глубокое влияние постулата внутреннего озарения. Важно, что в детстве и отрочестве он жил среди людей, относившихся чрезвычайно серьезно к вдохновению: они верили, что, сколь ни слаб и неискусен голос, возвещающий о боге, все то, что он гово-

рит, стоит внимания и не должно замалчиваться. Уитмен знал о различии, которое проводил каждый квакер между «я», погрязшим в повседневных обязанностях, и «душой», которая в случае необходимости могла поведать о скрытой внутренней жизни и изливала себя на собраниях, пусть грубо и неискусно, но языком вдохновения. Вот почему Уитмен не считал нужным бороться с охватившим его поэтическим вдохновением.

Нельзя забывать и о влиянии трансцендентализма, также захватывающего по своей природе. Он оказывал могучее влияние на идеалистов и находился в зените своей популярности в те годы, когда в воображении Уитмена рождалась «Песня о себе». В какой степени могущественный трансцендентализм, возникший в Новой Англии в 30—40-е годы, влиял на форму, логику и философию уитменовской поэзии, на его прославление себя, всегда, видимо, будет предметом спора. Бесспорно одно, что Уитмен был знаком с творчеством Эмерсона до написания «Листьев». Об этом говорит не только перечень прочитанных эссе и прослушанных лекций, но и «Песня о себе» — одно из ранних свидетельств истинного дарования Уитмена, — в которой чувствуются подражание Эмерсону и заимствования из него. У Уитмена, если судить по необычным высказываниям в первой записной книжке, было много общего и с квакерами, и с трансценденталистами, а все-таки он никогда не был трансценденталистом в конкордском смысле. Не углубляясь далеко в метафизические дебри, он верил, подобно Хиксу, в возможность интуитивного постижения бога и в духовную сущность всех явлений.

Трансценденталистские тенденции творчества Уитмена уживались с другими, более индивидуальными, рождая философию, которую ни Торо, ни Эмерсон не признали бы, несмотря на некоторое ее сходство со своей.

От квакеров и Эмерсона Уитмен узнал, что глас божий может исходить из уст человека; значит, полагал Уитмен, бог может являть себя через тело и чувства человека так же, как и через душу. Душа и тело были в его представлении неразрывно связаны; настоящая демократия подразумевала равенство плоти и духа. Простой человек, чувственный, с горячей кровью, живущий — особенно это относилось к Америке — здоровой и разнообразной жизнью, был не менее достоин, чем святой, интеллектуал или аристократ, и, по всей видимости, в будущем будет важнее их. Могучий инстинкт продолжения рода, поддерживающий жизнь человечества, был не только средством населить будущее Царство Небесное; не был он и тем, чем считали его конкордские мудрецы, — животным наследием, которое нужно было возвысить до любви, попирающей плоть. Нет, если душа была богом, то им было и тело, и если демократия и сам человек должны создать идеальное общество, то прежде всего затем, чтобы чувства получили полное раскрытие в процессе выраже-

ния души. Когда Уитмен называл Эмерсона «учителем», он, возможно, хотел сказать этим, что Эмерсон дал направление и оформил его туманный квакеризм. И когда позднее он говорил, что теперь он сам свой учитель, Уитмен, должно быть, имел в виду то, что он создал собственную концепцию бога и человека, тела и души, выйдя за пределы трансценденталистских представлений.

В «Песне о себе» с наибольшей яркостью проявилась одна из характернейших особенностей личности поэта — отчетливая склонность к самодраматизации. Как может видеть любой серьезный биограф, он в течение всей жизни с легкостью различал свое обыденное «я» и «душу», драматизованную под именем Уолта Уитмена в стихах. «Я» было простым, естественным, нежным, подчас застенчивым и скромным. «Душа», обладая многими благородными свойствами, была к тому же, особенно в первое десятилетие подлинного творчества, агрессивна, дерзка, самоуверенна, менторски учительна, подчеркнуто эгоистична. Здесь он, возможно произвольно, выступал как смелый, не знающий чувства меры человек фронта или как тщеславный лидер-самоучка, он олицетворял собой почти параноическое желание молодой страны стать великой и добиться признания. Его пространные и часто утомительные перечисления разных профессий (опись Америки, по выражению Эмерсона) кажутся ответами на вопросы любопытствующих иммигрантов и пионеров. Впадая в пророческое состояние, Уитмен явственно различал в себе двух людей, одному из которых внушалось нечто свыше.

Все это вносило в уитменовскую разновидность трансцендентализма личный, пророческий оттенок, сообщающий мысли тепло, которого часто не хватало учению в его чистом виде. Но мощная чувственность «Песни о себе» и многих других произведений, глубокая симпатия к естеству — словом, вся битва Уитмена за раскрепощение в области эмоций, особенно в плотской, сексуальной сфере, исходили во многом от его крепкого телосложения и сильной, весьма непростой, сексуальной природы.

В молодости и на заре зрелости высокий, шести футов росту, хоть и не атлетического сложения, но привыкший к жизни на открытом воздухе, румяный, он излучал здоровье и энергию. На более поздних, хорошо известных фотографиях, где мы видим его бородатым, «буйвологоловым» — чем-то средним между Дедом Морозом и Дедушкой Временем, — он по-прежнему в расцвете мужественности. Здоровье, энергия, сила — все эти слова встречаются или варьируются в «Листьях». В мистическом или пророческом экстазе Уолт упорно твердит, что вещает не только его душа, но и «восхитительная кровь». Близких себе по духу людей он находит не в среде интеллектуалов, технической интеллигенции или ученых (хотя он из их круга), а среди рабо-

чих, рыбаков, фермеров, пионеров, таких же сердечных людей, как он сам, идущих навстречу своему предназначению, не задаваясь излишними вопросами. И дело не только в том, как хорошо он их знал (а он знал их хорошо). В великую эпоху завоевания Запада его воображение подстегивали физическое здоровье и энергия родной Америки, и эти же качества он находил в себе самом.

Если его культ торжествующей физической энергии соответствовал пробудившейся в середине столетия активности континента, то наиболее рафинированная литература того времени этот культ не разделяла. Вспомним исполненные призрачных видений романы Готорна, утонченные стихотворения Лонгфелло, лихорадочные токсины новелл По или же анемичную сентиментальную болтовню ежегодников и журналов. Большинство же остальных писателей — например, Эмерсон — были заняты сублимированием или интеллектуализацией непокорной физической энергии американской жизни. Даже Торо, с его культом природы, который однажды пожелал живьем съесть сурка, больше тревожило, нежели вдохновляло, то, что он называл лихорадочной гонкой в поисках земли и золота. Эти писатели анализировали и критически отображали американскую культуру, только вступающую в пору зрелости. Их не заботили мускулы, так же как и сердце, если только оно не было вместилищем утонченной и тайной страсти. Скорее наблюдатель и мечтатель, нежели пионер или покоритель прерий, Уитмен преклонялся перед ладным, сильным телесным началом, которое он боготворил в самом себе; это заставляло его чуждаться интеллектуалов и эстетов и тайно торжествовать по поводу ненасытного чревоугодия Нью-Йорка — «копошащегося, плотского, чувственного, жующего, пьющего и размножающегося». Его приводили в восторг иммигранты, которые привезли на новую родину лишь собственные мускулы, восхищало трудолюбие пионеров — вся живая картина трудовой Америки. Когда во время поездки в Новый Орлеан в 1848 году Уитмен увидел воочию представителей фронта, он был несколько обескуражен их праздностью и последствиями истощавшей их малярии, однако от мечты своей не отказался. Он верил, что в нем больше крови, чем в писателях-соотечественниках, и что он скорее, чем они, способен вдохновляться могуществом простого человека, которому предоставлены большие возможности в свободном мире. По его мнению, этот аспект американской жизни не получил достаточного отражения в литературе, и таким образом из виду упустили реальный характер демократических перемен. Он чувствовал, что с развитием демократии чувства (в том числе и его собственные) должны измениться, дабы соответствовать природе и потребностям «божественной обыденности» — простого человека, занимающего скромное положение в человеческом обществе.

Такова была предыстория и корни книги, ошеломившей, озадачившей, позабавившей, удивившей и глубоко потрясшей ее немногих читателей. Однако анализировать еще один источник, вызвавший к жизни наиболее рискованные места поэзии Уитмена, чрезвычайно трудно. Если «Песню о себе» можно считать символом свободных настроений раскрепощенного демократией человека, то ни личность самого Уитмена, ни его наиболее характерные произведения не давали представления о среднем американце. Ни физически, ни психологически Уитмена нельзя было причислить к «божественной обыденности», голосом которой он хотел стать и стал. (...)

Пышущая здоровьем, импульсивная плоть Уитмена, столь чувствительная к страсти, не была равнозначна плоти рядового человека. В сексуальном отношении его плоть и он сам (так как, конечно, было затронуто и его воображение) тяготели к тому, что врачи и психиатры именуют пограничными состояниями. Нет никаких оснований говорить об извращенных наклонностях; когда его прямо спросили об этом в преклонном возрасте, он отверг это предположение с ужасом, искренности которого нельзя было не верить. Обстоятельства его жизни и свидетельства, оставленные в стихах, говорят нам, однако, что влюблялся он охотнее и чаще, пусть и не с большей пылкостью, в мужчин, чем в женщин. Это чувство выглядит отцовским, когда речь идет о юношах, за которыми он любовно ухаживал в госпиталях во время Гражданской войны, или о его молодых друзьях, вроде Пита Дойла, кондуктора трамвая. Но довольно часто в его душе поселялось то, что он называл смятением, — сильное сексуальное возбуждение, не знающее различий между страстью к мужчине или к женщине. Читательницы «Листьев» почти сразу же осознали, что характер любовного чувства у автора часто выглядит женским. Все же его любовные стихи, посвященные женщине, дышат столь неподдельной страстью, что вряд ли можно сомневаться в его способности испытывать полноценную любовь к женщине. (...)

Подобная сексуальная сверхчувствительность скорее сверхнормальна, чем аномальна. Она превратила поэта в апостола братской, всеобщей любви, которая, по его убеждению, только одна и могла спасти демократию. Ему было легко увидеть в себе символ чувственной энергии растущей Америки, полностью удовлетворенной сексуальности, столь необходимой в его представлении для истинно совершенного общества. Вот почему Уитмену было так легко вынести на всеобщее обозрение свою чувственность, не заботясь о соблюдении правил благопристойности и хорошего тона.

Так он превратился в мишень для пуристов, смущая и подчас шокируя своих простодушных читателей, которым не нравилось, когда об их половых инстинктах говорили на языке религии. Он возмущал буржуа, в любимом чтиве которых — на-

зидательных или Сентиментальных романах — также затрагивались вопросы пола, однако авторы ограничивались при этом лицемерными, томительными намеками.

4

Первое издание «Листьев травы» продавалось в Бруклине и Нью-Йорке в магазинах друзей поэта — Фаулера и Уэллса, издателей френологической литературы и популярного журнала «Лайф иллюстрейтед», для которого Уитмен впоследствии сделал серию статей. Несколько экземпляров книги послали на рецензию, а также кое-кому из влиятельных лиц. Именно благодаря рецензиям на «Листья», а не продаже (крайне незначительной) самой книги читатели Америки, а также Англии узнали о рождении нового поэта — своеобразного и шокирующего, смелого, эгоцентричного и сильного, хотя, по мнению критики, мощь его была направлена по ложному пути.

Первое издание «Листьев» предвещало блистательно написанная вступительная статья автора, содержащая теорию поэзии, столь необходимой демократии и Америке. Книга состояла из двенадцати произведений, из которых в первом, «Песне о себе», предпринималась явная попытка дать символический образ человека XIX века. На титульном листе не было имени автора, но в стихотворном тексте он назывался Уолтом Уитменом. Из других произведений (приводятся позднейшие названия) наиболее значительны «Я тело электрическое пою» (самое сенсационное из всех) и «Тем, кто понял меня», где поэт возвещал о своих жизненных идеалах.

Во второе издание «Листьев» следующего, 1855 года вошли новые поэмы, среди них лучшие у Уитмена, например «Salut au Monde», «Песня о топоре», «На бруклинском перевозе», «Песня большой дороги», по которым можно судить о характере поэзии автора. Это издание разошлось так же плохо, как и первое.

В 1860 году Уитмен выпустил более солидный том, значительно переработав материал и сделав важные дополнения, особенно это относится к «Демократическим песням», «Детям Адама», воспевающим женскую любовь, и «Аиру благовонному», вдохновленному мужской любовью. Разразившаяся война помешала успешной продаже издания. Достоинейшее воплощение Гражданская война нашла в «Барабанном бое» (1865) и в стихотворениях «Памяти президента Линкольна» — оба цикла были включены в издание 1867 года. Некоторые из лучших стихов «Барабанного боя» родились в результате его работы санитаром в госпиталях Вашингтона, где, ухаживая за больными и ранеными, он вносил умиротворение в души множества солдат. Хотя он сам никогда не воевал, с солдатами Уитмен был знаком хорошо; именно в госпитале, по его словам, он «из первых рук» узнал о достоинствах народной Америки.

В 1876 году, через три года после инсульта, от которого Уитмен так никогда и не оправился и который повлиял на его работоспособность, он выпустил в свет шестое издание «Листьев», содержащее последние стихи, которые еще несли на себе печать гения, — «Путь в Индию» (напечатанное ранее отдельно), «Моление Колумба» и «Песнь секвойи», а также несколько новых стихотворений. В 1881 году «Листья» приобрели наконец законченный облик; в таком виде они вышли девятым изданием в 1892 году — год смерти поэта.

Даже такие скудные библиографические данные говорят о необычной композиции «Листьев травы». Они так никогда и не стали, даже в девятом издании, завершенной, стройной книгой, находясь в постоянном становлении; но постоянной была его концепция целого, заявленная в самом начале; так книга росла, вбирая силу и мастерство автора, совсем как человеческий организм, и остановилась в развитии не потому, что не было дальнейшей возможности для роста, а потому, что его обрвала смерть.

К сожалению, отважный читатель, который пожелает прочитать «Листья травы» от корки до корки, будет удивлен не только многообразием автора и частыми повторами, но также и перетасовкой стихотворений, проделанной стареющим поэтом, в результате которой нарушился хронологический порядок и вялые стихотворения попали в один ряд с произведениями большой творческой силы. Говоря образно, поэт хотел создать стройное здание, подобное величественному собору, однако создал павильон Всемирной американской ярмарки, который он видел на Международной выставке 1853 года в Нью-Йорке, сильно подействовавшей на его воображение. Ни одному крупному мастеру, как Уитмену, не нужна столь тщательная редактура, наподобие той, которую проделал для Вордсворта Арнольд. Уитмен сопротивлялся этому при жизни, так как чувствовал, что в столь «учтивое» время, каким был его собственный век, его уроки должны усваиваться в том «грубом» виде, в каком преподаются. Теперь же необходимость в том, что «возрожденцы» называли «затянувшейся встречей», отпала.

Первое издание «Листьев» 1855 года, явившееся, кстати, лишь ядром окончательно оформившегося произведения, выдержало долгую битву за признание, которую вел сначала сам Уитмен, а затем его преданные друзья. Хотя книга и получила изрядную долю поношений, однако была высоко оценена американской критикой, хотя и не сразу. Подготовленный У. М. Россетти сборник избранных ранних произведений Уитмена, изданный в Англии в 1868 году, принес там поэту известность раньше, чем на родине. Дело в том, что в сборник не вошли чувственные стихотворения, так испугавшие чопорную Америку середины XIX века. К тому же англичан, естественно, не могло

оскорбить (скорее — напротив) то, что в Америке называли грубым искажением облика демократии.

«Листья травы» — один из тех документов человеческого духа, появляющихся время от времени в истории литературы, которые вызывают как яростное сопротивление, так (хотя и не всегда) и чрезмерную хвалу. Эти произведения — всегда плод труда новатора и, подобно усилиям исследователей-путешественников, подчас неполны, несовершенны — изобилуют как гениальными открытиями, так и крупными просчетами. Необычное сопротивление они встречают по нескольким причинам. Эти книги, хотя выраженные в них мысли могут быть известны философам или взяты из реальной практики времени, возвращают некоторым идеям первоначальную эмоциональную окраску, извлекая их из повседневного обихода и вводя в сферу воображения. Так было с «Князем» Макиавелли * и с произведениями Руссо. Для полного раскрытия своего художественного видения писателю также часто бывает необходимо отыскать, подобно ранним елизаветинцам, новые средства языковой выразительности; однако для современников все это выглядит слишком новым и поэтому не всегда нравится. Так было, например, с музыкой Вагнера. Более того, если этот документ — литературное произведение и повествует о человеческих нравах, он, несомненно, вступает в противоречие, пусть не с реальной жизненной практикой, но с моральной регламентацией в обществе, в котором он появился. Он вызывает возмущение, потому что убеждает пересмотреть принятые обычаи...

Все вышесказанное относится к первому изданию «Листьев травы», и, к сожалению, возмущение и протесты, вызванные появлением «высокомерных» стихотворений, удвоились в 1860 году, когда Уитмен включил в новое издание «Аир благовонный» и «Детей Адама», которые, по мнению разъяренных критиков, возбуждали похоть, и, «возможно, даже склоняли к извращенной страсти». Они отказывали (за небольшими исключениями) новым стихам, вроде «На бруклинском перевозе», в динамичной прелести и эмоциональной глубине. В более поздних изданиях критики не заметили усиления религиозного чувства Уитмена и появления более реальных представлений о возможностях человеческой природы, что характерно для таких превосходных стихотворений конца 50—60-х годов, как: «Из колыбели, вечно баюкавшей», «Когда во дворе перед домом цвела этой весной сирень» и «Путь в Индию». Лишь немногие из них отметили взлет художественного мастерства автора; то, что было экспериментом в «Песне о себе», стало в более поздних стихотворениях продуманной, высокохудожественной системой выдающегося и самобытного мастера просодии. Они лишь вскользь похвалили (каждый поняв его по-своему) драматизм описаний (начало которому положила «Песня о себе»), который в «Барабанном бое» выразился в графически совершенной, высоко реа-

лирической и одновременно возвышенной картине войны — одной из лучших в англоязычной поэзии. Смущаемые воплями о непристойности поэзии Уитмена, они проглядели, что понятие демократии, которое в «Песне о себе» — только эмоциональный гимн здоровью и физической силе простого человека, в «Прощайте!», стихотворении, написанном в 1860 году, неразрывно связано с идеалом самоусовершенствования, а этот идеал через любовь сограждан друг к другу должен превратить общество в институт высокой физической и духовной мощи. Жажда единения с миром, прозвучавшая в великих стихотворениях Уитмена — «Песне секвойи» и «Молении Колумба» (1876), — не была понята во всей ее глубине при жизни автора. Критики по-прежнему обсуждали чувственное начало его поэзии, его эгоизм, его бьющий через край оптимизм, хотя в этих стихотворениях, с их гегелевской антитезой оптимизма вера возвышалась над надеждой, а мечта утверждалась как полновластная хозяйка реальности.

Объяснить, почему мысль Уитмена становилась глубже, так же как и рост его мастерства, легче, чем понять истоки его гения. Его прозаические и стихотворные сочинения автобиографического характера с предельной ясностью свидетельствуют о том, что произошло с благодушным, самоуверенным «ласкателем жизни» в памятные для нации дни 1850—1870 годов. Не забудем, что он был пылким патриотом в самом высоком смысле этого слова. Для него Соединенные Штаты были прибежищем демократии, надеждой трудовых масс. Объединение страны было величайшим событием XIX века, но в 50-е годы он не мог не видеть, что страной управляют ничтожные и продажные политики, что страна разбита на группировки и запуталась в безнадежной распре сторонников и противников рабства. Он видел, что эту ситуацию мешает разрешить алчность и эгоизм Севера, высокомерие Юга и бездарность лидеров обоих лагерей. Но вот объявлена война, звучит призыв к единению и Уитмен чувствует себя окрыленным. Он, разумеется, верил в великого человека, каким явился Авраам Линкольн. Но в Вашингтоне, куда он прибыл в 1862 году, он столкнулся с коррупцией, своекорыстием и анархией; правительство держалось лишь потому, что на Юге дела обстояли не лучше, только пороки там были другие. Утешение приносили мужество, любовь и реальная доброта простых людей, которых Уитмен встречал в госпиталях, где они болели или умирали. В горьком стихотворении «Ответьте» (1856—1871) он облегчает душу в следующих словах:

Пусть корчатся люди в тоске, простирая бесцельные руки...
О страны! о дни! вы задушены всеобщей продажностью!

Перев. К. Чуковского

Воспоминания, написанные им впоследствии и запечатленные в «сборнике „Памятные дни“» (1882—1883) и в «Враче-

вателе ран» (1898), говорят о несчастьях, постигших в эти дни и его самого. Только простой народ и наделенный лучшими народными чертами государственный деятель поддерживали в нем идеализм времен первых изданий «Листьев травы». Но теперь этот идеализм утратил оттенок эксцентричности и высокомерия. К разочарованию в историческом пути страны примешивались личные неудачи и горести — причина их точно неизвестна, хотя можно с уверенностью предположить, что в основе лежали любовь и утрата.

Мы чувствуем, насколько облагорожены эмоции в стихотворении «Из колыбели, вечно баюкавшей» (1859). Именно в этом стихотворении, где Уитмен вспоминает о детстве, когда «язык еще спал», в предельно страстных и слишком зрелых для разума ребенка выражениях говорится о любви и потере. Пылкая чувственность «Песни о себе» сублимировалась в этом великом гимне в «неясное желание, мою судьбу», в качестве конечного разрешения всех проблем здесь выступает смерть, «сильное и мягкое слово», дальнейшее развитие жизни, — единственный ответ всем алчущим.

Или вот, например, полная глубоких раздумий элегия на смерть президента Линкольна «Когда во дворе перед домом цвела этой весной сирень» (1865). Ее нельзя назвать ни патриотической поэмой в обычном смысле слова, ни ликующим славословием «восхитительной крови» и благородного человека из народа, как это сделал бы Уитмен десятью годами раньше. В действительности, она так же, как гораздо менее возвышенный «Аир благовонный», воспевает любовь товарищей — эту духовную, цементирующую основу демократии — и одновременно оплакивает гибель «великого друга», «сладчайшей и мудрейшей души всех моих дней и стран». Элегическое настроение усугубляется пением серо-бурой птицы в тени кедров. Свет «большой звезды на западном небе» (Линкольна) не погас с его гибелью. Стихотворение славит «могущественную посланницу» — смерть: она всегда несет с собой любовь.

Или «Путь в Индию» (1871) — наиболее красноречивое из всех идеалистических стихотворений Уитмена. Его тема сформулирована в вопросе, которым задаются беспокойные дети века: «Куда идти, о насмешница жизнь?» Брак морей, свершившийся в Суэцком канале, сверкающий сталью континент — все это не удовлетворяет их, кажется отблесками большей мечты. Путь должен вести к чему-то более великому, чем Индия. Душа, «это подлинное я», должна стремиться не только к материальным благам, она должна растить способность любви, иметь идеалы, более возвышенные, сделать себя «чище, совершеннее, сильнее». Итак, «полный вперед — и только в глубокие воды».

Или, например, «Пою божественный квадрат» (1865—1866) — стихотворение не самое крупное, но представляющее интересный комментарий к философии Уитмена. В нем представлены

суровый моралист Иегова, утешитель Христос, вдохновенный Святой Дух и как четвертое измерение истины — Сатана, друг преступников, брат рабов, всеми презираемый, гордый, ни перед кем не склоняющий головы: «Ни время, ни дела не изменят ни меня, ни слова мои». Зло и добро, подобно телу и душе, — две стороны одного целого.

Что Уитмен приобрел за эти годы, когда он познавал в равной мере и горе и радости, так это мудрость. Страсти остались в прошлом; он чаще, чем то положено певцу мистической любви, вступал в многочисленные контакты с людьми и погружался в повседневные заботы. В период создания первого варианта «Листьев» его философия жизни была, в терминологии XVIII века, восторженной. Ее сила заключалась в безграничной вере поэта в жизнь как таковую, несущую в самой себе альфу и омегу, в божественное начало глубин человеческого сознания, и это сознание было реально, как кровь, и так же пульсировало в жилах. От души требовалось, чтобы она сама постигла истину, нам дано одно лишь «сегодня», а ада не существует. Для человека с пламенной кровью, который с юности в то бурное время превозносил действие не менее чем праздность, это была опасная философия. Ее легко было декларировать, еще легче прокричать о ней, но применить к действительности было так же трудно, как увидеть в рядовых американцах не просто «массы», а товарищей по труду и несчастью. Хотя Уитмен и старался с самого начала освободиться от риторичности, его ранние стихотворения все же ей очень подвержены. Они агрессивны, как может быть агрессивен человек в споре, если выступает по существу дела. Более того, он еще не научился — это видно из наиболее сокровенных строк его стихотворений — увязывать личное со своими идеалами, с проповедью простой и страстной любви.

Только властное вмешательство жизни могло освободить поэта от эгоизма... Он должен был объять своим воображением не только жизнь, но и смерть. Для Уитмена это путь вперед, именно вперед, потому что это было логическим развитием его философии, и путь этот был отмечен не интуитивным постижением родства человека с богом (слишком легкий путь для столь экспансивной натуры!), а «мучительной болью» за тех, кто, как и он сам, верил, что Америка — последняя надежда простых людей. Сначала был

Год, когда все сотрясало, и земля пошла ходуном!

Дул теплый летний ветер, но я холод вдохнул в себя.

В солнечном свете вдруг промелькнула тень, покрывшая меня мраком.

Так что ж, спросил я себя, не петь мне больше ликующих песен?

И петь на панихидах по тем, кто разгромлен,

Слагая угрюмые гимны для побежденных?

Перев. В. Бернацкой

После этого и подобных ему испытаний духовная перемена личности поэта стала настоящей, перемена к лучшему, так как восторжествовала более мудрая философия, более точное понимание «властной, прочувствованной, внутренней команды, которая сильнее слов», заставившей его принять смерть со всем, что ей сопутствует, столь же страстно, как и жизнь. Его поэзия углубилась, потому что воображение поэта, и прежде чуткое к духовным ценностям, ныне взмыло над его слишком вещественным миром, ибо он услышал иную песню, «окутывающую землю и наполняющую пространство небес».

Смерть начала казаться столь же важной, как и жизнь, религия — значительней самовыражения, потому что только смерть, раздвигая пределы духовности, приближала к разрешению божественной тайны и вечных противоречий жизни. Его поэзия углубилась потому, что его воображение, всегда алкавшее духовных ценностей, ныне, очищенное, устремилось далеко за пределы чисто сенсорного опыта.

5

В силу того что Уолт Уитмен — прежде всего поэт и только благодаря поэзии — апостол демократии, любви и смерти, рост и возмужание его гения — объект первостепенной важности при любом анализе его творчества и личности. Чтобы понять его искусство, следует вернуться к началу поэтической деятельности Уитмена, когда — по его выражению — он перестал оказывать полезные услуги человечеству, то есть отошел от журналистики, легкого сочинительства и начал «творить».

Давно ломаются копья вокруг просодии Уитмена. Легче всего добраться до истины, задавшись вопросом, что он пытался сделать и что он сделал в действительности с английским языком.

Напрашиваются два категорических заключения. Уитмен искал наилучший способ (об этом он говорил не раз) дать наиболее верное представление о динамичных душе, уме, теле человека демократического общества, развивающегося в условиях нового континента и строящего новый, непохожий на прочие мир. Более ортодоксальный в вопросах поэтической техники поэт не стал бы отступать от общепринятого метрического стихосложения, но дело не в этом. Уитмен просто не мог пойти таким путем: свидетельство тому его ранние стихотворения. Вдобавок он был убежден, что ему предстоит сказать и описать нечто совершенно новое, это заставило его пойти собственной дорогой на поиски необычного стиля, который был бы индивидуален и искренен. Ему надлежало стать таким же свободным и щедрым, как и предмет его поэзии.

Вопреки его утверждению Уитмен не полностью освободился от устаревшего поэтического стиля, хотя и обновил его

смелой откровенностью и реалистичностью слова. Он использовал разговорную речь не больше чем Брайент или Лонгфелло. Ни один из его приемов, целью которых было создание всеобъемлющей поэтической музыкальности, не был изобретен лично им. Однако результат — мы имеем в виду именно стиль — поразителен. Его стиль можно пародировать, ему можно подражать, но воссоздать его нельзя. Он оригинален, так как принадлежит только ему, Уолту Уитмену.

За источниками этого стиля не надо далеко ходить: один из них — струящиеся ритмы Ветхого Завета, бывшего, в слегка заземленном виде, эмоциональным языком поколения Уитмена. Затем высокое красноречие наиболее риторических из белых стихов Шекспира, которые поэт слышал много раз в исполнении лучших актеров XIX века, так глубоко постигшего Шекспира. У Шекспира Уитмен научился тщательно выстраивать предложения. И наконец, французская и итальянская оперы, поклонником которых он был, — синтетическое искусство, одновременно и лирическое, и декламационное, ритмически организованное в слове и музыке.

Анализ сразу же обнаруживает трудоемкую технику его длинных катящихся строк, перечислений, проповедей, лирических отрывков и драматических диалогов с самим собой. Если отказываться от метрики и рифмы, тогда следовало изобрести какие-то другие средства, чтобы создать то напряженное единство выразительности, которым отмечена его поэзия. Даже поверхностное знакомство с поэзией Уитмена выявляет частое, подчас даже утомительное для читателя использование аллитерации — линейной и вертикальной. Бросается также в глаза наличие ассонанса и внутреннего ритма, нередко очень оригинальных. Стих его, как правило, хореический и дактилический (что необычно для английской поэзии, но не для разговорной американской речи). Уитмен демонстрирует тонкое использование цензуры, разрывая свои бесконечные строки на куски разной длины. А также умелую игру с повторами ритмических отрывков и отдельных слов. Как известно, снова и снова обкатывая строки своих стихов, пока они не начинали его устраивать, правя и правя на протяжении всей жизни, Уитмен постепенно совершенствовался в приемах, о которых мы говорили, а также и других, все время помня о главном — том ритмическом узоре, который был его стилем.

Если аналитически прочитать изумительно искусно сделанное стихотворение «Из колыбели, вечно баюкавшей», то нетрудно обнаружить здесь аллитерации, ассонансы и внутренний ритм. Если взглядеться пристальнее, станут очевидными и заимствования из «оперного жанра»: такова структура произведения, состоящего из увертюры, речитатива, музыкальной медитации, лирической части — «пения птички», и наконец финала стихотворения, этой, по его словам, «замирающей арии». Тех-

нику этого стихотворения, а также «Когда во дворе перед домом цвела этой весной сирень» интересно сравнить то с расплывающимися, то со скованными стихами экспериментальной «Песни о себе», на которую ссылаются все недоброжелатели Уитмена. Хотя некоторые стихи «Песни» — лучшее из всего созданного им, однако новую просодию точнее выразила чеканная форма поздних стихов.

У нового стиля (Уитмен называл его идиоматическим) было несколько преимуществ. Он мог удовлетворить честолюбие поэта и стать голосом масс. Он упрощал введение в поэзию того, что существующая мода считала прозой и что казалось неуместным, может быть неосновательно, в традиционных стихах. Этот гибкий стиль мог быть (с легкостью) использован для различных целей и давал возможность поэту, подобно таким творцам нового литературного языка, как, например, Чосер, сказать раньше и лучше других то, что еще никто до него в литературе не говорил, по крайней мере в литературе его времени и страны. Так как по большей части индивидуальность Уитмена свободно чувствовала себя среди этих ритмов: в них легко трансформировалось драматизированное «я» поэта, которое он называл «душа» и которое, как он считал, было символом его внутренней жизни, а также времени и среды. Когда он «исторгал из себя образы», они представляли не в велеречивой шаблонности мастеров декламации, которым он втайне завидовал, а в собственной, заготовленной им заранее форме.

Поэтому следовало бы, истины ради, назвать стиль Уитмена функциональным. Он идеально подходил для передачи в стихах движения людского потока в страну и из нее, для показа еще не оформившегося облика Америки, яркой, полной романтики жизни пионеров; он нес в себе мечты нации о прекрасном будущем и революционные идеи человечества, воплотившиеся в американской действительности. Этот стиль полностью также соответствовал страстной натуре автора, который часто бывал неряшлив в выражениях, но достигал удивительных высот мастерства, когда писал о своих верованиях и смерти.

Его стиль не был свободен от крупных недостатков. Было очевидно, что автор тяготеет к прозе и любит поучать. Такой стиль нельзя было назвать строгим: Уитмен грешил повторами и многословием и забывал в конце стихотворения то, о чем говорил в начале. В самых стройных — с точки зрения поэтической организации — поэмах техника иногда кажется нарочитой и потому раздражает. Его стихи с легкостью переходят в проповедь, они перегружены излишними деталями, в них все можно поменять местами. Уитмен так и делал, часто включая в свои стихотворения целые куски из предыдущих. Самым худшим для поэта (хотя и неизбежным) было то, что такой стиль оскорблял строгий вкус читателя, воспитанного на лучших образцах английской поэзии, и чрезвычайно затруднял понима-

ние его стихов. Однако Уитмен упрямо гнул свою линию, не забывая о том, что его необычные стихотворные приемы часто становились просто эксцентричными.

Но о стиле Уитмена следует судить по его лучшим проявлениям, и тогда видно, что он не только столь же характерен для поэта, как характерны для Шекспира его поздние белые стихи, а что он — явление новое и подчас грандиозное.

Следует заметить еще одно о мастерстве Уитмена. Если XIX век не сразу кинулся на наживку, брошенную поэтом в его бурные воды, то это потому, что поэт часто, вольно или невольно, использовал в стихах символику, не уступая в этом сюрреалистам, пришедшим в литературу значительно позже. Он пытался передать в словах невыраженное и невыразимое при непрямом соотношении слов и смысла — то, что теперь мы считаем особым направлением в современном искусстве. Но символические образы воспринимались современниками в прямом и весьма приземленном (часто неприличном) смысле, а не в их опосредованном (любимое словечко Уолта) и поэтическом значении.

Юношеское воображение Уитмена обладало удивительной способностью к поглощению; его питали многочисленные, смутные эмоции, обобщенные идеи о сущности любви, а также разнообразная и живая картина растущей Америки. Он не мог анализировать пережитое и не мог (а иногда и не осмеливался) выразить себя вне символов, которые передавали его комментарий к жизненному опыту. Он не мог справиться с тем, что было бы по плечу, возможно, только более крупным художникам, как Мильтон или Теннисон. И все же твердое намерение Уолта как-то «изгнать все это из себя», как и его борьба за новый язык подарили нам несколько первоклассных стихов, символическую мощь которых демонстрирует всемирная их известность. Иногда его символика фантастична — это особенно ощущается в ранней поэзии. Отдельные страницы свидетельствуют об отсутствии у Уитмена подлинного чувства юмора и часто нелепом использовании слов, фраз, образов, символов; вроде пресловутых «цветущих библий», которые он хочет встретить на своем пути в Индию. Смешно, если к ним отнестись серьезно, звучат и следующие стихи:

Клянусь своим бранным телом! Начиная творить,
То и дело вхожу в кустистое чрево теней.

В своих ранних стихах он, особенно когда речь идет о вопросах пола, также прибегает к таинственной символике, которую трудно разгадать.

Однако он мог быть великолепен как в сексуальной символике, так и во всем прочем:

Ночь любви новобрачной неизбежно и мягко перешла в утомленный рассвет,
Что стремится стать покорным и нежным утром,
Затерявшимся в расщелине дня из объятий и ласковой плоти.

Перев. В. Бернацкой

Насколько эротические образы, которых больше в его ранней лирике, чем в позднейших произведениях, были подсобной защитой от нападков (из-за них он очень страдал) истинных или притворных сторонников так называемой «викторианской» чопорности, это уж решать психологам. Но не вызывает сомнений, что для Уитмена символизм был родным языком поэзии.

Символизм его поздних стихотворений уже не назовешь эксцентричным, он редко эротичен, более доступен пониманию. Это видно из стихотворения «Когда во дворе перед домом цвела этой весной сирень», которое пронизано величественными и прекрасными символами, настолько глубокими по своему значению, что их может воспринять, хотя и не во всей сложности, даже детское воображение. Падающая звезда на западном небе, вечно цветущая сирень, доносящиеся из сосен и кедров печальные трели дрозда (это был не дрозд, но это неважно), оплакивающего смерть, картины Америки, спешащей к месту похорон, длинный черный дымящийся след от траурного поезда Линкольна, медленно плывущего сквозь обычный день страны, «сирень, и звезда, и птица», вплетенные в песню, — эти символы четки, уравновешенны, выразительны и прекрасны.

6

Значение творчества Уитмена и место, занимаемое им в истории американской литературы, может быть определено с известной точностью, хотя полностью его заслуги еще не выявлены. Очевидно, что он был одним из наиболее крупных дарований XIX века, выражающим свою творческую индивидуальность и переходный, революционный характер своего искусства в символах. Возможно, в поэзии он был больше пророком, чем художником, — так и следует его рассматривать. Его также можно назвать первым могучим певцом поднявшихся народных масс, заговорившим о возможностях «божественной обыденности», которые могут проявиться при демократии. Нашему времени близки его стремления, его подход к сексу, который он считает жизненно важным в отношениях между людьми. Однако в этом вопросе, равно как и в прочих, он в своих суждениях и стиле не отрывается от весьма романтических научных концепций своего времени, а также несет на себе отпечаток религиозного влияния и красноречия богословов.

Пытаясь ответить на вопрос, был ли Уолт Уитмен пророком, как он сам считал, и было ли его влияние столь велико, как он надеялся, надо рассмотреть не только его поэзию, но и прозу. Основная поэтическая тема его стихов не столько демократия в ее разных обличьях, сколько инстинкт, выступающий главной жизненной силой, которая, освободившись от пут лживой морали, воскрешает любовь и обеспечивает безгранично долгое существование демократического общества.

Однако в представляющей для нас интерес прозе Уитмена основной темой является демократия, в том смысле, в каком мы ее понимаем; Уитмен задается вопросами, как должна осуществляться при ней власть, как сохранить и упрочить демократию. Об этом говорится в ярких предисловиях автора к своим стихам, особенно — к первому изданию «Листьев», впоследствии вошедшем в отрывках в цикл «У берегов голубого Онтарио»; в последнее время эти предисловия редко переиздаются и мало читаются. Представляют первостепенную важность также «Демократические дали» 1871 года, величайший американский памфлет, который по значительности мысли — к сожалению, не по стилистическому совершенству, так как стиль его слишком приближается к разговорной речи, — можно сравнить с материалами «Федералиста».

В первом предисловии Уитмен в певучих фразах-сентенциях объявляет, какими должны быть американский поэт и его поэзия: долг поэта, считает он, стать народным вождем и поведать о мечтах человека, получившего неограниченные возможности на континенте, где вся власть осуществляется на благо всего народа. То, что поэт работает в области литературы, несущественно. Уитмен настаивает на том, что подлинная литература должна отображать в основном жизнь Америки, ее надежды и мечты, каковы бы они ни были. Лучшие писатели Америки мало заботились о судьбах ее демократии до сего времени, поэтому их творчество казалось современникам безжизненным и они, конечно, не могли поведать об опыте Нового Света. Ведь «Америка — это демократия». Он выражал надежду стать первым трибуном новой демократии, непохожей на все предыдущие, и заложить основы литературы нового континента, который уничтожит границы, классы и религиозную нетерпимость. Он хотел в песнях поведать об этом всему миру.

«Демократические дали» были созданы в то время, когда кончался один кризис, Гражданская война, и начинался другой — угроза захвата власти в стране олигархиями и монополиями. В этом произведении Уитмен развивает основную тему своего творчества. Демократия — там, где личности предоставлена возможность полного самораскрытия, когда и тело, и разум, и душа, направленные на достижение высших духовных целей, не забывают также и о материальных жизненных проявлениях, в которых божественное начало так же сильно, как в

нематериальных. Демократическим может быть названо лишь то правительство, которое заботится о свободном развитии каждой личности во всех направлениях, необходимых для полноценного существования; такое правительство должно опираться на принцип братского равенства сограждан. Только подобное правительство (и здесь его слова звучат пророчески, если и не совсем ясно) может встретить лицом к лицу и пережить все трудности нового времени, когда природа, превращенная в служанку человечества, может быть использована либо на благо, либо во зло ему. Его описание и болезней, и пороков американской демократии реалистично (сказалось то, что перед тем, как стать профессиональным поэтом, он был профессиональным политиком). Чтобы демократия смогла вступить в фазу зрелости, нужны не годы, а десятилетия, однако Уитмен верил, что такой момент настанет.

Что дает нам право рассматривать «Листья травы» Уитмена, его предисловия к изданиям книги и «Демократические дали» как документы, в центре которых находятся наиважнейшие социальные проблемы? Читатель, слишком часто отвлекаемый от сути проповедями и риторическими приемами, на которого обрушивается перечисление всех видов деятельности американской жизни, возможно, так их не воспримет. Однако, по мере того как из кажущегося хаоса его поэзии и прозы вырываются яркие и сильные строки, а самоуверенный человек, называющий себя Уолтом Уитменом, превращался все больше в символ энергичного века, все эти недостатки начинали казаться не столь важными. Лично он не являлся ни типичным, ни даже просто характерным представителем этого века, однако, несомненно, мы имеем дело с писателем поразительной интуиции и колоссальной выразительной силы, которого могло породить лишь подобное время. Уитмен был совершенно прав, когда говорил, что творчество большинства писателей — его современников отличалось злободневностью, в то время как он (так он по крайней мере считал) трудился на ниве вечности. Верно также, что он был пророком и певцом великой идеи и великой надежды несмотря на то, что любил импровизировать, будучи бардом, и позволял себе некую долю экстравагантности в роли пророка.

Был ли он великим поэтом? Многие из его современников, в их числе Уильям Дин Хоуэллс, вообще не считали его поэтом. Под поэзией они подразумевали лишь сочинительство стихов в узаконенной традиции или на особые, «поэтические» темы. Трудно понять подобное мнение. Стихи Уитмена эстетичны и страстны, а лучшие из них еще и просты, что соответствует знаменитому определению Мильтона. Если судить их по более строгим правилам, гласящим, что форма должна отражать смысл произведения, то и в этом случае (опять в лучших образцах) они соответствуют требованию. Отыскать жемчужину

среди стихов «Листьев» трудно, это правда, но разве можно отрицать наличие великой поэзии в стихотворениях «Когда во дворе перед домом цвела этой весной сирень» и «Путь в Индию» и во многих других еще более характерных для этого певца демократического общества?

Но самое надежное мерило долговечности поэзии — не риторического, а практического свойства. Если поэзия доходит до разума читателя, выполняя свое предназначение, то есть вдохновляет его своими ритмами, если от размышлений поэта о смысле жизни загорается воображение читателя, то тогда не о чем спорить. Лучшие строки из стихотворений Уитмена и несколько отдельных произведений таковыми были, к тому же его поэзия все время прогрессировала, тогда как стихотворные метры многих из его американских современников улетучились из памяти. Однако еще важнее удивительная популярность его поэзии во всем мире: его читают и в подлиннике, и в переводах во многих странах. Популярность эта началась уже при жизни поэта, а теперь растет с каждым десятилетием. Он не только занял свое место среди прочих поэтов-революционеров, современников по XIX веку, но и выделяется среди них благодаря особой выразительности и жизненности стихов.

Как поэт и художник Уолт Уитмен, несомненно, много терял из-за слишком назойливого подчеркивания важности возложенной на себя миссии. Его трансцендентальная вера в силу мгновенного вдохновения побуждала его не переделывать стихи, возможно, он полагал, что его посетило истинное вдохновение, пусть и неточно им «принятое», как это бывает с музыкой, передаваемой по радио в бурю. Как и По, Уитмену не хватало вкуса, что было следствием бессистемного образования и презрения его, демократа, к утонченности. И еще одно. Несмотря на отдельные сильные места, где каждое слово было на своем месте, его часто подводило чувство слова: он то экспериментировал, то просто плохо писал. В этом, так же как и в своей нелюбви к «отделке», он был истинным американцем, разделявшим презрение человека фронта к слишком большой учености и искусству. К тому же природенная экспансивность Уитмена, к несчастью, расцвела во время литературного романтизма приветствовавшего экстравагантность и не поощрявшего сдержанности. Однако каждого писателя надо оценивать, исходя из того, что он хотел сделать, при условии, если делал он это хорошо. Уолт не думал — это ясно, — что его песни, так же как его любимые оперы и постановки шекспировских пьес, являются образцами «абсолютного» искусства. Они были написаны для вполне конкретного времени, для читателей-современников с использованием необходимых приемов.

Когда 26 марта 1892 года Уитмен умер, заканчивалась последняя четверть XIX столетия. Понемногу стирались предрассудки «нежного» века, постаравшегося вставить столько палок

в колеса уитменовской поэзии. Не за горами было здоровое время поэтических экспериментов, когда новаторские ритмы его стихов стали популярны. Теперь стихи его могли оскорбить разве слух твердолобого ортодокса, потому что новый, индустриальный мир, где почти все грамотны, полнили новые ритмы, и читатель легко к ним приспособлялся. Школьник XX века воспринимает белые стихи Шекспира с большим трудом, чем необычный ритм уитменовских строк. После американо-испанской войны 1898 года, когда значительно выросло национальное самосознание, поэзии Уитмена, ранее пожинавшей лавры (если не за рубежом, то дома) лишь в качестве скандально-сексуальной литературы, недолго оставалось ждать по праву принадлежащего места, самого же поэта назвали первым поэтом континентальной Америки и певцом демократии. Этому способствовал и крах в конце столетия религиозного догматизма. То, что ранее казалось кощунственной интерпретацией божественных предначертаний, теперь понималось как признание божественного начала в каждом человеке. Более того, всевозраставшее в начале XX века социальное самосознание, признание прав труда, рост влияния масс как новой силы в Республике приблизило к современности гуманистические идеи и политическую философию «Листьев» и выявило их глубокую сущность. А с подчинением европейских государств и их падением, когда пришли те, кого Уитмен называл «захватчиками» — палачи демократии — Гитлер и Муссолини, — стало ясно, что не только вера Уитмена в демократию оказалась пророческой, но и страхи за нее.

Трудно в грандиозном смешении «Листьев травы» отделить золото от «пота» (таково его собственное выражение), и все же золота достаточно — оно превратилось в капитал, имеющий вес во всех демократических странах. Мы можем с уверенностью повторить, перефразируя Эмерсона, сказавшего Монкуру Конвею после выхода в свет знаменитого первого издания: американцы, отправившиеся в поисках ярких средств выразительности за границу, теперь могут вернуться домой — среди нас родился поэт.

КОММЕНТАРИЙ

К стр. 24

Креокёр, Жан (1735—1813), называл себя также Гектор Сент-Джон Кревкер — американский писатель-публицист. В книге очерков «Письма американского фермера» (1782), содержащих массу географических и этнографических сведений, дает собственную концепцию общественного устройства США, противопоставляющую их феодальной Европе.

К стр. 35

Смит Джон, капитан — один из первых колонистов, исследователь восточного побережья Америки, давший название Новой Англии.

Пастор Джон — полубогемная личность, монарх одного из государств Восточной Азии, якобы исповедовавший христианство. Упоминается в записках; европейских путешественников начиная с XII в.

Расстелл, Джон (1475—1536) — английский издатель и компилятор, автор ряда книг, из которых наиболее известна «История государства английского» (1529). Упоминаемая работа представляет собой моралите, обычно приписываемое Расстеллу.

К стр. 36

Кэбот, Себастьян (1476—1557) — венецианский мореплаватель и картограф, состоявший на службе у английской короны.

К стр. 38

Лэтимер, Хью (1490—1555) — английский священник, по взглядам близкий к протестантизму, сторонник социальных реформ.

К стр. 39

Рэли, сэр Уолтер (1552—1618) — английский военачальник, вице-адмирал, снискавший у своих современников славу первоклассного поэта и прозаика. Активно способствовал делу исследования и колонизации Северной Америки.

К стр. 40

Брэдфорд, Уильям (1590—1657) — губернатор Плимута, автор знаменитой хроники «Плимутское поселение». Активно поддерживал демократические принципы управления, заложенные «Мэйфлауэрским договором» (1620).

Уинтроп, Джон-старший (1587—1649) — первый губернатор Массачусетса. Юрист по образованию, он сразу по прибытии в колонии стал одним из са-

мых рьяных приверженцев сильной централизованной власти. Принимал участие в составлении антидемократического свода законов Массачусетса.

Рамус, Петер — латинизированное имя французского философа и филолога Пьера де ля Раме (1515—1572). Отражая потребности растущего естествознания, он пытался создать новую науку логики, освобожденную от схоластики.

К стр. 42

Саймондс, Джон Аддингтон (1840—1893) — английский литературовед. Основной работой считается многотомный труд «Возрождение в Италии» (1875—1886).

К стр. 43

Лок, Фробишер, Гилберт, Дрейк — английские мореплаватели XVI в.

«золотые кольца Беовульфа»... Беовульф — герой одноименного англосаксонского эпоса, записанного в X в. В тексте постоянно упоминаются кольца как самое распространенное изделие из золота. Согласно легенде золото, принадлежащее Беовульфу, было зарыто после его смерти в месте, недоступном для живых.

Драйтон, Майкл (1563—1631) — английский лирический и эпический поэт. Среди его больших поэм наиболее известны «Героические эпистолы» (1597) и «Война баронов» (1603).

К стр. 44

Вулси, Томас (1471—1530) — английский кардинал и государственный деятель. Вышел из низов и в 1515 г. указом Генриха VIII был назначен на пост лорда-канцлера.

Грей, леди Джейн (1537—1554) — внучка Генриха VII. В 1553 г. была коронована и правила 9 дней. Казнена в феврале 1554 г.

К стр. 45

Локк, Джон (1632—1704) — английский философ-просветитель. Главный труд — «Опыт о человеческом разуме» (1690) разрабатывает теорию чувственного познания. В социально-политической области придерживался теории естественного права и общественного договора. Сторонник религиозных свобод.

К стр. 47

Хатчинсон, Анна (1590—1643) — общественная и религиозная деятельница Массачусетса, глава секты антиномиан.

Уильямс, Роджер (1607—1684) — основатель колонии Род-Айленд, демократ и пропагандист свободы вероисповедания в Новой Англии.

К стр. 48

Олден, Присцилла (1599—1687) — жена колониального администратора Джона Олдена. Вошла в историю американской литературы как героиня поэмы Лонгфелло «Сватовство Майлза Стендиша».

Вулмен, Джон (1720—1772) — американский квакер, автор ряда работ по вопросам религии и рабства. В данном случае упоминается его наиболее из-

вестный труд «Журнал Джона Вулмена, в котором описаны его жизнь и странствия во славу Господа», издан Уитьером в 1871 г.

К стр. 48

Итон, Пегги — жена Джона Итона, военного министра в кабинете президента Э. Джексона. В данном случае речь идет о скандале, вызванном в правительственных кругах разоблачением добрых интимных отношений Итонов.

К стр. 49

«*миссис Лафем для Сайласа*»... — персонажи романа У. Д. Хоуэллса «Возвышение Сайласа Лафема» (1885).

К стр. 52

Бейли, Льюис (?—1631) — уэльский священник. Упомянутая работа является одной из самых популярных в Англии религиозных книг XVII в. Она оказала серьезное влияние на творчество Дж. Беньяна. В колониях была переведена на некоторые индейские языки и использовалась миссионером Джоном Элиотом.

Перкинс, Уильям (1558—1602) — один из самых известных пуританских богословов, обосновавший в работе «Золотая цепь» пуританскую теологическую систему.

Фокс, Джон (1517—1587) — пуританский священник, автор многочисленных работ, из которых наиболее известен указанный труд «*Деяния и памятники этих последних тревожных лет*» (1563), известный в народе под названием «Книги мучеников».

К стр. 53

«*История мира*» У. Рэли — одна из первых попыток создать пуританскую историографию.

Бернет, Гилберт (1643—1715) — английский священник и историк, автор «Истории Реформации» (1679—1714). Перевел «Утопию» Т. Мора на английский.

Аддисон, Джозеф (1672—1719) — английский писатель, просветитель. Совместно с *Ричардом Стилем* * (1672—1729) издавал журналы «Зритель», «Опекун» и др., где печатал, как и в журнале Стиля «Болтун», свои очерки, подготовившие почву для реалистического романа XVIII в.

Герберт, Джордж (1593—1633) — английский лирический поэт-«метафизик». Наиболее знаменитым из его произведений является поэтический сборник «Храм» (1633).

Квэрлз, Френсис (1592—1644) — английский религиозный поэт, автор романа «Аргалус и Парфения» (1629).

Каули, Авраам (1618—1667) — английский поэт и прозаик, последний представитель «метафизической» школы, в позднем творчестве которого обнаруживается эволюция к классицизму.

К стр. 60

Адам из Бремена (XI в.) — немецкий историк, автор «Церковной истории провинции Гамбург — Бремен» (ок. 1080 г.) — исторического и географического памятника раннего средневековья. В этой работе содержится первое в европейской литературе указание на Винландию как на часть Америки, в которой побывал Лейф Эрикссон.

К стр. 61

«*семь городов Сиболы*» — миф о «северной Мексике», сказочно богатой золотом Сиболе был широко распространен среди испанских колонизаторов.

К стр. 63

Паркмен, Френсис (1823—1893) — выдающийся американский историк, исследователь колониального прошлого США.

К стр. 69

Покахонтас, «индейская принцесса», — дочь индейского вождя племени чикагомини, соседствовавшего с одним из первых поселений колонистов. Получила при крещении имя леди Ребекка. Впервые упомянута в «Правдивом изложении...» (1608) Дж. Смита. Вошла в американскую и английскую литературу как образ владетельной дикарки и как символ беззаветной женской любви, заставившей ее нарушить долг перед своим народом.

К стр. 70

Уинслоу, Эдвард (1595—1655) — общественный деятель Массачусетса, автор ряда работ описательного и политического характера.

К стр. 73

...*индейского короля Филипа*... Вождь племени вампаноагов Метакомет, прозванный англичанами «королем Филипом».

Голландцы дважды отдавали Нью-Йорк англичанам — в 1664 и в 1674 гг.

К стр. 74

Пенн, Уильям (1644—1718) — английский политический деятель. Преследуемый за религиозные убеждения (был квакером), добился разрешения основать в Америке колонию (1682—1684), получившую впоследствии название «Пенсильвания» в честь его отца, адмирала Пенна, и отличавшуюся либеральной формой правления. С 1684 года жил преимущественно в Англии.

Адамс, Джон (1735—1826) — сторонник федерализма, второй президент США (1797—1801). В президентство Адамса были приняты законы «Об иностранцах», направленные против революционной эмиграции из Европы.

К стр. 79

Деккер, Томас (1570—1641) — английский писатель и драматург.

К стр. 82

Ролф, Джон (1585—1623) — английский колонист, муж Покахонтас. Известно также, что он первым начал выращивать табак для рыночного сбыта.

К стр. 85

Лоретто — город в Италии (провинция Анкона), доньне собирающий огромное число паломников, желающих увидеть «перенесенный» сюда из Назарета дом, в котором якобы жило «святое семейство».

К стр. 87

Уэсли, Джон (1703—1791) — английский священник, один из основоположников кальвинистского методизма.

Драйден, Джон (1631—1700) — английский поэт, драматург и критик. Виднейший представитель классицизма в английской литературе XVII в.

Поп, Александр (1688—1744) — выдающийся английский поэт и критик, представитель просветительского классицизма.

Бэкон, Натаниел (1647—1676) — родственник Френсиса Бэкона, богатый колонист, член губернаторского совета с 1673 г. Без разрешения губернатора Виргинии Уильяма Беркли организовал ополчение, чтобы отражать индейские набеги на окраинные фермы. За это был объявлен мятежником.

К стр. 91

Уайтфилд, Джордж (1714—1770) — английский священник, один из первых кальвинистских методистов, способствовавший распространению постулата «великого религиозного пробуждения», или ревивализма.

К стр. 94

Коттон, Джон (1585—1652) — один из самых влиятельных колониальных геологов, публицист и общественный деятель.

К стр. 99

«Бонифаций, или опыты ... столь любимые Б. Франклином» — шутка, намекающая на серию пародий Б. Франклина — «Очерки Сайленс Дугуд».

К стр. 100

Нортон, Джон (1606—1663) — колониальный священник-пуританин, оказавший серьезное влияние на общественную мысль Массачусетса в 50-е гг. XVII в.

К стр. 104

Уигглсворт, Майкл (1631—1705) — колониальный священник-пуританин, автор поэм «День Страшного Суда» (1662), «Ссора Господа с Новой Англией» (1662), сборника медитаций «Даниил — ловец душ» (1669) и ряда прозаических работ, из которых наиболее известен «Трактат о вечности». В эстетике отстаивал принципы пуризма, т. е. требовал очищения всей колониальной литературы от следов «языческого» мышления и образности!

Брэдстрит, Анна (1613—1672) — крупнейшая поэтесса Новой Англии XVII в., автор сборника «Десятая муза» (1650, 1678). В своем творчестве испытывала

одновременно и барочные и классицистические влияния, выступала за относительную независимость поэзии от теологии и официальной идеологии, за сохранение культурных традиций Ренессанса в условиях колониального теоцентризма.

К стр. 106

Джонсон, Эдвард (1599—1672)— историк и поэт Новой Англии, заложивший основы колониальной пуританской историографии и принципы ее художественного обобщения.

Томпсон, Бенджамин (1642—1714)— первый американский поэт, родившийся и получивший образование в колониях, автор многочисленных произведений, из которых наиболее известна поэма «Испытание Новой Англии» (1676).

Тейлор, Эдвард (1645—1729)— колониальный священник и крупнейший американский поэт XVII—XVIII вв. В настоящее время его творчество считается вершиной собственно пуританской поэтической традиции.

К стр. 107

Крэйшоу, Ричард (1613—1649)— английский религиозный поэт-католик, автор сборника «Приближаясь ко храму» (1649).

К стр. 109

Уаттс, Айзек (1674—1748) — английский священник-конгрегационалист, высоко почитаемый современниками как прозаик и поэт. Автор более 600 гимнов.

К стр. 113

Джеймс, Уильям (1842—1910)— американский философ и психолог, брат писателя Генри Джеймса. Один из основоположников философского прагматизма, или «радикального эмпиризма», как направления американской общественной мысли.

К стр. 120

Мандевиль, Бернард де (1670—1732) — английский писатель и философ, автор «Басни о пчелах» (1705) и сборника басен «Переодетый Эзоп» (1704).

Гоббс, Томас (1588—1679) — английский философ-материалист. В социально-исторических воззрениях придерживался теории общественного договора, означавшего, по его мнению, конец естественного догосударственного состояния «войны всех против всех».

К стр. 123

Босуэлл, Джеймс (1740—1795)— английский писатель, прославившийся «Жизнью Сэмюэла Джонсона» (1791), считающейся образцом биографического жанра в английской литературе.

К стр. 127

Браун, сэр Томас (1605—1682)— английский ученый, врач, писатель, мистик.

Бёртон, Роберт (1577—1640) — английский священник и писатель, автор «Анатомии меланхолии» (1621).

К стр. 129

Чаннинг, Уильям Эллери-младший (1818—1901) — американский поэт.

К стр. 137

Одубон, Джон Джеймс (1785—1851) — американский натуралист и художник. Приобрел известность монументальным альбомом «Птицы Америки» (выходил выпусками с 1827 по 1839 годы).

К стр. 141

Коллинз, Уильям (1721—1759) — английский поэт, автор «Описательных и аллегорических од» (1746).

Грей, Томас (1716—1771) — английский поэт-классицист, в творчестве которого наметилась эволюция к предромантизму. Ведущая фигура среди поэтов «кладбищенской школы».

Уортон, Джозеф (1722—1800) — английский поэт и критик. Ему принадлежат «Эссе о гении и творчестве Попа» (1757) — одна из первых попыток в английской критике XVIII в. выступить против теории литературного классицизма с позиций предромантической эстетики.

Уортон, Томас (1727—1790) — английский поэт, критик и историк литературы. В своей «Истории английской поэзии» (1774—1781) пропагандировал поэзию средневековья и Возрождения, способствуя таким образом становлению эстетики романтизма в Англии.

К стр. 142

Уоллер, Эдмунд (1606—1687) — английский поэт, высоко ценимый Вольтером; ввел в обиход усовершенствованный «героический куплет».

К стр. 163

Навигационные Акты — законы английского парламента, направленные против иностранной конкуренции в морской торговле. Акт 1651 года гласил, что товары, поступающие в Англию из Америки, следует ввозить лишь на английских судах.

Лозунг «Никаких налогов без представительства» был выдвинут в 1765 г. на конгрессе по поводу Закона о гербовом сборе. Он подчеркивал несогласие с обычаем облагать налогами колонии, не имеющие представительства в английском парламенте.

К стр. 164

Естественное право — понятие, входившее в добуржуазные и буржуазные философские учения и обозначавшее совокупность принципов и правил, продиктованных самой природой человека. Для теорий, в основу которых положен этот принцип, характерно противопоставление существующему правопорядку идеального «естественного строя». Теория естественного права входила существенной частью в философское учение английского просветителя Джона Локка (1632—1704) и в сочинения английского публициста, идеолога нового дворянства Джеймса Харрингтона (1611—1677).

К стр. 166

Право первородства (Primogeniture) — право, по которому старший сын наследует все имущество отца. Майорат — наследование недвижимости (особенно земли) по принципу первородства.

«Американцы смогут беспрепятственно проникнуть за Аллегань...» В 1763 г. английское правительство приняло закон, запрещавший колонистам селиться за пограничной линией, проходившей по гребню Аллеганских гор.

К стр. 167

Статьи конфедерации — первая конституция США, принятая Вторым Континентальным Конгрессом в ноябре 1777 г. Действовала до 1789 г.

В 1787 г. господствующие классы, напуганные народными восстаниями, самым крупным из которых было восстание *Д. Шейса*, поспешили выработать *новую конституцию*, в результате которой США стали федеративным государством с сильной централизованной властью.

К стр. 168

«Хартфордские мудрецы» — литературное объединение, известное также в истории американской литературы как «Коннектикутские мудрецы». Входившие в него писатели работали, главным образом, в жанре политической сатиры. Наиболее известны: Джон Трамбулл (1750—1816), Тимоти Дуайт (1752—1812), Ричард Олсон (1761—1818), Джоэл Барло (1754—1812).

К стр. 180

«Сыновья свободы» — одна из левых нелегальных организаций, возникших в 50-е годы XVIII века в Америке и явившихся выражением массовой оппозиции политике английского парламента. «Сыновья свободы» были самой многочисленной из этих организаций, объединившей в своих рядах и купцов, и адвокатов, и городских ремесленников, выдвинули идею межколониальной солидарности.

К стр. 181

По принятому в 1765 г. английским парламентом *Законом о гербовом сборе*, налогами облагалась также вся коммерческая деятельность, судебная документация, периодические издания и т. д.

К стр. 183

Мидл Темпл — учебное заведение в Лондоне, готовившее юристов.

К стр. 184

«Законы Таунсенда», названные по имени введшего их английского канцлера-казначея Чарльза Таунсенда, были приняты английским парламентом в 1767 г. Они устанавливали высокие таможенные пошлины на ввоз стекла, свинца, красок, бумаги и чая в американские колонии.

К стр. 191

Мэдисон, Джеймс (1751—1836) — четвертый президент США. Был автором проекта, положенного в основу американской Конституции 1787 г.

В 1791 г. под давлением народных масс вступили в силу принятые в 1789 г. *10 поправок к Конституции*, провозглашавшие демократические свободы и получившие название *«Билля о правах»*.

К стр. 196

«...Мечта... о философе-правителе». Подлинными философами и правителями, по мысли Платона, могли быть лишь немногие созерцатели истины: монархи должны философствовать, а философы — управлять.

К стр. 199

Монтичелло — поместье Джефферсона в штате Виргиния. «Первое» Монтичелло почти полностью было уничтожено пожаром в 1770 г.

Палладио — знаменитый итальянский архитектор и скульптор XVI в. Постройка по его проекту виллы «Ротонда» близ Виченцы была закончена в 1591 г.

К стр. 228

«Норт эмерикэн ревью» («Северо-Американское обозрение») — один из первых американских журналов, основанный Уильямом Тюдором. Существовал с 1815 г. по 1940 г. На его страницах публиковали свои произведения видные американские писатели и публицисты.

К стр. 230

В историю просветительской литературы *С. Ричардсон* (1689—1761) вошел как создатель семейно-бытового романа. Произведения Ричардсона отмечены пуританской ограниченностью: чувствительность сочетается в них с религиозной морализацией.

К стр. 231

Плутовской роман — роман, в центре которого похождения ловкого авантюриста, пройдохи, выходящего большей частью из низов общества. Первые плутовские романы появились в Испании («Ласарильо с Тормеза, его невзгоды и злоключения», 1554).

К стр. 235

Иллюминаты — члены тайных религиозно-политических обществ в Европе, особенно известных в Баварии, во второй половине XVIII в. боролись с влиянием иезуитов.

К стр. 238

Парфянское царство — древнее государство, возникшее около 250 г. до н. э. к юго-востоку от Каспийского моря. В период расцвета (I в. до н. э.) подчинило своему влиянию обширные области от Месопотамии до Индии.

К стр. 240

Партридж — герой романа Генри Филдинга (1707—1754) «История Тома Джонса, Найденыша», 1749 г. — школьный учитель, отличительными чертами характера которого являются простодушие и незлобивость.

К стр. 241

Вазари, Джорджо (1511—1574) — итальянский архитектор, живописец, историк искусства. Автор жизнеописаний итальянских художников, содержащих огромный фактический материал о творчестве виднейших представителей живописи Возрождения.

К стр. 242

Коцебу, Август Фридрих (1761—1819) — немецкий писатель; автор огромного числа драм, написанных во вкусе немецкого мещанства.

К стр. 246

Вико, Джамбаттиста (1668—1744) — итальянский философ и социолог, выдвинул теорию исторического круговорота, согласно которой каждая нация проходит в своем развитии три стадии: 1) божественную (безгосударственную), героическую (господство аристократии) и человеческую (демократическое государство), после чего общество приходит в упадок, и начинается новый круг. Главный труд — «Основания новой науки об общей природе наций» (1725).

...были предшественниками современных анархических и коммунистических утопий. — Речь идет о трактате Жан-Жака Руссо «Об общественном договоре» (1762), где рисуется картина идеального общества, максимально приближенного к природе, и аналогичных сочинениях других авторов. Большинство

таких сочинений исходит из теории общественного договора, т. е. доктрины, объясняющей возникновение государственности добровольным соглашением между людьми, вынужденными перейти от не обеспеченного защитой естественного состояния к гражданскому устройству. Эта теория имела отнюдь не прогрессивный характер, но даже у Руссо, наиболее радикально-демократического ее представителя, государство, основанное на общественном договоре, было, по определению Энгельса, «идеализированным царством буржуазии».

К стр. 247

...после эксцессов... стали иначе понимать право на завоевание и право на колонизацию. — Автор затушевывает тот факт, что освоение Североамериканского континента в XVII—XIX веках сопровождалось угнетением и истреблением туземного населения — индейцев.

К стр. 249

Тюрго, Анн Робер Жак (1727—1781) — французский государственный деятель, экономист-просветитель. Осуществил ряд антифеодальных реформ. В «Размышлении о создании и распределении богатств» развивал идеи физиократов.

Верженн, Шарль Гравье (1717—1787) — французский государственный деятель, дипломат. В период Войны за независимость поддерживал американцев, но впоследствии выдвинул идею раздела Америки между главными европейскими державами.

Рейналь, Гийом Томас Франсуа (1713—1796) — французский историк, социолог и философ. Воспитывался в иезуитском колледже, но отказался от церковной деятельности. Сотрудничал в «Энциклопедии» Дидро. Книга Рейналя «Философская и политическая история учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях» (6 т.т., 1770) содержала критику королевской власти, тирании церкви и восхваляла жизнь поселенцев в Америке. Имела широкий общественный резонанс. Много лет был в изгнании, посетил Россию. В 1781 г. написал книгу «Революция в Америке».

К стр. 250

...доктрина суверенного народа — идея, противостоящая господствовавшей до того теории о божественном происхождении власти и направленная против абсолютизма. Декларированный суверенитет народа в США принял форму буржуазно-демократической республики.

Кондорсе, Мари Жан Никола (1743—1794) — французский государственный деятель, философ-просветитель. Сторонник теории естественного права.

К стр. 253

Брэкенридж, Генри Мари (1786—1871) — американский правовед, сын писателя Брэкенриджа. Речь идет о его записках «Путешествие в Южную Америку» (1819). См. также главу «Хроникеры Запада и литературные пионеры» (§ 4) во 2-м томе настоящего издания.

...глава в заключительной части «Виргинцев». — Сочувственная обрисовка образа Вашингтона в романе У. Теккерея «Виргинцы». Повесть из жизни прошлого столетия тем более знаменательна, что она исходит от героя романа Джорджа Уоррингтона, участвовавшего в военных действиях на стороне англичан. Однако в трактовке Войны за независимость как цепи случайных событий Теккерей обнаружил непонимание ее подлинного характера,

К стр. 254

Садмьенто, Доминго Фаустино (1811—1888) — аргентинский литератор, общественный деятель, испытавший влияние утопического социализма. В 1868—1874 годах президент Аргентины.

К стр. 255

...кто не знал бы историю о свистке. — Речь идет о морально-философской притче «Свисток» (1779), в которой Франклин проповедует разумность и умеренность поступков.

К стр. 257

Горячий поклонник Купера Бальзак немало заимствовал у него... — В «Письмах о литературе, театре и искусстве» (1840) Бальзак высоко ставил романтику Купера в противовес псевдоисторическим развлекательным сочинениям, особо выделяя живописное мастерство американского писателя («Величие Купера — это отражение величия описываемой природы»). Восхищаясь также романтическим образом Кожаного Чулка («он будет жить, пока живет литература»), Бальзак одновременно говорил об «отъединенности» творчества Купера, о недостаточном проникновении в «события, людей, их поступки». Вопрос о заимствованиях крайне спорен, ибо, как пишет Бальзак, «из картин Купера нельзя извлечь ничего философского, ничего поражающего человеческого ум».

Райт, Френсис (1795—1852) — шотландка, написавшая после путешествия за Атлантику книгу «Взгляды на общество и нравы в Америке» (1821). С 1824 г. поселилась в Америке, организовала колонию для беглых негров-рабов, участвовала в деятельности Рабочей партии, сотрудничала с Р. Оуэном, выступала за женское равноправие.

Вольней, Константэн Франсуа (1757—1820) — французский просветитель и общественный деятель, критиковал церковь и религию как средство феодальной деспотии. В философских воззрениях — сторонник сенсуализма.

К стр. 260

...«ни эдемским садом, ни Тофетом, долиной убиения». — Согласно Ветхому Завету («Книга пророка Иеремии», XIX, 4), Тофет — местность южнее Иерусалима, где приносились человеческие жертвы. Позднее — одно из обозначений ада, который противопоставляется здесь Эдему, т. е. раю.

К стр. 262

Гумбольдт, Александр (1769—1859) — немецкий естествоиспытатель и географ. После экспедиции с французом Э. Бонпланом в Центральную и Южную Америку создал 30-томное «Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799—1804 годах» (1807—1834). Автор монументального труда «Космос» (т.т. 1—5, 1845—1862). Именем Гумбольдта назван ряд географических объектов, в том числе самая большая река Большого Бассейна — плоскогорья на Западе США.

Гумбольдт, Вильгельм (1767—1835) — немецкий филолог, философ, государственный деятель. Брат А. Гумбольдта. Основал Берлинский университет (1810). Социальные взгляды выражены в книге «О границах деятельности государства» (1792).

...фактически он был ... вождем тайного движения сопротивления... — Как выдающийся представитель радикального крыла просветительского движения XVIII века, Джефферсон приветствовал Великую Французскую революцию и впоследствии выступал против любой формы тирании. Во время своего президентства (1800—1809) придерживался политики изоляционизма. После ухода с поста президента отошел от активной политической деятельности и целиком посвятил себя благоустройству Виргинского университета, но сохранил демократические убеждения.

К стр. 263

Токвиль, Алексис (1805—1859) — французский историк и политический деятель, придерживался аристократическо-либеральных взглядов. В 1849 — министр иностранных дел. Индивидуалистические идеи «Демократии в Америке» были развиты им в большой работе «Старый порядок и революция» (1856), которая характеризуется недооценкой социальной сущности Великой Французской революции». «Воспоминания», опубликованные посмертно, свидетельствуют об отрицательном отношении к Февральской революции 1848 года.

К стр. 265

Милль, Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ-позитивист (основное сочинение — «Система логики», 1843) и экономист. Смысл трактата «О свободе» сводится к утверждению, что «единственной целью, ради которой люди правомочны — индивидуально или коллективно — ограничивать свободу поступков любого из их числа, является самозащита».

К стр. 298

Митфорд, Мэри Рассел (1787—1855) — английская писательница. Ее книга реалистических очерков «Наша деревня, картины сельской жизни, характеров и пейзажа» печаталась с 1819 г. в журнале «Ледиз мэгэзин» и была издана отдельной в 1824—1832 гг. (в 5 томах).

Кабальеро, Фернан (1796—1877) — псевдоним испанской писательницы Сесилии Франсиско Бель де Фабера.

К стр. 299

Меррей, Джон (1778—1843) — лондонский издатель, печатавший Байрона, Джейн Остин и других английских писателей.

Саннисайд — усадьба вблизи Тэрритауна (штат Нью-Йорк), где Ирвинг жил с 1836 г.

К стр. 301

Эверетт, Александр Хилл (1790—1847) — американский дипломат, поэт, публицист. Благодаря ему Ирвинг был назначен в 1826 г. на пост атташе американского посольства в Мадриде.

Наваррет, Мартин Фернандес де (1765—1844) — испанский историк. Речь идет о его многотомном «Описании путешествий и открытий, совершенных испанцами на море с конца XV века», первый том которого вышел в 1825 г.

Альгамбра — дворец мавританских властителей в Гранаде (XIII—XIV вв.), знаменитый своим Двориком львов и другими образцами позднемавританской архитектуры.

Осего — воинствующее племя индейцев, жившее в низовьях Миссури, а затем переселенное в Оклахому. Во время англо-французских войн 50—60-х годов XVIII в. выступало на стороне французов.

Астор, Джон Джеймс (1763—1848) — американский купец, организовавший компанию по торговле пушниной. По его инициативе Ирвинг посетил западные территории и написал «Асторию, или Анекдоты одного предприятия по ту сторону Скалистых гор». Астор основал в Нью-Йорке одну из крупнейших американских библиотек, в которой занимался Ирвинг.

К стр. 302

Билль о реформе — реформа избирательной системы в Англии в 1832 г., передавшая политическую власть в стране в руки промышленного капитала.

Ковенантер — сторонник «Национального ковенанта», соглашения, подписанного в 1638 г. шотландскими пресвитерианами, объединившимися против попытки Карла I унифицировать по английскому образцу церковь Шотландии.

К стр. 303

...о встрече с Вальтером Скоттом — Ирвинг гостил у В. Скотта в Эбботсфорде с 30 августа по 2 сентября 1817 г.

«Крэйон очень хорош» — слова из письма Байрона Джону Меррею 12 октября 1820 г.

Отмар — псевдоним немецкого фольклориста Иоганна Карла Нахтигала (1753—1819). Собранные им «Народные сказания» увидели свет в Бремене в 1800 г. Первым на книгу Отмара, как источник «Рип Ван Винкля», указал Дж. Томпсон в журнале «Харперс мэгэзин» (сентябрь 1883 г.).

Бюргер, Готфрид Август (1747—1794) — немецкий поэт. Его баллада «Дикий охотник» (1786) написана на основе фольклорных традиций.

Рубецаль — переработанная Иоганном Музеусом (1735—1789) легенда о Рубецале была переведена на английский язык Уильямом Бекфордом и издана в Англии в 1791 г.

«Превратности литературы» — здесь и далее речь идет об очерках, входящих в «Книгу эскизов»: «Трактир Кабаньей Головы в Истчипе» (место действия одной из сцен в первой части «Генриха IV» Шекспира), «Вестминстерское аббатство», «Стрэтфорд-на-Эвоне».

К стр. 304

Томас Рифмач — английский поэт XIII века, с личностью которого связан ряд поэтических легенд. Одну из них, рассказывающую, как он семь лет провел в волшебном царстве Королевы фей, Вальтер Скотт включил в свой сборник «Порубежных баллад», сделав это предание весьма популярным.

Гиффорд, Уильям (1756—1826) — английский журналист и литературный критик, первый редактор популярного «Трехмесячного обозрения», вышедшего с 1809 г.

Роджерс, Сэмюэл (1763—1855) — английский поэт, автор поэмы «Путешествие. Колумба» (1810).

К стр. 307

Джеффри, Френсис (1773—1850) — английский журналист и критик, основатель журнала «Эдинбург ревью» (1802), в котором выступал с суровой критикой современной английской литературы.

К стр. 308

Эспартеро, Бальдомеро (1793—1879) — испанский государственный деятель, а 1841—1843 гг. регент Испании, позднее премьер-министр.

К стр. 309

Олстон, Вашингтон (1779—1843) — американский художник и поэт, высоко отзывавшийся о рисунках Ирвинга, что отмечено Ван Вик Бруксом в его книге «Мир Вашингтона Ирвинга».

Лесли, Фрэнк (1821—1880) — американский гравер и издатель иллюстрированных журналов, автор рисунков к «Истории Нью-Йорка» и «Книге эскизов» Ирвинга.

Дарли, Феликс (1822—1888) — американский иллюстратор книг Купера, Ирвинга, Симмса и других писателей-романтиков. Наиболее известны его иллюстрации к «Легенде о Сонной Лощине» Ирвинга.

Квидор, Джон (1801—1881) — американский художник, картины которого проникнуты духом старого Нью-Йорка, изображенного Ирвингом.

К стр. 310

...«жизни, свободы и стремления к счастью» — слова из «Декларации независимости» США (1776).

К стр. 311

Хэзлитт, Уильям (1778—1830) — английский критик и публицист. Его литературные воспоминания, где он говорит о Купере, были изданы посмертно.

Имеется в виду опубликованное в 1831 г. «Письмо Дж. Фенимора Купера генералу Лафайету», в котором доказывалась относительная дешевизна содержания государственного аппарата в США. Это письмо было использовано Лафайетом в правительственных дебатах 1832 года.

Опи, Эмилия (1769—1853) — английская писательница, автор романа о жизни Мэри Уолстонкрафт «Аделина Мобри» (1804).

К стр. 312

Законы против земельной ренты — законы штата Нью-Йорк, принятые в 1846 г., чтобы положить конец движению социального протеста мелких фермеров штата, направленного против крупных землевладельцев. Купер откликнулся на эти события трилогией о Литлпейджах.

К стр. 313

Дядя Тоби — персонаж романа Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (1760—1767).

Сэр Роджер де Коверли — помещик-тори, герой очерков, печатавшихся Джозефом Аддисоном (1672—1719) и Ричардом Стилем (1672—1729) в их журнале «Зритель» (1711—1712, 1714) и неоднократно выходивших впоследствии отдельным изданием.

Традиционализм — направление в философии религии, утверждающее вечность религиозных идей. Говоря о традиционализме, обычно имеют в виду писателей начала XIX века (Шатобриан, Жозеф де Местр, Бональд и др.), выступавших против атеизма и деизма французских просветителей XVIII века.

К стр. 314

...«вошла в моду в первое десятилетие века» — речь идет об английском социальном романе начала XIX века (Мария Эджворт, Джейн Остин и др.).

К стр. 317

...«теорию Платона о демократическом обществе» — учение древнегреческого философа Платона об обществе, изображающее идеальное аристократическое государство и бывшее, по словам К. Маркса, афинской идеализацией кастового строя Египта.

...«Бетти Фленеган, вызвавшей восхищение Марии Эджворт» — имеется в виду письмо М. Эджворт к ее тетке мисс Ракстон от 8 июля 1822 г., в котором говорится, что «ирландка Бетти Фленеган бесподобна».

К стр. 319

Джей, Джон (1745—1829) — американский государственный деятель, верховный судья США. История создания романа «Шпион» рассказана в авторском предисловии к нему 1849 года.

Марриет, Фредерик (1792—1848) — английский писатель, автор многих морских романов, начавших выходить с 1829 г. («Морской офицер, или Сены и приключения из жизни Фрэнка Милдмея»).

Джонс, Джон Поль (1747—1792) — американский мореплаватель, участник Американской Революции, в 1788 г. служил в России. Легендарная фигура Поля Джонса запечатлена в ряде художественных произведений, в том числе в романе Г. Мелвилла «Израиль Поттер». Его слова: «А я еще и не начинал сражаться», переданные им капитану английского корабля в ответ на предложение сдаться, в то время как на «Ричарде», которым командовал Джонс, вышли из строя почти все орудия, — вошли в историю. Это сражение П. Джонс тоже выиграл.

К стр. 325

Тринитаризм — религиозное учение о «святой троице», проповедуемое членами католического монашеского ордена тринитариев, существующего с XII века.

К стр. 331

«*Резня в долине Вайоминг*» — имеется в виду один из эпизодов Американской революции, когда в июле 1778 г. в этой долине в штате Пенсильвания индейцы убили захваченных пленных и проамерикански настроенных поселенцев.

Арнольд, Бенедикт (1741—1801) — один из военачальников американской революционной армии во время Войны за независимость, перешедший на сторону англичан.

Андре, Джон (1751—1780) — английский шпион, вел переговоры с генералом Арнольдом; казнен американскими патриотами. Изображен в ряде американских пьес и стихов.

Грин, Натаниел (1742—1786) — командующий американскими силами на Юге во время Войны за независимость США.

Мэрион, Френсис (ок. 1732—1795) — легендарный герой американских партизан во время Американской революции, воспетый в романах Симмса и стихах Брайента.

К стр. 334

Форрест, Эдвин (1806—1872) — американский трагический актер, завоевавший известность исполнением шекспировских ролей, а также игрой в пьесах Бэрда.

К стр. 336

Титания — царица фей и эльфов, супруга Оберона в пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь».

К стр. 337

Боцарис, Маркос (1790—1823) — герой греческого национально-освободительного восстания 1821 года против турок.

К стр. 338

Блессингтон, Маргерит Пауэр (1789—1849) — английская писательница, известная своей книгой воспоминаний «Беседы с лордом Байроном» (1832).

К стр. 341

Сын Массасойта — имеется в виду вождь индейского племени вампаноогов Метакомет («король Филип»).

Лейслор, Джейкоб (1640—1691) — руководитель антикатолического восстания в Нью-Йорке в 1689 году, ставший губернатором колонии; не признанный британскими властями, был казнен.

К стр. 344

Ледьярд, Джон (1751—1789) — американский путешественник, принимавший участие в третьей экспедиции Джеймса Кука в Тихий океан. В 1787 г. во время путешествия по Сибири был арестован и выслан из России.

Моррис, Говернер (1752—1816) — американский политический деятель, автор «Размышлений об Американской революции» (1779).

К стр. 348

...«отвечает Байрону» — имеется в виду строка из «Паломничества Чайльд-Гарольда»: «Спокойствие для сильных духом — ад» (песнь III, 42).

К стр. 350

Пинкни, Уильям (1764—1822) — американский политический деятель, высокомерие которого вызывало враждебность современников. В 1816—1818 гг. был посланником в России.

К стр. 352

Магглтонцы — представители религиозной секты, основанной в Англии Лодовиком Магглтоном (1609—1698), выступавшие против учения о троичности бога.

Манн, Хорэс (1796—1856) — американский педагог и общественный деятель, в 1837—1848 гг. возглавлял созданное им Бюро по делам образования штата Массачусетс, отстаивал права человека на свободу и всестороннее, развитие независимо от расы, национальности, религии.

К стр. 353

Атенеум — речь идет о литературной ассоциации писателей Бостона, основанной в 1805 г. и известной своими консервативными традициями.

К стр. 354

Субботный клуб — бостонский литературный клуб, основанный в 1855 г., в который входили Эмерсон, Лонгфелло, Лоуэлл, Холмс и др.

К стр. 356

Блэр, Роберт (1699—1746) — шотландский пастор, автор поэмы «Могила», в которой весь мир представляется поэту огромным кладбищем.

Портеус, Билби (1731—1808) — английский епископ, автор ряда религиозных трактатов.

Уайт, Генри Керк (1785—1806) — английский поэт-романтик, сборник стихов которого получил одобрение Байрона.

Дарвин, Эразм (1731—1802) — английский естествоиспытатель и поэт, дед Чарльза Дарвина, писал стихи в традициях классицизма.

В книге *«Руины, или Размышления о революциях империй»* (1791) Волней критиковал церковь и религию как оплот феодального деспотизма.

К стр. 359

Вальденсы — приверженцы средневековой ереси, которая возникла во Франции, в Лионе, где в 1176 г. купец Пьер Вальдо создал общину «лионских бедняков», отрицавших собственность и проповедовавших патриархальные отношения. Вальденсы подвергались жестоким преследованиям со стороны католической церкви, их последователи сохранились в Швейцарии и Италии.

К стр. 360

Торнтон, Генри (1760—1815) — английский банкир и экономист, автор «Исследования относительно сущности и влияния бумажных денег в Англии» (1802).

К стр. 361

Биглоу, Джон (1817—1911) — американский журналист и дипломат, биограф Брайента и совладелец газеты «Ивнинг пост».

К стр. 362

Лавджой, Элайджа (1802—1837) — редактор аболиционистской газеты в городе Олтон, штат Иллинойс. Типография его газеты четырежды подвергалась нападению сторонников рабовладения. Защищавший ее Лавджой был убит 7 ноября 1837 г.

Фрисойлеры — члены возникшей в 1847—1848 гг. радикально-демократической партии, выступавшей против распространения рабства на территории, приобретенной США в результате войны с Мексикой. Как самостоятельное политическое движение партия фрисойлеров существовала до середины 50-х годов, затем вошла в республиканскую партию.

Барнбернеры — радикальная политическая группировка внутри демократической партии штата Нью-Йорк (1843—1848), примкнувшая на президентских выборах 1848 года к партии фрисойлеров. Название (буквально «поджигатели сараев»), данное им политическими противниками, восходит к истории о некоем голландце, который сжег сарай, чтобы избавиться от крыс. Барнбернеры хотели уничтожить акционерные общества, чтобы избавиться от присущих им пороков.

Билль «Канзас-Небраска» — закон 1854 года, предусматривающий предоставление белому населению новых штатов Канзас и Небраска права решать вопрос о допущении или запрещении рабства на своей территории, что отвечало интересам рабовладельцев, так как означало отмену Миссурийского компромисса 1820 года, установившего условную границу между свободными и рабовладельческими штатами.

К стр. 362

Закон о беглых рабах (1850) — закон, согласно которому бежавшие на «свободную территорию» рабы из южных штатов подлежали возврату своим владельцам.

Гаррисон, Уильям Генри (1773—1841) — президент США в 1841 г., предвыборную кампанию которого поддерживали Клей и Уэбстер.

Клей, Генри (1777—1852) — американский государственный деятель, один из организаторов компромисса 1850 г., получавший тайные субсидии от банков.

Уэбстер, Дэниел (1782—1852) — американский государственный деятель, государственный секретарь в 1841—1843 гг. Аболиционисты объявили его предателем дела освобождения негров за поддержку компромисса 1850 г., чему посвящена поэма Уитьера «Икабод».

К стр. 368

Генри, Патрик (1736—1799) — американский политический деятель эпохи Американской революции, прославившийся своими речами; автор популярного лозунга Войны за независимость США: «Дайте мне свободу или смерть!»

Имеется в виду *судебный процесс 1807 г. над государственным деятелем А. Бэрром*, обвиненным в измене; на этом процессе У. Уэрт выступал обвинителем.

К стр. 370

Кэлхун, Джон Колдуэлл (1782—1850) — американский политический и государственный деятель, член Конгресса от Южной Каролины, вице-президент (1825—1832), сторонник крайне экспансионистских взглядов, выразитель интересов рабовладельческого Юга.

К стр. 372

Спотсвуд, Александр (1676—1740) — губернатор колонии Виргиния (1710—1722), в 1716 г. организовал и возглавил исследовательскую экспедицию в долину Шенандоа, достигшую водораздела реки Огайо и рек, впадающих в Атлантический океан.

К стр. 378

Баярд, Пьер (ок. 1473—1524) — французский военачальник, прозванный за свою храбрость и великодушие «рыцарем без страха и упрека».

К стр. 383

Руфус Гриссуолд — литературный душеприказчик По, впервые собравший и издавший в 1850 г. рассказы писателя в трех томах, резко отрицательно относился к образу жизни и взглядам По. Гриссуолд подверг текст многих новелл искажениям, повторявшимся впоследствии во многих американских изданиях новелл По.

Речь идет о романе английского писателя Эдварда Булвера-Литтона (1803—1873) *«Кэстоны, история одной семьи»* (1849), в сатирических тонах изображающем быт беднеющих провинциальных аристократов.

К стр. 384

«Квакообразными» По именовал трансценденталистов, раздражавших его своим беспочвенным оптимизмом и идеальными порывами («Литературная жизнь Какваса Тама, эсквайра», «Как писать рассказ для «Блэквуда» и др.).

К стр. 384

В 1779—1786 гг. Томас Джефферсон провел *реформу образования в Виргинии*; согласно ей, все дети получали бесплатное трехлетнее образование, затем наиболее способных освобождали от платы до окончания средней школы, а самым талантливым предоставлялся бесплатный курс в колледже Уильяма и Мэри или в Виргинском университете.

К стр. 385

Пребывание По в России не подтверждается никакими документами; вероятно, это легенда, сочиненная самим писателем.

Сборник «Тамерлан и другие стихотворения» вышел в Бостоне в июне 1827 г., анонимно.

Уэст-Пойнт — старейшая военная академия США; По учился в ней с марта 1830 по февраль 1831 года.

К стр. 386

«*Лалла-Рук*» (1817) — вызвавшая множество подражаний романтическая поэма Томаса Мура (1779—1852). В ней рассказывается о принце Ферморзе, который, переодевшись странствующим певцом, пробирается к своей невесте, индийской принцессе Лалла-Рук; в поэме аллегорически изображались события в Англии того времени.

«*Ламия*» (1819) — поэма Джона Китса (1795—1821) о женщине-оборотне, воплощающей свободное от условностей человеческое чувство.

К стр. 387

«*Литературные биографии*» (1817) Кольриджа содержат изложение философии Канта, Фихте и Шеллинга, автобиографический очерк и критический разбор поэзии Вордсворта «Заметки к размышлениям» (1825).

Женевьева — девушка, воспетая Кольриджем в стихотворении «Любовь» (сборник Кольриджа и Вордсворта «Лирические баллады») (1799).

«*Кристалль*» (1816) — поэма Кольриджа, сюжет которой заимствован из средневекового предания о борьбе невинной и олицетворяющей добродетель Кристалли с ведьмой Джеральдиной, стремящейся покорить ее отца Леолина.

В поэме «*Тьма*» (1816), созданной в период глубокого духовного кризиса, Байрон описывает постепенную гибель человечества на земле, которую больше не освещает солнце, и создает образ города мертвых.

К стр. 388

Двухтомное издание своих новелл, вышедшее в 1840 г., По назвал «*Гротески и арабески*», желая подчеркнуть то жанровое различие, которое существует между новеллами, имеющими непосредственное отношение к фактически преломившейся в них американской действительности («гротески»), и рассказами, построенными на условном, порой чисто фантастическом материале («арабески»).

«*Небылицы*» («tall tales») — жанр американского фольклора, юмористические рассказы, построенные на полном смещении пропорций. Сюжеты и поэтику «небылиц» широко использовали Брет Гарт, Твен и другие американские юмористы.

К стр. 390

Мистификациями называют те рассказы По, в которых невероятное происшествие описано как подлинное («Необыкновенные приключения некоего Ганса, Пфааля» и др.). *Мост Вздохов* находится в Венеции; построенный в 1597 г., он получил свое название вследствие того, что по нему к месту казни проводили осужденных.

К стр. 391

Хименс, Фелиция Доротея (1793—1835) — английская поэтесса, весьма популярная в США 20—30-х годов, одна из первых переводчиц Камюэнса.

К стр. 392

Приемный отец По Джон Аллен придерживался весьма консервативных взглядов. Этим, видимо, объясняется причисление его к духовным отпрыскам не Томаса Джефферсона, автора «Декларации независимости», а Джона Маршалла (1755—1835), Верховного судьи США в 1801—1835 гг., известного своей расчетливостью и стремлением подчинить американские законы интересам промышленного и торгового сословия.

К стр. 393

В наиболее известной поэме Кольриджа «*Песнь о старом моряке*» герой убивает летевшего за кораблем *альбатроса* — священную птицу морей; в наказание за это гибнет весь экипаж.

К стр. 395

Капитан Кидд — Уильям Кидд, американский пират, грабивший английские суда у берегов Мадагаскара. Обманом завлеченный в Бостон, он был схвачен и казнен в Лондоне в 1701 г. О нем сложено много легенд и песен.

К стр. 396

Подразумевается *новелла По «Поселок Арнгейм»* (1842), в первоначальной публикации озаглавленный «Декоративный сад».

К стр. 398

Речь идет о книге *Айзека Дизраэли* (1766—1848), отца английского политического деятеля и писателя Бенджамина Дизраэли, «Литературные древности» (3 тт., 1791, 1793, 1823), представлявшей собой собрание любопытных фактов и подробностей из истории литературы.

К стр. 402

«*Космос*» — основное произведение великого немецкого естествоиспытателя Александра Гумбольдта (1769—1859).

К стр. 405

Ономатопея — термин, которым обозначают звукоподражательные неологизмы, распространенные в англоязычной поэзии со времен По, а также аллитерации и ассонансы.

К стр. 406

В 1839 г. в «Никербокере» писатель-путешественник *Д. Рейнолдс* опубликовал рассказ о свирепом и непобедимом белом ките Моха Дике, что говорит о фольклорном происхождении мифа, лежащего в основе знаменитого романа Мелвилла.

К стр. 407

«Соответствия» — известный сонет Бодлера, впервые напечатанный в 1857 г. и вошедший в «Цветы зла» (раздел «Сплин и идеал»).

Дэссент — герой романа Жориса-Карла Гюисманса (1848—1907) «Наоборот» (1884), представитель вырождающегося аристократического семейства, пытающийся создать стимул к жизни, искусственно поддерживая эстетскую атмосферу в стенах своего дома.

К стр. 427

«Мыслящая личность» — имеется в виду одно из положений речи Эмерсона «Американский ученый».

К стр. 431

Стьюарт, Дугалд (1753—1828) — английский философ, автор «Основ философии человеческого разума» (1792—1827).

Пирронизм — учение древнегреческого философа Пиррона из Элиды (ок. 360 — ок. 270 до н. э.); в центре этики Пиррона находятся вопросы счастья и его достижения путем скептического отношения к миру.

Тейлор, Томас (1768—1835) — английский математик и последователь учения Платона, много сделавший для переводов античной литературы на английский язык.

Сведенборг, Эмануэль (1688—1772) — шведский ученый и теософ-мистик, пытавшийся соединить естествознание с мистицизмом; оказал заметное влияние на литературу романтизма. Общины последователей Сведенборга получили распространение в США и Англии.

К стр. 432

Жерандо, Мари Жозеф де (1772—1842) — французский философ, автор «Сравнительной истории философских систем» (1804).

Кузен, Виктор (1792—1867) — французский философ-идеалист, эклектик, автор восьмитомного «Курса истории философии» (1815—1829).

Лайелл, Чарльз (1797—1875) — английский естествоиспытатель, его главный труд «Основы геологии» вышел в 1830—1833 гг. в трех томах и многократно переиздавался.

Кларк, Сэмюел (1675—1729) — английский философ и теолог, этическая теория которого основывается на математическом рационализме.

К стр. 433

Арминиане — сторонники религиозного течения внутри нидерландской кальвинистской церкви; основано богословом Я. Арминием (1560—1609).

Эмерсон, Уильям (1769—1811) — отец Ралфа Уолдо Эмерсона, унитарийский священник, автор посмертно изданного «Исторического очерка Первой церкви Бостона» (1812).

К стр. 437

Жарден де плантс — парижский Ботанический сад, который Эмерсон посетил летом 1833 г. и где он почерпнул обширный материал для размышлений о всеобщем единстве природы.

Грино, Хорейшо (1805—1852) — первый американский скульптор, выдвинул функциональную теорию искусства. В 1828 г. открыл свою студию во Флоренции и до 1851 г. жил в Европе.

Дьюи, Орвилл (1794—1882) — английский священник унитариянской церкви. Результатом его путешествия по Европе явилась книга «Старый и Новый Свет» (1836).

Стерлинг, Джон (1806—1844) — английский литератор, автор биографии Томаса Карлейля.

К стр. 439

Рид, Сэмсон (1800—1880) — проповедник учения Сведенборга, оказавший большое влияние на Эмерсона, особенно на его «учение о соответствиях».

К стр. 445

Орфический философ — имеется в виду орфизм, древнегреческое религиозно-философское учение, признающее существование в человеке двух начал: доброго (душа) и злого (тело). По преданию, основателем этого учения был мифический певец Орфей. Здесь речь идет об «Орфических пословицах» Эймуса Бронсона Олкотта, печатавшихся в журнале «Дайэл» в 1840—1844 годах.

К стр. 447

Гомилетика — часть риторики, излагающая правила построения церковной проповеди.

К стр. 448

Графиня д'Агу, Мари Катрин Софи де Флавины (1805—1876) — французская писательница, хозяйка известного парижского литературно-художественного салона, где бывали Виньи, Сент-Бёв, Шопен, Мейербер, Гейне и др.

К стр. 451

Арнольд, Мэтью (1822—1888) — английский поэт и критик, резко выступал против «викторианского процветания».

К стр. 455

Брайт, Джон (1811—1889) — английский политический деятель, вместе с Р. Кобденом один из руководителей Лиги против хлебных законов (1838).

Крукшенк, Джордж (1792—1878) — популярный английский карикатурист и иллюстратор романов Диккенса.

Блэквуд, Уильям (1776—1834) — английский издатель, основавший в 1817 г. журнал «Блэквудс Эдинбург мэгэзин».

К стр. 456

Стонхендж — одно из крупнейших мегалитических культовых сооружений в Южной Англии, состоящее из concentрических кругов из камня, окруженных валом и рвом. Один из очерков Эмерсона в «Чертах английской жизни» посвящен поездке в Стонхендж.

К стр. 459

«Новый Органон» (1620) — главное философское сочинение Френсиса Бэкона (1561—1626), проникнутое верой в человеческий разум и научный эксперимент.

К стр. 462

Чалмерс, Александр (1759—1834) — шотландский писатель и журналист. В 1810 г. выпустил антологию английской поэзии, состоящую из 21 тома.

К стр. 463

Джосслин, Джон — английский писатель XVII века, проживший многие годы в Северной Америке, автор книг «Диковинки Новой Англии» (1672) и «Отчет о двух путешествиях в Новую Англию» (1674).

К стр. 464

...«конкордский Норт Бридж» — Торо хочет сказать, что он наследник Американской революции: 19 апреля 1775 г. у Норт Бриджа в Конкорде разыгрался один из первых эпизодов Войны за независимость США.

Общество Фи-Бета-Канна (начальные буквы греческой фразы, ставшей девизом общества: «философия — путеводитель жизни») — первое американское университетское общество, основанное в 1776 г. В Кембридже отделение общества появилось в 1781 г.

К стр. 465

Лицей — название публичного лектория в Конкорде, где часто выступал Торо.

К стр. 467

Джонс, Уильям (1746—1794) — английский востоковед и юрист. Его «Очерк поэзии восточных народов» впервые напечатан в 1772 г. в изданном им собрании «Стихотворения, переведенные с азиатских языков».

Ману — в древнеиндийской мифологии легендарный родоначальник людей. Ему приписываются «Законы Ману», входящие в древнейший памятник индийской словесности «Веды».

«*Бахавадгита*» — философская поэма, входящая в древнеиндийский эпос «Махабхарата» и переведенная на английский язык в конце XVIII века.

К стр. 468

Этилер, Джон Адолфус — имеется в виду его книга «Рай для всех людей, достигаемый без труда силою природы и машин» (1833). Торо написал рецензию «Будущий возвращенный рай» на лондонское переиздание этой книги в 1842 г.

К стр. 468

...«солдатом во Флориде» — имеется в виду война с индейцами племени семинолов (1835—1842), которые в результате были истреблены. Жалкие остатки некогда могучего племени были загнаны в непроходимые болота Флориды. Американские войска запятнали себя в этой войне массовыми убийствами женщин и детей.

К стр. 474

Уолтон, Исаак (1593—1683) — английский биограф, автор пасторали «Искусный рыболов, или Досуг склонного к размышлениям человека; рассуждение о рыбах и рыболовстве» (1653).

К стр. 475

Фруд, Джеймс Энтони (1818—1894) — английский историк и эссеист. В своей книге «Немезида веры» (1848) выступил против консервативного направления в английской церкви.

К стр. 476

Агассис, Жан Луи (1807—1873) — швейцарский естествоиспытатель, переселившийся в США, где преподавал в университетах, ярый противник учения Дарвина о изменчивости видов.

К стр. 477

Грей Эйза (1810—1888) — американский ботаник, с 1842 г. профессор Гарвардского университета, крупнейший исследователь флоры Северной Америки, автор ряда учебников по ботанике, популяризатор идей Дарвина.

К стр. 484

Хадсон, Уильям Генри (1841—1922) — английский писатель-натуралист, получивший известность своими книгами о птицах и природе.

К стр. 485

Винкельрид, Арнольд — швейцарский народный герой XIV века. По преданию, в битве при Земпахе (1386) он бросился на пики врагов и грудью проложил путь к победе.

К стр. 493

...«*дорога в ад начинается от врат рая*» — имеются в виду крылатые слова из первой части аллегорического романа английского писателя Джона Беньяна «Путь паломника» (1678).

К стр. 498

«*Новоанглийский букварь*» и «*Вестминстерский катехизис*» — книги, по которым дети пуритан обучались закону божьему. «Новоанглийский букварь» составлен и издан в 1683 г. бостонским книготорговцем Бенджамином Харрисом.

К стр. 499

Казобон, Исаак (1559—1614) — французский теолог-гугенот, известный своим религиозным рвением.

К стр. 503

Архимаго — коварный волшебник в аллегорической поэме Эдмунда Спенсера «Королева фей» (1590—1596).

...«*какие не снились нашим мудрецам*» — У. Шекспир. «Гамлет», д. I, стр. 5.

К стр. 518

Матушка Хаббард — героиня детских прибауток, написанных Сарой Кэтрин Мартин (1768—1826) и впервые напечатанных в 1805 г.

К стр. 525

Палос — порт на юго-западе Испании, откуда Колумб отправился в свое первое плавание на Запад.

Бальбоа, Васко Нуньес де (ок. 1475—1517) — испанский мореплаватель и колонизатор Америки, открывший в 1513 г. Тихий океан.

К стр. 535

Друммондов свет (по имени шотландского инженера Томаса Друммонда, 1797—1840, применившего его в 1825 г.) — ослепительно белый свет, испускаемый известью, если направить в нее зажженную струю водорода и кислорода.

К стр. 539

Кембл Батлер, Фанни Энн (1809—1893) — английская актриса, прославившаяся исполнением шекспировских ролей. С 1832 по 1877 г. жила в США. Имеется в виду ее бракоразводный процесс в 1849 г.

К стр. 541

Сьюард, Уильям Генри (1801—1872) — американский государственный деятель, один из руководителей радикальных республиканцев.

Битва при Лукаут Маунтен — один из эпизодов битвы при Чаттануге (23—25 ноября 1863 г.) во время Гражданской войны в США, известный также под названием «Битва над облаками».

К стр. 542

Малвернский холм — речь идет об одном из эпизодов семидневной битвы в окрестностях Ричмонда (1 июля 1862 г.), в результате которой федеральные войска были разгромлены южанами.

К стр. 543

Католический модернизм — религиозное течение, возникшее в конце XIX века, выступавшее с критикой некоторых сторон учения католической церкви и пытавшееся приспособить католицизм к современному уровню науки и общества.

К стр. 545

Восстание в Норе — восстание моряков британского флота в 1797 г. в устье Темзы, вызванное плохой пищей и жестоким обращением.

К стр. 550

Мишле, Жюль (1798—1874) — французский историк романтической школы. Наиболее значительные из работ: многотомная «История Франции» и являющаяся ее продолжением «История французской революции». В своих трудах Мишле пытался выявить психологию французского народа, «народный дух».

К стр. 564

Макиавелли, Никколо (1469—1527) — итальянский писатель, историк, военный теоретик, политический деятель эпохи Возрождения. Учитывая специфику итальянской действительности — нападения иноземцев, вражда между собой отдельных итальянских государств, — Макиавелли требовал единовластия, считая, однако, лучшей формой государственности демократическую республику.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Я. Засурский	5
Обращение к читателю	23

I. КОЛОНИИ

1. Говард Мамфорд Джонс. Европейский фон	35
2. Луис Б. Райт. Колониальная культура	50
3. Ренфорд Дж. Адамс. Записки и хроники	59
4. Луис Б. Райт. Писатели Юга	77
5. Кеннет Б. Мердок. Писатели Новой Англии	93
6. Томас Х. Джонсон. Джонатан Эдвардс	113
7. Фредерик Б. Толлес. Писатели центральных колоний	125
8. Карл Ван Дорен. Бенджамин Франклин	145

II. РЕСПУБЛИКА

9. Джон Дж. Миллер. Революция и реакция	163
10. Роберт Э. Спиллер (при участии Александра Кау). Становление ли- тератора	170
11. Дж. Х. Пауэлл. Война памфлетов	179
12. Адриенн Кох. Государственные деятели-философы Республики	195
13. Льюис Лири. Поэты и эссеисты	212
14. Александр Кау. Рождение беллетристики и драматургии	229
15. Джилберт Чайнард. Американская мечта	245

III. ДЕМОКРАТИЯ

16. Тремейн Мак Дауэлл. Великий эксперимент	271
17. Роберт Э. Спиллер (при участии Оделла Шепарда, Лютера С. Мэнс- филда и Джона Д. Уэйда). Искусство на рынке	282
18. Стэнли Т. Уильямс. Вашингтон Ирвинг	298
19. Стэнли Т. Уильямс. Джеймс Фенимор Купер	310
20. Лютер С. Мэнсфилд. Своеобразие и новаторство литературы Средних штатов	328
21. Тремейн Мак Дауэлл. В Новой Англии	343
22. Джон Д. Уэйд. На юге	367
23. Ф. О. Маттисен. Эдгар Аллен По	383

IV. ЛИТЕРАТУРНОЕ СВЕРШЕНИЕ

24. Дэвид Бауэрс. Демократические дали	413
25. Роберт Э. Спиллер. Ралф Уолдо Эмерсон	427
26. Таунсенд Скадлер. Генри Дэвид Торо	460
27. Стэнли Т. Уильямс. Натаниел Готорн	489
28. Уиллард Торп. Герман Мелвилл	515
29. Генри Сейдел Кэнби. Уолт Уитмен	548
Комментарий В. Бернацкой, А. Зверева, Г. Злобина, А. Николокина, В. Олейника	577

Литературная история
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Том I

ИБ № 2203

Художник *Б. И. Астафьев*
Художественный редактор *В. А. Пузанков*
Технические редакторы *Т. Н. Соколова, Н. С. Андрианова*
Корректор *Г. А. Локишина*

Сдано в набор 14.09.76. Подписано в печать 21.04.77.
Формат 60x90/16. Бумага типографская № 2.
Усл. печ. л. 38. Уч.-изд. л. 38,85.
Тираж 35 000 экз. Заказ 339. Цена 2 р. 70 к.
Изд. № 22009

Издательство «Прогресс»
Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва 119021, Зубовский бульвар, 21.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном
комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.